

Н. Альбовъ
В. Анненскій
П. Барсуковъ
И. Бутяковъ
П. Вуренинъ
И. Васюковъ
И. Рейнбергъ
Я. Дашковъ
И. Коссовичъ
А. Лейкинъ
Л. Леонтьевъ-
Щегловъ
Н. Маминъ-
Сибирякъ
П. Михайловъ-
Мартовъ
О. Михневичъ
Л. Мордовцевъ
Е. Оболенскій
П. Острогорскій
Н. Пыпинъ
Е. Рудаковъ
И. Сергѣевичъ
М. Свободенскій
А. Скальковскій
П. Соловьевъ
И. Успенскій
М. Фюфановъ
И. Чупровъ
В. Шевляковъ
Н. Шубинскій

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВЪ И УЧЕНЫХЪ

8 120
631

БЮГРАФИИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕКРОЛОГИ,
ВОСПОМИНАНИЯ, ВСТРѢЧИ.

СЪ 31 ПОРТРЕТОМЪ.

С. Сиверскій

Цена 3 руб.

С 120
6 631

Б. Б. ГЛИНСКИЙ

801-12

1854

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВЪ

и

УЧЕНЫХЪ

БЮГРАФИИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕКРОЛОГИ,
ВОСПОМИНАНИЯ, ВСТРѢЧИ.

съ 31 ПОРТРЕТОМЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1914



11558-62



2007340032



Тип. Т-ва А. С. Суворина—„Новое Время“. С.-Петербург, 13



ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Въ настоящей книжкѣ собраны нѣкоторыя мои очерки, появившіеся на страницахъ «Историческаго Вѣстника» и посвященные разнымъ деятелямъ русской литературы и науки второй половины XIX вѣка, по преимуществу сошедшимъ въ вѣчность. Эти очерки составляли особенную часть моихъ многочисленныхъ работъ въ журналѣ и имѣютъ непосредственное отношеніе къ исторіи русской культуры. Большинство ихъ освѣщено личнымъ знакомствомъ автора съ изображаемыми лицами, почему читатели встрѣтятъ здѣсь такіе эпизоды и черты біографій, которые, вѣроятно, не найдутъ своего отраженія и регистраціи въ работахъ другихъ авторовъ, если послѣдніе уже посвящали или посвящать свои воспоминанія тѣмъ же лицамъ.

Галерея представленныхъ здѣсь деятелей должна сказать о томъ, въ какихъ условіяхъ, бытовыхъ и общественныхъ, протекала жизнь и работа этихъ людей, съ которыми мы, работники на журнальной нивѣ конца прошлаго вѣка и начала нынѣшняго, встрѣчались, были близки или работали рука объ руку, какія жизненныя и литературныя

цели они преследовали и что отражали в своих произведениях. Большинство из них оставили на разных поприщах значительный след в истории русской жизни, но далеко не все они были в свое время по достоинству оценены, а о многих и совсем исчезла память в современном поколении. Пройдут годы, и, быть может, даже самые имена их станут звучать чьм-то чуждым, вне всякой связи с современными им общественными явлениями, отражение которых усматривается довольно наглядно и в их жизнеописаниях, и в оценках их деятельности. Книга, как бы скромно ее содержание ни было, в этом отношении добрая скрижаль истории. Запечатленное в ней останется на более долгое время, нежели на газетных листах или журнальных столбцах, содержание которых легко забывается и только держится в памяти трудолюбивых библиографов. Включив в свою книгу сведения о двадцати восьми писателях и ученых, я надюсь тем самым сберечь более тщательно образы некоторых из них от забвения. Они все так или иначе заслужили своей работой на пользу русской культуры эту длительную память. Их мысль работала, их сердце билось на пользу России, на пользу нас с вами, читатель. Пусть же отражение этого бичения и запечатлется на предлагаемых страницах настоящей книги, выпускаемой любящей и почтительной рукой.

Я жалею только, что мне не удалось в свое время зарегистрировать мои встречи и знакомства с другими многими лицами, с которыми жизнь меня сводила. По разным случайным обстоятельствам мне не удалось в свое время представить на страницах «Исторического Вестника» образов П. Е. Андреевского, Я. Г. Гуревича,

В. А. Гольцева, С. Н. Кривенко, С. В. Максимова, Н. К. Михайловского, М. Л. Песковскаго, С. Н. Терпигоревых и некоторых других. Со всеми перечисленными лицами мне случилось в разные моменты моей жизни приходить в тесное соприкосновение, и в моей памяти сохранилось немало интересных эпизодов из этих встреч. Увы! Сейчас я не в состоянии восполнить этот пробел в моей литературной деятельности и приходится ограничиться изданием лишь того, что уже было в свое время напечатано, но с некоторыми изменениями, поправками и дополнениями, требуемыми в значительной мере техникой отдельного издательства. Перед памятью не вошедших сюда лиц я остаюсь в своего рода литературном долгу, который, надюсь, со временем, при благоприятных обстоятельствах, заплатить.

Особое место среди настоящих очерков занимает биография В. П. Буренина. Критик «Новаго Времени» здравствует, и, будем надяться, будет здравствовать еще многие годы, а поэтому ему, казалось бы, не должно быть отведено место на страницах, посвященных памяти отошедших в вечность. Но я полагаю, что оказаться в соприкосновении с последними не так уж страшно, а в виду того, что о В. П. Буренине в наших пособиях для изучения истории русской словесности последнего времени предnamьрено, в интересах партийной политики, почти ничего не говорится или очень мало, то я полагаю, что мой очерк здесь о нем не будет излишним. «Новоременский» критик-публицист много лет стоял на аванпостах русской критической литературы, и с его именем связано определенное общественное направление, сыгравшее в отечественной жизни, как

это усматривается из содержания самой статьи о нем, видную роль.

Что касается моего биографического очерка об А. С. Суворинѣ («Историческій Вѣстникъ», 1912, № 9), то я не включилъ его въ настоящую литературную галерею потому, что о немъ со временемъ появится подготовляемая мною отдельная большая работа, гдѣ сказанный очеркъ явится составною частью.

Б. Глинскій.

1-го сентября 1913 года.

Н. Ө. АННЕНСКІЙ.

Николай Өеодоровичъ Анненскій былъ личностью интересной, чрезвычайно популярной и любимой въ широкихъ литературныхъ и общественныхъ кругахъ, почему и смерть его вызвала у многихъ чувство горя и глубокаго сожалѣнія. Въ его лицѣ многія общественныя организаціи потеряли беззмѣннаго предсѣдателя общихъ собраній, оратора, умѣшаго сглаживать возникавшія на этихъ собраніяхъ рязкости, шероховатости, точно и умѣло формулировать выносимыя резолюціи и влиять въ присутствующихъ поднятое настроеніе и бодрость духа.

Всегда веселый, жизнерадостный, пріятливый, онъ умѣлъ объединять около себя широкіе литературные круги и, какъ общественный дѣятель большаго авторитета, основательныхъ научныхъ познаній и глубокаго китайскаго опыта, Анненскій являлся тѣмъ центромъ, вокругъ котораго всегда кипѣла жизнь, переливаясь пріхотливыми отцвѣтами, съ ихъ разнообразными и реально поставленными вопросами насущнаго дня. Будучи виднымъ представителемъ лѣвой и радикальной фракціи нашей общественности, онъ, благодаря видѣнной въ него природою широкой гуманности, добротѣ и мягкости характера, не отличался, однако, сектантской непримиримостью, подобно большинству представителей этой фракціи, и всегда находилъ въ себѣ достаточно умѣнья, чтобы отдать должное противнику по взглядамъ, если только усматривалъ въ немъ запасъ принципиальности и проявленіе искренности. Отсюда его популярность и авторитетность. Вся его жизнь отъ молодого сознательнаго возраста до послѣдняго вздоха была собственно благоговѣнное отправленіе революціонной литургіи, которую онъ открыто правилъ, неся изъ этого служенія всѣ вытекавшія отсюда радости и горести. Его жизнеописаніе самымъ тѣснымъ образомъ переплетается со всѣми явленіями оппозиціоннаго порядка, которыми позна-

отечественная жизнь за последние полвека. В литературу пока слабо освещены практически выступления Анненского на тернистом пути революционной деятельности. Поскольку он был лично известен автору настоящей статьи, поскольку знакома литература о нем и его собственное «легальное» писательство, он рисуется скорее человеком културного служения русскому обществу, конечно, определенной марки, служения, имевшего непосредственной задачей благо народное, поскольку он мог здесь что-нибудь сделать своим литературным пером, своей деятельностью в роли выдающегося статистика и председателя и члена общественных организаций, имевших предметом своих дебатов и суждений интересы народных масс. Отсюда преобладание в интересе ознакомления с его жизнеописанием того исторического фона, на котором вырисовывается его личность и та среда, которой он был видным представителем и которая всегда выдвигала его в передние ряды и на главную сцену в те моменты, когда эта среда заявляла себя практической деятельностью и считала долгом подать свой голос по вопросам политического и общественного дня.

Как свидетельствует энциклопедический словарь Эфрона и Брокгауза (новое издание), Николай Федорович Анненский родился в 1843 году. Учился он в сибирском кадетском корпусе; позднее сдал экзамены при петербургском университете на кандидата прав и при киевском университете на кандидата историко-филологических наук. С 1867 года по 1873 год служил в государственном контроле при Татаринове, с 1873 года по 1880 год в статистическом отделении министерства путей сообщения; в 1876 и 1877 годах участвовал на статистических съездах в Пеште и Риме. В 1880 году был послан в Тару (Тобольской губернии). С 1883 по 1887 гг. руководил статистическими работами казанского губернского земства; с 1887 по 1895 гг. заведывал статистическим отделением нижегородского губернского земства. В Казанской губернии в 1883 году им была устроена экспедиция для исследования местностей, особенно пострадавших от неурожая; затем было произведено общепное исследование четырех уездов. В Нижегородской губернии Анненскому удалось довести постановку статистических работ до высокого уровня и исполнить местное исследование всех уездов губернии, причем для общепных целей в значительной степени была использована подворная перепись. Анненскому в наиболее полной мере удалось соединить так называемое московский и черниговский типы земской статистики. В общепных работах особенно выдавались детальный учет землеустройства и тщательное определение урожайности, в связи с почвами и удобрением. Успеху вторичного почвенного исследования помогала дружная совместная работа Анненского и выдающегося почвовода Н. М. Сиби-

цева. Нижегородское бюро было при Анненском настоящим школой земской статистики. В Нижнем же, по поручению Л. И. Грасса, Анненский (совместно с Н. М. Кисляковым) разработал громадный урожайный материал, собранный Грассом для книги «Страхование посевов» (1892). Для нижегородской интеллигенции Анненский, вместе с В. Г. Короленьком, служил объединяющим просветительным центром. В 1895 году Анненский переехал в Петербург. С 1896 по 1900 годы заведывал статистическим отделом петербургской городской управы. В 1901 году должен был выехать из Петербурга в Финляндию; в 1902 году возвратился, но в 1904 году опять был принужден покинуть Петербург и жить в Ревеле до осени 1904 года. Был в числе лиц, отправившихся накануне 9-го января 1905 года к князю Святополк-Мирскому, и за это попал в Петропавловскую крепость. Анненский печатал статьи в журналах «Дело» («Новые течения в экономической науке» и пр.) и «Отечественные Записки» («Экспериментальное дело в области научных интересов» и др., разборы росписей, много заметок о новых книгах), в газете «Волжский Вестник», в сборник «Влияние урожая» (1897 г.) и в других изданиях. С 1894 года Анненский помогал стать в «Русском Богатстве» и являлся деятельным членом редакции этого журнала. Обладая живою, отзывчивою натурою и выдающимся красноречием, Анненский оказывал большое влияние на многочисленные круги лиц, обращающихся к его содействию в области статистики и литературы. Очень много работал для литературного фонда, для союза писателей (1897—1901 год), для с.-петербургского литературного общества, председателем которого состоял, для волнского экономического общества, почетным членом которого он состоял, а также в трехлетние суды и суды чести по литературным делам. В 1906 году, вместе с В. А. Микитиным, В. В. Пыხოновым и др., основал партию народных социалистов. В «дни свободы» и во время выборов кампаний выступал с огромным успехом на митингах.

Таков краткий литературно-общественный послужной список почившего писателя. Уже из этого обзорного его видно, сколько любопытных жизненных моментов широкого общественного значения он собою охватывает и сколько интересных страниц отечественной жизни сюда включено. Тут нет покоя, а наличие постоянного движения, смена острых моментов, с каждым из которых тесно связаны те или иные знаменательные страницы русской жизни и которые во всякой передаче фактов словаря слабо обнаруживают их внутренний смысл.

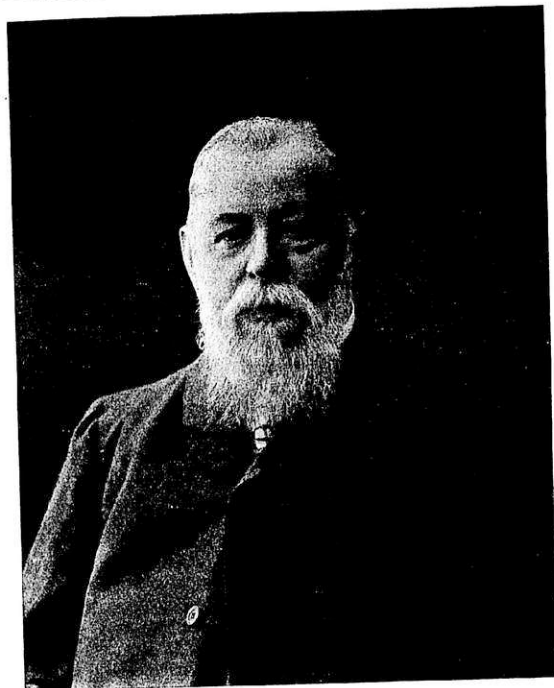
Будучи студентом в шестидесятых годах, Анненский прошел искую тогдашней тревожной жизни; участвовал в протесте против введения мatriкулов, ходил по Невскому со всею толпою к неопенителю

Филиппову, был арестован и подвергся некоторым последствиям, вытекшим из тогдашних демонстраций. Затем был деятельным членом всяческих кружков самообразования с их несомненной политической окраской и вообще, повидимому, широкою грудью вдыхал в себя воздух, которым тогда дышала молодежь и который наполнял ее сердца протестом. Родственные узы связали его с известным революционером Ткачевым: он примкнул к учению последнего и таким образом на заре своей жизни уже примкнул к движению, явившемуся противостою бакуниным теориям, и стал сторонником идеи о необходимости политического обновления России, без какого обновления не видел возможности пересоздания строя на началах социалистического учения.

Впоследствии в статье «Сорок лет назад», напечатанной в сборнике «На славном посту», посвященном Н. К. Михайловскому, Анненский, рисуя значение эпохи шестидесятих годов для современного тогдашнего поколения людей, так формулирует исповедание, отсюда почерпнутое. Он говорит: «Демократической мысли предстояло выдержать трудное испытание. Работа должна была пойти вглубь и разобраться во всей сложности новых отношений и новых форм жизни. С особенной жгучестью задача эта выступила вперед в период «семидесятих» годов. И до сих пор она не может еще считаться вполне исчерпанною. Затем наш ранний демократизм был несколько односторонен и в другом отношении. В нем слишком преобладал *экономический* элемент предъ всеми остальными. И в этом, несомненно, сказывалось воздействие условий и обстановки того исторического момента, когда складывались воззрения представителей этого демократизма. Слишком властно тогда захватывали внимание именно экономические интересы народа, и предъ ними блѣднѣли все прочіе. Позднѣйшій ходъ жизни показалъ намъ очень ясно и очень больно, что въ ранней формулировкѣ демократической программы было нѣчто недосказанное. Мы не можемъ уже относиться къ «формальной сторонѣ общественныхъ отношений съ такимъ же равнодушіемъ, какъ люди шестидесятихъ годовъ. Развитие демократической программы въ этомъ направленіи является одною изъ существенныхъ задачъ настоящаго».

Вдумываясь в смысл этих слов, сказанных по условиям времени «заповским языкомъ», мы видим, что он именно, в противность многим своим современникам периода шестидесятих—семидесятих годов, становится на первоочередную сторону «политики», без наличия которой, как определенной формулы государственного бытия, не видит возможности осуществления прочих социально-экономических идеалов.

По окончании двух факультетов он обосновывается в Петербург, где сначала проходит службу в государственном контроле и затем в



Николай Федорович Анненский.

ведомств путей сообщения и специализируется по той отрасли работы, значение которой в виду недолжности экономических реформ шестидесятих годов стало ясно сознаваться к тому времени. На этой работе он прошел школу, из которой вынес своеобразные методы, помогшие ему несколько времени спустя стать в первые ряды русских земских и городских статистиков, стать авторитетом в этой области и немало поработать практически, в связи с общим теоретическим своим

миросозерцанием во имя блага широких сельских масс, обездоленных земельных надѣлами.

Состоя на государственной службѣ, Николай Федоровичъ вмѣстѣ съ тѣмъ принимаетъ участіе и въ журналистикѣ, и притомъ той лѣвой ея части, которая, какъ «Отечественныя Записки», «Дѣло» и др., обслуживала оппозиціонныя тенденціи. Выстъ съ тѣмъ онъ участвуетъ и во всемъ движеніи семидесятыхъ годовъ, именуемомъ «народническимъ», имѣвшемъ своихъ идеологовъ въ нашей литературѣ въ лицѣ Михайловскаго, Глѣба Успенскаго и др. Но участіе въ движеніи народолюбцевъ до наступленія «диктатуры сердца» не приносило ему особеннаго ущерба, и его поведение не привлекало къ себѣ косыхъ взглядовъ администраціи. Лишь съ наступленіемъ обильныхъ обысковъ и высылкокъ наканунѣ 1-го марта 1881 года онъ сталъ жертвою этихъ высылкокъ и былъ графомъ Лорисъ-Меликовымъ административно высланъ въ городъ Тару Тобольской губерніи. Въ этотъ періодъ своей жизни онъ познакомился и сошелся съ извѣстнымъ беллетристомъ В. Г. Короленкомъ, объ руку съ которымъ и протекала послѣдующая его общественная и политическая дѣятельность въ ея главнѣйшихъ моментахъ. Вотъ что говоритъ объ этомъ періодѣ нашъ беллетристъ въ своихъ предварительныхъ воспоминаніяхъ о своемъ почившемъ другѣ на страницахъ «Виржевыхъ Вѣдомостей» (1912 г., № 13064):

«Познакомился я съ Анненскимъ въ Вышнемъ-Волочкѣ въ тюрьмѣ, когда насъ съ нимъ выслали въ Сибирь. Анненскаго отправляли въ городъ Тару, Тобольской губерніи.

«Вскорѣ оттуда онъ былъ возвращенъ въ Казань. Губернское земство пригласило его заведывать статистическимъ бюро. Анненскій усердно принялся за работу. Онъ былъ прирожденный статистикъ. Работа пошла удачно, но вотъ губернаторъ потребовалъ отъ него подписку, чтобы онъ не вхождалъ въ сношенія съ политическими ссыльными. Анненскій отказался. Губернаторъ выслалъ его въ Свияжскъ, но и оттуда Н. Θ. продолжалъ руководить работами бюро. Въ Нижегородской губерніи Анненскому пришлось работать въ голодный годъ, и вотъ тутъ-то проявилась вся способность этого человѣка прилгать (къ жизни свои богатые теоретическія познанія). Нижегородское статистическое отдѣленіе разслѣдовало всю голодную нужду, дѣлало закупки хлѣба и заведывало правильной раздачей прованта.

«Надъ Анненскимъ тогда смѣялись, говорили:

«— Какія же закупки можетъ дѣлать статистикъ. Онъ способенъ только на теоретическія выкладки.

«Однако вскорѣ всѣ убѣдились, что значить, когда въ такомъ дѣлѣ принимаетъ участіе добрый человѣкъ и прекрасный работникъ. Объ этомъ я писалъ въ своей книгѣ «Въ голодный годъ». Только, конечно, я тамъ

не говорю объ Н. Θ., чтобы не заподозрѣли меня въ пристрастіи къ другу.

«Обаятельный это былъ человѣкъ. За какое бы дѣло онъ ни взялся, всюду онъ приносилъ съ собой свѣтъ и любовь. Кто разъ имѣлъ какое-либо дѣло съ Анненскимъ, никогда не могъ его позабыть».

Земская статистика была тою культурною стихіею, въ которой наиболѣе рельефно долженъ былъ обрисоваться и расширяться нравственный обликъ Анненскаго. Для уразумѣнія этого нужно дать себѣ отчетъ, какую роль земскіе статистики сыграли въ русской жизни пореформеннаго періода, въ періодъ политической реакціи восьмидесятыхъ годовъ и въ періодъ преддверія къ «освободительнымъ» днямъ девятисотыхъ годовъ. Въ своихъ любопытныхъ статьяхъ по настоящему предмету, подъ заглавіемъ: «Къ исторіи земскаго движенія въ Россіи», напечатанныхъ на страницахъ «Выло» въ 1907 году и въ историческомъ сборникѣ «Наша Страна», землецъ И. П. Вѣлюковскій такъ обрисовываетъ дѣло. Онъ говоритъ: «Русская интеллигенція представляетъ въ своемъ родѣ исключительное явленіе въ мировой исторіи. Выдѣленная на первой фазѣ своего развитія, главнымъ образомъ, изъ среды землевладѣльческихъ и чиновныхъ классовъ, частью изъ купечества, духовенства и другихъ сословій, она, вырвавшись изъ семьи и попадая въ учебное заведеніе, не только терила вслѣдую связь со своею средою, но вступала съ нею въ борьбу, во имя демократическихъ идеаловъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Долгое время не встрѣчая поддержки въ населеніи, русская интеллигенція, дѣйствительно, была «безпочвенна», какъ ее характеризовали реакціонные элементы, но это не мѣшало ей мужественно и самоотверженно стремиться къ лучшему будущему, будить общество и при всякомъ удобномъ случаѣ отвоёвывать шагъ за шагомъ права человѣка и гражданина.

«Первое учрежденіе, которое дало приютъ этой разночинной интеллигенціи, а впоследствии, въ лицѣ выдающихся дѣятелей, вступило съ нею въ тѣсную связь—это было земствѣ. Наиболѣе оппозиционнымъ и энергичнымъ элементомъ изъ земской интеллигенціи долгое время были земскіе статистики. Первыми статистиками были, въ сущности говоря, народники-пропагандисты. Основнымъ требованіемъ земской статистики было мѣстное подворное изслѣдованіе, т.-е. собраніе свѣдѣній непосредственно отъ самаго населенія, въ мѣстѣ его жительства, въ присущей ему обстановкѣ. Нужно ли говорить, что такое занятіе, позволявшее имѣть непосредственную связь съ народомъ, легально изучать его нужды и, по мѣрѣ возможности, удовлетворять эти нужды самостоятельно или при посредствѣ земства, такое, повторяемъ, занятіе привлекало къ статистикѣ большой процентъ лучшей мыслящей интеллигенціи. При наступленіи реакціи въ какомъ-либо земствѣ она прежде всего отражалась, конечно, на статистикахъ,

на которых тогда же начиналось гонение. Тогда статистики перекочевывали в другие земства, где условия были имь благоприятны, а затѣмъ нерѣдко обратно возвращались на мѣсто перваго служенія, когда реакція прекращалась. Словомъ, это былъ настолько приспособленный къ тяжелымъ условиямъ русской жизни элементъ, настолько «обстрѣлянный», самоотверженный и непритворный въ своихъ требованіяхъ, что съ нимъ трудно было бороться. Его гоняли съ мѣста на мѣсто, но уничтожить не могли. Немало было земскихъ статистиковъ, которые не разъ исколесили земскую Россію, перебивали чуть не во всѣхъ земствахъ, хладнокровно относясь къ ударамъ судьбы, чувствовалъ себя какъ дома въ каждомъ земствѣ.

Помимо описанныхъ качествъ, громадный процентъ статистиковъ особенно въ первое время существованія земской статистики, обладали широкимъ образованіемъ, всестороннимъ развитіемъ и превосходнымъ знаніемъ земскаго дѣла и жизни населенія. Они являлись правую окозку земскихъ управъ, безъ которыхъ послѣднія просто иногда не могли обойтись. Въ виду этого лучшихъ земствъ, въ большинствѣ случаевъ, горю стояли за статистику и статистиковъ, мужественно защищая отъ администраціи, которая не выносила земскую статистику, терпя ее какъ допущенное зло и пользуясь всякимъ случаемъ, чтобы избавиться отъ него.

Съ развитіемъ земскаго дѣла увеличивается въ земствѣ и другой контингентъ интеллигенціи. Расширеніе медицины повлекло за собою увеличеніе числа врачей, заботы объ улучшеніи сельскаго хозяйства заставили привлечь агрономовъ и ветеринаровъ, наконецъ, развитіе школьнаго дѣла потребовало цѣлой арміи учителей и учительницъ. А такъ какъ земская служба не представляла ни особенныхъ матеріальныхъ выгодъ, ни, тѣмъ болѣе, привилегій въ смыслѣ карьеры, а, наоборотъ, губила эту карьеру, — такъ какъ власти болѣе чѣмъ подозрительно смотрѣли на земскую службу, — то на послѣднюю шли, въ большинствѣ случаевъ, лица, демократически настроенныя и проникнутыя искреннимъ стремленіемъ принести пользу населенію.

«Вся эта земская интеллигенція, этотъ «третій элементъ» постоянно обтаскивался на поприщѣ земскаго дѣла, въ слѣдствіе чего мало-по-малу образовалась довольно тѣсная связь всѣхъ интеллигентныхъ земскихъ профессій. Кромѣ того, при посредствѣ земской интеллигенціи земство обближалось съ лучшими представителями науки и литературы. Земскіе агрономы, статистики, врачи пользовались большимъ вниманіемъ выдающихся профессоровъ, которые, симпатизировавъ земскому дѣлу, готовно оказывали вселескую помощь своимъ бывшимъ воспитанникамъ и нерѣдко принимали горячее участіе въ ихъ работахъ. Въ этомъ отношеніи, — скажемъ здѣсь къ слову, — особенно, можно сказать, историческую, роль, сыграли

«Русскія Вѣдомости», сослужившія великую незабвенную службу земскому дѣлу¹⁾.

«Такимъ образомъ, вокругъ земства сгруппировалась почти вся лучшая, наиболее энергичная, демократически настроенная интеллигенція которая, съ одной стороны, въ лицѣ, напимѣръ, сельскихъ учителей и врачей и такъ далѣе, связывала земство непосредственно съ народомъ, а съ другой — съ высшими интеллектуальными сферами, съ наукой и литературой, съ различными обществами, какъ, напимѣръ, московское юридическое или императорское вольное экономическое общество. Получилась громадная сила, прочная организация, если не связанная никакою программой, то проникнутая единымъ стремленіемъ — вывести народъ изъ тѣмъ невѣжества, бѣдности и произвола къ свѣту, свободѣ и матеріальному обезпеченію».

Когда читаешь эти строки, то какъ-то невольно начинаешь казаться, будто именно фигура Анненскаго вырисовывается въ качествѣ представителя описываемаго «третьяго элемента» въ его борьбѣ съ мѣстной администраціей и въ стремленіи сохранить за земствомъ тѣ элементы политическаго начала, которые въ него были до известной степени вложены реформой мѣстнаго самоуправленія и откуда уже въ наши дни взяли главнымъ образомъ свое происхожденіе политическія партіи, заставляющія въ государственной думѣ, прошедшія предварительно политическій искусь въ обширной организации, именнуемую «союзомъ освобожденія». Анненскій былъ однимъ изъ видныхъ дѣятелей этого союза, уважалъ въ немъ съ самаго его основанія и вмѣстѣ съ нимъ пережилъ всѣ эволюціи бытія «союза» до обнародованія манифеста 17-го октября 1905 года.

Работая въ провинціи на земской нивѣ разныхъ губерній, поддерживая связи со своими столичными единомышленниками, Николай Федоровичъ не былъ, однако, извѣстенъ широкимъ кругамъ русской интеллигенціи до начала девяностыхъ годовъ. Извѣстность его замыкалась до тѣхъ поръ въ предѣлахъ партійныхъ лѣвыхъ организаций или въ рамкахъ научно-общественныхъ работъ, знакомыхъ преимущественно специалистамъ. Для послѣднихъ его имя получаетъ крупное значеніе со времени его статистической работы въ Казанской и Нижегородской губерніяхъ, особенно въ послѣдней, и наши земскіе статистики, усматривая по всей справедливости у него новизну методовъ, гдѣ онъ удачно соединилъ такъ называемые методы московской и черниговской земской статистики, признали въ немъ главу но-

¹⁾ «Русскія Вѣдомости», можно сказать, по преимуществу земскій органъ, но въ общемъ и вся прогрессивная печать поддерживала земскую интеллигенцію. Нельзя, напимѣръ, не отмѣтить такихъ органовъ, какъ «Право», «Русское Богатство», «Вѣстникъ Европы», «Русская Мысль» и нѣкоторые другіе.

вой школы, въ послѣдователи которой они и зачислили себя, провозгласивъ, его главою этой школы. Въ вышеперечисленныхъ его работахъ, вошедшихъ въ книгу Грасса «Страхованіе посѣвовъ», въ сборникъ «Вліяніе урожаевъ» и др., новая земско-статистическая школа нашла свое наглядное выраженіе. Но если извѣстность Анненскаго въ указанныхъ кругахъ специалистовъ уже упрочилась съ восьмидесятыхъ годовъ, то болѣе громко его имя прозвучало въ первой половинѣ девятидесятыхъ годовъ, во время московскаго съѣзда естествоиспытателей, въ значительной степени сумѣвшего объединить на своихъ секціонныхъ засѣданіяхъ тогдашніе прогрессивные и оппозиціонные общественные элементы.

«1893 годъ принесъ новый законъ о земскихъ оцѣнкахъ»,—говоритъ въ своей некрологической замѣткѣ объ Анненскомъ въ «Рѣчи» (№ 203 за 1912 г.) князь Д. И. Шаховскій, видный землецъ, представитель кадетской партіи и секретарь первой государственной думы.—Самодѣятельности земства въ этой области ставились рамки, работа грозила принять шаблонный, казенный характеръ. Анненскому принадлежить главная заслуга въ томъ, что дѣло осталось еще долго на настоящемъ пути и не изскляло одушевление работающихъ на немъ. Всѣ участники незабвеннаго съѣзда статистиковъ въ Москвѣ, составившаго подсецію съѣзда естествоиспытателей 1893 г., конечно, хранятъ въ благодарной памяти выступленія Анненскаго, его замѣчательный докладъ, давшій направленіе земской оцѣночной работѣ, поставившій дѣло на вполне научную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутый такой практической силой, что съ указаніями доклада пришлось считаться и министерству финансовъ въ дальнѣйшихъ его разъясненіяхъ. Не менѣе важно и то нравственное вліяніе, которымъ умѣлъ одушевить всѣхъ товарищей-статистиковъ Николай Ѳеодоровичъ. Обаяніе его было прямо удивительнымъ. При полнѣйшемъ уваженіи къ личности каждого онъ умѣлъ высоко подымать ту среду, въ которой находился. И, наблюдая его на засѣданіяхъ съѣзда и въ дружеской товарищеской средѣ, становилось понятно то огромное вліяніе, которое онъ оказывалъ и на земскія собранія, и на управы, въ которыхъ ему приходилось работать безъ формальнаго права рѣшающаго голоса».

Вліяніе Анненскаго въ губернскихъ центрахъ было выдающееся. Около него и В. Г. Короленка сосредоточивались обычно всѣ мѣстные интеллигентныя силы прогрессивнаго направленія, и такимъ образомъ сообщество этихъ двухъ писателей являлось постоянно тѣмъ культурнымъ центромъ, откуда на окружающихъ распространялось безпрерывно воздѣйствіе передовыхъ идей шестидесятыхъ годовъ. Объ этомъ обстоятельствѣ свидѣлствуетъ и П. Н. Милуковъ въ своей статьѣ, посвященной Анненскому («Рѣчь», № 203 за 1912 г.), говоря:

«Въ Нижнемъ я и познакомился съ Анненскимъ ближе, пріѣхавъ читать туда публичныя лекціи, съ которыхъ начались мои собственныя, типично-русскія Wanderjahre. Какъ сейчасъ помню: я закончилъ свой курсъ о русскихъ общественныхъ движеніяхъ указаніемъ на тѣ провинціальныя резервуары и оазисы, куда отливаетъ культурная жизнь, когда понижается ея уровень въ періоды политической реакціи. И я предсказывалъ, что жизнь вновь прильетъ къ опустѣлымъ центрамъ изъ этихъ резервуаровъ съ началомъ политическаго оживленія. Одинъ такой оазисъ, вѣроятно, одинъ изъ самыхъ яркихъ, былъ передо мной,—и центромъ его, вмѣстѣ съ В. Г. Короленкомъ, былъ Н. Ѳ. Анненскій. Его видными членами были только что «разъясненные» мои товарищи по фракціи народной свободы... Кругомъ поддерживалъ своими усиліями еле мерцавшую тогда мѣстную прессу, и чѣмъ ночь была темнѣй, тѣмъ звѣзды блесгли ярче. Здѣсь созрѣвало политическое содержаніе будущаго русскаго «обновленія».

О томъ же свидѣлствуетъ и А. Савельевъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (1912 г., № 177).

«Благодаря своимъ обширнымъ познаніямъ и этимъ симпатичнымъ сторонамъ своего характера, Николай Ѳеодоровичъ имѣлъ большое вліяніе и въ земской средѣ и въ той сферѣ своихъ занятій, которая была для него господствующей,—свидѣлствуетъ онъ.—Въ сферѣ статистико-экономическихъ изслѣдованій онъ пользовался огромнымъ авторитетомъ не только въ средѣ своихъ сослуживцевъ, но и далеко за предѣлами нашей губернии. Я закончу свое краткое сообщеніе объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ именно примѣромъ этого вліянія. Въ началѣ 900-хъ годовъ, когда его уже не было въ Нижнемъ, въ средѣ нижегородскихъ статистиковъ возникали разномыслія, частью даже принципиальнаго характера. Разногласія разрастались и грозили различными осложненіями и до извѣстной степени даже распадомъ самой организаціи. Тогда сочли за лучшее прибѣгнуть къ авторитету Николая Ѳеодоровича, прося его захватъ въ Нижний и помочь разобраться въ возникшихъ недоразумѣніяхъ. Достаточно было одной его бесѣды, чтобы все уладилось, всѣ спорные вопросы выяснились и весь инцидентъ былъ законченъ».

Въ 1895 году Анненскій послѣ долгаго вынужденнаго отсутствія появлялся снова въ Петербургѣ, гдѣ къ тому времени Н. К. Михайловскій, стародавній другъ Николая Ѳеодоровича, успѣлъ уже поставить прочно при содѣйствіи А. И. Иванчина-Писарева и Н. Г. Гарина-Михайловскаго журналъ «Русское Богатство», приобретенный отъ Е. Гаршина и К. Станюковича. Анненскій и Короленко вступили въ ближайшій составъ редакціи этого журнала и въ значительной степени поспособствовали подбору новыхъ сотрудниковъ къ этому органу печати и приливу сюда литературнаго матеріала изъ провинціи.

Я хорошо помню это время, когда некоторые деятели литературы даже как будто были недовольны, что около Михайловского занимают позицию вышепознанные представители провинциальной России. Новые «Минин и Пожарский» из Нижнего, — острелили они, и в ответ на эти остроты, раздававшиеся на дачь в Лыском у издательницы «Мира Божьего» Александры Аркадьевны Давыдовой, послѣдняя, бывшая в курсъ совершающагося, давала такое разъясненіе:

— Анненскій удивительный редакторъ и правщикъ статей. Если только онъ усмотритъ въ новомъ авторѣ искру таланта или нужную «направленность», онъ сумеетъ даже слабому неумѣлому произведенію придать нужную форму и обработку. Кромѣ того, Николай Константиновичъ въ сущности постъ разрыва съ С. Н. Кривенкомъ одинокъ и самъ лично трудно идетъ навстрѣчу новымъ знакомствамъ и связямъ. Старое изъ «Отечественныхъ Записокъ» вымираетъ или выбываетъ изъ строя (например, Гл. Успенскій), нуженъ приливъ новыхъ силъ. Вотъ тутъ-то Анненскій, благодаря общительности своего характера, укичивности и умѣнію ладить съ людьми, долженъ сыграть рѣшающую роль. Онъ свяжетъ «новыхъ людей» съ редакціей и редакторомъ «Русскаго Богатства».

Несомнѣнно, Анненскій оправдалъ въ полной мѣрѣ эти надежды, и на протяжении послѣдующихъ лѣтъ мы встрѣчаемъ его постоянно видимымъ деятелемъ столичной общественности, рядомъ съ Н. К. Михайловскимъ, и яркимъ представителемъ той громко высказанной оппозиціонной мысли, которая создавала извѣстное настроеніе въ широкихъ кругахъ столичной интеллигенціи, шедшее въ разрѣзъ съ волненіями тогдашней внутренней политики и подготавливавшее то движеніе въ сторону освобожденія отъ полицейскаго бюрократическаго режима, начало конца которому положено манифестомъ 17-го октября 1905 года. Очерчивая роль Анненскаго за тотъ періодъ, П. Милоковъ въ цитированной уже выше статьѣ говоритъ:

«Въ 1899 году и слѣдующихъ я уже наблюдалъ дѣятельность Анненскаго въ Петербургѣ, въ «Русскомъ Богатствѣ», въ литературномъ фондѣ, въ тогдашнемъ союзѣ писателей, въ вольномъ экономическомъ обществѣ... Прослѣдовали годы инкубации русскаго «освобожденія». Для Анненскаго они сопровождались новыми житейскими неудобствами. Ссылка въ Финляндію, ссылка въ Ревель, избиеніе на Казанской площади, жертвой котораго сдѣлался сперва онъ, а потомъ и протестовавшій противъ избиенія союзъ писателей... Событія шли быстро въ тѣ годы. Анненскій принималъ живѣйшее участіе въ организаціи и дѣятельности «союза освобожденія». При его дѣятельномъ участіи прошла кампанія знаменитыхъ банкетовъ декабря 1904 года, на которыхъ чеканились и популяризовались лозунги, сыгравшіе видную роль въ оба слѣдующіе года. Роль Анненскаго во всѣхъ этихъ событіяхъ была немаловажна. Никто другой не могъ такъ тактично сгладить углы, найти

общее среди книгѣвшихъ противорѣчіями споровъ, дать этому общему удовлетворяющее и мирившее всѣхъ выраженіе. Такую же роль игралъ онъ и въ возникшемъ вновь «союзѣ писателей», вошедшемъ въ извѣстный «союзъ союзовъ». Житейскій тактъ, сдержанность и умѣнье объединять и тутъ, какъ и на общественныхъ собраніяхъ, и въ ученоемъ обществѣ и въ редакціонныхъ дѣлахъ сказывались, преодолевая подчасъ препятствія, казавшіяся другимъ неодолимыми.

Особенно подчеркиваютъ всѣ знавшіе Анненскаго и писавшіе о немъ постъ его смерти его дѣятельность въ «союзѣ освобожденія». Свидѣтельница тогдашнихъ политическихъ событій г-жа Е. Кускова говоритъ по настоящему вопросу въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№ 175 за 1912 г.).

«Я живо помню Н. Θ. почти беззмѣннымъ предсѣдателемъ такъ называемой «большой» группы «союза освобожденія». Соціалистъ и народникъ по убѣжденію, Николай Федоровичъ отлично понималъ, что безъ реформы политической, — этой реформы всѣхъ реформъ, — не можетъ быть ни здороваго соціалистическаго воспитанія массы, ни широкой и успѣшной борьбы за экономические ихъ интересы. Понималъ онъ также и роль демократіи во всякомъ общественномъ движеніи: понималъ значеніе ея, какъ высшаго бродильнаго начала... Поэтому, вѣроятно, онъ безъ колебаній примкнулъ къ «союзу», на знамени котораго было написано: «Реформа политическая». Что Николай Федоровичъ разграничивалъ эти двѣ области, — движеніе соціалистическое и движеніе общественно-политическое, — показываетъ его поведеніе, какъ члена группы и члена совѣта «союза», претендовавшаго на руководство всѣмъ движеніемъ: онъ всегда былъ ярымъ противникомъ тѣхъ, кто предлагалъ союзу выработку точной экономической программы. «Господа, господа! — волнуясь и дѣлая свой характерный жестъ руками, кричалъ онъ. — Поймите же, что не можемъ мы, такіе разные, такіе съ разныхъ планетъ собравшіеся люди формулировать экономическіе пункты программы. Къ чему бы ни притрунулись мы, — къ вопросу аграрному, рабочему, — вѣдь это же будетъ первымъ шагомъ къ расколу: какъ можетъ либераль-земледѣцъ согласиться съ соціалистомъ? А между тѣмъ сейчасъ, въ этотъ моментъ, политическая задача у нихъ одна... Совсѣмъ не дѣло «союза освобожденія», организаціи, именно на это временное единство задачъ и рассчитанной, заниматься безцѣльнымъ, но труднымъ составленіемъ экономическихъ деклараций. Наме дѣло — заставить общество сдвинуться съ мертвой точки, заявить открыто о своихъ нуждахъ, а постъ оно и само сумеетъ разсѣлаться и защитить свои интересы». Какъ только кончилась миссія «союза освобожденія» и открылось поле для открытаго дѣйствія болѣе однородныхъ политическихъ единицъ — партій, — Н. Θ. примкнулъ къ партіи «народныхъ соціалистовъ», тотчасъ же обнародовавшей свою экономическую программу. Пока же «союзъ» былъ нуженъ, Н. Θ. поразительно ловко и тонко, съ приро-

женным тактом настоящего политика, умѣлъ сглаживать разногласія и направлялъ самую разнородную силу по одной линіи. Эта способность его была особенно цѣнна въ эти годы борьбы; она парализовала другую склонность: страсть русскихъ интеллигентовъ къ раздвиганію такихъ разногласій, которыя не имѣютъ ни малѣйшей практической или идейной цѣны. Его участію и его авторитету «союзъ освобожденія» въ значительной мѣрѣ обязанъ тѣмъ, что самые разнородные элементы «союза», борясь идейно внутри его, всегда стройно выступали въ дѣйствиіе.

Точно также и князь Д. И. Шаховской въ уже цитированной замѣткѣ свидѣлствуется:

«Черезъ десять лѣтъ пришлось столкнуться съ Анненскимъ въ работѣ по обслуживанію заграничнаго «Освобожденія», по созданію «союза освобожденія» и по работѣ въ немъ. Все время существованія «союза» Анненскій былъ членомъ его совѣта. Его громадному авторитету въ писательской средѣ и въ средѣ третьяго земскаго элемента въ значительной мѣрѣ обязанъ «союзъ» своимъ значеніемъ. Разъ взышавъ за это дѣло, Николай Федоровичъ основался къ нему съ удивительной добросовѣстностью. Только высылка изъ Петербурга лишила насъ его присутствія въ работахъ совѣта. А участіе въ засѣданіяхъ этого человѣка съ такимъ богатымъ жизненнымъ опытомъ, громаднымъ практическимъ умомъ и высокимъ нравственнымъ авторитетомъ вносило во всю дѣятельность нашу какую-то особенную спокойную увѣренность и силу. Удивительная скромность Николая Федоровича и стремленіе ступеваться вездѣ, гдѣ дѣло не требовало выступленій, готовность его съ головою уйти въ невыгодную, но необходимую работу—всѣ эти особенности его характера для многихъ, можетъ быть, отодвинули его фигуру на задній планъ. Но всякій, кому приходилось ближе сталкиваться съ нимъ на живой работѣ, знаетъ, какую первостепенной важности роль сыгралъ этотъ человѣкъ въ судьбахъ русской общественности за послѣднія двадцать лѣтъ».

1904—1905 годы были zenithомъ общественной дѣятельности Анненскаго, кульминационнымъ пунктомъ роста его имени, какъ представителя политической оппозиціи, гдѣ всѣ фракціи находили возможнымъ въ известные моменты объединяться около его личности и охотно избирали его председателемъ своихъ общихъ собраній и делегатамъ при посѣщеніи лицъ, стоявшихъ тогда у власти. Вспоминаніе о Николаѣ Федоровичѣ за тотъ періодъ, Д. Философовъ въ тепло написанной имъ статьѣ, напечатанной въ «Русскомъ Словѣ» (№ 176, 1912 г.), такъ обрисовываетъ его роль и позицію за тѣ годы:

«Расцвѣтъ его общественнаго вліянія въ широкихъ массахъ интеллигенціи совпадаетъ какъ разъ съ эпохой общихъ надеждъ и упований. Началась серія банкетовъ. Отлично помню большой банкетъ, приуроченный къ сорокалѣтнію судебныхъ уставовъ. Организовать эти банкеты «союзъ освобожденія», и Николай Федоровичъ, въ качествѣ одного изъ видныхъ членовъ

союза, игралъ на банкетѣ, вмѣстѣ съ В. Г. Короленкомъ, первенствующую роль. Народу было много. Нѣсколько сотъ человѣкъ. И Николай Федоровичъ очень вѣрно выражалъ общее настроеніе. Тогда мы всѣ были настроены радужно. Слышать свободное слово было необыкновенно отрадно. Партийныя разногласія ступевывались, всѣ чувствовали свое единство, и Николай Федоровичъ Анненскій воплощалъ это единство.

«Затѣмъ наступили гапоновскіе дни. Николаю Федоровичу мнѣ пришлось видѣть уже въ болѣе трагичной обстановкѣ. Это была ночь на 9-е января. Съ субботы на памятное воскресенье. Въ редакціи «Сына Отечества» набилось до ста человѣкъ. Настроеніе было тревожное. Всѣ знали, что на завтра предстоитъ кровавое столкновеніе. Задача состояла въ томъ, чтобы это столкновеніе предотвратить. Трудная задача, невыполнимая. Слишкомъ хорошо знали собравшіеся настроеніе обѣихъ сторонъ, знали, что компромиссъ между ними невозможенъ. Вся ночь прошла въ переговорахъ со сторонами. Одни ѣздили къ Гапону, другіе—къ князю Святополку-Мирскому. Въ числѣ депутатовъ, посланныхъ къ министру внутреннихъ дѣлъ, былъ и Николай Федоровичъ. Помню, съ какимъ нетерпѣніемъ всѣ ждали возвращенія депутата. Часъ былъ поздній. Чуть ли не полночь. Министръ могъ депутаціи не принять.

«И вотъ депутаты, наконецъ, вернулись. Арсеньевъ, Карѣевъ, Гессенъ, Набоковъ, Анненскій,—не помню, кто еще. Надо было видѣть волненіе добряшаго Николая Федоровича. Не знаю, спалъ ли кто въ эту ночь. Рано утромъ назначили свиданіе въ Тенишевскомъ училищѣ. Туда приносились печальныя, ужасныя вѣсти. Днемъ состоялся импровизированный митингъ въ публичной библиотекѣ. Николай Федоровичъ взобрался на столъ и, потрясая руками, говорилъ гнѣвную рѣчь. Слезы лились по его лицу. Было больно на него смотрѣть. Вечеромъ неутомимый старикъ говорилъ на грандиозномъ собраніи въ экономическомъ обществѣ, гдѣ остриженный и обритый Гапонъ извергалъ съ хоръ стариннаго зала свои хриплые проклятія, гдѣ Максимъ Горькій призывалъ къ борьбѣ».

«Послѣ январскихъ наступили октябрьскіе дни. Николай Федоровичъ былъ попрежнему неутомимъ. Но иногда въ его глазахъ пробѣгала уже какъ-я-то растерянность, неуловимая печаль. Помню, въ дни господства совѣта рабочихъ депутатовъ собраніе союза писателей въ большомъ Тенишевскомъ залѣ. Темнота кромѣшная. Залъ освѣщался двумя свѣчами. Дѣло шло о томъ, чтобы вынести какую-то никому ненужную резолюцію. Николай Федоровичъ ее формулировалъ со своей привычною опытностью, и всѣ этой резолюціи сразу подчинились. Онъ сошелъ съ кафедры,—не помню, кто его уговорилъ,—и, какъ-то согнувшись, сѣлъ на скамью. «Да, движеніе ушло изъ нашихъ рукъ»,—сказалъ онъ.—Нашъ долгъ, по крайней мѣрѣ, отъ него не отставать».

«Въ февралѣ 1906 года я уѣхалъ на три года за границу. Вернулся уже при третьей думѣ. Николай Федоровичъ сильно постарѣлъ. Сердечный недугъ мучилъ его. Но онъ остался тѣмъ же. Жизнь потекла сѣрая. Начались партійныя дразги, ссоры въ литературномъ обществѣ. Часто было не разобратъ, партійные ли это споры, или личные ссоры. И каждый разъ являлся Николай Федоровичъ, лишь «примирительный елея»,—и враждующимъ становилось стыдно. Къ концу концовъ Николай Федоровичъ снялъ съ себя званіе председателя общества, которое вскорѣ было закрыто.

«Потомъ русское общество встрепенулось въ Толстовскіе дни. Въ квартирѣ М. М. Ковалевскаго состоялось собраніе всевозможныхъ интеллигентскихъ обществъ для обсужденія вопроса о томъ, какъ устроить торжественное засѣданіе въ память Толстого. Павоса ни у кого не было. Всѣ какъ-то не вѣрили въ успѣхъ начинанія. И опять выступилъ Николай Федоровичъ. Опять внесъ какое-то благообразіе въ вялые разговоры усталыхъ людей».

Я не стану вкрапывать въ эти воспоминанія нѣкоторыя свои личные воспоминанія и впечатлѣнія отъ дѣятельности Анненскаго за тѣ же годы. И сказаннаго, кажется, довольно, чтобы дать себѣ ясный отчетъ объ его роли въ тогдашнихъ бурныхъ событіяхъ. Онъ горѣлъ тогда настоящимъ политическимъ огнемъ и то, что смутно грезилось старому шестидесятнику на зарѣ его молодой жизни, тогда до извѣстной степени переживалось и видѣлось имъ воочию. Въ этомъ отношеніи онъ оказался счастливѣе своего друга, Николая Константиновича Михайловскаго, котораго смерть похитила раньше, при самомъ лишь началѣ ломки стараго строя, на борьбу съ которымъ они оба положили столько силъ и стараній. Но если Анненскій тутъ оказался счастливѣе, зато принять активное личное участіе въ законодательныхъ функціяхъ возродившихся общественныхъ круговъ ему не было суждено. Н. П. Милоковъ по сему предмету свидѣтельствуетъ:

«Къ осени 1905 года, по мѣрѣ выясненія характера будущей государственной думы и будущаго избирательнаго закона, пути наши разошлись. Анненскій принадлежалъ къ той группѣ «освобожденцевъ», которая не захотѣла участвовать въ организаціи политической партіи. Кръжокъ ближайшихъ друзей Анненскаго началъ энергичную проповѣдь бойкота. Мнѣ казалось, что Анненскій подчиняется этой проповѣди нехотя и съ сожалѣніемъ. Я, по крайней мѣрѣ, помню его первоначальныя колебанія. Вѣрный всему своему прошлому, вѣрный той разнovidности «народничества», какая представлялась «Русскимъ Богатствомъ», Анненскій все же призналъ необходимость созданія политическихъ партій и участвовалъ со своими друзьями въ организаціи кадровъ для будущей партіи «народныхъ социалистовъ». Но благоприятный моментъ для активнаго выступленія уже тѣмъ временемъ прошелъ. Богатыя дарованія и огромный политическій тактъ Анненскаго такъ и не нашли себѣ примѣненія въ той сферѣ народнаго представительства,

появленію которой на Руси онъ такъ много содѣйствовалъ всѣмъ дѣломъ своей жизни».

Дальнѣйшая дѣятельность Н. Θ. Анненскаго, въ связи съ общими событіями отечественной жизни, нѣсколько потускнѣла. Старому «политику» и практику жизни не нашлось мѣста на законодательныхъ верхахъ обновленнаго государственнаго строя. Партійная дисциплина, повидимому, тутъ сыграла выдающуюся роль и сохранила для него до конца его дней всего лишь почетную общественную позицію, на которой онъ, однако, продолжалъ свою дѣятельность въ роли представителя оппозиціи именно въ томъ направленіи, которое когда-то исповѣдывалъ и какъ соучастникъ народовольческаго движенія, и которому прокладывалъ тропу, какъ участникъ «союза освобожденія». Я помню его слова въ одной изъ университетскихъ аудиторій въ дни митинговъ 1905 года. Онъ говорилъ: «Мы не обольщаемъ себя надеждою, что революція отпразднуетъ полную свою побѣду. Вѣроятно, она будетъ сломлена, и весь вопросъ въ томъ, гдѣ и когда она снова воскреснетъ». Съ этою вѣрою въ будущее воскресеніе этой «революціи» старый народоонецъ и крайній «освобожденецъ» и отошелъ въ вѣчность.

Въ заключеніе настоящаго краткаго очерка о Н. Θ. Анненскомъ приведу двѣ его характеристики, какъ человѣка и какъ культурнаго дѣятеля. Одна сдѣлана Д. Философовымъ, другая Θ. Ватушковымъ, и обѣ, какъ мнѣ кажется, дѣйствительно рельефно его обрисовываютъ. Первый изъ названныхъ писателей въ цитированной уже выше статьѣ говоритъ:

«Рѣдко кому выпадаетъ на долю прожить такую чистую жизнь, освѣщенную какимъ-то постояннымъ и упорнымъ «благоволеніемъ».

«Когда враги интеллигенціи,—а ихъ много, очень много,—говорятъ объ интеллигентской узости, о нетерпимости и фанатизмѣ нашихъ общественныхъ дѣятелей, я всегда вспоминаю Николая Федоровича.

«Вотъ типъ человѣка терпимаго, умѣвшаго своимъ благоволеніемъ къ людямъ покрывать, во имя общей цѣли, партійныя разногласія. Всю жизнь свою этотъ мягкій человѣкъ былъ безпощаденъ къ врагамъ свободы. Но въ своемъ, интеллигентскомъ лагерѣ, который постоянно раздраемъ спорами о самыхъ отвлеченныхъ предметахъ, гдѣ теоретическія разногласія часто переходятъ въ личную вражду, Николай Федоровичъ былъ постояннымъ умиротворителемъ. Онъ стоялъ на такой моральной высотѣ, онъ относился съ такой любовью къ враждующимъ, что передъ нимъ умолкалъ голосъ страстей и самолюбія. Связанный идейными и личными отношеніями съ кружкомъ «Русскаго Богатства», по міросозерцанію своему типичный позитивистъ, Анненскій былъ по натурѣ своей шире «Русскаго Богатства», шире позитивизма. Душа его была полна того милаго, честнаго, простодушнаго идеализма, которому тѣсно въ кружковщинѣ, въ «реальной» политикѣ. Въ, имѣвшие хоть какое-нибудь соприкосновеніе съ Николаемъ Федоровичемъ, отличнo это

знали. Поэтому редко кто из общественных деятелей пользовался таким моральным авторитетом, как покойный. Это был прирожденный третейский судья, мнение которого становилось законом. И когда надо было объединить разношерстную интеллигенцию, когда надо было пробудить в ней идею служения общему делу,—на сцену выступал Анненский. Его простая, задумчивая речь, его искренний пафос подкупали всех. Теперь люди стали черствее. После разгрома упований и надежд стали угрюмы и как-то озлоблены.

«Николай Федорович до конца дней своих сохранил то прекрасное душе, ту хорошую sentimentalность, секрет чего совершенно утеряны людьми нашего поколения».

Профессор Ф. Д. Ватюшков, немало поработавший с Н. О. Анненским в разных литературных организациях и на общественном поприще, так его описывал («Запросы Жизни», 1912 г. № 31):

«Обладая изумительной памятью и чрезвычайной отчетливостью воспоминаний, Николай Федорович говорил о событиях и лицах былых времен, иногда за сорок лет назад, как о вчерашних происшествиях, приводил на память цитаты и отбывшие словечки, сывал неоднократно, что вообще у русской интеллигенции «память коротка», и восстанавливал или разрушал репутации кроткими приведенным сообщениям, умственным напоминанием о действительно забытом или о неизвестном новым поколениям. К нему обращались за справками и свидетельствами по великим вопросам нашей общественной жизни, по крайней мере за полвека, и Николай Федорович никогда не оставался à court, с удивительной легкостью восстанавливал в памяти даже мелкие черты прошлого. Его широко знали в провинции, и масса приезжих местных деятелей или сотрудников провинциальной прессы обращались к нему, увверенные в неизменном радушии и готовности помочь, чем можно. Доброта его, часто при весьма нелегких личных обстоятельствах, могла выдержать любое испытание и, вообще, черта, которою Николай Федорович особо выделялся, это—способность сильно чувствовать, проникаться всецело чувством, что придавало особую красоту его облику».

«Это—свойство натуры человека, и проявлялось оно в разной форме, неизменно отбывая его благородные черты. Чувство делало его постоянным ходатаем и за «малых сих» при разбор прошений в литературном фонде, причем Николай Федорович отставив принцип дробных выдач, в виду происшедшей демократизации деятелей литературы. Чувство побуждало его вмешаться в историю избения студентов на Казанской площади, за что он и сам оказался избитым. Чувство внушило ему идею организовать особую депутацию к министру внутренних дел накануне ожидаемого выступления рабочих, под предводительством Гапона, в надежде предот-

вратить кровопролитие; но миссия не удалась, и в искренних ходатаях с целью предупредить несчастье заподозрили представителей небывалого «временного правительства». Чувство одушевляло лучшие речи Николая Федоровича на разных собраниях, ибо его красноречие не отличалось формальными качествами; его речь не была плавной, он часто искал слов, не договаривал фраз, слишком жестиктикуировал, не задавался цельной конструкцией речей, которые обыкновенно носили характер импровизаций, но подкупали и заражали подъемом настроения, пафосом, горячностью и искренностью одушевления. Чувство увлекало его иногда и к рязкому отпору, когда он заподозривал искренность дѣлаемых ему возражений, но чувство же приводило его и к примирению, когда недоразумение разъяснялось и «партийная разногласия» входили в обычное русло принципиальной полемики. Ибо Николай Федорович, сглаживая остроту отношений присутствием ему доброжелательством ко всем честно, хотя бы и инако мыслящим, тем та группа русской интеллигенции, к которой он принадлежал, отнюдь не доводил до безразличия и сам занимал вполне определенную позицию по вопросам «народников», к которым он в свое время принадлежал. Но выше партийных разногласий он ставил общность в стремлении к одному идеалу. Полемику он признавал и даже радовался возможности устраивать как бы своего рода диспуты между представителями разных фракций прогрессивных кругов нашей литературы; он умел симпатизировать духу даже при расхождении в формах и формулах. Этим определяется его «междупартийность», допускавшая принадлежность к определенной партии. Вся его деятельность была согрета и как бы санкционирована гуманизмом чувства, сообщавшего главное обаяние его личности. И оттого так тяжела его утрата и такая большая пустота образуется после его ухода от нас. И нет ему преемника, ибо отходить все поколения, получившее свое общественное крещение в святую эпоху шестидесятых годов, одним из последних представителей которой был Николай Федорович Анненский. Сам он почил на 70-м году жизни, «почил» в буквальном смысле, как, по легендам, умирают «безобользованно и мирно» праведники, люди с чистой совестью и безупречной честью, каковым был и Николай Федорович: он уснул с вечера, весело и бодро, разставшись с членами своей семьи, с лучшим своим другом и товарищем по деятельности, Владимиром Галактионовичем Короленком, уснул—и уже больше не проснулся перед переходом в вечность».

Несмотря на глухое лѣтнее время, невыгодное для показной стороны литературных похорон, последние протекали при торжественной обстановке согласно данным репортажа «Русских Вѣдомостей» и «Виржевых Вѣдомостей». На вокзал встрѣтить прибывший из Финляндии гроб с прахом почившего собрались представители литературы, журналистики, об-

жественных организаций, В. Г. Короленко, С. А. Венгеровъ, П. Н. Милковъ, В. Д. Набоковъ, Г. А. Фальборкъ, В. И. Семевскій, О. И. Родичевъ, В. В. Водовозовъ, Н. В. Чайковский, И. Н. Потапенко, Н. С. Русановъ, князь Шаховской, Л. Ф. Пантелъевъ, О. Д. Ватюшковъ, О. Воропоновъ, Зарудный, Шнитниковъ, Рихтеръ. Тысячная толпа провожала печальный corteжъ до Волкова кладбища. Возложены вѣнки отъ вольнаго экономического общества—«своему незабвенному почетному члену», отъ «Русскаго Богатства»—«дорогому, незабвенному Николаю Федоровичу», отъ «Русскихъ Вѣдомостей»—«борцу за правду и право», отъ «Запросовъ Жизни»—«хранителю лучшихъ завѣтовъ русской литературы», отъ журналовъ «Городское Дѣло» и «Земское Дѣло»—«поборнику народнаго самоуправления», отъ группы статистиковъ городской управы и много другихъ. Послѣ отпѣванія состоялось погребеніе на Волковомъ кладбищѣ. Могила Анненскаго находится между могилами Якубовича-Мельшина, Южакова и Скабичевского. Говорили Короленко, Семевскій, Фальборкъ, Набоковъ, Русановъ и другіе.

«Мы похоронили Николая Федоровича»,—сказалъ Короленко.—«Кто-нибудь другой разскажетъ вамъ, вѣроятно, какой онъ былъ писатель и общественный дѣятель, а я же хочу сказать только о томъ, какой онъ былъ человекъ. Византийцы изображали около головы святыхъ свѣтлые кружки, какъ символъ святости. Когда я вспоминаю Николая Федоровича у этой могилы, я чувствую, что онъ былъ свѣтлѣйшій человекъ; во всей его дѣятельности ощущалось присутствіе свѣта, нѣчто нравственное и обаятельное; его величіе было какое-то особенное, оно шло изнутри, согрѣтое особымъ свѣтомъ. Сердце устало отъ кипучей работы. Это его утомляло, но это же было его жизнью. Большое счастье умереть за работой. Николай Федоровичъ не зналъ агоніи старости, онъ ушелъ, оставивъ у насъ воспоминаніе свѣтлаго чуднаго дня, который мы провели съ нимъ наканунѣ его смерти. Утромъ мы застали его навѣки уснувшимъ. Николай Федоровичъ говорилъ всегда ярко, онъ любилъ стихи и часто приводилъ другіе: «Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ». Онъ оставилъ свѣтлую память и глубокую благодарность за то великое, что онъ творилъ въ жизни. Съ тоской о томъ, что его нѣтъ, чувствуешь и облегченіе при мысли, что въ жизни бывають такіе свѣтлые люди». Набоковъ говорилъ отъ имени литературнаго фонда. Онъ сказалъ, что Николай Федоровичъ Анненскій всегда стоялъ на стражѣ чести и достоинства русской литературы. Фальборкъ сказалъ: «Пока русская земля родитъ такихъ людей, мы можемъ надѣяться на свѣтлое будущее». Семевскій охарактеризовалъ покойнаго, какъ выдающагося общественнаго дѣятеля.

Телеграммы съ выраженіемъ соболезнованія по случаю кончины Николая Федоровича долго и послѣ похоронъ продолжали поступать въ редакцію «Русскаго Богатства», свидѣтельствуя о популярности почившаго общественнаго дѣятеля среди широкихъ круговъ русской интеллигенціи.

Н. П. ВАРСУКОВЪ.

Въ 12 часовъ 30 минутъ пополудни 23-го ноября 1906 года скончался, послѣ продолжительной болѣзни, Николай Платоновичъ Барсуковъ. Для меня эта смерть была вдвойнѣ тяжела: я расстался навсегда съ писателемъ, котораго высоко ставилъ и чтилъ, которому обязанъ многими хорошими часами при чтеніи его трудовъ, я потерялъ добраго знакомаго, котораго зналъ съ дѣтства и съ именемъ и образомъ котораго соединяются у меня дорогія воспоминанія о давно-быломъ, о всемъ томъ, милымъ и близкимъ сердцу, что отошло въ настоящее время въ область однихъ лишь грустныхъ воспоминаній. Хотя и не часто приходилось, но я любилъ бывать въ удивительной по своей обстановкѣ квартирѣ, занимаемой обоими братьями Барсуковыми, Н. П. и А. П., какъ значилось на ихъ дверной досчкѣ. Здѣсь, въ легкомъ полумракѣ, при тихомъ сіяніи лампадъ передъ иконами, въ окруженіи полками съ книгами и портретами и видами изъ русской жизни, какъ-то становилось тихо и спокойно на душѣ, мысль отрывалась отъ злободневной суеты и переносилась въ прошедшее историческое и бытовое, о которомъ у меня съ Николаемъ Платоновичемъ всегда находилось что поговорить, и въ особенности о бытовомъ, гдѣ для насъ обоихъ были похоронены дорогія воспоминанія. Объ этомъ бытовомъ быломъ покойный съ особенною любовью распространялся, возстановляя въ памяти и дорогіе, отошедшіе въ вѣчность образы, и тѣ, въ своемъ родѣ провинціальныя, культурные центры, тѣ дворянскія гнѣзда, отъ которыхъ всеокрушающее время не оставило нынѣ почти никакого слѣда. Въ этихъ центрахъ Николаю Платоновичу видѣлась историческая Россія во всемъ ея органическомъ цѣломъ, откуда на него вѣяли разныя эпохи и чѣмъ далѣе уходила историческая перспектива, тѣмъ какъ бы ярче возстаивали передъ нимъ разные представители родовъ, слуги государевы и вѣрные сыны Россіи, стоявшіе на стражѣ ея чести, могущества и силы.

Покойный Барсуковъ мнѣ былъ дорогъ еще по совершенно особому обстоятельству: онъ былъ первымъ ученымъ писателемъ, съ которымъ на зарѣ моей жизни судьба меня поставила лицомъ къ лицу, и притомъ въ такой средѣ и обстановкѣ, которая рѣшительно не имѣла ничего общаго ни съ наукой, ни съ литературой. Я живо вспоминаю тѣ шумные праздничные дни—канунъ новаго года и ночь Свѣтлаго Воскресенія,—когда въ довольно богатомъ домѣ одного петербургскаго крупнаго чиновника, гдѣ собиралось въ эти ночи за праздничной трапезой большое общество, интересы котораго сосредоточивались по преимуществу въ большихъ и малыхъ шлемахъ, въ городскихъ слухахъ и въ будничныхъ интересахъ веселаго характера, вдругъ появлялись, послѣ церковной ночной службы, Н. П. Барсуковъ, въ сопровожденіи своего брата, Александра Платоновича. Средняго роста, сухощавый и сутуловатый, съ головою, какъ нѣкоторые говорили, «Николая Чудотворца древняго письма», въ старомодномъ, застѣгнутомъ на всѣ пуговицы, поматомъ фракѣ, изъ-подъ обшлаговъ котораго высывались борты чистыхъ рукавичекъ, но обязательно обтерпанные и съ бахромкой,—вошедшій въ комнату новый гость являлся полной противоположностью свѣтско-чиновному обществу. Нѣсколько скользящей, старомодной походкой, съ почтительными поклонами, Николай Платоновичъ всегда приближался къ своему родственнику-хозяину дома съ обычнымъ привѣтствіемъ: «По примѣру прошлыхъ лѣтъ, сочи должнымъ...»

— А, братъ Николай, Александръ, здравствуйте! Ну, здравуйтесь скорее и догоняйте,—таковъ былъ обычный отвѣтъ съ указаніемъ на батарею графिनъ и бутылки.

Все общество съ любопытствомъ озирало совсѣмъ не свѣтскую фигуру уже ставшаго тогда извѣстнымъ археолога и историка, съ образомъ котораго у всѣхъ присутствовавшихъ соединялось смутное представленіе о какихъ-то тамъ Стровыхъ, Кубаревыхъ, Погодинныхъ, разныхъ архіереехъ и русскихъ святыхъ, которымъ нѣкоторые изъ присутствовавшихъ въ извѣстные моменты жизни ставили свѣчи, но о которыхъ затѣмъ старались поменьше вспоминать. Вскорѣ по приходѣ Николай Платоновичъ устраивался гдѣ-либо сбоку, недалеко отъ центра хозяйскаго стола, и не проходило какого-нибудь часа, какъ около него закипалъ горячій споръ. Тамъ, около столовой, въ большомъ бѣломъ залѣ лились звуки вальса, шелкали шпory и рѣяли цвѣтныя праздничныя дѣвичьи платья, кружились юныя пары влюбленныхъ, слышались смѣхъ и игривый разговоръ, а тутъ, въ столовой, чудакъ-археологъ, потрясая протянутымъ впередъ сжатымъ калякомъ (любимый жестъ Николая Платоновича во время спора), уже доказывалъ громко и горячо собесѣдникамъ о подлости поступка какого-нибудь ученаго или литератора, позволившаго себѣ безъ достаточнаго почтенія и съ неподходящимъ легкомысліемъ отнестись къ авторитету выдающагося изслѣдователя церковной

жизни. Нѣсколько запинаясь въ рѣчи, слегка картавя, Барсуковъ въ доказательство своей правоты скандировалъ любимые стихи стариннаго русскаго поэта, приводить цитаты изъ лѣтописи или поученія того или много русскаго святителя. Собесѣдники взирали съ удивленіемъ и порою съ нескриваемою усмѣшкою на разгорячившагося ученаго оригинала, а тотъ, забывая окружающую его обстановку и ея характеръ, продолжалъ метать громы и молніи въ своихъ враговъ и наносилъ имъ—и словами, и жестами—сокрушительные удары... И уже тогда, въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, я, молодой гимназистъ, чувствовалъ, что между мною, тогда еще и не дерзавшимъ мечтать о литературномъ поприщѣ, и этимъ спорщикомъ завязываются какія-то духовныя нити, прочность которыхъ скажется лишь въ послѣдствіи.

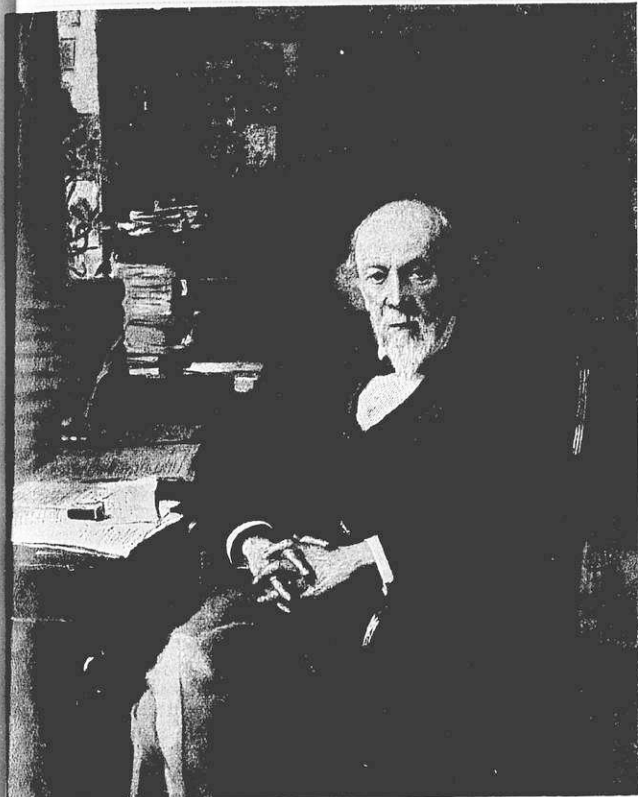
Меня, тогда «либерала и нигилиста», какъ въ томъ меня упрекалъ Николай Платоновичъ, въ особенности прельщала его оригинальность ума, смѣлость имѣть по предметамъ свое особое сужденіе, совершенно не модное и противорѣчивое установившимся банальнымъ мнѣніямъ, его запасъ свѣдѣній о русской жизни въ ея историческомъ развитіи и глубокая и горячая любовь къ родинѣ. Никогда не забуду одного горячаго спора, относящагося ко времени русско-турецкой войны, когда все собравшееся общество выражало наперерывъ горячее сочувствіе славянству и негодованіе по поводу турецкихъ звѣрствъ и коварной политики Альбіона. Одинъ Барсуковъ оставался непреклонно при особомъ мнѣніи. По его словамъ, намъ нечего совѣщаться въ балканскія дѣла, славяне намъ не заплатятъ признательностью за «освобожденіе», намъ достаточно и своего дѣла дома; онъ говорилъ, что Европа намъ не проститъ громкихъ побѣдъ, что Россія войною будетъ ослаблена и извнѣ, и изнутри, что турки вовсе не такъ плохи, какъ ихъ рисуютъ славянофилы и либеральная пресса, что славяне еще покажутъ себя въ настоящемъ свѣтѣ и т. д., и т. д. Всѣ громко негодовали противъ говорившаго, готовые объявить его чуть ли не измѣнникомъ отечества, а онъ стойко, противъ общаго теченія, оставался при своемъ и въ тотъ часъ являлся дѣйствительнымъ пророкомъ и Берлинскаго конгресса, и стамбуловской политики, и террористическихъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, и той путаницы въ дѣлѣ внѣшней политики, которую мы не можемъ развязать и поднестъ.

Николай Платоновичъ не плылъ по теченію и не скрывалъ никогда и ни при какой обстановкѣ своихъ взглядовъ и убѣжденій, имѣя всегда мужество высказывать свое исповѣданіе—политическое, общественное и научное—громко и откровенно. Зналъ, напримѣръ, о моихъ близкихъ отношеніяхъ къ профессору Оресту Федоровичу Миллеру, Барсуковъ возставалъ противъ этой близости, утверждая, что руководство профессора не пойдетъ мнѣ въ прокъ, отобьетъ лишь отъ науки и пріучитъ къ политиканству, чего онъ не допускалъ въ дѣлѣ научнаго знанія. Популярность Миллера, его преданность

основам русской жизни в данном случае не останавливали говорившего и не подкупали некоторым, как бы кажущимся, общим исповеданием веры. Во всем славянофильстве ему чуждось нечто излишне шумное и крикливое, он видел в нем слишком мало церковного элемента и древне-русской исторической пластики. Его сердцу больше говорили «дни минувшие и рвыч, уж замолкшие давно», чем «малиновый звон» современной рвычи главарей неославянофильства. Отсюда и его несочувствие Миллеру, и его нападки на меня.

При всем частом нашем несходстве во взглядах и убеждениях, покойный Барсуков, однако, относился, в общем, сочувственно к избранному мною литературному поприщу и сердился, если узнавал, что я отвлекаюсь от пера и чернильницы ради каких-нибудь, по его мнению, эфемерных жизненных благ. Для него наука и литература были вся жизнь, и, когда, бывало, судьба меня занесет в его уютную и тихую обитель, он радушно и приветливо встречал своего рецензента, так долго исчезавшего с его горизонта. «А!» всегда приветствовал Николай Платонович, как бы с некоторым удивлением, мой приход и тотчас же завязывал интересную беседу о моих литературных работах, или пускался в объяснения по поводу моей последней рецензии на его труд о Погодине, переходившие часто с его стороны в горячие монологи, направленные против современного направления литературы вообще и ее представителей в частности. Но эта горячность, переходившая порою в резкость, приправленную сильными словом, не являлась источником глубокой и непримиримой злобы. Вдруг в самый разгар своей сердитой тирады он вспоминал, что сокрушаемый им автор оборонился добрым словом по адресу того или другого из близких сердцу Николая Платоновича деятелей науки, и он сразу как-то смигчался и, ради этого доброго слова, готов был простить ему его прочие проделзости.

Посещение квартиры братьев Барсуковых, помимо интереса беседы, привлекало и тою воистину музейной обстановкой, в которую приходилось погружаться. Все здесь говорило о России, о ее жизни, ее истории, о ее бывших деятелях на самых разнообразных поприщах. Сами обитатели этой обстановки как-то уходили на второй план, а на первый выступало то идейное и историческое, чему эти обитатели служили всю свою жизнь. «Каким мы с братом квартирные хозяева, мы—скромные «музейские сторожа», служители вот этого, долгими трудами и годами собранного, исторического музея»—говаривал покойный Барсуков. И, действительно, как бы в подтверждение сказанного можно было убедиться, что личному элементу в квартире отведено до-нельзя мало. Достаточно сказать, что Николай Платонович даже не имел собственной спальни и собственной кровати и, несмотря на свой пожилой возраст, по необходимости требующий



Н. Барсуков

покою и комфорта, которые он так заслужил, ограничивался скромным небольшим кожаным диванчиком, служившим ему местом ночного отдыха и расположенным в углу первой комнаты прямо от входа, являвшейся вместе с тем и его рабочим кабинетом, где им было восстановлено и освещено перед потомством столько памятников родной старины. В «музее» не было заведено и обычного домашнего хозяйства—не было собственной кухни на потребу невысказанных старых холодушек-братьев. Обед и ужин, очень скромные и невысказанные, приносились в определенные часы из ближайшего ресторана или клуба, и так это практиковалось во все те сорок слишком лет жизни, что «скромные музейские сторожа» прожили в бывшем доме Тура на Большой Морской.

Да, все в этой обстановке и этом обиходе было оригинально, своеобразно, не от века сего. И не то, чтобы установитель этого обихода отличался какими-нибудь аскетическими наклонностями или стремился к оригинальности ради его самого. Нет, Николай Платонович далеко не был аскетом—он любил и добрый стакан вина, и дружескую партию в вист, и полуночную веселую беседу с приятелем, но все это были те мелкие и как бы случайные моменты поведенческой жизни, которые совершенно исчезали в широкой и глубокой области его духовной жизни. Эта духовная жизнь стояла превыше всего, и ей-то отведен был каждый уголок, каждый простенок в квартире-музее. Полки, бесконечные полки книг вдоль стен, а там, где только оставался хоть вершок свободного от книг или мебели места, там длинными рядами, от потолка и до самого пола, висели живые памятники русской жизни—образы тех ее представителей, которые были близки уму и сердцу Варсукова. Вот стена, сверху до низу увешанная портретами русских ученых и писателей—Державин, Крылов, Жуковский, Вяземский, Пушкин, Гоголь, Аксаков, Погодин, Костомаров, Соловьев, Вычужь и пр., и пр.—эта одна галерея. Вот простенок—и на нем портреты разных представителей русских родов в самых разнообразных положениях, и в одиночестве, и группами; вот уголок с карточками родни; вот старинная усадьба, изображения церковных обителей, церквей и монастырей, древних и новейших. А вот и последняя комната квартиры—знаменитая «патриаршая палата». Не знаю, найдется ли такой деятель нашей современной церковной жизни, который бы с такою любовью, таким старанием и такою полнотою собрал у себя столь обширную галерею портретов русских иерархов и деятелей православной церкви, как то сделал Николай Платонович. Сомневаюсь. Эта служившая столовою комната только серединным обделенным столом и скромным маленьким буфетным шкапчиком напоминала о своем прямом назначении; в остальном это была часть обширного русского исторического музея, отведенная под церковную жизнь. Святители, митрополиты,

архиереи, архимандриты, настоятели монастырей, представители блага духовенства, начиная с столичных именитых и кончая скромными провинциальными и сельскими, разных вѣков и эпох, глядя на вас со всех сторон, и вы начинаете понимать ту действительно органическую связь, тесную и нерушимую, которую запечатлѣвались труды Николая Платоновича, между ним, как автором и человеком, и тою областью духовной русской жизни, которая так выразительно глядела на вас со стен «патриаршей палаты». Он тщательно собирал эти дороги ему изображения, надписывал их, отмѣчал здесь нужные даты и прикрѣплял къ стѣнѣ, стараясь как можно полнѣе охватить этими изображениями столь родную ему сторону отечественной жизни, которой он был вѣрным и любимым сыном. Мнѣ доподлинно извѣстно, что нѣкоторые из тѣхъ представителей церковной иерархіи, которые украшали собою «палату», совершенно даже не знали объ этомъ. Ученый хозяинъ квартиры, слышавшій о дѣятельности этого лица, будь то въ области научнаго знанія или религіозно-философскаго просвѣщенія, и находя эту дѣятельность согласною съ историческими основами русской жизни, снѣжились пріобрѣсти портретъ этого лица, не будучи совершенно съ нимъ знакомъ, и помѣщалъ его въ своей портретной галерей. На другой стѣнѣ той же столовой комнаты, вперемежку между церковными дѣятелями, помѣщались имъ и наиболѣе близкіе ему почитатели его «палаты», съ шутливою надписью, какъ, напримѣръ, «соборный старецъ (имя рекъ) патриаршей палаты»; третья стѣна украшена была видами и сценами изъ церковной жизни, и тутъ же помѣщались и церковные остатки старины, которые ему удавалось пріобрѣсти во время своихъ многочисленныхъ странствованій по Россіи.

Библиотека Николая Платоновича представляла собою все наиболѣе выдающееся въ нашей литературѣ по части русской исторіи, церковной жизни, археологій, классической отечественной литературы. Вульварныхъ и повѣйшихъ романовъ, политическихъ памфлетовъ и брошюръ сюда не пріобцалось; все было систематизировано въ строгой и серьезной послѣдовательности, и на всѣхъ полкахъ лежалъ отпечатокъ настроенія ума и мысли хозяина квартиры. Но высую его гордость составляла та полка, на которой въ дорожныхъ и изящныхъ переплетяхъ расположены были труды его собственные и его братьевъ, Александра и Ивана Платоновичей. Длинная веренища томовъ о Погодинѣ, разныя другія его работы, до брошюръ включительно, обширные томы «Рода Шереметевыхъ», книги о Муравьевѣ-Амурскомъ и Иннокентіи Сибирскомъ—вотъ те вещественныя памятники, которые свидѣтельствовали о многотѣхнихъ и неустанныхъ трудахъ «музейскихъ сторожей». Николай Платоновичъ съ особенною любовью подводилъ почитателей къ этой полкѣ и, торжественно указывая на корешки книгъ, говорилъ: «Не даромъ прожили свой вѣкъ, внесли и свою лепту въ сокровищницу русской

мысли. Будетъ чѣмъ помянуть!» И въ этихъ словахъ чувствовалась не гордость пустого тщеславія, а сознательное отношеніе къ своимъ жизненнымъ обязанностямъ и своему долгу передъ родиной. И всего умильнѣе было въ данномъ случаѣ, что говорившій совершенно откровенно и чистосердечно приписывать и свою, и своихъ братьевъ способность къ труду и работѣ той трудовой жизненной школы, которая, по волѣ его родителя, выпала имъ на долю.

— Вотъ-съ,—говорилъ онъ,—за другими нашими сверстниками ходили, съ ними носились и къ нимъ приставляли разныхъ гувернеровъ и учителейницъ. И что же вышло? Ничего. А вотъ нашъ папаша,—и онъ съ почтениемъ обращался къ портрету своего отца, Платона Александровича, вѣсившему на видномъ мѣстѣ серединной комнаты,—далъ намъ, что могъ: своекоштное воспитаніе въ корпусѣ, поставилъ, такъ сказать, на ноги, и затѣмъ отпустилъ на всѣ четыре стороны: учиться, молъ, сами жить! И научились, выбились, и вотъ доказательство». И онъ опять съ любовью взиралъ на заветную семейную полку.

Въ этихъ словахъ, обнаруживающихъ сыновнюю преданность и признательность и служащихъ какъ бы выполненіемъ заповѣди: «Чти отца твоего и матеръ твою, да благо ти будетъ и долголѣтѣе будиши на земли»—для меня, напримѣръ, знавшего довольно близко покойнаго Платона Александровича, конечно, слышалось преувеличеніе и приписываніе человѣку того, чего онъ сознательно не заслужилъ. Если Николай Платоновичъ достигъ чего въ жизни и для себя лично, и для своихъ братьевъ, то этимъ, вѣтъ всякой педагогической семейной системы, онъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ, своей настойчивости и тому чудесному и таинственному, которое является источникомъ силы воли, таланта и любви къ труду. Покойный Барсуковъ, что называется, собственнымъ горбомъ ваялъ жизнь, создалъ себѣ почетное имя въ наукѣ, поставилъ на ноги братьевъ, прихотилъ ихъ къ литературному труду и тѣмъ самымъ создалъ и имъ добрую именъ въ памяти поколѣній. Все онъ и онъ одинъ; своеобразно сложилъ онъ свою жизнь, создалъ свое оригинальное міросозерцаніе, вылился въ опредѣленную общественную величину съ большимъ еще историческимъ будущимъ и, по собственному выбору, наполнилъ эту жизнь такимъ содержаніемъ, для котораго въ родительскомъ домѣ и въ той средѣ, откуда онъ вышелъ, не было матеріала. Сыновній идеализмъ создавалъ произвольно опредѣленную легенду, въ которой умалось его личное «я», и въ этомъ опять-таки сказывалась своеобразность его природы, которая вѣчно искала историческихъ традицій и создавала картины чѣлостности русской бытовой жизни. Иногда, впрочемъ, въ шутку, когда заходила рѣчь о наслѣдственности его литературныхъ дарованій и вкусовъ, онъ говорилъ: «Нѣтъ, я—не въ Барсуковыхъ и не въ Вартеневыхъ, а въ Перепечинныхъ», связывая, такимъ образомъ, свою работу въ области

печатнаго слова съ именемъ стихотворца Перепечина, писавшаго въ XVIII вѣкѣ и приходившагося ему съ материнской стороны роднымъ дѣдомъ.

Родъ Барсуковыхъ—древній, и «начало его теряется во мракѣ таинственной мещеры», какъ утверждалъ покойный Николай Платоновичъ. Первые документальныя свѣдѣнія объ этомъ родѣ почерпаются изъ отказныхъ книгъ, гдѣ значится, что мещеракамъ Самойлѣ Степанову и Степану Семенову была отказана въ 1671—1674 г.г. въ Шацкомъ уѣздѣ, въ Борисоглѣбскомъ станѣ, деревня Матюнино, Макасково-тоятъ, на рѣчкѣ Писурѣ. Эта вотчина впоследствии получаетъ наименованіе «Барсуки» и сохраняется во владѣніи Барсуковыхъ вплоть до крестьянской эмансипаціи, когда Платонъ Александровичъ ее продалъ ради поддержанія имѣнія своей второй супруги, Варвары Герасимовны, принесшей ему въ приданое имѣніе Ивановку, въ Козловскомъ уѣздѣ Тамбовской губерніи. Большая часть Барсуковыхъ, до Платона Александровича включительно, служила въ военной службѣ, и только его сыновья начинаютъ собою служеніе по гражданскому вѣдомству¹⁾. Платонъ Александровичъ былъ женатъ дважды: въ первый разъ на Аполлиаріи Ивановнѣ, урожденной Вартеновой, и вторично на сказанной Варварѣ Герасимовнѣ, изъ рода Каратѣвыхъ. Отъ второго брака у него потомства не было, а первая супруга подарила ему четырехъ сыновей: Николая, Александра, Ивана и Михаила. Вступленіе отца во второй бракъ не принесло особеннаго счастья юнымъ Барсуковымъ, и мачеха, какъ бы на живомъ примѣрѣ, подтвердила народныя преданія объ отношеніяхъ мачехи къ пасынкамъ. Я близко зналъ покойную Варвару Герасимовну, эту умную женщину съ мужскими замашками, державшую подъ крѣпкимъ башмакомъ своего тучнаго и нѣсколько легкомысленнаго супруга, бывшаго армейскаго гусара, любившаго жить воспоминаніями о холостой полковой жизни и о своихъ похожденияхъ въ разныхъ захолустяхъ Польши. Когда супругъ, подъ вліяніемъ какой-нибудь хмельной браги, ужъ слишкомъ, бывало, разоткровенничается, Варвара Герасимовна вынимала изо рта длинный черешневый мундитутокъ, изъ котораго она постоянно курила, вскидывала свои строгіе глаза на мужа и рѣзко обрывала его легкомысленныя воспоминанія. Супругъ тотчасъ ступевывался, а окружающіе получали отсюда обильную пищу для шутокъ надъ семейною парой обывателей Ивановки, подпѣвая шуточный куплетъ:

О Боже, ты мой Боже,
Когда бъ Варвара тоже
Была бы помоложе—
Приблизительно...

¹⁾ Впрочемъ, А. П. Барсуковъ нѣсколько лѣтъ служилъ офицеромъ въ одномъ изъ драгунскихъ полковъ.

Держа въ сѣковыхъ рукавицахъ мужа, мачеха не очень-то раскрывала свое сердце для пасынковъ, которые также въ ея присутствіи не особенно чувствовали себя привольно на своихъ сыновнихъ мѣстахъ¹⁾. По обычаю помѣщиковъ стараго времени, мальчики, когда подросли, были определены на свой коштъ въ ближайшій воронежскій кадетскій корпусъ, который старшіе два—Николай и Александръ—благополучно и кончили.

По окончаніи въ 1859 г. курса въ корпусѣ и въ Константиновскомъ училищѣ Николай Платоновичъ не былъ принятъ за свое сложеніе на военную службу, и вотъ 21-го года отъ роду (онъ родился 18-го ноября 1838 г.) Барсуковъ оказался предоставленнымъ самому себѣ, почти безъ всякой поддержки изъ дому и отъ родственниковъ. Наступилъ страшно трудный періодъ жизни, когда пришлось бороться каждый день за существованіе и собственными единичными силами пробиваться и опредѣлять себѣ жизненный путь. Въ это же время его потянуло къ научнымъ занятіямъ, и въ августъ 1859 г. онъ зачислился вольнымъ слушателемъ въ петербургскій университетъ. «На мое счастье, каведру русской исторіи занялъ Н. И. Костомаровъ»,—повѣствуетъ Барсуковъ въ брошюрѣ «Воспоминанія о Н. И. Костомаровѣ и А. Н. Майковѣ»,—и съ ноября того же 1859 года началъ свои вдохновенныя лекціи. Всѣ онѣ, отъ первой до послѣдней, были мною записаны. Мнѣ довелось быть свидѣтелемъ и славы Костомарова, и захожденія этой славы въ 1862 году.

«Иныхъ, какъ говорятъ, лекціи Костомарова влекли на площадь; меня же неудержимо потянули онѣ къ «Полному Собранію Лѣтописей», изданному по высочайшему повелѣнію археографической комиссіей; а потому я и до сей минуты съ благодарностью и благословеніемъ поминаю и буду почитать до скончанія моей жизни это почитное имя...

«31 марта 1861 года Костомаровъ прочелъ свою послѣднюю лекцію въ университетѣ, а въ самомъ началѣ мая я уѣхалъ въ тамбовскую деревню моихъ родителей, въ селцо Ивановку. Такъ какъ Костомаровъ предполагалъ читать въ слѣдующій 1861—1862 академическій годъ въ Московскомъ государствѣ, то я счелъ полезнымъ пробыть нѣкоторое время въ Москвѣ, чтобы на мѣстѣ сколько-нибудь ознакомиться съ кремлевскимъ древностями; но, не имѣя въ то время въ Москвѣ ни руководителей, ни нужныхъ книгъ, я и въ половину не могъ достигнуть своей цѣли. Пробывъ въ Москвѣ съ 8-го до 20-го мая, я уѣхалъ въ деревню, а тамъ занялся приведеніемъ въ порядокъ записанныхъ мною лекцій Костомарова».

Проживая въ деревнѣ, Барсуковъ случайно узналъ изъ газетъ о закрытіи университета и о срокѣ подачи новыхъ прошеній для поступленія туда, какой срокъ имъ, однако, былъ уже значительно пропущенъ. Онъ посылаетъ рек-

¹⁾ Послѣ ея смерти Ивановка была отказана въ родѣ не Барсуковыхъ, а Сальковыхъ.

тору Плетневу прошеніе о своемъ приѣмѣ, съ указаніемъ причинъ запозданія прошенія; вслѣдъ за письмомъ шлетъ другое, своего родственника, подтверждающее первое, но не дожидается отвѣтовъ и спѣшитъ скорѣе лично къ невискимъ берегамъ.

«На другой день по приѣздѣ,—продолжаетъ Барсуковъ свое повѣствованіе,—побѣждалъ я въ университетѣ, но на дверяхъ прочелъ безотрадное:

Оставь надежду навсегда!

«Вхожу и что же вижу? Безжизненную пустыню на мѣстѣ оживленнаго храма науки, и мерзость запустѣнія воцарилась на святомъ мѣстѣ! Въ университетскомъ правленіи отыскиали, по моей просьбѣ, мое письмо, на которомъ я прочелъ своеручную резолюцію П. А. Плетнева: *Исполнить желаніе г. Барсукова*, т. е. получить матрикулы. Но, выйдѣвъ съ тѣмъ, чиновники университетской канцеляріи сказали мнѣ, что университетъ закрытъ и неизвѣстно, когда откроется...

Удалитесь, улетите,
Пылкой юности мечты!

«Итакъ, собравъ *крупицы*, добытыя мною двухлѣтнимъ усиленнымъ трудомъ съ трапезы науки, я положилъ бережъ ихъ и по возможности приумножить...

«14-го января 1862 года я рѣшилъ написать слѣдующее письмо къ П. И. Костомарову: «Имѣя честь быть послѣдніе два академическіе года однимъ изъ постоянныхъ вашихъ слушателей, я рѣшилъ обратиться къ вамъ съ всепокорнѣйшей просьбой: не откажите мнѣ удѣлить нѣсколько минутъ для бесѣды, касающейся науки. Но, зная, во-1-хъ, что вы постоянно заняты, во-2-хъ, что въ вамъ безпрестанно являются поспѣтели, подобные мнѣ, я, изъ боязни помѣшать вамъ, осмѣливаюсь просить назначить мнѣ день и часъ, когда я могу явиться къ вамъ».

«Въ непродолжительномъ времени послѣдовалъ отвѣтъ Костомарова:

«Милостивый Государь,
«Николай Платоновичъ!

«Если я чѣмъ-нибудь могу вамъ быть полезнымъ, то прошу васъ пожаловать ко мнѣ завтра, между 8 и 9½ часами утра; если же почему-либо вамъ такъ рано нельзя, то въ публичную бібліотеку, гдѣ я буду съ десяти часовъ утра до сумерекъ. Если же и такъ вамъ нельзя будетъ, то въ пятницу въ тѣ же утренніе часы ко мнѣ на домъ.

«Имѣю честь рекомендовать вашему вниманію и просить принять увѣреніе въ истинномъ моемъ въ вамъ уваженіи, вашъ, милостивый государь, покорнѣйшій слуга Н. Костомаровъ».

«Само собою разумѣется,—говорит Барсуковъ,—что 18-го января, въ 8 час. утра, я явился къ Костомарову, и результатомъ нашего свиданія было то, что онъ засадилъ меня за азбучный указатель къ Нестору, а этотъ указатель привелъ меня къ благодѣтелю моему, Афанасію Федоровичу Бычкову, опредѣлившему меня на службу въ археографическую комиссію...»

Такъ началась научная дѣятельность Николая Платоновича, и съ этого момента опредѣляется вполне рѣшительно и безповоротно его жизненный путь, кругъ его знакомыхъ, кругъ интересовъ и вкусовъ. Близость къ Костомарову приводитъ его къ знакомству съ поэтомъ А. Н. Майковымъ; онъ совершаетъ лѣтомъ въ 1862 г. съ обоими названными дѣятелями нашей литературы поучительную поѣздку по новгородскимъ святынямъ, вдыхаетъ въ себя, такъ сказать, пылъ русской древности, набирается, подъ руководствомъ знаменитаго историка, живыхъ историческихъ впечатлѣній и уѣзжаютъ въ Тамбовскую губернію съ опредѣленными научными порученіями и отъ Быčkova, и отъ Костомарова. Первый поручаетъ ему составить указатель къ 8-му тому «Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей», второй проситъ его провѣрить по лѣтописямъ всѣ ссылки на нихъ, которая встрѣчаются въ работѣ историка о Новгородѣ и Псковѣ. На почвѣ научныхъ работъ между ними и Костомаровымъ завязывается переписка, обнаруживающая любовное отношеніе маститаго ученаго къ своему ученику. Вотъ оригинальное письмо историка къ своему молодому тамбовскому другу:

«Чадо Николае, благородный сыне честного родителя именемъ Платона! Се азъ, худой и многогрѣшный старецъ, недостойный лѣтописатель Великаго Новгорода и Пскова, пѣлую тебя вселюбезно и реку ти: радуйся и здравъ буди! Что убо твориши и коего ради орудія съдеши далече въ предѣлахъ Тамбовскіи страны? Имѣши ли нѣкое дѣло или покою предадеши, покой же къ лѣтисю грѣху приводиши. Еще бо младъ еси и всяческая крѣпости душевныя и тѣлесныя исполнилъ: поработай о Господѣ изученію книжну, наипаче же въ бытописаніи земли Русскіи упражняйся, да, Богу споспѣшествующу, плоды мнози принесеши въ пользу братіи и земли своей.

«Оставихъ науковѣщательницу, понеже пала ся естъ и уподобие храминѣ разореннѣ отъ супостатѣ, окрестъ же мене, аки бѣси пакости дѣють, рыкающе ми и поносяще туне и всякъ золь глаголетъ лжуще на мене: ови убо не вѣдаютъ, яко азъ ума изступихосе и изумленъ сотворивсе; друзіи же глаголють, яко азъ проклятымъ княземъ службу творю и ина многая повѣдаютъ, хотяще ми пакость сотворити и поругатися мнѣ довольно. Обаче азъ, яко неповиненъ, ни во что видимо суетная и ложная и предаю ти снѣнію дѣисанія Великаго Новгорода и Пскова, еже уже близъ конца естъ и скоро въ свѣтъ изыдутъ на прочитаніе благимъ. Да чтуше и малоумію моему прошающе, аще что не дописалъ или переписалъ, со благолюбленіемъ исправляютъ, а не клануть, памятующе, яко страстенъ есмь человекъкъ.

«Да благословитъ Господь вся входы и исходы твои, чадо Николае, да исполнитъ желанія сердца твоего. Не презирай мя, чадо, худого и недостойнаго, и паче всѣхъ человекъ грѣшнѣйшаго, старца Николая, еже на Невѣ рѣиѣ суша, въ дому Карманова, на островѣ св. Василія, во градѣ Петроградѣ именьки же Петербургѣ.

«Ноември 24, въ день субботній, св. великомученицы Екатерины, лѣта отъ воплощенія Бога Слова 1862...»

Опредѣлившись въ 1863 г., благодаря А. Ф. Бычкову, сотрудничать въ археографическую комиссію, Барсуковъ черезъ пять лѣтъ былъ назначенъ помощникомъ начальника синодальнаго архива и бібліотеки, а въ 1883 г. переходитъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія, гдѣ и занимаетъ мѣсто начальника архива министерства вплоть до своей смерти. Вместе съ тѣмъ, благодаря своимъ научнымъ трудамъ, которые пріобрѣтаютъ ему широкую извѣстность въ мірѣ ученыхъ, его избираютъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ, гдѣ онъ является виднымъ и активнымъ дѣятелемъ по вносимымъ въ эти общества своимъ работамъ, преимущественно въ области русской старины. Такъ, въ 1870 г. онъ избирается членомъ археографической комиссіи, въ 1872 г. — членомъ-корреспондентомъ общества письменности, въ 1878 г. — дѣйствительнымъ членомъ общества древне-русского искусства при московскомъ публичномъ музеѣ, въ 1879 г. — членомъ-сотрудникомъ императорскаго археографическаго общества, въ 1880 г. — дѣйствительнымъ членомъ церковно-археологическаго общества при кievской духовной академіи, въ 1881 г. — дѣйствительнымъ членомъ императорскаго общества исторіи и древностей при московскомъ университетѣ, въ 1886 г. — почетнымъ членомъ ростовскаго музея церковныхъ древностей.

Археографическая комиссія высоко цѣнила дѣятельность своего преданнаго и энергичнаго члена, и, начиная съ 1880 года, онъ почти каждое лѣто получалъ отъ нея спеціальныя командировки въ разныя губерніи для занятій въ тамошнихъ архивахъ присутственныхъ мѣстъ. Спокойно протекала его служба въ должности начальника архива министерства народнаго просвѣщенія, гдѣ въ теченіе 23 лѣтъ службы онъ съ малаго чина достигъ чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника съ награжденіемъ орденами и звѣздами. Последняя награда — звѣзда Анны 1-й степени — была имъ получена въ 1905 г. Съ 1874 года онъ становится извѣстенъ и при дворѣ, послѣ поднесенія государю и государынѣ своего изданія — «Дневникъ Храповицкаго». Въ 1900 г., за свои труды по жизнеописанію Погодина онъ былъ пожалованъ государемъ табакеркою съ вѣнзелевымъ изображеніемъ имени его императорскаго величества. Здѣсь будетъ кстати замѣтить, что когда состоялось это пожалованіе, то Барсуковъ, какъ ни дорожитъ ему былъ этотъ подарокъ, и самъ по себѣ, какъ актъ высочайшаго вниманія, передъ которымъ онъ почтительно и отъ полноты чувствъ склонился, и какъ опредѣленная историческая цѣн-

ность, имевшая в его глазах большое значение, он, однако, этим подарком не воспользовался. Биограф Погодина, испытывавший постоянно материальные затруднения по изданию своего обширного труда, который продажей далеко не окупался, скромно свезь дорогой подарок в кабинет его величества с просьбою заменить его определенной денежною суммою по чьим-то табакерки, необходимо ему для выпуска следующего тома своей монументальной работы по истории русского общества, каковою и было на самом деле его жизнеописание Погодина. Для себя же, в память милого его сердцу подарка, он снял художественную копию с табакерки, которая и висела на видном месте его гостиной-кабинета. Свой долг и обязанности перед наукою и литературою он в данном случае поставил выше соображений личной приятности и радовался, что, благодаря высочайшей поддержке, имевшей возможность не прекращать своей заботы о возсоздании летописи русской жизни за XIX столетие.

Главнейшие труды Н. П. Барсукова в их исторической последовательности изданий располагаются так:

1. «Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке святейшего правительствующего синода». 1871 г.
2. «Указатель к 8 томам «Полного Собрания Русских Летописей». 1876. Составлен вместе с А. Θ. Бычковым, издан по высочайшему повелению археографической комиссией.
3. «Дневник А. В. Храповицкого». 1782—1793. По подлинной его рукописи, с биографической статьей и указателем. СПб. 1874 г.
4. «Жизнь и труды П. М. Строева». СПб. 1878 г.
5. Издание 1-го тома под его главной редакцией «Полного собрания сочинений князя П. А. Вяземского», относящихся к 1810—1827 г. Всех томов было издано 12, причем первый том вышел в 1878 г., а последний том появился в свет в 1896 г.
6. «Житие и завещание святейшего патриарха московского Иоакима» (по рукописи московского публичного музея). 1879 г.
7. «Русские палеологи сороковых годов». 1880 г. (переписка И. В. Сахарова с А. М. Кубаревым и В. М. Ундольским; письма О. М. Бодянского к В. И. Сахарову).
8. «Письма А. И. Тургенева и князя М. А. Оболенского, с примечаниями Н. Барсукова». 1881—1882 г.г.
9. «Источники русской агиографии». СПб. 1882 г.
10. «Азбучный указатель лиц и разных предметов, упоминаемых в записках Семена Порошина». СПб. 1882 г.

11. «Сборник Едомского». Сообщил Н. Барсуков. 1882 г. (изд. О. Л. Д. П.).
 12. «Рукописи археографической комиссии». Описание Николая Барсукова. 1882 г.
 13. «Письма Погодина к Шевыреву», с примечаниями Н. Барсукова. 1882—1883 г.г.
 14. «Жизнь и труды В. Г. Барскаго», сочинение Николая Барсукова. СПб. 1885 г.
 15. «Странствование Василия Григорьевича Барскаго по Святым Местам Востока с 1723 по 1774 г.». Издание Православного Палестинского общества по подлинной рукописи, под редакцией Н. Барсукова. I—IV ч.ч. (I ч.—1885 г. и IV—1887 г.).
- Здесь дан указатель малоизвестных слов.
16. «Павел Строев. Описание рукописей монастырей: Волоколамского, Ново-Иерусалима, Саввино-Сторожевского и Пафнутия-Боровского»; сообщил архимандрит Леонид. С предисловием и указателем Н. Барсукова. СПб. 1891. (О. Л. Д. П.).
 17. «Всевейская рыба», стихотворение князя П. А. Вяземского. С примечаниями Н. Барсукова. 1892 г.
 18. «Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826 г.г. (Из Осташевского архива). Изданы с предисловием и примечаниями Н. Барсукова. 1897 г.
 19. «Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове». 1898 г.
 20. «Письма Филарета, впоследствии архиепископа черниговского и пинского, к Н. Н. Шереметевой». 1839—1849 г.г. (Из архива села Покровского). Издание с предисловием и примечаниями Н. Барсукова. 1900 г.
 21. «Родь Колубакиных». Описание 22 актов, пожертвованных о. Григорием Яковлевским в археографическую комиссию министерства народного просвещения. Составил Н. Барсуков. 1901 г.
 22. «Жизнь и труды М. П. Погодина», Николай Барсуков. Первая книжка вышла в 1888 г., и последняя—20-я—в 1906 г.; 21-й том выйдет зимою и явится посмертным трудом автора.
 23. «Памяти моего брата Ивана Платоновича Барсукова». 1906 г.
- Уже один простой перечень работ Николая Платоновича показывает, в каком направлении сложились его вкусы и симпатии по изучению былых судеб русской жизни. Он почерпал темы для своих работ из таких исторических областей, которые не могли привлечь к себе особого внимания широких кругов читателей, и ограничивал свою аудиторию немногочисленным подбором специалистов, находивших в его изыска-

ниях действительно драгоценные данные, тщательно подобранные, проверенные и обоснованные достоверным фактическим материалом. Все сведения по части родословной, хронологической и топографической обстановки им в совершенной полноте, каждая его работа сопровождалась ценными указателями, помогавшими легко разбираться в интересующем вопросе. Кроме того, благодаря своему знакомству с провинциальными и, по преимуществу, монастырскими книгохранилищами, он вводил в литературу обследуемого предмета массу новых данных, до него неизвестных самым заправским специалистам. В этом отношении особую ценность имело его работы: «Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке св. синода», где автор ввел в нашу библиографию несколько десятков до того неизвестных старопечатных книг; «Источники русской автографии», где автор указал все первоисточники для биографии данного святого, в каких-либо цѣлях им указаны не только печатные описания рукописей, но и непосредственно сами рукописи, до того не описанные; этот труд может считаться настоящим словарем православных святых и историей обречения мощей; даже следует отметить «Жизни и труды М. П. Стрелова», где не только сделано обзорное работ знаменитого археографа, но дана его живая биография, полностью исчерпывающая жизнь и деятельность этого ученого. По поводу последней работы историк С. Соловьев заявил автору: «Вашу книгу может оценить только тот, кто работал по первоисточникам. Будьте уверены, я перед вами в долгу не останусь».

Выдающимися работами по обилию материалов, разработке и освещению их должны считаться: «Страствованіе по святымъ мѣстамъ Василия Григорьевича Барскаго» и «Жизни и труды В. Г. Барскаго». Уже с семидесятых годов Николай Платонович заявляет о себе, как выдающийся редактор-издатель разных научных исторических трудов. Им издается в 1874 году по рукописи, принадлежавшей известному собирателю русской старины, князю П. А. Вяземскому, «Дневникъ А. В. Храповицкаго», вводящий нас во внутренние покои и интимную жизнь Екатерины II и рисующий ее взгляды на дѣло управления государством; в 1889 г. им было издано упомянутое уже «Страствованіе» Барскаго. Костомаров первый подметил научную добросовѣстность Барсукова, поручив ему проверку лѣтописных указаний, так же высоко ставил его и А. Θ. Бычковъ, а еще выше князья Петр Андреевич и Павел Петрович Вяземские. Поэт Вяземскій еще при жизни назначил Николая Платоновича «особеннымъ душеприказчикомъ и издателемъ своего домоцѣлства», каковой завѣтъ он блестяще и выполнилъ, тщательно выпустивъ въ свѣтъ, под своимъ редакторствомъ, все 12 томовъ полного собранія его сочиненій. Близость къ Вяземскимъ сыграла в жизни нашего историка-археолога значи-

тельную роль: онъ пользовался многими указаниями князя П. А. Вяземскаго по части научныхъ занятій, выполнять, по его порученію и совѣту, немало работъ и особенно дѣлательно помогалъ князю П. П. Вяземскому въ дѣлѣ основанія общества любителей древней письменности и немало своими работами потрудился для процвѣтанія этого общества. Давъ уже въ 70-хъ годахъ нѣсколько полныхъ биографій русскихъ дѣятелей, онъ въ слѣдующемъ десятилѣтіи представилъ живыя характеристики «русскихъ палеологовъ сороковыхъ годовъ»—А. М. Кубарева, И. П. Сахарова, В. М. Ундольскаго и О. М. Бодянского,—которые были имъ напечатаны на страницахъ «Древней и Новой Россіи».

Таковъ былъ циклъ и характеръ работъ Барсукова до конца восьмидесятыхъ годовъ, когда онъ приступилъ къ изданію центрального труда своей жизни—«Жизни и трудамъ П. М. Погодина»,—который выдвинулъ его имя изъ узкой, сравнительно, сферы специалистовъ и создалъ изъ него единственнаго пока у насъ обстоятельнаго биописателя русской жизни въ XIX столѣтіи. По широтѣ замысла, по количеству обработаннаго и собраннаго матеріала, работа Барсукова представляетъ собою выдающееся явленіе нашей исторической литературы послѣднихъ годовъ. Двадцать изданныхъ уже томовъ жизнеописанія московскаго историка обнимаютъ собою громадный періодъ времени и могутъ быть разсматриваемы, какъ полная животрепещущаго интереса лѣтопись новѣйшей русской жизни, составленная умѣло и любящею рукою на основаніи многочисленныхъ рукописныхъ источниковъ.

Начиная съ 1888 года, Николай Платоновичъ ежегодно выпускалъ по тому своей громадной работы, и появленіе на книжномъ прилавкѣ столь знакомой книжки въ свѣтло-зеленомъ переплетѣ для меня лично, по крайней мѣрѣ, составляло настоящій праздникъ. Я не знаю въ нашей литературѣ труда, который бы постоянно, изъ году въ годъ, доставлялъ мнѣ столько отрядныхъ часовъ чтенія, какъ именно это сочиненіе Барсукова. Вся русская жизнь XIX-го столѣтія (со второй ея четверти) развертывалась передо мною въ ея пестромъ разнообразіи, съ ея жгучимъ интересомъ, съ ея болями и радостями. Что въ томъ, что иногда я не соглашался съ авторомъ по нѣкоторымъ вопросамъ и взглядамъ на значеніе того или иного лица, того или иного момента нашей общественной жизни... Важны не частности и особенно частности въ изложеніи и освѣщеніи такого оригинальнаго автора, какимъ былъ Барсуковъ, и въ такой широкой области, какъ сама описываемая русская жизнь въ ея полномъ объемѣ. Важно было то цѣльное и общее, что глядѣло на тебя изъ всѣхъ двадцати томовъ, и въ чемъ видѣлось свое настоящее родное, которое тебя порою радовало, порою злило, порою приводило въ восторгъ и умиленіе, порою въ грусть и уныніе. И часто, когда я копалъ книгу, у меня была потребность лично повидаться съ Барсуковымъ

или написать ему письмо, чтобы поблагодарить его за громадное доставленное удовольствие и умильется перед его любовью и к своей работѣ, и къ родинѣ, которую онъ съ такою видимою любовью живописалъ.

«Погодинъ, его жизнь и труды» явились для автора точкой отправленія, побудительной, такъ сказать, причиною для написанія истории русскаго общества. Въ нѣкоторыхъ книгахъ самому Погодину даже отведено очень немного мѣста, и повѣствованіе автора развѣрывается далеко за предѣлами Дѣвичьяго Поля, гдѣ жилъ московскій историкъ. Быть можетъ, когда Барсуковъ принялъ предложеніе вдовы историка о написаніи біографіи ея мужа и когда въ его распоряженіе поступилъ весь Погодинскій громадный архивъ, то мысль объ истории русскаго общества еще не закрадывалась въ его голову; но, когда онъ приступилъ къ работѣ и перешелъ за предѣлы, которые были ему отведены, эта мысль сама собою окрѣпла и получила свое развитіе и осуществленіе. Николай Платоновичъ вышелъ изъ роли біографа и обратился въ историка, историка настолько безпристрастнаго, что ему приходилось иногда говорить о многомъ такомъ, что не служило въ пользу его героя и что не могло быть никакимъ образомъ разсматриваемо, какъ похвальное ему слово. Кажется, это обстоятельство не послужило къ упроченію добрыхъ отношеній между біографомъ Погодина и наслѣдниками послѣдняго, и Барсукову пришлось выдержать въ данномъ случаѣ немалую борьбу. Но онъ не склонялся—материалы были въ его распоряженіи, и, пренебрегая соображеніями финансоваго характера, онъ, на свой страхъ и рискъ, упорно выполнялъ намѣченную задачу. Часто и очень часто приходилось ему трудно при достиженіи этой цѣли: издавъ одинъ томъ, который еле покрывалъ расходы, онъ совершенно не зналъ, какъ и на какія средства будетъ изданъ послѣдующій; но находились добрые люди (А. Н. Мамонтовъ, М. П. Барсуковъ (его братъ), К. А. Губастовъ, С. Т. Филипповъ), или случайныя обстоятельства складывались благоприятно, и Барсуковъ снова видѣлъ вышедшую въ свѣтъ послѣдующую книжку своего «Погодина» и весело восклицалъ:

«Пою, дондеже сесль»

Многотомная работа Николая Платоновича въ настоящее время по справедливости оцѣнена съ самой лучшей стороны нашими историками-специалистами, и о ней мы имѣемъ рядъ такихъ компетентныхъ отзывовъ, каковы—академика М. И. Сухомлинова, профессора Д. А. Корсакова, академика А. Н. Пыпина, профессора К. Н. Вестужева-Рюмина, профессора И. В. Помяловскаго и др. На основаніи отзывовъ первыхъ двухъ изъ названныхъ лицъ, нашему ученому дважды присуждались полная Уваровская премія, которая неизмѣнно опять-таки употреблялась имъ, какъ фондъ на изданіе

слѣдующаго тома. Отмѣчая достоинства и недостатки работы Барсукова, казанскій профессоръ Д. А. Корсаковъ писалъ: «Достоинства книги заключаются въ добросовѣстной разработкѣ цѣннаго и малодоступнаго историческаго матеріала по весьма важнымъ, можно сказать—даже основнымъ вопросамъ русскою образованности XIX вѣка,—недостатки же состоятъ въ излишней детальной многотѣ вставныхъ эпизодовъ и въ своеобразномъ освѣщеніи лицъ и событій». Этотъ указанный недостатокъ, на который указывали, кромѣ профессора Корсакова, и другіе рецензенты, не признавались, однако, авторомъ за недостатковъ, и по настоящему вопросу онъ всегда горячился и волновался.

Помню, въ публичной бібліотекѣ однажды покойный А. Θ. Бычковъ, въ моемъ присутствіи, также любовно журилъ Барсукова за вставные эпизоды, не имѣющие, въ сущности, никакого отношенія къ жизни Погодина. Шла рѣчь именно о приведенныхъ имъ въ какомъ-то томѣ полностью нѣкоторыхъ церковныхъ проповѣдяхъ, произнесенныхъ по тому или иному случаю. Барсуковъ, въ оправданіе себя, говорилъ:

— Что же, что не относится къ Погодину! Пусть читатели прочтутъ и церковную проповѣдь. Это имъ полезно, нежели чтеніе современныхъ фельетоновъ или передовицъ.

И дѣйствительно, знакомясь съ работою біографа Погодина, вы постоянно видите, какъ онъ, нѣсколько волнуясь и торжественно, раздвигаетъ ряды дѣйствующихъ въ повѣствованіи лицъ, чтобы дать мѣсто тому или другому представителю церкви, и проситъ почтительнаго вниманія къ слову и рѣчи уважаемаго имъ пастыря. Это вливаніе церковной жизни въ свѣтскую было своеобразною особенностью работы Барсукова и придавало ей оригинальный колоритъ, благодаря которому всѣ основныя элементы русскою жизни были имъ рельефно выведены на сцену и гдѣ военные мундиры и статскіе фраки смѣшивались въ одну общую русскую толпу съ рясами благо духовенства и лиловыми мантиями представителей монастырскаго начала.

Двадцатый томъ оканчивается 1864-мъ годомъ и посвященъ польской смутѣ и обрисовкѣ дѣятельности Муравьева. Такимъ образомъ, въ распоряженіи Николая Платоновича оставалось почти 12 лѣтъ жизни Погодина, что требовало еще нѣсколькихъ лѣтъ работы и издательства. И вдругъ весною минувшаго года прошелъ слухъ, что Барсуковъ сильно захворалъ и его поразилъ первый ударъ. Узнавъ объ этомъ, я поспѣшилъ его навѣстить и хотя нашелъ больного уже нѣсколько оправившимся, но на его лицѣ сказывалась тяжесть переносимаго недуга, рѣчь была затруднена, и въ глаза рѣзко бросалось отсутствіе обычной кипучести почтеннаго ученаго. На мои слова, что онъ долженъ поберечься и хорошенько полегчить, какъ пашъ, его читатель, должникъ по выпуску еще нѣсколькихъ томовъ Погодина, онъ за-

волновался, как-то затоптался по комнатам и, нервно ударяя рукою об руку, стал неясно говорить: «Да, вот, вот!...» Я спохватился, что задѣлъ больное мѣсто, и поспѣшил отретироваться. Послѣ того мнѣ пришлось еще раза два повидаться съ Николаемъ Платоновичемъ, и казалось, что бѣда еще не такъ близка, но вотъ печальное извѣстіе—его не стало 23-го ноября, и, каюсь, одна изъ первыхъ мыслей, которая у меня блеснула въ головѣ, была мысль эгоистическая: а что же станется съ описаніемъ послѣднихъ годовъ жизни Погодина? Потомъ, на панихидѣ, присутствовавшіе узнали, что, какъ ни тяжела была недугъ больного, какъ ни близка была къ его изголовью смерть, дума и забота о дорогомъ трудѣ, въ который вложено было столько лѣтъ жизни и столько силъ и борьбы, не ослабѣла въ изслѣдователѣ. Онъ успѣлъ привести въ порядокъ матеріалъ и для двадцати перваго тома, послѣдними его дѣйствіями и словами передъ кончиною было—передать папку съ этимъ матеріаломъ неотлучно около него находившемуся брату, Александру Платоновичу, съ распоряженіемъ: «отвези завтра» т. е. отвези въ типографію и дай къ печати: таково было значеніе этого лаконическаго распоряженія, произнесеннаго съ болѣзненнымъ трудомъ.

Итакъ, еще одинъ томъ Погодина увидитъ свѣтъ, а что будетъ съ остальнымъ матеріаломъ? Несомнѣнно, авторъ «Рода Шереметевыхъ», т. е. А. П. Барсуковъ, приметъ по данному вопросу зависящія отъ него мѣры и возможно будетъ сдѣлано¹⁾. Но что будетъ съ тою русскою историческою обстановкою, которую собралъ и создалъ въ шумномъ центрѣ столичнаго города неутомимый работникъ? Это вопросъ, и очень большой важности. Конечно, пока живъ его братъ, приложившій и съ своей стороны въ этомъ дѣлѣ немало труда и заботы, настоящий вопросъ неумѣстенъ. Ну, а послѣ него? Вѣдь всѣ смертны... что будетъ съ этимъ историческимъ музеемъ послѣ Александра Платоновича? Сомнительно, чтобы родственники озаботились достаточнымъ увѣковѣченіемъ того, что было собрано съ такою патріотическою любовью. Тутъ заботу объ этомъ должны принять на себя всѣ тѣ, кто любитъ русскую жизнь, умѣетъ быть благодарнымъ ей достойнымъ сыномъ и кому дорого все родное и русское. Мы уже съ такимъ легкомысліемъ растратили и растеряли всѣ свои историческія достоянія, что будетъ обидно и горько за память Николая Платоновича, если и на его наслѣдіе ляжетъ сѣнь этого нашего легкомыслія.

Однимъ изъ эпиграфовъ къ труду Барсукова о Погодинѣ были слова самого историка: «Цари и вельможи! Покровительствуйте музеямъ: онѣ благодарны». При своей жизни, кажется, Николай Платоновичъ за свою

во-истину патріотическую дѣятельность не Богъ вѣсть сколько видѣлъ этого покровительства, хотя, по свойству своей благодарной натуры, умѣлъ быть признательнымъ и за то малое, что на его долю иногда выпадало. Ну, а теперь, когда его не стало: неужели и теперь не пробьетъ часъ признательности ему за все то многое, что онъ сдѣлалъ для русской жизни, за все то цѣнное, что онъ любовно собралъ въ своемъ музеѣ? Хотѣлось бы вѣрить и надѣяться, что въ этомъ отношеніи справедливость будетъ осуществлена и средствами общественными или государственными наслѣдіе Николая Платоновича будетъ сохранено въ назиданіе потомству, какъ образецъ любви къ родинѣ и ея историческому прошлому, образецъ, достойный подражанія и вѣчной памяти.

¹⁾ Дѣйствительно, этотъ подготовленный томъ нынѣ вышелъ, но, къ сожалѣнію, какъ послѣдній, посмертный и заключительный.

Θ. И. ВУЛГАКОВЪ.

Оеодоръ Ильичъ Булгаковъ родился въ 1852 году въ городѣ Тимѣ Курской губерніи. Дѣтство его протеколо несвесело—вѣчные побои, наказанія розгами по всякому случаю, вотъ тѣ вѣчные спутники раннихъ лѣтъ, которые не могли развити въ немъ особенно нѣжныхъ чувствъ въ отношеніи родителей и главнымъ образомъ матери, предпочитавшей ему старшаго сына. За всякій проступокъ послѣдній наказанію подвергался нашъ писатель. Поэтому, естественно, ея смерть не вызвала у него не только какого-либо потрясенія, но даже скорбнаго чувства. Вдовый отецъ помѣстилъ его въ мѣстный губернский пансіонъ; наступилъ, повидимому, благопріятный періодъ жизни, но онъ длился недолго. Вскорѣ не стало и отца, а съ его смертію, благодаря недобросовѣстности опекуна, исчезла и та недвижимая собственность, которая обезпечивала молодому Булгакову правильное получеііе необходимаго образованія. Но мальчикъ уже тогда обнаруживалъ природныя свойства своего характера: живость, энергію и настойчивость въ достиженіи намѣченной цѣли. Наступившіе черные дни вызываютъ даже приливъ жизненныхъ силъ, и мы видимъ его въ гимназической курткѣ, окруженнымъ книгами, пріютившимся на постояломъ дворѣ, откуда онъ аккуратно посылаетъ курскую классическую гимназію, а свободное отъ обязательныхъ занятій время посвящаетъ частнымъ урокамъ, дающимъ ему средства къ ученію и существованію. Въ гимназіи Булгаковъ выдѣляется среди товарищей способностями, особенно въ области изученія языковъ, и обращаетъ на себя серьезное вниманіе педагоговъ и начальства недюжинными познаніями въ красотахъ латинской рѣчи. «Нашъ латинистъ»—таковъ аттестатъ Булгакову, когда гимназію посѣждаетъ насаждавшій въ тѣ годы на отечественной нивѣ плоды классическаго просвѣщенія графъ Д. А. Толстой. Въ послѣдній годъ своего ученія Булгаковъ почему-то бросаетъ кур-

скую гимназію, переходить въ харьковскую, гдѣ и кончаетъ курсъ. Тутъ въ жизни его совершается почти необыкновенное событіе: онъ женится на молодой дѣвушкѣ и оказывается передъ порогами высшаго учебнаго заведенія въ положеніи семейнаго человѣка. Молодая жена, тоже почти ребенокъ, не принесла ему матеріальнаго благополучія, и вотъ полудѣтисупруги очутились въ Петербургѣ на положеніи интеллигентныхъ пролетаріевъ со всеми аксессуарами пролетарской жизни—ея голодомъ, нуждою и борьбою за существованіе на каждый день и изъ-за каждаго рубля. Булгаковъ, сначала студентъ-филологъ петербургскаго университета, а потомъ слушатель восточнаго факультета по отдѣленію санскритско-зандско-персидскаго языка, могъ бы, несомнѣнно, найти на томъ или иномъ филологическомъ поприщѣ широкое примѣненіе своимъ выдающимся лингвистическимъ способностямъ, но долгъ передъ семьей и семейныя обязанности, когда съ Лакты, гдѣ онъ съ женою и дѣтьми ютился, приходилось пѣшкомъ путешествовать въ Петербургъ въ поискахъ одного рубля на кормъ, положили предѣлы его научнымъ занятіямъ: онъ выпелъ изъ университета, не окончивъ здѣсь курса, и отдался цѣлкомъ свободнымъ научно-литературнымъ занятіямъ, позволившимъ ему хоть нѣсколько болѣе спокойно смотрѣть въ ближайшую даль грядущаго дня. Кончилась голодная полоса жизни, и наступила новая, полная нервнаго труда, которая и выдвинула его довольно скоро въ рядъ выдающихся своими познаніями и трудолюбіемъ русскихъ журналистовъ, оставившихъ по себѣ видный слѣдъ въ исторіи отечественнаго просвѣщенія.

Русская литература и журнальная работа уже на зарѣ юной жизни привлекали къ себѣ вниманіе и склонности нашего писателя. Еще въ курской гимназіи онъ основательно дополнилъ свое среднее образованіе обильнымъ и разностороннимъ чтеніемъ, причемъ его симпатіями пользовались въ области языкознанія нѣмецкій ученый Максъ Мюллеръ, а въ области критики—знаменитый влатель думъ молодежи шестидесятыхъ годовъ, Д. И. Писаревъ. Тогда же онъ совмѣстно съ двумя товарищами—Чуриловымъ и Ярошемъ—приступилъ къ изданію гимназическаго еженедѣльнаго журнала «Сатира», гдѣ и состоялъ не только руководителемъ этого юношескаго органа, но и сотрудникомъ по разнымъ литературнымъ областямъ, до басенъ включительно. Голодная полоса жизни не заглушила въ немъ литературныхъ порывовъ и стремленія къ самообразованію; онъ въ этотъ періодъ успѣлъ основательно изучить главнѣйшіе новые языки, близко ознакомиться съ выдающимися произведеніями западно-европейской литературы и науки, а также испробовалъ свои силы на журнальномъ поприщѣ въ «Народной Школѣ» Θ. Н. Мѣднікова, въ «Недѣлѣ» П. А. Гайдебурова, «Выржевыхъ Вѣдомостяхъ» Полеитки. Тотъ періодъ нашей общественной жизни, къ которому относится начало литературной дѣятельности Булга-

кова, отмѣченъ нарастаніемъ интереса къ педагогическимъ вопросамъ. Реформы школы, низшей и средней, стояли на очереди, педагогическіе идеалы Ушинскаго, барона Корфа, Стоюнина и другихъ волновали общество; журналы, посвященные народному образованию и воспитанію юношества, пользовались распространеніемъ и вниманіемъ читателей. Казалось, что вотъ-вотъ и волна просвѣщенія покроетъ своей благодатной пѣной поверхность русской земли, смоемъ народное невѣжество и создастъ золотой вѣкъ народнаго знанія и народной просвѣщенной мудрости. Лучшія литературныя и ученныя силы охотно шли работать въ педагогическіе журналы, видя въ этой работѣ свой гражданскій долгъ и историческую обязанность передъ родиной и народомъ. Въ числѣ многихъ, отдавшихъ душу свою дѣлу педагогики въ теоретической ея постановкѣ на страницахъ нашихъ ежемѣсячниковъ, оказался и пылкій, увлекающійся и отзывчивый студентъ университета Ѳ. Булгаковъ, посвящающій очереднымъ вопросамъ русскаго образованія и реформъ школы первыя свои литературныя статьи. Кульминаціонной точки работы въ этомъ направленіи достигаетъ онъ въ концѣ семидесятыхъ годовъ, съ основаніемъ П. И. Роговымъ ежемѣсячнаго журнала «Педагогическій Музей», гдѣ Ѳеодоръ Ильичъ становится однимъ изъ главнѣйшихъ сотрудниковъ, помѣщая здѣсь въ каждомъ номерѣ одну или двѣ статьи по вопросамъ школьнаго дня, подчасъ съ характеромъ полемическимъ по адресу корифеевъ тогдашней педагогики, каковыми были баронъ Корфъ, Евтушевскій, Иверсенъ, Миропольскій и другіе, признанный авторитетъ которыхъ не останавливалъ, однако, молодого писателя отъ иногда рѣзкихъ критическихъ выпадовъ и насмѣшливыхъ замѣчаній по поводу теоретическихъ односторонностей и увлеченій господъ педагоговъ.

Свой взглядъ на задачи тогдашней школы имъ былъ развитъ въ сжатой небольшой статьѣ «Нѣсколько словъ по поводу современнаго состоянія общаго образованія»¹⁾, гдѣ онъ говоритъ, что на первый планъ въ дѣлѣ школьнаго образованія долженъ быть выдвинутъ принципъ—«образованіе человѣка для жизни». Чтобы удовлетворить такому требованію, необходима, по его мнѣнію, «неразрывная связь различныхъ ступеней—отъ низшей до высшей—общееобразовательной школы и въ то же время законченность каждой изъ нихъ, дабы, пройдя одну изъ такихъ ступеней, учащійся могъ безъ затрудненія получить доступъ къ дальнѣйшему образованію, или же, въ случаѣ выхода его изъ школы данной ступени, вступать въ жизнь съ вполнѣ опредѣленной подготовкой. Отсюда школа не можетъ игнорировать сообщеніе полезныхъ свѣдѣній чисто утилитарнаго свойства, какъ въ общеобразовательныхъ своихъ цѣляхъ должна сообразоваться съ силами самихъ учащихся. Ограничиваться же однимъ развитіемъ умственныхъ силъ, какъ

¹⁾ «Педагогическій Музей» 1877 года, № 3.



Ѳеодоръ Ильичъ Булгаковъ.

то преслѣдуетъ современная школа, не давая знаній, прямо приложимыхъ къ жизни, уже потому непедагогично, что это значило бы пробуждать къ учащемуся множество такихъ потребностей, для удовлетворенія которыхъ школа не даетъ и не можетъ дать ему средствъ. По нашему мнѣнію, только тогда молодежь не будетъ безвыходно теряться въ жизни (насколько, конечно, въ данномъ случаѣ факторомъ является школа), когда образованіе дастъ ей знанія и средства для успѣшной борьбы съ ней. Только тогда поступки и

предприятия всех и каждого на пользу общего блага примут характер постоянства и разумности и станет невозможным появление в среде интеллигенции людей, с одной стороны, замкнутых в себя, а с другой — презрительно издающихся над всякой общественной деятельностью и хорошими увлечениями, — когда каждый член общества научится понимать и справляться прежде всего с своими страданиями, с своим личным счастьем».

Вкус к литературной работе и интерес к педагогическим вопросам настолько захватили Булгакова, что в 1879 году он приобретает от Рогова «Педагогический Музей» и приступает к его издательству на свой страх и риск. Но тут он впервые знакомится с тяжестью тогдашних цензурных требований и, недолго пробившись в тисках цензурного давления, оказывается вынужденным спустить свой издательский флаг и прекратить издание. Это было первое литературное разочарование молодого писателя, из категории тех, коими, увы! его жизненный путь был достаточно обильн.

Выше было уже сказано, что университетского курса ему кончить не удалось по причинам материальных невзгод, которые и побудили его переменить звание свободного студента на подневольную должность секретаря комитета иностранной цензуры, где Булгаков, благодаря своему знанию иностранных языков, был ценным служащим. Тогда же он принимает на себя секретарство в основанном князем П. П. Вяземским «обществе древней письменности», а также деятельно работает во Фребелевском обществе и комиссии военно-учебных заведений. Во всех названных учреждениях Булгаков является удивительно трудолюбивым, энергичным и просвещенным сотрудником, оставляя везде плодами своей деятельности богатые следы. Так, по обществу древней письменности им, за четырехлетнее пребывание здесь, были изданы комментированные труды — «Стафонит и Ихнилит», «Повесть о семи мудрецах», «Шемякин суд», несколько отчетов общества с этюдами и девять книг затянутого им периодического издания «Памятники древней письменности». Все эти специальные труды, изданные чрезвычайно тщательно и с большим знанием дела, заслужили почетные отзывы таких ученых, как Ягич, И. Мартынов и знаменитый Бенфей и др.; как деятель «педагогической комиссии», он во время русско-турецкой войны организовал народные чтения в Соляном Городке — Геройская оборона Балзета и «Ардаган». Выбыв с тем же Федором Ильичем не покидая своей работы и по педагогическим вопросам в журналистик и даже в 1879 году, когда прекратил свое существование «Педагогический Музей», приступил к изданию нового педагогического журнала — «Земская Школа»; однако недостаток материальных средств снова побудил его вскоре прекратить это издание. К этому же времени

относится и начало его постоянного сотрудничества в «Голосе», где тогдашний руководитель этой влиятельной газеты, известный историк В. А. Бильбасов, очень ценил обширные познания своего сотрудника и часто пользовался пылом его пера для задирательных полемик и возбуждения в читателях интереса к некоторым острыми моментам обывательского дня. Развертывая таким образом свою кипучую деятельность на разных поприщах нашей учено-литературной общественности, Булгаков, повидимому, постепенно достигал здесь прочного положения и даже некоторого материального благополучия. Но горе было не за горами и оно вскоре обрушилось всею тяжестью на нашего писателя, чуть не выбив его окончательно из только что завоеванной жизненной колеи и, во всяком случае, сыграв в его судьбу значительную роль со всеми ее печальными последствиями.

Дело в том, что Федор Ильич был от природы, с юных лет и до последних дней, человеком очень живым, отзывчивым, доверчивым и увлекающимся, особенно в тех случаях, когда шел вопрос о помощи ближнему и поддержке его в трудный момент. Благодаря этим свойствам своей натуры, он сдался жертвою чужого прегрешения, которое и обошлось ему так дорого. Познакомившись через известную деятельницу по народному образованию госпожу Алчевскую с известным впоследствии писателем Дьяковым-Незлобиным, тогда еще молодым человеком, драпировавшимся в запрещенный политический костюм, Булгаков отнесся к нему с полным сочувствием и ради его «спасения» от преследования полиции необдуманно одолжил ему свой паспорт, дабы дать ему возможность эмигрировать за границу. С этим паспортом Дьяков-Булгаков действительно и очутился за пределами родины, сошелся с средой эмигрантов, но вскоре начал обливаться эту среду грязью на страницах «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника» и в художественной беллетристической форме, с определенными течениями и светлыми тенденциями выводить перед читателями тех, кто гостеприимно впустил его в свой круг. Эти описания дтялись за подписью Булгакова, и можно себя представить, теперь несколько забытый, шум, который тогда поднялся в газетах около имени сотрудника «Голоса» и какого труда ему стоило установить свою непричастность к произведению чужого пера, вышедшим, однако, под его флагом. Тщетно молил Федор Ильич о возвращении своего жизненного документа, лже-Булгаков не внимал этим просьбам, и положение секретаря комитета иностранной цензуры и общества древней письменности стало совершенно невозможным. Газеты его травили, а опытный руководитель «Голоса», понимая, насколько поднятый шум выгоден для котировки газеты, поддавал, что называется, жару полемическим ответам своего сотрудника, плодя ему без всякой надоб-

ности лишних врагов и придавал его писательской физиономии какой-то двусмысленный и несколько таинственный смысл. Конечно, в результате все, как говорится, «образовалось»: Дялков вернулся на родину, был судим, принес во всех своих дьяниях покаяние, был прощен и сдвинулся впоследствии видными публицистом с ядовитым пером и желчною, но талантливою газетною рубкою, живо откликавшеюся на вопросы дня. Получил свой жизненный документ обратно и Булгаков, успев расхвять в общественной атмосфере тот туман, который окутал его писательский облик, по весь эпизод не прошел для него, однако, даром: он вынужден был покинуть свои столь хорошо наладившиеся секретарства и остаться с больною женою и детьми при одном случайном литературном заработке и с неуверенностью в благополучии завтрашнего дня, жизненный горизонт снова заволокся черными тучами, наступила опять борьба за существование. В таком положении застает нашего писателя только что основанный С. Н. Шубинским при содействии А. С. Суворина «Исторический Вестник», и вот с первого же года жизни журнала О. И. Булгаков является в редакцию с предложением своих литературных услуг, которая охотно и принимается. Он становится здесь постоянным сотрудником, наполняя журнал самыми разнообразными работами по разным отделам—«смеси», «библиография», «мелочей», а также печатая здесь статьи исключительно компилятивные, из исторической области как отечественной, так и западно-европейской жизни. В архиве «Исторического Вестника» сохранились письма писателя за тот период и, пробегая их в настоящее время, изумляешься разносторонности научных интересов покойного журналиста, его трудоспособности, аккуратности и тщательности выполнения принятых на себя литературных обязательств и готовности не брезгать никаким трудом, если только таковой отвечает запросам читателей и требованиям редакции. Его письма к С. Н. Шубинскому ценный материал для обрисовки духовного облика сотрудника «Исторического Вестника», и в них сказываются типические особенности его натуры, о которых говорено выше, с одной стороны, и с другой—в них же черпаем мы сведения о том, с какою борьбою, с каким трудом доставался ему каждый прожитый день и сколько тревожных волнений приходилось переживать по пути к известности и прочности жизненного положения. Особенной тревоги достигло его душевное состояние, когда он в 1880 году ожидает результатов переговоров С. Н. Шубинского с А. С. Сувориным по поводу его сотрудничества в «Новом Времени», после того, как ему стало невмоготу сотрудничество в «Голосе», где Вильбасов, держа его в черном тьме, побуждал вместе с тем к интенсивной работе в направлении, часто ему приходившемся не по душе. «Ваше молчание меня истомляет,—писал он в одном из

писем редактору «Исторического Вестника».—Видно, ничего отрадного мы ждать не приходится. Сегодня уже 17-е июня, которого я ожидал с нетерпением, но пока вести никакой. Не стесняйтесь, пожалуйста, скажите, что вам ответил Суворин? Пока меня все-таки не оставляет надежда, и я не ишу, да и где искать,—ити на службу, значит, только самого себя обманывать, ибо я решительно не годен для канцелярского прозябанья; кроме того, меня и не потерпят долго. Иное дело—знай я какое-нибудь ремесло или иной хоть какой-нибудь капитал, тогда бы я сумел обернуться в своем убийственном положении. Как подумаешь, что в России нет места сколько-нибудь независимому умственному труду, становится тошно не столько за себя, сколько за свою семью. Простите, что вам надоедаю со своими «жалкими словами»; к несчастью, я не властен над собою, чтобы удержать их про себя».

Через несколько дней ожидаемое с таким нетерпением его свидание с издателем «Нового Времени» состоялось, и А. С. Суворин принял Федора Ильича в число сотрудников своей газеты, но его работа здесь не сразу наладилась, и он только постепенно овладевал своим новым положением и приспособился к новой литературной среде. «Газетчик» в нем выработался не сразу, и в первое время его сотрудничества в «Новом Времени», как это усматривается из тех же его писем к С. Н. Шубинскому, мы видим у него большее тяготение к журнальной работе. Так, летом 1881 г. он писал: «Вообще я горю желанием писать и писать серьезно не для желудка только, но и для души. Лишь бы вещь ¹⁾ понападала могущая обогатить умственный кругозор. Не бьда, что иногда не хватит сведений, их приобрести можно при случае и надобности. За этим не стоим. Откровенно скажу вам, я не гонюсь вовсе за жирной платой, только бы хватило на жизнь. К сожалению, в «Историческом Вестнике» мало места для моей плодотворности. Будь побольше сверстанных листов в году, можно бы поуменишить гонорар и в интересах долговечности журнала и в виду собственного спокойствия и личной пользы от случайной деятельности. Газетная же только развращает человека, надрыает его силы, в результате не вознаграждая ничем потерю их и массою мелочных дразг утнет всякую бодрость духа. Я, к счастью, теперь очень замечая за собою всякое проявление угнетенного состояния и стараюсь побуждать его, чтобы не впасть в безразличие. Вот откуда у меня теперь от газетных ворот такой поворот и такое тяготение к журналу».

Эти строки были писаны в тот период жизни, когда его журнальный путь еще окончательно не определился; дальнейшие события не подтвердили

¹⁾ Т. е. книга, по поводу которой он собирался писать.
в. б. глинский.

его мнѣнія о «поворотѣ», или, скорѣе, опредѣлили этотъ поворотъ въ обратномъ направленіи, именно къ газетѣ, съ существованіемъ которой такъ неразрывно связалась его жизнь. Но пока эта связь не оформилась и не закрѣпилась, *Θ. И. Булгаковъ* въ промежутки 1880—1882 гг. явился чрезвычайнымъ продуктивнымъ сотрудникомъ «Историческаго Вѣстника», почерпая изъ работы здѣсь значительную часть своего общаго литературнаго заработка. За все время его работы въ журналѣ имъ было напечатано здѣсь болѣе ста статей и замѣтокъ въ разныхъ отдѣлахъ, а также приведены въ надлежащій порядокъ для напечатанія нѣсколько цѣнныхъ чужихъ трудовъ, изъ коихъ имъ сдѣланы экстракты и снабжены комментаріями и объяснительными примѣчаніями. Изъ главнѣйшихъ его работъ для «Историческаго Вѣстника» надлежитъ назвать: «Ювъ, Прометей и Фаустъ», опытъ этико-исторической параллели; «Бисмаркъ въ карикатурѣ», «Калейдоскопъ московской жизни. 1818, 1819, 1820 годы. (Изъ писемъ А. Я. Булгакова къ князю П. А. Вяземскому)», «Русскій государственный челоуѣкъ минувшихъ трехъ царствованій (Къ характеристикѣ гр. П. Д. Киселева)», «Лебедевъ, Герасимъ Степановичъ, русскій путешественникъ-музыкантъ по Индіи въ концѣ XVIII вѣка», «Характеристика Пирогова, какъ педагога» и т. д. Таковы его работы въ области изслѣдованія и популяризаціи русской жизни; немало очерковъ, на примѣръ, о Наполеонѣ, о Фридрихѣ Великомъ, о Карлейлѣ и пр., относящихся до культурной жизни Западной Европы и основанныхъ на новѣйшихъ источникахъ, также разбросано въ видѣ отдѣльныхъ монографій по страницамъ журнала. Изъ числа обработанныхъ къ печати мемуаровъ надлежитъ отмѣтить: «Дневникъ В. И. Аскоченскаго», который онъ выкал изъ семи обширныхъ томовъ, снабдивъ дневникъ біографическимъ предисловіемъ и основательными примѣчаніями. Читая попадавшіяся ему иностранныя газеты, Булгаковъ спѣшилъ дѣлать изъ нихъ соответствующія вырѣзки, переводилъ и помѣщалъ въ отдѣлѣ «Смѣсь»; такъ же поступалъ онъ съ русскими газетами. Онъ внимательно слѣдилъ за нововыходящими книгами, основательно и съ большимъ знаніемъ вопросовъ рецензировалъ ихъ, охотно просматривалъ присылаемые ему редакторомъ журнала новыя изданія, и всѣ эти работы къ установленному сроку доставлялъ редакціи, охотно подчинялся ея требованіямъ въ надлежащихъ случаяхъ сокращенія и передѣлокъ.

Интенсивность его сотрудничества въ «Историческомъ Вѣстникѣ» была, однако, непродолжительна: вскорѣ газетная работа поглотила его всецѣло, онъ спѣлся съ редакціей, обрѣлъ свое надежащее въ ней мѣсто и сдѣлался въ ней полезнымъ и необходимымъ сотрудникомъ. Начавъ съ печатанія здѣсь мелкихъ замѣтокъ, потомъ переводовъ статей, онъ специализировался на отдѣлѣ иностранной жизни съ той ея стороны, которая содержала въ себѣ проявленія западно-европейскаго гения въ области науки, литературы и искусства. Его фельетоны (по четвергамъ) подъ заглавіемъ: «Съ того берега»,

«Заграничная лѣтопись», «Новости иностранной литературы», содержали въ себѣ интересныя и разнообразныя свѣдѣнія о культурной жизни Западна и являлись живо и съ большимъ знаніемъ написанной энциклопедіей по разнообразнымъ вопросамъ европейскаго просвѣщенія. Онъ въ доступной формѣ и легкомъ изложеніи популяризировалъ новѣйшіе труды въ области исторіи литературы, театра, искусства, знакомилъ съ послѣднимъ словомъ знанія «странъ чудесъ», рисовалъ портреты выдающихся представителей тамошней культурной жизни и такимъ образомъ вводилъ читателей въ курсъ всего того выдающагося, что могло служить нашей родинѣ поучительнымъ примѣромъ и источникомъ новаго опыта и знанія. Эти фельетоны пользовались широкимъ интересомъ читателей газеты и являлись богатымъ дополненіемъ къ тому, что давали политическіе свѣдѣнія газеты. Фельетоны эти прекратились послѣ того, какъ работа по редактированію газеты и веденію собственныхъ изданій потребовала отъ него почти всего времени дня и доброй половины ночи. Издатель «Новаго Временя», узнавъ поближе *Θедора Ильича* и удивившись въ его литературной отзывчивости, добросовѣстности и трудо-способности, уже со второй половины восьмидесятихъ годовъ отводилъ ему въ газетѣ видное положеніе, сначала какъ постоянному еженедѣльному фельетонисту, потомъ какъ лицу, исполняющему опредѣленные редакціонныя порученія и затѣмъ какъ замѣстителю въ лѣтніе мѣсяцы должностіи официальной редактора, за отсутствіемъ изъ города уѣзжавшаго на отдыхъ М. П. *Θедорова*. Впослѣдствіи Булгакову поручается исключительное редактированіе субботнихъ приложенийъ къ газетѣ, а послѣ смерти *Θедорова* онъ дѣлается «вторымъ» редакторомъ самой газеты, на каковомъ посту и постигла смерть *Θедора Ильича*. Въ качествѣ редактора большой политической газеты Булгаковъ былъ цѣннымъ работникомъ. Увлекающійся въ вопросахъ личныхъ, онъ былъ крайне сдержанъ и остороженъ въ трудной и отвѣтственной должностіи цензора чужихъ статей и ихъ печатанія; онъ неизмѣнно и выше всего ставилъ интересы и благополучіе газеты, какъ длительного явленія жизни, охраняя ее отъ всякихъ случайностей, увлеченій сотрудниковъ и тѣхъ вѣяній дня, которымъ онъ по опыту жизни не всегда довѣрялъ, усматривая здѣсь преходящій моментъ, послѣ котораго можетъ наступить горькое разочарованіе и будничное отрезвленіе со всѣми печальными вытекающими отсюда послѣдствіями.

Вступивъ сотрудникомъ въ большую газету, *Θ. И. Булгаковъ*, кромѣ «Историческаго Вѣстника», печатался также еще въ журналахъ «Вѣстникъ Изящнаго Искусства» и «Новъ», а въ 1895 году принялъ приглашеніе г. Пантаѣева редактировать послѣ смерти известной переводчицы г-жи *Энгельгардтъ* его журналъ «Вѣстникъ Иностранной Литературы». Это редактированіе не принесло, однако, нашему писателю ожидаемыхъ радостей—вскорѣ интересы издателя и редактора рѣзко разошлись, и Булгаковъ вынужденъ

былъ покинуть то дѣло, которое успѣлъ полюбить и въ которомъ усматривалъ полезность для русской жизни. Знаменитый въ лѣтописяхъ отечественнаго просвѣщенія тогдашній начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати М. П. Соловьевъ выдалъ литератора-редактора головою купцу-издателю: Пантелѣевъ отказалъ Булгакову и собственной персоной сталъ во главѣ редакторства органомъ печати, для руководства которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ требовался значительная литературная освѣдомленность и опытность. Между бывшимъ редакторомъ и издателемъ журнала начался процессъ, который, однако, въ своемъ заключительномъ эпилогѣ кончился для перваго неблагополучно.

Отходя отъ «Вѣстника Иностранной Литературы», Федоръ Ильичъ какъ бы почувствовалъ себя осиротѣлымъ и тотчасъ же рѣшилъ пополнить образовавшійся пробѣлъ въ жизни; въ 1897 г., сейчасъ же послѣ разлада съ Пантелѣевымъ, онъ основываетъ собственный журналъ — «Новый Журналъ Иностранной Литературы, Искусства и Науки», который, благодаря умѣлой его постановкѣ и руководству, вскорѣ завоевываетъ себѣ вниманіе широкаго круга читателей и становится распространеннымъ органомъ нашей печати, гдѣ вопросы литературы, искусства и науки нашихъ западныхъ соседей получаютъ прекрасное освѣщеніе и искусную популяризацию. Широкому распространенію «Новаго Журнала» въ значительной степени содѣйствовало то обиліе иллюстрацій, которыми были снабжены статьи и въ произведеніи которыхъ редакторъ-издатель находилъ удовлетвореніе своей любви къ художеству и своему артистическому чувству.

Приступивъ къ новому изданію, Булгаковъ не имѣлъ въ запасѣ нужныхъ ему оборотныхъ средствъ, дѣло было поведено съ большимъ размахомъ, но въ кредитъ, и всѣ печальныя послѣдствія такой постановки журнала сказались въ трудные годы нашего освободительнаго и революціоннаго движенія. Интересъ къ вопросамъ чисто культурнымъ значительно понизился, на авансцену жизни выступили вопросы политическіе, а тутъ еще заботы въ типографіяхъ нарушили порядокъ выхода журналовъ. Все вмѣстѣ вятное внесло въ ходъ развитія издательскаго предпріятія Булгакова безпорядокъ, кредиты оказались затрудненными и сократились, и дѣло, основанное безъ нужнаго запаснаго и оборотнаго капитала, пошло на ущербъ, внося въ жизнь нашего писателя одно изъ тягчайшихъ разочарованій и огорченій, которыя въ значительной мѣрѣ содѣйствовали сокращенію его дней. Федоръ Ильичъ напрягалъ всю энергію, чтобы спасти родное дѣтище отъ истощенія, но... обстоятельства оказались сильнѣе энергіи одного человѣка, и изданіе нужно было, обсуждая вопросъ съ его практической стороны, ликвидировать; однако на такой рѣшительный шагъ у редактора-издателя не хватало рѣшимости, и онъ продолжалъ его поддерживать, губя вмѣстѣ съ тѣмъ свое надорванное уже тяжелымъ жизненнымъ путемъ здоровье и угасавшія

силы и вкладывая въ него всѣ свои прочія средства, получаемыя и по редактированію «Новаго Времени», и по продажѣ отдѣльныхъ своихъ многочисленныхъ изданій. Тутъ разыгрывалась тяжкая драма: человѣкъ взялъ все свое жизненное отъ литературы и ей же все это отдалъ — «твоя отъ твоихъ...», не имѣя возможности обезпечить себѣ спокойнаго послѣдняго часа жизни и жизни тѣхъ, кого оставлялъ послѣ себя. Булгаковъ вступилъ въ жизнь бѣднякомъ, настоящимъ интеллигентнымъ пролетаріемъ и послѣ многихъ лѣтъ упорнаго труда, коимъ онъ былъ дѣйствительно полезенъ своимъ соотечественникамъ, таковымъ же শেষъ былъ въ могилу.

Братья писатели, въ вашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое...

Страстное тяготѣніе къ издательству причиняло вообще въ жизни Федору Ильичу, какъ мы видѣли, немало огорченій, но оно же создало ему и крупное издательское имя. Его энергія въ этой области была неисчислима и воистину поразительна; онъ каждый годъ, начиная со второй половины восьмидесятыхъ годовъ и до послѣдняго времени включительно, поставялъ на книжный рынокъ значительное количество тѣхъ или иныхъ переводныхъ или специально-иллюстраціонныхъ изданій, назначеніемъ которыхъ было внесеніе въ нашу общественность полезныхъ знаній въ сферѣ науки, литературы и искусства. Если при началѣ литературной дѣятельности Булгакова въ семидесятыхъ годахъ мы видимъ въ немъ сильное увлеченіе вопросами педагогическими, то въ слѣдующемъ десятилѣтіи его увлеченіе переходитъ на кругъ вопросовъ художественныхъ, и онъ послѣ В. В. Стасова дѣлается у насъ какъ бы патрономъ дѣла живописи, своего рода чачероне русскихъ художниковъ среди равнодушнаго къ вопросамъ просвѣтительнаго и эстетическаго знанія русскаго общества. Въ этомъ отношеніи его заслуги передъ исторіей отечественной образованности значительны, и, несомнѣнно, его умѣлая и популярная пропаганда путемъ выпуска въ широкую публику репродукцій выдающихся произведеній русской живописи немало содѣйствовала установленію у насъ правильнаго взгляда на воспитательное значеніе въ жизни художественныхъ произведеній, академическихъ выставокъ и на оцѣнку дѣятельности выдающихся представителей русской живописи, какъ И. Айвазовскій, В. Орловскій, К. Маковский, И. Шишкинъ, Г. Семинъ и др.

Именно Федоръ Ильичъ съ 1887 г. положилъ начало такъ называемымъ иллюстрированнымъ каталогамъ ежегодныхъ художественныхъ выставокъ въ цѣль дать наглядное напоминаніе о всѣхъ выдающихся произведеніяхъ русскаго искусства, какія изъ года въ годъ появляются на академическихъ выставкахъ. Съ 1890 г. онъ внесъ сюда значительное усовершенствованіе, примѣнивъ для репродукцій ежегодныхъ выставокъ фототипію. Съ 1888 г.

онъ приступаетъ къ цѣнному изданію—«Альбомовъ русской живописи», гдѣ дасть обзоры дѣятельности наиболѣе крупныхъ силъ отечественной живописи и въ отчетливыхъ репродукціяхъ собираетъ обширную галерею образцовъ русскаго художества. Такимъ образомъ имъ изданы альбомы картинъ В. Д. Орловскаго, Г. И. Семирадскаго, К. Е. Маковского, И. И. Шишкина, Р. Г. Судковскаго, И. А. Айвазовскаго, причемъ всѣ эти выпуски снабжены основательными критико-біографическими очерками тѣхъ дѣятелей нашей живописи, чьи произведенія были имъ репродуцируемы. Въ тѣхъ же видахъ ознакомленія широкой публики съ исторіею и развитіемъ художественнаго дѣла въ Россіи имъ былъ изданъ капитальный трудъ «Наши художники», гдѣ помѣщены свѣдѣнія о дѣятельности 757 русскихъ художниковъ съ приложеніемъ фототипическихъ и автотипическихъ снимковъ съ ихъ портретовъ и главнѣйшихъ произведеній ихъ кисти. Это изданіе вышло въ двухъ томахъ съ однимъ «дополненіемъ» и можетъ быть разсматриваемо какъ единственная до сихъ поръ у насъ энциклопедія художественнаго дѣла въ Россіи за вторую половину XIX вѣка. Кромѣ того, имъ были составлены и изданы двѣ обширныя иллюстрированныя монографіи, посвященныя русскимъ художникамъ—П. А. Федотову и В. В. Верещагину съ воспроизведеніемъ въ нихъ важнѣйшихъ ихъ произведеній и цѣнными автобіографическими свѣдѣніями.

Кромѣ вниманія дѣятелямъ русской живописи, имъ было уделено также время для популяризаціи свѣдѣній и о развитіи художественнаго дѣла на Западѣ. Въ этихъ видахъ имъ были выпущены въ изданіяхъ А. С. Суворина слѣдующіе цѣнные переводные и оригинальные труды: «Любке. Иллюстрированная исторія искусства. Художественная энциклопедія, гдѣ изложены исторія, теорія и техника изысканныхъ искусствъ (архитектуры, скульптуры и живописи) по національнымъ особенностямъ, съ синхронистическими таблицами и отдѣльными характеристиками важнѣйшихъ эпохъ и стилей; «Иллюстрированная исторія книгопечатанія и типографскаго искусства» съ 6-ю хромолитографическими и 8-ю автотипическими приложеніями и множествомъ снимковъ историческихъ шрифтовъ, заглавныхъ листовъ, инцидаловъ и заставокъ. Къ кругу его трудовъ по исторіи западно-европейской живописи относятся тѣ, гдѣ онъ ознакомилъ своихъ соотечественниковъ съ жизнью, творчествомъ и произведеніями—Альмы Тадемы, Л. Кнауца, Менцеля, Мейссонье и др. Интересуясь развитіемъ исторіи не только живописи, но и прочихъ родовъ искусства, онъ включилъ въ серію своихъ изданій и «Альбомъ русской скульптуры», гдѣ далъ свѣдѣнія о личности проф. М. М. Антокольскаго и фототипическую репродукцію его главнѣйшихъ твореній.

Дѣятельностью въ обрисованномъ направленіи не ограничилась, однако, его издательская работа. Имъ была и лично переведена и выпущена въ переводѣ своихъ сотрудниковъ обширная серія произведеній западно-евро-

пейскихъ писателей, французскихъ и англійскихъ по преимуществу. Нѣкоторые изъ этихъ произведеній поступили на книжный рынокъ въ доступныхъ широкимъ кругамъ потребителей изданіяхъ, другія въ роскошныхъ, иллюстрированныхъ. Къ числу послѣднихъ, главнѣйшихъ, должны быть отнесены: «Тысяча и одна ночь. Арабскіе рассказы Шахразады», «Атмосфера. Популярная метеорологія Камилла Фламмаріона», «Поэзія флоры», «Міры въ искусствѣ старомъ и новомъ», «Плутархъ XIX вѣка», «Музыка въ XIX вѣкѣ», «Танцы, ихъ исторія и развитіе», «Сто шедевровъ искусства» и т. д.

Такова была кипучая и плодотворная дѣятельность покойнаго Федора Ильича Булгакова, буквально пожиравшая его силы и требовавшая отъ него непрерывнаго, упорнаго труда, безъ отдыха и свободы отъ напряженной работы. Понятно, что, сжигая свѣчу своей жизни съ обихъ ея концовъ, онъ не могъ рассчитывать на долготлѣтіе и сомель, удрученный болѣзнями и горестями жизни, такъ преждевременно въ могилу. Раннія невзгоды, лишенія на зарѣ жизни, борьба за существованіе, неудачи по издательству послѣдняго журнала сломили его кипучія силы. Параличъ сердца 31-го марта 1906 года, въ самый день переезда больного на свѣжій воздухъ любимаго имъ Гунтербурга, прекратилъ и страданія больного писателя и поставилъ послѣднюю точку къ его столь плодотворно и полезно прожитой жизни. Русская журналистика и русское издательство потеряли въ его лицѣ выдающагося дѣятеля, который вложилъ всю душу въ дѣло своей жизни.

В. П. ВУРЕНИНГ.

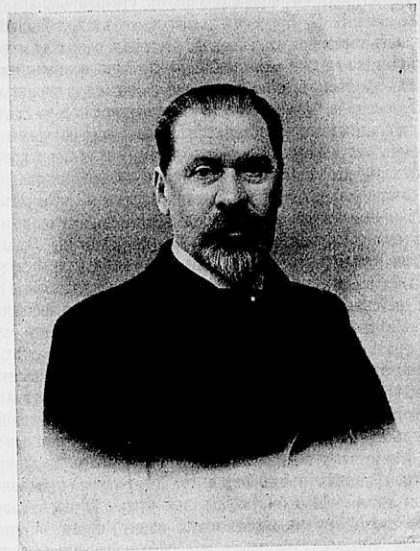
Немного из наших выдающихся писателей, как в области изящного творчества, так и в области критико-публицистической работы, дают для суждения о них биографы так мало материала, как Виктор Петрович Вуренинг, пятидесятилетие литературной деятельности которого исполнилось в ноябре 1911 г. Во всех его работах личное биографическое «я» совершенно отсутствует, он никогда не переносит память к минувшему из личной жизни, не вспоминает бывших товарищей или недругов по литературной борьбе и как-то совершенно индифферентен к тому, что о нем говорят современники в его биографиях, или будут говорить потомки в некрологах, как об известной индивидуальности в определенном кругу пространства и времени. Нить в печати его воспоминаний, не встрѣчается опубликованных его писем, мало попадает на упоминаний о нем современников, которые бы повѣдали читателям тѣ или иные любопытные страницы его жизни, рассказы о встрѣчках, беседах с ним, вспомнили бы его всегда остроумные замѣчания о событиях отечественной действительности, его сатирические стихотворные экспромты, не попавшие почему-либо в печать. Об этой скудости биографического и мемориального материала можно серьезно пожалѣть, ибо В. П. Вуренинг личность в высшей степени достопримѣчательная, а его литературная жизнь на протяжении цѣлаго полу столѣтія представляет крупный интерес для историка литературы. Русская общественность, как она переливалась на протяжении 70—90 годов и обрисовывалась под углом критическаго зрѣнія умнаго, наблюдательнаго, насмѣшливаго и талантливаго публициста-поэта, нашла себѣ широкое отраженіе въ его произведеніяхъ, и многіе этапы нашей политической, общественной и бытовой жизни отмѣчены въ нихъ выпуклыми чертами. Спрятавъ свою, такъ сказать, биографическую личность, В. П. Вуренинг зато очень рельефно выдвинулся въ своихъ работахъ съ лите-

ратурнымъ я, ставъ на самыя ответственныя критико-публицистическія позиціи и создавъ изъ своей журнальной дѣятельности любопытную цитателю, гдѣ онъ съ удивительнымъ мастерствомъ, съ громадною энергіей въ теченіе многихъ и многихъ годовъ взялъ на себя задачу обороны лучшихъ заветовъ нашей литературы отъ всякаго вторженія въ нее сомнительныхъ элементовъ, оборону ея историко-идейной красоты, ея чистоты словесной. Такого рода задача потребовала отъ него естественно и проявленія главныхъ, доминирующихъ способностей его духа—литературно-тревожнаго, выражающагося въ потребности въичной и непрерывной борьбы, гдѣ борющійся изъ роли обороняющаго переходитъ въ роль нападающаго, держащаго врага въ тревожномъ ожиданіи постоянныхъ ударовъ, наносимыхъ сильною, властною рукою, разящую безъ промаха, безъ пощады, по самому больному мѣсту. И какъ обороняющій красоту русской литературы, поскольку она вытекла изъ всей исторической совокупности родной жизни, и какъ нападающій въ интересахъ той же задачи, писатель нигдѣ, или, по крайней мѣрѣ, въ очень незначительной степени, не выставляетъ своего личнаго я, не рисуется передъ зрителемъ своею персоною, не кокетничаетъ ею, но руководится постоянно и исключительно идейной стороной борьбы, какъ бы полагая, что его личность есть нѣчто преходящее, неинтересное зрителямъ, должествующее быть принесеннымъ въ жертву тому стягу, тому идейному знамени, подъ которое онъ ставъ и служенію которому онъ посвятилъ свою жизнь. Отсюда удивительная личная скромность, биографическая или, правильнѣе, автобиографическая скупость и рядомъ кипучесть идейной борьбы, не знающей усталости до послѣдняго времени, борьбы, создавшей ему очень широкую популярность, гдѣ нити несправедливости, зависти, клеветы и неправды переплелись съ признаніемъ его крупныхъ заслугъ передъ родиною и съ литературою. Можно по справедливости сказать, что нити первой, отрицательной категоріи до послѣдняго времени преобладали на фонѣ его историко-литературнаго портрета и только пылъ окраска этихъ нитей подъ вліяніемъ давности начинаетъ понемногу блѣднѣть, стираясь, давая большую рельефность нити второй категоріи. И нѣтъ сомнѣнія, что съ теченіемъ дальнѣйшаго времени намъ предстоитъ быть свидѣтелями любопытнаго историко-литературнаго суда надъ писателемъ: онъ будетъ общепризнанъ, какъ одинъ изъ самыхъ выдающихся критиковъ, къ отзывамъ котораго придется часто обращаться, опираться на нихъ, какъ на авторитетныя свидѣтельства, гдѣ знаніе предмета, пониманіе его, оцѣнка и тонкій, чистый вкусъ, въ связи съ истинною любовью къ своей родинѣ, будутъ краеугольными камнями. Временное, случайное, вызванное преходящими обстоятельствами и вліяніемъ текущаго дня отпадетъ, и останется то существенное писательское, что дѣлаетъ его цѣннымъ достояніемъ исторіи русской общественности, русской литературы.

Вѣдь было же время, когда даже такіе колоссы литературы, какъ Тургеневъ и графъ Толстой, были заподозрѣны крикливыми представителями буйной толпы въ ихъ авторитетности; что же говорить про писателей, каковыми были К. Леонтьевъ, Аполлонъ Григорьевъ, Н. Страховъ, — ихъ ужъ совсѣмъ замалчивали, сводили на нѣтъ и презрительно третировали. Ичто жъ? На нашихъ глазахъ литературная канонизація и Тургенева и Толстого произведена, и съ этой стороны уже нѣтъ дикихъ воплей; что же касается писателей послѣдующей названной категоріи, то ихъ свѣтлый день уже брезжитъ, и поколѣніе нашихъ дней начинаетъ понемногу изъ-за искусственно напущеннаго чада и тумана прозрѣвать ихъ историческіе лики въ ихъ правильномъ и справедливомъ освѣщеніи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что то же случится и съ В. П. Буренинымъ, которому академическій литературный судъ вручитъ заслуженный вѣнокъ славы, до котораго сейчасъ этотъ судъ не смѣетъ страха ради іудейска даже коснуться. Я не хочу этимъ сказать, будто литературная авторитетность нашего критика подвергалась вообще заподозрѣванію, — далеко нѣтъ. Люди спокойные, безпартийные, цѣнящіе предметы и обстоятельства съ точки зрѣнія ихъ цѣнности, а не подл партійно-приходскимъ угломъ зрѣнія, эти давно уже признали за В. П. Буренинымъ право на первенствующее значеніе въ современной журналистикѣ. Но хотѣлось бы, чтобы такого рода оцѣнка стала общепризнанною, стала тѣмъ гласомъ, гдѣ бы не встрѣчалось диссонансовъ, именно тѣмъ судомъ, которому выше присвоено значеніе суда академическаго.

В. П. Буренинъ, вѣдь, былъ тѣмъ писателемъ, который почти въ одиночествѣ вынесъ на своихъ плечахъ всю тяготу настоящей критики послѣдней четверти вѣка, не путая ее съ политическими заданиями и не примѣшивая къ ней то постороннее, не стоявшее въ непосредственной связи съ литературнымъ значеніемъ разбираемыхъ произведеній, каковыми особенностями отличались всѣ прочіе критики его времени, которымъ толпа рукоплескала и которыхъ считала своими общественными вождями. Онъ не приносилъ въ жертву ни разбираемаго писателя, ни его творенія въ угоду опредѣленному политическому моменту, и если громилъ ихъ, то дѣлалъ это, имѣя въ виду исключительно интересы литературные, дѣли чистой литературной критики. Въ этомъ отношеніи онъ рѣзко разнится какъ отъ критиковъ лѣваго, такъ и праваго лагерей. Поэтому мы сплошь и рядомъ видимъ его протягивающимъ руку писателямъ, числящимся представителями много съ нимъ литературно-политическаго прихода и, наоборотъ, наносящимъ удары тѣмъ изъ писателей, которыхъ по нѣкоторымъ признакамъ, по общепризнанной репутации, скорѣе можно было бы отнести къ дѣятелямъ довольно родственнаго ему лагеря. Онъ выводитъ на литературную дорогу еврейскаго писателя С. Фруга, протягиваетъ на первыхъ порахъ руку сочувствія С. Надсону, Д. Мережковскому, А. П. Чехову; въ непріятный для Н. К. Михайловскаго моментъ

отбрасываетъ убійственнымъ памфлетомъ и сатирическимъ куплетомъ отъ своего «врага» литературныхъ набросившихся на него шавокъ, отдаетъ должное П. Д. Воборыкину и рядомъ съ этимъ насмѣшливымъ хлыстикомъ прохаживается по синамъ г.г. В. Австенка, Н. Каразина, В. Маркевича и др., не шадить даже своего товарища по газетѣ К. Скальковскаго, доведя



Викторъ Петровичъ Буренинъ.

послѣдняго сатирой почти до бѣшенства и до готовности разорвать съ редакціей этой газеты. Но вотъ обстоятельства мѣняются, т. е. поддерживаемые или, наоборотъ, высѣченные имъ писатели, въ той или иной изъ своихъ работъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ его текущемъ фельетонѣ, измѣнили свою позицію, взяли фальшивый тонъ или присвоили себѣ неподлежащую ихъ литературному рангу общественную претензію, или, наоборотъ, при-

влекли къ себѣ вниманіе критика искренними, правдивыми нотами, и вот мы читаемъ у него нѣчто иное тому, что онъ по другому случаю о нихъ говорилъ. Получается какъ бы нѣкоторое противорѣчіе, но это противорѣчіе только кажущееся, ибо въ обоихъ противоположныхъ случаяхъ онъ имѣлъ въ виду не писателя во всей совокупности его литературной дѣятельности, а только въ той ея части, о которой у него шла текущая бесѣда.

Рядомъ съ элементомъ положительнаго, утвердительнаго характера критической работы В. П. Буренинъ носитъ въ себѣ и постоянный элементъ полемики, то-есть характеръ отрицающій. Защищая, обороняя извѣстные положенія, онъ всегда доводитъ ad absurdum то, что этимъ положеніямъ противорѣчитъ, что ихъ затемняетъ, что мѣшаетъ имъ развиться и проникнуть въ сознание массы. Отсюда частая потребность у него *шаржа*, который онъ, не скрывая того, прямо такъ и именуетъ шаржемъ, пародіей, литературной «стрѣлой». И нужно отдать ему справедливость, въ этомъ родѣ литературной работы онъ на протяжении послѣднихъ тридцати пяти лѣтъ не знаетъ себѣ соперника. Его сатирическіе памфлеты настолько сильны, красочны и бьютъ прямо въ цѣль, что иногда одною небольшою шуткою онъ положительно уничтожаетъ явленіе крупнаго порядка, противъ котораго иные дѣятели печати считали нужнымъ выставить цѣлый арсеналъ мудрости и десятковъ двѣнадцатидесятилитровыхъ литературныхъ пушекъ. Онъ осмѣиваемое не расчленяетъ на составныя части, а беретъ изъ него самое существенное, самое уязвимое и въ нѣсколькихъ стихотворныхъ строфахъ или какъ бы случайно оброненной фразѣ выставляетъ его въ столь уродливомъ, смѣхотворномъ видѣ, что оно теряетъ всякую свою цѣнность и сводится на нуль. Такъ, когда въ свое время для газетъ и журналовъ потребовалась цѣлая длинная полемика противъ «Берега», основаннаго при правительственной субсидіи Цитовичемъ въ концѣ семидесятихъ годовъ, В. П. Буренинъ одной шуточной басней обнаружилъ всю идейную незначительность и цѣнность этого органа печати. И такихъ примѣровъ въ его литературно-публицистической дѣятельности можно было бы указать не одно. Точно также все несовершенство нашего судопроизводства и нашего судоворенія онъ съ удивительнымъ чутьемъ публициста изобразилъ въ столь популярномъ «таинственномъ процессѣ» подъ названіемъ «Мертвая нога», въ основу котораго былъ положенъ нашумѣвшій въ восьмидесятыхъ годахъ процессъ Мироновича. Какъ полемистъ и публицистъ, нашъ писатель становится въ уровень съ такими дѣятелями литературы, по манерѣ своего обращенія съ противниками или дискредитированія определенныхъ жизненныхъ общественныхъ явленій, каковыми были въ нашей литературѣ Добролюбовъ, а въ нѣмецкой—Верне.

«Да, если бы Буренинъ не отошелъ отъ нашего лагеря, его по всей справедливости и по чистой совѣсти мы провозгласили бы русскимъ Верне»,

сказалъ однажды за ужиномъ у себя на журфиксѣ А. М. Скабичевскій, когда всѣ присутствовавшіе сотрудники «Новостей» дружнымъ хоромъ поносили нашего критика. Этимъ я имѣю въ виду указать, что одинъ изъ литературныхъ враговъ В. Буренина, которому отъ него порядко жестоко попадало, имѣлъ какъ-никакъ мужество признать за своимъ недругомъ наличие такого таланта, которое создастъ ему въ исторіи литературы исключительное и высокое положеніе. Большое значеніе за Буренинымъ признавалъ также и Н. К. Михайловскій и въ періодъ своихъ острейхъ къ нему отношеній, а еще болѣе въ послѣднее время. Такъ, этотъ тоже остроумный полемистъ-социологъ не считалъ даже возможнымъ включить свою рѣзкую противъ В. П. статью въ послѣднее полное собраніе своихъ сочиненій, добросовѣстно признавъ эту статью и слишкомъ рѣзкой и до извѣстной степени (по его личному, мнѣ высказанному въ одной изъ бесѣдъ взгляду) несправедливой. Въ данномъ случаѣ Михайловскій галантно распаркался передъ своимъ врагомъ посбѣ того, какъ послѣдній вполне опредѣленно высказался за социолога-публициста по поводу одной безтактной и неумной выходки В. Гайдебурова-сына на столбцахъ имъ издававшейся въ 90-хъ годахъ газеты «Русь». Вспоминая это заступничество, выразившееся въ стихахъ:

Гайдебуровъ въ Шпрудель
Влѣтъ, какъ рѣзвый пудель,—
Сталь отъ Гайдебурова
Шпрудель цѣтить бурога.

Вспоминая это заступничество, явившееся отвѣтомъ на претенціозную статью, гдѣ издатель «Руси» съ высоты величія задѣлъ Михайловскаго, отмѣчу между прочимъ, что это шутливое стихотвореніе получило въ кругу друзей социолога-публициста въ день своего появленія на столбцахъ «Новаго Времени» широкую популярность. «Новое Времѣ» въ ту пору находилось подъ бойкотомъ лѣваго лагеря, о «Новомъ Времѣ» не дозволялось ни говорить, ни печатать въ немъ даже своихъ объявленій, и тѣмъ не менѣе, мурылка цѣлый день это смѣшное четверостишіе, недруги газеты выдали себя до извѣстной степени головой. Они обнаружили, что они газету читаютъ и даже въ нужныхъ или на пользу имъ идущихъ случаяхъ не прочь ее цитировать.

Извиняюсь за это историко-литературное отступленіе и, обращаясь непосредственно къ нашему критику-публицисту, подчеркну, какъ необходимую часть настоящей главы, что онъ, будучи признанъ даже недругами дѣятелемъ высшаго литературнаго порядка, именно, въ противность ихъ утвержденій, остался всегда писателемъ *иньмартийнымъ*, самостоятельнымъ, съ сохраненіемъ за собою во всѣхъ случаяхъ права независимаго голоса по всѣмъ трактуемымъ вопросамъ, даже если ему приходилось расходитьсѣ во мнѣніяхъ съ редакціей газеты, гдѣ онъ съ самаго ея основанія

работает. И бывали случаи в истории этой газеты, когда взгляды, высказываемые в верхних ее столбцах, не встрѣчали сочувствія въ ея фельетонной части, подписанной или полнымъ именемъ «В. Буренинъ», или псевдонимомъ «Графъ Алексисъ Жасминовъ». Вспомнимъ хотя бы шумную въ свое время и пылъ достаточно освѣщенную исторію съ Надсономъ, о которой будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ и въ которой издатель газеты разошелся во взглядахъ на значеніе дарованнаго поэта со своимъ критикомъ. То же можно было бы сказать и въ вопросѣ объ оцѣнкѣ А. П. Чехова, И. Н. Потапенка, объ отношеніи къ К. Скальковскому, о чемъ мы уже упоминали. Еще болѣе независимость и стойкость Буренина въ своихъ убѣжденіяхъ сказались въ пресловутые дни «свободы», когда почти вся печать, безъ исключеній, оказалась на послугахъ у рабочихъ депутатовъ и главарей революціи. Викторъ Петровичъ въ нашей печати одинъ не дрогнулъ, не поклонился ни жезлу Хрусталева-Носаря, ни впоследствии, когда революціонная буффонада была сметена, кулаку городского.

Конечно, случаи расхожденія съ родственной редакціей были единичные, а въ общемъ В. П. Буренинъ по всей справедливости можетъ быть рассматриваемъ именно въ качествѣ того столпа органа А. С. Суворина, на которомъ газета въ значительной мѣрѣ окрыляла и обосновала, особенно въ первый періодъ жизни, свой шумный успѣхъ. Нѣкоторые пятничные фельетоны критика являлись своего рода событіями нашей общественной жизни, и въ день своего выхода нумера «Новаго Времени» разбирались нарасхватъ. Въ моемъ распоряженіи не имѣется данныхъ для того, чтобы судить о значительности его редакціонной работы, особенно въ тѣ періоды, когда онъ фактически замѣнялъ самого А. С. Суворина по случаю его отъѣзда изъ Петербурга; но даже если судить объ его фельетонной работѣ, вспоминая ее съ конца семидесятыхъ годовъ, то приходишь къ неминусовому заключенію, что рядомъ съ выдающейся талантиностью ея главнаго кормчаго, самого издателя, необходимо поставить и талантиность, какъ публициста, именно В. П. Буренина, благодаря чему газета такъ быстро и завоевала себѣ широкое вниманіе читающей публики.

Мое вступленіе къ очерку, посвященному писателю-юбиляру, нѣсколько разрослось, но мнѣ хотѣлось выставить нѣкоторые главнѣйшіе пункты, сѣздуя которымъ я и постараюсь обставить ихъ нужнымъ фактическимъ литературно-біографическимъ ¹⁾ матеріаломъ, дополнивъ эти данныя свѣдѣніями о В. П. Буренинѣ, какъ объ оригинальномъ поэтѣ, поэтѣ-переводчикѣ, критикѣ, публицистѣ, сатирикѣ и драматургѣ.

¹⁾ Главнѣйшіи біографическіи матеріалъ почерпается изъ ст. П. Б. Быкова о нашемъ писателѣ, напечатанной въ № 968 «Всемирной иллюстраціи» за 1887 г., а также изъ книги Н. И. Афанасьева «Современники», т. I.

Дѣдъ нашего писателя былъ изъ крѣпостныхъ крестьянъ помѣщиковъ Хованскихъ, отпущеннымъ потомъ на волю и служившимъ у нихъ старостой, но уже сына его, Петра Петровича, мы видимъ человѣкомъ, получившимъ прекрасное образованіе и ученикомъ знаменитаго для своего времени архитектора Бове и извѣстнаго художника, академика-архитектора М. Д. Быковского. Въ результатѣ Петръ Петровичъ сталъ и самъ выдающимся архитекторомъ-строителемъ, со званіемъ свободнаго художника, чрезвычайно популярнымъ въ Москвѣ, гдѣ имъ было выстроено около 25 церквей. По словамъ перваго біографа Виктора Петровича, ниже упомянутаго П. В. Быкова, отецъ критика «человѣкъ въ высшей степени честный, прямой и веселый, остроумный собесѣдникъ, онъ обладалъ природнымъ юморомъ, который, безъ сомнѣнія, отъ него унаслѣдовалъ его талантливый сынъ. Петръ Петровичъ былъ женатъ на Серафимѣ Николаевнѣ Соболевой, приходившейся родственницей Ильѣ Алексѣевнѣ Ковылину, одному изъ видныхъ дѣятелей въ области раскола, и имѣлъ отъ этого брака двѣнадцать душъ дѣтей. Викторъ Петровичъ былъ однимъ изъ младшихъ членовъ семьи и родился въ Москвѣ 22-го февраля 1841 года у Деявля-Мучениковъ. Въ дѣтствѣ онъ очень любилъ природу и, пользуясь достаточной свободой, проводилъ все время на Воробьевыхъ горахъ, откуда открываются такіе прекрасные виды на Москву. Первые проблески творчества обнаружались въ немъ очень рано: Виктору Петровичу не было и девяти лѣтъ, когда онъ сдѣлалъ краснорѣчивое описаніе пожара, случившагося въ ихъ домѣ, а на двѣнадцатомъ году онъ уже началъ писать стихи, хотя и отзывавшіеся подражаніемъ Фету, котораго онъ читалъ довольно усердно, но по формѣ вполне удовлетворительные.

«Когда Виктору Петровичу минуло одиннадцать лѣтъ, его помѣстили въ мѣстное дворянское архитектурное училище. Въ этомъ учебномъ заведеніи было пять отдѣленій, и, по своимъ внутреннимъ распорядкамъ, оно заключало въ себѣ много оригинальнаго, а отчасти и курьезнаго. Такъ, напримеръ, воспитанники старшихъ отдѣленій училища, перваго, втораго и третьяго, за успѣхи получали каждыя два мѣсяца награднаго денегъ, называвшіяся «жалованьемъ», и, какъ чиновники, расписывались въ книгѣ у казначая: «жалованье за такіе-то два мѣсяца столько-то рублей и копеекъ получилъ такой-то». Викторъ Петровичъ былъ въ числѣ получавшихъ жалованье, такъ какъ учился прекрасно почти по всемъ предметамъ своей специальности. Но еще усерднѣе занимался по предмету русской словесности, преподававшейся въ училищѣ, какъ и другія общеобразовательныя науки, въ весьма скромныхъ размѣрахъ. Предметъ этотъ читался въ младшихъ отдѣленіяхъ С. М. Любечскимъ, московскимъ старожилкомъ и литераторомъ, а въ старшихъ—Д. Н. Дубенскимъ, членомъ общества любителей россійской словесности, авторомъ многихъ статей по исторіи литературы и напечатаннымъ

между прочим «Слово о полку Игореве» с комментариями. Благодаря таким двум преподавателям, влечение Виктора Петровича к литературѣ не только не остывало, но, напротив, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе разгоралось. Онъ попрежнему сочинялъ стихи, но это были уже не одни только подражанія Фету; въ его литературныхъ попыткахъ, довольно разнообразныхъ, была замѣтна самостоятельность, оригинальность и, главнымъ образомъ, преобладало сатирическое направленіе; природная юмористическая жилка Буренина невольно сказывалась въ нихъ уже тогда. Многие товарищи Буренина по училищу помнятъ, какъ онъ ухитрился переложить въ стихи цѣлую страницу курса строительнаго искусства, помнятъ и то, какимъ онъ былъ дѣятельнымъ и неутомимымъ сотрудникомъ рукописнаго журнала, издававшегося воспитанниками архитектурнаго училища. Виктору Петровичу было шестнадцать лѣтъ, когда онъ отнес нѣкоторые плоды своей юной музы въ редакцію одного серьезнаго журнала («Русскій Вѣстникъ»). Редакторъ (Катковъ) похвалилъ стихи, но отсвѣтовалъ отдавать ихъ въ печать и познать автора ихъ съ П. М. Леонтьевымъ, профессоромъ московскаго университета, однимъ изъ редакторовъ «Русскаго Вѣстника» и впоследствии ревнителемъ классицизма. Леонтьевъ, какъ человекъ чуткій, понялъ, что онъ имѣетъ дѣло съ юношей, несомненно, даровитымъ и, заинтересовавшись личностью «школьнаго поэта», принялъ въ немъ живое участіе: приглашалъ къ себѣ, снабжалъ книгами изъ своей обширной бібліотеки и, вообще, руководилъ имъ. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, но такъ какъ это было на рубежѣ шестидесятыхъ годовъ, когда нѣмая, новая вѣянія начали уже дѣлать свое дѣло, то Буренинъ недолго оставался подъ влияніемъ Леонтьева и предпочелъ ему людей прогрессивнаго направленія».

Въ приведенныхъ біографическихъ данныхъ мы находимъ всю наследственную, семейно-бытовую и учебно-педагогическую наличность, которая создала изъ воспитанника дворцоваго архитектурнаго училища того вліятельнаго писателя—публициста, поэта и сатирика, каковымъ мы знаемъ В. П. Буренина за его долгую литературную дѣятельность. Отъ предковъ онъ наследовалъ тотъ націонализмъ и народность, которыми и напоены его произведенія съ сюжетомъ изъ былинной жизни, и тѣ его публицистическія работы, гдѣ онъ сталъ на оборону русской жизни и литературы отъ выдвѣренія въ нихъ инородческаго (въ особенности еврейскаго) элемента, несущаго въ эту жизнь, по его мнѣнію, начало порчи и то противорѣчіе, которое не соответствуетъ началамъ, заложеннымъ въ русскую историческую психику. Отъ отца по закону наследственности онъ заимствовалъ игривость мысли и рѣчи, склонность къ сатирѣ и насмѣшкѣ, которыми проникнуты почти всѣ его произведенія полемическаго характера. Школа дала ему развитіе эстетическаго вкуса, любовь къ искусству, къ классической литературѣ, преподаваніе которой было тамъ поставлено превосходно, къ гармоніи и эстетикѣ, которая

выдѣлять его изъ ряда однородныхъ ему представителей критики и которая сѣлала изъ него задумчиваго красиваго поэта, какъ на поприщѣ оригинальнаго творчества, такъ и на поприщѣ переводнаго труда. Леонтьеву суждено было также оказать нѣкоторое вліяніе на юношу-поэта, столь доверчиво къ нему обратившагося и ставшаго къ нему въ извѣстное приближеніе. Леонтьевъ далъ ему примѣръ редакціоннаго воспитанія юныхъ сотрудниковъ, покровительства имъ, отсутствіемъ каковыхъ способностей сплось да рядомъ страдаютъ почти всѣ наши редакціонные синедроны, третирующіе стучащуюся въ ихъ двери молодежь свысока и не дающую себѣ труда ближе ознакомиться съ ихъ способностями и склонностями. В. П. Буренинъ въ этомъ отношеніи не грѣшилъ въ своей жизни и именно онъ вывелъ въ литературные люди цѣлую фалангу молодежи, на зарѣ своей жизни доверчиво обратившейся къ нему за совѣтами и указаніями.

Семь лѣтъ пробылъ В. П. въ архитектурномъ училищѣ, при чемъ, согласно правиламъ, здѣсь установленнымъ, вынужденъ былъ пробыть въ двухъ отдѣленіяхъ два лишнихъ года. Кончилъ онъ курсъ въ 1859 году и сейчасъ же, очевидно, благодаря связямъ отца въ строительномъ мірѣ, вступилъ на практическое архитектурное поприще. На этомъ поприщѣ онъ, еще будучи ученикомъ училища, въ теченіе трехъ лѣтъ завѣдывалъ постройкой церкви въ имѣніи Нарышкиной, сельцѣ Александровскомъ въ Калужской губерніи, затѣмъ въ Марьинѣ, Вронницкомъ уѣздѣ, въ имѣніи Пушиной, онъ также имѣлъ возможность приложить свои архитектурныя познанія къ разнымъ постройкамъ. Благодаря знакомству съ Нарышкиной, онъ сблизился съ тогдашнимъ цвѣтомъ московской интеллигенціи изъ числа бывшихъ декабристовъ и петрашевцевъ: съ И. И. Пушнымъ, И. Д. Якушкинымъ, М. М. Нарышкинымъ, Г. С. Ватенковымъ, П. Н. Свинцовымъ, С. О. Дуровымъ, А. Н. Плещевымъ и нѣкоторыми изъ московскихъ журналистовъ. Приблизительно къ тому же времени относится его знакомство и сближеніе съ А. С. Суворинымъ, тогда только что перебравшимъ изъ провинціи въ Бѣлокаменную. Это сближеніе сыграло въ жизни обоихъ писателей большую роль, и мы видимъ ихъ на протяжении почти пятидесяти лѣтъ шествующими по родной литературной нивѣ объ руку, какъ единомышленниковъ, во многихъ сторонахъ отечественнаго просвѣщенія взаимно дополняющими другъ друга и прокладывающими въ газетномъ, напримѣръ, дѣлѣ, а отчасти и въ области драматическаго искусства новые пути.

Подъ вліяніемъ Дурова, еще въ сороковыхъ годахъ печатавшаго свои переводы французскихъ произведеній, онъ принимается за переводную литературу, занявшись на первыхъ порахъ преимущественно стихами изъ Варбѣ, вошедшими впоследствии въ его сборникъ «Стихотворенія», изданный въ 1878 году. Съ этого времени тяготѣніе къ переводамъ иностранныхъ поэтовъ и впоследствии драматическихъ писателей не покидало В. П. на всю жизнь,

и в этой области им оставлен в нашей литературе значительный след. Чтобы не возвращаться более к этой стороне его деятельности, отметим, что им в разное время, и в особенности в первый период литературной работы даны переводы таких корифеев литературного мира Запада, как Барбье, Виктор Гюго, Гудь, Байрон, Альфред де-Мюссе, Ариосто, Гейне, Альфред де-Виньи, Гудцов, Кальдерон, Леонард и др.

Человек широко образованный, понимающий до величайших тонкостей красоты поэтических произведений авторов, подлежащих его переводу, владея в совершенстве русской речью, даром версификации, он дал в своих переводах образцы совершенной работы и по всей справедливости должен быть поставлен на одну доску с такими корифеями-переводчиками, как А. Майков, Д. Минаев, П. Вейнберг, Мей, М. Михайлов, Курочкин, Н. Верг и др. В своих переводах он не уподобляется, говоря фигурально, лакею, следующему рабски по стопам своего хозяина, но своим проникновением в иноземную речь перерабатывает ее в русском словесном горниле и после того преподносит читателю в такой форме, которая легко родит русскаго читателя с образцом иноземного искусства. Любопытно отметить, что, занявшись переводной литературой, наш писатель остановил преимущественно свое внимание на таких авторах, в произведениях которых наиболее ярко звучали ноты протеста, голос политического негодования и оппозиции существующему строю во имя свободных заветов цивилизации. Та среда, о которой мы упоминали выше и среди которой расцвел его поэтический талант, оказала в данном случае на него видимое и неизгладимое впечатление, и вот мы видим его на пороге литературной деятельности тем представителем протеста, каковым в сущности он остался и поныне, распространяющим свою непрестанную потребность протеста против всего, в чем он усматривает препятствие к осуществлению идеалов, которые он выносил из своего родного отцовского обихода, из данных учения и воспитания, из суммы впечатлений, почерпнутых в среде, с которою он столкнулся на заре сознательной жизни. Конечно, сила впечатлений в годы молодости была ярче, а потому и проявление их совершалось в более шумной форме — отсюда тяготение к тем образцам литературы Запада, где слышались отклики бурлящей собственной мысли. Да и условия отечественной жизни в ту пору сложились так, что к протесту против столь всем опротивевшего недавнего, николаевского, прошлого присоединялись все, в ком мысль была живым ключом, в ком чувствовался избыток крови и кто нес своей отчужденной желанием. Годы длали свои дела — дух понемногу утомлялся, но если мы взглянем пристальнее, над какого рода переводной драматической литературой и ныне работает наш писатель, то мы увидим, что элемент протеста и посейчас привлекает его

преимущественное внимание. Ознакомьтесь с двумя томиками его издания «Театр», вспомните еще в 1910 году напечатанную на страницах «Исторического Вестника» его пьесу «Король свободы», и публицистический вкус переводчика-драматурга станет для вас очевидным. Он остался типичным культурным прогрессистом и противником насилия, застоя и наглости, откуда бы таковые ни брали свое происхождение — с политического и общественного «лѣва» или «права».

Вступая на путь литературного служения, В. П. Буренин под влиянием Дурова, как уже сказано выше, начал испытывать свои поэтические силы на переводах из Барбье, но не с этими переводами он перешагнул за порог храма словесного творчества: он в первых порах ознакомил со своею особою читающую публику в качестве лирического оригинального поэта и засим в качестве сатирика, каковым он был знаком товарищам по училищу и на каковом поприще окружавшая среда успела уже его познать. Дело в том, что молва, слух о нем, как о литературном даровании, опередила его фактическое журнальное выступление. Среди писательской братии, собиравшейся на даче в одном из подмосковных местностей у А. Н. Плещеева, столь еще недавно освобожденного от ссылки по делу Петрашевского, Буренина уже знали, как экспромтиста и сатирика и, видимо, в согласии с общим настроением, царившим на даче опального поэта, все слагалось к тому, чтобы публика ознакомилась с обликом нового литератора именно на том поприще к которому он имел по наследственности столь сильное тяготение. И действительно, острым сатириком он вскоре и стал известен уже официально в широких литературных кругах.

В 1861 г. он посылает на страницы герценовского «Колокола» корреспонденцию из Москвы по поводу адреса, выработанного мѣстными литераторами на квартирѣ у Каткова по инициативѣ Громеки, в связи с известным арестом писателя Михайлова и с общим политическим движением, охватившим русское общество в 1861 году. Конечно, эта корреспонденция была анонимная; потом он появляется в печати в аксаковском «Днѣ», как автор небольшой замѣтки по одному подрядному делу, затѣм в 1862 году он в том же «Днѣ» помѣщает свое первое лирическое стихотворение «В ранній часъ надъ нивой вѣтеръ прихотливый» или «Утро», какъ оно озаглавлено в упомянутомъ уже сборникѣ «Стихотворенія». Вотъ эта первая печатная проба пера юнаго поэта:

Въ ранній часъ надъ нивой вѣтеръ прихотливый,
Разыгравшись, мягко влажный колосъ гнетъ,
Въ облакахъ янтарныхъ, въ волнахъ лучезарныхъ
На востокъ солнце радостно встаетъ.

Разливаясь в трели, в рошѣ полетѣли
Звуки пѣни чудной, пѣни соловья;
Измудрой сѣткой вѣтку вслѣдъ за вѣткой
Опустили нивы въ зеркало ручья.

За горою дальней хороводъ печальный
Утреннихъ тумановъ медленно взвился
И летѣть далеко отъ лучей востока,
Покидая съ тайной грустью небеса!

Отъ пѣбушекъ тѣни, будто полны лѣны,
На песокъ улегшись, тянутся по немъ,
Ветхихъ крышъ солону солнце золотое
Весело румянитъ огненнымъ лучомъ...

* * *

Вотъ скрипнула въ селѣ ворота,
Выходятъ люди, и видна
Въ ихъ лицахъ ранняя забота
Сквозь слѣды перерваннаго сна...
Звонче пѣния птицъ веселыхъ!
Свѣтлѣй лучъ солнца заблеститъ!
Пусть скорбный гнетъ работъ тяжелыхъ
Отраднѣй будетъ имъ пѣсти.
Пусть съ утра и до полудня
И послѣ до поры ночной
Святѣмъ покоемъ и красой
Весь Божій міръ снѣжетъ чуденъ,
Пусть дастъ онъ имъ забыть, какъ труденъ,
Какъ скорбенъ ихъ удѣлъ земной!

Это красивое стихотвореніе, столь тепло передающее наступленіе сельского утра, понравилось И. Аксакову, воспроизводившему въ своихъ лирическихъ стихахъ тѣ же деревенскія настроенія; но не оно обратило вниманіе на Буренина, какъ на поэта, и заставило о немъ говорить. «Шабашъ на Лысой горѣ или журналистика къ 1862 году» въ «Искрѣ» Курочкина, за подписью В. Монумендова, и «Суета житейская, литературная и всяческая. Пиръ во время журнальной подписки», напечатанное въ № 51 «Зрителя», произведение, подписанное псевдонимомъ «генералъ Супостатовъ 2-й» — вотъ тѣ двѣ зазорныя сатиры, которыя создали автору сразу положеніе въ русской журналистикѣ. Въ обоихъ этихъ памфлетахъ, охватившихъ собою нѣкоторые тогдашніе общественныя и литературныя явленія и заключавшихъ въ себѣ сатирическіе портреты, набросанные быстрымъ и мѣткимъ карандашомъ, сразу сказали блестящій памфлетистъ, легко сумѣвшій ориентироваться въ разныхъ сложныхъ конъюнктурахъ русской жизни. Кажется, ни одну изъ этихъ пробъ са-

тирическаго пера авторъ не включилъ въ сборники своихъ сочиненій, и потому остановимся нѣсколько дольше на нихъ, чтобы показать, какъ Буренинъ, пожаловавшій себѣ въслѣдствіи титулъ «графа Жасминова», быстро опредѣлилъ свою роль полемиста въ нашей журналистикѣ.

«Шабашъ», обвинявшій собою нѣтъ малопонятныя настроенія въ тогдашнихъ общественныхъ и литературныхъ сферахъ, болѣе всего, пожалуй, заслуживаетъ вниманіе своимъ примѣчаніемъ, гдѣ разбросаны очень ловко нѣкоторыя шпильки. Монумендовъ говоритъ здѣсь: «Сія драматическая фантазія была представлена авторомъ для соисканія на Уваровскую премію, но не заслужила оной. Николай Федоровичъ Щербина, разбирая ее, нашелъ, что она не соотвѣтствуетъ условіямъ, которыя требуются отъ драматическаго произведенія. Во-первыхъ, говоритъ онъ, историческая и логическая несообразность въ фантазіи очевидна: каковы образы Мефистофель могъ сойтись съ г. Надимовымъ, чиновникомъ при губернаторѣ. Во-вторыхъ, изъ трехъ единствъ соблюдено только одно, именно единство мѣста. Въ-третьихъ, выдержаннаго характера нѣтъ ни одного: все какіе-то намеки и аллегоріи. Признавая приговоръ знаменитаго критика вполне справедливымъ, авторъ тѣмъ не менѣе рѣшился представить свое произведеніе публикѣ, надѣясь на снисходительность къ таланту начинающему!..»

Если въ «Шабашѣ» мы действительно видимъ малопонятныя намъ сейчасъ настроенія, намеки и аллегоріи, то въ «Пирѣ» мы уже имѣемъ нѣчто болѣе конкретное, и здѣсь передъ нами выступаютъ въ сатирическихъ характеристикахъ главнѣйшіе представители тогдашняго журнальнаго и газетнаго издательства: Краевскій, Коршъ, М. Достоевскій, Павловъ, Дудышкинъ, Альбертини, Писаревскій, Катковъ и другіе.

Дѣло въ изображеніи автора заключается въ томъ, что издатели наканунѣ новогодней подписки ликують и поютъ хоромъ:

Друзья, солемте тенора
И съ ними басы низки:
Ура, ура, ура, ура!
Вино, камелии, игра
Все въ мірѣ отъ подписки!

Но сотрудникамъ журнальной арміи, отъ которой собственно зависитъ подписка, невесело, и тѣни ихъ съ грустью поютъ:

Подписки рьяная пора,
Ты снова наступила,
А мы всѣ бѣдны, какъ вчера,
Хоть въ насъ печатъ сыплется!
Считаетъ задній журналистъ
Богатство у копторокъ,
А поровнитъ намъ дать за шты
Не пятьдесятъ, а сорокъ.

Послѣ этого «пролога» выступаютъ дѣйствующія лица, изъ которыхъ особенно хорошо обрисованъ А. Краевскій, издатель «Голоса» и «Отечественныхъ Записокъ». Въ заключеніе своихъ арій на темы общественныя и политическія послѣдній поетъ:

Есть у насъ манера гадкая
Восхвалять одиъ республики:
Нѣтъ, явленныя лишь порядки я
Запасу подъ наши рубрики.
Полонъ въ сердцѣ непреклонности
Къ воплямъ силы разрушительной,
Конституцій, законности,
Гимнъ спою я утѣшительный!
И чтобъ всѣ мои воззрѣнія
Въ жизнь ложились основательно,
Я богиъ просвѣщенія
Подгоняю ихъ старательно.

Здѣсь тонко отмѣчена зависимость «Голоса» отъ щедротъ тогдашняго министерства народнаго просвѣщенія и выѣстъ съ тѣмъ его стремленіе подъ флагомъ административной законности проводить въ жизнь конституціонныя теченія.

Послѣ ряда выступленій прочихъ издателей, гдѣ схвачены мѣтко отличительныя тенденціи каждаго органа въ ихъ сатирическомъ освѣщеніи, авторъ приводитъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ къ комической разноголосицѣ, свидѣтельствующей о дѣйствительно царившей тогда разноголосицѣ въ журнальномъ мірѣ, когда, по позднѣйшимъ словамъ другого сатирика, русскіе люди не знали, чего они хотятъ: конституціи или сверженія. Весь хаосъ на сценѣ прекращается, однако, при выступленіи Каткова, издателя «Русскаго Вѣстника» и «Московскихъ Вѣдомостей». Знаменитый публицистъ Страстного бульвара, тогда щеголявшій въ англоманскомъ костюмѣ, обращаясь къ своимъ сотрудникамъ, князю Назарову и князю Кутушеву, приказываетъ: «Герольды трубите!»—что тѣ и исполняютъ, послѣ чего воцаряется молчаніе.

КАТКОВЪ.

«Милорды и господа! Общественное мнѣніе стало у насъ силой: въ слѣдующемъ году я издаю газету, которая будетъ его органомъ. Принимаю казенныя и частныя объявленія».

Занавѣсъ падаетъ.

Конечно, для насъ, нынѣшнихъ читателей и дѣятелей печати, въ этой сатирической пьесѣ немного понятно и смѣшно, если только не дать себѣ труда вернуться памятью къ исторіи русской журналистикѣ, знаніе которой

удѣлъ, увы! далеко не всѣхъ; но для своего времени эти историческіе походы начинающаго талантливаго писателя противъ признанныхъ авторитетовъ печати и издательства обратили на него всеобщее вниманіе, и имя Буренина скоро стало искомымъ именемъ для украшенія списка сотрудниковъ. Это хорошо учили такіе цѣнители нарождающихся талантовъ, каковыми были Некрасовъ и Салтыковъ-Щедринъ, которые и поспѣшили заполучить его на страницы «Современника». Некрасовъ не преминулъ даже лично познакомиться съ нимъ въ Москвѣ и предложилъ ему писать въ его журналѣ злободневный фельетонъ. Но фельетонистомъ «Современника» Викторъ Петровичъ не сдѣлался, такъ какъ въ чемъ-то не поладилъ съ вліятельнымъ сотрудникомъ этого журнала В. А. Слѣпцовымъ. Но прежде, чѣмъ стать сотрудникомъ Некрасова, въ жизни нашего писателя открывается періодъ его лѣтнихъ заграничныхъ поѣздокъ, которымъ онъ остался вѣренъ почти всю свою жизнь.

Повидимому, эти заграничныя поѣздки сыграли въ его жизни крупную роль и послужили для развитія его дарованія въ большое благо. Его природная эстетичность находила себѣ здѣсь богатое питаніе и наложила на весь его вѣншій обликъ, каковымъ знаютъ его, какъ человѣка, окружающіе, отпечатокъ корректности, щеголеватости и джентльменства, который его такъ выгодно выдѣляетъ изъ сонма профессионаловъ-журналистовъ.

Конечно, первоначальная журналистика не могла служить источникомъ его обезпеченія. Таковое, скромное, онъ почерпнулъ изъ своихъ московскихъ архитектурныхъ работъ и, накопивъ нужныя средства, онъ въ 1861 г. отправился въ заграничное путешествіе: объѣхалъ большую часть Германіи, познакомился съ накопленными ею богатствами предметовъ искусства въ картинныхъ галереяхъ и музеяхъ, посетилъ Швейцарію, побывалъ въ Парижѣ и наконецъ вернулся на родину. Путешествіе это заняло пять мѣсяцевъ и, какъ уже сказано, подобныя странствованія по чужимъ культурнымъ краямъ стали въ дальнѣйшей его жизни потребностью. Но, отрываясь на время отъ родины, онъ по возвращеніи домой не несъ съ собою отчужденія и холонскаго поклоненія, какъ бы въ укоръ ей, чудесамъ Запада. Здоровый национализмъ не погасалъ въ немъ, и писатель только спѣшилъ подѣлиться съ соотечественниками тѣми познаніями изъ видѣннаго и слышаннаго, которыя шли на пользу ея культурнаго роста. Послѣ своего перваго путешествія онъ, вернувшись въ Москву, становится постояннымъ сотрудникомъ «Зрителя», гдѣ помѣщаетъ рядъ своихъ оригинальныхъ поэтическихъ произведеній, а также сотрудникомъ «Искры», куда отдастъ брызги своего сатирическаго пера. Одновременно онъ посылаетъ стихи и въ «Современникъ» Некрасова. Изъ числа его оригинальныхъ произведеній приведемъ здѣсь очень граціозное стихотвореніе «Какая ночь».

Какая ночь! Иглистый шней
 Колеблет воздух. Съ высоты
 Синеет сводъ бездонно-синий,
 И блещетъ свѣтъ, и, облиты
 Его лучомъ, дрожаща полнымъ,
 Въ простертой безъ границъ дали,
 Серебрянымъ подобны волнамъ,
 Туманы дымяще легли...
 И ѣду я дорогой сибирской.
 Мой долгъ путь, ничто меня
 Нигдѣ не ждетъ съ заботой пѣкной
 У западающаго огня.
 Засыпаешь скрипъ сапегъ по снѣгу
 И звукъ веселой бубенца,
 Какъ гостяжданнаго къ поцелю,
 Меня не встрѣтятъ у крыльца.
 Свиданья счастье въ поцелуе,
 Обрадованъ не буду я
 Твоимъ горячимъ поцѣлуемъ,
 Подруга давняя моя.

Въ серединѣ 1863 г. Викторъ Петровичъ переселился на невскіе берега, гдѣ, продолжая свои архитектурныя работы (онъ состоялъ въ 1864 г. при клиникѣ баронета Вилліе въ качествѣ помощника инженеръ-архитектора Соколова), погружается вмѣстѣ съ тѣмъ съ головою въ тогдашнее журнальное море. Имя его, какъ поэта-лирика и сатирика, уже пользовалось известностью, и вотъ на протяжении почти двѣнадцати лѣтъ онъ появляется въ качествѣ постоянного сотрудника въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» В. Корша, въ «Современникѣ» Некрасова, «Библиотекѣ для чтенія» П. Воборыкина, въ «Иванидѣ», гдѣ ведетъ фельетоны на общественныя темы, въ «Русскомъ Словѣ» Влагосвѣтлова, «Невскомъ Сборникѣ», «Вѣстникѣ Европы» М. Стасюлевича, въ «Дѣлѣ», «Отечественныхъ Запискахъ» редакціи Некрасова и Салтыкова, а также въ «Искрѣ», «Будильникѣ» и «Развлеченіи» — тогдашнихъ юмористическихъ изданій. Въ этотъ періодъ талантъ Буренина расцвѣлъ, развернулся разносторонне, и уже къ исходу 70-хъ годовъ, когда ему пришлось занять выдающееся мѣсто въ газетѣ А. С. Суворина «Новое Время», имя его было достаточно громкимъ, притягательнымъ и свидетельствующимъ о крупныхъ заслугахъ передъ журналистикою. Онъ становится известнымъ широкимъ кругамъ читателей, какъ симпатичный поэтъ, чьи произведенія всегда согрѣты теплымъ чувствомъ, озарены симпатичною мыслью и отмѣчены красотою вѣншей формы. Имя Буренина упоминается, какъ несравненнаго полемиста, сатирика, полно и остроумно освѣщающаго въ своихъ произведеніяхъ событія текущаго общественнаго и политическаго дня и отражающаго въ нихъ лучшія культурныя тенденціи своего прогресс-

сивнаго времени. Прогрессъ—его знамя, регрессъ—мишень его нападокъ; все фальшивое, ходульное, злое, противорѣчащее интересамъ Россіи и запросямъ народной жизни—матеріалъ его сатирико-драматическихъ произведеній. Въ этотъ же періодъ развертываются и способности писателя, какъ критика-эстетика и критика-публициста. Половина шестидесятихъ годовъ—вотъ тотъ рубежъ, за которымъ возсіяла критическая звѣзда Виктора Петровича, бросающая яркій свѣтъ на всю его литературную дѣятельность и вписавшая его имя крупными буквами на скрижали отечественной словесности.

Газета В. Корша «С.-Петербургскія Вѣдомости» была тою литературною пивомъ, на которой возросъ его критическій талантъ, гдѣ Буренинъ въ сонмѣ такихъ выдающихся дѣлателей слова, какъ К. Кавелинъ, К. Арсеньевъ, В. Александровъ (Крыловъ), А. Головачевъ, А. Суворинъ (Вобровский, Незнакомецъ), К. Скальковский, О. Воропновъ, Л. Полонскій, де-Роберти, Э. Ватсонъ и многіе др., такъ много поработалъ на пользу культурнаго роста своей родины, вея непрестанную борьбу съ правительственными реакціонными тенденціями, съ общественною косностью и застоємъ и въ защиту прогрессивнаго развитія отчизны. Коршевская газета—блестящая страница въ исторіи пореформенной Россіи; къ ней, этой газетѣ, примкнули лучшія литературныя силы, и здѣсь заложены были задатки того обновленнаго ея типа, который установился у насъ и доднесь. Въ этомъ отношеніи именно гг. Суворинъ и Буренинъ понесли немало труда, разгрузивши газету отъ того тяжелого, что мѣшало ей проникать въ широкіе круги читателей и дѣлаться ихъ руководителемъ и добрымъ литературнымъ другомъ. Оба названныхъ писателя перенесли центр тяжести изъ неуклюжихъ тогдашнихъ передовицъ въ область живого, остроумнаго фельетона, гдѣ, какъ въ калейдоскопѣ, передъ обывателями заперѣли страницы отечественной жизни, имена, факты, печальная дѣйствительность, политика, обывательщина, гдѣ раздался веселый смѣхъ, будящій, эзвущій отъ мрака къ свѣту, дразнящій перспективами лучшаго будущаго и отмечающій все, что пришло въ ветхость и негодность.

Бойкій, остроумный и подчасъ полный злобы и задирательной сатиры фельетонъ новаго сотрудника академической газеты В. Корша, фельетонъ на злободневныя темы съ политическими здѣсь намеками, за подписью «Выборгскій пустынный» былъ большою и пріятною неожиданностью для читателей «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Появлялось чѣмъ-то новымъ, свѣжимъ въ нѣсколько тяжелой академической газетной атмосферѣ, и виновникомъ этихъ вѣяній было именно В. П. Буренинъ, приглашенный Коршемъ на ампула злободневнаго фельетониста и выбравшій себѣ этотъ псевдонимъ по мѣсту жительства на Выборгской сторонѣ, гдѣ, какъ уже сказано, онъ былъ занятъ строительными работами при клиникѣ. Но такого рода оживленіе читающей публики продолжалось недолго. Коршу было указано изъ главнаго управления по дѣламъ печати на нежелательность такого рода политиче-

скаго оживленія газеты и на неблагонамеренность новаго сотрудника. Пришлось подчиниться и убрать «Вяборскаго пустытника», мѣсто котораго нѣсколько времени спустя и занялъ А. С. Суворинъ, работавшій въ газетѣ съ 1862 г. и состоявшій въ ней въ качествѣ секретаря. До тѣхъ поръ Алексѣй Сергѣевичъ не проявлялъ себя самостоятельными и отвѣственными статьями, а ограничивался мелкой, хотя и тяжелой редакціонной работой. Его выступленіе подъ псевдонимомъ «Поборовскій» съ фельетонами «Всякіе», гдѣ подъ вымышленными именами фигурировали многіе представители тогдашней интеллигенціи, и въ томъ числѣ и арестованный и осужденный Н. П. Чернышевскій, а также гдѣ были даны живыя картины современной политической неразберихи, было сенсационно и удовлетворило читателей, лишившихся перваго фельетониста. Какъ известно, когда А. С. Суворинъ собралъ свои фельетоны въ одну книжку и готовъ былъ уже ее выпустить въ свѣтъ, послѣдовалъ карказовскій выстрѣлъ, а съ нимъ вмѣстѣ на Россію надвинулись мрачныя годы. Книжка «Всякіе» была арестована, и ея авторъ привлеченъ къ суду. Только послѣ 1905 года старому литератору удалось увидать свое дѣтище свободно обращающимся на книжномъ рынкѣ и такимъ образомъ получить хоть нѣкоторое удовлетвореніе за горестныя дни и часы, испытанные сорокъ лѣтъ тому назадъ.

Пока будущій издатель «Новаго Времени» блестяще подвизался въ роли лѣтописца своего времени, В. П. Вуренину пришлось какъ бы ретироваться за редакціонныя кулисы и ограничиться болѣе скромнымъ амплуа журнальнаго обозрѣвателя, подписываясь всего лишь скромною литерою Z. Конечно, заинтересованный въ этихъ журнальныхъ обозрѣніяхъ литературный міръ скоро распозналъ, кто этотъ таинственный литерный незнакомецъ, объявившійся на столбцахъ коршевской газеты, но для самого писателя такого рода обезличиваніе его было большимъ проблѣмой въ литературной карьерѣ, и только съ основаніемъ «Новаго Времени» онъ снова приобретаетъ себѣ тотъ публицистическій открытый обликъ, который завуалированъ былъ на столь долгое время властною цензурною рукою. Общий характеръ работъ «Вуренина въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» до нѣкоторой степени приближался къ тому характеру фельетоновъ его, которые расцвѣтали въ концѣ 70-хъ годовъ въ основанной г. Суворинымъ газетѣ, хотя, по не зависѣвшимъ отъ автора обстоятельствамъ, колоритъ ихъ здѣсь пришлось нѣсколько ослабить, какъ равно въ значительной мѣрѣ удержаться отъ тѣхъ публицистическихъ и полемическихъ выходовъ политической и общественной категорій, къ которымъ онъ уже съ раннихъ лѣтъ былъ склоненъ и который такъ рельефно обнаружались въ упомянутыхъ выше произведеніяхъ, напечатанныхъ въ «Зрителѣ» и «Искрѣ».

Но если цензурному вѣдомству удалось обезличить молодого писателя въ роли постояннаго газетнаго сотрудника, то обликъ его, какъ работника

ежемѣсячныхъ журналовъ, за нимъ сохранился, и репутація выдающагося сатирика-стихотворца къ концу 60-хъ и началу 70-хъ годовъ за нимъ прочно установилась. Въ этомъ отношеніи его «Военно-поэтическіе отголоски», печатавшіеся на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» редакціи Некрасова, сыграли въ его литературной жизни рѣшающую роль, и онъ и по содержанію этихъ «отголосковъ», и по формѣ ихъ ясно опредѣлился, какъ выдающийся сатирикъ-публицистъ своей эпохи, одновременно бывшій и по домашнимъ злобамъ, и по злобамъ обще-европейскимъ. Послѣднія, какъ не состоящіе подъ особымъ покровительствомъ цензурнаго вѣдомства, давали свободный полетъ его сатирическимъ стрѣламъ; но, имѣя мишенью для этихъ стрѣлъ осложнившіеся тогда франко-прусскія отношенія, Вуренинъ выпукло выдвигалъ на авансцену своей сатиры идейную сторону вопроса, передвигая ее изъ области общеполитической въ область домашнихъ дѣлъ. Громя Бисмарка и милитаризмъ, сатирикъ, какъ увидятъ читатели ниже, не забываетъ своей родины, предостерегая ее отъ подражанія своей западной сосьдѣкѣ и напоминая ей, что у нея дома далеко не все благополучно, что кругъ намѣченныхъ жизнью внутреннихъ реформъ далеко не заключенъ и что даже съ каждымъ годомъ въ этомъ кругу образуются такіе разрывы, которые грозятъ въ будущемъ народу большими бѣдами. Одновременно онъ ополчается и противъ вводной тогда общей воинской повинности, установленіе которой ему рисовалось какъ возвращеніе къ временамъ милитаризма, въ ущербъ задачамъ культурнымъ и развитію гуманнаго прогресса.

Необходимо отмѣтить здѣсь и ту форму, которую съ тѣхъ поръ онъ присваиваетъ своимъ стихотворнымъ сатирическимъ памфлетамъ. Писатель большого таланта, отличный версификаторъ, свободно владѣющій стихомъ и формою, съ яркими образными положеніями въ своихъ сюжетахъ, Викторъ Петровичъ, повидимому, въ интересахъ наиболѣе сильной восприимчивости читателей его сатиры, не укладываетъ ее въ столь легко дающуюся ему оригинальную стихотворную форму, а становится какъ бы подъ сѣнь авторитетовъ, беретъ у нихъ напрокатъ наиболѣе популярныя стихотворныя произведенія, такъ сказать, впитанныя читателями въ плоть и кровь, и въ нихъ вливаетъ свое конкретное полемическое содержаніе. Эффектъ и результатъ получаются намѣченные: по закону ассоціаціи слуха это содержаніе скорѣе проникаетъ въ сознаніе массы, усваивается ею и становится ей близкою, какъ нѣчто родное, милое, давно знакомое, что не требуетъ для себя усилія новаго усвоенія. Поэтому и авторъ «Военно-поэтическихъ отголосковъ», въ интересахъ достиженія опредѣленной цѣли, создаетъ для нихъ не свой оригинальный стихъ, а пользуется стихотворными классическими образцами поэзій Жуковскаго, Лермонтова, Пушкина, Крылова и другихъ.

Вот несколько наиболее ярких образцов из «Отголосков», где соединены у него всеедино и франко-прусские дѣла, и дѣла домашнія.

1) ДЕМОНЪ.

Въ тѣ дни, когда, достигнувъ нормы
Развитія мирнаго, мы вѣспѣть
Всѣхъ улучшенья и реформы
Слегка старались направлять;
Когда мечтами о грядущемъ
Не волновали мы души
И мысли связъ съ прогрессомъ пущимъ
Прервать и отдохнуть въ тиши,
Тогда въ Европѣ пушкетъ грома
Вдругъ привлекли насъ сонный слухъ
И пробудили въ насъ знакомый
Намъ съ давнихъ дней армейскій духъ.
Онъ сталъ плодить въ газетахъ толки,
Что предъ Берданомъ изъ Крикой
Ничто Шансо, ничто Иголки;
Онъ говорилъ, что намъ рукою
Подать до цареградекихъ башенъ,
Что можемъ снова мы потечь
На бой съ Европою—и страшень
Повсюду будетъ Россью мечъ,
Что лучъ вопиющей Авроры,
Для насъ готовъ блеснуть опять,
Что мы отнынь договоры
На пашльотки можемъ рвать.
Въ туманъ казарменныхъ утопій
Онъ насъ манилъ и самъ летѣлъ
И, кромя Пруссій, въ Европѣ
Знать никого онъ не хотѣлъ.

2) ГОЛОСЪ ПАТРИОТА.

Вознесъ съ домашними дѣлами
Ты утомилась, Русь! Пора
Тебѣ опять блеснуть штыками
И крикнуть грозное ура.

Дабы успѣшнѣе возростали
Въ тебѣ прогресса сѣмена,
Надѣлай митральезъ изъ стали
И страшныхъ бомбъ изъ чугуна.

Нарушивъ давнюю невинность
Сословныхъ правъ, скорѣй простри

На всѣхъ военную повинность
И силы войскъ учетвери.

Не земскихъ силъ, а силъ воиновыхъ
Въ себѣ движенье воскреси,—
И дрогнетъ мѣръ отъ исполненныхъ
Шаговъ проснувшейся Руси!

Возари на Пруссию: не Канты,
Не Гегели на цѣлый мѣръ
Ее прославили, но канты,
Погони, вышущи, мундиръ.

Фонъ-Молыте, Бисмарки, Штейнметцы,
Создавъ несмѣтные полки,
Седаны, Виссамбургъ, Метцы—
Вотъ чѣмъ народы велики!

Впередъ! За ней! Побѣды грома
По всей Европѣ раскатъ!
И пусть мужикъ твой изъ соломы
Вѣтъ хлѣбъ—ты славою блести!

3) СОНЕТЪ.

Мнѣ снился сонъ: отъ края и до края
Европой всей владѣють пруссаки
И формируютъ изъ людей полки,
Ведя порядокъ мудрый водворя.

Вокругъ полковъ свиной толщится стая,
Барановъ жирныхъ блещутъ курдюки;
Профессора пасутъ ихъ, сквозь очки
По-гречески Гомера разбирая.

Весь мѣръ цѣбѣтъ: всѣмъ смертнымъ почталоны
Приносятъ письма въ срокъ, вездѣ вагоны
Въ назначенные движутся часы.
Ретуръ-билеты введены повсюду,
И надъ землей развѣивъ запахъ чудный
Гороховой берлинской колбасы.

4) ЦѢЛЬ ЖИЗНИ ПРИ ВСЕОБЩЕЙ ВОЕННОЙ ПОВИННОСТИ.

Даръ высокій, даръ прекрасный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дала?
Умъ молчать, а сердцу лено:
Для войны мнѣ жизнь дана.

Пусть въ рукѣ держу перо я,
Пусть по нивѣ плугъ возу,
День придетъ, и среди боя
Грудь подставлю я штыку.

Пусть я въ земствѣ мирной рѣчью
За народъ стою,
День придетъ, въ бою картечью
Сдернуть голову мою.

Пусть въ латыни я вникъ и пакъ
Рѣчь эллинескую постигъ,
День придетъ, и я въ аттакѣ
Отъ уланскихъ стѣгну пики.

Пусть служу на видномъ мѣстѣ,
Пусть я пенскимъ денди воросъ,
День придетъ, и въ лобъ мнѣ двѣсти
Влѣпять пуль изъ мицвальезъ.

Пусть со клиромъ въ звонкомъ гимнѣ
Небу я хвалы пою,
День придетъ, и двѣ ноги мнѣ
Оторветъ ядромъ въ бою.

Осмѣивая такимъ образомъ увлеченіе военничною и опасаясь, чтобы она не послужила въ жизни народовъ вообще и Россіи въ частности плохой службы, В. П. Буренинъ откликается вмѣстѣ съ тѣмъ на главнѣйшія злобы тогдашняго дня и высмѣиваетъ все, въ чемъ усматриваетъ ненормальность, состояніе вреднаго общественнаго бездѣйствія или такое направленіе государственнаго русла отечественной жизни, гдѣ ей угрожаютъ бѣды и невзгоды. Онъ ѣдко вышучиваетъ классическую реформу съ ея схоластическими крайностями, пускаетъ свои стрѣлы въ глашатаевъ этой реформы — Каткова и Георгіевского, высмѣиваетъ сторонниковъ тѣлеснаго наказанія крестьянъ, благонамѣренность съ казеннымъ на ней клеймомъ, націоналистическую заносчивость, отношеніе петербургскаго свѣтскаго общества къ голодающему населенію въ Самарской губерніи, боязнь и недовольство судебной реформой и т. д., и т. д.

Вотъ два образца сатирической поэзіи Буренина за тотъ періодъ въ кругу намѣченныхъ общественныхъ явленій.

1) СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНСЪ.

(Посвящ. всѣмъ мудрымъ россиянамъ, стоявшимъ и имѣющимъ въ грядущемъ стоять за розги).

Нужно ли сѣчь мужика?
Гдѣ и когда бъ ни пришлось—
Намъ разрѣшить сей вопросъ,

Вѣра въ рѣшеніе крѣпка:
Надобно сѣчь мужика!

Надобно сѣчь мужика!
Порка—обычай: народъ
Самъ его создалъ, живетъ
Этотъ обычай вѣка...
Надобно сѣчь мужика!

Надобно сѣчь мужика!
Бросимъ гуманность-мечту:
Розги въ крестьянскомъ быту
Нечѣмъ смѣнить намъ пока...
Надобно сѣчь мужика!..

Надобно сѣчь мужика!
Необразовать и дикъ,
Вѣчно буйнѣтъ мужикъ,
Вѣчный онъ рабъ кабака...
Надобно сѣчь мужика!

Нужно ли сѣчь мужика?
Гдѣ и когда бъ ни пришлось—
Намъ разрѣшить сей вопросъ—
Вѣра въ рѣшеніе крѣпка:
Надобно сѣчь мужика!

2) ВСЕ УЛУЧШАЕТСЯ.

О чемъ крушитесь вы? У насъ
Когда-то была застой; съ тѣхъ поръ мы
Творимъ едва ль не каздый часъ
Реформы, мирныя реформы.

Что жъ вамъ еще, мой Богъ?
Ревнунъ о нуждѣ народной,
Всѣ земсна завести налогъ
Рекомендуютъ подходящий.

Забьются всесчасо власть
О лучшихъ благахъ жизни новой:
Почтовая хромала часть—
Уставъ улучшили почтовый.

Введеніе древнихъ языковъ
Все воспитаніе молодежи
Переначитъ до основъ,—
Чего жъ вамъ еще, чего жъ?

Нѣтъ, какъ вы тамъ ни говорите,
Прогрессъ повсюду исполнителскій
И скоро въ войскѣ еухари
Замѣнить колбасой беринской.

Сатирическіе стихи нашего поэта обнимаютъ часто очень широкій кругъ явленій, широкій кругъ наблюденій и характеристикъ дѣйствующихъ лицъ и такимъ образомъ, сведенные по рубрикамъ содержанія, могутъ быть разсматриваемы, какъ живая хроника своего времени, покрытая громкимъ смѣхомъ. Характеризуя этотъ смѣхъ, его биографъ П. В. Выковъ правильно говорить про В. П.: «При своемъ удивительномъ умѣнн владѣть стихомъ, при своемъ отличномъ литературномъ образованіи Буренинъ всегда и содержательнѣе, и разнообразнѣе, даже въ самыхъ мелкихъ юмористическихъ пьесахъ. Онъ щеколяетъ непринужденностью приѣмовъ, мѣткими сравненіями, граціей и благородствомъ, удачными сопоставленіями и вызываетъ невольный смѣхъ у читателя, потому что самъ искренно, съ увлеченіемъ смѣется. Но сила его—не пустое, безцѣльное зубоскальство, веселая забава, а пѣчто болѣе серьезное, это—смѣхъ злобы и презрѣнія, кладущій рѣзкое клеймо на все, чего онъ ни коснется. Эти то словно небрежно-веселые, то фдкороническіе строфы дышатъ горечью, ловко, искусно замаскированнымъ протестомъ и наводятъ на весьма печальныя думы, тяжело отзываются въ сердцѣ. «Я смѣюсь,—говоритъ Буренинъ въ одной юмористической поэмкѣ,—и публично бросаю мой смѣхъ—онъ толпѣ, какъ ребенку, забава, и души моей мукой играть никогда я не дамъ ей позорнаго права. Но пускай она знаетъ, что тупость одна можетъ тѣшиться праздно тѣмъ смѣхомъ: это смѣхъ негодующій, смѣхъ, что звучитъ скорби сердца подавленнымъ эхомъ». А въ другомъ своемъ произведеніи, въ «Диссонансахъ», поэтъ, рассказывая о томъ, какъ онъ запоетъ «торжества пѣснопѣи», когда наступятъ иные, свѣтлые дни, добавляетъ: «но покада въ душѣ моей, въ пѣсняхъ моихъ слышенъ ропотъ и стоишь озлобленъ; но покада въ душѣ моей, въ пѣсняхъ моихъ слышны только безумные звуки, звуки смѣха, который готовъ перейти съ каждымъ мигомъ въ рыданія муки»... Такъ самъ Буренинъ характеризуетъ свою муку, которая чуждается шутовскихъ, пошлыхъ стиховъ безцѣльнаго рیمованнаго взора. Эпоха, въ которую Буренинъ началъ свою литературную карьеру, наложила на его произведенія свой симпатичный отпечатокъ: они всегда согрѣты гуманнымъ чувствомъ и благородствомъ. И если въ нихъ нѣтъ силы и размашистости неумолимой сатиры, то въ нихъ все-таки есть серьезная мысль, есть содержаніе».

Если, работая у Корша и въ разныхъ ежемѣсячныхъ и еженедѣльных изданіяхъ, В. П. Буренинъ только опредѣлялся какъ критикъ, какъ публицистъ, какъ оригинальный поэтъ, беллетристъ, сатирикъ и отчасти драматургъ, то во второй половинѣ 70-хъ годовъ онъ, стоя на прежнихъ, какъ

теперь говорится, «платформахъ», уже широко используетъ эти свои литературныя способности, даетъ имъ блестящую отчеканку и обильно пускаетъ въ оборотъ. Съ основаніемъ въ 1875 году С. А. Суворинымъ «Новаго Времени» его старый сотоварищъ по работѣ вступаетъ сразу въ редакціонный составъ и становится правой рукой издателя и фактическаго редактора. Этотъ моментъ его жизни совпадаетъ съ разгаромъ славянскаго движенія и вслѣдъ за нимъ съ начавшейся русско-турецкой войной, каковыя историческія явленія и послужили тою благодатною почвою, на которой выросло и окрѣпло «Новое Время».

Въ первое время своего сотрудничества здѣсь Буренинъ какъ бы продолжаетъ прерванную нить своихъ работъ въ прежнихъ изданіяхъ: къ прежнимъ мотивамъ, имъ разрабатываемымъ, прибавляется только новый, выдвинутый жизнью, т. е. мотивъ славянской. Онъ даже въ началѣ войны, пользуясь лѣтнимъ временемъ, выѣзжа въ благодатныя страны Запада, направляется въ качествѣ наблюдателя и отчасти корреспондента на Балканскій полуостровъ, въблизи знакомится съ челоѣческой бойней, изучаетъ лицевую часть происходящаго тамъ и ея изнанку и, вернувшись на родину, бросаетъ свой сатирическій взоръ на видныя и слышанное. Самъ А. С. Суворинъ остается на театрѣ военныхъ дѣйствій, а В. П. Буренинъ вмѣстѣ съ В. Лихачевымъ становятся на время отсутствія принципа редакторскими руководителями изданія. Насколько авторъ настоящаго очерка знакомъ, съ чужого голоса, съ ходомъ тогдашнихъ редакціонныхъ дѣлъ въ газетѣ, нашему критику удалось во многихъ отношеніяхъ, въ противовѣсъ Лихачеву, сохранить въ газетѣ именно тотъ ея тонъ, который въ глазахъ читающей публики столь выгодно отгѣнилъ ее отъ другихъ газетъ того «славянскаго» періода. Не будучи самъ слѣпымъ поклонникомъ «братушекъ» и всего добровольческаго движенія, онъ тѣмъ не менѣе сумѣлъ, въ отсутствіе издателя, сохранить газетѣ ту позицію, благодаря которой молодое изданіе получило сразу популярность и распространеніе. Въ этотъ періодъ имъ написано немало сатирическихъ стихотвореній по адресу турецкихъ порядковъ, происхожденія турецкой конституціи, австрійской политики и т. д., а нѣсколько времени спустя онъ пустилъ въ оборотъ свою сатиру и на событія въ обновленной жизни «братушекъ».

В. П. Буренинъ не сразу выступилъ въ «Новомъ Времени» въ роли критика за своимъ подлиннымъ именемъ. Сначала надъ нимъ какъ бы тяготѣло прежнее цензурное перасположеніе, да и редакціонная работа, повидимому, отнимала немало времени, но скорѣе пятничныя фельетоны въ газетѣ стали тѣмъ недѣльнымъ ея центромъ, куда привлекалось вниманіе многочисленныхъ читателей и подписчиковъ. Въ данномъ случаѣ писатель почувствовалъ себя во власти полной свободы, которую ему предоставилъ издатель, и талантъ его заигралъ полнымъ блескомъ. Именно въ этомъ фельетонѣ была

в. в. галицкий.

имъ основана та оборонительная цитадель, подъ защиту которой онъ поставилъ лучшіе заветы русской литературы и ея выдающихся представителей и откуда онъ сталъ совершать свои непрерывные наезды на разныхъ доморощенныхъ и дутыхъ геніевъ, на разныхъ осквернителей русской литературы, изобличать ихъ умственную недальновидность и отсутствие у нихъ тѣхъ истинныхъ знаний, которыя они покрывали пустою шумихою словъ и вышнимъ проявленіемъ фальшиваго благородства чувствъ. Врядъ ли какой изъ нашихъ писателей совершилъ столько литературныхъ турнировъ, «анкроморскихъ битвъ», по его собственному выраженію, какъ именно В. П. Буренинъ на протяженіи первыхъ 25 лѣтъ своего сотрудничества въ «Новомъ Времени». Но не только въ области специально-литературныхъ дѣлъ объектомъ его заботы и дѣла общественныя. Дѣла редакціонныя стали объектомъ его заботы и труда. Молодая газета должна была создать себѣ положеніе, должна была отбиваться отъ насѣдавшихъ на нее враговъ и, если К. А. Скальковскій въ имѣ первымъ въ нашей журналистикѣ заведенномъ газетномъ отдѣлѣ «Среди газетъ и журналовъ» до извѣстной степени имѣетъ за собою тутъ заслуги, то не меньше этихъ заслугъ выпало на долю В. П. Буренина. Какъ опытный сатирикъ-публицистъ, онъ постоянно самъ вызывалъ противниковъ на бой и, доведя ихъ, что называется, первыми вылазками до бѣлаго каленія и вызвавъ ихъ на неосторожное слово или дѣло, спѣшилъ съ окончательнымъ ударомъ, гвоздя противника къ позорному столбу или къ смѣхотворной кулисѣ и декорации, очутившись въ каковомъ положеніи, этотъ послѣдній дѣйствительно въ глазахъ публики оказывался смѣшнымъ и терялъ свое прежнее очарованіе. Политическіе мотивы у него слышатся уже рѣже—они стали удѣломъ другихъ газетныхъ отдѣловъ, онъ же оставляетъ за собою по преимуществу русскую бытовую общественность и литературную среду, съ которой еженедѣльно оперируетъ въ томъ или иномъ направленіи.

Создавая позицію газетъ, онъ на первыхъ порахъ ведетъ усиленную борьбу съ не всегда искренними тенденціями «Голоса» и его сотрудниковъ, затѣмъ наноситъ почти смертельный ударъ субсидированному «Берегу» Цитовича, вышучиваетъ «Порядокъ» Стасюлевича и въ послѣдніе годы своей борьбы за газету ведетъ непрерывную войну съ «Новостями». Если развернуть его нынѣ вышедшій изъ продажи сборникъ «Стрѣлы», то вы увидите длинный рядъ газетныхъ именъ, которымъ сатирикъ наносилъ свои убійственные визиты, изъ которыхъ каждый являлся, по сознанию его враговъ, для нихъ настоящихъ «скандаломъ».

Таковъ его литературный визитъ А. А. Краевскому «по случаю пятнадцатилѣтія «Голоса»:

Пятнадцать лѣтъ, маститый журналистъ,
Ты издавалъ умѣренный свой «Голосъ»:

Внимая за него зоиловъ свистъ,
Ты постарѣлъ, твой убѣлился волосъ.
Но все жъ душою, какъ младенецъ, чистъ,
Ты пожималъ подписки спѣлый листъ,
И выпускалъ свой еженедельный листъ—
И обо всемъ на томъ листѣ молотилось!
А листъ печатный все переносилъ:
Болтали въ немъ, тудясь по мѣрѣ силъ,
Писцовъ, курьеровъ министерскихъ стая,
Болталъ Бильбасовъ, Безобразовъ самъ;
И медь статей ихъ лилася по усамъ
У публики, а въ ротъ не попадало...

А вотъ визитъ къ В. А. Полетикѣ, издателю «Виржевыхъ Вѣдомостей»:

О чемъ грустнѣшь, что мрачнѣшь, Полетика?..
Утихъ азартъ за страждущихъ славянъ,
Иновъ въ обществѣ господствуетъ «клубника»,
Веселый снова властвуетъ канканъ.
Теперь орломъ въ газетѣ полети-ка
И, предка своего приими санъ ¹⁾,
Какъ архіаторъ, исцѣляй отъ тика
Моральнаго безечныхъ россиянъ...
Но ты молчишь на сей призывъ гражданскій?..
Иль ты смущенъ чумою астраханскою?
Иль отъ нея боишься умереть?
Иль недоволенъ податью акцизною?
— «Ахъ, нѣтъ, не то,—ты молнишь съ укоризной:—
Три у меня подписчика на третъ».

Основывается съ помощью правительственной субсидіи для борьбы съ крамолою газета «Берегъ», и въ главѣ ея становится одесскій профессоръ Цитовичъ, при чемъ первая редакціонная скрипка вручается Дьякову-Незлобину ²⁾, и вотъ сатирикъ «Новаго Времени» спѣшитъ къ пришельцамъ съ поздравительною басней, гдѣ заодно бьетъ и по Каткову, и по Дьякову, и по Цитовичу, пытавшемуся на нескихъ берегахъ взять газетный тонъ издателя «Московскихъ Вѣдомостей». Буренинъ пишетъ:

Каткова увидалъ Дьяковъ
И говоритъ ему: «послушай-ка, дружище!
Толкують, ты въ статьяхъ великій мастернице:
Хотѣлъ бы я узнать, каковъ

¹⁾ Тутъ авторъ дѣлаетъ колкое примѣчаніе: «Предокъ г. Полетики, кажется, Роландъ Полетика, былъ, по собственному заявленію В. А., архіаторомъ при императрицѣ Аннѣ Иоанновнѣ».

²⁾ Впослѣдствіи фельетонистъ «Новаго Времени» подъ псевдонимомъ «Житель», нынѣ скончавшійся.

Твой тон и каковы воззрѣнья:
Прочти-ка, сдѣлай одоженье,
Мнѣ изъ своихъ «Вѣдомостей»
Передую погрозы?»
Внявъ благооклоно просьбѣ сей дяковской,
Великій публицистъ московскій
Являть свое искусство сталъ:
Ударилъ громомъ, молнией заблесталъ,
На тысячу ладовъ изобличалъ интригу,
Кричалъ патріотически «ура»,
Показывалъ властямъ въ карманѣ фигу,
Разилъ «мошенниковъ пера»,
Всю повскую печать порочилъ
И беду всякаго добра
Отъ классицизма родилъ пророчилъ...
Услышавши знакомая слова,
Великому внимала вся Москва:
Затихли въ клубѣ англичомъ вѣгги,
Въ Охотномъ рядѣ мясники
Вдругъ выставили кулаки,
И сдѣлали подъ козырьки
Всѣ пристава и всѣ городовые.
Чуть-чуть дына, Гиларовъ ¹⁾ самъ
На патріота любовался
И Ланинъ ²⁾, руки опустивъ по швамъ,
Курьерски-тупо ухмылялся...
Катковъ скопчалъ. Дяковъ, уставясь въ землю лбомъ,
«Нзрядно,—говорить,—сказать нельзя,
Тебя безъ скуки слушать можно;
Но жаль—съ Цитовичемъ ты мудрымъ незнакомъ:
Интригу обличать перомъ
Еще бъ ты болѣ наострилъся,
Когда бы у него немпожко поучился...
Услышавъ судъ такой, Катковъ,
Блеснувъ коштеровскимъ взглядомъ,
Къ Дякову обернулся задомъ
И вдругъ... взлетѣлъ до облаковъ
И тамъ возсѣлъ съ Зевесомъ рядомъ».

Смыслъ басни сей, я думаю, таковъ:
Цитовичу съ Дяковымъ—
Столпамъ патріотизма новымъ—
Угнаться будетъ трудно за Катковымъ!

Я особенно охотно привожу здѣсь эту басню—она великолѣпный образецъ сатиры, гдѣ осмѣиваемые схвачены въ типичныхъ чертахъ, обнару-

¹⁾ Редакторъ «Современныхъ Иавѣстій» въ Москвѣ.

²⁾ Издатель «Русскаго Курьера» въ Москвѣ.

жены въ самомъ своемъ газетномъ сокровеніи и тонко вышучены. Тутъ не на что отвѣчать и приходится молчать и покориться бичу сатиры. И такъ многие изъ наиболѣе осторожныхъ и умныхъ дѣлали, но тѣ, кто не выдерживали Буренинскаго бича, тѣмъ снова не здоровилось и приходилось паки и паки расплачиваться за свои прегрѣшенія.

Особенно сильно доставалось отъ повременскаго сатирика редактуру-издателью «Новостей» и его сотрудникамъ, которыхъ онъ буквально преслѣдовалъ по пятамъ, ловя ихъ на всѣхъ вольныхъ и невольныхъ ошибкахъ: отмѣчая ихъ часто фальшиво взятые ноты, неправильно занятые общественныя позиціи и ту журнальную безтактность, которою, несомнѣнно, отличался редакціонный составъ «Новостей»,—за что онъ, между прочимъ, какъ извѣстно, заслужилъ недестную аттестацію Салтыкова-Щедрина. Донималъ ихъ Буренинъ и за своею подписью, и подъ излюбленнымъ псевдонимомъ изъ «Графъ Жасминовъ» изъ «виллы Вланжевыя панталоны», и въ стихахъ, и въ прозѣ, и въ критическихъ фельетонахъ, въ басняхъ, пародіяхъ, драматическихъ отрывкахъ. Наконецъ г. Нотовичу стало невмочь, и онъ рѣшилъ нанести своему злому критику ударъ, объявивъ въ своей газетѣ анкету среди читателей: какъ они, молъ, смотрятъ на дѣятельность критика изъ «Новаго Времени»? Не успѣлъ редакторъ «Новостей» бросить ему своей анкетой вызовъ, какъ въ его редакцію посыпались обличительныя, недестныя для В. П. Буренина письма, подписанныя всяческими именами. Критикъ притаился и далъ своему противнику по газетѣ вылить на его голову всѣ ушаты грязи; ему важно было поймать удобный моментъ для контръ-удара, каковой неминуемо со стороны Нотовича долженъ былъ воспослѣдовать (онъ изучилъ хорошо его газетную психологію), и дѣйствительно таковой представился въ одномъ для посторонняго глаза сразу неуловимомъ обстоятельстве, а именно въ смѣхотворности подписей подъ ругательными письмами, безъ сомнѣнія, въ большомъ числѣ сфабрикованными въ самой редакціи. Такая нелѣпая и смѣшная подпись нашлась подъ однимъ изъ писемъ, гдѣ обозначено: «Моржъ». Ловкій полемистъ подхватилъ это смѣшное обстоятельство и въ отвѣтъ на обрушенную на его голову ругань отвѣтилъ драматической картиной, имѣющей своего рода автобіографическое значеніе, такъ какъ здѣсь онъ собралъ довольно полно всѣхъ тѣхъ, кому онъ успѣлъ, какъ критикъ, досадить, и отмѣтилъ, по какому поводу это досажденіе произведено. Отвѣтъ Буренина въ формѣ «драматической картины» настолько характеренъ для его писательскаго облика и представляетъ такое мастерство полемическаго приѣма, что я привожу его полностью.

РАСКАЯНИЕ БУРЕНИНА ГРОЗНАГО.

Драматическая картина.

Л и ц а:

Буренин Грозный, критик.

Муза критики.

Тѣни еврейскихъ поэтовъ и сотрудниковъ «Новостей».

Сцена представляет кабинет грозного критика. По стѣнамъ развѣшаны критическія лозы и бичи Эммендъ; въ углахъ разставлены чучела литературныхъ бездарностей и посредственностей, пропавшихъ въ пирамиды. Столъ заваленъ книгами. Большое кресло въ родѣ трона.

Буренинъ сидитъ у стола на креслѣ. Около него Муза критики. Въ глубинѣ сцены дрожанія тѣни.

БУРЕНИНЪ.

Возьми-ка, Муза, отпри портфель,
Синодикъ вынь оттуда: записалъ я
Въ синодикъ томъ всѣхъ, кого сказнилъ
За ложь, посредственность или бездарность
Разборомъ строгимъ и насмѣшкой ѣдкой!
Прочти мнѣ вслухъ—возьми перо—и если
Кого-нибудь еще припомню я,
Того ты впишешь!

МУЗА КРИТИКИ [беретъ перо и читаетъ].

«Упокой, Господь,

Твоихъ рабовъ: Градовскаго Григорья,
Нотовича Юзефа, лицовъ
Безцвѣтѣйшихъ статей и фельетоновъ
Михневича, Модестова и всѣхъ
Обрѣзанныхъ сотрудниковъ газеты
Еврейской, самой честной и большой.
Помилуй Засодимскаго Архипа
И Карпа Отпущенскаго, Петра
Вобрыкина, что пытку народную
Былъ мною мучимъ за парижскій шикъ
Романовъ безконечныхъ и статейскъ,
Исполненныхъ бульварной пустоты,
Написанныхъ съ великимъ самолюбьемъ.

Помилуй Стасова Владимира и съ нимъ
Варраву Антокольскаго, которыхъ
Осмѣивалъ я: одного за ложь
Надутую о музыкальной «кучкѣ»,
За грубое безвкусіе въ оценкѣ
Художниковъ и русскихъ и чужихъ,
Другого—за еврейское нахальство
И шарлатанство. Отпусти грѣхи
Хаиму Фругу, Минскому Онану,
Мисасу Пейсу, Чижикю, Прышу,
Свищу и Пузырю и всѣмъ пѣнтамъ
Россійскимъ и израильскимъ, числомъ
Не менѣ двухсотъ...»

БУРЕНИНЪ [блѣдный, трепещущимъ голосомъ].

Постой,—какъ двѣсти?

Ихъ было болѣ—двѣсти пятьдесятъ!

МУЗА [пишетъ и продолжаетъ].

«Помилуй, Господи, и упокой
Михайлу Стасюловича, чью честь я
Похитилъ и въ плѣненіи держалъ,
Пока Спасовичъ, по суду, обратно
Не водворилъ ту честь ея владѣльцу.
Евгеня Утина и словоблуда
Великаго, что писареву дщерь
Подвигъ на покушенье ¹⁾. Всѣхъ бездарныхъ,
Посредственныхъ, банальныхъ беллетристовъ
И беллетристокъ. Виктора Крылова,
Мешерскаго и разныхъ драматурговъ
И дармоедовъ, ихъ же имена
Ты всѣмъ, Господи...»

БУРЕНИНЪ [въ ужасѣ приподнимается съ
кресла, волосы на его головѣ вста-
ютъ дыбомъ].

Постой, забудь

Я Надсона вписать: его убилъ я

¹⁾ «Т.-е. адвоката г. Александрова, нынѣ всѣмъ забытаго, но когда-то прогрессивнаго защитой «блудливыхъ вдовъ» и случаемъ съ дочерью писаря, которая захотѣла его заколотъ книжалою въ стѣнахъ окружнаго суда». Б. Г.

Пародией и вместе с ним ту женку,
 Что назвала сама себя облыжно
 Графиней Лидой: ее сгубилъ
 Я, грѣшникъ окаленный, фельетономъ

[Обращается къ тѣнямъ Нотовича, Градовскаго,
 Минскаго, Фруга и другихъ].

Вы, тѣни блѣдныя Трипичкиныхъ, и вы,
 Питы, рѣмоплеты изъ евреевъ!
 Межъ вами нѣтъ ни одного, кого бы
 Не оскорбилъ я словомъ и перомъ,
 Занѣ въ бездарности и глупости равны вы—
 Простите мнѣ. Ты, Минскій, ты, Михневичъ,
 Ты, Фругъ Ханьмъ, и ты, Градовскій, ты...

тѣнь г. нотовича.

Помилуй, государь. Тебѣ ль у насъ
 Прощеніе просить?..

буренинъ.

Молчи, еврей!

Я каюсь и унижаться властенъ
 Предъ кѣмъ хочу! Молчи и слушай. Каюсь:
 Душою весель, разумомъ насмѣшивъ,
 Предъѣлся я гремушками сатиры
 И въ фельетонахъ легкихъ и «смѣшныхъ»,
 Для чтенія удобныхъ, постоянно
 Изобличалъ посредственность и глупость,
 Что появлялась на столбахъ газетъ
 И на листахъ журналовъ. Не мирволилъ
 Нахламамъ изъ застольныхъ болтуновъ
 И псевдо-либеральныхъ шарлатановъ!
 Свое перо я часто упражнялъ
 Въ пародіяхъ и шуткахъ, отъ которыхъ
 Читатели невольно веселились
 И плакали писатели «Новостей»...
 Но каюсь нынѣ я въ грѣхахъ великихъ
 И несказуемыхъ: меня къ тому
 Своими увѣщаньями подвигли
 Трипичкины «изъ публики»: Налимовъ,
 Аркадій Немировскій, Скиевъ, Курчавый,

Стриговичи два брата, Кубитовичъ,
 Дворжицкій, Богдановичъ, Головской
 И прочіе, межъ всѣми жъ наипаче
 Невѣдомый, что назвался Моржомъ¹⁾.

[Проливаетъ слезы раскаянія].

Занавѣсъ.

Вотъ образчикъ полемическихъ отвѣтовъ В. П. Буренина, изъ котораго становится вполне понятнымъ, поскольку опасно его самого задѣвать и бросать ему перчатку. Литературная расправа его коротка и характерна: всѣ одномастные, подлежаще бичеванію, срублены въ одну кучу, облиты горячимъ потокомъ сатирическаго смѣха и пригвождены къ шутовской декорации, заставляющей невольно читателей отъ души смѣяться. Эта расправа не страдаетъ отсутствіемъ въ ней добродушія, она ядовита, зла, желчна, но... по дѣломъ вору и мука: другой разъ не суйся въ воду, не зная литературнаго брода. Изъ этой, какъ уже сказано выше, шутильной автобіографіи или, правильнѣе, литературнаго послужнаго списка усматривается, какъ великъ кругъ его полемики, кто въ этотъ кругъ попалъ и по какимъ поводамъ. Но списокъ этотъ, конечно, далеко и далеко не полонъ, или, можно сказать, не обнимаетъ собою и сотой доли тѣхъ, кто былъ пронзенъ стрѣлою графа Жасминова. Даже если просмотрѣть всѣ выпущенные имъ сборники, по преимуществу стихотворныхъ и драматическихъ произведеній, подъ названіями: «Стихотворенія», «Пѣсни и шаржи», «Стрѣлы», «Очерки и пародіи», «Пипа и Пуся», «Мертвая нога» и «Романъ въ Кисловодскѣ»²⁾, «Хвостъ», «Горе отъ глупости», то даже и отсюда не получаешь мало-мальски полнаго представленія объ его сокрушительной полемической дѣятельности, такъ какъ въ этихъ сборникахъ заключены лишь по преимуществу стихотворные, беллетристическіе и драматическіе его памфлеты. Громадное же количество его критическихъ произведеній, изъ которыхъ очень многіе имѣютъ большую цѣнность, не изданы и, повидимому, пропали для потомства, а вмѣстѣ съ тѣмъ, должно признаться, на нихъ воспитались цѣлыя поколѣнія современниковъ, какъ изъ числа пишущихъ, такъ и изъ числа простыхъ обывателей. Эти фельетоны обнимаютъ собою текущую литературу, поскольку она вырастала и развивалась въ періодъ его тридцатипятилѣтней работы «въ Новомъ Времени», а хотя они носятъ на себѣ характеръ преходящій, тѣмъ не менѣе для исторіи нашихъ литературныхъ эволюцій, нашихъ общественныхъ движеній и характери-

¹⁾ Г. г. Налимовъ, Курчавый, и проч., до Моржа включительно—писатели-добровольцы, вызванные г. Нотовичемъ «изъ публики».

²⁾ Оба эти произведенія вышли нынѣ седьмымъ изданіемъ.

стиль писателей могли бы, собранные воедино, представить, несомненно, большой интерес и, пожалуй, даже воспитательное значение для грядущих поколений.

Разбирая известное произведение, подлежащее его текущему суду, критик по большей части устанавливает его эстетическое и общественное значение и отсюда выносить тот или иной приговор их автору. Многие из числа последних, как я уже говорил, были им поддержаны на первых порах их литературной деятельности, когда они числились в разряд «подающих надежды» и когда критик усматривал в них простоту, искренность и отсутствие чопорного тщеславия и претензии на «бессмертие». Но вот проходили годы, поддерживанный в свое время писатель окрѣп и, под влиянием по большей части неумеренных своих литературных друзей и почитателей, закинул гордо голову и начал проявлять явную магию. Съ этого момента мнение критика о такого рода писателе резко мѣняется, и онъ изъ бывшаго друга становится его гонителем, усматривая въ его деятельности нѣчто вредное для литературы и общественности. Тогда онъ начинает его бичевать, высмѣивать и выворачивать на смѣхотворный ладъ. Г. Мережковский, Фругъ и главнѣйше Надсонъ въ этомъ отношеніи особенно отъ него пострадали, причѣмъ исторія съ Надсономъ послужила для г. Вуренина источникомъ немалыхъ литературныхъ несприятностей. Какъ известно, этотъ даровитый юноша-поэтъ на первыхъ порахъ своей поэтической карьеры заслужилъ одобрение нашего критика, но затѣмъ критика, исключительно хвалившая авторствъ за ихъ гражданскіе мотивы и нашедшая у молодого писателя наличие таковыхъ мотивовъ, стала усиленно мусировать его значеніе въ нашей текущей литературѣ и создавать изъ него своего рода идола. Надсонъ, будучи уже во власти злой болѣзни—чахотки, со своей стороны, сдѣлалъ нѣсколько фальшивыхъ шаговъ, и вотъ В. П. Вуренинъ поспѣшилъ высѣчь поэта, повидимому, даже будучи въ неизвѣстности объ его болѣзненномъ состояніи, въ назиданіе и ему самому и другимъ ему подобнымъ, а также въ назиданіе и не въ мѣру его старательнымъ поклонникамъ и поклонницамъ. Походъ Вуренина противъ поэта совпалъ съ обостреніемъ болѣзненнаго состоянія чахоточнаго, и онъ какъ разъ въ это самое время отошелъ въ вѣчность. И вотъ судъ потомства, растроуленный по всѣмъ многочисленнымъ и враждебнымъ изданіямъ, и «Новому Времени» и самому критику состоялся: именно онъ виновенъ въ смерти поэта, онъ его убійца! Слѣпая легенда имѣла успѣхъ, и имя В. П. Вуренина стало своего рода притчею во языцѣхъ въ лѣвомъ либеральномъ и радикальномъ лагерѣ печати, наиболѣе, какъ известно, вліятельномъ и многочисленномъ въ нашемъ обществѣ, по крайней мѣрѣ до послѣднихъ реформенныхъ годовъ, от-

куда уже по преданію и по наслышкѣ эта нелѣпая легенда поползла къ свѣдѣнію грядущихъ поколѣній. На всѣ нападки въ этомъ направленіи сатирикъ отвѣчалъ рѣзкими памфлетами—«Простраціо Кисляю-Кисляканти», «Смерть комара» и др., гдѣ зло вышучивалъ и эту легенду, и всѣхъ тѣхъ, кто къ ней имѣлъ то или иное касательство. Въ литературѣ создался совершенно искусственно такимъ образомъ инцидентъ, который своей концепціей обстоятельности пошелъ на пользу популярности скончавшагося поэта и въ ущербъ критику, и на этомъ инцидентѣ въ значительной степени было базировано нерасположеніе къ послѣднему многихъ группъ. Сюда еще примѣшался еврейскій вопросъ, мнѣніе о которомъ нашего писателя хорошо извѣстно читателямъ, и весь литературный пожаръ станетъ намъ хорошо понятенъ. Въ настоящее время, когда страсти улеглись и время сдѣлало свое успокоительное дѣйствіе, даже въ либеральной публицистикѣ произнесенъ рѣшительный приговоръ: такъ, еще недавно одинъ извѣстный публицистъ Solus на страницахъ «Виржевыхъ Вѣдомостей» открыто рѣшился сказать правду: Надсонъ умеръ отъ чахотки, а не отъ Вуренина, и писалъ ли бы послѣдній, или нѣтъ о немъ,—онъ все равно померъ бы. Съ литературной ложью нынѣ, такимъ образомъ, покончено, какъ равно для современнаго поколѣнія читателей ясно, что Надсонъ не былъ поэтомъ того высокаго ранга, куда его старались втиснуть кумовья и кумушки литературы. И въ данномъ случаѣ основная правда останется на сторонѣ критика, и вина его лишь въ томъ, если тутъ только есть какая-нибудь вина, что онъ былъ въ своей полемикѣ по поводу Надсона слишкомъ рѣзокъ и безпощаденъ.

Въ меньшей степени, нежели въ исторіи съ Надсономъ, пришлось разойтись В. П. Вуренину со многими представителями литературнаго міра и въ оцѣнкѣ Чехова, которому онъ же первый проложилъ широкую литературную дорожку, но въ которомъ, послѣ того, какъ ему стали не въ мѣру старательно кланяться, онъ не пожелалъ признавать той степени первокласснаго значенія, какое ему старались придать. И въ вопросѣ о Надсонѣ, и въ вопросѣ о Чеховѣ критикъ сохранилъ полную независимость отъ всякихъ оказанныхъ на него давленій, даже отчасти въ родственномъ газетномъ редакціонномъ кругу, гдѣ, между прочимъ, издатель «Новаго Времени» держался въ своемъ взглядѣ на обоихъ писателей нѣсколько иной точки зрѣнія, нежели его старый другъ—независимый критикъ. Если мы видимъ такую абсолютную независимость критической работы писателя въ отношеніи, какъ-никакъ, патронируемыхъ издателемъ писателей, то она еще болѣе бросается въ глаза, если мы, ознакомившись съ его поэмой въ прозѣ «Хвостъ», увидимъ, какъ онъ безпощадно насмѣшивалъ здѣсь въ ряду другихъ дѣйствующихъ лицъ подъ прозрачнымъ псевдонимомъ «дѣйствительнаго статскаго Папильона» своего товарища по редакціонной работѣ, нынѣ умершаго уже Скальковскаго; отмѣтилъ въ насмѣшливой формѣ его

страсть къ командировкамъ и вообще создалъ изъ него тотъ собирательный типъ, который, несомнѣнно, существуетъ въ нашихъ правительственныхъ учрежденіяхъ. «Хвостъ» это широкая столичная панорама, гдѣ дѣйствующими лицами подъ смѣшными наименованіями фигурируютъ разныя знакомыя въ исторіи русской общественности лица и гдѣ отмѣнены на фонѣ пустоты дѣйствительно серьезныхъ ихъ смѣшныя претензіи, замашки, занятія, убѣжденія и пр. Въ одномъ родѣ съ «Хвостомъ» изъ-подъ его пера выходятъ и другія прозаическія сатирическія произведенія, то въ формѣ беллетристической, то драматической, гдѣ опять-таки всѣ тѣ, которыхъ онъ въ свое время высмѣивалъ въ критическихъ фельетонахъ, снова собраны въ одну кучу и представлены на фонѣ пустой и безсодержательной жизни. Сюда относятся «Пипа и Пуся», или «Горе отъ глупости», наиболѣе пространно разработанная имъ сатира. Надсонъ, Фругъ, Минскій, Градовскій, Боборыкинъ, Владиміръ Стасовъ (Завило Барабановъ), Скалковскій (Панильонъ), критикъ Скабичевскій, драматургъ Викторъ Александровъ, Аверкиевъ, Авсѣенко и т. д., и т. д.—вотъ тѣ персонажи, которыхъ онъ съ особенною сатирическою любовью живописуетъ, походя раздавая щелчки и разнымъ другимъ дѣятелямъ нашей общественности (въ особенности адвокатамъ). Повторяя уже сказанное—его сатира, изученная въ послѣдовательности и въ ея цѣломъ, широкая хроника столичной жизни, занесенная на скрижали литературы въ ея подноготной изнанкѣ.

Высмѣивая отдѣльных лицъ, онъ съ не меньшей сатирой обрушивается и на разныя неладяныя у насъ общественныя явленія, напримѣръ, на дѣйствительно смѣшныя процессы, поскольку въ нихъ отразились процессуальные дефекты (см., напримѣръ, его таинственный процессъ «Мертвая нога», гдѣ дана удивительно острая пародія на столь напумпанный въ свое время «процессъ Мироновича»), на страсть нашихъ барынь къ сенсационнымъ уголовнымъ дѣламъ, на увлеченіе русской публики малороссійскимъ театромъ и, рядомъ съ этимъ, на проповѣдь со стороны нѣкоторыхъ нашихъ украинофиловъ малороссійскаго движенія. Здѣсь ему дали богатую пищу своими писаніями покойные Гайдебуровъ и Мордовцевъ въ удивительно комической написанной имъ драмѣ въ одномъ дѣйствіи «Чукъ, чукъ, чумандра», съ ея казачкомъ, сантиментальной слезливостью, неизбѣжной горилкою и тою искусственною этнографическою буффонадою, которая, несомнѣнно, существуютъ въ малороссійской сценѣ. Въ данномъ случаѣ онъ опять-таки разошелся въ оцѣнкѣ значенія и сути малороссійской драматургіи и малороссійскаго театра со своимъ другомъ-издателемъ, явившимся, какъ известно, у насъ горячимъ сторонникомъ украинской труппы и ея театра и безъ содѣйствія котораго въ нашей журналистикѣ Кропивницкимъ, Заньковецкимъ, и др., врядъ ли бы удалось занять въ столицѣ столь твердое положеніе, которое помогъ имъ создать себѣ именно А. С. Суворинъ.

Невозможно, совершенно невозможно послѣдить все разнообразіе прозаической и драматической сатиры В. П. Буренина—она безконечна, отъ нея не ускользнуло ничто изъ нашей общественности, что рѣзко бросалось въ глаза въ періодъ 80-хъ—90-хъ годовъ. Въ послѣднее изъ указанныхъ десятилѣтій онъ съ особенною силою ополчился противъ фальшиваго декадентства, проникшаго шарлатанскимъ путемъ въ нашу литературу, искусство, жизнь. Онъ былъ первымъ, который отмѣтилъ эту вредную общественную струю, первый выставилъ ее въ надлежащемъ освѣщеніи въ нашей журналистикѣ и создалъ изъ «символистовъ» и «декадентовъ» тотъ отрицательный литературный типъ, который нынѣ намъ ясенъ своимъ убогимъ идейнымъ содержаніемъ и крикливостью своего внѣшняго образа. Походъ противъ декадентовъ былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ его походовъ, и въ поэтическомъ произведеніи «Голубые звуки и бѣлая поэма» онъ съ большимъ искусствомъ выставилъ на посмѣяніе это претенціозное направленіе, сумѣвъ легко справиться съ приемами декадентской версификаціи и обнаруживъ за звономъ этой версификаціи пустоту содержанія. На всѣ завыванія пошловъ-символистовъ и декадентовъ, раздавшіеся въ нашей печати, онъ отвѣчалъ имъ въ сатирической унисонъ такими, напримѣръ, стихами:

ПРИДИ.

Въ золотистыхъ предмѣстіяхъ моей души
Гуляютъ голубыя курицы съ блокуриными волосами,
Онѣ клочутъ въ сонной нѣгѣ, а земное сомнѣніе
Запѣваетъ свою печальную, тупую пѣсню,
Бѣлая думы, оранжевая мечты о счастіи,
Будто мотыльки въ вечерній часъ надъ тростникомъ,

Кружатся и трепещутъ надъ лазурью моего сердца,
Отражающего теплые мухи и отблески любви.

Приди, о приди, мое божество, моя тихая ласка!
Мѣсяцъ уже заветъ блѣдную музыку своихъ мечтательно-вдумчивыхъ лучей.
Фиолетовые тоскующіе ароматы
Обиваютъ замирающую отъ страсти землю...
Приди!

Если девяностые годы въ его литературной дѣятельности запечатлѣны удачной и непрерывной борьбой съ декадентствомъ, то въ текущемъ десятилѣтій онъ выступаетъ рѣзкимъ обличителемъ порнографической струи, столь обильно подѣ влияніемъ нашего «освободительнаго движенія» просо-савшейся въ нашу журналистику и обратившей такъ называемый «половой вопросъ» въ центръ общаго вниманія и тяготившаго. Какъ и въ борьбѣ съ декадентствомъ, а, пожалуй, и того сильнѣе, В. П. Буренинъ безпощадно строгъ

и немилосерден къ представителямъ этой зазнавшейся порнографической и половой литературы, усматривая въ ней развращающее вліяніе на нашу общественность и своего рода дешевую монету, пущенную ловкими руками въ ходъ во имя далеко не идеальныхъ и не идейныхъ цѣлей. Всѣ представители этой литературы подверглись съ его стороны усиленному обличенію, и если въ этихъ обличеніяхъ мы, быть можетъ, не усматриваемъ его обычной силы сатиры, то объясненіе этому надо искать не столько въ свойствахъ его полемическаго современнаго пера, сколько въ скользящихъ, опасности самой темы, гдѣ сплошь и рядомъ сатирику невозможно оставаться на ступени благопристойности. Тутъ шаржъ, тонкій, ему обычно свойственный, почти невозможенъ, и писателю приходится держаться программы простого изобличенія «случайности этого движенія», его гешефтмахерства съ негодными цѣлями. Борьба въ этомъ направленіи В. П. Буренина далеко еще не закончена и, какъ моментъ текущаго интереса, не подлежитъ нашему историческому суду. Не коснемся мы и сатирическаго развѣиванія критикомъ романтично-соціально-демократической беллетристики Максима Горькаго. Въ виду нѣкоторыхъ новыхъ явно скрывающихся въ произведеніяхъ этого писателя тенденцій В. П. Буренинъ не произнесъ еще надъ нимъ своего послѣдняго слова и пока лишь ехидно смѣется надъ фальшивымъ ореоломъ славы, которымъ покрыли голову этого, правда, талантливаго писателя его шумные истолкователи и критики, производящіе его въ чинъ «генія».

Начиная со второй половины 80-хъ годовъ онъ ведетъ и усиленную кампанію противъ просачиванія въ русскую журналистику еврейской струи, противъ перехода почти всей нашей печати въ еврейскія руки и противъ порчи еврейскими публицистами русской литературной рѣчи. Въ этомъ вопросѣ онъ неумолимъ и, не касаясь еврейскаго вопроса съ политической стороны, громить его, какъ бытовое и литературное явленіе.

Я долго, можетъ быть, слишкомъ долго, остановился на полемической и сатирической сторонѣ дѣятельности писателя, но въ данномъ случаѣ въ пользу мою говорить самъ очерчиваемый мною авторъ, соблазненный и увлеченный меня блестящею этой стороны своего таланта. Я думаю, что, заставивъ его самого говорить въ цитированныхъ мною въ такомъ изобилии отрывкахъ его произведеній, я всего удачнѣе возстановилъ его характерный литературный образъ: живая сила красокъ, переливающихся, сверкающихъ прихотливымъ разнообразіемъ своихъ ответовъ, лучший матеріалъ въ рукахъ изслѣдователя, нежели его собственные робкіе и теоретическіе домыслы. Полемическая сатира, вызванная въ памяти читателей, несомнѣнно, доставитъ имъ удовольствіе и побудитъ обратиться съ благодарностью къ

тому, который, по его собственнымъ словамъ, «въ пародіяхъ и шуткахъ веселитъ читателей на протяжении столь многихъ лѣтъ, доставляя имъ жизненный отдыхъ и полезную забаву».

Но я уже въ началѣ статьи говорилъ, что историко-литературное значеніе В. П. Буренина заключается не только въ этихъ полемическихъ наѣздахъ, оно не въ меньшей степени покоится и на тѣхъ положительнаго характера, утвердительныхъ, такъ сказать, его трудахъ, гдѣ я усматриваю оборону отечественной словесности отъ неправильнаго ея суда и истолкованія. Эта положительная, созидательная сторона его работы заключается въ тѣхъ его критическихъ и историко-литературныхъ статьяхъ и фельетонахъ, въ тѣхъ его монографіяхъ, которыя имъ были посвящены нашимъ классикамъ, тѣмъ нашимъ представителямъ литературы, которые явились краскою и гордостью своего народа, своей страны и противъ которыхъ, въ интересахъ, мало общаго имѣющихъ съ сущію и содержаніемъ ихъ дарованія и труда, вели нѣкоторые критики и публицисты непристойный походъ на страницахъ нашихъ газетъ и журналовъ. Увы, въ данномъ случаѣ нашъ критикъ на протяжении своей многолѣтней дѣятельности не очень благоволилъ своимъ читателямъ, и наслѣдіе, имъ тутъ накопленное, хотя и очень цѣнное по качеству, но довольно небольшое по объему. Онъ далъ всего одну большую относительно монографію объ И. С. Тургеневѣ, вышедшую въ 1884 году отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ: «Литературная дѣятельность Тургенева», и небольшую книгу «Критическихъ этюдовъ» (изд. въ 1888 г.), гдѣ высказалъ свое мнѣніе о Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Гоголѣ, Гончаровѣ, Достоевскомъ по поводу опубликованной біографіи и писемъ его и гдѣ далъ замѣчательное для своего времени освѣщеніе личности и дѣятельности Л. Н. Толстого. Наиболѣе характернымъ можетъ считаться то, что имъ сказано о Толстомъ и Тургеневѣ, гдѣ онъ, вопреки нѣкоторымъ фальшивымъ теченіямъ въ нашей журналистикѣ, болѣе 25 лѣтъ тому назадъ очень опредѣленно установилъ точки зрѣнія на этихъ писателяхъ, каковыя точки зрѣнія нынѣ стали общимъ достояніемъ. Особенно важно то, что имъ было писано о графѣ Л. Н. Толстомъ, котораго въ то время нѣкоторые наши публицисты и критики, какъ Михайловскій, Скабичевскій, сотрудники «Вѣстника Европы», «Новостей» и др., пытались до извѣстной степени развѣивать и, въ интересахъ политико-общественныхъ тенденцій, представить не въ столь выгодномъ освѣщеніи, котораго нашъ гениальный писатель заслуживалъ даже тогда. Тутъ заслуга В. П. Буренина неизмѣрима: онъ, приблизившись къ великому человѣку, своимъ тонкимъ эстетическимъ пониманіемъ, своимъ широкимъ и просвѣщеннымъ взглядомъ умнаго критика и русскаго человѣка сразу опредѣлилъ цѣнность его дарованія и его литературныхъ произведеній и поставилъ его на ту вершину нашей литературы, куда всѣ критики и публицисты впоследствии, несомнѣнно, его также поставили. Но Буренинъ сдѣлалъ это первый,

исходя из оценок и понимания самого дарования писателя, а позднейшие его истолкователи, поклонники и диссеминаторы были побуждены к тому лишь соображениями политико-общественного порядка, когда они уловили в произведениях яснополянского мудреца ту протестующую наивность, которая давала им легкую возможность пристегнуть свою оппозиционную правительству деятельность к личности гениального человека. В. П. Буренин прозрел, наряду с Н. Н. Страховым, значение и обаяние Л. Н. Толстого еще в самом начале 80-х годов и уже тогда поплыл грудью на защиту автора «Войны и мира», как мыслителя и представителя определенных философских доктрин, против образовавшегося течения в нашей журналистики.

В strongly и полемически написанной статье «Журнальный поход против графа Л. Н. Толстого», в 3-й главе (см. «Критические этюды») Буренин говорит:

В то время, как европейская критика вообще и французская в особенности все больше и больше проникает удивлением и уважением к художественному и мыслительному гению графа Л. Н. Толстого, наши доморощенные критиканы ополчаются дружными походами против знаменитого писателя, ополчаются как бы в подтверждение той истины, что пророком нельзя быть в своем отечестве. В журнальных нападениях или, вѣрнѣе, въ журнальных попреках и намеках, направленных на графа Толстого, подаютъ другу другу руку чинители и судьи самых разнообразных направлений. Quasi-радикалы г. Михайловский сходятся съ православнымъ ультраконсерваторомъ княземъ Мещерскимъ, фальшивый либераль Григорій Градовскій обнимается съ правозѣрно-семинарскимъ патриотомъ Гиларовымъ-Платоновымъ. Всѣ эти «представители» разныхъ «партий» одинаково недовольны той правдой, которую смѣло высказалъ авторъ «Исповѣди» въ своихъ поучительныхъ статьяхъ послѣдняго періода, и тѣмъ направлениемъ, которое выражается въ названныхъ статьяхъ; всѣ эти поставщики шаблоннаго журнализма, упоминая Расплюеву, «охотно принимаютъ» въ своихъ ратованіяхъ противъ правды, высказываемой гениальнымъ художникомъ и мыслителемъ, и не менѣе охотно бросаютъ въ него комками своей грязной проли и насмѣшки, своего мелочнаго и порой сплетническаго недомыслия и сумятицы.

Эти господа Михайловские, Мещерские, Градовские, Гиларовы, недостойные развязать ремешок сапога графа Толстого, тѣмъ не менѣе школьно не перемываютъ въ грубыхъ намекахъ и попрекахъ писателю, который своими произведениями поднималъ русскую литературу на высоту литературы всемірной и заставлялъ европейскую критику отнестись къ этой литературѣ съ такимъ серьезнымъ вниманіемъ, какого прежде въ поминутую критику не замѣчалось. Они, конечно, тоже признаютъ величіе Толстого, какъ художника, они даже любятъ его, ахъ, какъ искренно и горячо его любятъ, но приписаніе гениальнаго таланта въ авторѣ «Войны и мира» и пламенная любовь не мѣшаютъ имъ относиться къ Толстому-мыслителю такимъ образомъ, какъ будто бы они, поставщики журнальнаго радикализма, консерватизма и либерализма, необыкновенно просвѣщенные, привилегированные умы, а онъ, хоть и великій талантъ, да зато малосвѣдущій и чуть ли даже не свихнувшійся немного. Они, видите ли, соглашаются, что прямое дѣло графа Толстого писать романы и повѣсти и что въ этомъ дѣлѣ онъ дѣйствительно далеко ушелъ; только

этимъ дѣломъ они и совѣтуютъ заниматься великому писателю; тутъ-де онъ полный хозяинъ; но разъ онъ выходитъ изъ области художественнаго творчества и вступаетъ въ область мыслителя—о, тутъ онъ сейчасъ же становится ниже не только всякой критики, а даже всякихъ критиковъ, тутъ ужъ они полные хозяева и учителя, а Толстой передъ ними не только ученикъ, но даже юродивый. Тутъ гений великаго писателя разомъ упадаетъ до того, что какой-нибудь бездарный крошечный минималистическій романчикъ князя Мещерскаго начинаетъ сожалѣть Толстого, а умъ автора «Смерти Ивана Ильича» вдругъ затмевается до такой степени, что умилитъ превосходящую такіе философы, какъ г.г. Михайловскій и Григорій Градовскій! Паденіе гения и затмѣние ума графа Толстого при выходѣ его въ роли мыслителя такъ велико, что г.г. Мещерскіе, Михайловскіе, Градовскіе, Гиларовы при всей своей любви къ нему, какъ къ художнику, начинаютъ искренно сожалѣть его, начинаютъ надъ нимъ глумиться, какъ надъ школьникомъ, начинаютъ даже ругаться.

А далѣе онъ резюмируетъ свое мнѣніе о Толстомъ такъ:

Однако, оставивъ въ сторонѣ всѣ наглости, грубости и низости, расточаемыя посредственностями въ походѣ противъ гениальнаго писателя, небезынтересно опредѣлить, чѣмъ вызвалъ этотъ походъ графъ Толстой, въ чемъ онъ провинился за послѣднее время, какъ предъ лже-консервативными, такъ равно и предъ лже-либеральными партиями или кликами нашей журналистики. О, его вина неосомима, его «преступленія» довольно велики, какъ выразился когда-то поэтъ-омонимъ автора «Войны и мира». Предъ лже-консерваторами онъ провинился тѣмъ, что дерзнулъ назвать лицемѣріемъ ихъ ханжеское формальное благочестіе, дерзнулъ прямо и резко заявить, что это фарисейское благочестіе очень далеко отъ христіанскаго идеала, дерзнулъ указать этотъ христіанскій идеалъ во всей его настоящей чистотѣ и простотѣ... Предъ лже-либералами онъ провинился еще больше. Онъ дерзнулъ высказать, что то, что они выдаютъ за рациональную науку, отъ которой они ждутъ всякихъ социальныхъ и моральныхъ благъ, на самомъ дѣлѣ есть безплодное и мертвое формальное знаніе пустыхъ системъ и мнимыхъ наблюденій надъ явленіями природы. Высказавъ это, онъ обидѣлъ всѣхъ русскихъ прихвостней «европейской» учености, подвизавшихся въ минималистическомъ болтовнѣ на страницахъ ежемѣсячныхъ журналовъ. Онъ дерзнулъ заявить, что то великое и руководящее всѣми лже-либеральными стремленіями божество, которое они зовутъ прогрессомъ и предъ которымъ отбываютъ лжи въ поклоненіи ему,—что это великое божество не болѣе, какъ пустой идолъ. Онъ не только заявилъ, но и доказалъ очень резонно, а главное очень толково и просто, безъ всякихъ фигуральствъ мнимаго знанія, что понятіе прогресса не подкрѣпляется никакими фактами, что это понятіе—одно изъ самыхъ вѣдорныхъ фантазматогорій, изобрѣтенныхъ либеральными мудрецами для собственнаго утѣшенія и усажденія. Заявивъ такую ужасную вещь и доказавъ ее, графъ Толстой, такъ сказать, отнявъ у поборниковъ либерализма самую красивую и самую нарядную куклолку, которой они привыкли завлаживать столько времени сами и завлаживали такъ удачно простодушныхъ людей, вѣрившихъ, что игра этой куклолкой—серьезное служеніе благу и пользѣ человѣчества. Графъ Толстой разъяснилъ и твердо установилъ, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней христіанской морали, принципъ «непротвѣленія злу». Установленіемъ этого принципа онъ отнялъ у лже-либераловъ одно изъ самыхъ существенныхъ ихъ занятій—стремленіе къ насильственнымъ реформамъ и къ такъ называемой оппозиціи. Наконецъ—о, тягчайшее изъ всѣхъ преступленій, которому нѣтъ и не будетъ прощенья ни въ вѣдѣнномъ мірѣ, ни въ в. в. глинскій.

будущем!—граф Толстой заявил, что прямое и высшее назначение женщины—рожать и вскармливать детей, что для этого истинно-женского дѣла женщинамъ нѣтъ надобности стремиться къ такъ называемой равноправности съ мужчинами, что вообще для нихъ не требуется изученія естественныхъ и неестественныхъ наукъ на разныхъ «высшихъ курсахъ», а достаточно только душевнаго проникновенія тою моралью, которую онѣ найдутъ въ Евангеліи. Говорить ли о томъ, что заявленіе такой анти-прогрессивной ереси окончательно уронило графа Толстого въ глазахъ всѣхъ «честныхъ» либераловъ? Именно послѣ этого-то заявленія и восприняли на графа Толстого съ мечами и дреколіемъ г.г. Григорій Градовскіе и Михайловскіе, именно послѣ этого-то заявленія и начался походъ на графа Толстого, посылавшіе упреки ему въ склонности къ усиленному стяжательству и даже въ преархизнѣ къ народу и развращеніи его вреднымъ мистицизмомъ.

Вотъ голосъ умнаго писателя, раздавшійся еще 25 лѣтъ назадъ, только въ послѣднее время съ извѣстными вариациями и перепѣвами повторяемый на всѣхъ ладахъ нынѣшней прессой, объявившей себя «во имя политики» единомыслящею съ Толстымъ. Защита послѣднимъ еврейства, нападки на господствующую церковь, на государственность и протесты противъ смертныхъ казней—вотъ тѣ дощечки, по которымъ идейно-разномыслящіе прежде съ графомъ Толстымъ переползли къ нему въ гости, тѣсно окружили его шумнымъ колыбомъ и объявили себя Толстыми болѣе, чѣмъ Толстой мѣме, въ сущности же, по религіозному исповѣданію своей вѣры, оставшіе ему столь же чуждыми, каковыми они были и прежде. Въ литературѣ и русской общественности на нашихъ глазахъ совершилась великая фальсификація, фальсификація, возможность которой уже давно предвидѣлъ нашъ критикъ, когда онъ рѣзко дѣлилъ характерными особенностями враговъ Толстого отъ его истинныхъ друзей и единомыслящихъ почитателей.

Въ защитѣ Толстого отъ посягательствъ на него со стороны либеральной критики и публицистики, такимъ образомъ, большая заслуга Буренина, и исторія русской литературы ему этой заслуги не забудетъ.

Какъ я уже сказалъ, созидательно критическая работа В. П. Буренина не велика по объему, но цѣнна по качеству, и все, что имъ высказано въ выше перечисленныхъ очеркахъ, носитъ на себѣ положительно хрестоматическій характеръ, содержитъ въ себѣ тѣ кратко и логично сформулированныя положенія, гдѣ нѣтъ эксцессовъ въ заоблачную высь, но гдѣ все просто, ясно и обоснованно. Чтобы покончить съ этой стороной его дѣятельности, отмѣтимъ въ тѣхъ же «Критическихъ этюдахъ» его очеркъ о Гѣтѣ Успенскомъ, въ какомъ-то подъ заглавіемъ «Веллетристъ шестидесятихъ годовъ» онъ дружески протянулъ руку поддержки знаменитому народнику, но гдѣ и со свойственнымъ ему эстетическимъ чутьемъ и подъ угломъ культурнаго широкаго зрѣнія сумѣлъ разъяснить цѣнное, натуральное и даровитое въ этомъ писателѣ отъ фальшиваго, искусственнаго и навязаннаго ему его неистовыми и шумными панегиристами. Очеркъ В. П. Буренина о Гѣтѣ Успен-

скомъ и до нашихъ дней сохранять свою свѣжесть и, пожалуй, является лучшимъ, что о немъ было писано до нашихъ послѣднихъ дней включительно.

Говорить о В. П. Буренинѣ, какъ о беллетристѣ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, не приходится. И въ его «Романѣ въ Кисловодскѣ», и въ нѣкоторыхъ мелкихъ произведеніяхъ той же категоріи проглядываетъ не столько чистый художникъ, каковое качество, несомнѣнно, присуще ему, сколько насмѣшливый наблюдатель, зарисовывающій на свое полотно не положительную, а отрицательную сторону окружающей жизни и добродушно-иронически оглядывающій раскрывающіяся передъ нимъ лѣтописи человѣческаго бытія.

Мой очеркъ подходитъ къ концу, и мнѣ въ заключеніе приходится сказать о писателѣ, какъ о драматургѣ, но, каюсь, тутъ я плохой цѣнитель. Я не страдаю маніей театра и люблю его обывательской, спокойной любовью—бываю въ немъ, когда имѣются свободныя время и деньги, и ломать изъ-за него ступень никогда не имѣлъ охоты. Говорить, заслуги тутъ нашего критика велики. Охотно съ тѣмъ соглашаюсь, принимаю, такъ сказать, это положеніе на вѣру и въ опредѣленіи его достоинствъ на семь поприщъ литературнаго служителя даю мѣсто словамъ г. Бурякина, молодого критика «Новаго Времени», утверждающаго (№ 12825): «На большинствѣ драматическихъ произведеній Буренина стоятъ подзаголовки о позаимствованіи сюжета. Но прочтите ихъ въ обработкѣ и толкованіи Буренина, и вы удивитесь передъ скромностью писателя. «Займствованные» сюжеты Буренина подъ его перомъ углубляются и изощряются, получаютъ своеобразное выраженіе—это не копія, а оригиналы, въ которыхъ все свое, кромѣ общаго чертанія взятаго сюжета,—въ заимствованіяхъ и подражаніяхъ Буренинъ оказывается болѣе самобытнымъ, чѣмъ иные въ оригинальныхъ сюжетахъ. Оригинально не то, что имѣетъ свой сюжетъ, а то, что имѣетъ свою форму. Выдумка въ художествѣ—второстепенное дѣло, главное же—воплощеніе, превращеніе голыи выдумки въ живую плоть искусства. Въ обращеніи Буренина къ чужимъ сюжетамъ сквозитъ его сдержанность и скромность, его благоговѣйное отношеніе къ образцамъ вѣчнаго и прекраснаго. Онъ обрабатываетъ, истолковываетъ, но въ этомъ приѣмѣ перевоплощенія болѣе художественности, чѣмъ во многихъ посяганіяхъ на оригинальность за свой страхъ и рискъ. Въ мою задачу не входитъ подробный разборъ драматической поэзіи Буренина, но я долженъ обратить особое вниманіе на классическій источникъ его вдохновеній. Творчество Буренина-критика, человѣка книги, ся поэта и цѣнителя, носитъ отраженный характеръ, но это отраженіе шедевровъ, ихъ достойные спутники. Вдохновителями Буренина являются Альфредъ де-Мюссе, Воккачио, Аріосто, Альфредъ Теннисонъ, Пьеръ Лувисъ,—имена тѣхъ, чья поэзія можетъ только вдохновить, возвысить, облагородить. Дай Богъ нашимъ писателямъ побольше такихъ музъ! Лучность

Буренина становится еще яснее, если учесть также деятельность Буренина, как переводчика. «Скажи, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты таков», — переводит же Буренин только изящных мечтателей и фантастов — Гауптмана («Потонувший колокол»), Шницлера («Женщина с кинжалом») и друг..

Я рад воспроизвести эти слова молодого писателя, так как нахожу в них тождество с тем, что мною было говорено в начале статьи о личной биографической скромности Буренина и тем, я объясняю частое использование им образов чужого творчества. Таковым мы видим В. П. и в роли заслуженного драматурга, и два тома его «Театра», где нашли себя место его переводы драматических произведений западно-европейских классиков, а также переводные произведения того же рода, напечатанные на страницах «Исторического Вестника», свидетельствуют о плодотворности его работы в этом направлении. Также надлежит здесь отметить и утверждение другого его биографа, Н. И. Афанасева, в книге «Современники», где он говорит, что «в области общественной деятельности достойны внимания труды Буренина по руководству театром Литературно-Художественного общества. Он деятельный помощник А. С. Суворина, и театр своим успехом во многом обязан ему».

Театр, повидимому, поглотил немало сил и времени у нашего критика, но поскольку отсюда выиграли русская публицистика и критическая литература — судить не берусь. Так, какой-то дух сомнения подсказывает мне, что без некоторой потери дело не обошлось. Во то время, как драматическая литература с каждым годом умножается его творениями, его голос, как критика и публициста, раздается все реже. Уже многие общественные и литературные явления проходят мимо его внимания, и мы не слышим больше по их поводу его сатирического смеха и обличительного голоса. На смену ему на передовые позиции русской литературы донельзя никто не пришел, и старый писатель во всеоружии своего неблестящего таланта остается в наличии нашей журналистики одиноким, все тем же умным, насмешливым, проникательным. Большая часть его былых недругов, с которыми он вел «анкроморские битвы», сошли со сцены жизни, судьба даровала ему возможность лицезреть выступление на литературную авансцену колотыбна вуюков, столь нуждающихся в критическом уходе и воспитании. Правда, это времени до времени он бросает на них свой саркастический взгляд, вынимает из письменного стола былую полемическую плетку, отсыпает им некоторую порцию ударов, но действие это совершается слишком редко, и не в надлежащем количестве. Что тут причина? Старость, болванья, докуча, лень? Не думаю: вот ведь заботы о театре не покидают же его, и его переводы драматических произведений и переписка их на свой своеобразный лад все попрежнему

говорят о силе его авторского творчества. Счастливый театр! и я хмуро, как скромный публицист и историк литературы, смотрю с завистью на храмы Мельпомены... Впрочем, и тут я нахожу себя утешение — в эти храмы он не всегда несет свои переводные и позаимствованные драматические произведения. «Забава Путятишина», переложенная на музыку талантливый композитором и сотоварищем его по «Новому Времени» М. М. Ивановым, свидетельствует, что бывшая его занятия русским эпосом не совсем им забыты. Когда-то в исходе шестидесятых годов на страницах «Вестника Европы» появились его стихотворные произведения с сюжетами из русского былинного эпоса. Они припомнились и пригодились наклон для создания оперы из цикла русских народных преданий и сказаний. Спасибо и на этом, и мое националистическое сердце чувствует прилив радости...

С. И. ВАСЮКОВЪ.

Не стало трубадура черноморского побережья, которое он так красиво и съ такой любовью воспевал на всѣ лады и въ газетныхъ корреспонденціяхъ, и въ журнальныхъ статьяхъ, и въ письмахъ къ друзьямъ и знакомымъ, которымъ онъ, что называется, прокужало намъ всѣ уши и гдѣ мнилъ найти себѣ тотъ желанный пріютъ, гдѣ его недюжинный отъ природы литературный талантъ, подъ вліяніемъ чарующей природы юга, вырасталъ, ширился и воспринималъ въ себѣ всѣ тѣ причудливые свѣтовые переливы, которые несъ ему прибой морскихъ волнъ. Васюковъ, скоропостижно скончавшійся на берегу Чернаго моря, въ своемъ хуторѣ, до своего переезда на Кавказъ и послѣ поселенія на черноморскомъ берегу въ литературномъ отношеніи рисуется разнo. Случайность ли это, такъ ли предопредѣлено было судьбою, но фактъ остается фактомъ: Кавказъ принесъ ему извѣстность, ростъ, красоту таланта и ту изысканность пера, которую, несомнѣнно, отмѣчены всѣ его позднѣйшія произведенія. Народникъ-беллетристъ, онъ въ послѣднія пять лѣтъ своей жизни вырастаетъ въ значеніи, какъ писатель, какъ журналистъ, какъ общественный дѣятель. Въ немъ совершается какъ бы переломъ, гдѣ прошлое, первая часть жизненной книги, является именно тѣмъ былымъ, которое «быльемъ поросло», съ которымъ кончено и которому онъ въ своихъ воспоминаніяхъ подвелъ итогъ. Это свое прошлое онъ нарисовалъ въ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» за 1906 г. Тутъ вся жизнь писателя въ ея бытовой суетнѣ, съ ея ошибками молодости, съ ея порывами, паденіями и борьбою, жизнь, рассказанная не только съ откровенностью широкой и увлекающейся натуры, каковою былъ Семенъ Ивановичъ, но и съ сердечною теплотою, которая все сильнѣе и сильнѣе захватывала въ послѣдніе годы покойнаго литератора. Задумавъ эти «воспоминанія», онъ писалъ въ 1906 году редактору «Историческаго Вѣстни-

ка»: «Думаю окунуться въ бездну воспоминаній, думаю вновь пережить ожитое, отдать ему долгъ, наблюденіе и сознательность. Напишу, какъ могу, гдѣ говорю морской волны и подъ причудливыми склонами зеленыхъ горъ. Стану на работу съ молитвою сердца! И странно и хочется отдать себѣ отчетъ въ прошлыхъ годахъ, въ которыхъ такъ много было увлеченій и ошибокъ, но и много свѣтлаго и непосредственнаго. Кто знаетъ, можетъ быть, мои воспоминанія смягчатъ жестокаго сердца и не бросятъ молодые души въ прозу жизни!»

Такимъ образомъ, интересующихся фактами изъ жизни автора «Края гордой красоты» остается лишь отослать къ его сердечной исповѣди, къ его откровенной автобіографіи, которую онъ писалъ для «Историческаго Вѣстника», какъ бы стоя на молитвѣ. Читатели изъ ознакомленія съ этимъ произведеніемъ, несомнѣнно, поймутъ, что передъ ними натура недюжинная, съ широкимъ жизненнымъ размахомъ, ищущая, бурлящая въ водоворотѣ бытовой повседневности и не могущая найти своей жизненной точки опоры. Таковою точкою опоры именно явился для него Кавказъ, въ который онъ влюбился, гдѣ онъ ослѣдъ и съ которымъ тѣснѣйшимъ образомъ связалъ свое литературное перо и поиски «общественнаго дѣла». Кавказское черноморское побережье точно переродило его: онъ нашелъ здѣсь профессиональную тему, которая разрослась въ его обработкѣ въ длинную и красивую пѣснь съ ея переходами отъ радости къ горю, съ ея душу захватывающими мелодіями, стонами боли и криками восторга. Типичный русакъ-великороссъ, онъ, подобно бывшему новгородскому ускуйнику въ поискъ бѣтованныхъ земель, облюбовалъ новый край и усмотрѣлъ здѣсь ту жемчужину, которую владѣть, и притомъ владѣть крѣпко и неизмѣнно, долженъ только родной ему народъ. И этотъ народъ отъ звалъ сюда, манилъ его громкою пѣснью и зорко слѣдилъ за протягивающимися къ облюбованной имъ жемчужинѣ руками всякихъ инородцевъ въ лицѣ представителей польской, еврейской и другихъ народностей. Если въ воспоминаніяхъ Васюкова читатель не найдетъ еще элементовъ великорусскаго патріотизма, то въ дѣятельности его, какъ колониста черноморскаго побережья, зрѣтъ патріотизмъ налицо. Кавказская жизнь заставила его «порусѣть», вызвала въ немъ приливъ бывшихъ подъ спудомъ националистическихъ думъ и чувствъ и воспринесла въ его лицѣ того коренного москвича, который, живя съ сосѣдями-инородцемъ въ наружномъ мирѣ и согласіи, остается твердо вѣрять своимъ русскимъ думамъ съ яснымъ сознаніемъ наличія въ данномъ моментѣ жизни борьбы за національное существованіе. Это положеніе можно бы было подтвердить не одною выдержкою изъ писемъ Васюкова къ С. Н. Шубинскому, оно же до нѣкоторой степени усматривается и изъ тѣхъ его газетныхъ корреспонденцій, которая за разными подписями появлялись въ послѣдніе два года въ «Новомъ Времени» и другихъ газетахъ. Черноморскія степи, черно-

морское побережье поразили его воображение, и колонизация, правильная и справедливая и в интересах переселенцев, и в видах государственной полезности, стала предметом многих его официальных записок, поданных своевременно министрам внутренних дел и государственных имуществ. Покойный В. К. Плеве и А. С. Ермолов, в особенности последний, когда он стоял во главе ведомства земледелия, охотно слушали Васюкова в его представительствах за облюбованный им край и местных жителей, возлагали на него разные поручения и видели в нем того знатока местных вопросов, к голосу которого полезно прислушиваться и в речи которого была искренность, правдивость и истинное, безкорыстное желание блага своей родины. И местные жители, например, тамошние сектанты, смотрели под таким же углом зрения на Семена Ивановича, несли ему охотно и доверчиво свои радости и горести, в полном и справедливом убеждении, что он перед лицом бюрократических канцелярий сумеет явиться тем добровольным ходатаем, который своим горячим энергичным голосом «постоит» за их интересы, насущные надобности и доведет нелицеприятно о последних до сведения начальства. Писателю иногда удавалось видеть благоприятные следы своих домогательств, своих исканий в недрах столичных канцелярий, иногда, но не всегда, и в письмах его к товарищам по писательской профессии сплошь и рядом можно найти следы горечи неудач и чувства неудовлетворенности. Неудовлетворенность как общественного деятеля, приступавшего в свое время к своим начинаниям с верою в их быстрое осуществление, тяготила Семена Ивановича в последние два года, а так называемое наше освободительное движение в его провинциальных проявлениях вызывало в нем сплошь и рядом недоумение и озлобление. В этом отношении очень интересно его письмо к С. Н. Шубинскому в исходе 1906 года, где он написал:

«Дорогой Сергей Николаевич!

«Пусть этот новый год принесет вам покой и здоровье! Как бы мне хотелось увидеться с вами и по душам поговорить. Правда, и есть о чем. На меня весь этот российский хаос, называемый освободительным движением, произвел и производит тягостное впечатление по своей теоретичности и беспочвенности. Признаюсь, я боюсь за Россию. Выдержать ли она «ту марку» после японской войны! И знаете почему: я не верю в народ, как прежде. Да, он в последнее время изменился и изменился в дурную сторону, оставаясь невѣжественным, но лишившись своей непосредственности.

«В народѣ заговорили грубые, эгоистическія стороны. Обстоятельства его столкнули с пути до нѣкоторой степени своеобразнаго идеализма на



Семенъ Ивановичъ Васюковъ.

путь материализма. Народ задумался, но ничего выдумать не может. В особенности в политическом отношении; кроме того, он не знает, кто его враги и кто — друзья? Это ужасно, если принять во внимание круглое невежество и быструю деморализацию. Кажется, Бокль сказал: «каков народ, таково и правительство». И это верно... И еще почему освободительное движение не имело успеха и к чему было побуждено?

«Не висящими и не пулеметами, а равнодушием к политическим массам, которым нужен хлеб, земля, и безсодержательностью самих революционеров, которых можно разделить на две части: 1) на беспочвенных идеалистов, не знающих народа и во имя его действующих и погибающих, и 2) на карьеристов, даже жуликов, погнавших эти перемены для себя выгоды и гешефты и ставших на сторону движения. Эти последние главным образом и погубили дело манифеста 17 октября. Я знаю лично, что за элементы поднялись со знаменем свободы, и вижу и наблюдаю теперь, как они действуют... О, о! Даже вокруг меня совершается нечто ужасное, когда три проходима приобретают влияние на народ ублажая его глупые, но хищные инстинкты и направляя на неизвестное будущее. Это не черносотенники, а революционеры-карьеристы! Эти вредные черносотенники... Трудно мне жить, Сергей Николаевич, вообще, теряя веру в народ русский, да в особенности еще далеко не в молодые годы. Хотелось бы что-нибудь сделать, да не дают революционеры с администраторами».

Это письмо чрезвычайно характерно для бывшего «политика» и народника и его нельзя отнести на счет настроения определенного только момента, ибо та же гамма чувств и мыслей развертывается и в его письме к редактору «Исторического Вестника» через полгода после написания первого. В июне 1907 года он писал:

«Какое удивительное время мы переживаем, время, которое, как птица на крыльях, несет новые мысли и непосредственные идеи. Что случилось с народом, среди которого я живу, среди которого я путешествовал целый месяц по степям Северного Кавказа?.. Это только газетчики могут печатать о мужиках летящих небылками, которые последние рассказывают панам нарочно. Где их наблюдательность, разве она ушла вперед от правительственной внутренней политики?! или они к ней подлаживаются? Это еще хуже, скажу по правде, грозное время, когда народ заговорил сам о выборе правительства и государственном учете».

А через несколько времени он, возвращаясь все к той же теме о народ, писал:

«Я живу плохо потому, что кругом разыгрывается народная, и притом дикая трагедия, и я положительно разочаровался «в мужиков», в которых не вижу светлых сторон, а одну темную неведомость, дикость и суеверие... Да, Толстой прав... Профхал я почти весь юг России—и одно, одно впечатление, впечатление грозного разложения, полного упадка... Кажется, что работают в одном направлении две силы: сверху и снизу, и обе эти силы, равные по дикости и по недоумию, делают только дело разрушения. Кажется, что идея разума, творчества оставила мою родину, над которой

носятся крылатый злобный ангел человеческого падения... Кровь и кровь... и ничего в перспективе!..»

С такими омраченными мыслями и чувствами появился в начале текущего года Семен Иванович в Петербург, по трудовая энергия попрежнему была в нем ключом. Однако в нем замечалась и некоторая перемена. Если прежде он с особенною страстностью останавливался в своих беседах на местных делах, то теперь он охотнее говорил о делах личных—семейных и литературных замыслах. Несколько экспансивный в своем изложении, он с трогательною подробностью распространялся о своем маленьком сыне, в которого вкладывал настоящее обожание, ту горячую веру, которую прежде, как народник, он отдавал целikom народу. Рядом с этою темою он горячо развивал свои планы будущих работ, как в газетах, так и в журналах. На него явился спрос; столичные газетные столбы многих периодических изданий, как в Петербург, так и в Москву, были к его услугам—пиши только! Журналы не отставали от газет, и Семен Иванович, уезжая в свой черноморский хутор Архипо-Осиповку, был полон стремлений вылатную засять за литературу по разнообразным отраслям беллетристического и публицистического творчества. В последние дни он успел сдать «Новому Времени» к изданию нынче вышедшую уже книгу «Типы и характеры. Кавказское черноморское побережье», и заручиться принципиальным согласием «Вестника Европы» на принятие большого бытового романа, а со стороны «Исторического Вестника» на ряд очерков. С этим он покинул Петербург, но не прошло и двух месяцев, как из газетной телеграммы стало известно, что писатель Васюков в своем имении стал жертвою отвратительной экспроприации. Небольшая корреспонденция в «Новом Времени» из Джуги вкратце повела, как произошло дело, а более пространное письмо в редакцию «Исторического Вестника» супруги Семена Ивановича добавило к уже известному некоторую подробность, а также вскрыло перед нами то настроение, которое овладело нашим писателем после пережитого акта насилия. Вот что сказано в письме:

«3-го мая вечером пришел к нам один крестьянин, сосед по имению, он же исполняет и работы наши. Не успела я зажечь лампу и сказать несколько слов, как вдруг без шума, быстрыми шагами входят три вооруженных человека со словами: «руки вверх!» Это было так неожиданно, что мы даже не испугались и не встали со своих мест. Они потребовали от Семена Ивановича оружия, наставили на него кинжал и револьверы. С. И. не потерял присутствия духа, спокойно отдал ружье, но револьвера не отдал, говоря, что не имеет; затем они взяли все деньги, попросили 15 минут не выходить и скрылись. С. И. просит их оставить

ему хотя десять рублей, на что один из них, стоявший около входной двери, ответил: «вы себя выпипете, а нам деньги нужны, мы только что сорвались с петли».

«Я была страшно возмущена этими словами и ответила: «за такая дѣла немудрено попасть в петлю...» Мнѣ и пришедшему крестьянину совершенно свободно было убѣжать в дверь на террасу и поднять крикъ, но я не сдѣлала этого изъ боязни, чтобы они изъ мести не ранили, а то и прямо не убили Семена Ивановича. А на улицѣ свѣтила во всей своей красѣ луна и масса дѣвицъ и хлопцевъ бѣгали и пѣли пѣсни въ двухъ шагахъ отъ нашего дома! Все это произошло около восьми часовъ вечера. Взяли всего на 300 рублей. Нѣтъ! они ограбили насъ не на 300 рублей, а на тысячи! Они отняли у насъ покой и вѣру! Бѣдный Семенъ Ивановичъ настолько разстроенъ, что не можетъ писать!.. Чѣмъ мы гарантированы, что они не придутъ во второй, третій и т. д. разъ? Мы не можемъ ни спать спокойно, ни даже находиться дома... Одинъ изъ воровъ, державшій отточенный кинжалъ, нашъ Николай, у насъ работавшій, бывалъ у насъ, ѣлъ, пилъ съ нами за однимъ столомъ... Боже! да какъ же постѣ этого относиться къ людямъ! Семенъ Ивановичъ ему сказалъ: «не стыдно вамъ, вѣдь вы нашъ знакомый!..» Намъ не жалко денегъ, жалъ покоя, мы почувствовали такую гадливость, такую глупость къ этимъ людямъ. Какъ человекъ, которому не сдѣлали ничего плохого, могъ предводительствовать шайкой грабителей и въ случаѣ сопротивления воплотъ животъ отточеннымъ кинжаломъ!»

На это письмо редакторъ «Историческаго Вѣстника» послѣдилъ со словомъ утѣшенія и ободренія своему сотруднику, и вотъ его отвѣтъ отъ 30-го мая, который и является его послѣднимъ словомъ, написаннымъ для «Историческаго Вѣстника»:

«Дорогой Сергѣй Николаевичъ!

«Душевно благодарю за ваше хорошее письмо. Прошло немало времени, а я все не могу отблаться не отъ впечатлѣнія страха, а отъ другого, болѣе сложнаго чувства: обиды и моего теперешняго положенія на побережьи.

«Надо все бросить и бѣжать!»

«А вѣдь сколько труда и затратъ положено на участки, которыхъ у меня два¹⁾. Одна небольшая, но удобная дача въ Архипо-Осиповкѣ, стоившая мнѣ три съ половиною тысячи съ виноградникомъ и фруктовымъ садомъ. Другой участокъ около 13 десятинъ надъ моремъ. Тамъ я посадилъ одну десятину фруктоваго сада, три четверти десятины виноградника, раскопывалъ одну десятину изъ-подъ лѣса земли, построилъ большой каменный сарай (1000 р.)

¹⁾ Всѣ затраты на приобретение имущества, стройку и хозяйство С. И. Васюковымъ произведены изъ литературнаго заработка.

и заготовилъ нѣкоторый матеріалъ для дома. Моя думка была, какъ въстрою тамъ домъ, то продать дачу и перейти уже на настоящее хозяйство, которое черезъ года три станетъ доходнымъ. Все-таки кое-что достанется и моему сыну.

«Теперь всѣ мечты къ чорту!

«Надо продавать и уходить изъ этихъ мѣстъ. Можетъ быть, это непрактично, но я не могу здѣсь жить, потому что не могу работать. Конечно, нелегко найти покупателя.

«Задумалъ я и началъ для «Вѣстника Европы» писать романъ, но бросилъ... не могу! Немного спустя времени я напишу вамъ очеркъ этого разбоя въ связи съ мѣстной бюрократіей; ручаюсь, что онъ будетъ яркъ.

«Живемъ мы теперь скверно, среди унынія и тоски. Наши нервы очень разстроены. Отчего «Новое Время» не помѣщаетъ моихъ корреспонденцій? Вслѣдствіе этого я сталъ помѣщать таковыя въ «Русскомъ Словѣ» за плату 15 копеекъ строка.

«Впрочемъ, теперь не до корреспонденцій, пропала охота наблюдать надъ мѣстными дѣлами!

«Простите, писать больше не могу.

«Книги («Типы и характеры») получилъ. Если въ «Историческомъ Вѣстникѣ» будетъ рецензія, то попросите В. В. Глинскаго выслать мнѣ откликъ.

«Примите мое сердечное уваженіе. Крѣпко обнимаю и цѣлую васъ

«С. Васюковъ».

Это письмо пришло въ Петербургъ 4-го іюня, а черезъ три дня, въ ночь на 7-е іюня 1908 года Семена Ивановича не стало. Его сердце, видимо, затосковало смертельною тоскою въ чувствѣ нанесенной обиды и остановилось навсегда въ своемъ бѣніи. Кавказъ, которому Васюковъ отдалъ столько чувства, мѣстные люди, для которыхъ онъ такъ много поработалъ, не сумѣли его оцѣнить и сберечь. Пѣвецъ черноморскаго побережья, любвеобильный народникъ и энтузіастъ, какъ послѣднюю дань своему благородному чувству, встрѣтилъ себя здѣсь отвратительное оскорбленіе, надругательство надъ своимъ я и свой скорбный концъ. Развѣ это не живая трагедія, не скорбная страница изъ нашей отечественной дѣйствительности?

П. И. ВЕЙНБЕРГЪ.

Петръ Исаевичъ Вейнбергъ былъ одинъ изъ самыхъ популярныхъ представителей писательской корпораціи, имя котораго постоянно встрѣчается на страницахъ газетъ въ связи съ тѣми или иными моментами нашей литературной и научной жизни. Можно сказать, что за послѣднія 25—30 лѣтъ ни одно литературное торжество, ни одно литературное начинаніе въ его широкой общественной постановкѣ не обходилось безъ ближайшаго участія въ нихъ Петра Исаевича, при чемъ часто и очень часто именно онъ стоялъ въ ихъ главѣ въ роли организатора и устроителя.

Вейнбергу суждено было принять на себя своего рода подвигъ—бремя заботы о нуждахъ писательскаго сословія, которое онъ и несъ съ удивительно трогательной любовью и бережностью. Вудучи дѣятельнѣйшимъ членомъ литературнаго фонда и многіе годы его председателемъ, онъ буквально въ своей личности сосредоточилъ все обиліе горя, нужды и печали, которыя такъ часто сопутствуютъ жизни писательскаго сословія. Онъ былъ вѣчнымъ ходогаемъ передъ обществомъ за это сословіе, устраивая въ его пользу концерты, спектакли, чтенія, привлекая сюда выдающіяся артистическія силы, хлопоча о величинѣ сборовъ, дабы имѣть возможность какъ можно шире прійти на помощь человѣческой бѣдѣ, какъ можно полнѣе отвѣтить запросамъ голода и нужды. Въ этомъ отношеніи его заслуги передъ писательской средой неизмѣримы—начинапіями такого рода онъ за свою жизнь собралъ очень большія средства, которыя скрасили горькіе часы жизни очень многихъ тружениковъ пера. Пользуясь въ городѣ большими связями и знакомствами, занимая видное общественное положеніе, онъ имѣлъ возможность приходить на помощь нуждающимся и въ иной формѣ. Петръ Исаевичъ постоянно за кого-нибудь хлопоталъ въ томъ или иномъ мѣстѣ: то нужно было на условіяхъ благотворенія и льготы помѣстить въ учебное заведеніе ребенка ка-

кого-нибудь скончавшагося ученаго или литератора, то нужно хлопотать о похоронахъ, то предстательствовать передъ администраціей за арестованныхъ и ссыльныхъ. И этотъ глубокой старикъ съ оригинальной наружностью и длинной сѣдой бородой, часто хворый и занятый кучей собственнхъ дѣлъ и заботъ, находился постоянно въ движеніи, снѣша на извозчикѣ то въ ту, то въ иную часть города въ своихъ заботахъ о чужомъ горѣ. Да и бывшая квартира его, на Фонтанкѣ у Аничкова моста, которую знала чуть не вся научно-литературная Россія, постоянно была центромъ, куда люди шли за совѣтомъ, съ просьбою, за помощью и поддержкою.

Удивительная это была квартира! Жилъ здѣсь Петръ Исаевичъ одиноко, но тѣсно окруженный громадной семьей изъ представителей западно-европейской и отечественной образованности; всѣ стѣны сверху донизу увѣшаны были портретами дѣятелей науки, литературы, искусства, всѣ столы сплошь уставлены карточками тѣхъ, для кого онъ такъ много работалъ и перомъ и дѣломъ. Казалось, что сюда собралась интеллигенція всѣхъ временъ и народовъ, чтобы постояннымъ личнымъ присутствіемъ засвидѣтельствовать, что обитатель квартиры-музея дѣйствительно выдающійся дѣятель на поприщѣ просвѣщенія, плодотворно на своемъ долгомъ вѣку порабатывавшій въ интересахъ этого просвѣщенія, во имя гуманизма и распространенія знанія. А Петръ Исаевичъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно много сдѣлалъ и оставилъ въ лѣтописяхъ русскаго просвѣщенія большую по себѣ память главнымъ образомъ какъ популяризаторъ у насъ западно-европейскихъ классиковъ.

Родился Вейнбергъ въ 1830 году въ Николаевѣ, сначала учился въ одной изъ одесскихъ гимназій, затѣмъ поступилъ въ Ришельевскій лицей на юридическій факультетъ, но за полгода до выпуска оставилъ его и перешелъ въ харьковскій университетъ на историко-филологическій факультетъ, который и кончилъ въ 1855 году со степенью кандидата. Свою литературную дѣятельность онъ началъ еще на школьной скамѣ, въ 1851 году, выступивъ съ переводомъ драмы Жоржъ-Зандъ «Клюдія», а на слѣдующій годъ появилось и его первое оригинальное стихотвореніе «Молитва обо всѣхъ» (подражаніе Виктору Гюго). Литературная работа Вейнберга сразу пошла такъ успешно, что еще до окончанія курса въ университетъ онъ успѣваетъ издать (въ 1854 году) цѣлый сборникъ оригинальныхъ и переводныхъ стихотвореній. Въ первый періодъ жизни, по окончаніи университета, мы видимъ его въ глухой провинціи, въ роли чиновника особыхъ порученій при тамбовскомъ губернаторѣ, но такого рода дѣятельность оказалась ему не по душѣ, и уже въ 1858 году онъ является на берегахъ Невы, чтобы цѣлкомъ посвятить себя сначала литературной профессіи, а потомъ и педагогической. Онъ становится виднымъ сотрудникомъ знаменитой «Искры», помѣщая здѣсь рядъ пародій,

шаржей, шуточных и обличительных стихотворений, из которых нѣкоторые получили самую широкую популярность, какъ, напримѣръ:

Онъ былъ титулярный совѣтникъ,
Она—генеральская дочь;
Онъ робко въ любви объяснился,
Она прогнала его прочь.

Послелъ титулярный совѣтникъ
И плыствовать съ горы всю ночь—
И въ винномъ туманѣ носилась
Предъ нимъ генеральская дочь¹⁾.

Или:

Къ укротителю въ звѣринецъ
Онъ привелъ свою супругу—
И сказалъ онъ: «Крейцбергъ старшій,
Окажи ты мнѣ услугу!

«Ты владыка надъ звѣрями:
Укрощаешь львовъ, шакаловъ;
Ты смиряешь крокодиловъ
И съ синарами нахаловъ.

«Укроти мою супругу
Взглядомъ, голосомъ, хлыстами;
Докажи, что ты волшебникъ
И начальникъ надъ скотами!»

Посмотрѣлъ ей въ очи Крейцбергъ,
Опустилъ свой хлыстъ любимый
И промолвилъ тихо, робко:
«Это звѣрь неукротимый!»

Такого рода веселія произведенія шаловливой музы, подписанныя по большей части псевдонимами «Гейне изъ Тамбова», «Синеусовъ», «Камень Виногооровъ» (Pierre Weinberg) дали молодому поэту широкую популярность и создали на него большой спросъ въ литературѣ; передъ нимъ раскрываются двери редакцій «Библиотеки для чтенія», «Иллюстраціи», «Современника» и другихъ журналовъ. Но, конечно, не сатирическая литература была центральнымъ мѣстомъ его журнальной работы. Онъ выступилъ съ цѣлымъ рядомъ оригинальныхъ повѣстическихъ произведеній лирическаго характера и подарилъ публикѣ въ прекрасномъ переводѣ и звучныхъ стихахъ почти всѣхъ главнѣйшихъ западно-европейскихъ классиковъ. Гейне, Фаллерсле-

¹⁾ По разсказу мнѣ самого Петра Исаевича, онъ описалъ тутъ случай своего увлеченія дочкой тамбовскаго губернатора.

Б. Г.



Петръ Исаевичъ Вейнбергъ.

бень, Гервегъ, Шамиссо, Ленау, Гуцковъ и др. нашли въ Петрѣ Исаевичѣ своего популяризатора въ Россіи. Въ 1864 г. онъ приступилъ къ переводу Шекспира и далъ читателямъ девять его пятиактныхъ пьесъ: «Отелло», «Генрихъ VIII», «Тимонъ Аѳинскій», «Венеціанскій купецъ», «Какъ вамъ будетъ угодно», «Конецъ—всему дѣлу вѣнецъ», «Виндзорскія проказницы», «Комедія ошибокъ» и «Безплодные усилія любви». Рядомъ съ этимъ имъ

в. в. глинскій.

даны переводы: «Сарданапаль» Байрона, «Ченчи» Шелли, «Уриэль Акоста» Гудкова, «Школа злословия» Шеридана, «Иуда Бенъ Галеви» и «Вимини», поэмы Гейне, «Евангелина» Лонтфелло, «Жижка» Ленау и много других произведений европейской музыки.

Отдавшись съ такимъ рвеніемъ переводу драматическихъ произведений, Петръ Исаевичъ вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ близокъ къ театру, результатомъ чего явилась его усиленная рецензентская дѣятельность въ газетахъ по отдѣлу театра, а также его участіе въ комитетѣ по приему новыхъ театраль-ныхъ пьесъ. Близость же къ артистическому міру помогла ему легко привле-кать представителей этого міра къ тѣмъ благотворительнымъ концертамъ и представленіямъ, о коихъ говорено выше.

Въ числѣ капитальныхъ изданій, тѣсно связанныхъ съ его именемъ, надлежитъ упомянуть изданіе подъ его редакціей шести томовъ сочиненій Гете, восьми томовъ Гейне и двухъ томовъ Берне. Работая для ознакомленія русской публики съ европейской литературой, онъ, кромѣ этихъ перевод-ныхъ и редакціонныхъ трудовъ, выпустилъ научные этюды—«Подвигъ Берне», «Менцель-Французобѣда», о В. Гюго и Фрейлигратъ.

Всѣ переводы, имъ сдѣланные, отличаются большою добросовѣстностью, глубокимъ изученіемъ подлинниковъ, чистотою и изяществомъ рѣчи. Въ этомъ отношеніи его можно считать прямо-таки образцовымъ представите-лемъ родного переводнаго труда. Нельзя того же сказать о его оригиналь-ныхъ прозаическихъ произведеніяхъ: они написаны нѣсколько тяжело, вяло и не производятъ должнаго эффекта, котораго можно было бы ожидать отъ такого очаровательнаго, остроумнаго и блестящаго собесѣдника, какимъ былъ въ жизни покойный. Онъ раздѣлялъ тутъ судьбу тоже блестящаго представителя нашей общественности—покойнаго профессора и соредактора «Русской Мысли» В. А. Гольцева. Оба они были незамѣнными веселыми собесѣдниками и ораторами и оба удивительно скучно излагали свои мысли на бумагѣ. Но если проза Вейнберга не останавливаетъ на себѣ нашего вниманія своими особыми качествами, то нельзя того же сказать про его поэ-зію. Въ ней много достоинствъ, и для ознакомленія съ нею, кромѣ отмѣчен-ной уже сатирической, приведу два характерныхъ образца. Вотъ его зна-менитое «Море», которое онъ такъ любилъ читать на литературныхъ ве-черахъ и которое всегда покрывалось шумными знаками одобренія публики:

Безконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый другъ—море.
Сколько власти благодатной
Въ этой ширѣ необъятной,
Въ царственномъ просторѣ!

Я пришелъ на берегъ милый
Истомленный и унылый,
Съ пошею старинной
Всѣхъ надеждъ моихъ разбитыхъ,
Всѣхъ сомгнѣній ядовитыхъ,
Всей тоски змѣиной.

Я пришелъ повѣдать морю,
Что съ судьбою ужъ не спорю;
Что бороться долѣ
Силы нѣтъ, что я смирился
И позорно поклонился
Безобразной долѣ.

Но когда передо мною
Безконечной пеленою
Развернулось море,
И, отгаки львиной волны,
Вдругъ заглѣли гнѣсно волны
Въ исполненномъ хорѣ,

Пѣсно мощи и свободы,
Пѣсно грозную природы,
Жизнь берущей съ бою,—
Все во мнѣ затрепетало
И такъ стыдно, стыдно стало
Предъ самимъ собою—

За унынье, за усталость,
За болѣзненную вялость,
За утрату силы
Ни предъ чѣмъ не преклоняться
И съ врагомъ-судьбой сражаться
Смѣло до могилы!

Отряхнуть съ себя я снова
Малодушія пустою
Погубное бремя,
И врагу, съ отвагой твердой,
Снова кинуть вызовъ гордый,
Какъ въ былое время...

А сѣдя волны моря,
Пробужденъ духа вторя
Откликомъ природы,
Все быстрѣй впередъ лѣтъ,
Все грознѣе пѣсно глѣл
Жизни и свободы!

А вот стихотворение в ином роде:

Каждый раз, как только в сердце,
В сердце я твою наглаголю—
Видю солнце, вижу розы,
Видю светлую весну.

Каждый раз, как ты запрещаешь
В строгой логикѣ ума—
Предо мной и сибѣ, и холодъ,
И мертвящая зима.

Ах, дитя мое, на свѣтъ
Забну я и безъ того;
Что жъ ты прятешь въ мозгъ холодный
Солнце сердца твоего?

Работая на разныхъ поприщахъ литературы, какъ рядовой работникъ, Петръ Исаевичъ, укрупнившись въ журнальномъ мірѣ и приобрѣтивъ себѣ здѣсь друзей и единомышленниковъ, дѣлалъ попытки и самостоятельнаго издательства. Такъ, въ сотрудничествѣ съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Кавелинымъ и В. П. Везобразовымъ онъ въ 1860 году предпринялъ издание журнала «Вѣкъ», существованіе котораго ознаменовалось извѣстнымъ эпизодомъ, о которомъ онъ такъ остроумно разсказалъ на страницахъ «Историческаго Вѣстника» ¹⁾ въ статьѣ «Безобразный поступокъ «Вѣка». Жизнь этого «Вѣка» была недолга—всего годъ. Въ журналъ не было нужной для успѣха въ тѣ годы яркости политическаго характера, и онъ прекратился. Вторично Вейнбергъ издавалъ ежемѣсячный журналъ «Изящная Литература», посвященный главнымъ образомъ переводамъ лучшихъ иностранныхъ произведений, но и тутъ не имѣлъ успѣха, и черезъ два года долженъ былъ его прекратить, понесла, кажется, порядочные убытки. Человѣкъ вообще большой жизненной практики, Петръ Исаевичъ въ своихъ издательскихъ начинаніяхъ оказывался, однако, очень неумѣлымъ и неудачливымъ, почему въслѣдствіе всегда относился со свойственнымъ ему юморомъ къ молодымъ писательскимъ мечтаніямъ объ издательствѣ отрицательно, говоря: «Всѣ молодые писатели дѣлаютъ постоянно въ жизни двѣ ошибки: издаютъ журналы и женятся, и въ каждомъ случаѣ неудачно».

Такова была разнообразная и кипучая литературная дѣятельность покойнаго. Но ею не исчерпалась его жизненная задача; въ ней важное мѣсто заняла практика педагогическая, къ которой онъ обратился въ 1868 году, опредѣлившись профессоромъ исторіи русской литературы въ варшавскую главную школу, преобразованную потомъ въ варшавскій университетъ. Однако черезъ пять лѣтъ онъ покинулъ Западный край и занялъ мѣсто

¹⁾ 1900 г., т. LXXX, май.

инспектора Коломенской женской гимназіи, а также преподавателя литературы на женскихъ педагогическихъ курсахъ. Какъ инспекторъ гимназіи, Вейнбергъ явилъ собою типъ выдающагося педагога, сумѣвшаго оживить въ вѣтренномъ ему учебномъ заведеніи преподавательское дѣло, привлечь сюда лучшихъ представителей нашей тогдашней педагогики и поднять среди учащихся интересъ къ изученію всеобщей и русской литературы. Въ этихъ дѣлахъ онъ устраивалъ въ гимназіи литературные вечера, съ участіемъ въ нихъ выдающихся русскихъ писателей, какъ Тургеневъ, Достоевскій, Ап. Майковъ, Григоровичъ и др. Эти вечера были чрезвычайно интересны, поучительны, и учащаяся гимназическая молодежь сохранила о годахъ, проведенныхъ въ стѣнахъ учебнаго заведенія при инспекторствѣ Петра Исаевича, наилучшія теплыя воспоминанія, какъ о годахъ, когда, только благодаря его популярности и вліятельности въ литературныхъ кружкахъ столицы, имъ была дана возможность встрѣтиться лицомъ къ лицу съ тѣми, кто составлялъ гордость и славу русской земли.

Кромѣ названныхъ учебныхъ заведеній, Вейнбергъ одно время состоялъ приватъ-доцентомъ петербургскаго университета и довольно долго читалъ на драматическихъ курсахъ театральнаго училища. Послѣ смерти Я. Г. Гуревича онъ занялъ мѣсто директора гимназіи и реальнаго училища его имени. Ближайшимъ слѣдомъ его педагогическихъ занятій были составленные имъ сборники съ характеромъ учебныхъ пособій, какъ, напримѣръ, «Европейскій театръ», «Русскіе писатели въ классѣ», «Русская исторія въ поэзіи», «Европейскіе классики».

Въ послѣдніе годы Петръ Исаевичъ, во вниманіе къ его большимъ заслугамъ передъ роднымъ просвѣщеніемъ на поприщѣ науки и литературы, былъ избранъ академіей наукъ ея почетнымъ академикомъ.

До послѣдняго года онъ, хотя и прихварывалъ иногда, былъ, однакоже, удивительно бодръ, жизнедѣятеленъ, энергиченъ и не покладалъ рукъ въ своей общественной работѣ на пользу литературнаго сословія. Ежедневно его можно было видѣть гуляющимъ по Невскому проспекту, съ клѣтчатымъ пиджкомъ на рукахъ. Имъ еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ былъ устроенъ большой спектакль въ пользу дорогаго его сердцу литературнаго фонда, для котораго онъ столько лѣтъ неустанно трудился. Но вотъ весною прошелъ слухъ, что Вейнбергъ захворалъ, приемы на его новой квартирѣ на Николаевской улицѣ прекратились, а къ началу лѣта стали поговаривать, что онъ и совсѣмъ свалился. Вотъ какъ описываетъ хроникеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей» ¹⁾ ходъ болѣзни Петра Исаевича и его послѣдніе часы:

«Болѣлъ онъ уже сравнительно давно... съ 28-го мая... Тогда у П. И. появилось болѣзненное ощущеніе въ колѣнѣ. Были приглашены врачи,

¹⁾ «Биржевые Вѣдомости» № 10.585 отъ 3 іюля.

которые констатировали воспаление. Была сделана операция Кадыномъ съ его ассистентами. Были наложены повязки. Вскорѣ появилось значительное улучшение. Повязки были сняты, но черезъ нѣкоторое время П. И. сталъ жаловаться вновь на боль въ колѣнѣ. Одновременно онъ все время мучился и волновался, опасаясь вторичной операции.

«Какъ ни мало было первое оперативное вмѣшательство,—былъ сделанъ только проколъ и выпущена жидкость,—вторичной операции П. И. ни за что не желалъ.

«Послѣдніе дни онъ былъ слабъ, чувствовалъ себя чрезвычайно измученнымъ и страдалъ.

«Еще 2-го іюля вечеромъ больного посѣтила его дочь. Были доктора. Но опять-таки какихъ-либо грозныхъ признаковъ нельзя было уловить.

«Вечеромъ еще къ нему обращались съ вопросами, не желаетъ ли Петръ Исаевичъ, чтобы былъ вызванъ младшій сынъ, находящійся въ Финляндіи, но онъ этого не пожелалъ.

«Въ теченіе дня нѣсколько разъ онъ дремалъ.

«Когда къ нему обращались съ различными вопросами, онъ отвѣчалъ:

«— Оставьте меня спать!..

«Вечеромъ онъ выпилъ чашку бульона, поговорилъ съ дочерью, съ близкими, и затѣмъ снова задремалъ.

«Позже Петра Исаевича спрашивали, не желаетъ ли онъ чего-либо съѣсть. Больной раздраженно отвѣчалъ:

«— Не надоѣдайте мнѣ съ ѣдой!..

«Затѣмъ онъ сталъ жаловаться на боль въ боку, такъ какъ онъ лежалъ не на спинѣ. Позвали человѣка, который за нимъ ухаживалъ. Положили на спину. Это была его привычка: всю жизнь спать на спинѣ.

«Около 10 часовъ вечера онъ сталъ тяжело дышать. Это встревожило близкихъ. Петра Исаевича спросили, что съ нимъ, какъ онъ себя чувствуетъ.

«Больной отвѣтилъ:

«— Я тяжело дышу, вѣроятно, потому, что долго лежалъ на боку...

«Затѣмъ онъ сталъ каплять, хрипло, тяжело...

«— Я хочу съѣсть!..

«Около 12 часовъ ночи хриплый кашель сталъ все усиливаться. Спросили, не нужно ли П. И. положить, такъ какъ кашель, можетъ быть, происходитъ оттого, что онъ сидитъ.

«Это было около трехъ четвертей двѣнадцатаго.

«Къ нему обратились снова съ этимъ вопросомъ.

«Петръ Исаевичъ отвѣтилъ:

«— Да, сейчасъ...

«Это были послѣднія слова дорогого всему литературному міру П. И. Вейнберга.

«Произнесъ ихъ, онъ закрылъ глаза... Близкимъ показалось, что онъ заснулъ или задремалъ. Хрипъ исчезъ. Дыханіе затихло.

«Но онъ заснулъ навѣки!..

«Лицо его было совершенно спокойно. Выраженіе почти не измѣнилось.

«Все-таки сонъ показался подозрительнымъ. Замѣтили, что дыханіе исчезло. Кинулись за близъ живущими врачами. Позвали доктора Коричкаго. Пришлось констатировать тяжелую правду: П. И. Вейнберга не стало...»

Такъ отошелъ 3-го іюля 1908 въ вѣчность непрестанный печальникъ литературной братіи, которому она столь многимъ была обязана. Глухая лѣтняя пора не позволила отдать ему послѣднихъ поминальнымъ почестей въ той широкой торжественной обстановкѣ, которой онъ заслужилъ. Только немногіе представители литературнаго и ученаго сословія получили возможность сказать послѣднее «прости» дорогому Петру Исаевичу на Новыхъ мѣстахъ Новодѣвичьего монастыря, гдѣ онъ высказалъ свою волю быть похороненнымъ.

П. Я. ДАШКОВЪ.

Съ кончиною Павла Яковлевича Дашкова отошелъ въ даль цѣлый періодъ жизни для многихъ, работающихъ въ области исторической науки, періодъ, въ которомъ онъ игралъ извѣстную роль, какъ совѣтчикъ, другъ, какъ центръ, около котораго группировался кружокъ людей, полезныхъ историческому знанію своими значительными общественными связями. Еще за нѣсколько дней всего до его смерти, послѣдовавшей 6-го февраля 1910 года, пишущій настоящія строки посѣтилъ его и засталъ Дашкова, правда, нѣсколько какъ будто утомленнымъ и съ налетомъ грусти на лицѣ, но все же далекаго по видимости отъ той печальной жизненной развязки, которая его вскорѣ постигла. Близкіе знакомые, видя за послѣднее время, что вѣчная жизнь «на людяхъ» его утомляетъ, принимая въ соображеніе, что возрастъ, въ который онъ вступилъ, не допускаетъ обилія пріемовъ посѣтителей съ безконечными бесѣдами съ ними на ихъ пользу и поученіе, что здоровье его за послѣднія пять лѣтъ нѣсколько слабѣло и онъ начинаетъ прихварывать, по вѣсѣмъ этимъ основаніямъ они ему усиленно рекомендовали большую заботу о себѣ, гдѣ на первомъ мѣстѣ долженъ быть поставленъ вопросъ о сокращеніи пріемовъ. И самъ Дашковъ это прекрасно сознавалъ; еще лѣтомъ онъ категорически заявилъ автору настоящаго очерка, что двери его кабинета и столовой будутъ всего три раза въ недѣлю открыты для гостей и посѣтителей, но... привычка была, видимо, сильнѣе всего: завертѣвшееся колесо столичной жизни съ начала осенняго сезона захватило своими спицами Павла Яковлевича, и темпъ его времяпрепровожденія остался прежній. Отсюда, несомнѣнно, ясно сказывавшееся въ немъ переутомленіе и, какъ окончательный финалъ такового, — скоропостижная кончина. Изъ русской дѣйствительности выбылъ превосходный представитель своей ро-

дины, горячо ее любившій, много ей послужившій и всѣми данными ему отъ природы силами содѣйствовавшій развитію ея просвѣщенію.

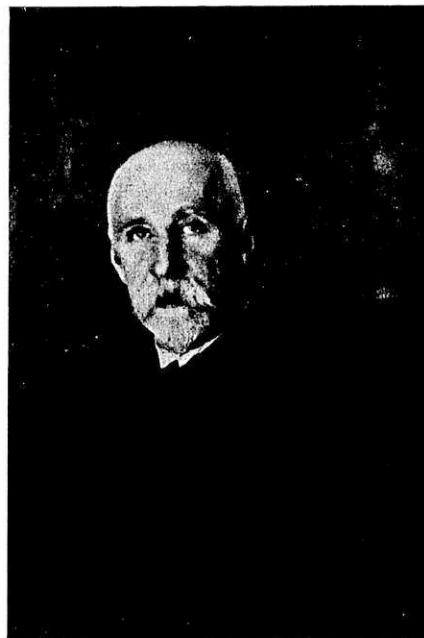
Родъ Дашковыхъ довольно древній, и лѣтописи исторіи впервые заноситъ упоминаніе объ одномъ изъ Дашковыхъ въ 1506 г., какъ выходецъ изъ Великой Орды. Затѣмъ рядъ Дашковыхъ числится въ XVII и XVIII столѣтіяхъ на тѣхъ или иныхъ должностяхъ, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ, и, наконецъ, девятнадцатый вѣкъ выдвигаетъ двухъ Дашковыхъ — дѣда и отца Павла Яковлевича, какъ видныхъ представителей нашего дипломатическаго корпуса. Въ первую четверть этого столѣтія Андрей Яковлевичъ Дашковъ, женатый на баронессѣ Прейсеръ, занимаетъ постъ посланника въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ, а въ серединѣ столѣтія сынъ его, дѣйствительный тайный совѣтникъ Яковъ Андреевичъ Дашковъ, женатый на Павлѣ Ивановнѣ Вѣгичевой, является нашимъ посланникомъ въ Швецію. Отъ брака послѣднихъ родилось пять человѣкъ дѣтей — три сына и двѣ дочери. Старшимъ сыномъ и былъ Павелъ Яковлевичъ, родившійся 28-го января 1849 г.

Получивъ первоначальное прекрасное домашнее воспитаніе, гдѣ были заложены прочный фундаментъ его всегда ярко блиставшей разносторонней эрудиціи, Павелъ Яковлевичъ, въ бытность отца посланникомъ въ Швецію, сначала учился въ тамошнихъ школахъ, съ любовью впоследствии вспоминая о тамошнихъ здоровыхъ методахъ воспитанія, товарищескихъ корпораціяхъ и тщательности физическаго развитія молодого поколѣнія согласно мудрому латинскому правилу: *«mens sana in corpore sano»*. На шестнадцатомъ году онъ былъ опредѣленъ въ императорскій Александровскій лицей, который и окончилъ въ декабрь 1869 г. Это послѣднее наше привилегированное высшее учебное заведеніе пріобрѣло въ лицѣ новаго воспитанника виднаго члена лицейской семьи, который до конца дней своихъ жилъ всѣми интересами своей *almae matris*, принимая непосредственное участіе во всѣхъ культурныхъ и общественныхъ проявленіяхъ жизни своихъ бывшихъ и настоящихъ товарищей по училищу. Онъ бережно и свято хранилъ традиціи лицей, гордился званіемъ лицеиста, внося въ понятіе этого званія не вышнюю мишуру и тщеславіе, а то дворянское джентльменство, которое такъ сродни просвѣщенному англійскому аристократизму. Аристократъ по происхожденію и воспитанію, Дашковъ отличался удивительной простотой, той простотой, которая именно выдѣляется своимъ изяществомъ, доступностью и мягкостью, составляющими удѣлъ прекраснаго домашняго воспитанія и пребыванія въ хорошо тренированной товарищеской средѣ. По выходѣ изъ лицей Павелъ Яковлевичъ былъ зачисленъ на службу по государственной канцеляріи, сверхштатнымъ чиновникомъ которой, въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника по отдѣленію свода законовъ, онъ числился до самой своей смерти. Но не какъ чиновникъ государственной

службы составилъ онъ себѣ имя. При своемъ умѣ, образованіи и связяхъ, пожелалъ онъ быстро двигаться по служебной іерархической лѣстницѣ, нѣтъ сомнѣнія, мы увидали бы его въ высокихъ служебныхъ и придворныхъ чинахъ. Нѣтъ, не сюда влекло его сердце, и онъ, предпочитая считаться въ сонмѣ скромныхъ и обыкновенныхъ чиновниковъ кодификаціоннаго отдѣла государственной канцеляріи, не претендовалъ на высокіе чины, почетныя награды и званія. Какъ сообщаетъ Е. С. Шумигорскій, лично близко знавшій покойнаго, въ своемъ некрологѣ, ему посвященномъ на столбцахъ «Новаго Времени» (8-го февраля), Павелъ Яковлевичъ, получивъ первоначальное воспитаніе за границей, былъ до мозга костей русскимъ человѣкомъ, страстно любившимъ свою родину и вѣрившимъ въ ея мощь и величіе. Намъ положительно извѣстно, — говоритъ авторъ замѣтки: — что самая мысль создать коллекцію рукописей и рисунковъ по русской исторіи появилась у него именно подъ влияніемъ этого чувства въ то время, когда въ высшемъ обществѣ, къ которому Дашковъ принадлежалъ по рожденію, культивировалось «чужеземство родной страны» и, послѣ краха помѣщицѣй Россіи и развала дѣдовскихъ усадебъ, стали выбрасываться на улицу семейныя бумаги. Еще юношей Дашковъ тратилъ всѣ свои деньги на покупку русскихъ бумагъ и гравюръ въ важнѣйшихъ антикварныхъ центрахъ Европы, куда онъ сбывались нашими беззаботными соотечественниками. Ту же склонность свою широко проявилъ онъ и въ Россіи, гдѣ заканчивалъ свое образованіе въ Александровскомъ лицѣ и сталъ затѣмъ числиться на службѣ по государственной канцеляріи; сердце его сжималось отъ боли, когда онъ видѣлъ уничтоженіе и гибель русскихъ историческихъ бумагъ, и онъ спасалъ многія изъ нихъ, какъ только являлась къ тому возможность, иногда при участіи другихъ знатоковъ родной старины, дѣйствовавшихъ въ союзъ съ Дашковымъ; въ числѣ ихъ былъ и покойный князь Алексѣй Борисовичъ Лобановъ-Ростовскій, многими чертами ума и характера напоминавшій П. Я. Дашкова».

Итакъ, собраніе духовнаго русскаго богатства, сохранившагося отъ предковъ, но которому грозила участь безслѣднаго исчезновенія или антипатріотическая его продажа на антикварные западно-европейскіе рынки, — вотъ та задача, которая на зарѣ молодости предстала передъ Дашковымъ и которой онъ отдалъ всѣ силы жизни и часть своихъ значительныхъ денежныхъ средствъ, разсматривая эту задачу, какъ общественный долгъ, какъ служеніе Россіи, служеніе большое и трудное, на пути котораго встрѣчаются многія тернія, особенно въ той постановкѣ этого служенія, какъ Павелъ Яковлевичъ это предопредѣлилъ и установилъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что онъ создалъ у насъ школу составленія частныхъ архивовъ, выработалъ здѣсь методы собранія и приложилъ къ возсозданію преданій и слѣдовъ погибающей старины тѣ приемы, которые вѣдомы только самымъ искуснымъ коллекціонерамъ Германіи, Франціи, Англіи. Чего стоятъ только

его труды по возсозданію нѣкоторыхъ рукописей Гоголя, въ свое время впервые опубликованныхъ и доставшихся ему отъ вдовы М. П. Погодина въ видѣ изорванныхъ доскутковъ бумаги, съ которыми справиться и которыя разобрать оказался не въ силахъ извѣстный московскій профессоръ!



Павелъ Яковлевичъ Дашковъ.

Дашковъ не ограничивалъ себя опредѣленнаго рода коллекціонированіемъ, преслѣдуя одно какое-нибудь заданіе въ примѣненіи, напримѣръ, къ опредѣленной эпохѣ или составной ея части. Онъ пріобрѣталъ широкою рукою все то писанное и печатное, гравированное и рисованное, что содер-

жало въ себѣ хоть нѣкоторое историческое значеніе и имѣло цѣну для исторіи русской жизни, къ какой бы эпохѣ оно ни относилось. Какъ нѣкогда историку М. П. Погодину со всѣхъ концовъ Россіи посылали россійскія древности, такъ и къ Дашкову, молва о которомъ, какъ объ извѣстномъ коллекционерѣ, пользовалась самымъ широкимъ распространеніемъ, отовсюду обращались съ предложеніемъ разныхъ приобрѣтений: архивовъ, коллекцій писемъ, рукописей, иллюстрацій и портретовъ. Разница только между Погодинымъ и Дашковымъ была та, что московскій ученый ухитрился получать все нужное и интересное или даромъ, или за очень незначительную цѣну, а въслѣдствіи сумѣлъ по довольно выгодной цѣнѣ вручить свое древлехранилище казнѣ, Дашковъ же за все платилъ наличными деньгами и подчасъ довольно широко. Когда ему дѣлались опредѣленные предложенія, то онъ часто направлялъ предлагавшаго въ публичную бібліотеку, предоставляя ей первенство приобрѣтенія и оцѣнку его. Но, какъ извѣстно, наше столичное книгохранилище въ этомъ отношеніи довольно-таки непринимчиво, да, кромѣ того, и не располагаетъ для цѣлей расширенія своихъ архивныхъ богатствъ достаточными средствами. Отсюда получалось по большей части то, что продавецъ, получивъ отказъ администраціи бібліотеки, снова толкался въ двери кабинета Дашкова или приходилъ сюда съ извѣстіемъ о незначительности предложенной суммы. Тогда Павелъ Яковлевичъ, чтобы установить настоящую цѣну «товара», адресовывалъ продавца къ редактору «Историческаго Вѣстника», предлагая на судъ послѣдняго установленіе цѣны, въ полной увѣренности, что этотъ нашъ знатокъ исторіи произнесетъ свое слово нелицеприятно и по совѣсти. Такъ производились по большей части операціи пополненія дашковскихъ коллекцій, по крайней мѣрѣ за послѣднія 20—25 лѣтъ. Такимъ образомъ, Дашкову почти ничто не доставалось даромъ, если не считать случайныхъ подарковъ или копій съ иллюстрацій въ тѣхъ изданіяхъ, которыя готовились къ печати при его ближайшемъ участіи, какъ вкладчика сюда портретовъ и разныхъ изображеній. Но это были сущія мелочи; зато было немало случаевъ, когда нѣкоторыя приобрѣтенія обходились ему съ затратою значительныхъ средствъ, какъ, напримѣръ, приобрѣтеніе дневниковъ и вообще архива покойнаго министра эпохи Александра II, графа Валюева. По денежному соглашенію съ единственнымъ наследникомъ послѣдняго, Павелъ Яковлевичъ сталъ обладателемъ его богатаго архива, но и тутъ онъ проявилъ широко барство и доказалъ безупречность своего джентльменства. Часть приобрѣтеннаго архива, по соображеніямъ государственнаго порядка, онъ вынужденъ былъ передать въ Зимній дворецъ, и когда онъ былъ запрошенъ о величинѣ понесеннаго имъ ущерба и какою суммою онъ за это долженъ быть вознагражденъ, Дашковъ отъ послѣдняго уклонился, заявивъ, что въ этомъ не нуждается, но что если новые собственники части отчужденнаго

имущества желаютъ быть великодушны, то пусть они вознаградятъ то близкое наслѣднику Валюева лицо, которое понесло расходы по его леченію и похоронамъ. Желаніе Дашкова было выполнено, и въ вѣнокъ его имени вפלелся новый цвѣтокъ красиваго барскаго великодушія и рыцарскаго безсребрія.

Въ обладаніи Павла Яковлевича оказались богатая сокровища русскаго духа, искусства и мысли. По свидѣтельству К. А. Военскаго, посвятившаго Дашкову некрологическую памятку «Памяти замѣчательнаго русскаго человѣка» («С.-Петербургскія Вѣдомости», 1906 г., № 32), исторія накопленія Павломъ Яковлевичемъ архивныхъ богатствъ такова.

«Сначала въ теченіе долгихъ лѣтъ Дашковъ тратилъ большія средства на приобрѣтеніе рѣдкихъ гравюръ и рукописей для своего собранія, а въслѣдствіи, среди людей, сколько-нибудь заинтересованныхъ въ сохраненіи рѣдкихъ и цѣнныхъ документовъ нашей исторіи, создалось особое убѣжденіе, вѣрнѣе, обаяніе личности, и на вопросъ: что дѣлать съ имѣющимся въ рукахъ рѣдкимъ экземпляромъ рукописи, картины, фотографіи?—самъ собою являлся отвѣтъ: передать П. Я. Дашкову. И не въ Публичную бібліотеку, не въ академію, не въ какое-либо официальное учрежденіе, гдѣ холодомъ вѣло и отъ стѣнъ, и отъ людей, несли знатоки-любители свои сокровища, а именно «къ Павлу Яковлевичу», къ тому человѣку, который бережетъ ихъ съ любовью, съ сознаніемъ принятаго на себя долга хранить и беречь дорогую родную старину... Такъ составилось это поистинѣ колоссальное собраніе, извѣстное не только у насъ, въ Россіи, но и иностранному міру. Чтобы судить о богатствѣ, о полнотѣ собранія П. Я. Дашкова, достаточно сказать, что видѣвшій его лѣтъ десять тому назадъ одинъ изъ хранителей Британскаго музея оцѣнилъ одну только коллекцію гравюръ (не считая рукописей) въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей. А вѣдь за послѣднія 10 лѣтъ собраніе неизмѣнно пополнялось! За время «собранія» покойнымъ своихъ коллекцій, т. е. въ теченіе слишкомъ 40 лѣтъ, въ русской жизни произошло немало выдающихся событій, и несомнѣнно, что нигдѣ не найдется болѣе полного ихъ отраженія, съ бытовой и политической точки зрѣнія, чѣмъ въ собраніи П. Я. Дашкова. Естественно, что въ теченіе послѣдняго времени ни одно сколько-нибудь серьезное изданіе художественнаго или историческаго характера, ни одна юбилейная исторія нашихъ правительственныхъ учреждений, а также значительная часть нашихъ полковыхъ исторій и хроникъ не обошлись безъ «собранія П. Я. Дашкова». Нуженъ «хорошій» портретъ какого-нибудь историческаго лица, художника, министра, полководца или просто замѣчательнаго русскаго человѣка, нуженъ видъ дворца, стараго зданія, виды стараго Петербурга, старой Москвы, необходимъ автографъ мало извѣстнаго, но интереснаго дѣятеля, снимокъ съ рѣдкой грамоты,—и, конечно, если этого не найдешь и въ Публичной бібліотекѣ, то у Павла

Яковлевича только и можно найти, и надо к нему идти с челобитной. И к нему шли все: одни—с рекомендациями, другие—просто в надежде, что он им не откажет во имя серьезности их труда; приезжали важные сановники и скромные провинциалы из дальних мест—и всех встречал он с приветливостью истого русского барина, с неизменной готовностью прийти на помощь делу, с живым интересом к предпринятому труду, нередко увлекался им не менее самого автора. В течение многих лет, с раннего утра до шести-семи часов вечера, Павел Яковлевич был добровольным плечником в своем доме на Михайловской площади, отдавая себя в полное распоряжение случайных посетителей и добрых знакомых. К нему приходили ученые, литераторы, художники, актеры, монахи, военные, путешественники, министры, иностранцы, юноши и старцы—для всех он был неизменно дома, всех выслушивал со вниманием, давая драгоценные указания и советы.

О значении дашковской коллекции говорить и другой наш историк, Е. С. Шумигорский, утверждая, что «в области новой и новейшей русской истории хранилище П. Я. Дашкова, по богатству и рѣдкости заключающегося в нем материала, можно сопоставить с важнейшими государственными архивами, но в то же время оно заключает в себя исторические документы, которые, конечно, по исключительной своей важности, ни в одном из таких архивов находиться не могут. Достаточно сказать для характеристики коллекции Дашкова, что в нее попали в значительной части частные архивы и семейные бумаги многих литературных, общественных и государственных деятелей новой России». В последнее десятилетие Павел Яковлевич уклонился от приобретения семейных архивов и писем частных лиц, так как, по его словам, такая приобретения часто влекут за собою для него неприятности со стороны живых людей, так или иначе заинтересованных и задѣтых этими архивами и письмами. Поэтому он сосредоточился по преимуществу на таких покупках, которые относились только к лицам и учреждениям государственным и общественным.

Цѣнность коллекций Дашкова, громадных по своему объему и содержанию, с его кончиною раскрываешь, однако, и свою слабую сторону. Нужно замѣтить, что он работал, не покладая рук, на поприще коллекционирования свыше сорока лет, исключительно в единственном числѣ, не имѣя при себѣ ни какой-нибудь организованной канцелярии, ни помощника, ни секретаря. Он был живым началом, концом и духом всего дела и все его хранил в лаборатории своей громадной памяти. Попытки приурочить к делу секретаря или помощника, повидимому, не оказались благополучными, и намъ извѣстенъ въ этомъ отношеніи одинъ случай, причинившій меценату-коллекционеру немало огорченій. Такимъ образомъ, Дашковъ исключительно собственными руками создавалъ свое громадное дѣло,

и въ виду отчасти того, что оно представляло собою вѣчно движущійся круговоротъ очень снорока темпа, онъ физически не былъ въ состояніи придать этому дѣлу внѣшній порядокъ и систему. Коллекціи его не регистрировались и не каталогизировались, и порою самъ ихъ владѣлецъ становился втупичъ, гдѣ что найти и гдѣ что обрѣтается. Требовалось время на поиски, на которые уходили дни, недѣли и мѣсяцы, ибо нужно замѣтить, что его архивное имущество было разбито на двѣ части: одна хранилась въ его имѣніи «Надѣль» на границѣ Петербургской и Новгородской губерній, гдѣ онъ проводилъ каждое лѣто и часть осени, а другая въ квартирѣ собственнаго дома на Михайловской площади. Главная масса сосредоточена была въ деревнѣ, гдѣ въ подвалахъ, приспособленныхъ специально для того и хорошо организованныхъ въ противоположномъ отношеніи, она и покоилась. Добыть нужное иногда представлялось невозможнымъ до поѣздки въ деревню и возвращенія оттуда къ осени. Поэтому и полученіе просителями тѣхъ или иныхъ материаловъ отъ Павла Яковлевича сопровождалось иногда довольно-таки труднымъ процессомъ, особенно принимая во вниманіе ту поистинѣ толчею людей, которую представлялъ его кабинетъ съ раннего утра. Приходилось за однимъ дѣломъ ходить по нѣскольку разъ, и счастье было изловить его въ одиночествѣ утромъ, еще не оумоленного поисками, бесѣдами, справками и спорами, отъ которыхъ и молодой человѣкъ могъ бы прийти въ полное изнеможеніе. А Павелъ Яковлевичъ не терялъ ни охоты, ни силъ на пріемы посетителей, благодаря чему, по свидѣтельству г. Шумигорскаго, «домъ Павла Яковлевича, съ утра и до вечера открытый для лицъ, изучавшихъ русскую старину во всехъ ея отрасляхъ, былъ единственнымъ въ Петербургѣ центромъ, куда стекались все новости по излюбленному имъ дѣлу, гдѣ находились все выдающіеся, большіе и малые, ученые труды по русской исторіи, и гдѣ вопросы русской исторической науки дебатировались въ горячихъ и страстныхъ бесѣдахъ между хозяиномъ дома и его гостями, принадлежавшими къ самымъ разнообразнымъ научнымъ и общественнымъ толкамъ. Бесѣды эти стоили академическихъ курсовъ, въ особенности для начинавшихъ свою ученую карьеру, и даже превосходили ихъ, когда хозяинъ раскрывалъ предъ слушателями содержаніе многихъ хранившихся у него рукописей, которыя по разнымъ причинамъ не могли еще сдѣлаться достояніемъ печати.

Такая постановка дѣла собиранія коллекцій повела въ результатъ къ тому, что, по свидѣтельству военнаго писателя В. Жерве («Русскій Инвалидъ» 1910 г., № 31), «Павелъ Яковлевичъ оставилъ глубокой и свѣтлой слѣдъ въ исторіи культурной жизни Россіи послѣдняго времени. Сколько художественныхъ, историческихъ и научно-литературныхъ изданій украсились рисунками изъ его рѣдчайшей коллекціи, сколько цѣннаго матеріала включено въ нихъ изъ той же сокровищницы!..

«Русская книга, въ смыслъ изданія, сдѣлала большой успѣхъ на нашихъ глазахъ. Шлагу впередъ и исторія войсковыхъ частей. Многія изъ нихъ вышли въ свѣтъ художественными, даже роскошными изданіями, и лучшія изъ нихъ на страницахъ предисловія говорятъ объ особой признательности авторовъ и составителей къ П. Я. Дашкову за широкое содѣйствіе, оказанное имъ въ ихъ трудахъ. Просматривая листы этихъ изданій, читаемъ неизмѣнные слова: «Изъ собранія П. Я. Дашкова», такъ много говорящаго сердцу истиннаго любителя и цѣнителя русской старины.

«Въ военной иконографіи Павелъ Яковлевичъ былъ тѣмъ же тонкимъ знатокомъ, какъ и въ прочихъ областяхъ родного искусства. Онъ удивительно умѣлъ подбирать необходимый матеріалъ по самымъ разнообразнымъ сторонамъ военной иллюстраціи: сюжеты батальные, бытовые, портреты дѣятелей, виды мѣстностей, карикатуры, русскій и заграничный матеріалъ—все это было знакомо ему до мелочей и охотно отдавалось въ распоряженіе тѣхъ, кто обращался къ нему».

Да, именно для военной исторіографіи и иконографіи заслуги П. Я. Дашкова громадны. Онъ, можно сказать, почти поставилъ эти отрасли званія на твердую ногу и, кажется, трудно будетъ назвать одинъ трудъ изъ этой категоріи, трудъ совершенный и выдающійся, который вышелъ бы безъ его содѣйствія и ближайшаго участія. Умилительно было наблюдать, какъ этотъ пожилой и усталый человѣкъ порою возился съ какимъ-нибудь молоденькимъ офицеромъ, откомандированнымъ своею частью для составленія исторіи полка, для работы надъ такимъ трудомъ, создать который у него не было ни научной подготовки, ни знаній, ни технической споровки. И вотъ тутъ-то нашъ коллекционеръ проявлялъ во всю широту свою любовь къ отечественному просвѣщенію, воспитывая въ лившемся къ нему на поклонъ представителяхъ военной среды историка. Текстъ, иллюстраціи, шрифтъ, бумага, форматъ, обертка—все обсуждалось Дашковымъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, съ указаніемъ, куда и къ кому обратиться, гдѣ что искать и получить и какъ все сдѣлать. Онъ входилъ въ разсмотрѣніе и обсужденіе далеко не одной внѣшней стороны и техники выполненія, но вникалъ въ дѣло по существу вопроса и часто получалъ, наводилъ будущаго автора работы, объясняя ему и освѣщая передъ нимъ разные моменты изъ событій, входившихъ въ содержаніе изложенія. Нужно было удивляться тутъ проявленію богатства его памяти, широтѣ обнаруживаемыхъ свѣдѣній и оригинальности и мѣткости сужденій, нужно было удивляться, когда при такомъ образѣ жизни, который онъ велъ, онъ успѣвалъ записать этими всѣми свѣдѣніями и расположить ихъ въ своемъ знаніи въ такомъ порядкѣ и системѣ! Такими образомъ, при его непосредственномъ участіи были составлены и изданы исторіи полковъ: Кавалергардскаго, Лейбъ-Гренадерскаго, Вя Величества Уланскаго, Его Величества Кирасирскаго, Гвардейскаго флотскаго экипажа и т. д. и т. д.

Но не одна военная исторіографія состояла въ обязательныхъ отношеніяхъ къ Павлу Яковлевичу. Длинный рядъ и многихъ гражданскихъ изданій тѣсно связанъ съ его именемъ: иллюстрированные труды Н. К. Шильдера—исторіи царствованій Павла I, Александра I, Николая I, «Старая Москва» и «Старый Петербургъ» Пылиева, «Русская портретная галерея», изданная А. С. Суворинимъ, его же изданіе «Записокъ иностранцевъ о Россіи», работы Вожежинова, Кутепова, всѣ юбилейныя исторіи нашихъ министерствъ и государственныхъ учрежденій, выпущенныя въ послѣднее время, и т. д., и т. д.—всѣ эти историческіе памятники нашей жизни стали общественнымъ достояніемъ публики въ томъ видѣ, какъ она ихъ получила на книжномъ рынкѣ, только благодаря Дашкову. Редакціи «Древней и Новой Россіи», «Историческаго Вѣстника» имѣли въ его лицѣ многолѣтняго и испытаннаго друга, и даже редакціи «Вѣлого» и «Минувшихъ Годовъ» немало пользовались для своей иконографіи сокровищами Павла Яковлевича. Академическое изданіе Кольцова, доставившее нашему высшему просвѣщенію учрежденію такую признательность населенія, могло быть осуществлено только при его содѣйствіи, ибо много новаго изъ произведеній нашего народнаго поэта, что вошло въ это изданіе, было получено академіей именно отъ Дашкова.

Трудно, да, пожалуй, и невозможно перечислить все то въ русской исторической наукѣ и литературѣ, относящееся къ послѣдней четверти вѣка, къ чему не приложилъ онъ такъ или иначе свою руку. Слѣдовъ его причастности здѣсь осталось налицо немного, развѣ только лаконическая подпись подъ иллюстраціей: «изъ собранія П. Я. Дашкова», или лаконическая благодарность ему автора въ ряду прочихъ признательностей, и только. Отъ всякаго показана на видѣ Дашковъ усиленно уклонялся, предпочитая оставаться всегда скромно въ сторонѣ или тѣни. Въ этомъ сказывалось особенное свойство его характера, нѣсколько застычиваго, убѣгающаго широкой общественности и предпочитающаго ту атмосферу домашней интимности, гдѣ онъ являлся истиннымъ вдохновителемъ окружающей среды, ея душою и создателемъ.

Со смертію Дашкова имъ созданная «милая старина» на Михайловской площади кончила свое бытіе. Остались только дорогія и неизгладимыя о ней воспоминанія, отъ которыхъ вѣсть точно грустью и прелестью былого. Выпалъ центръ изъ опредѣленнаго угла жизни и нѣтъ къ нему болѣе возврата. Когда я покидалъ кладбище Новодевичьяго монастыря, гдѣ въ фамильномъ склепѣ опустили бранные останки Павла Яковлевича, гдѣ надъ ними раздались послѣдніе звуки гѣсонпѣнія «вѣчная память», мнѣ вспомнились стихи поэта, завѣщавшаго о дорогихъ покойникахъ—«не говорить съ тоской: ихъ нѣтъ, а съ благодарностію—были». Но тоску о быломъ трудно вырвать изъ сердца, хотя, конечно, рядомъ съ нею навсегда останется «бла-

годарность» кь этому хорошему человѣку, нѣкоторымъ приближеніемъ къ которому и мнѣ приходилось пользоваться. И хочется, отъ полноты души хочется, чтобы эта благодарность кь его памяти не только сохранилась въ сердцахъ тѣхъ, кто его близко зналъ, но и у всей Россіи, для которой онъ такъ много поработалъ. А это возможно будетъ, если вопросъ о его архивномъ наслѣдіи будетъ правильно рѣшенъ. Желательно, чтобы наслѣдіе Дашкова, какъ опредѣленное накопленное духовное богатство, какъ идея служенія пользѣ русскаго просвѣщенія, продолжало ту свою служебную роль, на созданіе которой было потрачено столько лѣтъ жизни. Сокровища Дашкова должны быть самымъ тщательнымъ образомъ обережены и обращены въ національное достояніе. Какъ это сдѣлать, въ виду наслѣдственныхъ правъ его родни, трудно подсказать. Пусть тѣ общества, гдѣ Павелъ Яковлевичъ состоялъ членомъ, какъ, напримѣръ, императорское историческое, военно-историческое, лицейское и др., подумаютъ объ этомъ и сдѣлаютъ это предметомъ своихъ собраній и сужденій. Мы не сомнѣваемся, что наслѣдники Павла Яковлевича охотно пойдутъ навстрѣчу разумнымъ желаніямъ по сему предмету и сдѣлаютъ все зависящее отъ нихъ, чтобы имя представителя ихъ рода никогда не изгладилось изъ памяти поколѣній. Когда самого Дашкова близкіе запрашивали о будущности его архивныхъ богатствъ, онъ скромно заявлялъ, что онъ свое жизненное дѣло сдѣлалъ, а будущее—во власти его наслѣдниковъ. За ними теперь эта власть и слово, а всѣмъ тѣмъ, кто любилъ Павла Яковлевича, кому дорога его славная память, кому онъ при жизни былъ помощью и поддержкою, остается тѣсно сомкнуться хотя бы въ кружокъ или общество имени Павла Яковлевича Дашкова», чтобы облегчить родственникамъ покойнаго мецената-коллекціонера наиболѣе цѣлесообразное использование его богатаго наслѣдія.

Въ томъ же духѣ высказались и нѣкоторые другіе авторы, писавшіе о Павлѣ Яковлевичѣ. Будемъ же надѣяться, что нашъ коллективный литературный голосъ не останется голосомъ празднымъ, а сдѣлаетъ свое дѣло. Пусть такимъ способомъ имя Павла Яковлевича Дашкова будетъ увѣковѣчено, и тропа кь его богатому хранилищу рукописей и портретовъ не зарастетъ забвеніемъ неблагодарныхъ современниковъ и грядущихъ поколѣній¹⁾.

Скончался Павелъ Яковлевичъ ночью 1910 г. скоропостижно. Похороненъ въ семейномъ склепѣ на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря.

¹⁾ Кажется, однако, что этотъ нашъ коллективный голосъ не услышанъ. Прошло четыре года съ половиною, какъ скончался Павелъ Яковлевичъ, и ничего не слышно о разрѣшеніи вопроса о его наслѣдствѣ въ указанномъ выше направлении. Б. Г.

Н. А. ЛЕЙКИНЪ.

Кончина Н. А. Лейкина, послѣдовавшая 6-го января 1906 г., была грустнымъ сюрпризомъ, поднесеннымъ русскому обществу новымъ годомъ. Еще въ началѣ декабря 1905 г. онъ лично бывалъ въ редакціи «Историческаго Вѣстника», принесъ сюда первыя главы своихъ интересныхъ «Воспоминаній»¹⁾, условился о дальнѣйшемъ ихъ печатаніи и срокахъ доставленія рукописи и, хотя жаловался на недомоганіе въ ногѣ, но ничто, повидимому, не обличало, чтобы недугъ этотъ былъ настолько серьезенъ и угрожающъ, что можно было думать о послѣдней редакціонной встрѣчѣ съ «новымъ сотрудникомъ». Но вотъ рождественскія газеты принесли извѣстіе, что Лейкинъ боленъ, поѣхалъ въ платное отдѣленіе Маріинской больницы, гдѣ ему сдѣлана операція ноги съ разрывомъ образовавшихся нарывовъ, что положеніе его серьезно, но не внушающее, однако, особенныхъ опасеній. По наступленіи новаго года, когда выяснилась уже необходимость приступить къ набору тѣхъ листовъ, гдѣ должны были печататься воспоминанія Николая Александровича, я, по просьбѣ С. Н. Шубинскаго, отправился лично навѣстить больного, выяснитъ вопросъ о рукописи, получить ее, если возможно, и выразитъ ему соболѣзнованіе по случаю постигшей его болѣзни. Больному было настолько лучше, что онъ могъ принять меня, вручилъ вполнѣ готовую рукопись на двѣ книжки и побесѣдовалъ съ мною нѣсколько минутъ. Было очевидно, что старый журналистъ переноситъ тяжелый кризисъ; онъ жаловался на постоянныя боли во всей области тѣла, гдѣ была произведена операція, поминутно закрывалъ глаза и подъ конецъ бесѣды, съ еще не потухшей папироской въ рукѣ, слабымъ голосомъ промолвилъ, обращаясь къ окружающимъ:

¹⁾ Эти воспоминанія и были потомъ въ слѣдующемъ году напечатаны на страницахъ журнала.

— Не утомляйте меня!

Хрипѣе слышалось въ его горлѣ, грудь высоко поднималась, и какіе-то зловѣщіе переливы точно перекачивались въ этой больной, изнеможенной страданиями груди. Было ясно, что въ комнатѣ, на глазах неотлучно пребывающей при мужѣ жены совершается большая жизненная драма, печальный конец которой неизбеженъ. Не прошло и двухъ дней, какъ траурный анонсъ въ газетахъ оповѣстилъ: 6-го января Николая Александровича Лейкина не стало...

Въ 1860 г. Лейкинъ впервые дебютировалъ на литературномъ поприщѣ стихотвореніемъ «Кольцо», нашедшимъ себѣ снисходительный пріютъ на столбцахъ «Русскаго Мира», издававшихся Стелловскимъ и редактированного тоже нынѣ покойнымъ Героглифовымъ. Стихотвореніе это не обнаруживало въ молодомъ литераторѣ поэтического творчества и являлось своего рода отзвучкомъ уже отошедшей тогда въ вѣчность романтической и sentimentalной школы. Стихотвореніе было довольно длинное, и вотъ его начало и конецъ:

Любилъ онъ страстно Зину,
Взаимно былъ любимъ;
Еще не бывъ студентомъ,
Ходилъ Владимиръ къ нимъ.

Окончивъ курсъ ученья,
Онъ мѣсто получилъ,
И рося поумолчимъ
Влюбленныхъ разлучилъ.

Онъ вънутрь Россіи ѣхалъ
Отъ милой долженъ былъ,
Но день насталъ отъѣзда,
Разлуки часъ пробить.

Онъ плакалъ при прощаньи...
— «Тебѣ буду вѣренъ», —
При поцѣлѣхъ страстнымъ
Промолвила она.

— «И вотъ тебѣ на память
«Колечко отъ меня,
«Храни его и помни,
«Что я павѣкъ твою»...

Владимиръ уѣзжаетъ, а молодая дѣвушка, по желанію матери, выходитъ замужъ за богатаго старика, и, хотя иногда и вспоминаетъ свою первую лю-

бовъ, но, повидимому, проводить свою жизнь довольно благополучно. Иначе сложились обстоятельства ея бывшаго жениха. Онъ остался ей вѣренъ, заболѣлъ одинокимъ и скончался на рукахъ сидѣлки при слѣдующей обстановкѣ:

Откинувъ одѣяло,
Больной вдругъ простоналъ,
Костлявою рукою
Кольцо къ лицу поднялъ.

Онъ жадными губами
Его поцѣловалъ,
Но вдругъ рука упала,
И недвижимъ онъ сталъ...

«Отходитъ», — прошептала
Сидѣлка, вставъ, крестясь,
И на колѣни пала,
За упокой молясь.

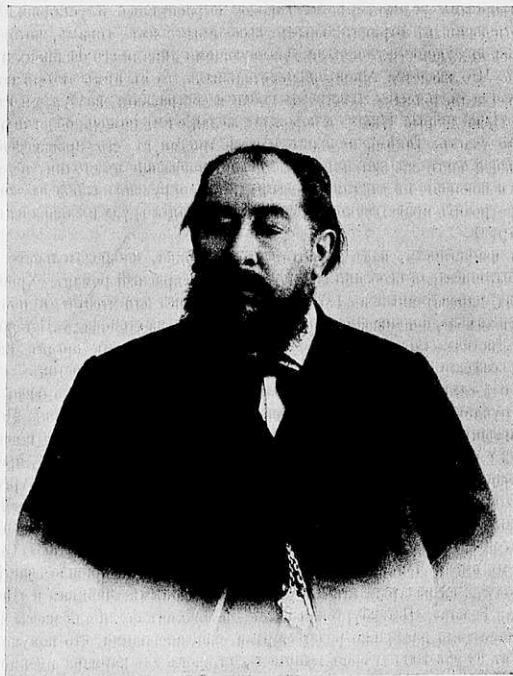
Въ такомъ sentimentalномъ духѣ выступилъ на литературномъ поприщѣ молодой приказчикъ изъ Гостинаго двора, но, конечно, не этотъ родъ литературы былъ его призваніемъ, и вторичныхъ попытокъ въ этомъ направленіи мы въ его литературномъ формулярѣ уже болѣе не встрѣчаемъ. Онъ, подъ влияніемъ потребности личнаго оригинальнаго творчества и въ связи съ общимъ реалистическимъ потокомъ тогдашней «молодой» литературы, скоро именно становится, какъ рѣдко кто, яркимъ выразителемъ этой реалистической литературы, приведя сюда съ собою цѣлый новый міръ людей, съ ихъ оригинальнымъ бытомъ, своеобразною рѣчью, вкусами, політиками и наклонностями. «Купца» въ нашей литературѣ создалъ, конечно, Островскій, но это былъ купецъ особый, замоскворѣцкій, оптовикъ, что называется, со всѣмъ его темнымъ царствомъ, отражавшимъ въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, всю дореформенную темную Россію. Купецъ, введенный въ литературу Лейкинымъ, былъ купецъ особой складки, стоящій на порогѣ старой и новой жизни, лнущій скорѣе къ послѣдней, старающійся къ ней примѣниться и порою, даже слишкомъ часто, гоняющійся за всѣмъ тѣмъ внѣшнимъ и мишурнымъ, что послѣдняя въ себѣ содержитъ и что отражаетъ. Выбѣтъ съ этимъ «купчикомъ» новѣйшаго гостинодворскаго и апраксинскаго покроя и складки Лейкинъ привелъ и толпу приказчиковъ, тѣхъ малыхъ, стоящихъ за стойкой, которые находятся въ рабской зависимости отъ хозяина и его домохозяевъ, тянутся за хозяевами, подражаютъ имъ и съ особеннымъ наслажденіемъ вдыхаютъ въ себя нездоровую атмосферу столичной культуры. Выбѣтъ съ ними за авторомъ потянулись и ремесленники, мелкій торговый

и промышленный людъ съ ихъ чадами и домочадцами, являющимися уже болѣе низкими слоями общества, гдѣ царитъ сплошь поголовная «сѣрость», и гдѣ каждый день есть день борьбы за существованіе. Весь рабочій людъ, уже акклиматизировавшійся въ столицѣ или пришедшій «на заработки» въ Петербургъ, шумной толпой также послѣдовалъ за оригинальнымъ авторомъ, и вся эта масса, деревенская, полудеревенская и столичная, коренная, обывательская, сдѣлалась на протяженіи слишкомъ сорока лѣтъ тою живою громадою, которую Лейкинъ изо дня въ день ставъ въ разныхъ положеніяхъ, разныхъ пестрыхъ группахъ и при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ житейскаго обихода показывать и обрисовывать изумленному, весело улыбающемуся читателю. Онъ ставъ своего рода патрономъ этой массы, добродушно ее поучая, отмѣчая ея недостатки и изобличая въ ней все то смѣшное, комическое, что наложили на нее мудренныя условія русской культуры, гдѣ истинная цивилизація переплелась съ невѣжествомъ и въ результатѣ создала нѣчто оригинально-русское съ его смѣшнымъ «жеманствомъ», заклѣпленнымъ въ русской жизни нашимъ гениальнымъ поэтомъ.

Начавъ съ поэтическаго опыта пера, Лейкинъ вскорѣ сосредоточился на прозѣ и, будучи хорошимъ знатокомъ Петербурга, ставъ знакомить читающую публику съ разными профессиональными представителями столичнаго населенія. Къ числу таковыхъ очерковъ долженъ быть отнесенъ очеркъ «Гробовщики», напечатанный въ 1861 г. въ «Петербургскомъ Вѣстникѣ» Льва Камбека, а также очеркъ «Неожиданная карьера», помѣщенный въ популярной тогда «Сѣверной Пчелѣ»; оба вещи написаны подъ вліяніемъ повѣстей Гребенки. Велѣдъ за симъ его произведенія появляются въ «Русскомъ Мирѣ» Героглифова, «Иллюстрированномъ Листкѣ» В. Зотова, въ «Занозѣ» поэта Розенгейма и, наконецъ, въ столь вліятельной тогда «Искрѣ» редакціи В. Курочкина. Его литературнымъ крестнымъ отцомъ, его руководителемъ по редакціямъ былъ покойный поэтъ Ивановъ-Классикъ, вышедшій также изъ купеческой среды. Знакомство съ братьями Курочкиными и прочими сотрудниками передовой тогда «Искры» имѣло сильное вліяніе на Лейкина и сыграло въ его жизни рѣшающую роль. Подъ вліяніемъ Н. С. Курочкина, по указаніямъ и совѣту его, онъ принялся за самообразование, за пополненіе своихъ прорухъ въ этой области и впервые ознакомился съ тѣми писателями, западно-европейскими преимущественно, которые являлись своего рода вождями тогдашняго передового общества и радикальной молодежи—съ Дж. Ст. Миллемъ, Гербертомъ Спенсеромъ, Воклемъ, Моле-шотомъ, Литтрѣ и др.

Литературный навыкъ, пріобрѣтенный работою надъ небольшими очерками, вдумчивое отношеніе къ окружающимъ социальнымъ условіямъ родной среды, яркое природное дарованіе, укрѣпленное саморазвитіемъ, позволяютъ Николаю Александровичу уже въ 1863 г. выступить въ толстомъ

сжемѣсячномъ журналѣ съ болѣе или менѣ крупными беллетристическими произведеніями, которыя создаютъ ему видное мѣсто въ литературѣ и громкое имя талантливаго бытописателя тогдашней столичной дѣйствительности.



Николай Александровичъ Лейкинъ.

Въ 1863 г. онъ помѣщаетъ на страницахъ «Библіотеки для чтенія» П. Д. Бобыркина серію очерковъ «Апраксинцы», а въ 1864 г. въ «Современникѣ» Некрасова—«Виржевыя артелишки». Этими двумя крупными литературными работами Лейкинъ вполне завоевалъ себѣ положеніе въ журналистикѣ

съ определенным ампула—изобличителя темных сторонъ жизни нашего столичнаго кучества, изобличителя не въ цѣлыхъ возбужденіяхъ въ читателѣ противъ описываемой среды чувства гнѣва и негодованія, а въ интересахъ выставленія этихъ сторонъ напоказъ въ ихъ комическомъ освѣщеніи и подѣ смѣхотворнымъ угломъ зрѣнія. Такое выработалось и установилось у него отношеніе къ отрицательнымъ выводимымъ имъ типамъ, которые и являлись въ сущности главными дѣйствующими лицами его очерковъ и рассказовъ. Что касается типовъ положительныхъ, то къ нимъ авторъ подходитъ всегда съ теплымъ чувствомъ любви и состраданія, возбуждая въ читателѣ тѣ же добрыя чувства и порождая желаніе имъ помочь, облегчить ихъ горькую участь. Такими положительными типами въ его произведеніяхъ по большей части являются простые люди, прибывшіе въ столицу на заработокъ и попавшіе въ тяжкія условія, гдѣ ихъ окружаетъ соблазнъ жизни, гдѣ имъ грозитъ нравственное паденіе, эксплуатація труда и закабаленіе въ этомъ трудѣ.

Его извѣстности, какъ талантливаго сатирика, наблюдательнаго реалиста-бытописателя особенно содѣйствовали прекрасный романъ «Христовъ невѣста», напечатанный въ 1871 г. въ «Библіотекѣ для чтенія», и повѣсть «Кусокъ хлѣба», появившаяся за годъ передъ тѣмъ на столбахъ «Петербургскаго Листка». Сотрудничество Лейкина въ послѣднемъ органѣ нашей прессы создало ему выдающийся успѣхъ, и вскорѣ «Листокъ» сталъ одною изъ самыхъ популярныхъ столичныхъ газетъ, читаемыхъ очень широко публикою изъ средняго и низшаго обывательскихъ классовъ. Но хозяинъ изданія не сумѣлъ оцѣнить своего талантливаго сотрудника, и вскорѣ (въ 1872 г.) Николай Александровичъ распростился съ «Листкомъ», предложивъ свои услуги молодой тогда, но имѣвшей мало успѣха «Петербургской Газетѣ» С. Н. Худекова. Лейкинъ принесъ въ газету г. Худекова свой разительный смѣхъ, свой веселый юморъ, свой неизсякаемый и неослабный трудъ и вмѣстѣ съ тѣмъ явился для него и своего рода «маскоттою». Съ появленіемъ имени Лейкина на столбахъ «Газеты» къ ней пришло счастье, и благополучіе ея издателя отнынѣ стало обеспеченнымъ. Лейкинъ и «Петербургская Газета», «Петербургская Газета» и Лейкинъ стали для массы читателей понятіями настолько родственными, однозначными, что покупатель газеты въ 99 изъ 100 случаевъ вынималъ пятачокъ изъ кармана именно для прочтенія сценки или рассказа автора «Неунывающихъ росіяня», «Нашихъ за границей», «Шутовъ гороховыхъ» и прочихъ безчисленныхъ его произведеній.

Почти 33 года сотрудничалъ Лейкинъ въ «Петербургской Газетѣ», и рѣдкій ея № выходилъ безъ его участія. Можно только удивляться той необыкновенной плодовитости, усидчивости и работоспособности, которую проявлялъ покойный писатель, какъ газетный работникъ по отдѣлу беллетристики.

Не считая десятка пьесъ, которая въ свое время съ успѣхомъ шли на сценѣ императорскихъ театровъ, имъ написано безъ малого до 10.000 очерковъ и рассказовъ, которые, собранные притомъ далеко не всѣ, составили сорокъ отдѣльных томовъ. Многія изъ вышедшихъ отдѣльно его произведеній требовали все новыхъ повторныхъ изданій, и можно считать безъ преувеличенія, что по количеству потребителей Лейкинъ на нашемъ книжномъ рынкѣ, какъ авторъ популярныхъ повѣстей, всегда стоялъ однимъ изъ первыхъ до самыхъ послѣднихъ дней его жизни. Особенною популярностью пользовались тѣ его очерки, которые были посвящены описанію походовъ русскихъ за границу, путешествующей по Франціи, Италиі и Балканскому полуострову незабвенной отнынѣ купеческой супружеской четы, Николая Ивановича и Глафиры Семеновны. Идея сценки этой категоріи заключалась въ томъ, чтобы поставить полунинтеллигентную купеческую чету въ культурныя условія Западной Европы, посмотреть, что изъ такого сочетанія противоположныхъ началъ выйдетъ, какъ отнесется Европа къ прѣхавшимъ поздравлять на нее полуазіатамъ, и что послѣдніе постараются извлечь изъ міра античныхъ чудесъ и сокровищницъ культуры. Результаты дѣйствительно получились въ высшей степени комическіе, и русскій читатель съ начала до конца помираетъ отъ смѣха, часто, слышномъ даже часто, поневолѣ призывавъ въ дѣйствіяхъ и положеніяхъ и Николая Ивановича и Глафиры Семеновны частичку самого себя или, по крайней мѣрѣ, чего-то очень близкаго и родного.

Когда 13-го апрѣля 1900 г. происходило чествованіе сорокалѣтняго литературнаго юбилея Лейкина, то редакція руководимаго имъ съ 1880 г. юмористическаго журнала «Осколки» поступила очень остроумно, поднеся юбиляру привѣтственный адресъ именно отъ «с.-петербургскаго купца Николая Ивановича съ супругою», какъ отъ наиболѣе популярнаго героя лейкинскихъ очерковъ, получившаго широкую извѣстность даже за предѣлами своего отечества¹⁾. Приводимъ этотъ адресъ, какъ любопытный своего рода историческій документъ:

«Парижъ 10 (22) апрѣля 1900 г.

«Многоуважаемый Николай Александровичъ!

«Я и супруга моя, Глафира Семеновна, низко вамъ кланяемся и душевно сожалѣемъ, что, уѣхавши въ Парижъ на выставку, не можемъ присутствовать на вашемъ юбилей и лично поблагодарить за извѣстность, которою мы пользуемся изъ-за того, что вы всѣ наши заграничныя путешествія въ ва-

¹⁾ Многія произведенія Н. А. Лейкина переведены на европейскіе языки, а въ томъ числѣ и тѣ, которые посвящены путешествіямъ по Европѣ купеческой четы.

ших книгах описали. Нынче и мы с Глафирой Семеновной тоже в нѣкоторомъ родѣ свой юбилей справляли, потому что первое наше путешествие было тоже въ Парижъ на выставку. Съ тѣхъ поръ мы приохотились по заграничнымъ Европамъ странствовать: и въ Италіи, и въ Испаніи, и въ Турціи, и у братьевъ-славянъ побывали. На всѣхъ заграничныхъ языкахъ, кромѣ швейцарскаго, такъ и жаримъ. Благодаря вамъ, Николай Александровичъ, насъ по всей заграничной Европѣ знаютъ, а путешествія наши на заграничные языки перевели, а самъ я до того обвѣропеился, что даже пересталъ и дома-то въ русскую православную баню ходить, а все ванны на заграничный манеръ принимаю. Истинно вы насъ, Николай Александровичъ, въ люди вывели, за что по гробъ жизни вамъ очень благодарны.

«Въ знакъ признательности примите отъ насъ, Николай Александровичъ, маленький подарокъ: наши бюстики. Не знаю толкомъ, сходственно ли вышло, такъ какъ мастеръ лѣпилъ заочно. Примите и скажите: «намъ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь». Вивъ ля Франсъ!

«С.-Петербургскій купецъ Николай Ивановъ съ супругой».

Какъ въ очеркахъ Лейкина, посвященныхъ пребыванію русскихъ купцовъ за границу, такъ и въ прочихъ его произведеніяхъ наша строгая критика и слишкомъ взыскательные читатели усматривали усиленный шаржъ, сплошную карикатуру и утрировку зубоскальства ради и ставили ему въ вину отсутствіе въ его произведеніяхъ «гражданской скорби» и политической тенденции. Но такая точка зрѣнія на писателя была величайшею несправедливостью, поклепомъ на него и стремленіемъ во что бы то ни стало навязывать писателю то, чего онъ не могъ дать, что было ненавистно его природѣ, его таланту. Лейкинъ изображалъ жизнь, какъ она есть, разсматривалъ преимущественно тѣ ея стороны, которыя были смѣшны. Да, это смѣшное онъ старательно разыскивалъ, выставлялъ на первое мѣсто, но вовсе не въ цѣль зубоскальства. Онъ избличалъ это смѣшное, считалъ его временнымъ, случайнымъ, но, какъ только было возможно, онъ отмѣчалъ и въ своемъ объектѣ насмѣшки и сатиры его основныя добрыя стороны; рядомъ съ ними онъ ставилъ свѣтлое и положительное, и по его вину, если окружающая жизнь слишкомъ мало давала въ его распоряженіе и этого положительнаго, и этого свѣтлаго. Такова же была судьба и всѣхъ остальныхъ нашихъ сатириковъ, начиная съ Фонвизина и кончая Щедринами. Когда Лейкину ставили упрекъ въ зубоскальствѣ, то всегда имѣли въ виду сатиру автора «Помехонской старини» и «Исторіи одного города», упуская изъ виду или нарочно не желая знать, что Салтыковъ стремился болѣе всего къ политической сатирѣ, былъ политическимъ писателемъ *par excellence*, преслѣдовалъ цѣли политической агитаціи. Такихъ задачъ Лейкинъ въ своей дѣятельности себѣ не ставилъ: онъ былъ у него болѣе узки и не такъ сложны—онъ, какъ говорится, пилъ

изъ своего стакана, но это былъ дѣйствительно его «собственный стаканъ». Данный ему Богомъ талантъ, конечно, былъ меньшаго калибра, нежели талантъ Гоголя или Салтыкова-Щедрина, но это былъ тоже даръ самообытнѣй, и онъ, по счастью, его не паслыовалъ, не настраивалъ искусственно по камертону, данному его старшими учителями. Пожалуй, начини онъ прислушиваться къ этому камертону, начини онъ подражать тѣмъ двумъ великимъ сатирикамъ, его литературное дарованіе, несомнѣнно, поклебо бы, лишилось бы самообытнѣй и обратилось въ пережевываніе чужого матеріала, чужихъ мыслей и идей. И слава Богу, что онъ не сталъ подражать, а создалъ собственную широкую дорогу, идя по которой, какъ писатель съ культурными задачами, а не политическими, принесъ огромную пользу, явился учителемъ жизни и навсегда останется въ памяти своихъ благодарныхъ читателей за тѣ славныя минуты веселаго, здороваго смѣха, которыми онъ ихъ такъ часто дарилъ и которыми порою разсѣивалъ ихъ невеселыя думы и настроенія. Лейкина упрекали также часто, что онъ создаетъ своего рода жаргонъ, вымышляетъ «словечки», которыя и являются въ сущности гвоздемъ его очерковъ. Не дѣйствіе здѣсь будто интересно, не положенія, занятія выведенными на сцену лицами, а тѣ именно специфическія словечки, которыми уснащена ихъ рѣчь, и которыя суть плодъ личнаго творчества автора очерковъ, его мудренаго изобрѣтенія, его литературной «выдумки». Не отвергая этого обвиненія—если только это слово здѣсь уместно!—въ извѣстной лишь части, напомнимъ, что одинъ изъ самыхъ блестящихъ представителей отечественной сатиры, котораго критики и считают лишь достойнымъ подражанія, именно Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ, въѣдъ тоже отводилъ въ своихъ произведеніяхъ немалое мѣсто именно этимъ «словечкамъ»; то же можно сказать и о Глѣбѣ Успенскомъ. Да, у сатириковъ «слово» играетъ и должно играть большую роль, а потому и Лейкинъ отводилъ ему должное мѣсто. Затѣмъ вспомнимъ, какую среду имѣлъ объектомъ творчества писатель и съ какой стороны онъ ее, по большей части, избличалъ: за ея стремленіе ридиться въ павлиньи перья, одѣваться въ чужое, напрокатъ и не по росту и сложению взятое европейское платье, за ея жеманство фальшивой цивилизаціи и исковерканную образованность. Это жеманничанье своею образованностью породило и коверканную рѣчь, и отсюда тѣ «словечки», которыми такъ обильно пересыпаны произведенія покойнаго писателя.

Г. Ясинскій въ своихъ воспоминаніяхъ о Лейкинѣ, напечатанныхъ въ «Виржевыхъ Вѣдомостяхъ» (1906 г. № 9160), свидѣтельствуетъ, какъ былъ правъ послѣдній, когда именно отвергалъ вымученность своихъ типовъ и выдуманность ихъ разговорной рѣчи, и когда онъ утверждалъ, что онъ ничего не сочиняетъ, а пишетъ съ натуры, обильно почерпая и краски, и кисти для своихъ портретовъ именно въ той средѣ, изображенію которой онъ себя посвятилъ. Побывавъ въ гостяхъ у Лейкина, повидавъ кое-кого изъ гостино-

дворских героев нашего писателя, поговорив с ними, г. Ясинский убедился, что Лейкинъ былъ правъ, а неправы его критики, и въ томъ числѣ и онъ самъ, носившій въ умѣ своемъ тѣ же подозрѣнія и сомнѣнія.

Создавъ популярный жанръ литературы, Лейкинъ привязалъ къ нему обширную аудиторию, которая, ища въ его произведеніяхъ занимательнаго чтенія, стала привыкать къ газетѣ, стала *читать*, развила въ себѣ потребность въ этомъ чтеніи и этимъ самымъ уже поднилась въ своихъ культурныхъ запросахъ, въ своихъ духовныхъ потребностяхъ. Когда писателю удастся достигнуть такихъ результатовъ, онъ можетъ считать свою просвѣтительную дѣятельность реально-плодотворною, достигшею опредѣленныхъ цѣлей, ради которыхъ подъяты были его труды. Кафедра Лейкина была не для избранныхъ умовъ, это была бойкая народная трибуна, съ которой живой талантъ ежедневно бесѣдовалъ съ широкой массою, нуждавшейся прежде всего въ привычкѣ слушать. Онъ приучилъ ее къ этому, благодаря тому дару, которымъ одарила его природа.

Покойный, будучи прежде всего литераторомъ прогрессивнаго направленія, которому оставался вѣренъ до конца своихъ дней, не обмолвившись на протяжении всей своей журнальной дѣятельности въ этомъ отношеніи ни однимъ фальшивымъ и сомнительнымъ словомъ, не оставался, однако, запертымъ въ тѣсныхъ стѣнахъ своего и редакціоннаго кабинетовъ. Почувствовавъ съ молодыхъ лѣтъ влеченіе къ театру, онъ, какъ это видно изъ его автобиографическихъ воспоминаній, и самъ принималъ активное участіе на сценическихъ подмосткахъ подъ фамиліей Водянова, появляясь, по большей части, на клубныхъ и любительскихъ спектакляхъ. Театральному же репертуару имъ было посвящено до десяти веселыхъ комедій и водевилей, изъ которыхъ нѣкоторые долго не сходили со сцены, напримѣръ, «Привыкать надо», «Медаль», «Кумъ пожарный» и др.

Литературная дѣятельность не препятствовала Николаю Александровичу отдавать свое время со свойственными ему энергіей, дѣловитостію и безкорыстіемъ и широкой общественной дѣятельности. Хорошій литературный заработокъ далъ въ его распоряженіе и хорошія матеріальныя средства. Онъ былъ человѣкомъ вполне обеспеченнымъ, а экономный образъ жизни и знаніе цѣны каждой заработанной копейки, которую онъ не любилъ пускать по вѣтру, позволяли ему рано обзавестись недвижимою собственностью и стать, благодаря этому, виднымъ представителемъ нашего общественнаго самоуправления.

Гласный думы въ теченіе многихъ трехлѣтій, онъ работалъ до самой смерти въ различныхъ городскихъ комиссіяхъ: училищной (съ 1894 г.), санитарной, въ которой зачастую замѣщалъ председателя, больницы, благотворительной, былъ окружнымъ санитарнымъ почителемъ Петербургской части, председателемъ благотворительнаго общества при Троиц-

комъ соборъ на Петербургской сторонѣ, членомъ совѣта русскаго театрального общества, почителемъ городского Петровскаго родильнаго пріюта, членомъ совѣта дома призрѣнія и ремесленнаго образованія бѣдныхъ дѣтей и хозяйственнаго комитета ремесленнаго училища Цесаревича Николая, председателемъ типографскаго кружка. И всѣ эти общественныя должности онъ исполнялъ не номинально, но влагалъ въ нихъ всю свою отзывчивую къ нуждамъ ближняго, любящую душу и зорко стоялъ на стражѣ общественныхъ интересовъ. Съ любовью занимался покойный Николай Александровичъ также садоводствомъ, огородничествомъ и плодоводствомъ, былъ членомъ общества, посвященнаго этой отрасли земледѣлія, и принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ выставокъ цвѣтовъ, плодовъ и овощей, въ качествахъ и распорядителя и экспонента. Кромѣ того, онъ былъ археологъ-любитель.

Въ концѣ 1905 года онъ принялъ горячее участіе въ осуществленіи мысли образовать союзъ сотрудничать «Петербургской Газетѣ», бывалъ на всѣхъ собраніяхъ товарищей и выразилъ согласіе принять на себя кропотливый трудъ казначея организуемой при «союзѣ» кассы, хотя, какъ вполне обеспеченный человѣкъ, не нуждался ни въ корпоративной поддержкѣ, ни въ матеріальной помощи. Имъ руководили лишь стимулы товарищескаго духа и единенія и желаніе путемъ своего участія оказать посильное содѣйствіе товарищамъ по труду.

Видные представители нашей думы высоко цѣнили просвѣтительную дѣятельность Н. А. Лейкина въ сферѣ заботъ о начальномъ народномъ образованіи, и вотъ что ему писалъ въ день его юбилея М. М. Стасюлевичъ:

«Дорогой Николай Александровичъ!

«Примите и мое поздравленіе съ счастливымъ завершеніемъ сорокалѣтня вашихъ неустанныхъ литературныхъ трудовъ. При этомъ присоединяюсь къ прочимъ привѣтствующимъ васъ тѣмъ болѣе, что вы въ послѣднее шестилѣтіе заботились не только о томъ, чтобы было что читать грамотнымъ, но и усердно помогали, чтобы когда-нибудь хоть въ столицѣ всѣ умѣли читать».

По вѣншему виду нѣсколько какъ будто угрюмый, хмурый и замкнутый въ себя, Лейкинъ былъ, однако, на самомъ дѣлѣ человѣкомъ мягкаго, отзывчиваго сердца; особенно любилъ онъ дѣтей (собственныхъ у него не было, а былъ только пріемный сынъ) и, какъ почитатель дѣтскихъ пріютовъ, поставилъ на ноги и пригрѣлъ не одно осиротѣвшее маленькое созданіе. Былъ онъ также человѣкомъ очень религіознымъ, горячо и искренно вѣрующимъ сыномъ церкви. Принявъ на себя съ 1880 года редактированіе сатирическаго журнала «Осколки», онъ искалъ литературные таланты, многихъ поддержалъ въ ихъ первыхъ шагахъ литературной дѣятельности, вывелъ,

как говорится, в литературу. Покойный Антонъ Чеховъ, напримѣръ, обязанъ былъ именно Лейкину, который первый прозрѣлъ этотъ выдающийся талантъ, выдвинулъ его и предсказалъ ему блестящую литературную будущность.

Несомнѣнно, у Лейкина, какъ и у всякаго виднаго общественнаго дѣятеля, были недруги, но друзей, знакомыхъ и невѣдомыхъ ему, были у него многія тысячи. Вотъ почему, когда столицу облетѣла вѣсть о его кончинѣ, она была встрѣчена весьма многими обывателями самыхъ разнообразныхъ классовъ и наслоеній съ чувствомъ неподдѣльной печали. На панихидахъ въ часовнѣ Марининской больницы пребывала масса народа, а самыя похороны отличались большою торжественностью и задумчивостью. Вотъ какъ описываютъ ихъ репортеръ «Петербургской Газеты» (1906 г., № 8), одинъ изъ младшихъ членовъ тѣсной журнальной семьи, гдѣ Лейкинъ былъ старѣйшимъ и почетнѣйшимъ.

Къ 9½ часахъ утра 8-го января въ часовню Марининской больницы собрались многіе гласные во главѣ съ городскимъ головой, сотрудники «Петербургской Газеты» съ редакторомъ Н. С. Худековымъ, многочисленные представители литературнаго міра, друзья, родные и почитатели таланта покойнаго. Къ этому же времени явились многочисленные депутаціи, пришедшія сказать послѣднее «прости» уважаемому писателю.

Депутація отъ ремесленнаго училища Цесаревича Николая во главѣ съ преподавателемъ Петровымъ; депутація отъ 4-го мужского городского училища во главѣ съ инспекторомъ Поповымъ и преподавателемъ Вокинымъ. Депутатъ отъ драматическихъ артистовъ Далматовъ возложилъ вѣнокъ отъ императорской русской драматической труппы. Депутація отъ причта собора св. Троицы на Петербургской сторонѣ во главѣ съ бывшимъ настоятелемъ протоіереемъ Орловымъ и старостой собора г. Сушиннымъ. Наконецъ, депутація отъ реформатскаго училища. Послѣ краткой литіи, отслуженной въ послѣдній разъ въ часовнѣ, гробъ съ бранными останками подняли гласные думы и сотрудники «Петербургской Газеты» и поставили на бѣлый катафалкъ, запряженный шестеркою бѣлыхъ лошадей.

У дома № 31 по Николаевской улицѣ, гдѣ помѣщаются редакціи журналовъ «Осколки» и «Шутъ», въ которыхъ работалъ покойный, траурное шествіе остановилось: здѣсь была совершена литія.

За гробомъ шла громадная толпа. Здѣсь были: городской голова Н. А. Рязцовъ, члены управы—В. А. Тройницкій, А. И. Вузовъ, гласные—С. Н. Тарасовъ, председатель училищной комиссіи Н. А. Потѣхинъ, Г. И. Дурнякинъ, г. Ждановъ, генералъ Коростовенъ, Э. Э. Веймаръ, П. А. Фокинъ, Н. А. Алексѣевъ, Савенковъ, И. О. Чугрѣвъ, В. С. Кривенко, І. Ф. Онопковичъ-Яцна, А. Г. Рѣдько, г. Зубаревъ и др. Изъ литераторовъ—г. Гибѣдичъ, Вудищевъ, Немировичъ-Данченко, Фофановъ, Баранцевичъ,

Баскинъ, Худековъ, Гейнце, Авенариусъ и многіе сотрудники газетъ и журналовъ.

Среди провожавшихъ были также ученики городскихъ училищъ и бывшіе воспитанники реформатскаго училища.

За толпой колесница, утопающая въ вѣнкахъ.

Всего возложено 21 вѣнокъ: отъ сиб. городского общественнаго управленія, отъ типографскаго музыкально-драматическаго кружка, председателю совѣта благотворительнаго общества при Троицкомъ соборѣ на Петербургской сторонѣ, «Н. А. Лейкину—комиссія по народному образованію», отъ императорскаго русскаго театральнаго общества, «дорогому товарищу—отъ союза сотрудниковъ «Петербургской Газеты», своему попечителю отъ учащихся и учащихся, отъ наборщиковъ «Петербургской Газеты», отъ причта ясли Троицкаго благотворительнаго общества, попечителю училища—IV мужское 4-классное городское училище, отъ Петровскаго родильнаго пріюта, «глубокоуважаемому Николаю Александровичу отъ с.-петербургской городской санитарной комиссіи», «Рыцарю смѣха Лейкину—«Пулеметь», «Лейкину—Худековымъ, отъ редакцій журналовъ «Шутъ», отъ любящихъ братьевъ, отъ племянниковъ, отъ бывшихъ воспитанниковъ реформатскаго училища, отъ императорской русской драматической труппы. Голике возложилъ букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ.

По прибытіи кортежа на кладбище въ кладбищенской церкви была отслужена заупокойная литургія.

Когда гробъ съ прахомъ незабвеннаго писателя опустили въ могилу, первымъ произнесъ надъ этою могилою прочувствованную рѣчь В. П. Далматовъ отъ лица сценическихъ дѣятелей и какъ другъ покойнаго. Ораторъ вспомнилъ, что Н. А. Лейкинъ самъ подвизался на сценѣ и всю свою жизнь сохранялъ связь съ ея дѣятелями, много поработалъ для урегулированія нормъ сценической профессіи. Человѣкъ чуткой, отзывчивой души, покойный всегда готовъ былъ прийти на помощь артисту въ трудныя минуты его жизни. Самъ испытывавъ въ началѣ своей литературной дѣятельности нужду, онъ понималъ жизненную обстановку людей свободныхъ профессій и никогда не отказывалъ ни въ соѣтѣ, ни въ поддержкѣ.

Перейдя затѣмъ къ личнымъ воспоминаніямъ о покойномъ, В. П. охарактеризовалъ его, какъ добраго человѣка, прекраснаго товарища и добраго друга.

Затѣмъ Н. Э. Гейнце прочелъ слѣдующее стихотвореніе:

Тѣмъ, бичующимъ, правдивымъ
Русскимъ юморомъ согрѣтъ,
Словомъ мощнымъ и красивымъ
Рисовалъ онъ много лѣтъ
Темныхъ пятенъ русской жизни

Безконечно длинный ряд...
Въ пробужденіи отчизны
И его есть цѣнный вкладъ!

И онъ умеръ, другъ народа,
Совершивши подвигъ свой,
Въ тотъ моментъ, когда свобода
Всходитъ дивною варей,
День пророка, превосходный,
Надъ родимою страной...
Спи, борецъ со тьмою народной,
Спи подъ легкой землей!

Последнимъ говорилъ председатель городской комиссіи по народному образованію Н. А. Потѣхинъ.

Онъ заявилъ, что говорить отъ лица тѣхъ, кто еще не умѣетъ говорить, отъ дѣтей городскихъ школъ, для которыхъ покойный много сдѣлалъ добраго. Ораторъ указалъ на плодотворную дѣятельность покойнаго, какъ гласнаго думы, такъ и члена училищной комиссіи, въ частности, заявивъ, что городское общественное управленіе не можетъ не цѣнить такихъ полезныхъ дѣятелей.

— Среди нихъ,—Н. А. указалъ на стоявшихъ вокругъ могилы учениковъ и ученицъ городскихъ школъ Петербургской стороны,—объ Н. А. Лейкинѣ сохранится навсегда свѣтлая память.

Похороненъ Н. А. на Литераторскихъ мосткахъ.

И. Л. ЛЕОНТЬЕВЪ-ЩЕГЛОВЪ и М. Н. АЛЬБОВЪ.

На протяженіи 1911 года наша литературная среда понесла рядъ тяжелыхъ утратъ, придающихъ въ глазахъ насъ, пишущихъ, этому періоду какой-то мрачный отпечатокъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что такого обилія смертей среди отечественныхъ писателей давно не наблюдалось. Начиная съ лѣта 1910 г., скончались: В. В. Туношенскій, Юл. Безродная, М. В. Крестовская, гр. Л. Н. Толстой, С. Н. Южаковъ, А. М. Скабичевскій, С. Н. Филипповъ, В. С. Лихачевъ, Д. А. Дриль, А. Н. Черманъ, Н. И. Позняковъ, М. М. Стасюлевичъ, К. М. Фофановъ, П. Ф. Якубовичъ, И. Л. Леонтьевъ-Щегловъ, М. Н. Альбовъ. Нельзя не признать, что для какого-нибудь годового срока такой литературный синодикъ слишкомъ обширенъ и наша журнальная нива подъ ударами смертоносной косы дѣйствительно жестоко пострадала. Въ приведенномъ спискѣ дѣятели, конечно, далеко не всѣ одинаковаго калибра и историческаго значенія: одно имя Льва Николаевича Толстого чего стоитъ! Но и прочіе имѣютъ за собою немало заслугъ передъ родиной и своимъ дарованіемъ немало потрудились для ея славы и просвѣщенія. Къ числу такихъ, несомнѣнно, должны быть отнесены и писатели, имена которыхъ лѣтомъ 1911 г. напомнили о себѣ русскому обществу, будучи помѣщенными на томъ мѣстѣ газетъ, гдѣ значатся только что отошедшіе въ вѣчность. На короткомъ промежуткѣ времени мы были оповѣщены о кончинахъ двухъ представителей нашей беллетристики: И. Л. Леонтьева (Щеглова) († 2 іюня) и М. Н. Альбова († 12 іюня), которые оба имѣли за собою довольно длинный путь писательства, заставляли насъ своими произведеніями волноваться, радоваться и печаловаться, о тяжкомъ состояніи здоровья которыхъ мы уже давно были освѣдомлены и кончины ихъ съ грустью и тревогою ожидали со дня на день. Оба они болѣе или менѣе одновременно выступили на путь литературнаго творчества, талантъ ихъ расцвѣлъ и сталъ общепризнанъ въ періодъ

восьмидесятых годов, в каковой период и наша критика отвела им надлежащее место в истории литературы, справедливо поставив в отношении силы таланта и общественного значения Альбова на более видное место. Действительно, дарования этих двух ныне сошедших с жизненного поприща деятелей литературы были не равны и по характеру их личного я, и их писательства: они были деятелями литературы довольно друг другу противоположными. Поскольку Альбов был человеком глубоко ушедшим в самого себя, типом скорее мрачным, трагическим, настолько Щеглов-Леонтьев представлял собою, особенно в начальный период своей литературной карьеры, человека жизнерадостного смеха, общительного, скользящего по поверхности жизни и подбирающего с этой поверхности все то смехотворное, что ему бросалось в глаза. Альбов—пловец тоски, сдыхающий сумрачных дней и подвальных помещений с их горем, нуждой, забитостью и тщетными порывами выйти из мрака к свету и вечно бунтующих против этих социальных и экономических условий, в которых их поставила суровая жизнь, не могущих свергнуть с себя этих оков и погибающих в круговорот своих порывов, своего маленького бунта. В иную позицию стал Щеглов: он со смехом направлял на окружающую его обстановку небольшое зеркальцо, которое постоянно держал в руках; «светлый зайчик» прыгал по предмету, весело освещал его своим блестящим отраженным солнечным светом, и вам, глядя на эту картинку, становилось как-то легко, весело на душе, и вы готовы были расщелывать и держащего в руках предательское зеркальцо писателя и пошмеляться над прыгающим веселым солнечным зайчиком и даже полюбить то лицо, которое весело хмурится из-за наведенного солнечного пятна. «Дачный муж», «теща», «старый гигиенист»,ковыляющий по Литейному проспекту, курортная публика—все это образы и типы, зарегистрированные нашим писателем и остающиеся навсегда в памяти лица, который их познал по указанию милфишного и симпатичного юмориста, друга и, пожалуй, ученика Чехова-Чехонте. Да, оба они, и мрачный Альбов, и юморист Леонтьев-Щеглов, дали нам под родственными их натуре углом зрения, в познании окружающей русской действительности, много разнообразия и надолго останутся для нас теми представителями отечественной литературы, с которыми у нас сохраняются связующие нити, добрыя воспоминания о хороших часах, проведенных в бесѣдах с ними.

В обстоятельном некрологе Леонтьева (Щеглов—его псевдоним), составленном известным библиографом Д. Языковым в «Московских Вѣдомостях» (№ 128), мы имѣем слѣдующія данныя о жизни и литературной деятельности скончавшагося писателя.

Покойный родился 6-го января 1866 года в Петербургѣ и по бѣдности родителей воспитывался у своего дѣда, барона В. К. Кюдта, до поступления во

второй кадетскій корпусъ, изъ котораго перешелъ въ Павловское военное училище. Произведенный въ офицеры (1874 г.), онъ началъ свою службу въ 13-й артиллерійской бригадѣ, стоявшей то въ Севастополѣ, то въ Вендерской крѣпости, то на Кавказѣ, гдѣ ему пришлось участвовать въ русско-турецкой войнѣ 1877—1878 гг. Среди служебной дѣятельности И. Л. началъ съ лѣта 1875 г. писать корреспонденціи въ «С.-Петербургскія Вѣдомости», а затѣмъ рассказы, изъ которыхъ одинъ, подъ названіемъ «Первое сраженіе»,



Иванъ Леонтьевичъ Леонтьевъ-Щегловъ.

напечатанный въ «Новомъ Обзорѣнн» (1881 г.), второй—«Поручикъ Пошплъовъ» въ «Вѣстникѣ Европы» (1881 г., кн. 4) и третій—«Неудачный герой»—въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1881 г., кн. 9), имѣвшие успѣхъ среди читателей, рѣшили его литературную судьбу: онъ вышелъ въ отставку (1883 г.) и въ теченіе тридцати лѣтъ работалъ надъ беллетристическими произведеніями и театральными пьесами.

Къ болѣ крупнымъ сочиненіямъ покойнаго относятся: романъ «Гордѣвъ узелъ» («Новь», 1886 г.), повѣсти: «Корделія» («Артистъ», 1889 г.), «Около истины» («Русскій Вѣстникъ», 1892 г.), «Убыль души» и неоконченный большой романъ «Милліонъ терзаний» («Русское Обзорѣнн», 1895—1896 гг.). Мелкія же произведенія, сначала напечатанныя въ журналахъ и газетахъ, составили особые сборники подъ разными названіями, какъ, напримеръ: «Дачный мужъ, его походженія, наблюденія и разочарованія»

(Спб. 1888 и 1896, два издания), причем заглавие это утвердило в обиход известный термин «дачный муж», — «Добродушные рассказы» (1901 г.), «Юмористические очерки» (1902 г.), «Жизнь вверх ногами» (1910 г.), «Смех жизни» (1911 г.); также и драматические произведения, а именно: «Мышеловка» (1889 г.), «В горах Кавказа» (1884 г.), «Мамаево нашествие» (1890 г.), «Чудак» (1891 г.), «Два семьи» (1892 г.), «Затерянный мудрец» и др. вышли отдельными собраниями под заголовками: «Веселый театр» (Спб. 1897 г.) и «Новые пьесы» (Спб. 1900 г.).

Интересуясь вообще театром и в частности — народными представлениями, И. Л. не раз выступал со своими горячими статьями о лучшей организации увеселений и зрелищ для простого народа. Эти «практические советы» он собрал в отдельные издания — «О народном театре» (М. 1895 г.), «Народный театр в очерках и картинках» (Спб. 1898 г.) и «В защиту народного театра. Замечки и впечатления» (Спб. 1903 г.).

Наконец нельзя не отметить ряда трудов И. Л., которые были посвящены «воспоминаниям» и «исследованиям» о замечательных русских деятелях. В 1891 г. он посетил Оптину пустынь и затем напечатал брошюру «Оптинский старец о. Амвросий» (М. 1892). Через два года долгое пребывание в Кронштадте и беседы с о. Иоанном Сергиевым вызвали из-под его пера известную книгу: «У отца Иоанна Кронштадтского», рассказ очевидца (М. 1894 г.) и статью «В защиту о. Иоанна» («Русское Обозрение», 1894 г., кн. 6), а недавно праздновавшие Пушкинский и Гоголевский юбилей побудили покойного собрать «Новое о Пушкине» (Спб. 1902 г.) и прежде неизвестные материалы о Гоголе, под названием «Подвижник слова» (Спб. 1909 г.).

Минуя ряд воспоминаний о покойном, остановимся здесь на двух его характеристиках, прекрасно сделанных двумя писателями, его близко знавшими, любившими, ценившими и в своих воспоминаниях о покойном повествовавшими нам характерные черты его личности и писательской физиономии. Нарисованные его портреты принадлежат перу И. И. Ясинского («Виржевий Вѣдом.», 1911 г., № 11357) и А. А. Измайлова («Виржевий Вѣдом.», 1911 г., № 12335). И Ясинский, вспоминая первые шаги на литературском поприще Щеглова в «Слов», где были приняты к печатанию первые его повести, говорить:

«Трудно описать радость Леонтьева, с какою он встретил известие о приеме его повести в журнал, считавшийся в то время вторым после «Отечественных Записок». Он как-то странно смеялся тонким истерическим смехом, и вечер, который мы провели вместе, сблизил нас надолго — на всю жизнь».

«Леонтьев-Щеглов вскоре был принят и в «Отечественных Записках» и сразу составил себе имя. Надо заметить, что первые повести его

значительно отличались от последующих его произведений: в них не было юмора или, вернее, комизма, к которому так тяготел покойный писатель. Прорывались искры этого комизма, но и в «Слов» и в «Отечественных Записках» искры эти были вытравлены в корректурах, так как он портил превосходное художественное впечатление, которое производили на читателя эти рассказы. Впоследствии Щеглов-Леонтьев все больше и больше стал склоняться в сторону комизма и, по видимому, смешивал комизм и юмор. Не даром любимым его писателем был Джером-Джером, тоже впадающий в юмор для юмора.

«Сделавшись частым гостем нашей редакции, Щеглов постоянно бывал и в журнале «Новое Обозрение», который в 1881 г. был основан, по инициативе князя А. И. Урусова, богатом Василиевским и который редактировала группа лиц, причастных к литературѣ, — Корочевский, Жуковский, М. А. Антонович и я.

«По вечерам жизнерадостный и истерически-веселый Щеглов приходил в редакцию, которая помещалась в деревянном домике в Эртелевом переулке, и старался развеселить угрюмого и большого Корочевского. Анекдоты, которые он рассказывал, были большею частью военные, юморские; он первый смеялся над ними. Корочевский страдал от тяжелой внутренней боли, хмурился и принимался убеждать юного гвардейца обратить серьезное внимание на свой талант и не разбиваться на мелочи.

«Что же мы надо делать, чтобы не потерять своей беллетристической действительности?» — спросил как-то раз Щеглов.

«А вот возьмите, — невозмутимо отвечал Корочевский, — и прочтите оба тома «Первобытной культуры» Тейлора да проштудуйте хорошенько «Антропологию» Топинара, а потом, может быть, уже и к Вастяну перейдете и, наконец, закончите Эмилем Зола.

«Оторопел гвардейский офицер. Но когда мы вышли из редакции и, пройдя Невский, завернули в ресторан «Медведь», Щеглов стал так долго и странно хохотать, держась за живот, что я испугался сначала.

«Так он, однако, ни Тейлора, ни Дарвина не прочитал и до Вастяна не дошел, а Зола никогда не мог переварить и справедливо предсказывал, что уже недалеко время, когда этого писателя объявят устаревшим». Относительно последнего периода жизни своего товарища по труду г. Ясинский рассказывает следующее:

«Хирьѣ Иванъ Леонтьевичъ. Иногда он дѣлалъ у себя литературные завтраки, на которыхъ подавалось что-нибудь изъ гоголевскихъ блюдъ (макароны по-гоголевски), и наиболѣе почетныхъ гостей, когда уже всѣ расходились, Иванъ Леонтьевичъ угощалъ особо виномъ изъ пушкинской рюмки. Онъ жилъ еще окруженный литературными призраками. Но съ каждымъ днемъ силы его убывали. «Убыль души» — статья, написанная имъ когда-то,

была на самом дѣлѣ его жалобой, признаніемъ, что духовныя силы покидаютъ его, какъ покидали его и тѣлесныя силы; онъ волновался при встрѣчѣ съ пріятелями, повторялъ одну и ту же фразу, двадцать разъ возвращался къ одной и той же темѣ, утомляя себя и собесѣдника.

«Физически сталъ онъ недомогать еще со временъ «перваго сраженія»; онъ надорвался, убитая на великолѣпномъ арабскомъ конѣ отъ турокъ, которые схватили было его; когда лошадь вмѣстѣ съ нимъ перескочила страшный ровъ, передъ которымъ остановились втулчикъ турецкіе наѣзники, что-то оборвалось внутри его, и этотъ надрывъ вѣчно беспокоилъ его.

«Незадолго до отъѣзда И. И. въ Кисловодскъ я посѣтилъ его; меня изумила перемѣна, происшедшая въ немъ. Онъ буквально сталъ скелетомъ, обтянутымъ кожей. Въ жарко натопленной комнатѣ сидѣлъ онъ; и когда въ сумракѣ вечера я бесѣдовалъ съ нимъ и взглядывался въ него, онъ мнѣ вдругъ показался совсѣмъ молодымъ, какимъ былъ тридцать лѣтъ назадъ. Только очень тихо говорилъ. Онъ сталъ вспоминать о нашей далекой юности, о покойномъ Коропчевскомъ и залился своимъ тоненькимъ, истерическимъ смѣхомъ.

«— Что такое?—спросилъ я.

«— А помните Тейлора, что совѣтовалъ мнѣ прочесть Коропчевскій, и еще кого-то?

«— Топинара и Вастіана,—подсказалъ я.

«— Топинаръ,—я знаю,—антропологъ; а Вастіанъ, хоть убейте, кто онъ? Должно быть, тоже какой-нибудь этнографъ. Я такъ и не узналъ! И какъ мы тогда смѣялись, помните? А, можетъ быть, и не надо было смѣяться?—сказалъ онъ.

«Онъ закашлялся.

«Страшно присутствовать при угасаніи друзей давнымъ-давно, увя! угасшей молодости. Вѣдний, милый Иванъ Леонтьевичъ!»

Съ грустью воспоминаетъ послѣдній періодъ жизни Щеглова и А. А. Измайловъ, въ связи съ общими воспоминаніями о немъ.

«Послѣдній годъ существованіе старѣющаго беллетриста-драматурга было ни жизнью, ни смертью. Можетъ быть, это было нѣчто худшее смерти.

«Отъ прежняго Ивана Леонтьевича, статнаго, стройнаго, живого и остроумнаго человѣка, въ прошломъ красавца-офицера, оставалась только печальная тѣнь. Осунувшееся, страшно исхудавшее лицо стало безкровно-восковымъ задолго до смерти. Тонкую шею, казалось, едва обтгивала кожа. Тусклые стали когда-то прекрасные глаза. Сахарная болѣзнь истощала его. Онъ выполнялъ невѣроятную діету, воздерживаясь почти отъ всего. Туберкулезный процессъ, обычно завершающій сахарную болѣзнь, развивался на этой подготовленной почвѣ въ трагическую быстроту.

«Подъ гнетомъ болѣзни психика Щеглова подверглась разрушенію, едва ли не меньшему, чѣмъ его физическая организація. Неврастенію давно дѣлала надъ нимъ страшное завоеваніе. Писательская работоспособность его замирала. Огромныхъ усилій воли стоило ему уже написаніе небольшого фельетона. Мнительность и пугливость развивалась до смѣшного и страшнаго.

«Съ появленіемъ въ столицѣ трамвая онъ рѣшительно отказался и отъ пыхъ, и отъ извозчиковъ, изъ болзни катастрофы, хотя, слабый и больной, ходишій уже съ помощью палки, онъ рисковалъ, пѣшій, гораздо больше. Появленіе въ его квартирѣ новаго человѣка, хотя бы хорошо знакомаго, способно было повергнуть его въ обморокъ. Болзнь сквозняковъ, толпы, давки, пароходовъ, новыхъ людей—была въ немъ болзненно непреодолима.

«Какъ грустно было думать, что это не кто иной, какъ онъ, чеховскій «милый Жанъ», его «милый герцога Альба», цѣлые десятки прелестныхъ писемъ къ которому мы читали въ печати и который, очевидно, когда-то носилъ въ своей душѣ такое же жизненное начало шутки и смѣха, какое жило въ душѣ молодого «Антоши Чехонте»!.. Это тотъ самый человѣкъ, что молоденькимъ офицеромъ дружилъ съ Надсономъ, жилъ вмѣстѣ съ нимъ, посылалъ съ его талантомъ?

«Отъ прошлаго осталась только ласковая, привязчивая душа да смертная, всепокрывающая и все остальное устранивающая любовь къ литературѣ.

«Ее Щегловъ любилъ свято до гроба. Не забылъ ее и въ своей послѣдней волѣ. Пишущему эти строки извѣстно, что всѣ свои литературныя реликвіи онъ завѣщалъ въ извѣстныя литературныя учрежденія, между прочимъ въ Надсоновскій музей при какомъ-то корпусѣ или юнкерскомъ училищѣ.

«Литературныя реликвіи были его святыней. Надо было видѣть, какъ благоговѣнно показывалъ онъ перо Пушкина,—перо, сохранившее еще слѣды его зубовъ! Чеховскія письма были переплетены въ большой изысканный томъ, и онъ не хотѣлъ при жизни разстаться съ нимъ ни за какія блага.

«Чеховъ былъ его страстью, любовью, молитвой. Онъ вспоминалъ его черезъ десять словъ, цитировалъ его, приводилъ его устные афоризмы. Онъ говорилъ, что со смертью Чехова для него самого въ жизни умерло нѣчто, и нѣчто огромное, свѣтлое и осмысливающее жизнь,—и этому нельзя было не вѣрить.

«Щегловъ былъ старый литературскій типъ,—типъ писателя прирожденнаго, страстнаго влеченія, чуждаго всякаго духа корысти, практичности, рекламы,—всего того суетнаго духа, какой сейчасъ отличаетъ большинство пишущихъ.

«Никогда онъ не умѣлъ себѣ ничего устроить. Простого, какъ ребенка, въ дѣловыхъ отношеніяхъ его могъ провести всякій, кто хотѣлъ. Взрослый ребенокъ, онъ виталъ въ какихъ-то красивыхъ отвлеченностяхъ, влюблялся въ Пушкина и писалъ книжку о Пушкинѣ, влюблялся въ Гоголя и писалъ

книжку о Гоголь, ѣздилъ въ Святые горы, подъ Полтаву, выискивалъ на Морскихъ и Мѣщанскихъ уголкахъ, гдѣ жилъ Гоголь, и открытіе какого-нибудь «дома каретника Іохима», какой значится на гоголевскихъ письмахъ,—давало ему такой восторгъ, который испытываетъ ученый, открывая радий или коховскую палочку.

«Идеалистъ!»—сказали бы въ старину. «Чудакъ!»—скажутъ теперь.

О своемъ литературномъ трудѣ Щегловъ мыслить чрезвычайно скромно. Доброму слову радовался такъ искренно, что было совершенно ясно,—въ душѣ онъ считалъ все это не заслуживающимъ добраго слова.

«Отдавшійся юмору, онъ высоко цѣнилъ Чехова, до высоты котораго не мечталъ подняться, и ему доставляло гордую радость знакомство съ Джеромъ-Джеромомъ, который съ нимъ переписывался и интересовался имъ.

«Въ послѣдней половинѣ своей жизни Щегловъ не повторилъ блестящихъ успѣховъ своей ранней молодости. Салтыковъ имѣлъ всѣ права пригнѣть его въ своихъ «Отечественныхъ Запискахъ», потому что его «Гордѣвъ уезды», «Милліонъ терзаній» и позднѣйшая «Идилія» («Вѣстникъ Европы») выдавали вѣянія самаго безспорнаго беллетристическаго дарованія.

«Влестящей полосой его жизни было время его участія въ молодомъ «Новомъ Времени». Въ успѣхѣхъ этой газеты была доля литературнаго участія Щеглова. Помѣщенный здѣсь памфлетъ его «Миръ праху» произвелъ положительно шумъ.

«Все, что писалъ Щегловъ потомъ, безспорно, было блѣднѣе и слабѣе. Его пьески беззаботно-веселы, въ нихъ много бытовой наблюдательности комика, но всѣ онѣ не идутъ выше облагоустроеннаго водевиля.

«Чеховъ пѣлъ въ оба его уха, что писатель долженъ писать водевили, водевили, водевили. Нѣтъ ничего лучше водевиля. Щегловъ повѣрилъ ему и ушелъ въ водевилъ, иногда трехактный. Его попытки серьезныхъ пьесъ, на примѣръ, «Затерянный мудрецъ»—уже не имѣли успѣха».

Да, невеселы были послѣдніе годы жизни нашего беллетриста, несшаго съ собою еще не такъ давно и въ литературу и въ нашу писательскую среду столько жизнерадостности, столько тепла и любви. Хорошія полосы жизни связывались для насъ съ его типичною изящною фигурою, и рядъ всѣмъ намъ дорогихъ имѣнь являлъ онъ собою живымъ и мыслнымъ напоминаніемъ: Надсонъ, старикъ Плещеевъ, Антоша Чехонте и онъ же Антонъ Павловичъ Чеховъ—вотъ тѣ имена новѣйшей русской литературы, которыя на фонѣ недавней жизни были непосредственно связаны съ именемъ Ивана Леонтьевича. А тамъ, въ болѣе дальней литературной перспективѣ вырисовывались образы Пушкина и Гоголя, передъ которыми въ молитвенномъ восторгѣ стоялъ угасающій писатель, приглашая къ участію въ своей молитвѣ и насъ, его читателей, друзей и знакомыхъ.

Тихо, трагически и неуклонно угасали на нашихъ глазахъ дни Щеглова, дни, отмѣченные, помимо болѣзни, вдобавокъ и матеріальною скудостью. Да, литература не явилась на склонѣ его дней его доброй кормилицей, отъ прежнихъ заработковъ не оставалось сбереженій, а для новаго труда не хватало уже силъ и приходилось должаться у редакцій. Въ такомъ положеніи должника и безпомощнаго для новаго труда онъ писалъ въ началѣ текущаго года редактору «Историческаго Вѣстника» С. Н. Шубинскому:

«1) Глубокочитимый и многодобрѣйшій Сергій Николаевич!

«Простите!

«Простите!!

«И еще разъ простите!!!

«Отлично памятую и ваше всегдашнее ко мнѣ душевное вниманіе, и полученный авансъ, и собственное обѣщаніе дать для «Историческаго Вѣстника» что-либо подходящее и интересное.

«2) Но что подѣлаешь!—жизнь за послѣдніе три года такъ меня «скрутила», что рѣшительно не выпадало періода душевнаго спокойствія, необходимаго для неторопливо-вдумчиваго написанія «мемуаровъ». Если я вамъ скажу, что эти три года я просидѣлъ зиму и лѣто въ Артиллерійскомъ переулкѣ, быть можетъ, вы войдете въ мое невеселое положеніе?

«3) Вдобавокъ, еще лѣтомъ привязалась ко мнѣ сахарная болѣзнь съ разными осложненіями, и это во многомъ стѣсняетъ меня...

«Въ морозы—совсѣмъ не выхожу на улицу!!

«4) Когда немного потеплѣетъ и буду чувствовать лучше, позвольте навѣстить васъ и лично объяснить: какой именно матеріалъ заготовленъ мной для «Историческаго Вѣстника». (Думаю систематизировать его въ Великомъ посту).

«5) Будете добры... единой строкой оповѣстить, въ какіе часы вы нынѣ принимаете?? (Прошло, вѣдь, 3 года!)

«6) Храни васъ Господь!!!

«Сердечно преданный И. Щегловъ».

Но наступило тепло, а надеждамъ Ивана Леонтьевича не суждено было сбыться. Весеннее солнце не принесло ему радости и облегченія, процессъ болѣзни пошелъ бурно впередъ, къ развязкѣ. Пользовавшій его профессоръ Романовскій еще зимою рекомендовалъ ему поѣздку на Кавказъ, полагая, что жизнь въ Кисловодскѣ послужитъ ему на пользу. Для этой поѣздки съ трудомъ были собраны средства, большой тщательно былъ перевезенъ къ мѣсту врачебнаго назначенія, но быстро, по прибытіи туда, навѣки опочилъ, вдали отъ насъ, среди роскошной природы юга, которая во всей своей лѣтней красѣ раскинула надъ нимъ свой богатый похоронный шатеръ.

Въ статьѣ «Умирайте дома» «Вирже. Вѣд.», 1911 г., № 12379) все тотъ же А. Измайловъ, со словъ присутствовавшего при послѣднихъ часахъ Ивана Леонтьевича лица, рассказываетъ намъ о немъ слѣдующее:

«Щеговъ умиралъ. Ему оставалось жить всего двѣ недѣли. Земля уже пала на него, глаза стали стеклянно-мутными, худѣть далѣе было нельзя. Нервность умирающаго была по истинѣ ужасна. Въ послѣдніе дни онъ боялся всего: редакторовъ, критиковъ, постороннихъ и знакомыхъ, трамваевъ, извозчиковъ, сквозняковъ, зеркалъ въ домѣ, мышей и пауковъ. Щеговъ умиралъ, но, какъ бы измѣнѣ женщины послѣднимъ узнаетъ тотъ, кого это больше всего касается, такъ больной часто надѣется жить, когда близкіе заказываютъ ему саванъ. Щеговъ думалъ, что ему нужно только увидѣть Кисловодскъ, чтобы воскреснуть. Въ послѣдній мѣсяцъ, конечно, никто изъ врачей уже не совѣтовалъ ему ѣхать. Но Иванъ Леонтьевичъ помнилъ, что ему говорили раньше. И рвался туда, не слушая уже никакихъ резоновъ.

«На носилкахъ его вынесли изъ дому, на носилкахъ внесли въ вагонъ. Двѣ простыя женщины-служанки провожали его. Онѣ знали, на что ѣдутъ, везя съ собою почти трупъ, но онѣ поублажи. По этому случаю литературному читателю можно вспомнить извѣстный Лѣсковскій рассказъ о дамѣ и фельдѣ. Какъ ѣхали и что это были за матрарства для человѣка, который уже и дома не сходилъ съ постели,—этого перомъ не описать. Извелись не только самъ больной, конечно, не спавшій, не ѣвшій во все время пересѣканія Россіи поперекъ, но и провожавшій его. Щеговъ ронялъ слова, и всѣ они были объ одномъ: близокъ покой и спасеніе! Съ владѣльцемъ одной дачи въ Кисловодскъ было соглашеніе,—квартира ждала больного.

«Вотъ и Кисловодскъ, вокзалъ, городъ, дача... Щегова внесли во дворъ. Одна изъ его спутницъ пошла къ хозяйкѣ.

«— Такого больного!—ужаснулась та.—Нѣтъ, я не могу принять умирающаго... Вѣдь это значитъ и дезинфекція послѣ него, и всякія хлопоты..

«Дама нашлась и прибавила:

«— Да и комната уже сдали! комнаты нѣтъ! Ничего ужъ не подѣлать. Позвжайте въ другое мѣсто,—гдѣ-нибудь вы, конечно, найдете пріютъ.

«Щегова волновало, если муха садилась на его тѣло. Этому отказъ долженъ былъ убить его. Сколько возможно, отъ него скрывали горькую истину, но наконецъ пришлось сказать ее. Больной пришелъ въ ужасъ, истерика не случилась съ нимъ только потому, что онъ былъ въ состояніи какъ бы постоянной истерики. Шелъ дождь,—небо и земля были противъ него.

«— Можете быть, вы хоть временно, хоть на нѣсколько часовъ дадите намъ пріютъ?

«Надъ несчастными смилостивились и на нѣсколько часовъ пустили. Щеговъ очутился въ какой-то убогой комнатѣ, немойтой и непригодной для жилья интеллигентнаго человѣка... Но ужъ и это было «почти счастье».

«Щеговъ жилъ здѣсь двое сутокъ. На него, на его спутницъ смотрѣли, какъ на личныхъ враговъ. Дѣвушкамъ едва отвѣчали на ихъ вопросы. «Пріѣхали съ покойникомъ въ чужой домъ, какъ это благоудно!..»

«Кто знаетъ лечебные курорты, тотъ знаетъ, что слово смерть, слово покойникъ не произносятся тамъ, гдѣ хотятъ лечить. Нельзя опорочить санаторію, отель, меблированныя комнаты больше, чѣмъ покойникомъ.

«Въ субботу И. Л. вмѣшался профессоръ Д. Л. Романовскій, лечившій его еще въ Петербургѣ.

«Благодаря ему, Щегова приняли въ гостиницу «Красные Камни». Онъ же далъ ему фельдшера. Но Щеговъ умиралъ, ничто уже не могло его спасти. «Онъ забывался и бредилъ. Типично-литературный бредъ. Безпокоила его какая-то статья. Онъ хотѣлъ ее выправить. Надо было ее задержать...

«Въ одну изъ минутъ просвѣтлѣнія онъ сказалъ, что, если умереть,—его надо похоронить здѣсь же, въ Кисловодскѣ.

«Въ канунъ смерти профессоръ Романовскій предупредилъ прислугу, что въ эти сутки И. Л. умретъ.

«Ночей Щеговъ не спалъ, иногда дремалъ днемъ. Огонь горѣлъ всю ночь у его постели. Ничего онъ не ѣлъ, только пилъ воду, но все еще не чувствовалъ приближенія смерти.

«Въ самый день развязки онъ еще надѣялся. Разсчитывалъ, что его сегодня вынесутъ на креслѣ и на воздухъ ему будетъ легче дышать. Въ комнатѣ онъ задыхался.

«Часа за три передъ смертію онъ пересталъ говорить и давать знаки существованія. Умеръ онъ, какъ заснулъ».

Вѣсть о его кончинѣ дошла до насъ въ тѣ самые дни, когда мы, пребывавшіе лѣтомъ въ Петербургѣ писатели, съ тревогой и грустью прислушивались къ печальнымъ вѣстямъ, которыя приходили къ намъ изъ Старожиловки (близъ Парголова) о состояніи здоровья Михаила Ниловича Альбова, тоже обреченнаго тяжкимъ недугомъ на скорый конецъ и тоже при невеселой, матеріально стѣсненной жизненной обстановкѣ совершавшаго свой послѣдній жизненный путь.

Для критико-биографическаго словаря С. А. Венгера (т. 1) Михаилъ Ниловичъ далъ слѣдующія о себѣ автобіографическія свѣдѣнія:

«Родился я въ Петербургѣ 8-го ноября 1851 года, въ день архангела Михаила, въ честь котораго и ношу свое имя. Отецъ мой былъ діакономъ церкви почтоваго департамента, мать—полудворянскаго рода, по бабушкѣ, происшедшей изъ Ярославской губерніи. Отецъ—новгородецъ, сынъ сельскаго причетника. О «предкахъ» моихъ знаю очень мало, слышалъ только отъ отца, что весь его родъ искони новгородцы.

«Научили меня грамотѣ довольно рано, и этимъ я обязанъ теткѣ—Т. М. Вашиховой. Первымъ дѣломъ я обнаружилъ страстную охоту къ че-

нию. Первая книга моя была «Робинзонъ». Помню отлично, что я былъ влюбленъ въ него безъ памяти, буквально имъ бредилъ. Затѣмъ его мѣсто занялъ «Давидъ Кошперфильдъ». У насъ въ числѣ книгъ были «Отечественныя Записки» пятидесятаго года, въ которомъ онъ былъ напечатанъ, и я перечитывалъ его безконечное число разъ. Полагаю, излишне прибавлять, что оба эти лица были для меня отнюдь не созданіями фантазіи, но взаправду живыми людьми. Затѣмъ попался мнѣ Гоголь, именно «Мертвыя души». Чичиковъ имѣлъ для меня обаяніе со стороны своего кочеванія, и я, помню, мечталъ, какъ хорошо имѣть его пресловутую «бричку», чтобы развѣзжать куда вздумается. Вперемежку я читалъ все, что попадалось подъ руку, но изъ всего мною прочитаннаго самыми дорогими и, такъ сказать, близкими были для меня эти три книги.

«Я жилъ постоянно въ мірѣ, наполненномъ лицами прочитанныхъ книгъ, и всякое живое лицо стожидствлялось мною съ тѣмъ или другимъ фантастическимъ образомъ. Вообще я былъ ужасный мечтатель. Конечно, это нужно приписать моему одиночеству, въ которомъ я росъ (до моего рожденія у отца были двѣ дѣвочки, которыя умерли—одна двухъ лѣтъ, другая пѣсколькихъ мѣсяцевъ), сверстниковъ у меня не было, играть съ другими дѣтьми на улицѣ мнѣ не позволялось: берегли меня, какъ зѣницу ока, а вѣдь мало ли что можетъ статься отъ уличныхъ мальчишекъ: поколотить могутъ, обидѣть!.. Но я полагаю, что извѣстную долю въ образованіи моего характера—угрюмомечтательнаго, нужно приписывать дѣйствию закона наслѣдственности. Матери я совершенно не помню (она умерла, когда мнѣ было полтора года), но составилъ о ней представленіе на основаніи рассказовъ. И если отъ отца я заимствовалъ извѣстныя стороны своего личнаго характера, то авторскій зудъ перешелъ ко мнѣ всецѣло отъ матери. Она писала стихи, хорошо рисовала.

«На 11 году меня отдали во 2-ю петербургскую гимназію. Марать бумагу я началъ со втораго класса. Первая попытка моя была начало юмористической повѣсти «Растрепалкинъ»—навѣянной похожденіями Чичикова; даже была тамъ и знаменитая «бричка». За нею послѣдовало множество повѣстей, гдѣ фигурировали испанцы и итальянцы. Такъ, былъ у меня, между прочимъ, романъ «Англійскій матросъ»—сколокъ съ «Монте-Кристо» и «Лондонскихъ тайнъ»,—въ которомъ дѣйствіе происходило одновременно въ Англіи, Испаніи, Америкѣ и изображена была даже испанская инквизиція. Снѣдало меня, вмѣстѣ съ тѣмъ, страстное желаніе «печататься». И вотъ накропалъ я (было мнѣ тогда 13 лѣтъ) рассказецъ въ формѣ дневника, подъ заглавіемъ «Записки подвального жильца»,—и, замирая отъ сознания своей безпримѣрнѣйшей дерзости, послалъ ее по почтѣ въ «Петербургскій Листокъ» Ильи Арсеньева. Радость, съ которою увидѣлъ я «Записки» дня черезъ два напечатанными въ нижнемъ этажѣ этой газетки, напечатанными полностью,

со всѣми словечками, запятыми и точками,—въ данный моментъ я ни съ чѣмъ сравнить не умѣю. Помню, что я цѣлый тотъ день ходилъ какъ въ чадѣ.

«Какъ бы то ни было, это событіе кончилось тѣмъ, что я совсѣмъ бросилъ заниматься ученіемъ. Карманы мои постоянно были наполнены листками бумаги, изображавшими начало разныхъ романовъ и повѣстей. Произошло то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ. Я получалъ единицы и двойки, востребовалъ въ каждомъ классѣ по два года, и въ четвертомъ остался даже на третій, вслѣдствіе чего долженъ былъ оставить гимназію. Первое время я весь былъ подавленъ своею бѣдою, сознаниемъ своей негодности.



Михаилъ Нилловичъ Альбовъ.

Мало-по-малу я опять вошелъ въ норму и снова усердно принялся за истребленіе чернилъ и бумаги. Тогда же (1866) я опять написалъ большую часть своей первой «большой повѣсти» «На новую drogу», напечатанной гораздо позднѣе у того же Ильи Арсеньева. Въ то же самое время я писалъ и другое, кое-что опять напечаталъ. Авторскій зудъ мой тогда былъ въ полномъ напряженіи. Никогда не забыть мнѣ бѣлыя петербургскія ночи, открытое окно моей комнаты, золотистые края разсвѣта и тихій восторгъ моего тогдашняго «творчества»...

Къ этимъ свѣдѣніямъ г. Венгеровъ прибавляетъ: «Въ 1867 г. М. Н. поступилъ по экзамену въ четвертый классъ питой петербургской гимназіи, гдѣ

и кончил курсъ въ 1873 г. Съ 1873 г. по 1879 г. онъ находился на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета. Пребываніе М. Н. въ университетѣ затянuloсь въслѣдствіе того, что съ лѣта 1877 г. по весну 1878 г. онъ, по собственному желанію, находился въ Дунайской арміи въ качествѣ брата милосердія. Необходимыя для этого фельдшерскія познанія М. Н. пріобрѣлъ на читавшихся осенью 1877 г. курсахъ первой помощи раненымъ. Университетскимъ дипломомъ своимъ М. Н. не воспользовался для практическихъ цѣлей. Онъ всего одинъ годъ только (съ 1886—87) состоялъ на службѣ (при астраханскомъ акцизномъ управленіи), а въ присяжные повѣренные не пошелъ.

Изъ этихъ біографическихъ данныхъ мы видимъ, что жизнь Альбова не отличалась разнообразіемъ фактовъ, интересными событіями и оригинальными положеніями. Весь интересъ этой жизни заключается въ развитіи и проявленіи его скорбнаго духа, его внутренней тоски, постоянно его сѣдавшей, сѣдавшей и въ расцвѣтѣ и въ замираніи его беллетристическаго творчества, съ его глубокимъ анализомъ человѣческой души. Слѣдя за развитіемъ этого таланта по хронологической канвѣ, установленной А. А. Измайловымъ во 2 полутомѣ 1-го выпуска «Новаго энциклопедическаго словаря» Эфрона и Брокгауза, мы усматриваемъ въ немъ слѣдующіе главнѣйшіе моменты. Минувъ его совсѣмъ юношескія произведенія, о коихъ упомянуто въ автобіографіи, мы видимъ, что первая его серьезная вещь романъ «Пшеничныя» помѣщена была въ «Дѣлѣ» (1873); но настоящій литературный успѣхъ имѣла его повѣсть «День итога» («Слово», 1879). За этимъ слѣдовали повѣсти «До пристани» 1) «Воспитаніе Лельки» и 2) «Сутки на лонѣ прировы» («Слово», 1879 и 1880) и имѣвшія яркій успѣхъ повѣсти «Невѣдомая улица» («Дѣло», 1882) и «Конецъ Невѣдомой улицы» («Дѣло», 1882). Извѣстность Альбова возросла по напечатанію его романа «Раса» («Дѣло», 1883). Выходъ въ свѣтъ первой книжки его «повѣстей и разсказовъ» былъ пріятнѣе въ 1884 г. статей Михайловскаго, разсматривавшаго разсказы Альбова параллельно съ вещами Баранцевича. Оба писателя, въ значительной степени родственные духовно и оближенные жизненными условіями, стали своего рода литературными близнецами и не для одной критики. Какъ бы въ ознаменованіе этой близости, ими вдвоемъ написанъ юмористическій романъ «Вавилонская башня» съ продолженіемъ «Таинственный незнакомецъ» («Новости», 1886). Въ этомъ романѣ обрисованъ бывшій Пушкинскій кружокъ, съ юмористически-портретнымъ изображеніемъ его участниковъ, въ томъ числѣ многихъ изъ сдѣлавшихъ себѣ въслѣдствіи имя сверстниковъ Альбова и Баранцевича. Вслѣдъ за лирическимъ разсказомъ «Рыбья стонъ» («Осколки», 1885) Альбовъ сталъ печататься и въ «Русской Мысли» («Какъ горѣли дрова», 1887). Тамъ же позднѣе прошла большая повѣсть его «Юбилей» (1895). Альбовъ печатался еще въ «Вѣстникѣ Европы» («Филиппо-

вичъ», 1885), «Сѣверномъ Вѣстникѣ» («Сороковой бѣсъ», «Въ такихъ водахъ», «Тоска», «Миръ Божьему» («Сирота», «Глафирина тайна»). Три послѣднія повѣсти, связанныя общностью героевъ, фона и настроенія и образующія какъ бы трилогию, объединены авторомъ въ полномъ собраніи его сочиненій въ одну большую хронику, подъ общимъ заглавіемъ «День да ночь—эпизоды изъ жизни одной человѣческой группы». Въ «Приднѣпровскомъ Краѣ» помѣщенъ романъ Альбова «Тайна Мамаева» («Житрый планъ Мамаева»). Въ 1907—8 гг. фирмою товарищества Маркса издано полное собраніе сочиненій Альбова, въ восьми томахъ, въ составъ котораго, кромѣ раннихъ произведеній Альбова, вошли неоконченныя вещи: «Изъ старыхъ папокъ»—«Городское происшествіе», «Осеннимъ вечеромъ», позднѣйшіе разсказы и наброски—«Послѣдній день Іуды», историческій разсказъ «Великій царь Петръ и Лизавета», главы недописанной повѣсти «Въ полдень», эскизъ «Диссонансъ», «Начало и конецъ неудачнаго романа», вольное подражаніе Марку Твену—«Знакъ отличія мистера Свидта». Положивши перо по написанію очерка «Рубенецъ» («Виржевъ Вѣдомъ»), Альбовъ въ послѣднее время нарушилъ молчаніе лишь опубликованіемъ отрывка изъ неоконченной повѣсти «Разгадка впереди», написанной еще въ 1898 г. («Юбилейный сборникъ литературнаго фонда» 1910) и незаконченными драматическими сценками («Пробужденіе» 1910).

Къ этому послужному литературному списку Михаила Ниловича надлежитъ прибавить, что съ 1891 по 1894 гг. онъ состоялъ официальнымъ редакторомъ «Сѣвернаго Вѣстника» издательства Л. Я. Гуревича, а также въ послѣднее десятилѣтіе XIX столѣтія редактировалъ короткое время «Приднѣпровскій Край» въ Екатеринославѣ.

Характеризуя Альбова, какъ писателя, близко знавшій его А. А. Измайловъ посвятилъ ему слѣдующіе строки въ «Виржевыхъ Вѣдомостяхъ» (1911 г., № 12369), гдѣ мастерски нарисовалъ образъ своего почившаго товарища по перу. Талантливый критикъ говоритъ:

«Альбовъ и при жизни своей, говоря словами Лѣскова о кроткомъ героѣ его эпохи, Захаріи Венефактовѣ, —былъ, какъ бы его не было». Жилъ онъ невидный и неслышанный до такой степени, что его совершенно забыли.

«Самъ онъ лѣтъ 15 уже ничего не писалъ. Все, что иногда печаталось, были отрывки, осколки, перепечатки, начала безъ конца и главы безъ продолженій изъ старыхъ тетрадей или старыхъ изданій. Его просили объ этомъ, и онъ именно «сдавался», въ душѣ не придавая ничему изъ этого никакого значенія. Это былъ въ полномъ смыслѣ писатель «на покой». Въ жизни моея я не видѣлъ болѣе трагической и плачевной картины умиранія въ челоѣкъ писателя, совершеннаго изнеможенія въ немъ священнаго дара творчества. Это не была смерть таланта въ обычномъ смыслѣ, когда писатель еще пишетъ обѣими руками, но все это такое, что лучше бы онъ не писалъ. Въ Альбовѣ

умерла, атрофировалась самая способность писания. Умерла фантазия, умерли темы, образы, самый стиль. Он писал строку своим мелким бисером букв без всякого наклона и над ней строил три и четыре этажа поправок. Он не писал, а критиковал себя, и каждое слово ненавидѣлъ, какъ банальное, тусклое, безсильное. Попытки приводили его въ отчаяніе, и можно думать, что первая его удостоверенія въ творческомъ безсиліи, въ этой «первой смерти», были для него пыткой. Потомъ онъ привыкъ къ своему горю и признавался въ немъ безъ видимой горечи. Это писательское «разореніе» было въ немъ такое полное и безызытное, что даже письма, простыя записки онъ писалъ съ трудомъ. И едва ли у кого изъ друзей окажутся интересныя и интимныя письма этого бобыля, который одиноко и безконечно грустно принималъ и несъ свою холодную жизнь.

Альбовъ былъ по существу бобыль, одиночка, сирота. Прирожденная склонность выступила въ немъ болѣзненно ко второй половинѣ жизни. Съ любимой женой онъ прожилъ не болѣе года,—она умерла. Съ этого дня онъ сталъ уходить въ свою раковину и ушелъ въ нее съ головой. И о «сиротахъ» и «бобыляхъ», о Глазовыхъ («День итога»), о горькихъ вдовцахъ-попахъ («Риса»), о старыхъ тоскующихъ дѣвахъ («Тоска», «Сирота», «Глифринна тайна») онъ писалъ—и писалъ съ такимъ хорошимъ постиженіемъ ихъ—потому, что самъ былъ въ каждомъ дюймѣ своемъ сирота и бобыль.

«Психологію одинокихъ, востосковавшихся, готовыхъ бунтовать отъ тоски, хотя бы простымъ запоемъ, Альбовъ постигалъ органически и еще юнымъ. Влюбленный въ Достоевскаго, подъ сильнымъ вліяніемъ его, онъ написалъ свой «День итога», положившій начало его извѣстности. Впаденіе молодого беллетриста въ стиль и манеру Достоевскаго тогда произвело большое впечатлѣніе.

«Томе покойный теперь А. Н. Салтыковъ разсказывалъ мнѣ, что одинъ изъ литераторовъ, слышавшій черезъ стѣнку чтеніе вслухъ «Дня итога» еще по корректурѣ, приближалъ къ нему съ вопросомъ:

«— Достоевскій написалъ новую вещь?

«Альбова долго корили подражательностью Достоевскому, и онъ долго отдѣлывался отъ его могучаго вліянія. Отъ чуждой манеры онъ освободился, но тяготѣніе къ психологін, «копанье въ душѣ», самый фонъ романа Достоевскаго остались при немъ навсегда.

«Петербургскія бѣлыя ночи, разливающія «этотъ странный полусвѣтъ, что не похоже ни на ночь, ни на день»; туманные осенніе дни съ замирающей гдѣ-то шарманкой, съ унылыми свистками далекаго парохода; каменные стѣны домовъ, «блѣдныхъ, словно въ чахоткѣ», пыльные мебелировки, черныя лѣстницы съ кошками, цикорнымъ дымомъ и дѣтскимъ плачемъ; далеко за полночь стучація швейныя машины, надъ которыми сидятъ, согнувъ впа-лыя груди, чахоточныя женщины; блѣдые и мрачные люди, которые ни

къ кому не ходятъ, и къ которымъ никто не ходитъ, уныло злобствующія на безцвѣтную мѣщанскую обстановку своей неудавшейся жизни, дьявольски самолюбивые, безнадежно одинокіе и цѣликомъ ушедшіе въ свою думу,—таковъ излюбленный фонъ и любимые образы автора «Дня итога», какъ творца «Вѣднхъ людей».

«Огромный каменный городъ далъ однородныя впечатлѣнія и колоссу Достоевскому, и входящему въ его огромный, какъ бы магическій кругъ, Альбову. Альбовъ не подражалъ, не поддѣлывалъ, онъ былъ искрененъ и выявлялъ свою сущность. Но онъ былъ весь школы Достоевскаго и, благоговѣя передъ нимъ стариннымъ, уже умиралющимъ пылъ благоговѣніемъ, въ первыхъ своихъ вещахъ невольно впадалъ въ подчиненіе ему, въ его манеру, въ стиль, въ языкъ. И отъ первой до послѣдней своей вещи Альбовъ остался пѣвцомъ гнетущаго и убивающаго интеллигентскаго бобыльства, духовнаго и вишняго одиночества, сиротства, окаянной тоски людей большого, холоднаго, каменнаго города, оторванныхъ отъ живого общественнаго дѣла и тащившихъ въ себѣ начало безосновательнаго бунта.

«Философія Альбова была близка чеховской, только Чеховъ взялъ типъ во всей широтѣ и его провинціальной колоритности. Дитя Петербурга, Альбовъ отдалъ всего себя этому каменному Вавилону. Ничего иного онъ не наблюдалъ, не зналъ и не хотѣлъ наблюдать и знать. Помню, какъ одинъ изъ его сверстниковъ и собратій съ великимъ удивленіемъ и недоумѣніемъ говорилъ мнѣ:

«— Представьте, Михаилъ Нилычъ прожилъ цѣлое лѣто въ деревнѣ. Противъ дома, гдѣ онъ жилъ, былъ волостной сходъ, разыгрывались что ни день сцены мужицкаго парламента, мужицкаго суда, загула, дѣвки водили хороуды, парни пѣли пѣсни... Представьте, онъ ни разу не вышелъ сюда, не посмотрѣлъ,—сидѣлъ дома, читалъ Диккенса, и его силой надо было тащить на прогулку!

«И это было не въ послѣдніе годы, не тогда, когда отъ стараго Альбова оставался почти одна тѣнь и онъ уже бросилъ свои традиціонныя ежедневныя прогулки отъ Знаменья до Адмиралтейства, а, вставъ утромъ и вымывшись, падалъ на диванъ въ совершенномъ уже изнеможеніи, задыхаясь, какъ раненая рыба на пескѣ. Онъ тогда былъ относительно здоровъ, интересовался литературой, читалъ газеты, нѣтъ-нѣтъ и присаживался къ столу, чтобы что-то написать.

«Вѣшная наблюдательность не интересовала Альбова, не была въ немъ и развита. Это былъ талантъ, какъ бы полярно-противоположный тѣмъ наблюдательнымъ талантамъ вроде Успенскихъ, Мамина, которые хватаютъ все кругомъ, какъ на фотографическую пластинку, и этимъ сильны, и кончатся тогда, когда все разскажутъ, что успѣли въ жизни увидѣть, или когда поле ихъ зрѣнія ограничить жизнь.

В. В. Ганский.

«Альбовъ былъ психологиченъ по существу, по субстанции своей. Душа какого-нибудь интеллигентнаго сироты, вродѣ его самого, была для него интереснѣй всего на свѣтѣ, выше престоловъ и царствъ, значительнѣе политики, любопытнѣе всей иной жизни, пѣнящейся, бьющей ключомъ, смѣшной или страшной.

«Михайл Нилычу шелъ 60-й годъ. Здоровье его было разрушено настолько, что врачи удивлялись, какъ онъ могъ существовать съ какимъ-то остаткомъ одного легкаго.

«До послѣдняго года, съ точностью не до часовъ, а до минутъ, можно было встрѣтить этого стройнаго, худого человѣка на его регулярной прогулкѣ черезъ весь Невскій. Такъ ему было предписано врачомъ, и онъ блюлъ предписание, ибо здоровье было для него уже единственнымъ и тоже ускользающимъ благомъ жизни.

«Послѣдній годъ заключилъ его въ квартирѣ, какъ въ тюрьмѣ. Онъ сталъ уже такъ слабъ, что не могъ самъ налить гостю стаканъ чая. Но совсѣмъ близкаго конца своего онъ все-таки не видѣлъ и не вѣрилъ въ него. Уѣзжая въ Старожиловку, онъ захватилъ съ собой свою давнымъ-давно начатую работу. Онъ тѣшилъ себя мечтой, какъ тѣшилъ себя бездѣтная старая женщина, — можетъ быть, еще и совершится чудо!...

«Въ самый день смерти своей, по рассказу извѣстнаго писателя Ф. Ф. Фидлера, которому довелось принять и послѣдній вздохъ стараго друга вмѣстѣ съ другимъ другомъ его, докторомъ Е. В. Святловскимъ, — Альбовъ еще читалъ Вильки Коллинза. Онъ любилъ такое «неполнующее» чтеніе, — Теккерелъ, Гончарова, Диккенса... Но уже не могъ черезъ часъ развернуть газеты. Онъ откинулся въ креслѣ и тихо заснулъ въ немъ навсегда въ два часа сорокъ минутъ дня».

Г. Измайловъ умѣло обрисовалъ характеръ, жизнь Альбова, его тяготѣніе къ опредѣленнымъ литературнымъ изображеніямъ, психологическому анализу выведенныхъ имъ типовъ, короче, прекрасно очертилъ намъ покойнаго писателя, «Нилыча», какъ сокращенно мы его звали. Онъ самъ отмѣтилъ въ своей автобіографіи, что уже съ юныхъ лѣтъ онъ отличался угрюмой мечтательностью, и это свойство его характера осталось при немъ до послѣдняго часа. Онъ всегда, при всѣхъ обстоятельствахъ оставался молчаливымъ, неразговорчивымъ, ушедшимъ глубоко въ самого себя. Повидимому, въ его организмъ было что-то надтреснутое и какой-то недугъ подточилъ его. Сколько я его ни зналъ (а наше знакомство обнимало собою періодъ свыше 20 лѣтъ), я всегда видѣлъ его какъ будто хворымъ, страдающимъ, а потому вѣчно лечащимся. Камель и слабость груди, конечно, не были свидѣтельствами крѣпости организма, но отъ этихъ проявленій нездоровья было не такъ ужъ трудно излечиться, стоило лишь перемѣнить обстановку жизни и режимъ, но Альбовъ твердо держался своихъ привычекъ и, хотя пользовался

указаніями врачей, тѣмъ не менѣ созданная имъ себѣ обстановка, несомнѣнно, удручающе дѣйствовала и на его физическій организмъ, и на состояніе духа. Послѣднее какъ-то всегда было подавлено, и именно въ такомъ состояніи его подавленности я съ нимъ ближе и сошелся лѣтомъ 1890 года, когда приглашалъ для «Сѣвернаго Вѣстника» составъ сотрудниковъ.

Былъ жаркій июльскій день, когда я посѣтилъ Альбова по мѣсту его жительства на Пескахъ, въ домѣ № 4 по 3-ей Рождественской улицѣ. Онъ сидѣлъ въ душевой, одиночной комнатѣ, страшно накуреной и съ неравучнымъ самоваромъ. На мое приглашеніе стать сотрудникомъ организуемаго журнала онъ согласился, но заявилъ, что сейчасъ у него ничего готоваго нѣтъ. На этомъ мы и разстались, но уже черезъ какихъ-нибудь два мѣсяца онъ принесъ мнѣ исписанныя тетради почтовой бумаги, заключавшія въ себѣ его повѣсть «Тоска» съ ся героиней Глафирой. Чего и говорить, какъ я порадовался этому приобрѣтенію, и съ того времени Михайл Нилычъ сталъ своимъ человекомъ въ нашей молодой литературной семьѣ, а съ послѣдней осени вошелъ въ составъ редакціи, взявъ на себя, между прочимъ, просмотръ и нѣкоторую техническую отѣлку романа А. А. Винникой «Полѣнова и Ярославцева», долженствовавшего появиться въ первыхъ книжкахъ новаго года. Во весь періодъ до весны этого года наши съ нимъ отношенія были самыми близкими, товарищескими, и я крѣпко полюбилъ этого тихаго, молчаливаго человѣка съ грустнымъ взоромъ и не по годамъ постарѣвшимъ лицомъ, изборозженнымъ морщинами и отливавшимъ сѣро-желтой краской.

Въ мая 1891 года моя издательская антреприза лошнула, я изъ роли перваго лица въ журналѣ переходилъ на второе мѣсто и вынужденъ былъ перемѣниться съ г. Волынскимъ-Флексеромъ ролями.

При издательствѣ г-жи Л. Я. Гуревичъ первымъ лицомъ становился именно онъ, и, конечно, при его болѣзненнымъ самолюбіи и недостаточномъ тактѣ въ обращеніи съ людьми мое положеніе, какъ номинальнаго редактора, могло обратиться въ нѣчто для меня очень обидное и тяжкое. Убѣгая зла, я рѣзко порвалъ съ журналомъ и отказался отъ редакторства. Смущенные такимъ рѣшеніемъ, мои преемники, понимая, что имъ безъ утвержденаго правительствомъ редактора не обойтись (а утвержденіе въ этомъ званіи въ тѣ годы было дѣломъ нелегкимъ), съ тревогою обратились ко мнѣ же съ вопросомъ: кого я могу имъ указать и рекомендовать на роль редактора? Послѣ недолгаго раздумья я назвалъ Альбова, и мое указаніе было имъ встрѣчено до нелюзя радостно. Они получали для обложки журнала крупное литературное имя, долженствовавшее быть приманкою для подписчиковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ его же лицѣ они приобрѣтали, какъ имъ казалось, подавляющаго человѣка, который не будетъ соваться въ другіе отѣлы, кромѣ беллетристики, и позволить имъ обратить журналъ въ арену тѣхъ полемикъ и общественныхъ тенденцій, которыя и составили ему въ нашей журналистикѣ

девяностых годов совсѣм особое положеніе¹⁾. Рекомендую, съ своей стороны, Михаила Ниловича, я имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, его матеріальное обезпеченіе, зная, насколько онъ, при скудости своего писанія, нуждался въ средствахъ къ жизни; но, указывая на него, я вмѣстѣ съ тѣмъ далеко не былъ увѣренъ въ его согласіи и, пригласивъ его къ себѣ, изложилъ ему мои соображенія про и contra принятія дѣлаемаго ему предложенія.

— За, — объяснилъ я ему, — говорить необходимость матеріально обезпечиться и оправиться, въ чемъ вы нуждаетесь. Противъ — и это имѣйте въ виду — то, что вамъ придется играть въ рукахъ Воынского роль пѣшки, поступаться своими реалистическими литературными тенденціями и вести полемическую борьбу съ тѣми, кого вы считаете, какъ семидесятники, одного съ вами литературнаго прихода. Если вы можете выкинуть изъ жизни опредѣленные душевные и умственные тяготѣнія — идите съ нимъ объ руку, иначе вы со временемъ пожалѣете о данномъ согласіи. Вы сейчасъ нужны, какъ ширма, и вами будутъ поворачивать, какъ угодно.

Альбовъ, пощипывая бороду и пыхтя своей вѣчной папирской, мрачно слушалъ, что-то робко отвѣчалъ и въ концѣ концовъ какъ-то нерѣшительно отвѣтилъ, что онъ уже далъ свое согласіе на редакторство и полагаетъ, что я преувеличиваю грозящую ему опасность. Мы разстались, но, если не ошибаюсь, его ближайшіе друзья К. Баранцевичъ и Н. Соловьевъ-Несмѣловъ тоже не сулили ему ничего добраго отъ принятой имъ на себя обязанности.

Прошло пять лѣтъ; я рѣдко встрѣчался съ Михаиломъ Ниловичемъ и совершенно не зналъ, какъ онъ себя чувствуетъ въ новомъ положеніи. Мы встрѣтились лишь въ 1896 году въ Москвѣ у Д. И. Тихомирова, издаваемаго тогда отдѣльною брошюрой мою біографію Н. М. Ядринцева и въ журналѣ котораго «Дѣтское Чтеніе» я готовился помѣстить рядъ историческихъ очерковъ для юношества. Оказалось, что весною того года Альбовъ проживалъ въ квартирѣ Тихомировыхъ, не состоя уже редакторомъ «Сѣвернаго Вѣстника». Я обрадовался, встрѣтивъ стараго знакомаго, котораго когда-то такъ полюбилъ и къ которому чувствовалъ всегда и какъ къ писателю, и какъ къ человѣку большое тяготѣніе. Встрѣча наша вышла на первыхъ порахъ нѣсколько холодною и натишною, и мы точно чувствовали, что между нами имѣется что-то недоговоренное, что-то оборванное въ отношеніяхъ, но что нужно, во что бы то ни стало пужно, возстановить.

Я вечеромъ поздно уходилъ отъ редактора «Дѣтскаго Чтенія», Альбовъ вынелъ меня проводить, и по дорогѣ какъ-то невольно оба сразу выразили

¹⁾ «Болѣзнь или реклама». «Истор. Вѣстн.» 1896 г. Моя статья объ этомъ.

²⁾ Эти очерки, нѣмѣ вышедшіе вторымъ изданіемъ отдѣльною книшкою подъ заглавіемъ «Дѣтскія дѣти и ихъ наставники», дѣйствительно въ первой ихъ редакціи были напечатаны въ журналѣ Д. И. Тихомирова.

желаніе поговорить съ глазу на глазъ въ какомъ-нибудь нейтральномъ помѣщеніи.

— Зайдемте въ «Эрмитажъ» или «Большой Московскій», — предложилъ я.

— Туда ни за что! Въ такіа аристократическія заведенія я не захожу, а вотъ пойдемте въ трактиръ «Саратовъ» — тамъ чувствуешь себя по душѣ, по-простенки, да и типы тамъ интереснѣе.

Тутъ сказался весь Альбовъ съ его природнымъ демократизмомъ и тяготѣніемъ къ сѣрому люду, который онъ на протяженіи своей литературной дѣятельности такъ глубоко изучилъ и любилъ обрисовывать. И, дѣйствительно, мы очутились вскорѣ въ какомъ-то третьеразрядномъ ресторапѣ съ его нипящимъ и гудящимъ органомъ, съ его сомнительной чистоты половыми въ рубахахъ и въ окруженіи именно той публики мужского и женскаго пола, среди которой мой собесѣдникъ чувствовалъ себя по настоящему, въ своей тарелкѣ.

За стаканомъ вина всѣ большыя вопросы, все недавнее прошлое всплыло наружу, и на мой вопросъ: какъ чувствовалъ онъ себя безъ меня въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», почему онъ оттуда ушелъ? Михаилъ Ниловичъ своею обычно запякающей рѣчью, съ вѣчнымъ вскидываніемъ пенснэ и первыми поднятіемъ головы началъ говорить. Оказалось, что онъ на меня въ претензіи и считаетъ, что я сыгралъ дурную роль въ его жизни.

— Вы меня толкнули на такую дорогу, о которой вспоминаю съ ужасомъ и болью. Я изстрадался тамъ и вынужденъ былъ поступаться моими заветными симпатіями и убѣжденіями. Я ставилъ свое имя на оберткѣ журнала, гдѣ поливалось грязью все то, что мнѣ было всегда дорого и съ чѣмъ я считалъ себя тѣсно связаннымъ...

— Но, вѣдь, я васъ въ свое время предупреждалъ, что такъ будетъ. Къ чему же вы согласились стать моимъ замѣстителемъ?

— Вотъ тутъ-то вы и виноваты: вы задѣли мое самолюбіе, сказавъ, что я буду, какъ руководитель журнала, пулемъ, что мною будетъ помыкать Воынский и что тѣ люди, которые меня зовутъ стать во главѣ изданія, меня, какъ общественную величину, какъ писателя извѣстнаго знамени, считаютъ ни во что, величиною ограниченною.

— Въ чемъ же тутъ моя вина и при чемъ тутъ самолюбіе?

— Я хотѣлъ вамъ доказать противное, я хотѣлъ съ ними бороться и побороу...

— И...?

— И въ концѣ концовъ покинулъ журналъ съ чувствомъ безсилія и съ сознаніемъ, что сдѣлалъ ошибку, принявъ редакторство. Это была моя громадная ошибка, которой себѣ простить не могу и въ которой считаю и по-сейчасъ васъ косвенно виновнымъ.

Дальнейшая беседа протекала не так остро. Мои побуждения, добрые по отношению его, обрисовались ему не в столь мрачном свѣтѣ. Наше пребываніе въ «Саратовѣ» заключено было даже дружескимъ брудершафтомъ и дальнѣйшими странствованиями по гуляющей Москвѣ, до которыхъ милѣйшій Михаилъ Ниловичъ, въ роли наблюдателя нравовъ, былъ всегда такой охотникъ. Добрыя отношенія между нами съ того времени прочно установились, и о прошломъ не рождалось уже помину. Теперь, когда Михаила Ниловича уже нѣтъ на свѣтѣ, я, вспоминая нашъ московскій разговоръ, останавливаюсь на его признаніи о самолюбіи, которымъ онъ руководился въ 1891 году, дѣлая шагъ не по душѣ. Это признаніе чрезвычайно характерно для Альбова и отчасти освѣщаетъ вопросъ, который часто и при жизни его и послѣ похоронъ рождался среди близкихъ ему: не было ли самолюбіе тою причиною, которая побуждала его быть такимъ ушедшимъ въ себя, такимъ угрюмымъ и подчасъ раздражительнымъ? Не чувствовалъ ли онъ въ своей жизни недостаточную удовлетворенность этому самолюбію и былъ ли доволенъ тою ролью, тѣмъ положеніемъ въ нашей литературѣ, которая ему отвела жизнь и критика? Мнѣ извѣстно, что нѣкоторые изъ его друзей считаютъ именно самолюбіе причиною его обособленности, и наша приведенная выше беседа даетъ основаніе полагать, что въ ихъ утвержденіи имѣется доля истины. Отчасти подтвержденіе этому усматривается и изъ его раздраженія, которое онъ порою испытывалъ при лидерствѣ шумнаго успѣха нынѣшнихъ модныхъ беллетристовъ съ ихъ баснословными гонорарами, которыхъ ни онъ, ни его поколѣніе писателей никогда и во снѣ не видѣли. Его, вѣчно пуждавшася и жившаго, что называется, съ хлѣба на квасъ, эти гонорары какъ-то раздражали и сердили.

Мои встрѣчи и бесѣды съ Альбовымъ за послѣднее время происходили преимущественно на Невскомъ проспектѣ, во время его обычныхъ прогулокъ по предписанію доктора отъ Знаменія къ Адмиралтейству для моціона. Помимо этой необходимости прогулки эти хоть нѣсколько разнообразили его одинокую жизнь, отвлекали его отъ себя и питали его сторонними и новыми впечатлѣніями. Сопутствуя ему иногда въ этихъ прогулкахъ и заходя съ нимъ по дорогѣ въ посѣщаемыя имъ кофейни Филиппова, Исакова, Андреева, расположенныя по Невскому, я явственно видѣлъ, что Альбовъ таетъ, слабѣетъ и понимаетъ, что его смертная бѣда не за горами. Самъ онъ, хотя и не любилъ говорить о грозившей ему опасности и, по словамъ его друзей, даже чувствовалъ паническій страхъ передъ призракомъ смерти, все продолжалъ жаловаться на удручающе его недуги. Не забуду, какъ однажды осенью при встрѣчѣ онъ радостно заявилъ мнѣ, что освободился отъ своего вѣчнаго кашля.

— Я былъ въ Крыму, и Елпатьевскій (докторъ и небезызвѣстный писатель) настоялъ, чтобы я бросилъ курить. Весь мой кашель въ горлѣ, и

папироска мой ядъ. Но представь себѣ, что случилось. Съ послѣдней брошенной папироской я потерялъ совершенно способность къ писанію. Точно меня отшибло, а безъ писанія, безъ пробы пера я скучаю.

Прошло нѣкоторое время, Альбовъ крѣпился, не курилъ, но зато и не писалъ и, какъ мнѣ казалось, чувствовалъ себя еще болѣе удрученнымъ, чѣмъ обычно. Но вотъ я встрѣчаю Михаила Ниловича снова на улицѣ; онъ кашляетъ и отказывается говорить на воздухѣ. Оказалось, старая привычка взяла верхъ надъ усилями воли, — онъ закурилъ, и его снова потянуло къ черниламъ, къ бумагѣ, къ вымыслу. Правда, за эти годы печатно съ новымъ произведеніемъ онъ нигдѣ не появлялся, но, какъ передавалъ на его похоронахъ извѣстный критикъ К. И. Чуковский, Альбовымъ написана большая повѣсть «Ночная жуть»¹⁾, гдѣ авторъ передаетъ впечатлѣніи своего героя, переживаемыя имъ въ бессонную ночь, его воспоминанія о прожитой жизни въ ассоціаціи живыхъ образовъ и предметовъ. Эту свою новую вещь, почти оконченную, онъ читалъ на дачѣ молодому критику еще лѣтомъ 1910 г., и, по его словамъ, тутъ имѣются страницы въ полномъ смыслѣ великолѣпныя, въ Альбовскомъ духѣ, съ замѣчательной реалистической отдѣлкой деталей, которыя, какъ живыя и наглядныя, выступаютъ съ нарисованнаго полотна.

Скромно, болѣе чѣмъ скромно протекали похороны Михаила Ниловича на Волковомъ кладбищѣ. Петербургъ въ затихнѣй лѣтней жизни слабо отозвался на эту смерть, и пѣвецъ нашей сѣверной столицы и ся талантливый художникъ-портретистъ былъ скромно, безъ рѣчей и вѣнковъ²⁾ опущенъ въ мѣсто вѣчнаго упокоенія, какъ тихо и скромно протекала и его жизнь. Сирою была она для него, такимъ же сирымъ былъ и послѣдній его похоронный часъ...

¹⁾ Нынѣ она напечатана.

²⁾ Вѣнокъ былъ возложенъ только фирмою Маркса «Нива».

Д. Н. МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ.

Дмитрій Наркисович Маминъ въ послѣдніе годы своей жизни пребывалъ какъ бы на положеніи литературнаго инвалида, и только повторныя отдѣльныя изданія его многочисленныхъ произведеній напоминали публикѣ объ этомъ выдающемся представителѣ нашей беллетристики 70-хъ годовъ. Тяжелый недугъ съ неумолимой послѣдовательностью подтачивалъ его богатырскій организмъ, и въ послѣднее время онъ все рѣже и рѣже появлялся въ писательской средѣ, которая его лично любила, какъ великолѣпнаго товарища, занятнаго и веселаго собесѣдника, вносящаго въ окружающую среду запастъ задумчивости, безобидной шутки и незлобиваго смѣха.

Я состоялъ съ покойнымъ писателемъ въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ, начиная съ 1890 года, когда Дмитрій Наркисовичъ появился въ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника» съ объемистой рукописью, предназначенною для областного отдѣла журнала и посвященною описанію добычи на Уралѣ золота и платины. Желаніе Мамина принять участіе въ органѣ, мною руководимомъ, доставило мнѣ немалую радость, и между мною и этимъ, тогда уже извѣстнымъ, писателемъ скоро завязались дружескія отношенія. Высокій, статный, съ умнымъ красивымъ лицомъ, выразительными глазами, его импонирующій образъ сразу располагалъ къ себѣ, вызывая симпатію и естественно заставляя думать, что предъ тобою находится отмѣченный божественною печатью человекъ съ большимъ талантомъ и широкою, любвеобильною душою. Съ тѣхъ поръ наши отношенія съ Маминымъ бывали временами очень тѣсными, и мнѣ приходилось въ разные періоды его жизни становиться къ нему въ особенную близость.

Какъ живой, стоитъ передо мной Дмитрій Наркисовичъ по прибытіи въ 1890 году въ Петербургъ, когда онъ руку объ руку съ артисткою М. М. Абрамовой свивалъ свое уютное гнѣздышко на Милліонной улицѣ, гдѣ

чувствовалось столько задушевнаго тепла и гдѣ взоръ съ любовью останавливался на этой красивой парочкѣ изъ литературно-артистическаго міра, передъ которой, казалось, развертывалась такая широкая, свѣтлая жизненная дорога. Но горе подкралось неожиданно, и преждевременная смерть унесла подругу жизни нашего писателя, оставивъ на его попеченіи малютку-дочь, которой онъ и отдалъ всю силу своей любящей души, всю силу своихъ думъ и заботъ. Тяжелый періодъ жизни наступилъ у него; горе могло его совершенно поглотить, но близкіе люди, успѣвшіе къ тому времени полюбить этого выходца изъ Урала, сумѣли его поддержать и въ томъ числѣ, главнымъ образомъ, тоже нынѣ ужъ покойные Александра Аркадьевна Давыдова и Н. К. Михайловскій. Давыдова на первыхъ же порахъ приняла на себя попеченіе и заботу объ осиротѣвшей Аленушкѣ,—такъ звали дочь Мамина,—и избавила его отъ тѣхъ хлопотъ, которыя не всегда бываютъ подъ силу мужчинамъ. За эти услуги Маминъ чувствовалъ себя безконечно обязаннымъ Давыдовой, и когда она основала журналъ «Мірѣ Вокругъ», вполнѣдствіи перекрещенный въ теперешній «Современный Міръ», онъ оказалъ ей своимъ художественнымъ перомъ сильную поддержку, работая на изданіе на самыхъ льготныхъ условіяхъ.

Я помню посѣщеніе Маминымъ издательницы «Міра Вокругъ» въ Іюль-мѣ въ 1895 году и видѣлъ всю ту безконечную признательность, которую онъ ей дарилъ въ отвѣтъ за все то доброе, что когда-то Давыдова сдѣлала и для него, и для его дочери. Равнымъ образомъ отдавалъ онъ и свои лучшія чувства Михайловскому, котораго высоко ставилъ и какъ писателя, и какъ общественнаго дѣятеля, и какъ человека.

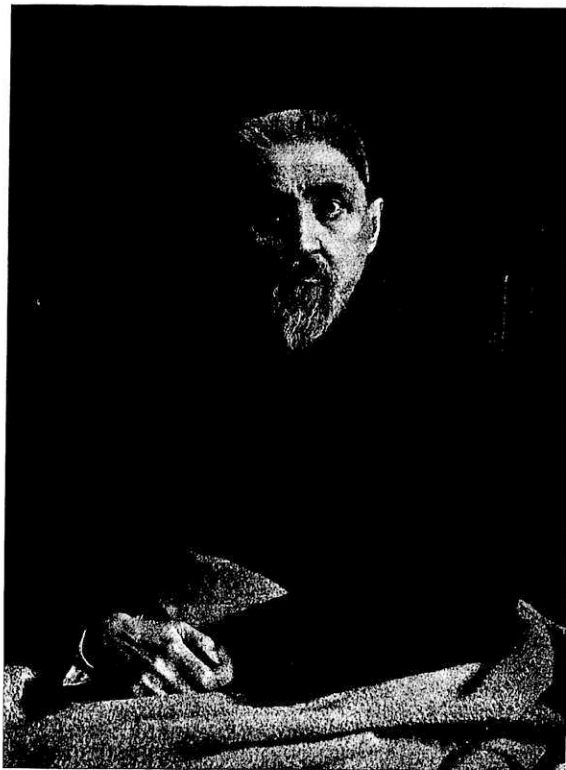
Когда на послѣднемъ писательскомъ сѣздѣ среди нѣкоторыхъ литературныхъ кружковъ говорили, что на сѣздѣ не участвуютъ крупныя литературныя силы, Маминъ, обращаясь къ своимъ провинціальнымъ коллегамъ, говорилъ:

— А гдѣ онѣ, крупныя-то силы? За свою многолѣтнюю литературную дѣятельность я зналъ только одного крупнаго писателя—и этимъ писателемъ былъ покойный Николай Константиновичъ Михайловскій.

Послѣдній питалъ къ Сибиряку чувство большой любви, высоко ставилъ его «стихійный талантъ» и всегда любовался проявленіемъ его оригинальнаго ума, мѣткостью его опредѣлений и живописностью рѣчи, какъ въ личной бесѣдѣ, такъ и въ писаніи. Но рядомъ съ этимъ за Михайловскимъ передъ Маминымъ былъ тяжкій грѣхъ: онъ не удосужился въ своихъ критическихъ работахъ дать должную характеристику литературнаго творчества Мамина, поставить его въ нашей журналистикѣ на надлежащее мѣсто и тѣмъ самымъ своимъ авторитетомъ критика-публициста освободить его отъ того замалчиванія и непониманія нашей общей критикою, которыми она провинилась передъ почившимъ писателемъ.

Кроме личной раны, о которой упомянуто выше, замалчивание Мамина критикой было также большим местом в его жизни, и иногда в этом отношении при всей скрытности своего характера, скупого на автобиографический материал, он невольно давал волю своему накопившемуся большому чувству. Так, в одну из наших последних встреч в Павловске у умиравшего А. М. Скабичевского он прорвался после лишнего выпитого стакана вина. Вспоминая свое прибытие в Петербург и «представление» корифеям нашей критики, Мамин со смехом, в котором, однако, слышались ноты не то обиды, не то сарказма, оти́тил, как несколько свысока отнесся к нему Скабичевский и как последний припиливал к нему кличку «беллетриста-этнографа». Эта кличка казалась ему обидною, и он раздражался, что критика в его произведениях не находила ничего более замечательного, как элемент этнографии. Более сдержанно отнесся он к тому, что Михайловский просто замолчал его, оти́тив лишь «стихийность» его дарования, и однажды в беседе со мною в Москве, где мы одновременно очутились по литературным делам, уже после смерти знаменитого социолога-публициста, Мамин просто с огорчением подчеркнул этот факт. Узнав, что Михайловский как-то в разговор со мной удивлялся даровитости автора «Уральских рассказов» и выдвигал с особенною силою своеобразность его таланта, не укладывавшегося ни в какие шаблонные рамки, он упорно требовал от меня возстановить в памяти все то, что редактор «Русского Богатства» про него говорил. Видно было, что он дорожил каждым его словом, как словом не только выдающегося писателя, но и человека, к которому он крепко был привязан. Мне кажется, что, оставшись живъ Михайловский еще в которое время, и жизнь Мамина не скоро прекратилась бы; он сумел бы удержать своего младшего друга от тех грехов и ошибок, в которые он впадал все чаще и чаще в последние годы и которые ускорили его роковую развязку жизни.

Человек удивительно общительный, стоявший вглубь всяких партий, наш беллетрист имел много приятелей, но друзей, настоящих друзей у него было мало, перед которыми бы он развертывал всю широту своей прекрасной души, и одиночество в идейном, культурном смысле было, на мой взгляд, несомненным спутником его жизни. При всей шумности своего поведения на людях, шумности, покрытой постоянным смехом, бравадными речами, вечными шутками и прибаутками, в нем таилась какая-то тоска, которую он глубоко оберегал в своей душе, не давая к ней прикасаться чужим рукам. Его произведения, рассмотренные под этим углом зрения, могут дать в распоряжение изучающих их богатый материал. В обилии найдется этот материал и в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко», где автор нарисовал не-



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
(в период своей боляни).

мало страниц из ранних лет своей жизни первого периода пребывания в Петербурге, некоторыми страницами которого я в дальнейшем воспользуюсь для характеристики писательской физиономии почившего беллетриста.

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 году в Екатеринбурге в духовной среде. Я помню большой портрет, висевший в 90-х годах над его письменным столом, изображавший собою почтенного иерея, — это было изображение его отца. Среднее образование прошел он в той же родной духовной среде, а для получения высшего приехал в Петербург, где учился то в ветеринарном институте, то в университете, но ни в одном из заведений курса не окончил, — того не позволили ему средства, и он с молодых лет погрузился в тяжелую мелкую газетную работу. Каждый день брался с бою построчной платой мелкого репортажа, который изсужал силы, но не давал необходимой пищи молодому организму. «Какая это ужасная вещь — голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание, — говорит он в своем автобиографическом романе «Черты из жизни Пешко». — Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значить вечно недобывать». Вспоминая об этом репортерском периоде своей жизни, писатель далее повествует: «Мое репортерство быстро пошло на ход, и в какой-нибудь миг я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть репортерами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому в семь часов вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого дела, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона жизни газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, — за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в обиходнейшем смысле, погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько вьдается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей¹⁾. Меня поражала прежде всего его изумительная

¹⁾ Фамилия вымышленная.

аккуратность, — аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним выдать около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хотя на пять минут.

«Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведующие отделами вообще и просто газетная сошка. В сущности получались две неравные «половины»: с одной стороны газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой стороны — безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделах мелких известий, замѣток, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-нибудь его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии».

Одновременно с этой репортерской работой Мамин задумывает и писание романа и все в то же время очерках «Из жизни Пешко» дает характерные страницы процесса своего творчества и отмечает, каким путем и каким методом работы он шел к намеченной цели. Он повествует: «Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось до десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недостало прежде всего знания жизни и технической опытности... У этого первого произведения прежде всего было одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное — была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим — и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно вил бы и сам написал то же самое. И как понятно — ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самую тайную мысль, всю ложь и неправду жизни. Что писать после этих избранных, с которыми говорила морская волна и для которых звѣздная книга была ясна...

«Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности — действующие лица ни-

как не укладывались в предлагаемые рамки, и само действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда—собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мир было всего два цвета—белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описывать свое родное гнёздо, когда Гоголь уже навски описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Попку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю,—все это было так старо, заурядно, и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Да и что можно было написать, сидя в нашей проклятой муравь? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

«Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это—описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем, и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная с песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражания тем образцам, которые помечены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-реторическим стилем à la Гоголь, потом старательно себя усвоил манеру красивых описаний à la Тургенев и только под конец понял, что и Гоголевская природа и Тургеневская—объ не русская, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, и горная—у Лермонтова,—эти два автора навсегда остались для меня недостижимыми образцами. Надь выработкой пейзажа я бился около двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно ознакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению

с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально русскую хорошую тоску по северу; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подвигает роскошью своих красок и богатством светотени. И там, и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... Красота, вообще, вещь слишком условная, а красота типичная—вещь определенная. Северные сумерки и рассветы с шелковым небом, молочной мглой и трепетными полусветами, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июле утро с вечером сходится,—все это было наше родное, от чего поет и горит огнем русская душа; бархатная синяя южная ночь с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря—тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубокого недовольственного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветы, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее вражущим простором, разливы могучих рек,—все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячами ярких живых красок—цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися кустами южных деревьев. С каким удовольствием я провирал описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Надь рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Возвращаясь в другом месте к первым шагам на пути своей беллетристической работы, Мамин говорит: «Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, два-три удачные сцены, два-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное дѣтище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я несколько не обманывал себя и видел этот тернистый путь. Что же, у всякого своя тернистая дорога... Ведь музыкант прежде, чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник то же, и одна теория ни тому, ни другому не дает ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором,

и въ этомъ громадная разниа. Конечно, и у автора есть свой подражательный періодъ, который только постепенно сдвигается тѣмъ *своимъ*, что одно только и дѣлаетъ автора. Въ этомъ *своимъ*, какъ бы мало оно ни было, заключается весь авторъ, разниа только въ степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтеръ-офицеры.

«Всѣ эти мысли и чувства проходили у меня довольно безсвязно, путались, сбивали другъ друга и производили тотъ хаосъ, въ которомъ трудно разобраться. А нужно было жить, нужно была работать...»

Изъ приведенныхъ выдержекъ мы усматриваемъ, какъ бережно, благоговѣнно нашъ писатель готовился къ своему служенію печатному слову, для котораго у него въ душѣ создавалось и окрѣпло настоящее «какое-то мистическое уваженіе». Онъ съ особенною поэтою любовью вспоминалъ первыя свои появившіяся въ печати произведенія и говорилъ по поводу ихъ: «Первыя печатныя строки... Сколько въ этомъ прозаическомъ дѣлѣ скрытой молодой поэзіи, какое пробужденіе самостоятельной дѣятельности, какое окрыляющее сознаніе своей силы! Объ этомъ много было написано, какъ о самомъ поэтическомъ моментѣ, и эти первые поцѣлѣи остаются навсегда въ памяти, какъ полуистлѣвшія отъ времени любовныя письма».

И благоговѣніе къ писательству, какъ къ цѣломудренному долгу передъ родиной, Маминъ сохранилъ до конца своихъ дней. Для характеристики этой черты жизни почившаго романиста приведемъ любопытную сценку изъ фельетона Гр. Петрова («Русское Слово», 1912 г., № 245), посвященнаго юбилейнымъ днямъ Мамина-Сибиряка. Сотрудникъ этой газеты вспоминаетъ:

«Лѣтъ десять тому назадъ въ Петербургѣ образовались и лѣтъ пять продолжались товарищескіе литературные обѣды. По средамъ собирались наиболѣе крупные писатели-художники, жившіе въ столицѣ. Случалось, навѣртывались дорогими гостями и пріѣзжіе изъ Москвы или провинціи писатели.

«Помню, въ серединѣ одного изъ такихъ обѣдовъ кто-то изъ служащихъ сообщать, что пришло нѣсколько студентовъ, которые желаютъ видѣть господъ писателей.

«Кого именно?—спросило нѣсколько недоумѣвающихъ голосовъ.

«Всѣхъ вообще,—пояснилъ докладчикъ.

«Попросите войти,—чуть не въ одинъ голосъ радушно пригласили всѣ обѣдавшіе.

«Были покойный романистъ-историкъ Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. Н. Потапенко, К. С. Варанцевичъ, человѣкъ десять писателей съ именами на всю Россію.

«Минутъ черезъ пять явились гости, три-четыре франтоватыхъ, молодыхъ безусыхъ студента. Непринужденно раскланились, назвали свои фамиліи и съ большою развязностью заявили:

«— Мы къ вамъ, господа, представителями. Отъ молодежи, студенчества. Называютъ событія, нужны вѣскія слова. У студенчества также есть что сказать, и мы рѣшили говорить: хотимъ издавать журналъ. Обсуждая программу и вообще веденіе журнала, мы, между прочимъ, и надумали, что не лишнее было бы пригласить и писателей съ именами. Направились сегодня, навѣдались въ двухъ-трехъ мѣстахъ,—нѣтъ никого дома. Спрашиваемъ: гдѣ? Говорятъ: «на литературномъ обѣдѣ». Мы и рѣшили.

«— Дай,—думаемъ,—сразу захватимъ всѣхъ.

«Потому и рѣшили побеспокоить васъ здѣсь.

«Писатели съ именами» любезно пригласили молодежь къ столу, охотно обѣщали свое содѣйствіе.

«— Тогда наша миссія исполнена,—быстро поднялись юные гости.—Мы торопимся далѣе по дѣламъ. Приносимъ благодарность.

«Бойкіе молодые люди вышли, а писатели остались въ какомъ-то недоумѣніи. Чувствовалась въ душѣ легкая горечь. Всѣ молчали,—кто потупился въ раздумьѣ, кто оглядывая исподлобья сосѣдей.

«— Каково?—тряхнувъ головою въ съ искрами юмора въ живыхъ глазахъ, глянулъ Д. Н. Маминъ слѣдъ ушедшимъ.—Какой смѣлый народъ пошелъ! На губахъ материна молоко не обохло, усами не обзавелись, а уже журналъ свой заываютъ, собираются говорить свое слово на всю Россію и, между прочимъ,—замѣтьте—между прочимъ, считают не лишнимъ пригласить нѣсколько писателей съ именами. Осчастливили, удостоили, а затѣмъ потнули хвостиками и адыю: имъ некогда!

«— Да я въ ихъ годы, на ихъ мѣстѣ, попади студентомъ въ общество, подобное нашему теперь,—я бы подъ столъ спрятался отъ смущенія, не зналъ бы, куда притулиться, сидѣлъ бы хотя сутки, а тутъ, глядите-ка, какіе моншеры: сразу не меньше, какъ съ журнала, и всю крупную литературную рыбу только на пристяжку. Эти далеко пойдутъ. Не догонимъ. Свезти,—ничего не свезуть, ничего и не вывезутъ, но сами далеко проберутся. Ръзавики!—посвисталъ Дмитрій Наркисовичъ Маминъ.

«Я вспомнилъ эту сцену наканунѣ литературнаго праздника Дмитрія Наркисовича Мамина-Сибиряка не для опредѣленія развязныхъ молодыхъ людей, которые ничего и не сказали, и не написали, и даже не начинали, а для выясненія настроенія заслуженнаго литературнаго гвардейца, стараго писателя дѣйствительно добраго стараго литературнаго времени.

«Имѣйте уваженіе къ литературѣ и къ вашей литературной работѣ,—писать В. Вѣлискій Ѳ. М. Достоевскому въ началѣ литературной дѣятельности послѣдняго.—Только уважая сами литературу и вашу творческую работу въ литературѣ, вы сможете заслужить уваженіе читателя къ вамъ».

«И вотъ въ горькомъ юморѣ Д. Н. Маминъ по поводу нежданнаго налета в. в. велискій.

развальной молодежи нежданно сказало глубокое уважение истинного писателя к великому служению художественным словом.

«Сами мы, как люди, как человеки Божьи, обшитые кожей, можем быть и такие, и сильные,—можно сказать в духе добродушного юмора Дмитрия Наркисовича,—но наше творчество, наша литературная работа, писательство, это, это... это—служение, священнодействие: ни набздничества, ни наскока, ни базара, ни забывающа напояз тут быть не может».

«И если бы в пояснение приведенных слов нужна была живая иллюстрация, то, как примѣръ строгого литературного цѣломудрія, смѣло можно было бы привести Д. Н. Мамина, автора «Золота», «Приваловскихъ миллионѣвъ», «Чертъ изъ жизни Пепко» и чудныхъ «Аленушкиныхъ сказокъ». Эти слова Гр. С. Петрова какъ нельзя лучше характеризуютъ Мамина, какъ писателя-профессионала, и, быть можетъ, отмѣченнымъ свойствомъ его литературнаго дарованія и литературнаго мировоззрѣнія и объясняется то, что количество созданнаго имъ не совѣтъ соразмѣрно съ тѣми мощными силами, которыя были заложены въ него природою. Онъ не раздѣливался на мелкую монету, былъ щепетливъ въ выборѣ себѣ мѣста сотрудничества и отдавалъ въ печать только тогда свое произведение, когда оно было имъ всесторонне обдумано и въ воображеніи конструировано во всѣхъ его подробностяхъ. Тогда онъ садился за работу (по преимуществу по утрамъ) и создавалъ ее почти безъ всякихъ помарокъ и поправокъ. Работа шла у него удивительно легко, и просто можно было любоваться, съ какою быстротою испеивались имъ листы почтовой бумаги большого формата».

Выносивъ и воспитывъ въ себѣ перворазряднаго беллетриста, Дмитрій Наркисовичъ въ 1882 года дебютируетъ сначала въ журналѣ «Дѣло», а затѣмъ переходитъ въ «Отечественныя Записки», гдѣ появляются его большіе произведенія: «Юицы», «Золотуха», «Горное гнѣздо», «Приваловскіе миллионы» и другіе рассказы. Въ концѣ 80-хъ годовъ количество имъ написаннаго достигаетъ такого размѣра, что его рассказы выходятъ отдѣльно въ двухъ томахъ («Уральскіе рассказы»), куда, однако, не вошли большіе романы. Такимъ образомъ, крупное литературное имя было создано, и писатель послѣ многихъ лѣтъ мыканья по газетнымъ задворкамъ вышелъ на широкую дорогу, гдѣ судьба увѣчала его извѣстностью и почетомъ. Но жизнь и работа въ столичномъ городѣ не могла давать духовнаго удовольствія былому провинціалу: его изъ городскихъ тѣсныхъ каменныхъ гробовъ съ ихъ трагичной обстановкой, являющейся удѣломъ, по большей части, нашихъ начинающихъ писателей, борющихся за право жизни и право творчества, тянуло на просторъ, въ тайгу, въ лѣсъ, въ степь, на лоно природы. Все въ томъ же автобиографическомъ романѣ онъ по этому предмету пишетъ: «Я мечталъ лѣтомъ пробраться въ свои степи: это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствіе: не было денегъ на поездку».

Такимъ образомъ мнѣ пришлось провести два ужасныхъ лѣта въ Петербургѣ, и я утѣшалъ себя только расчетами на третье. Но, увы!—этой мечтѣ не суждено было сбыться... Какъ разъ передъ послѣднимъ экзаменомъ я получилъ письмо отъ отца, въ которомъ было такъ много хорошихъ совѣтовъ и не было денегъ на поездку. Деньги, проклятыя деньги! онѣ отнимаютъ у насъ даже родное небо, родное солнце, ласки любимыхъ людей,—однимъ словомъ, все хорошее и самое дорогое. Я очень любилъ и уважалъ отца. Это былъ простой и добрый, но строгій человекъ, смотрѣвшій на жизнь серьезно. «Перебейся какъ-нибудь лѣто въ Питеръ»,—писалъ онъ:—конечно, это тебѣ покажется скучнымъ, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтаютъ попасть въ Петербургъ, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да такъ и остаются въ глуши. Пользуйся случаемъ... Кончишь курсъ, поступишь въ провинцію на службу, и еще неизвѣстно, удастся ли тебѣ въ другой разъ видѣть эту знаменитую столицу». Милый старикъ, какъ онъ мило ошибался... Чудеса Петербурга—верхъ наивности. Съ какою радостью я поспѣлъ бы къ чорту эти чудеса, чтобы учиться туда, на дорогую родину».

И вотъ, что было для него недосягаемымъ въ дни студенческаго ботемства и репортерскаго мыканья, становится достижимымъ съ приобретениемъ литературнаго имени: онъ посылаетъ къ чорту наши столичные чудеса и присоединяется снова къ той уральской жизни, гдѣ у него были такъ живы и святы всѣ впечатлѣнія молодого бытія, гдѣ передъ нимъ снова въ величественной панорамѣ предсталъ Уралъ съ его своеобразной жизнью, людьми, нравами и бытомъ, откуда онъ почерпалъ широкоую рукою содержаніе и темы для своего творчества. Уралъ, рядомъ съ своеобразіемъ своей бытовой жизни, далъ ему богатое поле наблюденія надъ коренными типами русской жизни, изъ которыхъ одна часть являлась представителями дореформенной Россіи, другая—новаго уклада вещей. Эта дореформенная Россія, примитивная, наивная, своеобразная, неповоротливая и неприспособленная, ярко парисована имъ въ цѣломъ рядѣ произведеній въ моментъ ея распада подъ напоромъ новыхъ влѣній, взявшихъ свое происхожденіе изъ тѣхъ началъ цивилизации, которыя принесли съ собою освободительные шестидесятые годы. И рядомъ съ этой отживающей стариной онъ поставилъ типы новѣйшей формации, жаждущіе, ищущіе, часто хищные и неприглядные, для которыхъ ничто въ старомъ не было дорого и которые старательно сметали это старое, не умѣя, однако, на очищенномъ мѣстѣ создать ничего положительнаго, устойчиваго и красочнаго, что бы привлекло глазъ и вызвало сочувствіе къ своей внѣшней и внутренней сторонѣ. Между этими двумя сторонами старой и новой Россіи онъ вывелъ рядъ промежуточныхъ типовъ, «неготовыхъ къ сильной борьбѣ» и гибнущихъ въ своемъ безсиліи завѣсть себѣ право жизни. Всѣ эти стороны русской жизни и типы выведены имъ въ рядѣ романовъ, къ главнѣйшимъ изъ которыхъ относятся «Три конца», «Золото»,

«Хлѣбъ», «Приваловскіе миллионы», «Охонини брови», «Вратья Гордѣвы» и цѣлый рядъ другихъ болѣе мелкихъ произведеній, вошедшихъ потомъ въ отдѣльные сборники.

Творчество Мамина привлекало къ себѣ вниманіе читателей, и онъ уже къ концу восьмидесятыхъ годовъ сталъ однимъ изъ любимыхъ русскихъ беллетристовъ, чьего сотрудничества старательно искала наша еженѣдная журналистика, но о которомъ «партильная» критика не находила сказать ничего живого и оригинальнаго. Онъ, печатаемый въ нашихъ журналахъ лѣваго лагеря («Вѣстникъ Европы», «Дѣло», «Отечественныя Записки», «Устои», «Русская Мысль», «Русское Богатство», «Миръ Божій», «Русскія Вѣдомости»), стоялъ совершенно независимо въ роли художника-моралиста безъ крикливаго завыванія и заигрыванія съ прихотливыми вкусами публики и живописалъ свои широкія полотна свободной кистью, выбирая краски не изъ заказныхъ редакціонныхъ ящиковъ, а заимствуя изъ той сокровищницы, которую одарила его книга жизни.

Рядомъ съ перечисленными романами большого бытового значенія онъ далъ серію произведеній съ болѣе суженой сферой дѣйствія и берущихъ свое содержаніе изъ жизни русской интеллигенціи. Таковы «На улицѣ», «Первые студенты», «Надо поощрить искусство», «Ученое горе», «Черты изъ жизни Пенко», «Дѣтскія тѣни» и другіе. И въ этой серіи произведеній мы видимъ все того же писателя-гуманиста, вырисовывающаго рядомъ съ типами сильными и слабыми людей, которыхъ онъ призываетъ щадить, любить, жалѣть. Эпоха семидесятыхъ-восьмидесятыхъ годовъ дала ему въ распоряженіе богатый матеріалъ, анализируя который, историкъ того времени уловитъ живое дыханіе жизни, вѣянія времени и все то смутное, неопредѣленное, что понемногу подготовило буйное и развратное время текущаго столѣтія.

Возвращеніе на родину оживило Мамина; онъ, подобно мнѣстескому герою, прикоснулся къ лону родной земли и быстро всталъ во весь свой могучій ростъ, какъ областникъ и бытописатель коренной Россіи. Эта послѣдняя переливалась въ его произведеніяхъ всѣми своими причудливыми красками, ярко сказывалась въ личныхъ свойствахъ его характера и создавала изъ него тотъ притягательный типъ, который нельзя было не любить всякому, кто къ нему вплотную, близко-близко подходилъ. Живя на родинѣ, онъ принялъ на себя поддержку своей осиротѣвшей семьи и представилъ изъ своего заработка средства къ полученію образованія младшими ея членами. Онъ помогалъ вообще всѣмъ обращающимся къ нему, зная по опыту, какъ тяжело живется людямъ въ матеріальной неволѣ.

Въ девятидесятыхъ годахъ, послѣ вторичнаго возвращенія въ столицу, вмѣстѣ съ артисткой Абрамовой, мы видимъ его ревностнымъ сотрудникомъ «Русской Мысли», гдѣ тогдашніе руководители журнала, въ лицѣ Лаврова,

Гольцева и Ремизова (все также нынѣ покойные!) высоко цѣнили талантливаго бытописателя Урала. Позднѣйшіе эпигоны этого журнала уже на нашихъ глазахъ, забывъ свое литературное родство, вмѣстѣ съ тѣмъ забыли Мамина, упуская изъ виду то многое цѣнное, что имъ въ свое время было сдѣлано для этого московскаго изданія. Онъ съ горечью говорилъ мнѣ, что ему даже перестали высылать журналъ, точно его нѣтъ въ спискахъ живыхъ писателей. «Коммерческіе люди, — съ обидой улыбка говорилъ онъ, — Волень, не работаю, ну — и за окно, какъ выжатый лимонъ». И онъ комически дѣлалъ одинъ изъ своихъ любимыхъ жестовъ и, вынувъ неразлучную трубочку съ табакѣмъ изо рта, присвистывалъ.

Послѣ своей драмы семейной жизни и послѣ услугъ, оказанныхъ ему Давыдовой, онъ становится дѣятельнымъ сотрудникомъ «Мира Божьяго», а также «Дѣтскаго Чтенія» Д. И. Тихомирова, журналъ котораго снабжаетъ своими прелестными дѣтскими разсказами. Но дружеская его близость съ Давыдовой и съ официальнымъ редакторомъ «Мира Божьяго» В. П. Острогорскимъ не распространяется на прочій редакціонный составъ, отъ котораго онъ становится въ изолированное положеніе, какъ бы усматривая въ его отношеніяхъ къ себѣ недостаточную опѣнку и чувство дружбы. То же самое мы видимъ въ его отношеніяхъ къ «Русскому Богатству», гдѣ онъ близко стоялъ только лично къ Михайловскому, ради котораго онъ готовъ былъ при всякихъ условіяхъ нести свое сотрудничество въ этотъ журналъ. Ему редакціонная кружковщина просто претила; здѣсь онъ видѣлъ партійную узость, которая во имя извѣстныхъ программъ готова уложить и его самобытный талантъ на Прокрустово ложе. Исключеніемъ былъ въ его глазахъ лишь С. Н. Южаковъ, тоже стоявшій въ послѣдніе годы въ сторонѣ отъ «молодой» редакціи «Русскаго Богатства».

Создавъ себѣ выдающееся имя бытописателя-романиста, Маминъ послѣ постигшаго его семейнаго горя, подъ вліяніемъ обожанія своей осиротѣлой дочки, съ особенной любовью отдаетъ свое перо на служеніе дѣтской литературѣ, создаетъ свои знаменитыя «Аленушкины сказки» и прочую серію дѣтскихъ разсказовъ, становясь настоящимъ другомъ и учителемъ маленькаго народа.

— Я ѣхалъ изъ Петербурга въ Москву. Тоска охватила душу въ вагонѣ, хотѣлось плакать, и слезы подступали къ горлу. Я вышелъ на платформу и задумался. И вотъ на изукрашенномъ морозными узорами стеклѣ оконной рамы, въ сіяніи лунныхъ лучей мнѣ какъ бы предстала покойная жена. Она мнѣ точно заказала беречь Аленушку и работать для нея. Я задумался: что же я могъ бы дать своей голубкѣ? — отсюда эти сказки.

Таковъ былъ отвѣтъ скончавшагося писателя автору настоящаго очерка на его вопросъ о происхожденіи его «дѣтской литературы», которая стоитъ такъ особо, такъ внѣ общей связи со всей его прочей писательской дѣятель-

ностью. Эта литература Мамин-Сибиряка так светла, красива, гуманна и поэтична, что, можно сказать, ничего другого равного ей в нашем книжном дѣтском дѣлѣ нѣтъ. Это по всей справедливости наша родная гордость, уже достаточно, впрочем, отмѣненная критикой. Недаромъ же эта категория литературнаго творчества почившаго писателя такъ пришлась по душѣ нашимъ маленькимъ читателямъ, что «Аленушкины сказки» и другіе дѣтскіе сборники автора вызвали уже не одно повторное изданіе. Психологъ и гуманистъ, Маминъ-Сибирякъ чистой своею душою и прямо-душіемъ сумѣлъ близко подойти къ дѣтской природѣ и литься для своихъ многочисленныхъ маленькихъ читателей первымъ учителемъ и проповѣдникомъ этическихъ началъ жизни. Такое положеніе могъ занять только дѣйствительно хорошій человѣкъ и талантливый Божіею милостію писатель.

Другой нашъ гуманистъ дѣтскій писатель А. В. Кругловъ въ «Голосѣ Москвы» (1912 г., № 255), номинала своего почившаго собрата подъ угломъ зрѣнія его заслугъ передъ маленькимъ народомъ, справедливо говоритъ:

«У насъ вообще не дѣйствителенъ дѣтскій писатель. Такъ же у насъ съ непозволительнымъ пренебреженіемъ относится къ дѣтской литературѣ, и заслуги въ этой области не встрѣчаютъ къ себѣ должнаго вниманія. Почившій писатель любилъ дѣтей и умѣлъ бесѣдовать съ ними. И онъ серьезно смотрѣлъ на свои рассказы для дѣтей.

«Помню, какъ онъ сказалъ мнѣ въ одну изъ встрѣчъ:

— Вы стали въ послѣднее время мало писать для дѣтей. Отчего?.. Для нихъ надо и стоить писать. Въдѣ насъ такъ немного—друзей ихъ. Не будемъ ихъ забывать!

«Я отвѣтилъ ему, что и не думаю «забывать», но другія причины временно мѣшаютъ мнѣ писать для дѣтей.

— Да, ихъ надо любить, нельзя не любить!—задумчиво промолвилъ Дмитрій Наркисовичъ.

«Это было въ началѣ настоящаго столѣтія, въ одинъ изъ пріѣздовъ Мамин-Сибиряка въ Москву.

«Онъ любилъ дѣтей и умѣлъ писать для нихъ. Его «Аленушкины сказки»—прекрасны, и ихъ можно назвать классическими въ дѣтской литературѣ. Но всѣ его рассказы для дѣтей одинаковаго достоинства, но всѣ они прекрасны, всѣ доступны, интересны и поучительны безъ поученія, т. е. поучительны своимъ содержаніемъ, своей идеей. Въ лицѣ почившаго Мамин-Сибиряка русскія дѣти, еще любящія свою литературу, а не воспитывающіяся на бульварно-уличной стриптизѣ, потеряли добраго друга-писателя. Но сочиненія его остались. Пусть же ихъ читаютъ «маленькіе люди» и воспитываются для будущей «большой работы и службы» на пользу народа, быть котораго такъ ярко и художественно изображалъ почившій въ своихъ романахъ и очеркахъ для взрослыхъ. Онъ любилъ этотъ народъ, училъ любить

его и свою юную публику, которой разсказывалъ чудныя сказки, просто и сердечно говорилъ о людяхъ труда, о ихъ жизни, радостяхъ и скорбяхъ».

Не будетъ преувеличеніемъ, если я скажу, что Маминъ-Сибирякъ поднималъ до высокой художественности нашу оригинальную дѣтскую литературу, облагородилъ ее и поставилъ своимъ преемникамъ въ этомъ родѣ такой уровень требованій, при выполненіи которыхъ мы съ нашей оригинальной дѣтской литературой можемъ стать на ряду съ первоклассными произведеніями западно-европейскаго пера. Онъ съ любовью и тщательно выбиралъ иллюстраціи для своихъ дѣтскихъ разсказовъ и сборниковъ, внимательно слѣдилъ, чтобы его «маленькая» аудитория, однако, обширная по размѣру, не только находила въ его книжкахъ и брошюрахъ, ей посвященныхъ, достойную ея духовную пищу, но и ту внѣшнюю опору, которая содѣйствовала бы развитію ея эстетическаго вкуса. Любовь къ дочери была исходною точкою этой литературы, и именемъ ея же—Аленушки—онъ украсилъ одинъ изъ лучшихъ сборниковъ своихъ дѣтскихъ повѣствованій, наименовавъ его «Аленушкины сказки», и, такимъ образомъ, связалъ имя боготворимой имъ дочки навсегда съ русской литературою.

Возмездная одинокая жизнь была не въ его природѣ, и онъ вторично женился и именно на той, которая отдала его дочери всѣ свои заботы и попеченія, замѣнивъ въ ея жизни роль второй матери. Это была извѣстная въ литературныхъ кружкахъ «тетя Оля», или иначе Ольга Францовна Гувале.

Событія жизни нашего писателя, относящіяся къ послѣднимъ десятидвѣнадцати годамъ, не блещутъ ни разнообразіемъ фактовъ, ни плодотворностью творчества, а въ послѣднія пять-шесть лѣтъ онъ явно клонился къ закатамъ и сходилъ, какъ писатель, на нѣтъ. Если литературная среда продолжала его радостно встрѣчать, какъ добраго товарища, если издатели его книжекъ, изъ которыхъ почти каждая выдержала по пѣсколку выпусковъ, дорожили имъ, какъ прибыльнымъ авторомъ, то редакціи журналовъ и газетъ какъ будто начали его забывать. Его имя, когда-то громкое и звучное, отошло куда-то вдалѣ, и образъ писателя-бытовика и областника все больше тускнѣлъ. А тутъ подкрался тяжелый недугъ, который окончательно свалилъ его на одръ тяжкихъ страданій. Послѣдніе дни этихъ страданій совпали съ сорокалѣтнѣмъ его литературной дѣятельности, и только тутъ широкіе общественные и журнальные круги встрепенулись и дали себѣ ясный отчетъ, какому крупному русскому таланту грозитъ серьезная опасность; тогда рѣшено было среди друзей отмѣтить этотъ день, выпадавшій на день его ангела, скромнымъ домашнимъ торжествомъ съ принесеніемъ ему надлежащихъ привѣтствій и поздравленій. Вотъ то трагическое, что сообщилъ въ «Русскомъ Словѣ» (1912 г., № 254) объ этомъ юбилейномъ праздникѣ А. А. Измайловъ, состоявшій въ той-депу-

тащи, которая должна была приветствовать опасно больного Мамина. Онъ повѣствуетъ:

«Когда мѣсяца полтора назадъ среди друзей Мамина возникла мысль ознаменовать его юбилей, Дмитрій Наркисовичъ уже лежалъ, разбитый параличомъ.

«— Скажите,—спросили доктора:—не окажется это чествованіе вреднымъ для него?

«— Наоборотъ,—говорилъ врачъ:—это его поддержитъ; онъ не такъ плохъ; отъ радости не умираютъ.

«Такъ создавалась та мысль о чествованіи, которое потомъ прозвучало печальнымъ сарказмомъ надъ писателемъ, такъ мало вкусившимъ медалей славы при жизни и увидѣвшимъ почетъ тогда, когда мозгъ его уже не осмысливалъ зрительныхъ впечатлѣній.

«За недѣлю до юбилея большой, старый другъ Мамина, Фидлеръ спросилъ его:

«— Можно къ тебѣ прійти на именины поздравить тебя?

«Маминъ уже давно лежалъ на одрѣ послѣдней болѣзни. Временами онъ не узнавалъ самыхъ близкихъ, но Фидлера онъ узналъ и ясно отвѣтилъ:

«— Всегда.

«— Но я приду не одинъ; придутъ и еще нѣкоторые изъ твоихъ друзей.

«— Всегда,—повторилъ Маминъ, и было ясно, что полное сознаніе при немъ.

«Еще наканунѣ юбилея и именинного дня Маминъ говорилъ своимъ близкимъ:

«— Узналъ и обласкалъ своего старого друга и земляка, художника Денисова-Уральскаго, прослушавши отрывокъ изъ одной статьи о немъ.

«Но потомъ положеніе ухудшилось. Мы, принеся ему привѣтъ литературныхъ собратѣй, не знали, удастся ли даже войти къ нему. Но на вопросъ жена Д. Н. отвѣтила:

«— Хорошо.

«И мы вошли въ его спальню, гдѣ пахло наркотиками. Ему выпрыскивали морфій и кокаинъ. Боже мой, и это былъ юбиляръ! На постели съ приподнятой головой лежалъ Маминъ,—тѣмъ прежнимъ Маминъ,—больной старикъ съ большой головой на тонкой дѣтской шеѣ, на которой жалко обрисовывались мускулы, судорожно и напряженно двигающій брови, точно онъ хотѣлъ что-то вспомнить и понять и не могъ. Тутъ были старье, прошедшіе рядомъ съ нимъ жизнь друзья его Потапенко, Карповъ, Венгеровъ, Овсянко-Куликовскій. Онъ смотрѣлъ на насъ, кажется, ничего не узнавая. Фидлеръ бережно присѣлъ на его кровать и ласково, какъ ребенка, спросилъ его о здоровьи.

«— Можно тебѣ прочитать нѣсколько словъ?

«Фидлеръ, потомъ Венгеровъ прочитали отрывки адресовъ. Онъ молчалъ, только напряженно поднималась и опускалась посѣдѣвшая бровь. Дошло ли до сознанія его то, что ему говорили? Понялъ ли онъ, что его чествуютъ, что къ нему съѣздились сотни телеграммъ? Ничего нельзя сказать. Только, когда жена спросила его, не усталъ ли онъ, онъ ясно сказалъ:

«— Очень усталъ.

«Такъ кончилось это чествованіе, которое было репетиціей похоронъ. Всѣ вышли отъ него, всѣ нескладно жалисъ по угламъ. Кромѣ комитета, было здѣсь нѣсколько редакторовъ-издателей; друзей его, знакомыхъ дамъ, была группа свѣжей, веселой молодежи—депутатія отъ сибирскаго студенческаго землячества, приходившая поздравить своего земляка. Въ сосѣдней столовой былъ накрытъ столъ, но почти никому не шелъ кусокъ въ горло; а телеграммы шли и шли, и росла ихъ горка, и были здѣсь всѣ имена: отъ Короленка, отъ Горькаго и всевозможныхъ учреждений, отъ академіи наукъ и литературнаго фонда до далекихъ сибирскихъ редакцій.

«Какъ жутко было смотрѣть на эти запоздалые привѣты, которые были бы еще года два назадъ такой радостью для этого умирающаго, а теперь звучали бессмысленной и злой насмѣшкой. Кому они были нужны? Ни ему, ни семьѣ, ни свидѣтелямъ похороннаго праздника...

«Не могло быть юбилея печальнѣе. Мы расходились съ него, какъ расходятся съ похоронъ. Было ясно, что пѣсня бѣднаго Дмитрія Наркисовича спѣта».

Вотъ тексты адресовъ, поднесенныхъ умирающему юбиляру. Отъ собратѣй и почитателей:

«Дорогой Дмитрій Наркисовичъ! Сорокъ лѣтъ назадъ нога ваша робко вступила на путь литературы, и вотъ сегодня вы и мы, друзья ваши, оглядываемся на пройденное вами многотрудное, но и многострадальное поприще большого художника, имя котораго приходитъ въ голову, когда хочется назвать имена тѣхъ, къ которымъ гордится литература. Свѣтлому богу правды и красоты вы служили съ доблестью былого великаго русскаго искусства, безъ суетливости и уступокъ духу времени. Назвать имя Маминъ-Сибиряка значить поддаться очарованію вѣковой русской боли, размаху и силѣ широкаго и мятежнаго русскаго человѣка и то тихой, то мощной прелести нашей природы. Вольный мастеръ, чуждый предвзятыхъ тенденцій, вы дали намъ на своихъ живописныхъ полотнахъ безконечное разнообразіе типовъ народа и интеллигенціи. Вы первый пододвинули къ намъ далекій Уралъ, заставили насъ жить его жизнью, познакомили насъ съ его своеобразными обитателями, довели до насъ его своеобразный говоръ. Этими художественными произведеніями вы воспитали насъ, взрослыхъ, и нашихъ дѣтей, плѣненныхъ поэтической сказкой, дышавшей жизненной правдой. Вы открыли свою душу нашимъ дѣтямъ, и они открыли вамъ свою. Вы

поняли и полюбили их, и они поняли и полюбили вас. У вас существует неразрывная связь, и «Аленушкины сказки» будут читаться, пока на Руси не переведутся «сибирский кот-Васяка-лохматый и деревенский пес «Постойко», и срая мышка-норушка, и сверчок за печкой, и пострый скворецъ въ кѣлтѣхъ, и забѣлка-пѣтухъ». Спасибо вамъ, дорогой писатель и сердечный товарищ, и пошли вамъ Богъ здоровья и счастья на многія-многія лѣта!» Адресъ покрытъ многочисленными подписями.

Всероссийское литературное общество съ своей стороны поднесло Мамину-Сибиряку слѣдующій адресъ:

«Общество привѣтствуетъ васъ съ сорокалѣтнемъ вашей литературной дѣятельности. Давно стало дорогимъ ваше имя широкому кругу вашихъ читателей и почитателей. Тепло и любовно описывали вы жизнь далекихъ маленькихъ людей, ставшихъ намъ близкими и понятными въ художественномъ воплощеніи внимательнаго и зоркаго наблюдателя. Вы пріобщили уральскую окраину къ общей русской жизни единеніемъ интеллектуальныхъ и духовныхъ интересовъ. Вездѣ—свѣтъ и тѣни и много поучительнаго въ вашихъ повѣствованіяхъ, въ вѣчной борьбѣ между исканіями жизни и человѣческими чувствами. Ярко свѣтится въ васъ это искреннее человѣческое чувство и душевная чистота въ общеніи съ природой, которую вы такъ чудесно умѣли описывать, и съ дѣтскимъ міромъ, который не потому ли вамъ такъ близокъ и доступенъ, что сердцемъ вы были и остались чистымъ наперекоръ всѣмъ жизненнымъ испытаніямъ. Желаемъ вамъ бодрости и долгихъ лѣтъ жизни и чтобы ни вамъ, ни всей Россіи не быть «въ худыхъ душахъ».

Были присланы привѣтственные телеграммы и адреса, въ томъ числѣ отъ разряда изящной словесности академіи наукъ, наконецъ-то вспомнившей того, кто уже давно по всѣмъ своимъ литературнымъ правамъ могъ составить украшеніе ея состава.

Репетиція похоронъ состоялась 26-го октября, а 3-го ноября обширная толпа писателей, учащихся, читателей и почитателей молилась на краю могилы объ упокоеніи души усопшаго раба Божіа Димитрія.

Особыхъ специально-литературныхъ рѣчей сказано не было; только личный другъ почившаго, извѣстный художникъ А. К. Денисовъ-Уральскій упомянулъ со слезами на глазахъ своего земляка, и Аполлонъ Коринфскій прочиталъ слѣдующее стихотвореніе, посвященное памяти почившаго:

Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Съ далекихъ горъ угромоу Урала,
Изъ глубины сибирскихъ деревень
Онъ къ намъ пришолъ, какъ вѣтъ безъ забрала;
Избыткомъ силъ душа его играла,
Въ его груди лежалъ талантъ-кремль.

Огнемъ бойрой самобитной воли
Ударилъ онъ по этому кремлю,—
И сотни искръ, предвѣстницъ лучшей доли,
Усылаи родное наше поле—
Навстрѣчу солнцемъ рдѣющему дню.

Сверкала талантъ и сыпалъ самоцѣпъ,
Не изсякала мощная руда
Во дни, когда заката и разсвѣты
Смѣнялись, борьбой страстей согрѣты,
Надъ попрѣшемъ свободнаго труда.

Размаха ширь, захватъ сердце глубокій,
Стихійная народная душа
Сказались въ немъ, нашли истокъ широкій
И ринулись, какъ горныхъ водъ потоки,
Въ русло живого творчества оуба.

Онъ съ нами жилъ, и жизнь вокругъ кипѣла,
Жизнь—полная больныхъ, тяжелыхъ сновъ;
Толпа рабовъ оковами гремѣла,—
А передъ нимъ—и здѣсь тайга шумѣла,
Звала мечу въ родную глушь лѣсовъ.
И взоръ вперялъ въ далекія онъ дали,
Туда, гдѣ мысли первое зерно
Возмгло въ душѣ, гдѣ очи увидали
На утрѣ лѣтъ всю глубину, всю ширь печали,
Гдѣ понимъ умъ, какъ людямъ жить темно.

И перенесъ—случайный гость столицы—
Отъ Чусовой, съ Тагила синихъ водъ
На яркія и сочныя страницы
Крѣпистыхъ героевъ вереницы,
Сибиряковъ привѣтливый народъ.

По рудникамъ, по шахтамъ, по заводамъ,
По гребнямъ горъ, по стойбищамъ лѣснымъ,
По мощныхъ рѣкъ волнующимся водамъ,
Среди прогалинь, по тропамъ и бродамъ
Пошли его читатели за нимъ.

Сроднилъ онъ съ нами чуждое намъ небо;
Сроднилъ своихъ героевъ навсегда—
Отъ скромнаго отца «Послѣдней тѣри»
До сильныхъ душъ изъ «Золота» и «Хамба»,
До коршуновъ изъ «Горнаго оуба».

Устои быта въ ихъ разладѣ съ новью,
Бои «Милліоновъ» съ хмурой ницетой
Запечатлѣли живою сердца кровью,
И красоту съ «Озониною бровью»,
И даже «Счастія дикаго» прибой,—

Все вызвалъ онъ изъ думъ завѣтныхъ сѣни...
А годы шли да шли путемъ своимъ,
Зова на жизньъ рядъ новыхъ поколѣній;
И «Дѣтскія» оплаканная «Тини»,
Какъ стая птицъ, взлетѣли передъ нимъ.

Открылся мир пытливых свѣтлыхъ глазокъ,
Миръ замысловъ лашинныхъ и простыхъ,—
Чуждаяся затверженныхъ указокъ,
Завѣтный миръ «Аленушкиныхъ сказокъ»

Онъ воплотилъ въ созданіяхъ своихъ.

Недугъ подкрался тяжкій и сурово

Холодное забвенье палоконилъ

На вес, чѣмъ жилъ, чѣмъ жить хотѣлъ онъ снова;

Послѣднее думъ заповѣдныхъ слово,—

Не лучшее ль?—онъ дѣтиямъ посвятить...

Его посвѣтовъ не заглухнетъ нива,

Какъ ни темнѣть ее туманный день,

Какъ ни глушить бурлятъ ее ревниво,

Не даромъ было звонкое огниво

Въ былые дни въ его талантѣ-кремь!

Теряся въ тревогахъ и въ сомнѣніяхъ,

Мы забываемъ зори свѣтлыхъ лѣтъ,

Мѣняемся по вѣсухъ и во мнѣніяхъ;

Но вѣро я: въ грядущихъ поколѣніяхъ

Ты будешь жить, уральскій самоцѣль!

Затѣмъ рядомъ съ могилой Гончарова Александро-Невское кладбище украсилось новымъ литературнымъ крестомъ—Димитрія Наркисовича Мамина-Сибиряка...

В. П. МИХАЙЛОВЪ-МАРТОВЪ.

Вторая половина восьмидесятихъ годовъ была несчастливымъ періодомъ въ жизни русскаго общества. Свинцовая гуча полицейско-бюрократической власти и опеки его придавила, все какъ-то сжалось, ушло въ себя, и только въ низинахъ общественности шла подспудная работа, не сулившая въ будущемъ ничего добраго и отраднаго. Въ такіе періоды, за отсутствиемъ въ свободной наличности живыхъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ современностью, обыкновенно замѣчается нѣкоторое оживленіе въ кружкахъ литературныхъ и ученыхъ. Вниманіе интеллигенціи приковывается сюда и ищетъ себѣ здѣсь лица своимъ запросамъ и интересамъ. Въ эти періоды, между прочимъ, начинаютъ обильно посѣщаться и университетскіе диспуты, гдѣ присутствующіе надѣются, хотя бы и по специальнымъ вопросамъ, все же услышать живое слово и свободную рѣчь, въ которыхъ сказался бы независимый умъ, идущій вразрѣзъ рутинѣ и казенному авторитету. На одинъ изъ такихъ специальныхъ диспутовъ въ области естествознанія я и былъ приглашенъ присутствовать однимъ моимъ знакомымъ г. В—скимъ. Въ качествѣ приманки для такого посѣщенія университета В—скій выставилъ то обстоятельство, что на предстоящемъ диспутѣ, который имѣетъ быть въ актовомъ залѣ, оппонентомъ выступитъ Владимиръ Петровичъ Михайловъ.

— Владимиръ Петровичъ съ неопровержимыми данными докажетъ, что проведеніе факультетомъ въ ученое званіе диссертанта есть своего рода кумовство. Диссертация плоха, но тѣмъ не менѣе отцы факультета собираются ее одобрить. Рѣчь Михайлова будетъ протестомъ, брошеннымъ въ лицо всему факультету.

Я былъ нѣсколько осведомленъ въ силу своей тогдашней близости къ здѣшнему университету съ нѣкоторыми закулисными теченіями тамъ и зналъ,

что Михайловъ за свое «направленіе» не пользуется милостями тогдашнихъ вершителей судеб академической жизни, съ М. И. Владиславлевымъ (ректоромъ) во главѣ. Съеновъ, ученикомъ и ассистентомъ котораго Михайловъ состоялъ, признавалъ въ немъ крупное дарованіе и возлагалъ на него большія надежды, какъ на будущее украшеніе университета. О такомъ же значеніи молодого ученаго свидѣтельствовало и правленіе университета, когда дѣлало представленіе министру народнаго просвѣщенія о командировкѣхъ его съ научными цѣлями на разные зоологическія и бактериологическія станціи. Обѣ диссертациі Михайлова, магистерская и докторская—«Къ ученію о животныхъ краскахъ» (85 г.) и «О студенистомъ состояніи бѣлковыхъ веществъ» (88 г.)—разсматривались ученымъ міромъ, какъ работы, внесшія въ науку нѣчто новое, оригинальное и вплоть самостоятельное; поэтому по окончаніи курса въ университетъ Михайловъ былъ при немъ оставленъ и занялъ мѣсто сначала сверхштатнаго лаборанта, потомъ ассистента при Съеновѣ и, наконецъ, приватъ-доцента, читавшаго съ большимъ успѣхомъ и пользою студентамъ курсъ подъ заглавіемъ «Къ ученію о животныхъ краскахъ». Вагнеръ, отбывая защиту Михайловымъ его докторской диссертациі, говорилъ, что такъ говорить по своему предмету, какъ докторантъ, можетъ только настоящій ученый, при чемъ ученый съ большимъ поэтическимъ дарованіемъ. Съеновъ, покидая Петербургъ и переходя въ Москву, указывалъ на Михайлова, какъ на желательнаго члена здѣшней университетской семьи, но, въ виду той чистки, которая послѣ эпизода 1-го марта 1881 г. въ стѣнахъ университета происходила, Михайловъ остался за флагомъ, и его явно затирали.

Съ нѣкоторыми поэтическими произведеніями Михайлова, появившимися на страницахъ «Слова», «Вѣстника Европы» и др. изданій, я былъ знакомъ и признавалъ въ нихъ бесспорное литературное дарованіе, хотя и второразрядное, но, во всякомъ случаѣ, интересное и съ несомнѣннымъ будущимъ. Всѣ эти обстоятельства побудили меня послѣдовать приглашенію на диспутъ, о которомъ сказано выше, и явиться въ актовъ залъ университета, оказавшейся, дѣйствительно, довольно наполненнымъ публикою.

Сама по себѣ и тема диссертациі, и самый диспутъ въ сущности для неспеціалиста не представляли особеннаго интереса, и являя возраженія официальныхъ оппонентовъ павѣвали скуку и сонъ. Сначала шли незначительныя замѣчанія о деталяхъ, а затѣмъ слѣдовали обычные комплименты трудолюбію молодого ученаго и интересу для науки разработанной имъ темы. Но вотъ на приглашеніе декана, обращенное къ публикѣ, не имѣетъ ли кто сдѣлать свое возраженіе, выступилъ Михайловъ, и тутъ-то я впервые увидалъ этого оригинальнаго и несчастнаго человѣка, съ которымъ судьба впоследствии на нѣкоторое время меня связала и въ жизни поэтическимъ мнѣ пришлось даже играть нѣкоторую роль.

Роста выше средняго, костистый, сухой, во фракѣ и съ широкимъ чернымъ галстукомъ бантомъ, онъ какъ-то невольно останавливалъ вниманіе своей фигурой, въ которой сказывалось нѣчто независимое и гордое. Продолговатое лицо, худощавое, съ длинными прямыми черными волосами, зачесанными черезъ голову, высокій и узкій лобъ, небольшіе, но пронзительные, нѣсколько отливающие злостью и насмѣшкой темно-каріе глаза, еспаньолка, подстриженные усы—придавали ему видъ своего рода Мефистофеля. Такая фигура не затеривается въ толпѣ, приковываетъ къ себѣ невольно взоръ и остается надолго въ памяти, оставляя воспоминаніе о человѣкѣ, бесспорно умномъ, отмѣченномъ печатію даровитости и вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнной неуживчивости и трудности характера.

Глядя какъ бы въ пространство, отъ времени до времени проводя рукою по своимъ длиннымъ волосамъ и лишь изрѣдка съ явнымъ недоброежелательствомъ останавливая свой несмѣшливый взглядъ на магистрантъ, Михайловъ говорилъ, отчеканивая и подчеркивая каждое слово, направляя смыслъ его и на своего противника, и по адресу присутствующей коллегіи, для которой появленіе «изъ публики» оппонента, да притомъ компетентнаго въ дебатируемомъ вопросѣ и насмѣшливо-злого, явно не доставляло большого удовольствія. Окончивъ свою рѣчь и признавъ за диссертацией признаки научной негодности, Михайловъ, не вызвавъ къ себѣ сочувствія публики, состоявшей, повидимому, въ своемъ большинствѣ изъ знакомыхъ ученаго диспутанта, съ нѣсколькими падменно поднятой головой и полуиронической улыбкой на тонкихъ губахъ, медленнымъ шагомъ прошелъ мимо ученаго ареопага и покинулъ залъ, не ожидая рѣшительнаго приговора факультетскаго синклита, точно желая показать, что этимъ приговоромъ онъ не интересуется и знаетъ его цѣну наперевѣ.

Я ушелъ изъ зала университета, очень заинтересованный личностью Михайлова, но, несмотря на желаніе съ нимъ познакомиться, мнѣ это какъ-то не удавалось, и вскорѣ я упустилъ совершенно изъ виду этого оригинальнаго ученаго поэта, который въ отведенномъ ему природою дарованіи удачно совмѣщалъ начала науки и литературнаго поэтическаго творчества съ преобладаніемъ въ послѣднемъ гражданскихъ мотивовъ наподобіе творчества Алексея Жемчужникова и Садовникова.

1890-й годъ былъ хлопотливымъ и полнымъ неожиданностей годомъ въ моей жизни. Ставъ во главѣ небольшого кружка молодежи, всего нѣсколько лѣтъ назадъ покинувшей университетъ, я сдѣлался юридическимъ владѣльцемъ журнала «Сѣверный Вѣстникъ» А. М. Евреиновой, который былъ отъ нея пріобрѣтенъ нашимъ кружкомъ на пажахъ. Запущенный и упавшій журналъ приходилось поднимать, оживлять, въ надеждѣ къ слѣдующему поданному году пріобрѣсти подписчиковъ и привлечь къ нему вниманіе читателей. Архитектурнымъ образцомъ для нашего дѣтища ставилась тогдашняя

«Русская Мысль», с которой мы и намеревались вступить в конкуренцию. Участие профессорских сил нам было обещано, и мы, совершенно неопытная в журнальном деле молодежь и слабоиспытанная в деле писательства, радужно смотрели на будущее, упуская из виду незначительность денежных средств, которые были собраны по подписке на пай, но без которых большое журнальное дело вести было невозможно. Организуя между прочим разные отделы, я обратился за советом, кому поручить заведывание специальным «научным отделом», к хорошему знакомому мне профессорам, Н. А. Меншуткину, П. П. ван-дер-Флигу и другим, и все точно в один голос мне заявили, что лучшего редактора проектируемого отдела, как В. П. Михайлов, мне не найти.

— Человек очень талантливый, с опытным уже литературным опытом, с знакомствами в ученом мире, либерального образа мыслей и с достаточно свободным для работы на журнал времени—чего же вам лучше!—говорил Меншуткин.—Вот жаль только, что его сейчас нет в Петербурге, почему переговоры с ним вам уже придется вести пока письменно. Он за границей. Ему дана командировка, как позолоченная пилюля за ту неприятность, которая пришлось испытать в последнее время по делам факультета.

Однаково с профессорами убеждал меня и г. В.—ский, тот мой знакомый, который в свое время водил меня на вышеописанный диспут, где я впервые увидел В. П. Михайлова. Раздобыв заграничный адрес последнего я написал ему длинное письмо, где изложил историю приобретения «Северного Вестника» и пригласил принять ближайшее участие в организации научного отдела. Благоприятный ответ не замедлил прийти, где мой корреспондент извещал меня, что его участие в отделе может обнаружиться лишь осенью, когда он вернется из командировки, а что пока он посылает мне пару своих стихотворений, которые и предлагает поместить в журнал. Одно из стихотворений было озаглавлено «Пламя Альпы», и я его напечатал в ближайшем (августовском) номере журнала. Вот оно:

Тонуть в синей мгле долины,
В мгле зеленой топь сады,
Только гордых Альп вершины
Альп полыхать горят.
И уже под душной мглой
Старый город весь печет;
Светит розовой зарей
Альпы в сумрак небес.
Но погаснет свет их чудный
Над Ааро изумрудной,
И тогда, сквозь сумрак ночи,
Только звяжд бессонных очей

Будут нам один светить
И один нам день сулить...
И не так ли, милый друг,
Если все уже вокруг
Тмою душою одето,
Нам один среди этой тьмы
Только гордые умы
Долго светят светом прошлым
В тьме застою, в мире пошлом.
Но погасит свет их чудный
Мрак застою безразсудный,
И тогда сквозь сумрак ночи
Только звяжд бессонных очей,
Звяжд познаний святой
Нам осветит край родной,
Край наш темный, край большой...
Пусть же светят эти очи
Нам во тьме ужасной ночи,
Пусть сулит хотя их свет
Нам надежду на рассвет.

Коссович, читавший «Северный Вестник», с гримасой неудовольствия пропустил к печатанию это стихотворение, замечив мне, однако, что здесь есть тенденциозность, нежелательная для тогдашнего курса «главного управления по делам печати» и что вообще Мартов (так Михайлов подписывал свой стихотворный произведения) не очень-то удобный сотрудник для подцензурного издания.

Второе стихотворение было озаглавлено «Nocturno» с посвящением некоей Александры Григорьевны Р.—ой.

Голубого юга ночь
Вся полна тепла и света.
Хороша, как сон поэта,
Голубого юга ночь...

Опьяняет запах роз,
Звон фонтанов все сильнее.
Или в эту ночь сильнее
Звон фонтанов, запах роз...

Голубого юга ночь...
Дышит ной, дышит страстью...
Весь объят твой я властью,
Голубого юга ночь.

Это стихотворение было уже образцом чистого поэтического творчества, показывавшим, что в лице Михайлова-Мартова журнал приобретает разно-

родное дарованіе, которое будет полезно редакціи на разных поприщах проявленія труда. Я, конечно, поспѣшилъ, согласно желанію автора стихотвореній, выслать ему гонораръ съ просьбой не забывать насъ и въ дальнѣйшемъ и съ выраженіемъ надежды на осеннее личное знакомство и сотрудничество.

Быль жаркій іюльскій день. Я сидѣлъ въ городѣ, погруженный въ текущую редакціонную работу, снѣша съ выпускомъ запущенныхъ предшествовавшей издательницею нумеровъ журнала, когда разсыльный конторы мнѣ доложилъ, что меня экстренно желаетъ видѣть какой-то незнакомый господинъ, и вслѣдъ за симъ, на мое приглашеніе пожаловать въ кабинетъ, сюда скорыми шагами вошелъ разстроенный и взволнованный В—скій.

— Случилось несчастье и радъ, что засталъ васъ дома,—прямо началъ В—скій прерывающимся спазматическимъ голосомъ.

— Что такое?..

— Михайловъ-Мартовъ въ Петербургѣ...

— Ну, такъ что же?..

— А то, что онъ, кажется, сошелъ съ ума.

— Какъ такъ?

— Видите ли, иду я утромъ по Невскому на службу и вижу, мнѣ навстрѣчу подвигается фигура. Я не сразу сообразилъ, кто это такой, но одна мысль промелькнула въ головѣ, что встрѣченный человѣкъ—явно душевно-больной; и я еще подумалъ, какъ это въ интересахъ безопасности такихъ выпускаютъ на свободу. Но тутъ же я призналъ, что это именно Михайловъ. Я поздоровался съ нимъ, сталъ его расспрашивать, какъ это онъ очутился вмѣсто Швейцаріи въ Петербургѣ, но онъ понесъ такую околесицу и началъ говорить такія странныя вещи, что во мнѣ не осталось сомнѣнія, что онъ тяжело боленъ. Я отвелъ его домой, и онъ сейчасъ сидитъ въ одной изъ меблированныхъ комнатъ на Владимирской.

— Ужасно! но при чемъ же я тутъ? Тутъ нужна медицинская помощь, а не редакціонная...

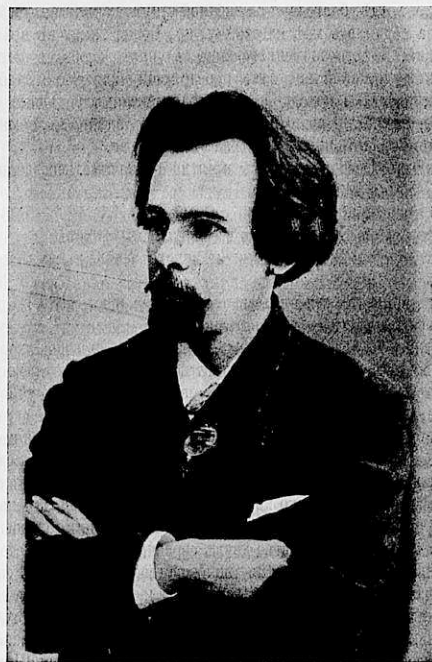
— Видите ли,—еще болѣе волнуясь, перебилъ меня В—скій:—я самъ человѣкъ нервный, нерѣшительный и, кромѣ того, у меня сегодня докладъ по службѣ. Возьмите на себя хлопоты съ Михайловымъ...

— Но я съ нимъ незнакомъ, а тутъ случай трудный, и не знаю, сумѣю ли я что-нибудь сдѣлать.

— Вы сумѣете, онъ васъ послушается и сейчасъ даже ожидаетъ васъ. Я предупредилъ, что приведу васъ къ нему. Прошу васъ не отказываться и распорядиться съ больнымъ по своему усмотрѣнію.

Признаюсь, я былъ поставленъ въ довольно-таки трудное положеніе. Съ душевно-больными до сихъ поръ мнѣ не приходилось имѣть дѣла, и я не зналъ въ точности, съ чего надо начать, имѣя особенно въ виду, что больной—

человѣкъ мнѣ незнакомый, который можетъ оказать сопротивленіе, не послушаться и отказаться отъ моихъ непростенныхъ услугъ. Но тѣмъ не менѣе я понималъ ясно, что В—скій въ его тогдашнемъ состояніи не такой человѣкъ,



Владимиръ Петровичъ Михайловъ-Мартовъ.

который можетъ справиться съ труднымъ положеніемъ и, пожалуй, сейчасъ самъ нуждается во врачевой помощи, въ виду своего сильнаго душевнаго волненія. Кромѣ того, я не считалъ себя въ правѣ отказывать въ помощи своему журнальному сотруднику, посвященному вдобавокъ извѣстное научное

и литературное имя, на которое всеми возлагаются большія надежды. Нечего было дѣлать, и приходилось взять все событие въ свои руки и въ свое заведѣваніе.

Черезъ нѣсколько минутъ мы съ В—скимъ были уже въ небольшой комнатѣ Михайлова, гдѣ, благодаря спущенной сторѣ, царилъ полусвѣтъ. Знакомая фигура поднялась мнѣ навстрѣчу, но, Воже! какая въ ней замѣтна была перемѣна. вмѣсто наденнаго вида съ уничтожающимъ взглядомъ и саркастической улыбкой на губахъ передо мной обрисовался слабый больной, съ колеблющейся походкой, съ вздрагивающими пальцами рукъ, съ мутнымъ взоромъ, отливавшимъ желтизною, и съ блѣднымъ, помятымъ лицомъ, на которомъ были написаны страхъ и страданіе.

— Владимиръ Петровичъ, какъ пріятно познакомиться, давно ли въ Петербургъ?—былъ мой привѣтъ.

— Всего нѣсколько дней.

— Я слышалъ отъ В—скаго, что вы не совсѣмъ здоровы?..

— Да, что-то неможется,—какъ бы нехотя отвѣчалъ на мои вопросы Михайловъ.

— Что съ вами—не стѣсняйтесь, смотрите на меня, какъ на друга, въ участіи котораго можете не сомѣиваться.

Сначала какъ бы нехотя, но потомъ, справившись съ собою, торопливо и вполголоса Михайловъ началъ мнѣ излагать послѣднія событія своей жизни.

— Видите ли, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, меня изъ университета мои «друзья», съ Владиславлевымъ во главѣ, выкиваютъ. Я остался безъ кафедры и не у дѣла. Въ моей лабораторіи производятся обыски и за мною шпионятъ на каждомъ шагѣ. Чтобы окончательно отъ меня избавиться, мнѣ далиграничную командировку. Въ Базель, гдѣ я занимался въ мѣстномъ университетѣ, сначала все шло хорошо, но «друзьямъ» моимъ понадобилось и здѣсь нарушить мой покой и досадить мнѣ. Они устроили за мною постоянное наблюдѣніе черезъ посредство двухъ еврейчиковъ, одного ветеринара и одной фельдшерницы, которые такъ поусердствовали въ своемъ сыскѣ, что скоро вся учащаяся въ Базель молодежи оказалась противъ меня вооруженною и въ одну прекрасную ночь мнѣ устроили передъ окнами отеля, гдѣ я жилъ, кошачій концертъ. Скандалъ вышелъ страшный, я оказался опозоренъ на весь ученый мѣстный міръ и долженъ былъ бѣжать изъ Швейцаріи...

Михайловъ въ сильнѣйшемъ волненіи и съ явнымъ испугомъ во взорѣ поднялся съ мѣста и, точно крадучись, подошелъ къ окну, отвернулъ уголъ занавѣски и тотчасъ снова опустилъ ее.

— Слѣдить, мерзавцы,—вполголоса пробормоталъ онъ, снова опускаясь, точно въ изнеможеніи, на прежнее мѣсто.

Становилось жутко.

— Кто слѣдитъ за вами? Въ чемъ дѣло?

— А вотъ эти самые еврейчики. Представьте, они нигдѣ не даютъ мнѣ покоя. Я выхалѣ изъ отеля, сѣлъ въ поѣздъ, и они вслѣдъ за мною очутились въ томъ же вагонѣ и всю дорогу возстановляли противъ меня пассажировъ. Наконецъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, отправился искать себѣ комнату, и они по моимъ пятамъ. Не успѣлъ я здѣсь устроиться, подошелъ къ окну—вижу, противъ меня, на другомъ концѣ двора, у окна, они стоятъ и смотрятъ, выслѣживая меня и здѣсь. Я опустилъ занавѣску; тогда они стали проникать въ коридоръ и черезъ дверную скважину время отъ времени начали за мною подглядывать. Ужасно, ужасно—отъ нихъ некуда скрыться!

Онъ какъ-то безпомощно опустилъ голову, и взглядъ его выражалъ страшную тоску и отчаяніе, отъ которыхъ невольно сжималось сердце.

— Успокойтесь, Владимиръ Петровичъ, успокойтесь,—сталъ я его утѣшать и готовить къ послѣдующимъ своимъ дѣйствіямъ. Мнѣ было очевидно, что предо мною настоящій больной, страдающій острымъ приступомъ мани преслѣдованія.—Мы съ ними потомъ справимся, и я похлопочу, чтобы васъ избавить отъ докучливыхъ согласдацевъ. Теперь вамъ надо нѣсколько возстановить силы, оправиться, подкрѣпиться какими-нибудь успокоительнымъ лекарствомъ. Ваши нервы разгулялись. Позвольте къ вамъ призвать врача, и онъ вамъ пропишетъ что-нибудь успокоительное.

— Хорошо, дѣлайте, что хотите, но я боюсь, что въ ваше отсутствіе они примутся опять за свои штуки.

— Ничего не будетъ. Можете быть спокойны—я сдѣлаю соответствующія распоряженія, а вы заприте дверь на ключъ и лягте отдохнуть. Черезъ полчаса или часъ я буду у васъ съ докторомъ.

Михайловъ согласился, и я отправился въ клинику профессора Мержевскаго въ поискахъ врачебной помощи. Самого профессора въ городѣ не оказалось, и мнѣ удалось лишь повидаться съ однимъ изъ его молодыхъ ассистентовъ, который и согласился сопутствовать мнѣ къ больному.

— Но кто же вашъ больной?—обратился ко мнѣ мой спутникъ, когда мы уже ѣхали по Литейному проспекту.

— Докторъ фیزیологи Владимиръ Петровичъ Михайловъ.

— Михайловъ? Владимиръ Петровичъ? авторъ труда «О бѣлковидныхъ веществахъ»? Нѣтъ, къ нему я ни за что не поѣду, позвольте васъ покинуть, а вы поищите другого врача.

— Нѣтъ, докторъ, я васъ не отпущу. Мнѣ некогда искать другого врача, и я не понимаю, почему вы отказываетесь.

— А потому,—какъ-то смущенно заявилъ мнѣ мой спутникъ:—что Михайловъ талантъ, въ наукѣ авторитетъ, и я не могу ему импонировать, а въ такихъ случаяхъ воздѣйствіе врача главное. Нѣтъ, я ѣхать отказываюсь.

Но мнѣ удалось убѣдить, упротить своего спутника не покидать меня, навѣстить больного и уговорить его лечь въ больницу, ибо оставлять его на

свободы я считал опасным. Действительно, послѣ короткой бесѣды наединѣ съ Михайловымъ, пока я прогуливался по коридору меблированныхъ комнатъ, докторъ заявилъ мнѣ, что мой больной согласился на нѣкоторое время помѣститься въ лечебницѣ для нервно-больныхъ, чтобы тамъ отдохнуть отъ постигшихъ его непріятностей и возстановить свои силы.

Сговориться съ докторомъ М. Н. Нижегородцевымъ, завѣдывавшимъ въ то время больницей Штейна на Тверской, было нелегко и тѣмъ болѣе, что имя Михайлова было ему знакомо, и черезъ короткое время мой новый знакомый больной былъ мною доставленъ въ коляскѣ по мѣсту назначенія. Въ больницѣ Михайловъ не выразилъ никакого протеста противъ его водворенія здѣсь и послѣ нѣкоторой бесѣды наединѣ съ М. Н. Нижегородцевымъ онъ послушно последовалъ за нимъ, и вскорѣ тяжелая дверь, отдѣляющая больныхъ отъ вѣшняго міра, за нимъ захлопнулась.

— Какъ вы находите, Михаилъ Николаевичъ, больного?

— Пока трудно опредѣлить, дальше видно будетъ. Манія преслѣдованія очевидная, но какъ глубоко она пустила корни, сейчасъ сказать не могу.

Я простился и только черезъ десять дней получилъ возможность повидать Михайлова. За это время онъ нѣсколько окрѣпъ, про высказываніе его со стороны враговъ уже не поднималъ рѣчи, поправился въ лицѣ и началъ интересоваться даже вопросами литературы вообще и «Сѣвернымъ Вѣстникомъ» въ частности, хотя встрѣтилъ онъ меня нѣсколько сухо и сдержанно, что въ то время я объяснилъ нѣкоторою неловкостью, невольно охватывающею человѣка послѣ причиненныхъ другому безпокойствъ. Долженъ еще замѣтить, что въ эти дни я успѣлъ съ согласія д-ра Нижегородцева запросить наше консульство въ Швейцаріи относительно происшедшаго инцидента съ Михайловымъ и получилъ отвѣтъ, что ничего подобнаго тому, что онъ намъ рассказывалъ, не имѣло мѣста и что о пребываніи его въ Базелѣ ни у мѣстной власти, ни у университетской администраціи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣется. Очевидно, больное воображеніе нарисовало нашему ученому поэту цѣлую картину, краски которой мнѣ стали понятны лишь много времени спустя, когда я близко узналъ и причину нервного недуга Михайлова.

Прошелъ мѣсяцъ; я внесъ за счетъ будущаго литературнаго заработка больного плату въ лечебницу изъ суммъ журнала и спеша съ университетомъ относительно будущаго его обезпеченія, когда онъ выпинется на волю. Тѣмъ временемъ подошла осень, наступила горячая пора вербовки новыхъ сотрудниковъ, и жизнь въ редакціи начинала закипать бойкимъ ключомъ. Для потребовали моей побытки въ Москвѣ для разныхъ литературныхъ переговоровъ, а когда я вернулся вскорѣ въ Петербургъ, то въ первые дни мнѣ некогда было справиться о моемъ больномъ. А въ эти именно дни Михайловъ потребовалъ своей выписки изъ лечебницы. По правиламъ, когда больного помѣщаютъ въ больницу для душевно-больныхъ, то въ интересахъ

гарантіи личности больного отъ возможныхъ злоупотребленій двое его близкихъ и извѣстныхъ администраціи лечебницы являются ответственными лицами за его помѣщеніе. Въ данномъ случаѣ такими ответственными лицами числились я, какъ редакторъ-издатель «Сѣвернаго Вѣстника», и проф. Н. А. Меншуткинъ, какъ деканъ физико-математическаго факультета, при которомъ состоялъ Михайловъ. Въ виду моего отсутствія изъ Петербурга былъ запрошенъ по вопросу о выпискѣ Михайлова одинъ лишь Меншуткинъ, который, не предвидя никакой опасности, и дать на сей предметъ свое согласіе, о которомъ я, однако, не былъ осведомленъ.

И вотъ, когда по пріѣздѣ изъ Москвы я въ одинъ изъ ближайшихъ дней сидѣлъ вечеромъ у знакомыхъ, меня внезапно вызвалъ редакціонный разсылный съ заявленіемъ, что меня просятъ немедленно пріѣхать въ Казанскій участокъ по дѣлу Михайлова, покушавшагося въ тотъ вечеръ на самоубійство. Я немедленно отправился въ участокъ и узналъ, что въ тотъ вечеръ Михайловъ близъ Синяго моста перепрыгнулъ черезъ перила и бросился въ Мойку. По счастью, однако, онъ попалъ на отъѣсъ, пытался погрузиться далѣе отъ берега, но былъ вытащенъ ялычниками, прохожими и рѣбной полиціей. По снятіи съ него дознанія онъ доставленъ къ мѣсту жительства въ меблированныя комнаты на Казанской площади, помѣщавшіяся за соборомъ, на углу площади и Екатерининскаго канала. Вѣду туда и застаю Михайлова опять въ томъ самомъ нервномъ трансѣ, въ которомъ я его впервые увидалъ по его возвращеніи изъ-за границы. Онъ уже обоихъ, обогрѣлся, но жаловался на головную боль и легкій ознобъ. Разспрашивать больного о причинахъ и обстоятельствахъ его покушенія, конечно, было бы бесполезно въ тотъ моментъ: ясно было, что отъ счастливой и здоровой жизни ночью не станешь прыгать въ холодную воду. Оставалось одно: обойтись съ больнымъ какъ можно мягче и посодѣйствовать его успокоенію, а главное — не оставлять одинокимъ съ его мрачными мыслями и черными думами и въ особенности въ непривѣтливой и холодной обстановкѣ задуальныхъ меблированныхъ комнатъ. Я такъ и поступилъ и перевезъ на ночь Михайлова къ себѣ на квартиру, гдѣ заботливой женской рукой все было ему приготовлено въ моемъ кабинетѣ для сна и покоя.

На слѣдующее утро я поставилъ ему на видъ необходимость снова помѣститься въ лечебницѣ у М. Н. Нижегородцева; сначала онъ какъ будто выражалъ несомнѣнную готовность последовать моему совѣту, но засимъ, когда мы шли прѣшкомъ въ видѣ прогулки по Невскому за его вещами, въ немъ явно сказывалась попытка освободиться отъ меня, отсрочить поѣздку въ лечебницу на нѣкоторое время, и вообще въ его поведеніи проглядывало на этотъ разъ для меня что-то неясное и странное. Только внослѣдствіи я понялъ, что моего бѣднаго больного тянуло не въ лечебное заведеніе, а... въ питейное, но объ этомъ я догадался лишь потомъ, а тогда, недоумѣвая

относительно его поведения, категорически заявил, что, если он добром не последует за мною к Нижегородцу, то в отношении его будет применена сила, и я обращаюсь к содѣйствию полиціи и университетаго начальства. Михайловъ передъ такимъ натискомъ сдася, мы забрали его вещи и снова направились на Тверскую улицу. Здѣсь онъ просидѣлъ два мѣсяца, но, по прошествіи перваго, снова потребовалъ своей выписки. Тутъ ужъ запросили моего согласія, но я, переговоривъ съ М. Н. Нижегородцевымъ и получивъ отъ него нѣкоторыя странная указанія, свидѣтельствовавшія, что въ психикѣ больного не все еще обстоитъ благополучно, согласился на требование Михайлова подѣ однимъ лишь условіемъ: пусть комиссія изъ видныхъ психіатровъ его освидѣтельствуетъ и произнесетъ надъ нимъ свой судъ. Если послѣдній будетъ для него благоприятенъ, то пусть онъ идетъ на всѣ четыре стороны, въ противномъ случаѣ—пусть побудетъ на испытаніи въ больницѣ еще нѣкоторое время, благо университетъ, принявшій уже теперь на себя высокую плату за его лечение въ частной психіатрической лечебницѣ, не отказываетъ пока въ помощи талантливому ученому. А неблагоприятныя свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ М. Н. Нижегородцевымъ, заключались въ томъ, что, по его мнѣнію, Михайловымъ подготовлялся побѣгъ изъ лечебницы, своевременно замѣченный и предупрежденный. Оказалось, что въ одинъ прекрасный день тяжелая чугунная скамейка въ саду больницы была перенесена съ своего постоянного мѣста къ забору, что сдѣлать могъ только, судя по нѣкоторымъ несомнѣннымъ даннымъ, Михайловъ. Вообще завѣдующій больницей на этотъ разъ давалъ о больномъ нерадостныя свѣдѣнія: болѣзнь неизлечима, хроническая, и только хорошій и здоровый режимъ, постоянный уходъ и наблюденіе могутъ его поддерживать и не давать окончательно погибнуть, на что, впрочемъ, очень мало надежды. Тутъ докторъ прекращалъ свои повѣствованія о больномъ, точно желая умолчать о чемъ-то не подлежащемъ оглашенію, для Михайлова неблагоприятномъ.

Владимиръ Петровичъ моего предложенія о консилиумѣ не принялъ и предпочелъ еще одинъ мѣсяцъ пробыть въ больницѣ, по истеченіи котораго, за отказомъ факультета вносить за него высокую плату, былъ подѣ смотромъ больничнаго сторожа отправленъ въ Смоленскую губернію, въ деревню къ В., гдѣ тотъ къ тому времени получилъ службу по земству. Больше полугода пробылъ Михайловъ у своего друга, а засимъ отправился къ сестрамъ въ Симбирскую губернію, на Волгу, которую онъ, какъ и другъ и землякъ его Садовниковъ, такъ восторженно любилъ. Когда-то, обращаясь къ родниѣ, Михайловъ говорилъ:

Опять опа, спокойная картина,
Созрѣвшей нивой залитая даль,

Дуговъ цѣлующихъ влажная равнина
Съ дорогой ровной, какъ литая сталь...

И въ синевѣ безоблачнаго лѣта
Липовыхъ горъ узорчатая тѣнь
Надъ залитыми полемемъ разсѣята
Верхами хать убогихъ деревень...

И здѣсь, среди глуши однообразной
Родныхъ степей убогаго села
Исчезъ и слѣдъ тревоги потянутой,
Послѣдній слѣдъ съ усталого чела...

Свѣтлѣ мысль, ровнѣе сердце бьется,
На мѣр глядишь и вѣри и любя,
И всею душой, всею силою жмется
Въ надеждѣ гордой на себя...

Капризы мукъ, ребячество сомнѣній
Слутнулы работы вѣковѣчный шумъ,
И смутный рой болѣзненныхъ видѣній
Смѣнила рать сурово-трезвыхъ думъ...

Среди толпы нанино-простодушной,
Могучей власти матерн-земли
Всегда, во всемъ довѣрчиво послушной,
Иду я тамъ, гдѣ многие прошли,

Чьи имена до времени забыты,
Чьи силы чистой вѣры и любви,
Какъ сѣмена, до лучшихъ дней скрыты
Подѣ грубой почвой поднятой нови. (Словомъ).

Такія же чувства, можно предположить, снова овладѣли нашимъ поэтомъ, когда онъ плылъ по родной рѣкѣ въ столь знакомые съ юности края, но, видимо, его большой мозгъ не долго мирился съ деревенскою тишиною, и его снова потянуло на сѣверъ, въ шумный столичный городъ. Свою разлуку съ Поволжьемъ за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ онъ такъ описывалъ въ одномъ изъ стихотвореній, тоже напечатанномъ въ «Словѣ»:

Скоро я покину, степи,
Вашу тишь и вашу гладь
И пойду по бѣлу свѣту
Счастья новаго искать.

Мнѣ постыла глушь родная,
Гдѣ весь день пужа и грудь
Не даютъ простора мысли,
Сердцу волн не даютъ...

Чужды мнѣ простые люди
 Съ ихъ безхитростнымъ умомъ,
 Съ ихъ терпѣньемъ и смиренъемъ
 Подъ позорящимъ ярмомъ...

Можетъ быть, шумящій городъ
 Жажду жизни воскреситъ
 И мою больную душу
 Какъ больница исцѣлитъ...

И опять очнется сердце,
 И опять очнется умъ
 Подъ наплывомъ чувствъ мятежныхъ,
 Подъ напоромъ дерзкихъ думъ...

Я тогда вернусь къ вамъ снова,
 Чтобы сказку рассказать,
 Гдѣ живую воду можно
 На святой Руси сыскать...

Но надежды на городъ не оправдывались, и его больная душа не нашла себѣ здѣсь ожидаемаго исцѣления. Напротивъ, по прибытіи сюда болѣзнь его получила совершенно опредѣленную окраску самаго злостнаго алколизма, который вскорѣ и свелъ его въ могилу. Онъ не даромъ пророчилъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

Ждутъ меня только черныя дни,
 Ждутъ одиѣ только ночи безсонныя,
 И какъ хоры ихъ мукъ похоронныя
 Беснадежны и скорбны они!

Северная столица середины 90-хъ годовъ щедро разсыпала передъ нимъ и эти «ночи безсонныя», и эти «муки похоронныя». Въ 1892 году ему снова пришлось нѣкоторое время пробыть въ психиатрической лечебницѣ на Удѣльной, причемъ, однако, званіе приватъ-доцента университета, безъ полученія опредѣленнаго денежнаго вознагражденія, за нимъ сохранилось. Онъ числился только больнымъ или состоящимъ въ отпуску.

Невеселый періодъ и въ моей личной жизни было время, когда Михайловъ снова появился въ Петербургѣ. Въ одинъ нерадостный день въ мою комнату постучался П., одинъ изъ мелкихъ провинціальныхъ литературныхъ тружениковъ. Новость, имъ принесенная, была нерадостная.

— Владимиръ Петровичъ Михайловъ-Мартовъ послалъ меня къ вамъ, — сообщилъ пришедшій, — съ просьбой ссудить ему немного денегъ. Онъ находится сейчасъ въ большой нуждѣ и уже два дня ничего не ѣлъ.

Я собралъ послѣднія крохи и отправился на выручку стараго знакомаго.

Михайловъ встрѣтилъ меня официально, холодно, съ дѣланымъ равнодушіемъ къ моему приходу.

— Да, вотъ, видите ли, завтра я получаю нѣкоторую сумму изъ университета, тогда я съ вами рассчитаюсь, а пока ваши деньги мнѣ нѣсколько пригодятся.

Въ тонѣ, съ которымъ это говорилось, слышалась фальшь, и я, ожидавшій радостной встрѣчи, былъ изумленъ и огорченъ манерою, съ которой меня встрѣтили. Но нечего дѣлать: слава Богу, что талантливый человѣкъ живъ и, повидимому, здоровъ, и оставалось только въ душѣ порадоваться, что моя помощь ему пригодилась. Михайловъ обнаружилъ даже нѣкоторое великодушіе: узнавъ отъ П., что я дѣлюсь съ нимъ послѣднимъ, онъ не взялъ всего ему предложеннаго и оставилъ въ мою пользу какую-то мелочь.

Съ этого времени я сталъ часто встрѣчать Владимира Петровича и по большей части въ разныхъ небольшихъ рестораникахъ, куда заходилъ завтракать и обѣдать, дѣлящихся въ районѣ улицъ, прилегающихъ къ Невскому проспекту: въ знаменитомъ литературномъ «Капернаумѣ» на Владимирской, у Соловьева на Николаевской и другихъ подобныхъ. Тутъ только впервые я узналъ, что Михайловъ пьетъ, пьетъ одиноко, мрачно, медлительно отравляя себя съ утра до ночи, пока огни въ ресторанныхъ заведеніяхъ не потухнутъ и послѣдніе пьяные или запоздавшіе посѣтители не отправятся по домамъ. Передъ своими старыми знакомыми, которыхъ онъ почему-либо считалъ долгомъ стѣсняться, онъ какъ будто подтягивался, борясь со своею страстью и показывая видъ, что лишь только что и то случайно зашелъ въ этотъ ресторанъ «закусить». Но изъ рассказовъ прислуги, знакомыхъ буфетчиковъ выяснилось, что Михайловъ забирается сюда спозаранку, ничего не ѣстъ и, сидя цѣлый день за газетами, систематически пьетъ пиво кружку за кружкой, перебивая ихъ отъ времени до времени рюмкой водки съ закуской небольшого бутерброда. При этомъ рассказывалось, что съ незнакомой публикой онъ ведетъ себя заносчиво, задираетъ, вызываетъ ее на столкновенія, въ которыхъ по большей части играетъ жалкую и комическую роль, становясь предметомъ общихъ насмѣшекъ и даже, порою, оскорбленій. Онъ подозреваетъ всѣхъ въ шпіонствѣ за нимъ, громко называетъ всѣхъ сыщиками, а себя выставляетъ какъ жертву правительственнаго преслѣдованія. Почти при каждой встрѣчѣ со мною онъ съ небрежнымъ тономъ сталъ обращаться за денежными небольшими одолженіями и, получивъ желаемое, немедленно спѣшилъ расплатиться, чтобы направиться въ другое заведеніе, гдѣ бы я не могъ быть свидѣтелемъ его поведенія и отношенія къ нему прислуги и администраціи ресторановъ. Такой же политики дѣйствій онъ держался и съ другими представителями писательскаго и ученаго сословія. Потомъ до меня стали доходить и слухи, что его изъ этихъ заведеній иногда просили вѣжливо и о выходѣ, что онъ долженъ лакеямъ, буфетчикамъ, швей-

царям... И каждый раз, когда он обращается за такого рода одолжениями, он ссылается на ближайшее получение ссуд из литературного фонда, ему уже назначенных. Однако долги своих он не платит. Нельзя не отметить, как я то впоследствии узнал, университете по возможности помогал своему несчастному представителю, временами оказывая ему пособие и даже ходатайствуя за него перед академическим фондом императора Николая II. Точно также сочувственно в первое время относился к нему и литературный фонд. Изъ обоих этих учреждений Михайлову также выдавались пособия, но все им получаемое, в общем, конечно, довольно незначительное, шло или на удовлетворение самых первых нужд жизни, или пропивалось. Этими ссудами только и объясняется, что он за все время моих тогдашних встреч с ним всегда был довольно прилично одет и имел на себѣ чистое платье и бѣлье.

Порой мнѣ удавалось залучить этого так явно скатывававшегося по наклонной плоскости даровитого человека к себѣ, приглашать в таких случаях и других гостей из числа близких к литературной среде людей, но Михайлов слабо отзывался на эти приглашения, являясь съ значительным запозданием, и торопился скорее освободиться от стесняющего его общества. Лишь в редких случаях, и то большею частью один на один, он скидывал съ себя надменно-напускной тонъ, становился простымъ, размягченнымъ и отдавался литературнымъ воспоминаниямъ и мечтаніямъ. Не любя въ общемъ поднимать завѣсы своей жизни и давать заглядывать въ свой душевный миръ, онъ тѣмъ не менѣе невольно въ читаемыхъ имъ громко стихахъ изъ рукописныхъ сборниковъ ¹⁾ давалъ нѣкоторое понятие о своихъ бывшихъ привязанностяхъ, своихъ бывшихъ надеждахъ и мечтахъ. Перелистывая впоследствии эти сборники, ставшіе нынѣ достояніемъ извѣстнаго издателя и писателя Логина Федоровича Пантелѣева, которые онъ со временемъ собирается выпустить въ продажу, я припомнилъ нѣкоторыя изъ стихотвореній, на которыхъ съ особенною любовью останавливался ученый поэтъ. Для ознакомленія съ его творчествомъ приведу нѣкоторыя изъ нихъ. Вотъ стихотвореніе, посвященное памяти матери:

Надъ твоей могилкой, всѣмъ позабытой,
Я поиникъ, родная, гордой головой...
Сколько дней тяжелыхъ было перенито,
Сколько слезъ горячихъ надо мной пролито
Этой беззащитно любящей душой...

И тебя я бросилъ... Юности безумье
Опыняло сердце, ослѣпляло умъ,

¹⁾ Въ эти сборники-тетради онъ записывалъ все появлявшееся отъ его имени въ печати.

Но настало время горькаго раздумья,
Время сильныхъ мукъ, гордыхъ правдой думъ...

Поздно, слишкомъ поздно я пришелъ, родная!
Не вернуть мнѣ ласки и любви твоей...
Вѣру—ты простила сыну, умирая,
Держаго безумье невозвратныхъ дней.

Вотъ стихотвореніе, воскрешающее юность поэта:

Изъ тумана предо мною
Старый городъ возстаетъ
Въ безпредѣльной сини неба,
Въ безпредѣльной сини воды...
Ярко блещутъ кровли зданий,
Крылья бѣлыхъ судовъ,
Даже чудится мнѣ говоръ
Расцвѣтающихъ садовъ.
Опернись на борты, гляжу я
Въ эту милую мнѣ даль,
Гдѣ со мной прощалась радость
И спозналась печаль,
Гдѣ, страдая, я учился
Человѣчеству любить,
Гдѣ всѣ сны наивной вѣры
Жизнь заставила забыть...
И опять изъ синей дали,
Подъ нагѣтъ спокойныхъ водъ
Юность, словно сонъ блаженный,
Предо мною возстаетъ...

Обращаясь къ своей музѣ, онъ писалъ:

Не весь я твой, поэзия... О, пѣтъ!
Ты только сонъ и дивный и прекрасный,
Ты только сердца молодого бредъ,
Не правда ты, не голосъ беспристрастный...

Ты не отвѣтъ на зовъ души моей,
На скорбный зовъ всевластнаго сознанія,
Не заглушишь мелодіей своей
Ты диссонансовъ мрачныхъ мірозданья...

Какъ позабыть толпы голодной стогъ,
Какъ позабыть безумный смѣхъ разврата?
Они страшатъ, какъ погребальный звонъ,
Они вовутъ, какъ вѣщій гулъ набата...

Суровыхъ думъ властительная рѣчь,
Она нашъ вѣкъ немолчно призываетъ
Палачій святочъ истины замечъ—
Сіяние грѣзъ нашъ миръ не согрѣваетъ...

В двух стихотворениях «In memoriam—В. И. Л.—ой» как будто раскрывается некоторая тайна его души, тайна, которой он в личной беседе остерегался касаться. Вот они оба.

I.

В тот миг, когда, мечтою опьяненный,
Я вдали епшиль бороться и страдать,
Когда весь мир, как юноша влюбленный,
И был готов восторженно обнять,
Когда за свѣтлым призраком свободы
Я бодро шел заглохшею тропой,
Забыл пунжи тоскливыя невзгоды
И смѣх толпы бездушной и тупой,—
Тебѣ одной, мой друг, погибшей рано,
И был обязан мужествомъ въ борьбѣ,
И смѣло плылъ навстрѣчу урагана
Среди любви безбрежной океана,
Куда влекла любовь къ тебѣ...
Теперь, когда послѣдней сердца кровью
Я скорбныхъ строфъ не въ силахъ дописать,
Когда весь миръ съ болѣзненной любовью
Въ послѣдній разъ мнѣ хочется обнять,
Твоей любви предсмертныя желанья
Одни они дадутъ мнѣ смѣлость жить.
И я епшишу поэзію страданья,
Твоей души завѣтными мечтанья
Въ послѣднихъ пѣсняхъ оживить...

II.

Пусть въ мечтахъ туманныхъ воскреситъ
Не въ силахъ я твой образъ ненаглядный,
Но горю мнѣ твой милый групъ закрыть,
Закрѣтъ парчей поэзіи нарядной...

Въ глазахъ чужихъ не въ силахъ я искать
Потухшихъ глазъ живое обаянье,
Изъ устъ чужихъ мнѣ страшно услышать
Святой любви святое обѣщанье.

Пусть я въ толпѣ отпихнѣ однокѣ
И чуждѣ еи надеждамъ и сомнѣньямъ,
Но кто же смѣетъ кинуть мнѣ упрекъ,
Кто навязаться смѣетъ съ сожалѣньемъ?

И людямъ радѣ всю жизнь свою отдать,
Но сердце, душу? Гдѣ же ихъ возьму я—
Ты мнѣ назадъ не сможешь ихъ отдать
И словно тынъ твой живу я...

Обращаясь къ окружавшей его современности, онъ писалъ:

I.

Опускаются руки невольно,
Съ каждымъ днемъ все дышать тяжелѣй,
Даже жить какъ-то стыдно и больно,
Съ каждымъ днемъ все стыднѣй и больнѣй...

Бессердечная тупость лжуетъ,
Безразсудная злоба царитъ,
Тщетно разумъ на все негодуетъ,
И за все тщетно сердце болитъ...

Неужель въ этотъ омутъ разврата,
Въ это царство безумья и зла,
Моей юности муза, когда-то
Ты меня, торжествующа, вела?

Неужели любовь только мука?
Неужели борьба значить смерть?
Или жизнь только скорбная скука,
И весь смыслъ въ ней одинъ—умереть?..

II.

Тѣнь ли это дней минувшихъ,
Или тѣнь грядущихъ дней,
Что мнѣ душу омрачаетъ
Съ каждымъ часомъ все сильнѣй?

Нѣтъ, то тѣнь не дней минувшихъ,
То не тѣнь грядущихъ дней,
Нѣтъ, съ минуты на минуту
Настоящее мрачнѣй...

Въ связи съ этою современностью онъ характеризовалъ свою родину такъ:

Ни красотой, ни роскошью наряда
Ты не прельстишь, отпизна, никого,
Въ семьѣ чужой пріемышъ ты несчастный,
Но все же ты дороже мнѣ всего...

Рабъ и нищца, ты не была женою
И матерью счастливой никогда;
Твоихъ дѣтей двѣ доли ожидаютъ:
Терпѣнье тупое или вражда.

Приведенных стихотворений¹⁾ Михайлова-Мартова достаточно, чтобы судить о характере его поэтического творчества, обнаруживавшего в нем подлинное дарование, общавшееся с годами окрепнуть и развернуться. Хороши были также его переводные произведения с немецкого и французского преимущественно, и когда они будут собраны воедино и изданы в свѣтъ, тогда передъ лицомъ этихъ поэтическихъ произведений Михайлова, какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ, можно будетъ окончательно и опредѣленно установить мѣсто покойнаго поэта въ ряду представителей нашей стихотворной литературы 70—80-хъ годовъ.

Какъ я уже отмѣтилъ, читать свои стихи Владимиръ Петровичъ соглашался лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, предпочтительнѣе онъ декламировалъ произведенія Садовникова, своего рано умершаго друга, передъ памятью и поэтическимъ творчествомъ котораго онъ преклонялся, считая Садовникова поэтомъ, стоявшимъ много выше другихъ, вышедшихъ одновременно съ нимъ на литературную ниву, какъ, напримѣръ, Мипскаго, Надсона и др. Всего же охотнѣе Михайловъ возстановлялъ въ памяти или тутъ же, во время бесѣды, создавалъ свои шуточные экспромты, пародіи и злые эпиграммы, на которые онъ дѣйствительно былъ мастеръ и гдѣ находилъ отдушину своему мятежному чувству, больной мысли и безсильнымъ порывамъ. Но и на этотъ литературный жанръ его все рѣже и рѣже гнуло, и видно было, что дарованіе его, подточенное злымъ недугомъ, идетъ на ущербъ и погибаетъ. Еще рѣже находилъ онъ удовольствіе въ бесѣдахъ на научныя темы: онъ точно махнулъ рукою на науку, отчаявшись занять въ ней надлежащее мѣсто, на которое по своимъ серьезнымъ познаніямъ, по своей широкой и всесторонней эрудиціи имѣлъ право. Неудача съ университетомъ сыграла тутъ рѣшающую роль, нанесенная ему обида затмевала всякій интересъ къ продолженію той отрасли труда, для которой онъ такъ долго готовился. Онъ порвалъ даже всякія связи съ представителями научнаго знанія и, насколько я былъ въ курсѣ дѣла, состоялъ въ близкихъ отношеніяхъ только къ таинственно и трагически погибшему Михаилу Михайловичу Филиппову, редактору-издателю «Научнаго Слова». Въ журналъ Филиппова онъ даже помѣстилъ какую-то научную статейку, да и то, мнѣ думается, лишь потому, что денежная крайность подвигла его взять себя въ руки и ради хоть небольшого гонорара трихнуть старинною. Помочь же ему изъ личныхъ средствъ Филипповъ не былъ въ состояніи, ибо бился самъ въ тискахъ жизни и маялся съ бездоходнымъ журналомъ, переживая въ душѣ тяжелую драму, послѣдній аккордъ которой для меня лично остается далеко не выясненнымъ.

¹⁾ Всѣ они въ разное время были напечатаны въ «Вѣстникѣ Европы», «Словѣ», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Русской Мысли» и «Русскомъ Богатствѣ».

Одинокій, забытый, озлобленный и больной, Михайловъ сторонился людей, пропадая цѣлыми днями въ разныхъ трактирчикахъ и погребкахъ. Тутъ, по крайней мѣрѣ, ничто не напоминало ему о дорогомъ когда-то прошломъ, не вызывало тѣхъ образовъ и картинъ, которымъ онъ еще недавно молился. Онъ сталъ избѣгать и меня, а вскорѣ я узналъ даже, что онъ произносить по моему адресу угрозы. Одно когда-то близкое мнѣ лицо черезъ общаго знакомаго писателя передало мнѣ предупрежденіе, чтобы я остерегался Михайлова и не подвергалъ риску своей жизни. Сознаюсь, что, получивъ указаніе на затаенное ко мнѣ враждебное чувство со стороны Михайлова, я нѣсколько смутился не столько чувствомъ боязливости и страха, сколько тою неблагодарностью и недоброжелательствомъ, которыя ко мнѣ совершенно незаслуженно и открыто питаетъ человѣкъ, для котораго, какъ-никакъ, я кое-что сдѣлалъ доброе. Лишь впоследствии я узналъ, что почти всѣ душевнобольные питаютъ злое чувство къ тѣмъ, кто ихъ впервые сажалъ въ больницу и, такъ сказать, этимъ дѣйствіемъ формально констатируютъ свое отличіе отъ здравомыслящихъ и здравочувствующихъ. Такъ было съ Михайловымъ. Онъ считалъ меня виновникомъ обнаруженія его перваго разстройства и въ порывѣ безсильной злобы расточалъ по моему адресу все угрозы, которыя, конечно, слѣдовало отнести къ категоріи пустой болтовни, вызванной припадками скрытаго или явнаго алкоголизма. Здѣсь уже сказывался явный бредъ и галлюцинація.

Узнавъ объ угрозахъ Михайлова, я, несмотря даже на предостереженіе и не взирая на то, что онъ явно сторонился меня при встрѣчахъ, рѣшилъ поступить обратно совѣтамъ. Я нарочно посѣтилъ его на его квартирѣ, и пузко было видѣть тотъ ужасъ, паническій ужасъ, который изобразился на его лицѣ при моемъ появленіи. Онъ точно испугался, что я снова повезу его въ больницу и скую ему свободу, которую онъ продолжалъ дорожить. Изъ надмѣннаго и задирчиваго онъ обратился въ тотъ моментъ въ пришибленнаго и запуганнаго человѣка, для котораго оставался со мною съ глазу на глазъ было нестерпимымъ страданіемъ и мукою. Мнѣ стало жалко этого прежде гордаго человѣка, и я спокойно посоветовалъ ему только не болтать по моему адресу всякаго вздора, который доходитъ до меня, но меня нисколько не пугаетъ. Какъ пойманный школьникъ, выслушалъ меня Михайловъ, поникъ головою и ничего не нашелся мнѣ отвѣтить. Что происходило въ ту минуту въ его больной душѣ, какое чувство шевельнулось тамъ, трудно сказать... Мнѣ стало его нестерпимо жалко, и я его покинулъ. Съ тѣхъ поръ онъ пересталъ даже со мною при встрѣчахъ кланяться. Послѣдній разъ я случайно увидалъ его ночью, когда выходилъ изъ гостей отъ М. М. Филиппова. Тяжелая картина представилась мнѣ. Моросилъ мелкій осенній дождикъ. Вѣтеръ дулъ порывами. На Екатерининской улицѣ, гдѣ жилъ Филипповъ, было пусто, а посреди ея мнѣ навстрѣчу, пошатываясь, шелъ Михай-

ловь. Пальто на нем не было застегнуто, фетровая шляпа съехала на лоб; он размахивал палкою и кого-то громко ругал оскорбительными словами: «негодяй», «подлец», «шпионы», «мерзавцы» — несло в ночной мгла. Явно, он был пьян, галлюциновал и брел на тяжелую бессонную ночь с ея блюгорячечным бредом в свою одинокую убогую меблированную комнату. Я остановился, как вкопанный, пораженный этим ужасным зрелищем, а Михайлов, не замечая меня, покачиваясь продолжал свой путь посреди улицы, от кого-то отмахиваясь палкою, кому-то грозя и кого-то понося...

Эта была наша последняя встреча. Слухи о Михайлове доходили затѣм до меня все рѣже и грустнѣе. Университет сторонился его, литературный фонд, которому онъ постоянно докучал своими просьбами о пособияхъ, имъ тяготился и сократилъ въ отношеніи его свою благотворительность. Да и какъ было поддерживать человѣка, котораго все равно не спасешь! Талантливый ученый и поэтъ шелъ быстро ко дну, и ничто не могло удержать его отъ окончательнаго паденія. Онъ никому не былъ нуженъ, всѣмъ являлся въ тягость и, озлобленный, больной и окончательно опустившійся, въ концѣ 90-хъ годовъ скрылся съ горизонта Петербурга.

По собраннымъ мною вѣдомостямъ свѣдѣніямъ, Михайловъ объявился у родныхъ, но съ ними не поладилъ, сталъ имъ въ тягость и вновь ихъ покинулъ. Въ одной изъ сѣверныхъ психиатрическихъ больницъ кончилисъ его тяжелые, мрачные дни. Ангелъ смерти смежилъ ему очи, потушилъ свѣтильникъ жизни, и среди разбросанныхъ, затерянныхъ по родной землѣ могилъ русскихъ писателей и ученыхъ выросла гдѣ-то еще одна новая, какъ заброшенный памятникъ о безвременно и трагически погибшемъ крупномъ научномъ и литературномъ дарованіи...

В. О. МИХНЕВИЧЪ.

В. О. Михневичъ происходилъ изъ дворянъ Кіевской губерніи, стараго малорусскаго, но ополченнаго вполнѣдствіи рода; самъ онъ въ разговорахъ относилъ себя къ «украинцамъ», но никогда не выражалъ особеннаго сочувствія всѣмъ крайностямъ такъ называемаго «украинскаго движенія». Подъ вліяніемъ главнымъ образомъ непрестанныхъ запытокъ русской исторіей въ немъ выработалась широкая историческая точка зрѣнія, которая и не позволяла ему примыкать къ излишнимъ политическимъ увлеченіямъ, къ коимъ онъ и относился всегда въ бесѣдахъ съ близкими людьми съ добродушной и иронической снисходительностью.

Родился онъ въ 1841 г., дѣтство провелъ среди херсонскихъ степей, гдѣ отецъ его арендовалъ имѣніе, затѣмъ онъ былъ опредѣленъ родителями во вторую кіевскую гимназію, откуда послѣ четырехлѣтняго пребыванія здѣсь былъ переведенъ въ нѣжинскую гимназію, которую благополучно и окончилъ. Уже на школьной скамѣ среднееучебнаго заведенія Михневичъ ярко обнаружилъ передъ учителями и товарищами тотъ Вожій даръ, который вполнѣдствіи вывелъ его на широкую дорогу служенія родинѣ печатнымъ словомъ. Какъ это наблюдается въ отроческихъ годахъ большинства писателей, его рано стало тянуть къ перу и книгѣ, и онъ среди учащейся молодежи заявлялъ себя открыто «писателемъ», что называется, «домашнимъ талантомъ». Характерной чертой этого ранняго періода его жизни служить то, что не къ лирическимъ стихамъ, какъ это именно всего чаще наблюдается на первыхъ порахъ у *будущихъ писателей*, тянуло гимназиста-литератора, а къ произведеніямъ драматическимъ и историческимъ, т. е. къ тому роду нашей словесности, которому онъ остался вѣренъ до конца своихъ дней, въ одномъ случаѣ въ качествѣ постоянного рецензента драматическихъ произведеній, въ другомъ — въ качествѣ изслѣдователя бытовой исто-

рии русского общества. Десяти лѣтъ онъ прочиталъ «Исторію Александра Македонскаго» Квинта Курція, а, будучи во второмъ классѣ, проштудировалъ пространную исторію Кайданова, которую, согласно тогдашней программѣ, проходили только въ старшихъ классахъ. Когда Владимиру Осиповичу минуло 13 лѣтъ, онъ сочинилъ, главнымъ образомъ подъ вліяніемъ чтенія Марлинскаго, какую-то рыцарскую повѣсть, а вслѣдъ за симъ выступилъ передъ товарищами съ комедіей «Отставка безъ мундира», которая и была разыграна гимназической молодежью на частной квартирѣ.

Въ началѣ 1860 года Михневичъ поступилъ въ университетъ св. Владиміра, но курса здѣсь ему не удалось окончить, такъ какъ, нуждаясь до нельзя въ средствахъ къ жизни, большую часть времени посвящая даванію уроковъ и гувернерству. Какъ плохо приходилось бѣднягѣ, видно изъ небольшого его автобіографическаго очерка «На зарѣ кievской журналистики», напечатаннаго имъ незадолго до смерти въ кievской газетѣ «Жизнь и Искусство» (1898—1899 гг.). «Уже въ университетѣ, сильно нуждаясь въ средствахъ,—повѣствуетъ онъ,—наіялся я однажды... чтецомъ къ одному просвѣщенному барину, лечившемуся у знаменитыхъ кievскихъ окулистовъ отъ какой-то тяжелой глазной болѣзни. Больному было предписано сидѣть взаперти и въ абсолютной темпотѣ; а такъ какъ онъ любилъ чтеніе и самъ читать не могъ, то и наіялъ меня, въ качествѣ чтеца. Самъ съ дѣтства страстный любитель чтенія, я съ радостію и безъ торга принялъ предложеніе на такихъ условіяхъ: читать вслухъ по-русски ежедневно, отъ 5 до 10 часовъ вечера, все, что бы ни пожелалъ мой патронъ, и въ вознагражденіе за трудолібіе и искусство получать четвертакъ звонкой монетой за каждый вечеръ и, въ видѣ особаго благосклоннаго поощренія, стаканъ чая во время передышки. Въ жизнь мою не встрѣчалъ я такого, можно сказать, свирѣпаго любителя чтенія, какимъ оказался мой патронъ! За изытіемъ коротенькаго антракта для чаепитія, битыхъ пять часовъ аккуратно, изо дня въ день, читалъ я, и долженъ былъ читать нарочито громко, такъ какъ патронъ мой слушалъ черезъ перегородку изъ другой, не освѣщенной комнаты. Такъ продолжалось два-три мѣсяца, и—можете судить—чего, чего мы не перечитали, какую, въ томъ числѣ, кучу ерунды и всякаго мусора!.. Замѣчательно, что патронъ мой, повидимому, слушалъ все, что и я читалъ ему, съ одинаковымъ вниманіемъ и съ одинаковымъ безразличіемъ,—и эта черта была въ немъ особенно ужасна! Что касается меня, несмотря на всю любовь мою къ чтенію, въ жизнь мою не подвергался я такому изнуренію. Я положительно надсаживалъ себѣ грудь и непременно кончилъ бы чахоткой, если бы тяжелый искусь продолжился еще нѣсколько долѣе».

Тогда же Михневичъ сталъ испытывать свои силы и въ мѣстной журналистикѣ, плодомъ чего явился легкій фельетонъ, напечатанный въ «Кievскомъ Телеграфѣ», издававшемся фонъ-Юнкомъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ сталъ

посылать карикатуры и юмористическія статейки въ «Искру» и «Занозу», гдѣ онъ печатались, не приносилъ, впрочемъ, автору ничего, кромѣ правственнаго удовлетворенія. Это было въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда на русскую жизнь только-что повѣяло волей и свободой, когда обличенія отечественной косности и отсталости были любимыми темами въ литературѣ, и «Искра» Курочкина была вышей кассационной инстанціей по вопросамъ нашей общественной жизни. Для молодого писателя сдѣлаться сотрудникомъ «Искры» составляло особенную гордость, такъ какъ онъ на живыхъ лицахъ и въ живыхъ примѣрахъ могъ видѣть всю силу сатирическаго бичеванія этого талантливаго и бойкаго журналистика. Въ тѣхъ же кievскихъ автобіографическихъ очеркахъ, которые цитированы выше, Михневичъ повѣствуетъ, какой переполохъ въ нѣжинской жизни произвелъ № «Искры», гдѣ анонимный корреспондентъ, въ сатирической аллегоріи, весьма прозрачно осмѣялъ ученыхъ представителей мѣстнаго учебно-педагогическаго міра. «Если бы разразились надъ Нѣжиномъ среди яснаго дня громы небесные, если бы самъ молніеносный богъ сошелъ съ Олимпа во всеоружіи,—впечатлѣніе, произведенное ими, не было бы болѣе разительнымъ и болѣе потрясающимъ, чѣмъ то, какое пережила нѣжинская публика подѣ дѣйствіемъ этой невинной и наивно-обличительной сатирической статейки «Искры». Блаженный сонъ взбаламученнаго болота, надъ которымъ дотолѣ раздавалось только усыпительно мелодическое кваканье лягушекъ... былъ внезапно прерванъ и прерванъ навсегда. Начать съ того, что всѣ нѣжинскіе интеллигенты всякаго рода и возраста бросились съ неопишуемой жадностію читать и выписывать «Искру». Совсѣмъ почти невѣдомый дотолѣ въ Нѣжинѣ бойкій журналистикъ этотъ сталъ вдругъ чрезвычайно распространеннымъ, и положительно не было такого, сколько-нибудь культурнаго, «порядочнаго» дома среди нѣжинской интеллигенціи, гдѣ бы «Искру» въ ту пору не выписывали».

Успѣхъ дебютовъ въ популярномъ журналѣ Курочкина былъ, безспорно, рѣшающимъ моментомъ въ жизни нашего писателя, послѣ чего онъ окончательно предопредѣлялъ свое жизненное поприще и въ 1865 году появляется на берегахъ Невы съ опредѣленною цѣлью посвятить себя всецѣло русской журналистикѣ. Но сѣверное небо встрѣтило неприглядно нашего южанина, и цѣлыхъ пять лѣтъ пришлось тянуть тяжелую лямку интеллигентнаго пролетарія, мечущагося по стогнамъ столицы въ поискахъ хоть скуднаго заработка и куска хлѣба. Ему не везло, какъ это часто случается въ нашемъ журнальномъ мірѣ, когда человѣкъ, несмотря на знанія, трудолібіе, усидчивость и несомнѣнное дарованіе, не можетъ найти себѣ постояннаго заработка и журнальнаго пристанища. Тутъ часто, да почти сплошь и рядомъ, рѣшающую роль играетъ случай, то счастье, по справедливости именуемое «слѣпымъ», которое изливаетъ свою благодать

невѣдомо на кого и невѣдомо за что. Изъ всѣхъ видовъ неудачъ и горестей. изъ всѣхъ тревоженій интеллигентнаго пролетаріата, нѣтъ ужаснѣе и безпопадѣе по своимъ послѣдствіямъ бѣдственныхъ скитаній служителей идейнаго искусства, куда я позволю себѣ на первомъ мѣстѣ поставить нашу братію—профессиональныхъ журналистовъ. Сколькими разбитыми жизнями, сколькими загубленными дарованіями усѣяна сплошь наша русская журналистика, страшно даже и подумать... Ихъ даже не далъ себѣ труда подсчитать кто-нибудь, и только пожелтѣвшіе и запыленные страницы старыхъ газетныхъ фоліантовъ въ Публичной библіотекѣ могутъ засвидѣтельствовать эту мало говорящую публикѣ жестокою регистрацію: «умеръ во цвѣтѣ силъ, изнуренный невзгодами жизни и непосильной съ нею борьбою, оставивъ по себѣ семейство безъ всякихъ средствъ къ существованію».

Этотъ ужасъ грозной регистраціи цѣлое пятилѣтіе дышало и на нашего молодого журналиста, побуждая его, въ борьбѣ за право жизни и за сохраненіе своего Богомъ даннаго таланта, хвататься за всякую побочную работу. Появляясь въ печати главнымъ образомъ на страницахъ «Петербургской Газеты» Ильи Арсеньева, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ занимается одновременно то перепискою бумагъ, то сочиненіемъ прошеній у одного дѣльца, то служить помощникомъ библіотекаря у великаго князя Константина Николаевича, то даже бросается въ коммерцію, вынужденный крайностью занять мѣсто приказчика въ мебельномъ магазинѣ. Впослѣдствіи, когда Владимиръ Осиповичъ выбился на широкую журнальную дорогу и сдѣлался заправскимъ и неизмѣннымъ рядовымъ газетнымъ бойцомъ, въ пылу полемической брани, въ искаженномъ видѣ, припоминалась часто практическая сторона этой ранней его жизненной дѣятельности и преподносилась публикѣ въ превратномъ освѣщеніи, какъ нѣчто недостойное и компрометирующее его. Михневичъ своевременно отвѣчалъ своимъ зонтамъ, и можно съ чистой совѣстью нынѣ заявить, что въ этой его дѣятельности не было ничего рѣшительно предосудительнаго, могущаго лечь какою-нибудь тѣнью на его доброе имя. Эта сторона уже достаточно выяснена, но не отмѣчено лишь, сколько страданій, ужасныхъ, душу сжимающихъ страданій должны были поднимать эти несправедливые уколы, когда такъ живо воскресали передъ его очами страницы скорби и печали, коними отмѣчена была заря его жизни...

Въ 1870 году послѣдовалъ переломъ въ его скитаніяхъ, и онъ, не потерявъ по дорогѣ умственныхъ и душевныхъ силъ, но закалившись въ добрыхъ стремленіяхъ, вышелъ на твердый берегъ, гдѣ его ожидали удача, благополучіе, извѣстность и уваженіе всѣхъ соприкасавшихся съ нимъ.

Прежде всего онъ получилъ приглашеніе отъ извѣстнаго карикатуриста Н. А. Степанова участвовать въ «Вудильникѣ» въ качествѣ постоянного сотрудника; затѣмъ, въ 1872 году, онъ дѣлается воскреснымъ фельетони-



Владимиръ Осиповичъ Михневичъ.

стомъ въ «Сынѣ Отечества», откуда переходить, по приглашенію В. А. Вильбасова, на то же амплу во всесильный и вліятельный тогда «Голосъ» Краевскаго, а съ 1877 года по день своей смерти принимаетъ самое дѣятель-

ное участие въ «Новостях» О. К. Нотовича, гдѣ до послѣдняго почти времени занимаетъ мѣсто одного изъ самыхъ видныхъ и отвѣтственныхъ сотрудниковъ, одновременно ведущихъ нѣсколько отдѣловъ. Онъ работалъ въ этой газетѣ въ качествѣ сценарнаго фельетониста, за подписями «Вл. Михневичъ» или «Коломенскій Кандидъ», велъ ежемѣсячныя обзоры историческихъ журналовъ и новостей, завѣдывалъ отдѣломъ художественной и театральной критики, обзорными журналами и газетъ и провинциальныхъ корреспонденцій. Кроме того, иногда принималъ участие и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, какъ, напримѣръ, въ «Стрекозѣ», гдѣ давалъ волю своему природному малороссійскому юмору, какъ бы вспоминая тѣ давніе дни, когда онъ впервые соприкоснулся съ писательской профессіей въ органѣ Курочкина. Любимой же его работой, которой онъ отдавался съ особенной страстностью и которая надолго оставляетъ за нимъ солидный слѣдъ въ литературѣ, были его историческія изысканія, печатавшіяся имъ на страницахъ «Наблюдателя» и въ особенности «Историческаго Вѣстника». Кроме этихъ трудовъ, о коихъ я скажу подробнѣе далѣе въ ихъ специальной группировкѣ, имъ составлено было нѣсколько справочныхъ изданій, вышедшихъ отдѣльно, въ связи и зависимости съ остальными прочими, напримѣръ, «Наши знакомые» — фельетонный словарь; «Петербургъ весь на ладони» (2 т.), «Пятнадцатилѣтіе газеты «Голосъ» (1863—1877 г.г.), «Новороссійскій календарь».

Изъ этой категоріи изданій для исторической литературы имѣетъ особенное значеніе обзорнѣе «Голоса» за 15 лѣтъ, составленное чрезвычайно объективно, съ обстоятельнымъ указаніемъ всѣхъ статей, помѣщенныхъ за это время, и именъ сотрудниковъ, постоянныхъ и случайныхъ, въ газетѣ когда-либо печатавшихся. Наиболѣе важною частью въ этой книгѣ должна считаться первая часть, гдѣ обрисованы задачи и направленіе «Голоса», и отмѣчено, при помощи рельефныхъ выдержекъ, отношеніе этой газеты къ вопросамъ внѣшней и внутренней политики, къ вопросамъ экономическимъ, народнаго просвѣщенія, церковнымъ и военнымъ. Заслуживаютъ вниманія и статистическія данныя, обрисовывающія ростъ подписки, ежедневную розничную продажу и формуляръ «поведенія» газеты въ видѣ постигавшихъ ее административныхъ каръ и взысканій.

Вторымъ, по своему историко-общественному значенію, должно быть поставлено изданіе «Петербургъ весь на ладони, съ планомъ Петербурга, его панорамой съ птичьего полета, 22 картинами и съ прибавленіемъ календаря». Это изданіе, вышедшее въ свѣтъ 25 лѣтъ тому назадъ, нынѣ нѣсколько забытое, по всей справедливости должно считаться первообразомъ позднѣйшихъ изданій календарнаго и справочнаго характера, относящихся къ жизни и состоянію нашей сѣверной столицы. Оно не блещетъ обиліемъ статистическаго матеріала, обстоятельностью адресной части, касающейся

мѣстожительства обывателей, но зато обстоятельно рисуетъ Петербургъ съ точки зрѣнія его культурно-историческаго роста и въ литературной формѣ, легко усваиваемой и доступной, изображаетъ городъ дѣйствительно, какъ на ладони, съ указаніемъ такихъ сторонъ жизни, коими нынѣшніе издатели, къ сожалѣнію, почти совсѣмъ не интересуются. Прекрасно разработана здѣсь историческая часть (1 т.) — «Петербургъ въ старину» (1703—1803 гг.), которая если и уступаетъ въ своемъ объемѣ и въ частности извѣстному труду М. Пыляева «Старый Петербургъ», зато превосходитъ его достовѣрностью матеріала и осторожностью его разработки. Не меньшаго вниманія заслуживаютъ и 1, 2 и 3 главы второго тома, посвященныя «естественно-историческому ходу заселенія С.-Петербурга», «движенію населенія» и «нравственно-статистическимъ свѣдѣніямъ о С.-Петербургѣ». Въ этихъ главахъ, помимо ихъ справочно-статистическаго значенія, заслуживаетъ вниманія подчасъ широкая, гуманная точка зрѣнія автора, которая такъ наглядно проявлялась и въ его всегдашнихъ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ. Изученіе нашей столицы по составленію календаря сдѣлало изъ Михневича рѣдкаго и тонкаго знатока петербургской жизни, что помогло ему въ теченіе почти двадцати лѣтъ быть занимательнымъ и разностороннимъ фельетонистомъ большой газеты, чутко отзывавшимся на всѣ злыбы столичнаго дня и тревоженія ея населенія. Болѣе сухо, кабинетно составилъ «Новороссійскій календарь», гдѣ уже не проглядываешь писателя, изучившій предметъ по личнымъ наблюденіямъ и въ близкомъ съ нимъ соприкосновеніи. Но во всякомъ случаѣ, въ качествѣ справочнаго изданія для провинціи, и онъ долженъ быть поминутъ добрымъ словомъ и имѣть также право на доброе и почетное мѣсто въ исторіи провинціального издательскаго дѣла.

Что же касается изданія «Нашихъ знакомыхъ», то, должно полагать, происхожденіе ихъ главнымъ образомъ обязано сотрудничеству покойнаго въ юмористическихъ изданіяхъ, гдѣ принято давать легкіе и въ нѣсколько игривомъ духѣ написанные портреты современниковъ. Такая постановка вопроса ставитъ иногда авторовъ такихъ писаній въ нѣсколько щекотливое положеніе, гдѣ трудно соблюсти должное равновѣсіе, и подчасъ, независимо отъ собственнаго желанія, приходится перегибаться то въ ту, то въ другую сторону, вдаваясь въ шаржъ и карикатуру, а также принося дань дионисіи и преувеличенной оцѣнкѣ. Михневичъ не остался чуждъ этихъ недостатковъ, и характеристики его далеко не всегда отличаются остроуміемъ, спокойствіемъ и мѣткостью. Главное достоинство этого словаря — иллюстраціи, портреты, изъ коихъ нѣкоторые, насколько мнѣ помнится, появились въ этой книгѣ впервые. «Наши знакомые» — книга, имѣвшая своимъ назначеніемъ собрать воедино главнѣйшихъ дѣятелей столицы, пользующихся особенной извѣстностью, и представитъ

ихъ въ нѣсколько окарикатуренномъ видѣ,—конечно, задѣла весьма многихъ и вызвала противъ автора немало злобы и недовольства, для которыхъ, говоря по совѣсти, въ интересахъ истины, было въ нѣкоторыхъ случаяхъ достаточное основаніе. Были задѣты личности, и онѣ-то сдѣлали платителю автору монетой личнаго же характера, создавая ему не всегда и не вездѣ добрую славу. Покойный, въ качествѣ вообще газетнаго работника, печатавшагося за полной подписью и занимавшаго въ общественной жизни, такъ сказать, боевую позицію на протяжении всей своей слишкомъ тридцатилѣтней дѣятельности, сплошь и рядомъ сталкивался съ этимъ элементомъ личныхъ счетовъ, личныхъ симпатій и антипатій, которые поневолѣ создаютъ вокругъ человека всяческія легенды, сплетни и злословіе, находящія себѣ отраженіе въ писаніяхъ его противниковъ. Нужно, однако, сказать въ чести покойнаго, что онъ въ своихъ работахъ всегда по мѣрѣ силъ и возможности избѣгалъ личныхъ счетовъ, являясь скорѣе жертвою счетовъ редакціонныхъ, нежели субъективныхъ побужденій.

Выше уже сказано, что Михневичъ принялъ настоящее крещеніе газетнымъ огнемъ только съ 1872 года, т.-е. въ ту пору жизни, когда его характеръ, складъ ума и общественныя взгляды вполне опредѣлились и работали; поэтому въ его дѣятельности не наблюдается никакихъ рѣзкихъ идейныхъ переломовъ, и онъ по всей справедливости является въ нашей журналистикѣ чрезвычайно послѣдовательнымъ и цѣльнымъ типомъ отъ начала своего газетнаго поприща до послѣднихъ своихъ дней. Будучи сначала сотрудникомъ «Голоса», а потомъ «Новостей», онъ отражалъ во всѣхъ своихъ отвѣтственныхъ работахъ на общественныя темы редакціонныя взгляды этихъ изданій и ни въ чемъ рѣшительно, по наиболѣе существенному, по крайней мѣрѣ, не расходился съ пріотивными его редакціонными семьями. Работая поразительно много въ самыхъ разнообразныхъ отдѣлахъ, онъ по необходимости стоялъ всегда на виду читателей и противниковъ, участвуя во всѣхъ полемическихъ битвахъ, производимыхъ и сомкнутымъ строемъ и вразсыпную. Особенно отвѣтственна, тяжела и вмѣстѣ съ тѣмъ чревата послѣдствіями была его работа въ «Новостяхъ», гдѣ онъ постоянно фигурировалъ или подъ псевдонимомъ «Коломенскій Кандидъ», или безъ всякаго зачала, а съ открытымъ лицомъ; кромѣ того, имъ же велся одинъ изъ самыхъ отвѣтственныхъ въ газетахъ отдѣловъ—обозрѣнія печати, почти цѣлкомъ покоящійся на элементахъ полемики по принципиальнымъ вопросамъ. Отсюда становится яснымъ все значеніе покойнаго писателя въ установленіи извѣстнаго направленія и поддержанія его, въ интересахъ опредѣленнаго общественнаго и политическаго знамени. Здѣсь

не мѣсто распространяться о тѣхъ началахъ, которыя положены въ политическую программу «Новостей»: лица, слѣдящія за нашими общественными теченіями, вѣроятно, и безъ моихъ указаній хорошо освѣдомлены по настоящему предмету, а обрѣтающимся въ невѣдѣніи краткая моя характеристика скажетъ немного. Считаю лишь долгомъ отмѣтить, что Владимиръ Осиповичъ, принявъ либеральныя завѣты шестидесятыхъ годовъ, превосходно гармонизировалъ своимъ настроеніемъ предъявляемымъ къ нему редакціоннымъ требованіямъ и твердо держалъ въ рукахъ доверенное ему знамя, подъ сѣнью котораго въ разное время стояли такіе представители русской литературы, какъ: Гр. Градовскій, Р. Сементковскій, А. Скабичевскій, П. Боборыкинъ, В. Немировичъ-Данченко, Д. Мордовцевъ, К. Баранцевичъ, И. Василевскій-Буква и множество другихъ того же направленія. Сотрудничество съ Михневичемъ никогда и никого изъ названныхъ лицъ не смущало, и изъ-за его личности или его убѣжденій никакихъ редакціонныхъ замѣшательствъ или осложнений не выходило.

Онъ работалъ честно, упорно и удивительно плодотворно, такъ что въ первые, напримѣръ, года существованія «Новостей» ему приходилось почти цѣлкомъ составлять № газеты, просиживая надъ этой работой съ утра до ночи. Молодое изданіе требовало для своего упроченія необыкновенно большаго напряженія силъ ближайшихъ сотрудниковъ, далеко не всегда, однако, будучи въ состояніи пропорціонально вознаграждать ихъ за понесенный трудъ. Михневичъ понималъ это, отдавалъ себя цѣлкомъ газетѣ, имѣя широкое нравственное удовлетвореніе въ томъ успѣхѣ, которымъ сопровождалась его кипучая напряженная дѣятельность; по мѣрѣ роста дѣла росло и его матеріальное благополучіе, а отношенія между ними и редакторомъ газеты становились все прочнѣе, сердечнѣе и неразрывнѣе.

Мѣнялись общественныя настроенія, на русскую жизнь набѣгали когда легкія, когда грозныя тучи, совершались кругомъ большія и малыя событія, газета по необходимости, какъ живая часть огромнаго общественнаго организма, испытывала на себѣ всѣ перипетіи жизни. Въ вѣчной сутолоцѣ ея, обязанная повседневному отвѣтству и отзывомъ на вопросы и злобу дня, она, конечно, часто оказывалась въ жестокихъ тискахъ, оказывалась припертою къ стѣнѣ, въ необходимости говорить робкимъ языкомъ, а когда и совсѣмъ молчать. Михневичъ, въ качествѣ повседнежнаго выразителя этихъ психологическихъ ощущеній редакціи, несомнѣнно, отражалъ въ своихъ писаніяхъ всѣ слѣды этихъ ощущеній и несъ за нихъ невольную и подчасъ несоразмѣрную отвѣтственность. Бывали, конечно и несомнѣнно, личные промахи, срывались съ пера неужныя слова и выраженія отъ усталости и окружающаго шума затуманивалась мысль... Противники зорко слѣдили за измученнымъ работникомъ, рады были посягнуть ему, общество выражало ему свое неудовольствіе, а редакция претензіи. Но

стойкость и бодрость сотрудника не ломались под напором неблагодарных порывов; взбаламученная волна уходила в свое ложе, поверхность житейского моря успокаивалась, и снова его парус бѣлѣлъ на необозримом просторѣ журналистики, символизировав вѣчное стремленіе къ простору, къ жизни и свободѣ. Бодрость, упорство и вѣра в порученное дѣло—вот тѣ дорогіе спутники, которые никогда не покидали покойнаго журналиста и побуждали его часто приносить въ жертву личное деспотически-властному редакціонному единству. Уходили старые сотрудники и сотоварищи по работѣ, прибывали новые, а Михневич не разставался съ своей «тажеркой» и перомъ, оставаясь неизмѣннымъ и стойкимъ другомъ окрѣпшаго газетнаго дѣла. Уже безпощадная смерть, не допуская ни одного дня отсрочки, занесла надъ нимъ грознымъ взмахомъ всеокулачивающую косу, а испытанный журналистъ все еще протягивалъ холодящую руку къ листу исписанной бумаги, чтобъ выполнить свой долгъ передъ читателями и редакціей.

На очереди въ «Новостяхъ» стоялъ историческій фельетонъ; его надо было сдавать, а онъ былъ только начатъ и былъ посвященъ работѣ друга покойнаго, М. Л. Песковского: «А. В. Суворовъ, его жизнь и военная дѣтельность». Какъ ни трудно было работать въ тискахъ жестокой болязни, но привычка и сознаніе обязанности дѣлали свое дѣло, и фельетонистъ надѣялся окончить работу. Суждено, однако, было иначе, и на другой день послѣдъ аншлага о вѣчномъ упокоеніи Владимира Осиповича появилась лишь часть работы, прерванная почти на половинѣ фразы и заключенная поучительнымъ указаніемъ редакціи, что «на послѣднихъ, нѣсколько неясныхъ, строкахъ и пресѣклась жизнь Михневича, умершаго въ полномъ смыслѣ съ перомъ въ рукѣ, всецѣло поглощеннаго вопросами *высшаго порядка*, которыми онъ отдалъ всю свою жизнь...».

Подводить общій итогъ газетной работѣ покойнаго нѣтъ возможности, да врядъ ли это и можетъ представить какой-нибудь интересъ: она вся была посвящена текущимъ вопросамъ дня, самые слѣды которыхъ уже нынѣ смыты волнами послѣдовавшихъ событій. Остались лишь вороха бумаги въ Публичной библіотекѣ, тысячи исписанныхъ имъ листовъ, гдѣ, впрочемъ, сплошь и рядомъ невозможно даже опредѣлить, гдѣ начинается Михневичъ и гдѣ кончается то, что называется редакціонной коллегіальностью. Нѣкоторые фельетоны его, однако, и то болѣе относящіеся до беллетристики, изданы отдѣльными книгами: «Литературный міръ», «Поддонки», «Всего понемножку», «Романы кухарки и камелии», «Варышни и барыни», но и относительно ихъ я долженъ сознаться, что цѣна имъ не Богъ вѣсть какъ велика: ихъ содержаніе по большей части случайное, эскизное, не сохраняющееся долго и прочно въ памяти. Особнякомъ стоятъ лишь двѣ его книжки «Варшава и варшавяне» и «Черные дни».

Первая изъ нихъ посвящена вопросу о сближеніи русскихъ и поляковъ, въ интересахъ ихъ совмѣстной и солидарной работы для рѣшенія экономическихъ, общественныхъ и государственныхъ задачъ въ царствѣ и въ Россіи, «которые не могутъ и не должны быть откидываемы». Въ этой небольшой книжкѣ авторъ является горячимъ сторонникомъ расширенія свободы слова польской печати, при помощи чего, онъ надѣется, разсѣются многія недоразумѣнія между нами и поляками. Вторая имѣетъ своимъ содержаніемъ его «наблюденія и замѣтки» во время поѣздки въ 1891 г. по голоднымъ мѣстамъ и является собраніемъ первыхъ въ русской печати корреспонденцій, посвященныхъ печальнымъ, дѣйствительно «чернымъ» днямъ нашей общественной жизни. Живыя наблюденія опытнаго журналиста внесли въ разъясненіе вопроса посильный свѣтъ и въ свое время читались публикой, когда они печатались на страницахъ «Новостей», что называется, парасхватъ. Итоги его размышленийъ надъ стихійнымъ бѣдствіемъ, периодически постигающимъ Русскую землю, сводятся къ слѣдующимъ словамъ: «Горе русскаго крестьянства заключается именно въ томъ,—по его мнѣнію,—что, кромѣ земледѣлія, у него почти нѣтъ никакого порядочнаго, солиднаго промысла, что онъ половину года сидитъ сложа руки или лежитъ на печи и ѣстъ кашу, когда они есть. Когда же ихъ нѣтъ, когда они не уродились, онъ безпомощенъ, какъ дитя, и не знаетъ, какъ себѣ пособить. Если бы наша промышленность стояла на должной высотѣ развитія, соотвѣтственно потребностямъ страны, у насъ не было бы тѣхъ миллионѣвъ праздныхъ рукъ, которые теперь безъ толку мыкаются въ конецъ, нигдѣ не находя спроса, не было бы той страшной рискованной зависимости огромной трудовой массы населенія отъ стихійныхъ случайностей, отъ какого-нибудь поздняго заморозка, отъ засухи или отъ несвоевременной мокрыни; не было бы той непреодолимой, жестокой власти неурожая надъ всей страной, какую мы испытываемъ нынѣ, не было бы никогда и голодовокъ».

Русская исторія манила къ себѣ Владимира Осиповича съ самыхъ раннихъ лѣтъ, и занятіямъ ею остался онъ вѣренъ до гробовой доски. Слѣдомъ этихъ занятій былъ цѣлый рядъ монографій, напечатанныхъ отчасти въ «Наблюдателѣ», отчасти въ Историческомъ Вѣстникѣ и въ большинствѣ случаевъ изданныхъ отдѣльно, причемъ нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ значительную цѣнность.

Михневичъ былъ историкомъ по призванію, и всѣ его работы, даже публицистическаго характера, носятъ на себѣ несомнѣнный слѣдъ большихъ историческихъ знаній и постоянныхъ занятій областью прошедшаго. Этотъ историзмъ въ значительной мѣрѣ удерживалъ его отъ публицистическихъ

крайностей, когда журналист, работая изо дня в день, в вѣчной лихорадкѣ проклятыхъ вопросовъ, часто теряетъ руль и компасъ и кидается отъ одной крайности къ другой, разжигая общественныя страсти и воздвѣивая на читателя парадоксами и категорическими, мало обоснованными, построениями. Историческія занятія были тою спокойною и мирною бухтою, гдѣ умъ нашего публициста находилъ успокоеніе и приобреталъ ту ровность и разсудительность, которыя далеко не всегда являются удѣломъ всѣхъ нашихъ собратьевъ по газетной профессіи. Онъ находилъ поэтому возможность постоянно судить событія дня высшимъ безпристрастнымъ судомъ и въ той широкой перспективѣ, которая дается лишь людямъ именно по ихъ специальности историковъ.

Вступивъ въ литературу въ шестидесятыхъ годахъ, онъ попалъ въ ту именно полосу, когда разработка бытовыхъ сторонъ нашей былой жизни стала особенно плодотворна, и интересъ къ отечественному прошлому сдѣлался особенно популярнымъ. Михневичъ примкнулъ по своимъ симпатіямъ и характеру работъ къ категоріи именно тѣхъ труженниковъ, которые задѣлались цѣлью съ возможной тщательностью разобратъ въ опубликованныхъ многочисленныхъ документахъ, относящихся главнымъ образомъ къ бытовой исторіи Россіи XVIII в. Подобно М. И. Семевскому, Е. П. Карповичу, С. Н. Шубинскому и другимъ нашимъ историкамъ того же типа, онъ не задавался задачей обработки явленій жизни въ ихъ политической, государственной или статистико-экономической постановкѣ дѣла; нѣтъ, онъ по большей части отмежевывалъ себя сравнительно небольшую какую-нибудь, но вполне определенную, область и ее разрабатывалъ съ удивительнымъ стараніемъ и добросовѣстностью, тщательно подбирая факты лишь изъ источниковъ вполне достоверныхъ и не вызывающихъ сомнѣній. Поэтому редакціи никогда не были обременены проверкой его работы или сомнѣніемъ въ ихъ добросовѣстности; на него смѣло можно положиться въ полной увѣренности, что онъ, во-первыхъ, не подведетъ какими-нибудь сомнительными или фантастическими апокрифами и, во-вторыхъ, что по данному вопросу авторъ исчерпалъ весь существующій матеріалъ, и ничто не ускользнуло отъ его внимательнаго изслѣднія.

Редакція «Историческаго Вѣстника», гдѣ преимущественно и были помѣщены историческія работы покойнаго, всего лучше можетъ засвидѣтельствовать, какъ спокойно и увѣренно можно было работать съ Владимиромъ Осиповичемъ и въ какомъ порядкѣ, какъ съ внутренней, такъ и съ вѣншей стороны были представляемы всѣ его рукописи. Онъ относился къ намѣченной темѣ не съ плеча, какъ многіе изъ насъ, грѣшныхъ, облюбовывалъ ее, велъ по ея предмету переговоры, совѣтовался, старательно подбиралъ литературу. По сдачѣ статьи въ редакцію онъ съ такою же любовію слѣдилъ за временемъ ея появленія, заботливо входилъ въ переговоры съ типографіей о наборѣ, тщательно правилъ доставленную корректуру и преподносилъ

публикѣ статью безъ всякихъ зависящихъ и независящихъ изъясновъ. Также въ высшей степени былъ онъ корректенъ и въ своихъ денежныхъ отношеніяхъ къ конторѣ редакціи, выражая всегда тщательное попеченіе о покрытіи своихъ небольшихъ авансовъ, къ коимъ онъ, какъ и всѣ мы, труженники печати, вынуждаемъ быть обращаться въ минуты жизни трудныя. Онъ вступилъ въ составъ сотрудниковъ съ перваго же года основанія «Историческаго Вѣстника», т. е. съ 1880 года, и тогда же имъ были помѣщены здѣсь два очерка—«Лодка» (простонародная свѣточная игра) и «Съ сильнымъ не борись» (картина нравовъ первой половины XVIII в.). Съ этихъ поръ, съ небольшимъ перерывомъ въ концѣ 1880-хъ и началѣ 1890-хъ годовъ, онъ неизмѣнно помѣщалъ свои произведенія этого жанра въ «Историческомъ Вѣстникѣ», особенно сильно участвуя въ немъ въ первые годы его существованія и въ послѣдніе годы своей жизни. Въ промежуткахъ же своего отсутствія въ журналѣ, по случайнымъ обстоятельствамъ, онъ печатался въ «Наблюдатель».

Выше уже было говорено, что труды нашего изслѣдователя XVIII в. имѣли своимъ содержаніемъ главнымъ образомъ бытовую исторію отечественной жизни, тѣ ея конкретныя детали и страницы, гдѣ выражалась культурная работа общества и составныхъ его элементовъ, въ образѣ отдѣльныхъ лицъ, семей и социальныхъ группъ. Въ числѣ такихъ трудовъ наиболѣе существенное значеніе имѣютъ: «Очеркъ исторіи музыки въ Россіи въ культурно-общественномъ отношеніи» (1879 г.), «Историческіе этюды русской жизни» (1882 г.), «Любимцы. Хроника одного семейства» (1885 г.), «Русская женщина XVIII столѣтія». Всѣ названныя работы имѣются отдѣльными изданіями; и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, «Исторія музыки» или очерки—«Пляски на Руси въ хоровахъ, на балу и въ балетѣ», составляющие значительную часть его «Этюдовъ», или «Русская женщина» являются въ своемъ родѣ единственными монографіями въ нашей литературѣ, гдѣ автору удалось собрать громадный и драгоцѣнный матеріалъ.

Въ послѣдніе годы, уже на краю, такъ сказать, могли онъ усиленно быть озабоченъ собраніемъ данныхъ и разработкою ихъ, касающихся карточной игры въ нашемъ отечествѣ. Эта тема до нелѣзя интересовала автора, онъ рылся въ массѣ источниковъ, выкапывалъ оттуда самыя мелкія крохи и, несмотря на всю тяготу злого недуга, надѣялся въ концѣ концовъ осуществить свою полюбившуюся ему такъ задачу. Къ сожалѣнію, бѣдному Владимиру Осиповичу не суждено было довести дѣла до конца, и оставшаяся послѣ него рукопись, правда вполне отдѣланная, перебѣленная и просмотрѣнная, обнимаетъ собою исторію карточной игры до конца XVIII вѣка включительно; текущее же столѣтіе съ этой стороны осталось неразработаннымъ, и только мелкія замѣтки, обрывки мыслей и фактовъ, нанесенные на клочки бумаги, свидѣтельствуютъ, что и нашъ картежный вѣкъ долженъ былъ въ лицѣ покойнаго найти себя безпристрастнаго и всесторонняго историка. Та часть,

которая обработана, появилась в 1901 г. на страницах «Исторического Вестника», для которого и предназначалась эта работа. Сюда же готовился имъ и другой очеркъ, посвященный характеристикѣ гр. Враницкой и заказанный ему редакціей, но, увы! и этой работы ему не удалось довести до конца и даже упорядочить въ предѣлахъ, возможныхъ для напечатанія. А вмѣстѣ съ тѣмъ заботы объ этихъ этихъ темахъ не покидали его почти до послѣдняго времени и незадолго до своей кончины, посылая для мартовской книги рукопись статьи «Русскій народъ въ своихъ воззрѣніяхъ на себя и на свое прошлое», онъ писалъ редактору, въ заключеніи письма личного характера: «А теперь позволите потолковать о нашихъ съ вами *кровныхъ* литературныхъ дѣлахъ! Посылаю вамъ при семъ, съ усердной просьбой напечатать въ мартовской книжкѣ — это, какъ увидите, логически необходимо — статью «Самоопредѣленіе Руси по народнымъ сказаніямъ»¹⁾. Въ статьѣ не больше листа съ четвертью, она здѣсь вся, безъ продолженій впередъ, хотя и является своего рода продолженіемъ «Кто и когда выдумалъ Россію?»²⁾. Я, впрочемъ, это оговорилъ въ примѣчаніи... Если припомните, у меня была начата большая работа въ этомъ родѣ, но теперь, по болѣзни, я не имѣю надежды ее окончить въ желаемомъ объемѣ; не хотѣлось бы, тѣмъ не менѣе, забрасывать изъ сдѣланнаго то, что сдѣлано не совсѣмъ худо, сдѣлано со стараніемъ и можетъ быть не безъ пользы и пріятности прочитано публикой «Исторического Вестника». Что касается Враницкой, то ея характеристика — вопросъ пѣсколькихъ дней, когда голова у меня будетъ ясна и силъ достаточно, чтобы уѣсться за письменный столъ. Уповаю и надѣюсь прежде, тѣмъ окачуриться, дать вамъ и исторію карточной игры»...

Но ни «Враницкой», ни «Карточной игры» выполнить ему не удалось — не хватило силъ, и длительный процессъ тяжкаго умиранія не скалился надъ несчастнымъ страдальцемъ. «Враницкая» такимъ образомъ отъ имени Владимира Осиповича и не появилась на страницахъ «Исторического Вестника», а исторія карточной игры была напечатана лишь неполностью, какъ ее довелъ до извѣстнаго момента самъ авторъ.

Изъ приведеннаго письма къ С. Н. Шубинскому читатели могутъ убѣдиться, что, помимо этихъ работъ, покойнаго Михневича озабочивала и та широкая тема о самоопредѣленіи русскаго народа, отрывки которой, въ видѣ законченныхъ очерковъ, были напечатаны въ 1899 г. въ «Историческомъ Вестникѣ». Помѣщая второй изъ этихъ очерковъ, авторъ снабдилъ его примѣчаніемъ, гдѣ дать объясненіе объѣмъ статьямъ за разъ. «Объ статьи не случай-

¹⁾ Она и напечатана въ мартовской (1899 г.) книжкѣ подъ приведеннымъ выше заглавіемъ.

²⁾ «Истор. Вѣстн.» 1899 г., февраль.

ны, — говорить онъ. — Въ сущности, онъ извлеченъ изъ большого, не оконченнаго, много лѣтъ уже занимающаго автора труда по изученію народныхъ сказаній, какъ матеріала и первоисточника для начертанія *русской народной исторіи*, которая у насъ до сихъ не написана. Дать полный, всесторонне обработанный и систематизированный сводъ воззрѣній и представленій русскаго народа о томъ, *какъ, за кого онъ самъ себя и свое историческое прошлое разумеетъ*, — задача оказалась слишкомъ большой, слишкомъ сложной и ответственнѣйшей, чтобы авторъ отважился самонадѣянно взять ее на себя. Оставалось ограничиться частными, бѣглыми развѣдами въ широкую, какъ темный боръ, необозримую и такъ еще мало изслѣдованную область народнаго самосознанія и самоопредѣленія. Одну изъ такихъ развѣдокъ и представляетъ настоящій этюдъ.

Отсюда читатели могутъ убѣдиться, что за широкая и оригинальная тема интересовала автора, надъ которой онъ дѣйствительно много лѣтъ работалъ и выполнить которую составляло его завѣтную мечту. Онъ любилъ въ личной бесѣдѣ говорить объ этой работѣ, въ его уютномъ кабинетѣ на письменномъ столѣ всегда можно было найти по настоящему предмету множество книгъ, среди которыхъ словарь Даля, сказки Сахарова, работы С. Максимова и другихъ нашихъ писателей-этнографовъ занимали почетное мѣсто, чередуясь съ томами былинъ и разныхъ справочныхъ лингвистическихъ изданій.

Еще за три недѣли до смерти, встрѣтившись со мною за обѣдомъ у А. М. Скабичевского, онъ съ удивительной любовью говорилъ объ этой работѣ, объ этой дорогой ему темѣ, но и тутъ же съ глубокой, душу шемящей тоской пророчествовалъ, что для выполненія этой задачи ему не дано судьбою больше дней и часовъ... И когда мнѣ пришлось послѣ первой панихиды заглянуть въ столь хорошо знакомый мнѣ кабинетъ Владимира Осиповича, то первое, что мнѣ бросилось въ глаза на его осиротѣломъ письменномъ столѣ, была рядомъ со сдѣломъ не доконченной работы для историческаго фельетона въ «Новостяхъ» именно кучка аккуратно подобранныхъ авторовъ, которые съ такою любовью собирали совокупную работу русскаго духа, изъ каковой бы единенной и опредѣленно освѣщенной работы покойникъ надѣялся вывести самоопредѣленіе русскимъ народомъ самого себя.

Издавая въ 1884 году собраніе сочиненій Павла Якушкина, этого типичнаго интеллигентнаго калитки переходящаго и представителя нашей разночинической литературной богемы, Михневичъ писалъ въ предисловіи: «Непосредственное изученіе народа — дѣло у насъ молодое, новое, едва начатое. Дѣло это великое, первостепенной важности, и теперь уже для всѣхъ это ясно! Поэтому каждая добросовѣстная работа по изученію народа должна быть на виду и на счету, каждый, самый даже скромный изслѣдователь, посвятившій этому дѣлу свои силы, заслуживаетъ вниманія, памяти и признатель-

ности». Обращаясь же непосредственно къ личности Якушкина, онъ говорилъ: «Въ народъ онъ шелъ не мудрить надъ нимъ, не прикладывать къ нему тѣ или другіе взгляды и теоріи, шелъ онъ въ него, какъ мѣтко выразился о немъ одинъ журналъ, «смирнню, т. е. воздерживаясь отъ всякаго суда и приговора». Его воодушевляла единственно горячая, беззаветная любовь къ народу,—любовь не дѣланная, по дѣятельная, которая стремится извѣдать до глубины сокровенныя думы, нужды и боли того, кому посвящена она. Въ Якушкинѣ это было самородное, задумшенное призваніе, ставшее посланичествомъ всей его жизни, которымъ онъ и заслужилъ безспорное право быть помянутымъ добрымъ словомъ и вниманіемъ всѣхъ любящихъ родину русскихъ людей».

Эти прекрасныя слова Михневича мнѣ хотѣлось бы обратить и по его адресу, какъ историка, какъ писателя нашей отечественной дѣятельности, въ которой онъ съ такою любовью обращалъ свой взоръ на низины нашей жизни, гдѣ думать, чувствовать и страдать это многочисленное населеніе, именуемое русскимъ народомъ, самосознаніе котораго, во всей совокупности, ему такъ-таки и не удалось ошефелить, но къ чему онъ даже на краю холодной могилы съ такою страстностью стремился.

Чтобъ закончить бѣглый обзоръ историческихъ трудовъ покойнаго, считаю долгомъ отмѣтить слѣдующія его статьи, напечатанныя въ «Историческомъ Вѣстникѣ». «Непреклонный майоръ»—картинка административной неурядицы Александровскихъ временъ, и «Извращеніе народнаго гѣснотворчества» (1880 г.), «Подка» (1881 г.), «Женское правленіе и его противники»—характеристическая подробность русской исторіи XVIII вѣка; «Исторія мѣднаго всадника» (1882 г.), «Съ сильнымъ не борись»—картинка правоты первой половины XVIII в. (1883 г.), «Старина XVIII стол. 1730—1740 г.» (1884 г.), «Дѣдъ Пушкина» (1886 г.), «Скаворскіе. Страница изъ исторіи фаворитизма въ Россіи» (1885 г.), «Страница изъ литературныхъ воспоминаній» (1891 г.), «Графиня М. А. Румянцева» и «Изъ старыхъ бумагъ» (1897 г.), «Двѣ невѣсты Петра II» и «Черты быта и правоты XVIII столѣтія» (1898 г.), «Биографія М. С. Перекрусиной» (1899 г.), «Кто и когда выдумалъ Россію» (1899 г.), «Русскій народъ въ своихъ воззрѣніяхъ на себя и на свое прошлое». Кромѣ того, имъ помѣщено въ журналѣ много рецензій и мелкихъ замѣтокъ.

Михневичъ всю свою жизнь съ 1870 года провелъ въ литературѣ, живя ею и для нея. Поэтому, помимо его дѣятельности, какъ писателя, какъ автора многочисленныхъ статей въ газетахъ и журналахъ, заслуживаетъ вниманія и отвѣтъ на вопросъ: что же дѣлалъ онъ для своей среды, для лицъ, составляющихъ профессиональный классъ журналистовъ? По всей справедливости

слѣдуетъ отмѣтить, что онъ жилъ въ самомъ тѣсномъ и дружномъ единеніи съ этою средою, болѣя всѣми ея невзгодами и болѣзнями и по мѣрѣ силъ неся къ услугамъ ея свое свободное время и безкорыстный трудъ. Въ этомъ отношеніи Михневичъ оставилъ по себѣ самую теплую память въ «кассѣ взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ», какъ ревностный членъ правленія и самый аккуратный исполнительный казначей этого правленія. Избранный членомъ ревизіонной комиссіи кассы, именно въ бытность Владимира Осиповича казначеемъ, я совместно съ своими товарищами по ревизіи имѣлъ случай въ докладѣ общему собранію засвидѣтельствовать о безупречномъ и ревностномъ трудѣ нашего милого казначея. То же самое могу и повторить и сейчасъ, добавивъ къ этому лишь то, что, будучи требователемъ и взыскателемъ въ отношеніи самого себя, какъ административнаго лица, Михневичъ былъ также неумолимъ и въ отношеніи своихъ товарищей по правленію.

Въ архивѣ «Историческаго Вѣстника» имѣются по настоящему предмету очень любопытныя документы, которые, можетъ быть, когда наступитъ очередь писать исторію кассы, пригодятся и увидятъ свѣтъ Божій. Вотъ это-то строгое отношеніе къ обязанностямъ и послужило въ значительной мѣрѣ толчкомъ къ упорядоченію вообще казначейской и дѣлопроизводительской частей кассы, что и достигнуто было въ свое время. Инициаторомъ этого упорядоченія и былъ именно покойный Владимиръ Осиповичъ, который еще въ 1895 году вошелъ въ правленіе по настоящему предмету съ представленіемъ, которое я, какъ документъ для исторіи кассы и какъ памятникъ дѣятельности покойнаго члена правленія и казначея, привожу здѣсь цѣликомъ.

Записка члена правленія кассы взаимопомощи при обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ В. О. Михневича.

Считаю своимъ долгомъ внести на обсужденіе правленія нижеслѣдующія, вынесенныя изъ слишкомъ трехлѣтняго опыта участія въ составѣ правленія, соображенія и предположенія, касающіяся дѣлопроизводства кассы.

Въ настоящее время все бремя дѣлопроизводства кассы лежитъ въ сущности на плечахъ предсѣдателя правленія, въ лицѣ котораго поэтому сосредоточены какъ инициатива, такъ и вся исполнительная власть по дѣламъ кассы. Другія должностныя лица (секретарь и казначей) и само правленіе узнаютъ о теченіи дѣлъ кассы только то, что угодно и когда угодно сообщить имъ объ этомъ предсѣдатель. Переписка, поступленіе денегъ, отчетность по нимъ и проч., все это идетъ черезъ руки предсѣдателя и въ нихъ сосредоточено, причемъ надъ дѣятельностью предсѣдателя не установлено точно опредѣленнаго контроля, или во всякомъ случаѣ открыта возможность уклоняться отъ него или оттягивать его на неопредѣленное время.

Такой порядок, заключающий в себя нарушение начал коллегальности, ведет къ неравномерному распредѣленію занятій между должностными лицами правленія—къ непосильному обремененію ими одного председателя и ничего почти не дѣланію секретаря и казначея, и отсюда къ возможности замедленія въ теченіи дѣлъ, путаницы, дезорганизации и затѣмненія предѣловъ отвѣтственности.

Этотъ порядокъ можетъ еще не вызывать опасеній и признаваться отчасти естественнымъ при нынѣшнемъ почтенномъ предсѣдателѣ правленія, Г. К. Градовскомъ, которому касса обязана своимъ созданіемъ и своей организацией, когда, по повизнѣ дѣла, творецъ нашего учрежденія вынуждался не только руководить общимъ направлениемъ дѣлъ, но и непосредственно принимать всеобъемлющее участіе въ отправленіи всего дѣлопроизводства.

Но слѣдуетъ имѣть въ виду не исключительно-счастливое, а нормальное положеніе вещей и предусматривать возможность такого случая, когда предсѣдатель будетъ лицо, не столь вѣрное долгу и преданное интересамъ кассы, не столь посвященное въ ея уставъ и организацию. Поэтому и необходимо заблаговременно установить и ввести въ практику такой болѣе правильный порядокъ, который предупредилъ бы на будущее время возможность упущеній и злоупотребленій. Необходимо теперь же урегулировать общій порядокъ дѣлопроизводства кассы, разграничить въ точности права и обязанности каждаго должностнаго лица правленія и устранить почву для всего случайнаго и произвольнаго.

На этомъ основаніи предлагаю внести въ порядокъ дѣлопроизводства кассы слѣдующія правила:

1) Правленіе кассы должно быть собираемо въ опредѣленные сроки и не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, за изытіемъ развѣ трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ.

2) Отчетъ за каждый истекшій годъ долженъ быть составленъ и опубликованъ не позже половины слѣдующаго года и возможно ранѣе.

3) Денежная отчетность должна производиться не менѣе одного раза въ мѣсяцъ (не исключая и трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ) въ бюро правленія, причемъ всѣ денежные поступленія и расходы приводятся въ извѣстность и заносятся въ кассовыя книги.

4) Помимо этого каждое денежное поступленіе должно записываться въ день его поступленія въ особо установленную, прошнурованную дневную кассовую книгу.

5) Всѣ поступающія суммы должны немедленно вноситься на специально установленный въ благонадежномъ банкѣ текущій счетъ кассы или обращаться, по мѣрѣ накопленія, на покупку процентныхъ бумагъ, хранимыхъ въ государственномъ банкѣ; во всякомъ случаѣ на рукахъ не должно оставаться безъ надобности болѣе ста рублей.

6) По всѣмъ вообще денежнымъ поступленіямъ въ кассу обязательно должны выдаваться квитанціи, независимо отъ того, требуетъ или не требуетъ таковой платящее лицо.

7) Необходимо вообще составленіе опредѣленной, точной казначейской инструкции, а также и секретарской.

8) Каждый членъ кассы при поступленіи приглашается дать *зачисъ* (по наслѣдованію, въ случаѣ его смерти, причитающейся ему суммы), для чего выдается ему печатный бланкъ таковой, подъ расписку. Съ своей стороны, правленіе выдаетъ расписку въ принятіи каждаго «записи», не дожидаясь ея истребованія.

9) Никакія мѣры и предпріятія, касающіяся дѣлъ и интересовъ кассы, не должны быть принимаемы никѣмъ изъ членовъ правленія (хотя бы и на свой личный рискъ) безъ предварительнаго обсужденія и согласія, по большинству голосовъ, всего правленія.

В. О. Михневичъ.

18 сентября 1895 года,
Спб., Песочная, 10.

Ликвидируя свое жизненное поприще, Михневичъ не пожелалъ остаться какъ бы въ долгу передъ русскою литературою и за то, что она дала ему доброе имя, и за тотъ матеріальный достатокъ, который онъ почерпнулъ именно изъ своихъ литературныхъ трудовъ. Поэтому, завѣщая потомству накопленное имъ духовное богатство, въ видѣ нѣсколькихъ цѣнныхъ литературныхъ трудовъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшилъ оставить по себѣ и вещественную память родному сословію, въ рядахъ котораго протекала его жизнь. Свою отлично подобранную историческую бібліотеку онъ завѣщалъ (на словахъ) «союзу русскихъ писателей», а все остальное имущество сначала въ пожизненное владѣніе супругъ своей, Елизаветѣ Николаевнѣ, а послѣ ея смерти «обществу для пособія пугающимся литераторамъ и ученымъ», или, иначе, такъ называемому литературному фонду. Этотъ вкладъ, чрезвычайно цѣнный, цѣнный и по своему значительному матеріальному объему, и по тому нравственному началу, которое вложено въ эту волю и которое вноситъ въ нашу, въ общемъ небогату радостными и свѣтлыми явленіями, жизнь русскихъ писателей лучъ тепла и свѣта.

Нотариальнымъ порядкомъ составленное его духовное завѣщаніе, для коего въ свидѣтели были приглашены его друзья, известные писатели: А. М. Скабичевскій, И. Θ. Василевскій (Бука), А. И. Поповицкій, заключается въ нижеслѣдующемъ:

«Все движимое имущество, какое послѣ меня окажется, въ чемъ бы оно ни заключалось и гдѣ бы ни находилось, кромѣ бібліотеки и капитала, я завѣщаю въ полную собственность любезнѣйшей женѣ моей, Елизаветѣ

Николаевичъ Михневичъ. Принадлежащую мнѣ библиотеку, вмѣстѣ съ шкапами, въ которыхъ она помѣщается, я отказываю въ собственность «русско-литературному обществу», съ тѣмъ, чтобы она навсегда была сохранена, а въ случаѣ ликвидаціи означеннаго общества—передана въ распоряженіе общества литературнаго фонда, которое благоволитъ тѣмъ или инымъ способомъ обратить мою библиотеку въ пользованіе писателей.

«Всѣ мои сочиненія и изданія, а равно всю отъ нихъ прибыль я завѣщаю въ собственность женѣ, Елизаветѣ Николаевнѣ. Изъ всего капитала, если таковой послѣ меня останется, въ чемъ бы онъ ни заключался и гдѣ бы ни находился, одну третью часть я завѣщаю въ собственность женѣ моей, Елизаветѣ Николаевнѣ, а двѣ трети онаго—ей же въ пожизненное владѣніе; въ собственность же двѣ трети моего капитала я отказываю обществу литературнаго фонда. Принадлежащій мнѣ домъ, состоящій въ С.-Петербургѣ, Петербургской части, третьяго участка, по Песочной улицѣ и набережной рѣки Карповки, подъ №№ по табелямъ 1876 года тысяча двѣсти девятымъ, а 1874 года тысяча сто сороковымъ и полицейскимъ десятымъ, я завѣщаю женѣ моей Елизаветѣ Николаевнѣ въ одной третей части въ собственность, а въ двухъ третяхъ частяхъ въ пожизненное владѣніе; въ собственность же эти двѣ трети части отказываю «обществу литературнаго фонда»: при этомъ предоставляю Елизаветѣ Николаевнѣ право, если она пожелаетъ, означенный домъ со всѣми постройками и землею продать и изъ вырученнаго отъ таковой продажи капитала одну третью часть получить въ свою собственность, а двѣ трети онаго, какъ собственность литературнаго фонда, должны быть обращены въ государственныя или правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги и внесены на храненіе въ государственный банкъ; проценты съ этого капитала получаетъ пожизненно жена моя Елизавета Николаевна. Я желаю бы, чтобы завѣщенный мною въ собственность «общества литературнаго фонда» капиталъ былъ обращенъ на устройство въ С.-Петербургѣ общежитія для нуждающихся литераторовъ, впадшихъ въ инвалидность».

Вслѣдъ за этимъ юридическимъ актомъ свидѣлемъ завѣщанія И. Θ. Васильевскимъ получено было отъ Михневича письмо, гдѣ онъ писалъ: «Дорогой другъ Ипполитъ Ѳеодоровичъ! прилагаю при семъ известное тебѣ «нравственное» завѣщаніе мое и прошу тебя, запечатать оное, хранить у себя до моей смерти, а по наступленіи оной распечатать и привести въ исполненіе. Весь твой В. Михневичъ».

Нравственное это завѣщаніе, распечатанное, согласно волѣ покойника, послѣ его похоронъ и нынѣ опубликованное въ «Новостяхъ», гласитъ:

«Дорогіе друзья мои, Александръ Ивановичъ, Александръ Михайловичъ и Ипполитъ Ѳеодоровичъ! Вы сдѣлали мнѣ дружескую услугу, согласившись быть свидѣтелями моего юридическаго завѣщанія: теперь я прошу васъ

взять на себя трудъ быть повѣренными и настоящаго моего, такъ сказать, нравственнаго завѣщанія. Въ первомъ я исполнить сердечный долгъ передъ моею неизмѣнной подругой въ жизни—женою, которой я обязанъ личнымъ счастьемъ. Я хотѣлъ, чтобы послѣ моей смерти она была, сколько отъ меня зависить, обеспечена и дожила свой вѣкъ спокойно, безъ нужды. Здѣсь же я вѣрваю вамъ мой нравственный долгъ передъ русской литературой, которую возлюбилъ съ той минуты, какъ научился грамотѣ, и съ этой любовью умру.

«Русской литературѣ я всѣмъ обязанъ,—и самыми свѣтлыми минутами въ жизни, и лучшими чувствами и помыслами, и, наконецъ, какъ писатель, обязанъ ей моимъ именемъ, положеніемъ, матеріальнымъ достаткомъ и всѣмъ тѣмъ, что имѣю.

«Завѣщая теперь послѣ себя мой достатокъ литературнымъ учрежденіямъ, я только возвращаю то, что дала мнѣ литература.

«Мое самое большое и горячее желаніе—умереть съ перомъ въ рукахъ, на службѣ русскому печатному слову, до послѣдняго издыханія. Надѣюсь, съ Божьей помощью, это такъ и случится, и на этотъ счетъ я въ старости буду счастливѣе, чѣмъ былъ въ молодости. Стремясь со дней ранней юности сдѣлаться писателемъ и найти себѣ мѣсто въ журналистикѣ, я добился этого долгимъ и труднымъ путемъ, среди неудачъ и разочарованій, подъ гнетомъ нужды и всякихъ лишеній. Такъ, впрочемъ, не я одинъ начиналъ.

«Но когда молодъ, здоровъ и силенъ вѣрой въ себя, когда вся жизнь еще впереди,—такой искусъ не страшень, и если удастся переспорить неласковую судьбу, то даже полезенъ, какъ закалъ для металла. Вотъ горе, когда онъ приходится подъ старость, когда писатель, дряхлѣя, утрачиваетъ дарованіе, силы, способность къ работѣ, когда его, какъ отслужившаго инвалида, отчисляютъ въ «запасъ» или начисто увольняютъ «безъ прошенія», и ему негдѣ преклонить сѣдую голову и остаться мыкающимъ въ нищетѣ, пока, наконецъ, не свезутъ раба Божія на Волково кладбище на счетъ благотворительнаго литературнаго фонда! Горька и жестока такая участь, и—однакожь ей такъ часто подвергаются русскіе писатели, нерѣдко люди съ почтеннымъ именемъ, въ свое время талантливые, оставившіе по себѣ замѣтный слѣдъ въ литературѣ! Мнѣ она всегда казалась страшной, и я не разъ внутренне молилъ судьбу, чтобы она не дала мнѣ дожить до такого положенія. Не знаю—смируется ли судьба надо мною лично, но если смируется, если то, что я завѣщалъ сегодня литературному фонду, послѣ смерти моей и моей жены, сохранится и дойдетъ по назначенію, то самое завѣтное и горячее желаніе мое, чтобы завѣщанныя мною крохи послужили хотя бы началомъ для основанія такого учрежденія, которое доставляло бы неимущимъ писателямъ—инвалидамъ, по болѣзни или старости утратившимъ способность работать, теплый кровъ, со всѣмъ необходимымъ для жизни, и чтобы все

это, само собой разумеется, предлагалось имъ и обставлялось въ возможно деликатной, безобидной, истинно-товарищеской формѣ.

«И эту-то мою волю я поручаю вамъ, мои дорогие друзья, и убѣдительно прошу васъ всѣхъ вмѣстѣ и каждого порознь, кто изъ васъ переживетъ меня, приложить всяческое стараніе, чтобы эта воля моя была исполнена при непосредственномъ содѣйствіи литературнаго фонда.

«Владимиръ Осиповичъ Михневичъ».

Въ послѣдующіе годы, когда тяжкая болѣзнь овладѣла уже цѣликомъ Владимирою Осиповичею, и смерть съжесасно грозила перенести его въ міръ иной, онъ неоднократно собирался переписать духовное завѣщаніе, съ тѣмъ, чтобы направить свой матеріальный достатокъ въ иныя литературныя учрежденія, а именно: въ кассу взаимопомощи русскихъ писателей, на которую онъ такъ много поработалъ и съ которою онъ успѣлъ тѣсно сродниться, и въ «союзъ русскихъ писателей», въ будущность котораго ему хотѣлось вѣрить. Въ этихъ видахъ все имущество, въ видѣ недвижимой собственности и изданій, онъ собирался завѣщать кассѣ, а бібліотеку «союзу», учрежденію, тогда еще не пережившему организационный періодъ и нуждавшемуся въ хорошо устроенной бібліотекѣ и читальнѣ. Но, какъ это часто случается съ «завѣщателями», частію по недосугу, частію по болѣзни, ему не удалось осуществить своей воли, и завѣщаніе сохранило свою юридическую силу въ томъ видѣ, какъ оно изложено выше.

Но что не удалось сдѣлать покойному Владимиру Осиповичу, рѣшила хотя бы отчасти восполнить вдова его, Елизавета Николаевна. Въ этихъ видахъ она направила всѣ посмертныя поступленія отъ литературы, въ видѣ небольшихъ даже гонораровъ и также будущихъ доходовъ съ изданій именно въ «кассу взаимопомощи» для усиленія ея пенсіоннаго фонда. Сюда такимъ образомъ направляются гонорары и прибыль съ задуманныхъ литературныхъ предпріятій по изданію сочиненій Михневича. Изъ числа таковыхъ изданій на первую очередь было поставлено изданіе историческихъ работъ его, напечатанныхъ въ свое время въ «Историческомъ Вѣстникѣ» и не вошедшихъ въ отдѣльныя изданія. Статьи эти, собранныя вмѣстѣ, дѣйствительно вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ двухъ томахъ, съ моимъ біографическимъ предисловіемъ.

Что же касается бібліотеки, то она вслѣдствіе закрытія союза нынѣ стала достояніемъ «дома писателей», помѣщающагося на Карповкѣ № 17.

Скончался Михневичъ 24-го февраля 1899 г. послѣ тяжелой мучительной болѣзни—расширенія аорты, которая въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ держала его жизнь подъ страшною угрозою ежеминутнаго конца. Процессъ такимъ образомъ умирая длился страшно долго, и послѣдніе два-три года были годами сплошныхъ страданій и чувства безсилія передъ

неминуемымъ роковымъ концомъ. Больно было глядѣть на человѣка, который на глазахъ таялъ и отходилъ въ вѣчность, не самообольщая себя насчетъ своего здоровья и неминуемаго близкаго конца. «Умереть не страшно, страшно помирать»,—писалъ онъ въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ къ редактору «Историческаго Вѣстника»,—и даже не столько страшна, сколько противна и отвратительна самая процедура и такъ называемая «борьба со смертію». И вмѣстѣ съ тѣмъ эта борьба со смертію заняла въ послѣдніе годы его жизни почти все время, и никакая помощь самой опытной, самой искусной науки не была тутъ въ силахъ что-либо подблать. Отошелъ онъ, впрочемъ, въ вѣчность безъ особенныхъ страданій и ярко-выраженной агоніи, на рукахъ ближайшаго друга своей жизни, жены Елизаветы Николаевны, положившей столько попеченій и заботъ, чтобъ облегчить страданія своего мужа. Скоротечъ Владимиръ Осиповичъ на Волковомъ кладбищѣ на мосткахъ, прилегающихъ къ Литераторскимъ и получившихъ нынѣ наименованіе «Михневичевскихъ», въ томъ мѣстѣ вѣчнаго упокоенія, которое является какъ бы послѣднею жизненною наградою всѣмъ русскимъ писателямъ и которое уже издавна стало могильнымъ пантеономъ русской литературы. Михневичъ по всѣмъ заслугамъ занялъ въ этомъ пантеонѣ почетное мѣсто, и память о немъ, такимъ образомъ, ни въ какомъ отношеніи не будетъ забыта ни среди почитателей этой литературы, ни среди ея живыхъ представителей.

Д. Л. МОРДОВЦЕВ¹⁾

Въ декабрь 1904 года исполнилось пятьдесятъ лѣтъ литературной дѣятельности Данила Лукича Мордовцева, чьи беллетристическія произведенія пользовались въ свое время широкой извѣстностью. Когда справляешься и до сихъ поръ по каталогамъ и отчетамъ провинціальныхъ библиотекъ и читаленъ, то выясняется, что спросъ на произведенія Д. Л. Мордовцева идетъ непрерывно и занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ. Можно съ очевидностью полагать, что этому спросу еще долго не суждено будетъ оскудѣвать, и маститый писатель и для грядущихъ поколѣній будетъ всегда занимательнымъ и поучительнымъ бытописателемъ преимущественно тревожныхъ судебъ русскаго народа. Онъ, какъ немногіе изъ современныхъ писателей, заслуживаетъ вниманія не только читателей, но и критики, которая, какъ это ни странно, въ общемъ занималась, однако, авторомъ «Идеалистовъ и реалистовъ» и «Великаго раскола» мало и сплошь и рядомъ обходила его произведенія или глубокимъ молчаніемъ, или поверхностными и бѣглыми замѣтками. Гораздо чаще эта критика встрѣчалась съ нимъ на поприщѣ журнальной полемики по вопросамъ дѣя или по политическимъ «оказіямъ», главнѣйше въ области малороссійскаго вопроса, кою онъ въ послѣднія два десятилѣтія считался самымъ виднымъ и компетентнымъ въ нашей литературѣ представителемъ и, пожалуй, вожакомъ.

Спорить и полемизировать по общественнымъ вопросамъ съ идейною подкладкою, какъ извѣстно, гораздо легче, нежели подходить къ произведеніямъ авторовъ съ мѣркою безпристрастной и строгой критики, особенно, въдобавокъ, если отъ этой критики требуется не поверхностный «психологическій

анализъ или «философское» словоизверженіе, а наличность фактическаго историческаго знанія. Не секретъ для читателей, что вообще историческая критика—отрасль довольно слабая въ нашей литературѣ, а эта критика еще примѣнительно къ исторической беллетристикѣ и совсѣмъ почти отсутствуетъ. Специалисты-историки относятся нѣсколько свысока къ области беллетристическаго вымысла, не находя здѣсь той академической премудрости, съ которою привыкли оперировать, а отечественные Брандесы по части историческаго знанія въ большинствѣ, если только не повально, народъ легковѣрный. Отношеніе со стороны критики къ «Войнѣ и миру» Льва Толстого тутъ въ счетъ идти не можетъ: ее притягивалъ къ этому гениальному творенію не столько его историзмъ, сколько бытовая сторона и та широкая философская перспектива, которая раскрывается передъ читателемъ въ каждой части и чуть ли не въ каждой главѣ. Что же касается такъ называемыхъ «Вальтеръ-Скоттовъ отечественнаго Парнасса», то ихъ наша критика по указаннымъ выше причинамъ обходила почти сплошь молчаніемъ. А. М. Скабичевскій въ свое время началъ серію интересныхъ очерковъ подъ заглавіемъ: «Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ», но ограничился лишь критикою исторической беллетристики въ ея прошломъ, закончивъ свое разсмотрѣніе произведеніями 1830—1840 годовъ; К. Ф. Головинъ въ специальной книгѣ, посвященной исторіи русскаго романа: «Русскій романъ и русское общество», хотя и выступилъ въ ХХІ главѣ съ общаниемъ поговорить и объ историческомъ романѣ, но только бѣгло и поверхностно затропулъ графа А. Толстого и графа Е. Салтаса, а остальныхъ не удостоилъ своимъ многостовымъ вниманіемъ. Тотъ же Скабичевскій, удѣлившій въ своей исторіи «Новѣйшей русской литературы» такъ много мѣста, напримѣръ, разнымъ народникамъ-беллетристамъ, не нашелъ, что можно основательно сказать о Мордовцевѣ, какъ историческомъ романистѣ и, симпатизируя почтенному беллетристу по существу идей, въ своемъ резюлютивномъ приговорѣ оказался безпощаденъ, аттестовавъ его слѣдующимъ образомъ: «Нельзя отказать г. Мордовцеву въ талантѣ, въ основательномъ знаніи исторіи и въ добросовѣстномъ отношеніи къ историческимъ фактамъ; къ сожалѣнію, плодovitость сильно вредитъ качеству его произведеній. Они лекутся, какъ блины, и при скороспѣлости производятъ впечатлѣніе крайней небрежности. Къ тому же большой недостатокъ автора составляютъ маперность, отсутствіе простоты и естественности, страсть оригинальничать, балагурить и, какъ результатъ этого,—неудержимая болтливость, выходящая порою изъ всѣхъ предѣловъ». Немного найдеть читатель критическаго матеріала для Мордовцева въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Эфрона. Въ то время, какъ даже болѣе второстепеннымъ писателямъ Русской земли отведены здѣсь порою болѣе или менѣе цѣльныя характеристики, въ отношеніи Мордовцева у составителя не нашлось необходимаго краснорѣчія.

¹⁾ При составленіи настоящаго очерка, напечатаннаго въ «Историческомъ Вѣстникѣ» (1905 г., № 2) въ связи съ юбилеемъ Д. Л. Мордовцева, авторъ пользовался нѣкоторыми указаніями скончавшагося писателя, какъ равно и его архивомъ. Б. Г.

Правда, к нему дважды подходили в нашей журналистике два известных писателя, и оба произносили ему довольно-таки неблагоприятный суд. Одним был Н. К. Михайловский, выступивший против теории Мордовцева об исторических центробежных и центростремительных силах и рассмотревший эту теорию с точки зрения этического-социологического школы; другим был известный церковный историк и обличитель раскола Н. Субботин, обрушившийся всего тяжестью своей научной артиллерии на автора «Великого раскола», обвиняя его в искажении исторических фактов и в тенденциозном освещении великого спора между ревнителями старины и никонианцами. Эта критическая монография была напечатана в «Русском Вестнике» (1881 г.) и может быть рассматриваема, как единственная, пожалуй, серьезная работа, посвященная нашему романисту, работа, не лишенная, однако, тоже односторонности и казенной тенденциозности и при том рассматривающая Мордовцева специально, как историка-адвоката раскольников и раскола вообще.

Из сказанного видно, что если в нашей журналистике историческая критика вообще должна считаться отбросом слабым, то в отношении Д. Л. Мордовцева, как историка-беллетриста, она очень недостаточна, неполна и подчас несправедлива. Вместе с тем маститый писатель, так много потрудившийся для русской литературы в течение пятидесяти лет, заслуживает большого к себе внимания и почтения.

Род Мордовцевых—древний украинский. У нашего романиста имелся фотографический снимок с семейной иконы, где значилось: «сей образ сооружен тщанием и трудами бывшего малороссийских войск сотника Иоанна Власьева Слепенко, он же и Мордовцев, 1719 года»... Сначала предки его обитали правобережную Украину, потом в силу известной исторической необходимости перекочевали на левый берег и, наконец, в силу того же исторического передвижения украинцев очутились на берегу синего Дона, где в 1830 году в слободу Даниловку, у реки Медведицы, в верхней части земли войска Донского и родился наш уважаемый писатель. Отец его был хохол старого закала, начетчик, любитель древней письменности и обладатель обширной старинной библиотеки. Матушка его была женщина простая и добрая. Всех сыновей в семье было четверо да еще одна дочь. В живых в настоящее время имеется именно последний, старший сын и наш романист, который в семье был самым младшим.

Получив первые уроки грамоты в родительском доме, он вслэд за сим был определен в усть-медведицкое окружное четырехклассное училище, по происхождению которого был помещен в саратовскую губернскую гимназию, которую и окончил в 1850 г. одним из лучших. Из последующей за сим статьи, посвященной в настоящей книге покойному академику А. Н. Пышину, читатели могут почерпнуть некоторые сведения о Мордов-

цев, как гимназист и молодой представитель той саратовской интеллигенции, из которой вышло столько выдающихся деятелей нашей литературы и науки. Литературные природные дарования его стали обнаруживаться еще в очень раннем возрасте. По личным воспоминаниям Даниила Лукича, он начал слагать стихи лет 7—8 от роду, а как заправский поэт был уже признаван товарищами в гимназии, где отличался стихами не только на малороссийском и русском, но даже латинском языках. Пыпин добивался от него стихотворного перевода на «хохлацкий язык» Крадеворской рукописи, при чем неизменно подчеркивал в своих письмах к казанскому другу его несомненное призвание к литературе. По окончании гимназии Д. Л. Мордовцев сначала поступил в казанский университет, а потом перешел по настоянию своего любимого товарища А. Н. Пыпина в петербургский, откуда и вышел кандидатом историко-филологического факультета в 1854 году, получив, при окончании курса, золотую медаль за сочинение по кафедре славянских наречий «О языке Русской Правды».

Перед кандидатом университета разстилалась в перспективе широкая научная дорога, но он ею пренебрег, покинув столицу и переселившись в родной Саратов, где в том же году вступил в брак с овдовевшей к тому времени Анной Никаноровной Пасхаловой, урожденной Залетаевой. Молодая супруга Даниила Лукича была женщиною образованною, энергичною, оставившею послѣ себя слѣдъ и в литературѣ. Ею в свое время совместно съ Н. И. Костомаровым были собраны и изданы поволжскія народныя пѣсни и преданія, а также изданъ въ пользу осиротѣвшихъ малютокъ—дѣвочек Черногоріи—сборникъ собственныхъ стиховъ подъ общимъ заглавіемъ «Отзвуки жизни» и подъ литерами А. В.—з. Почти одновременно съ женитьбою Мордовцевъ вступилъ на государственную службу въ саратовское губернское правленіе редакторомъ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей и начальникомъ газетнаго стола съ исполненіемъ обязанностей переводчика того же правленія. Послужной списокъ государственной службы нашего писателя слагается изъ слѣдующихъ главнѣйшихъ данныхъ. Въ 1861 году онъ былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при начальникѣ Саратовской губерніи и въ томъ же году назначенъ членомъ и дѣлопроизводителемъ во временную комиссію, учрежденную по предписанію министра внутреннихъ дѣлъ для составленія соображеній для преобразованія общественнаго городского управленія и городского хозяйства, а въ 1862 году назначенъ членомъ во временную комиссію, учрежденную по предписанію министра внутреннихъ дѣлъ, для рассмотрѣнія положенія о доходахъ и расходахъ города Саратова. Въ губернскихъ учрежденіяхъ Даниль Лукичъ прослужилъ до 1864 года, когда вышелъ въ отставку, но черезъ полгода съ небольшимъ онъ опредѣляется младшимъ столоначальникомъ хозяйственнаго департамента и участвуетъ въ трудахъ комиссіи, учрежден-

ной при министерствах внутренних дѣлъ и финансов о пособіи, получаемомъ городами изъ казны, взаимѣй дохода съ питей. Черезъ два года онъ снова покинулъ государственную службу, но въ томъ же году опять поселяется въ Саратовъ и поступаетъ чиновникомъ при канцеляріи губернатора. Сначала онъ получаетъ мѣсто правителя дѣлъ при канцеляріи комиссіи народнаго продовольствія, затѣмъ назначается цензоромъ издававшейся въ Саратовѣ частной газеты «Справочный Листокъ», потомъ младшимъ помощникомъ правителя канцеляріи губернатора для заведыванія производствомъ дѣлъ какъ по особому о земскихъ повинностяхъ присутствію, такъ и по дѣламъ земскихъ учреждений, а въ 1869 году назначается и правителемъ канцеляріи губернатора, каковое мѣсто и занимаетъ до 1871 года, когда вновь выходитъ въ отставку съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ причислиться къ вѣдомству путей сообщенія, гдѣ остается на службѣ до 1886 года, когда въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника окончательно выходитъ въ отставку съ незначительной по размѣрамъ пенсіей. Состоя на службѣ по министерству путей сообщенія, Мордовцевъ преимущественно работалъ въ статистическомъ отдѣлѣ, а также состоялъ редакторомъ журнала министерства, участвуя въ немъ и личными своими литературными трудами, преимущественно статистическаго характера.

Я привелъ напередъ полный послужный списокъ нашего писателя, ибо онъ очень характеренъ и самъ по себѣ, какъ показатель нѣкотораго nepocтoянства и какъ жизненный матеріалъ, имѣющій непосредственное отношеніе къ его разнообразной литературной дѣятельности и къ его судьбѣ безпокойнаго журналиста, у котораго государственная служба мѣшала литературной профессіи, а послѣдняя ставила препону благополучному прохожденію первой, въ родѣ того, какъ другому дѣятелю нашей литературы, согласно его собственному признанію:

... борьба мѣшала быть поэтомъ,
Писемъ... мѣшали быть борцомъ.

Всѣ перипетіи государственной службы у нашего писателя были тѣсно связаны именно съ его журналистикой, на которой, въ свою очередь, до нѣкоторой степени отражалась эта служба, ибо часто не позволяла ему быть вполне откровеннымъ и появляться въ журналѣ за полною подписью, а вынуждала надѣвать маску и забрало, во избѣжаніе слишкомъ нескромныхъ, но властныхъ взоровъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ эта же государственная служба, какъ въ провинціи, такъ и въ столицѣ, дала ему возможность ознакомиться съ такими цѣнными архивными матеріалами, доступъ къ которымъ партикулярному человѣку былъ немислимъ. Его историческія изысканія, его экономическіе и статистическіе труды вышли цѣликомъ изъ дѣятельности его, какъ чиновника сначала вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, а потомъ

путей сообщенія. Въ этомъ отношеніи въ жизненномъ поприщѣ Данила Лукина наблюдается нѣкоторая аналогія съ тѣмъ, что намъ извѣстно о жизни и литературной дѣятельности покойнаго П. И. Мельникова-Печерскаго.

Литературная дѣятельность Мордовцева по содержанію темъ и характеру работъ такъ разнообразна и пестра, до того не приведена до сихъ поръ въ полную извѣстность, что всего лучше прослѣдить ее, соблюдая, съ одной стороны, хоть нѣкоторую хронологическую периодичность, съ другой—придерживаясь главнѣйшихъ категорій его журнальных работъ.

Въ 1854 году мы видимъ его чиновникомъ въ канцеляріи саратовскаго губернатора, и къ тому же времени относится появленіе первого его литературнаго произведенія, написаннаго на родномъ ему малороссійскомъ языкѣ. Произведеніе это стихотворная поэма «Казаки и море»¹⁾, напечатанная имъ потомъ (въ 1859 г.) въ «Малороссійскомъ литературномъ сборникѣ», изданномъ авторомъ поэмы совмѣстно съ Н. И. Костомаровымъ въ городѣ Саратовѣ. Затѣмъ нѣкоторое время мы не встрѣчаемъ никакихъ его мало-мальски крупныхъ и цѣнныхъ произведеній. Его время поглощается, во-первыхъ, государственной службой и, во-вторыхъ, дѣятельностью по редактированію «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», которыхъ онъ въ пятилѣтіе съ 1854 по 1859 годъ является не только дѣятельнымъ руководителемъ, но и щедрымъ литературнымъ вкладчикомъ. Тутъ печатается рядъ его статей экономическихъ и статистическихъ, матеріалъ для которыхъ почерпается изъ дѣлъ губернскаго правленія, а также тутъ же впервые читающая провинціальная публика знакомится съ нимъ, какъ съ даровитыхъ фельетонистомъ обличительнаго пошиба. Одинъ изъ такихъ фельетоновъ, посвященный мѣстному военному сословию, навлекъ и на молодого писателя, и на начальника губерніи, А. Игнатьева, гнѣвъ высшей петербургской власти. Губернатору былъ сдѣланъ по этому поводу высочайшій выговоръ, со внесеніемъ его въ формуляръ, а отъ редактора «Вѣдомостей» потребовано объясненіе и обнаруженіе имени автора проступнаго фельетона. Игнатьевъ былъ человѣкъ смелый и порядочный, не отнесся къ проступку своего безпокойнаго чиновника слишкомъ строго, но предложилъ ему прокатиться въ столицу для личныхъ объясненій по начальству, которому по долгу службы, однако, отвѣтилъ, что авторъ фельетона и редакторъ «Вѣдомостей» одно и то же лицо.

Исторія эта для молодого литератора не имѣла грустныхъ послѣдствій, и нависшая было грозная туча разсыялась благополучно. Во главѣ министерства внутреннихъ дѣлъ стоялъ Вагучевъ, а товарищемъ его былъ Трой-

¹⁾ «Казаки и море», по свѣдѣтельству автора, были имъ написаны студентомъ, во время скушныхъ лекцій Устрялова.

никий, оба занятые в то время вопросами организации земской статистики и выяснением хозяйственных нужд провинции. Приѣздъ въ столицу мѣстнаго свѣдущаго человѣка былъ для нихъ какъ нельзя кстати, и послѣдній въ концѣ концовъ изъ ожидаемой роли подсудимаго обратился въ желаннаго гостя и помощника по нѣкоторымъ очереднымъ вопросамъ государственной жизни. Результатомъ приѣзда Даниила Лукича былъ милостивый о немъ докладъ Вадуева императору Александру II и отпущеніе его съ миромъ въ Саратовъ. Онъ не попелъ никакой кары, но высочайшій выговоръ въ формулярѣ Игнатьева остался памятникомъ фельетоннаго инцидента.

Къ 1859 году относится появленіе его историческаго разсказа «Медвѣдичій бурлакъ», вошедшаго впоследствии въ известную хрестоматію Перельскаго, и вслѣдъ за симъ—его первой исторической монографіи «Самозванецъ Богомоловъ», могущей быть разсматриваемой, какъ первый шагъ въ разработкѣ вопросовъ о понизовой вольницѣ, о самозванцахъ и бунтахъ русскаго народа,—вопросовъ, которые именно Мордовцеву больше, чѣмъ кому-либо изъ нашихъ отечественныхъ писателей, обязаны освѣщеніемъ. «Самозванецъ Богомоловъ» былъ напечатанъ въ Аксаковскомъ «Парусѣ» и обратилъ на себя общее вниманіе и читателей и критики, которые сразу отмѣтили появленіе на русскомъ литературномъ горизонтѣ свѣжаго и выдающагося таланта. Старикъ М. П. Погодинъ первый замѣтилъ это дарованіе и проѣздомъ черезъ Саратовъ успѣшилъ познакомиться съ Данииломъ Лукичемъ, привѣтствовать его и благословить на дальнѣйшій литературный трудъ. Вслѣдъ за пазванными произведеніями авторъ печатаетъ и нѣсколько другихъ въ томъ же родѣ, помѣщая ихъ преимущественно въ «Русскомъ Словѣ», «Русскомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Европы» и «Всемирномъ Трудѣ». Если Погодинъ сумѣлъ признать талантъ въ авторѣ по его первому произведенію, то таковыя послѣдующія обратили на себя вниманіе и дѣйствующей тогда ученой корпораціи, такъ что въ петербургскомъ университетѣ на историко-филологическомъ факультетѣ былъ поднятъ даже вопросъ о предоставленіи молодому саратовскому ученому кѣседы по русской исторіи. Объ этомъ особенно хлопотали Н. И. Костомаровъ, А. Н. Пыпинъ и В. И. Ламанскій, оба послѣдніе, какъ мы знаемъ, товарищи его по студенческой скамьѣ.

В. И. Ламанскій по этому предмету писалъ ему въ 1860 году ¹⁾: «Съ новымъ годомъ желаю тебѣ всего хорошаго и, главное, перемѣны твоего положенія, что, кажется, отъ тебя зависитъ. Выслушай меня, какъ добраго своего стараго товарища, который хотя и непростительно небреженъ въ перепискѣ, но искренно любитъ тебя и уважаетъ по старинѣ. Въ университетѣ нашѣмъ скорѣй будетъ предлагаться кандидатъ на кѣседу русской исторіи, именно новой. Костомаровъ и Пыпинъ хотѣли предложить тебя; ты знаешь Николая

¹⁾ «Русская Старина» 1885 года, июнь.

Ивановича, его разсѣяность и прочее. Надо тебѣ написать ему, объявить свое желаніе и согласіе и, конечно, съ известными условіями, т. е. представить къ известному времени магистерскую диссертацию или, главное, заявить о ней. У тебя есть матеріалы, даже готовныя статьи. Не отказывайся ради Бога и вѣрь мнѣ, что я говорю тебѣ отъ души. Ты все равно собирався къ намъ весною—вотъ тебѣ и время, и случай окончить свою диссертацию. Послѣ выкаціи ты можешь и сдать экзаменъ (если не хочешь раньше), и имѣть дис-



Даниилъ Лукичъ Мордовцевъ въ 1885 году.

путь. Впрочемъ, обо всемъ этомъ тебѣ лучше списаться съ Пыпинымъ, который уже говорилъ мнѣ, что собирается тебѣ писать о профессурѣ. Говорю тебѣ, чтобы толкнуть тебя. Попроси, пожалуйста, отъ меня Анну Никаноровну, чтобы она погоняла тебя».

На призывъ друга Д. Л. Мордовцевъ, однако, не отозвался. Въ то время Саратовъ, семейная устроенная здѣсь жизнь, обезпеченное служебное положеніе и захватывающая работа въ провинціальныхъ архивахъ крѣпко приковывали его на мѣстѣ, почему и заманчивость невидомой профессуры, сопряженной притомъ съ приготовленіемъ диссертациі, съ диспутомъ и прочими

хлопотами, его не соблазнила. Не откликнулся он и во второй раз, когда в 1864 году кафедра по русской истории в петербургском университете за уходом отсюда Н. И. Костомарова пустовала, и ему снова его друзья предлагали начать о ней хлопоты. Историко-филологический факультет для замещения вакантной кафедры намечал двух кандидатов: К. Н. Вестушева-Рюмина и Д. Л. Мордовцева, которым обоим и сдѣлалъ соответствующія предложения. Но оба сначала отказались, причемъ, однако, Вестушевъ-Рюминъ впоследствии выразилъ свое согласіе, Мордовцевъ же остался при первоначальномъ рѣшеніи. Вторичному отказу содѣйствовало то обстоятельство, что какъ разъ въ то время онъ былъ занятъ подготовленіемъ себя къ коммерческой дѣятельности по настоянію братьевъ, имѣвшихъ крупныя торговыя сношенія съ заграничными рынками по экспорту сырья; когда же надобность въ этомъ миновала, и задуманное дѣло не состоялось, то помѣхою послужила дружба съ Н. И. Костомаровымъ, вновь поселившимся тогда въ Саратовъ и съ которымъ ему трудно было разстаться. Такимъ образомъ, видамъ на научную карьеру не суждено было сбыться; да, по моему искреннему убѣжденію, такая была бы и не по характеру нашему писателю: онъ былъ слишкомъ ужъ живой, отзывчивый и беспокойный человекъ по всему складу своего ума, чтобы быть въ состояніи сосредоточиться на специальности и уйти въ узкую ученую раковину, какъ и неспособнымъ онъ оказался для торговыхъ дѣлей и коммерческихъ замысловъ братьевъ.

О переѣздѣ Данила Лукича въ Петербургъ хлопотали не только Н. И. Костомаровъ, В. И. Ламанскій и А. Н. Пыпинъ, но и редакторъ «Русскаго Слова» Григорій Евлампіевичъ Влагосвѣтловъ, которому саратовскій молодой писатель приходился, какъ никто изъ прочихъ сотрудниковъ, по вкусу и которому тотъ пужень былъ, какъ всегда находившійся подъ рукою помощникъ, боевой публицистъ и журналистъ, могущій сдѣлать по любому вопросу оригинальный и цѣнный вкладъ въ журналъ. Въ письмѣ отъ 4-го августа 1860 г. Влагосвѣтловъ пишетъ своему провинціальному сотруднику: «Не будетъ ли у васъ добраго желанія переселиться въ Петербургъ? Здѣсь все натянуто и глупо до пошлости, но по сравненію съ саратовскими стенами все же есть кое-какая жизнь и, пожалуй, мысль. Со временемъ, когда я приобрѣту больше довѣренности у графа Кушелева, и «Русское Слово» будетъ независимо отъ конторы издателя, мнѣ будетъ пріятно обезпечить вашъ переѣздъ и жизнь на финскихъ болотахъ. Здѣсь Н. И. Костомаровъ и, вообще, кругъ людей, не совсѣмъ осокотинившихся, могъ бы украсить и согрѣть пріятными минутами вашу жизнь. Въ настоящее время не смѣю обѣщать, но въ будущемъ, и недалекъ, могъ бы поручиться за успѣхъ моего предложенія». Къ этой же темѣ Влагосвѣтловъ возвращался неоднократно и въ послѣду-

ющихъ письмахъ. Такъ, напримѣръ, въ 1861 г. онъ уже точнѣе опредѣлялъ тѣ условія, на которыхъ хотѣлъ бы переманить Мордовцева въ Петербургъ, и писалъ ему: «Я давно уже просилъ графа, чтобы онъ обезпечилъ вамъ на каждый мѣсяцъ 150 рублей, если вы согласитесь переѣхать въ Петербургъ. Извините, что я хлопоталъ о томъ, что, можетъ быть, и не по вкусу вамъ. Графъ уполномочилъ меня назначить эту сумму изъ приходовъ редакціи, отъ продажи нашихъ изданій, по слѣдъ за этимъ я получилъ его письмо отложить всѣ распоряженія до его пріѣзда». Къ этимъ матеріальнымъ условіямъ работы въ «Русскомъ Словѣ» Влагосвѣтловъ возвращался впоследствии неоднократно, но всѣ эти прельщенія успѣха не имѣли, и Д. Л. Мордовцевъ остался вѣрнѣ Саратovu.

Весь періодъ шестидесятыхъ и первой половины семидесятыхъ годовъ отмѣченъ въ его жизни усиленною работою въ ежемѣсячныхъ журналахъ, преимущественно въ «Русскомъ Словѣ» («Отечественныя Записки»), «Русскомъ Вѣстникѣ», «Дѣлѣ», въ молодой еженедѣльной газетѣ «Недѣля» и въ газетѣ «Голосъ». Разбросанныя мелкія статьи можно найти и въ другихъ изданіяхъ, но перечисленные газеты и журналы были тѣми органами печати, которые именно составили ему имя крупнаго публициста, за которымъ положительно ухаживали редакторы-издатели, боясь, чтобы соперники и конкуренты по издательскому дѣлу не отбить его или не переманили въ свой журналъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Влагосвѣтловъ откровенно даже говорить на эту тему: «Не скрою отъ васъ моего опасенія—боюсь, что васъ похитятъ у «Русскаго Слова». Враговъ-то у меня накопилось много, да и нѣтъ надежды, при всей способности любить теплую натуру и благородное сердце. Подъѣвъ Петербурга я ничего не знаю въ мірѣ, и ниждѣ ничего не видѣлъ подобнаго отъ Флоренціи до Лондона. За исключеніемъ двухъ-трехъ литераторовъ-людей, все остальное—чортъ знаетъ что такое. Правда, имени нѣтъ на человѣческомъ языкѣ, что за гадость такая—эти передовые люди на запяткахъ нашей литературы. Уважаю я лично Костомарова... И Пыпинъ—хорошій человекъ, и будетъ прекрасный человекъ, если излечится отъ любви къ суздальскимъ красотамъ старой литературы. И вотъ я одинъ, и успѣлъ полюбить васъ заочно и глубоко. И скажу откровенно, что никто изъ сотрудниковъ «Русскаго Слова» не близокъ такъ къ моимъ бѣднымъ убѣжденіямъ, какъ вы»...

Не менѣе Влагосвѣтлова дорожилъ Мордовцевымъ и Краевскій, который категорически признавалъ, что именно онъ поставилъ «Голосъ» на настоящую газетную дорогу, особенно въ фельетонной его части и полемической, придавая газетѣ разнообразіе, остроту и ту идейность, по преимуществу полемическаго свойства, которая создаетъ ежедневному органу положеніе и направленіе. Въ «Голосѣ» Даниилъ Лукичъ помѣстилъ немало передовыхъ статей, напечатанныхъ, конечно, безъ подписи, а также велъ

фельетоны под литерами и псевдонимами, коих, кстати сказать, в его литературном формуляре значится множество, как, например: Д. С...о—М...цъ, «Джемсъ-Плюмпудинг-Осквайръ», «Дионисіевъ», «Гиппократъ», «Евдокія Зубъ», «Елисаветъ Воробей», «Дмитриуе Мірдівцевъ», «Верне изъ Бердичева», «Ома Врутъ» и др. Наиболее популярными должны считаться псевдонимы «Джемсъ-Плюмпудингъ», «Ома Врутъ», Д. С...о—М...цъ.

Характер газетных работ Мордовцева по большей части сатирический, съ непрестанными полемическими вылазками, съ намеками политического свойства и съ изобилием смѣшных, особенных «словечек», имъ самымъ избрѣченныхъ или почерпнутыхъ изъ старинной письменности, украинской народной рѣчи или неудачной стилистики писателей старинной эпохи. Совершенно тотъ же характеръ сохранили и его газетныя работы въ девяностыхъ годахъ, когда онъ почти исключительно и много работалъ въ сферѣ повседневной прессы въ органѣ О. К. Нотовича «Новости». Но какъ ни разнообразна, плодотворна и блестяща была его газетная дѣятельность, не она создала ему имя крупнаго писателя; по моему убѣжденію, эта газетная работа скорѣе размѣнивала его литературный талантъ, опешляла его рѣчь и слишкомъ часто выводила напоказъ публикѣ даже въ случаяхъ совершенно ненужныхъ и въ амплуа, невыгодномъ для серьезности репутаціи. Самъ писатель внесъ очень много въ газетное дѣло, но послѣднее не было къ нему столь же великодушно и милостиво: оно слишкомъ много отняло у него силъ, давъ взазмѣнъ не Богъ вѣсть сколь большой заработокъ да популярность не особенно высокой цѣны. Настоящая и почетная популярность была имъ добыта главнымъ образомъ работами въ ежемѣсячныхъ журналахъ—историческими монографіями, статьями экономическими и статистическими, большинство которыхъ сохраняютъ свое значеніе и свой интересъ и для нашихъ дней. Здѣсь Даниилъ Лукичъ приобрѣлъ себѣ имя выдающагося историка-популяризатора, имя, которымъ дорожили и которое почитали такіе признанные знатоки журнальнаго дѣла, какъ П. И. Гайдубуровъ, Н. И. Костомаровъ, А. Н. Пыпинъ, М. Е. Салтыковъ, М. И. Семеvскій, М. М. Стасюлевичъ, А. С. Суворинъ, С. Н. Шубинскій и др.

Въ нашей справочной литературѣ не имѣется обстоятельнаго указателя всему тому, что написано Д. Л. Мордовцевымъ, съ достовѣрной хронологической помѣткой года появленія каждаго труда и мѣста напечатанія. Въ этомъ отношеніи неполонъ указатель А. В. Мезьеръ, недостаточенъ проспектъ изданія сочиненій нашего писателя, сдѣланный Г. Перевозниковымъ, а еще слабѣе указанія въ словарь Эфрона и Брокгауза. Пожалуй, наибольшую цѣнность имѣютъ примѣчанія, сдѣланныя г. Трачевскимъ къ роману Мордовцева «Вельможная Панна», гдѣ воспроизведена хронологія и мѣсто напечатанія

большинства крупныхъ работъ нашего писателя. Пользуясь этими примѣчаніями, сдѣланными при содѣйствіи небезызвѣстнаго библиографа г. Сильчовскаго, привожу данныя о журнальной работѣ Мордовцева, какъ въ области историческаго разысканія, такъ и статистико-экономическаго обзорѣнія: въ «Русскомъ Словѣ» были напечатаны: «Кобзарь Шевченко»; «Стихотворенія Карлина» (1860); «Паденіе Польши» (1861—1862); «Школьныхъ воспоминаній» (1863, автобиографическія данныя); «Объ «Историческихъ очеркахъ» Буслаева, отвѣтъ Костомарову и выдержка изъ исторіи Польши» (1861). Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» начала 1870-хъ годовъ Д. Л. Мордовцеву принадлежить рядъ очерковъ о мелкихъ самозванцахъ XVIII вѣка, по архивамъ поволжскихъ городовъ. Въ «Дѣлѣ» были помѣщены, между прочимъ: «Послѣдніе годы раскольниковыхъ скитовъ на Иргизѣ (1872—1876)», «Современное экономическое положеніе Поволжья» въ шести статьяхъ и «Дѣйствительны ли мы богаты» (1873), «Какъ народъ самъ себя судить» (по поводу трудовъ комиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ и трудовъ этнографическо-статистической экспедиціи); «Желѣзнодорожное дѣло въ Россіи и на Западѣ» и «Значеніе рыболовства въ народной экономіи» (1874); «Дѣятельность земства и его литература», «Печать въ провинціи» и «Не подождастъ ли отнимать?» по поводу предположеній о преобразованіи волостныхъ судовъ (1875); «Наши окраины, безлюдье Сѣвера и Востокъ или Западъ», по поводу сборника Григорьева «Россія и Азія и «Quos ego!»—отвѣтъ казанскому литератору (1876). Въ «Отечественныхъ Запискахъ» находимъ слѣдующія статьи Мордовцева, отчасти подписанныя буквами С...о—М...ъ, Д.: «Русскіе государственные дѣятели и Пугачевъ» (1868); «Одинъ изъ Лжеконстантиновъ», матеріалы для характеристики народныхъ движеній; «Кто былъ усмиритель пугачевщины?» (1869); «Представляетъ ли прошедшее русскаго народа какія-либо политическія движенія?» (1871); «Что нѣмцу здорово, то русскому смерть» (1873); «Дѣйствительная причина самарскаго голода»; «Земство и его дѣянія»; «Объ экономическихъ отношеніяхъ сѣвера и юга Россіи» (1874); «Наши потери во вѣншей торговлѣ» (1875); «О культурныхъ признакахъ русскаго народа»; «Историческія черты даровитости русскаго народа»; «Гдѣ искать земству помощи въ дѣлѣ народнаго образованія?» по поводу книги Ростиславова о монастыряхъ; «Петербургъ, какъ центръ рабочаго тяготѣнія»; «Что мнѣ Гекуба и что я Гекубъ», по поводу замѣчанія Вяземскаго о «Словѣ о полку Игоревѣ» (1876); «Свѣточи будущаго», фельетонъ по уголовной статистикѣ Россіи, и «Сѣверный вопросъ послѣ восточнаго» (1877). Статья «Движенія въ расколѣ» (1874) подписана именемъ Дионисіева. Безъ подписи явились статьи: «Крестыанскій судъ» (1874) и «Десятилѣтіе русскаго земства» (1875—1876).

Во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ Д. Л. Мордовцевъ, по основаніи С. Н. Шубинскимъ журнала «Древняя и Новая Россія», становится дѣ-

тельнымъ сотрудникомъ этого изданія и печатаетъ здѣсь монографіи: «Чума въ Москвѣ», «Наша печать по отношенію къ русско-славянскому дѣлу», «Три дѣтубійства», «Суворовъ въ народной поэзіи», «Ванька-Каинъ», «Левъ Александровичъ Нарышкинъ».

Большая часть его мелкихъ историческихъ работъ вошла въ двухтомный сборникъ «Историческіе прописки», а крупныя монографіи составили книги: «Гайдамачина», «Самозванцы и познозовъ вольница», «Политическія движенія русскаго народа», «Наканунъ воли». Статьи его по земскимъ вопросамъ вошли въ книгу «Десятилѣтіе русскаго земства». Кромѣ того, въ тотъ же періодъ семидесятыхъ годовъ вышелъ совершенно отдѣльнымъ изданіемъ его обширный трудъ въ четырехъ томахъ: «Русскія историческія женщины» (1 ч.) и «Русскія женщины новаго времени» (3 ч.).

Всѣ названныя работы пользуются и понынѣ широкою извѣстностью въ публикѣ, а нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, «Наканунъ воли», книга, въ свое время уничтоженная цензурою, имѣетъ и свою общественную исторію, сыгравшую въ жизни писателя крупную роль. Со временемъ, когда историкамъ русской литературы и общественности станутъ доступны богатый архивъ главнаго управленія по дѣламъ печати, вѣроятно, станетъ извѣстна та обширная докладная записка о Д. Л. Мордовцевѣ, какъ авторѣ перечисленныхъ историческихъ монографій, составленная при Лонгиновѣ и которая, будучи направлена по начальству нашего писателя, имѣла въ результатѣ уходъ его изъ министерства внутреннихъ дѣлъ и поступленіе на службу по вѣдомству путей сообщенія.

Какъ мнѣ лично передавалъ покойный Даніилъ Лукичъ, дѣло вышло слѣдующимъ образомъ. Его статьи, относящіяся до политическихъ движеній русскаго народа, по вопросу раскольничьему, о самозванцахъ и пр., уже давно начали вызывать косые взоры цензурнаго вѣдомства, и многія изъ этихъ работъ въ свое время подвергались принудительнымъ купюрамъ и даже полному вырѣзыванію. Работая въ саратовскихъ архивахъ, доступъ къ которымъ ему по должности правителя канцеляріи губернатора былъ легокъ, онъ нашелъ тамъ массу чрезвычайно любопытныхъ и цѣнныхъ матеріаловъ, ярко обрисовывающихъ положеніе области въ дореформенный періодъ и позволявшихъ рисовать широкую бытовую картину помѣщичьей и крестьянской жизни, преимущественно въ эпоху 1820—1840 годовъ. Этой работой онъ и занялся, начавъ печатать, конечно, въ опредѣленномъ освѣщеніи, свои очерки на страницахъ «Дѣла», но это печатаніе, по распоряженію главнаго управленія, было довольно скоро прекращено, ибо на очерки было обращено особенное вниманіе сильныхъ и вліятельныхъ сферъ, которыя къ такому вниманію были подвигнуты письмами изъ провинціи заинтересованныхъ лицъ, встрѣтившихъ въ статьяхъ Мордовцева указанія частью на собственные историческія погрѣшности, частью на погрѣшности родственнаго и близкаго

люда. Сношенія провинціи со столицей дали осязательные плоды: было составлено обстоятельное литературное обозрѣніе его журнальной дѣятельности, составлена по сему предмету докладная записка, писатель признанъ безусловно вреднымъ и не могущимъ быть терпимымъ на такомъ отвѣтственномъ посту, какъ постъ правителя губернаторской канцеляріи. Тогдашній саратовскій губернаторъ, М. Н. Галкинъ-Враской, которому весной 1872 г. была сообщена записка о его подчиненномъ съ указаніемъ на необходимость его отчисленія отъ должности, не счелъ, однако, нужнымъ ему этого сообщать, предпочтя это сдѣлать осенью, когда Д. Л. Мордовцевымъ будетъ закончена порученная работа по изготовленію всеподданнѣйшаго отчета по Саратовской губерніи. День напечатанія и сдачи отчета былъ и днемъ объявленія правителью канцеляріи постигшей его бѣды. Даніилу Лукичу ничего не оставалось, какъ пожалѣть о потраченныхъ лишнѣхъ трехъ мѣсяцахъ на трудъ, откланяться своему предусмотрительному начальству и ѣхать въ столицу для объясненій по литературному вѣдомству и для возможной реабилитациіи себя во введенныхъ обвиненіяхъ. Если цензурная гроза, какъ то мы уже знаемъ, на зарѣ его жизни пронеслась надъ нимъ благополучно, то не такъ это случилось на сей разъ. Лонгиновъ былъ не Тройницкій, и надобности у него въ статистическихъ познаніяхъ Мордовцева не было. Объясненіе вышло длинное, хотя для обвиняемаго и безплодное въ смыслѣ добрыхъ результатовъ. Несмотря на то, что Мордовцевъ ссылаясь, что многія изъ его произведеній, нынѣ признаваемыхъ вредными по направленію, одобрены вѣдомствомъ императрицы Маріи и рекомендованы для пользованія въ женскихъ гимназіяхъ, несмотря на то, что выяснилось, что самъ Лонгиновъ по званію члена редакціи «Русскаго Вѣстника» принималъ даже участіе въ напечатаніи этихъ произведеній, дѣлая подъ ними собственноручныя примѣчанія,—доводы писателя приняты не были, и вредность его направленія официально признана. Постъ такого признанія саратовскій чиновникъ подалъ въ отставку, нѣкоторое время жилъ исключительно литературнымъ трудомъ, а въ 1873 г. былъ принятъ графомъ Воронскимъ на службу по министерству путей сообщенія, гдѣ организуемый въ то время статистическій отдѣлъ нуждался въ опытныхъ и свѣдущихъ работникахъ по статистикѣ, и гдѣ наши примѣненія своимъ силами, кромѣ Мордовцева, и нѣкоторые другіе представители нашей литературы, какъ, напримѣръ, Н. Ѳ. Анненскій, П. Кулишъ Ѳ. Ѳ. Воропоновъ и др.

Статьи, посвященныя обозрѣнію эпохи «Наканунъ воли», остались настолько отмѣченными печатью неблагонамѣренности, что, когда авторъ, много времени спустя, а именно въ 1889 г., собралъ ихъ воедино, дополнилъ новыми и издалъ отдѣльною книгою, то такая была запрещена и подвергнута сожженію. Но не только, впрочемъ, эту книгу Д. Л. Мордовцева постигла столь печальная участь, сожжена была и его книга «Славянскія драмы»,

напечатанная в 1877 году. Здѣсь уже точка отправленія для столь немилостиваго дѣйствія была иная, а именно боязнь, чтобы австрійское правительство не обидѣлось на Россію за правдивое изображеніе однимъ изъ ея сыновъ того печальнаго и безправнаго состоянія, въ которомъ обрѣтается несчастное славянство. Для славянства, очевидно, на берегахъ нѣмецкаго Дуная драматическаго состоянія не полагалось, и на официальномъ языкѣ все должно было считаться благополучнымъ, а отсюда и предъявленіе такого же требованія и къ русской литературѣ и ея представителямъ, хотя бы они и далеки были отъ какихъ бы то ни было шовинистскихъ тенденцій, бряцанія оружіемъ и завоевательныхъ стремленій. Чтобы окончить съ цензурными гоненіями на произведенія нашего писателя, необходимо отмѣтить, что таковому же преслѣдованію подвергся и его романъ изъ жизни современной интеллигенціи «Знаменія времени», одно время также запрещенный въ отдѣльномъ изданіи.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что Д. Л. Мордовцевъ, какъ публицистъ и историкъ, уже въ первые 15 лѣтъ своей литературной дѣятельности приобрѣлъ рѣзко очерченную литературную фізіономію и явился виднымъ выразителемъ того научно-литературнаго отечественнаго движенія, которое сосредоточилось по преимуществу въ журналахъ ярко-прогрессивнаго направленія, какъ «Русское Слово», «Дѣло» и «Отечественныя Записки». Если его нельзя зачислить въ сонмъ теоретиковъ, каковыми были въ то время Д. Писаревъ, В. Зайцевъ, Н. Шелгуновъ, Г. Благосвѣтловъ, Н. Михайловскій и др., научно публицистически разрабатывавшіе вопросы прогрессивнаго развитія русскаго народа, то за нимъ остается роль дѣятеля, искавшаго и находившаго примѣненіе тѣмъ же доктринамъ къ фактамъ повседневной жизни, къ фактамъ исторіи, давней и недавней. Обличительный элементъ, съ одной стороны, и стремленіе отъ анализа отдѣльных фактовъ переходить къ широкому синтезу во имя прогресса и либеральныхъ, демократическихъ задачъ будущаго съ другой—вотъ тѣ видимыя и невидимыя пружины его журнальной работы, которые, несомнѣнно, исключительно руководили имъ въ періодъ его усиленной журнальной работы. Привожу ниже письмо его отъ 1876 г. къ С. Н. Шубинскому, тогдашнему редактору «Древней и Новой Россіи», которое содержитъ въ себѣ частью автобіографическія, разсказанныя уже выше, данныя изъ жизни нашего писателя, а частью раскрываетъ передъ нами и тѣ тайныя пружины, которыя я отмѣтилъ. Предлагалъ редактору молодого журнала статью «Сороковые годы въ исторіи русскаго народа», онъ пишетъ: «... Позвольте предложить вамъ новую статью, которая, я увѣренъ, должна имѣть значеніе, особенно въ виду того, что въ настоящее время народъ больше, чѣмъ когда-либо, входитъ въ моду. Статья эта была написана мною прежде, въ 1872 году, но я объ ней совершенно забылъ, а теперь, разбрасывая бумаги передъ отъѣздомъ на дачу, наткнулся на нее и нашелъ, что статьи

эта не должна пропасть для русской исторіи, собственно для исторіи русскаго крестьянства. Въ 1870, 1871 и 1872 годахъ я перебиралъ саратовскіе и нѣкоторые другіе уцѣлѣвшіе архивы съ спеціальною цѣлью изслѣдованія состоянія нашего крестьянства въ нынѣшнемъ столѣтіи. Я собралъ богатѣй-



Данилъ Лукичъ Мордовцевъ въ 1896 году.

іе матеріалы, особенно по злоупотребленіямъ помѣщицьею властью, и составилъ обширное изслѣдованіе, все построенное на подлинныхъ бумагахъ архивовъ, разфрѣмъ отъ тридцати пяти до сорока печатныхъ листовъ, и далъ этому сочиненію названіе «Русское крестьянство наканунѣ воли». На-

чало его напечатано мною въ «Дѣлѣ» 1872 г., въ июлѣ, кажется. Окончивши это сочиненіе и отославъ его Благосвѣтлову, я разрабатывалъ архивы даѣе и остановился собственно на сороковѣхъ годахъ, о которыхъ, какъ и о людяхъ сороковыхъ годовъ, у насъ вообще много толковалось и толкуется. Это и была новая статья о сороковѣхъ годахъ, которую я вамъ и посылаю. Но едва она была кончена, какъ губернаторъ саратовскій Галкинъ объявилъ мнѣ волю министра внутреннихъ дѣлъ—выходить въ отставку. На меня, говорятъ, былъ сдѣланъ доносъ, и къ доносу припели мою литературную неблагодарность. Я прискакалъ въ Петербургъ, оставивъ свою статью («Сороковые годы и т. д.») въ кучѣ саратовскихъ бумагъ и въ то же время, послѣ объясненій въ министерствѣ, прекратилъ печатать и большую свою работу—«Русское крестьянство наканунѣ воли». Но этой статьѣй была заинтересована А. П. Философова, попросила дать ей прочитатъ ее, потомъ дала прочесть г-жѣ Тимашевой, а та упростила мужа обратить на рукопись мою вниманіе и дозволить ее напечатъ. Тимашевъ велѣлъ разсмотрѣть ее Макову и доложить. Но это—долгій ящикъ, изъ котораго я все-таки когда-нибудь выну свою рукопись и напечатать ее отдѣльною книгою. А вамъ теперь предлагаю особую статью о нашемъ крестьянствѣ въ сороковѣхъ годахъ, статью блистательно переписанную, почти такъ же красиво, какъ и вы пишете. Я полагаю, что въ «Древнюю и Новую Россію» слѣдуетъ впустить русскій народъ, а то вашъ сборникъ почти исключительно вертится около царей, царицъ, царевнъ, князей и всякихъ высокихъ особъ. Я хочу немножко демократизировать вашъ журналъ—въ самомъ дѣлѣ это необходимо. Прочтите мою статью и вы найдете, что она открываетъ собой какъ бы новый фактъ въ русскихъ историческихъ изслѣдованіяхъ...

Въ приведенномъ письмѣ чрезвычайно характерно признаніе автора о желаніи впустить народъ въ историческую науку и о стремленіи демократизировать область историческихъ изслѣдованій, впустить въ храмъ науки ту шумную, порою грязную и буйную народную толпу, которая неперестанно протестовала противъ всякой казенной регламентаціи и являлась въ круговоротѣ историческаго прогресса силою центробѣжною, въ противовѣсъ силѣ центростремительной, воплощавшейся во образѣ той государственности, которая сковывала страну желѣзнымъ обручемъ порою закона, а порою и беззаконія, какъ, напримѣръ, крѣпостнымъ правомъ. Въ одной изъ своихъ статей: «Представляеть ли прошедшее русскаго народа какое-либо политическое движеніе?»—онъ такъ опредѣляетъ самъ свое значеніе въ русской литературѣ, какъ историка: «... Задача русскаго народа въ будущемъ, его роль въ исторіи человѣчества и его взаимодействіе на другія народности міра уразумѣются только тогда, когда русскій народъ будетъ имѣть свою исторію, т.-е. обстоятельную, безпристрастно и умно-художественно-нарисованную картину того, какъ пахалъ землю, вносилъ податъ,

отбывалъ рекрутчину, благоденствовалъ и страдалъ русскій народъ, какъ онъ коснѣлъ или развивался, какъ подчасъ онъ бунтовалъ и разбойничалъ пѣлыми массами, воровалъ и бѣгалъ тоже массами въ то время, когда для счастья его работали генералы, полководцы и законодатели. Изученію проявленія центробѣжной силы и ея факторовъ (народныя движенія, понижовая воляница, пугачевщина, гайдамачина, Пугачевъ, Желѣзняки, Заметаевы, Брагины и подобные имъ факторы) мы посвятили большую часть нашихъ историческихъ работъ и полагаемъ, что этимъ скромнымъ дѣломъ мы все-таки положили первый камень подъ великое зданіе будущей исторіи русскаго народа».

Это profession de foi журналиста очень цѣнно,—онъ откровенно констатируетъ, что именно его интересуетъ въ русской исторіи, и съ какими явленіями въ ней онъ предпочитаетъ имѣть дѣло, причемъ смотритъ на это дѣло чрезвычайно скромно, отводя себѣ роль простаго каменщика, потрудившагося надъ возведеніемъ будущаго народнаго историческаго храма. Всѣ свои историческіе очерки, собранные въ два тома подъ наименованіемъ «Историческіе пропилеи», онъ поэтому и именуетъ этимъ нѣскольکو страничнымъ на первый взглядъ наименованіемъ, что разсматриваетъ ихъ, какъ «подготовительные для исторіи, до нѣкоторой степени обработанные матеріалы, какъ простые кирпичи, можетъ быть, пригодные для того, чтобы войти служебнымъ матеріаломъ въ будущее зданіе исторіи,—подобно тому, какъ классическіе пропилеи, составляя преддверіе храмовъ, не считались обителями божества, а только вели въ эти святѣни чрезъ амфилады колонны и портики».

Вводя въ обиходъ историческаго изученія народныя элементы, буйную чернь, которая силою и рядомъ ведетъ себя на глазахъ читателя достаточно непристойно, авторъ не бросаетъ ей за эти непристойности упрековъ и выговоровъ, но всегда беретъ подъ свою защиту, находи для того или краснорѣчивое слово извиненія, или даже полнаго оправданія. Онъ не прокуроръ, громящій безпорядокъ и своеволие въ исторической жизни, онъ—защитникъ обездоленныхъ и угнетенныхъ, стремящихся силою собственныхъ мышцъ и мускуловъ скинуть съ себя давящее ихъ ярмо и пудовое иго. И за сколькихъ такихъ угнетенныхъ и безправныхъ поднималъ онъ свой громкій голосъ, сколькимъ вынесъ онъ оправдательный приговоръ! Взять хотя бы раскольниковъ (правильнѣе—старобрядцевъ), исторія и значеніе которыхъ до Мордовцева освѣщались и судились на основаніи по большей части мертвой буквы закона или казенныхъ, неблагоприятныхъ имъ слѣдственныхъ дѣлъ и административныхъ отписокъ. Мельниковъ-Печерскій первый въ пятидесятыхъ годахъ занялся расколомъ, посвятилъ ему немало журнальныхъ работъ, но въ нихъ читатель не находилъ ни того душевнаго тепла, ни той любви къ «человѣку», которыми такъ проникнуты произве-

денія автора «Иргизских раскольников общинъ», «Ворьбы съ расколомъ въ Поволжьѣ» и романа «Великій расколъ». Мордовцевъ первый въ нашей журналистикѣ взялъ подъ свою защиту людей старой вѣры, взглянулъ на эту вѣру, какъ на имѣющую право законнаго существованія и равноправную съ прочими исповѣданіями, и представилъ этихъ людей древняго благочестія хотя невѣжественными и грубыми, но не въ роли еретиковъ и супостатовъ, а какъ искренно стремящихся къ истинѣ и правдѣ и честно и грозно стоящихъ за дорогіе имъ устои жизни, во имя которыхъ готовы были во всякое время положить свои животы и головы на плаху. И если въ грядущемъ будущемъ, приближеніе котораго всѣми такъ трепетно ощущается, вѣротерпимости на Руси будетъ данъ широкій просторъ, и всѣ люди чистой и искренней вѣры будутъ призваны на братскій пиръ любви, то пусть не забудутъ собравшіеся и того, кто съ такою горячностью и силою убѣжденія говорилъ въ ихъ пользу тогда, когда такъ говорить было небезопасно, ибо такіа рѣчи считались дерзкими и неблагонадежными.

Вѣтъ можетъ, кое-что изъ того, что авторомъ тридцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ писалось, въ нѣкоторыхъ положеніяхъ, при современному развитію историческаго знанія, нынѣ уже требуетъ нѣсколько иного освѣщенія, дополненій и поправокъ, но суть дѣла, суть его проповѣди остается въ силѣ и понинѣ. Въ предѣлахъ времени и тогдашней возможности онъ сдѣлалъ зависящее отъ него, творя его подчасъ торопливо, какъ бы опасаясь потерять выгодный моментъ и случай высказаться. Къ нему и его журнальнымъ работамъ до известной степени примѣнимы тѣ стихи Некрасова, которыми онъ почтилъ Н. А. Милютину:

Чуть колынулось болото стоячее,
Ты ли минуты не спалъ,
Лишь не остыло въ желѣзо горячее,
Ты безъ оглядки ковалъ.
Въ чемъ погрѣшу и чего не додѣлаю,
Думалъ исправить потомъ...

Кромѣ вопроса о раскольникахъ, Д. Л. Мордовцевымъ съ особенною силою были выдвинуты еще два—о земствѣ и о роли нашей провинціальной печати. По долгу службы въ канцеляріи саратовскаго губернатора онъ имѣлъ возможность близко ознакомиться съ земскимъ дѣломъ, изучить его историческое развитіе и современное положеніе на основаніи провинціальныхъ хроникъ, земскихъ изданій и приложений ко всеподданнѣйшимъ отчетамъ. Результатомъ этого изученія явился рядъ статей, напечатанныхъ преимущественно въ «Дѣлѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ» и появившихъ впоследствии частью въ изданіе «Историческіе пропилеи», а частью въ книгу «Десятилѣтіе русскаго земства». Въ послѣднемъ трудѣ авторъ нарисовалъ серію картинъ изъ областной жизни, картинъ то мрачныхъ,

то свѣтлыхъ, то отмѣченныхъ печатью жестокой старины, то обвѣянныхъ духомъ свободы и рисованныхъ красками, почерпнутыми изъ свѣтлаго источника переформенной жизни. Историкъ земства, и притомъ первый во времени, онъ далъ большое число портретовъ помѣстныхъ дѣятелей обновленной Россіи, ознакомилъ читателей съ ихъ рѣчами и мнѣніями и обрисовалъ настроенія земствъ, уѣзднаго и губернскаго, въ разныхъ областяхъ нашей родины. Картина вышла пестрая, такъ что въ своемъ обобщеніи ему пришлось констатировать, что «многого еще недостаетъ земскому дѣлу, что многое въ нашей общей работѣ далеко несовершенно, что много въ ней ошибокъ и недоразумѣній, что въ задачахъ земства много недосказаннаго, невѣдѣннаго, недостаточно уясненнаго, немало и печальныхъ явленій, глубоко возмущающихъ душу своею неправдою». Но при всемъ томъ, въ общемъ изъ изученія десятилѣтней дѣятельности земства, по его мнѣнію, «выносятся глубокое нравственное утѣшеніе въ томъ непоколебимомъ сознаніи, что многое изъ того, что было,—прошло и былѣмъ поросло, а въ томъ, что совершается въ настоящемъ, утѣшительнаго больше, чѣмъ неутѣшительнаго, и свѣтлаго, если не количественно, то качественно, больше, чѣмъ темнаго, въ силу библейской истины, что «свѣтъ свѣтитъ во тмѣ, и тма его не объятъ».

Ему же принадлежитъ въ нашей журналистикѣ честь громкой и очень шумной постановки вопроса о значеніи и ростѣ провинціальной печати. Историкомъ ея въ литературѣ онъ также явился первымъ, хотя роль, имъ здѣсь сыгранная, была не изъ удачныхъ. Областникъ по своимъ природнымъ симпатіямъ и склонностямъ, проповѣдникъ началъ самостоятельности и самоуправленія, поклонникъ идеи автономности, онъ не сумѣлъ сохранить надлежащаго тона въ отношеніи молодой нарождающейся печати провинціи и отнесся къ ней и ея будущему съ нѣкоторымъ высокомеріемъ журналиста, работающаго въ столичныхъ изданіяхъ. Отъ многого изъ того, что имъ было сказано по сему предмету въ свое время, онъ, какъ известно, впоследствии отказался, признавъ себя побѣжденнымъ и искренно еще незадолго до своей кончины воскликнувъ: «Да здравствуетъ провинціальная печать!» Въ своемъ очеркѣ, посвященномъ этой печати¹⁾, я подробно передалъ читателямъ исторію и нѣкоторыя перипетіи этого шумнаго спора, въ кругъ котораго Мордовцевъ сумѣлъ вовлечь чуть ли не всю повременную прессу, а потому пересказывать стараго не буду. Здѣсь же лишь отмѣчу, что, какъ бы ошибочны взгляды писателя на вопросъ ни были, самое возбужденіе вопроса составляетъ его несомнѣнную заслугу,—онъ оживилъ вопросъ объ областной печати, сдѣлалъ его очереднымъ, привлекъ къ нему вниманіе и симпатіи множества людей и тѣмъ самымъ косвенно повліялъ на ростъ и укрѣпленіе

¹⁾ «Печать въ провинціи», «Историческій Вѣстникъ», 1898 г., т. LXXI.

этой печати. Кроме того, он же должен быть разсматриваемъ, и какъ первый историкъ ея, какъ популяризаторъ ея органовъ и ихъ представителей среди столичныхъ читателей.

Въ интересахъ послѣдовательности изложенія я долженъ, однажды вопросъ объ отношеніяхъ Мордовцева къ областничеству мною затронуть, отмѣтить и его широкую и громкую дѣятельность въ кругу иного большого областного вопроса: я разумно служеніе нашего писателя малороссійскому или украинскому дѣлу. Малороссъ по происхожденію, но великороссъ по воспитанію и кругу практической жизненной дѣятельности, онъ сумѣлъ вмѣстить въ свою литературную работу два начала, шедшія у него неизмѣнно рука объ руку. Трудясь на пользу общерусскаго просвѣщенія, какъ русскій журналистъ и дѣятель великорусской печати, онъ постоянно, отъ времени до времени, возвращался къ своей дорогой родинѣ, ея преданіямъ, интересамъ и мировому историческому значенію въ прошломъ и будущемъ.

Въ этомъ отношеніи въ журнальной дѣятельности Д. Л. Мордовцева наблюдается трогательный элементъ неослабной племенной любви, которая просвѣчиваетъ во всѣхъ почти его произведеніяхъ. Какъ извѣстно, наша журналистика, вѣчно ищущая «острыхъ ощущеній», немало трунила надъ этимъ, именую его то «хохлою на великорусской подкладкѣ», то «великороссомъ на хохляцкой подкладкѣ», ставила ему, какъ только рѣчь зайдетъ о чемъ-нибудь, касающемся Малороссіи, ядовитые вопросы и вызывала на споръ и полемику: «А что скажете на это «дідь» Мордовцевъ?»—прибавка, часто встрѣчавшаяся на страницахъ нашихъ газетъ. И «дідь» отвѣчалъ, огрызаясь, ратуя за свою Украину и украинцевъ, шпыняя «москалей», припоминая ихъ историческіе грѣхи и не давая въ обиду ни своихъ «вишневецькихъ садочковъ», ни «гопака» съ «горилкой», ни бѣлыхъ хать съ парокнами и дивчинами, облитыхъ лунныхъ свѣтомъ чарующей поэзій. Къ чести почтеннаго писателя должно отмѣтить, что его полемика по близкому и родному вопросу никогда не содержала въ себѣ элемента злости и раздраженія; скорѣе въ ней сказывало нѣкоторое добродушіе, умеротвореніе и та мягкость юга, которую такъ полны и украинское небо, и украинская природа. Вотъ почему, быть можетъ, послѣ Гоголя никто изъ нашихъ дѣятелей печати такъ не послужилъ культурному братству обоихъ развѣтвленій великаго восточнаго славянскаго племени, какъ Данилъ Лукичъ, и вотъ почему онъ долженъ быть дорогъ этимъ обоимъ развѣтвленіямъ. Но надо быть снисходительнымъ: нельзя человѣку ставить въ вину того, что въ одномъ случаѣ его чувство было мягче и теплѣе. Здѣсь говорила историческая кровь рода, здѣсь говорило сознаніе многихъ обидъ и горя, понесенныхъ земляками въ ихъ многострадальномъ прошломъ и неустрашенномъ настоящимъ.

Дѣятельность Данила Лукича на пользу своихъ земляковъ нашла себѣ прекрасное изображеніе въ адресѣ, подписанномъ ему въ 1896 году отъ широкой группы поклонниковъ-южанъ, въ которомъ произведена оцѣнка его литературной работы въ кругу малороссійскаго вопроса. Привожу адресъ цѣлкомъ, какъ интересный документъ, но въ интересахъ обширной аудитории читателей воспроизвожу его въ русскомъ переводѣ:

«Высокоуважаемый

«Данилъ Лукичъ.

«Прошло 40 лѣтъ ¹⁾ съ того времени, какъ вдохновленная казачествомъ и любовью къ родному краю душа ваша вылилась въ поэмѣ «Казакъ и море», а вслѣдъ за тѣмъ изъ-подъ нашего пера явились повѣсти: «Старці» и «Солдатка и дворянъ». Это были первые ваши литературные опыты, которые вы цѣлкомъ отдали своей безстальной Украинѣ. Чуткая душа, вылинявшая въ этихъ повѣстяхъ, нескрпная любовь къ родному краю и народу, неосыпанная мелочностью рѣчи и настоятельной украинскій юморъ,—все это обратило на васъ вниманіе земляковъ и породило думою за родное слово и литературу, которая пріобрѣла себѣ молодую талантливую силу, но угнетенность нашей народной рѣчи и тяжелаго условія нашей общественной жизни оторвали васъ на долгое время отъ родного слова и обратили наши силы туда, куда уже больше столѣтія десятки народовъ отдають свои наилучшія силы. Всѣмъ хорошо извѣстна наша неуспынная, огромная, талантливая и плодотворная работа, какъ историка, романиста и публициста, ибо каждый годъ на томъ или иномъ поприщѣ заявляли вы себя твореніями, къ которымъ всѣ прислушивались съ напряженнымъ вниманіемъ. Хотя все это написано на великорусскомъ нарѣчій, однако мы при этомъ случаѣ не можемъ не заявить того, что значительная часть вашихъ работъ была объ Украинѣ, о ея минувшей и теперешней судьбѣ или такъ или иначе касалась Украины и была симпатична намъ, украинцамъ. Въ вашихъ историческихъ изслѣдованіяхъ не только объ Украинѣ, но и о жизни великорусскаго народа, особенно въ книгѣ «Политическія движенія русскаго народа», вы вездѣ проводили дорогіе украинцамъ взгляды самобытности народной жизни и нескрпнаго демократизма.

Въ историческихъ работахъ вы рисовали тщательно жизнь нашего края и народа, будили украинское самосознаніе, преданность къ родной Украинѣ и напоминали, что діалось в свѣтѣ, чья правда, чья кривда, і чін ми діти».

Въ своихъ публицистическихъ работахъ вы вездѣ заявляли себя приверженцемъ прогрессивнаго общественнаго движенія, стояли за самоуправленіе, даною любезное нашему народу. Что же касается собственно украинства, то мы съ глубокою благодарностью вспоминаемъ то время, когда вы съ славнымъ покойнымъ батюкою Миколою ²⁾ работали въ «Голосѣ» и въ «Недѣлѣ» и боролись съ Кояловичемъ, Аксаковымъ и иными ратниками темной силы, какъ съ татарами, за мать Украину и ея языкъ.

Въ послѣднее время вы много путешествовали по свѣту и снова дали намъ немало книгъ о вашихъ путешествіяхъ. Но гдѣ бы вы ни были, подъ яснымъ ли небомъ Италіи, на святой рѣкѣ Іорданѣ, подъ палищимъ небомъ Іудеи или на Кав-

¹⁾ Тутъ хронологическая неточность съ опозданіемъ на два года.

²⁾ Николай Івановичъ Костомаровъ.

казѣ, гдѣ до сихъ поръ орелъ долбитъ ребра Прометея, или гдѣ бы то ни было, всюду вы вспоминали свою Украину и льнули душою къ родному краю, «на тихі води, на ясіні зорі, де хаті біленькі, вербні зелененькі».

«Проводя, такимъ образомъ, большую часть своей жизни далеко отъ своего края, вы не забывали Украины, какъ забываютъ ее многіе, которые для панства великаго, для лакомства пощанаго (исползались и обруселись) понесли свои труды въ чужіе узы, вы не забыли родной рѣчи, вы только, говоря вашими же словами, «какъ-то немного отбились, какъ отбивается несую птица отъ своей стаи, а осенью снова пристаеетъ». Такъ и вы напослѣдокъ, подъ осень, захотѣли, черезъ 25 лѣтъ снова откликнуться на своемъ родномъ языкѣ».

«Со того времени и по сей часъ ежегодно являются ваши небольшіе, но сердечные повѣсти и рассказы, въ которыхъ такъ тепло, правдиво и мастерски рисуется Украина съ ея исторіей, ея литературою, ея горькою долею и неумирающею надеждою; *живуча эта надежда* у насъ, живетъ она и у насъ, и слава вамъ, вамъ, нашъ другъ, нашъ отецъ, за то, что вы, имѣя талантъ и счастливую долю, поддерживаете въ насъ эту надежду».

«Ваша «Дні долі», невзирая ни на какія передѣлки, въ которыхъ онѣ были, не умрутъ, не погибнутъ. Дай же вамъ, Боже, счастья добраго и вѣку долгаго, а мы, земляки ваши, подносимъ вамъ искреннѣйшія пожеланія, заключаемъ словами нашего славнаго Кобзаря:

«А ти, батьку,
Як самъ здоровъ знаеш,
Тебе люди поважаютъ,
Добрий голос маеш,
Співай же намъ, наш голубе,
Про Січ, про могилу,
Коли яку наспали,
Кого положили.
Про старину, про ете диво,
Що було, минуло...
Утти, батьку, щоб нехотя
Не все світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава казачья
По всім світі стала».

Не стану долго распространяться о практическомъ служебнѣ Д. Л. Мордовцева украинскому дѣлу: онъ устраивалъ малороссійскіе вечера, выступалъ на нихъ ораторомъ и чтецомъ, председательствовалъ на банкетахъ, въ нихъ специальныхъ благотворительныхъ и просвѣтительныхъ обществахъ и являлся покровителемъ всякаго украинца, прибывшаго въ сѣверную столицу, который и шелъ къ «старому дѣду» просто и откровенно со всѣми своими думами и нуждами.

Чтобы закончить областническую дѣятельность писателя, считаю нужнымъ отмѣтить, что и прочіи народности, входящія въ составъ Русскаго государства, неизмѣнно встрѣчали въ немъ покровителя и заступника. Такъ,

онъ много поработалъ по еврейскому вопросу, помѣстивъ въ специальныхъ еврейскихъ изданіяхъ немало статей и неоднократно поднималъ свой голосъ какъ въ работахъ историко-публицистическихъ, такъ и беллетристическихъ, въ защиту еврейскаго люда, вступая по сему предмету въ полемику даже съ близкими людьми, какъ, напримѣръ, съ Краевскимъ, своимъ недавнимъ единомышленникомъ.

Составивъ себѣ крупное имя, какъ историкъ-публицистъ, Д. Л. Мордовцевъ со второй половины 1870 годовъ переходитъ отъ статей общественно-научнаго содержанія къ произведеніямъ специально беллетристическимъ и съ первымъ же романомъ «Идеалисты и реалисты» упрочиваетъ за собою репутацію талантливаго и выдающагося романиста на сюжеты изъ исторіи Россіи и Украины. Въ теченіе двадцати лѣтъ имъ создается серия романовъ, обнимающихъ собою почти всю исторію нашей страны, начиная съ древнѣйшаго періода и кончая XIX вѣкомъ. Вотъ болѣе или менѣе полный списокъ главнѣйшихъ его романовъ и повѣстей, при чемъ сюда включаются и тѣ, которые берутъ свой сюжетъ не только изъ русской жизни, но и древняго Востока и классическаго міра.

Изъ историческихъ романовъ и болѣе обширныхъ повѣстей Мордовцева первымъ были «Идеалисты и реалисты», напечатанные первоначально въ «Новомъ Времени» (1876), потомъ вышедшіе въ трехъ отдѣльныхъ изданіяхъ (1878—1822 гг.). Далѣе слѣдовали: «Лжедмитрій» (1879, 2-ое изданіе 1901 г.), «Наносная бѣда, чума въ Москвѣ» (1879, 2-ое изд. 1883 г.), «Двѣнадцатый годъ» (1880, 4-ое изд. 1902), «Царь и гетманъ» (1880, 4-ое изд. 1901), «Царь Петръ и правительница Софія» (3-е изд. 1902), «Соловецкое сидѣніе» (1880), «Великій расколъ» (4-ое изд. 1901), «Мамаево побоище» (1881), «Господинъ Великій Новгородъ» (1882), «Сагайдачный» (1882), «Архимандритъ гетманъ» (1884), «Историческія повѣсти» (1885), «Похороны» (1886), «Авантюристы» (1886, было повторено), «Новые люди» (первоначально были напечатаны во «Всемирномъ Трудѣ» 1886 г. такъ же, какъ и начало «Знаменій времени»; потомъ вышли въ 1897 году третьимъ изданіемъ), «Напѣ Одиссей» (1887), «Кумъ Иванъ» (въ «Дешевой бібліотекѣ» Суворина, 1887), «Вѣлгый король» (1888), «Тимошъ» (въ «Вѣстникѣ Европы» 1889), «Фанатикъ» («Новости», 1891), «За чьи грѣхи?» изъ временъ Разина (1891), «Желѣзо и кровью», завоеваніе Кавказа при Ермоловѣ (1896), «Сѣбѣ больше!» (1896), «Державный плотникъ» (1899), «Вулава и бунчукъ». Романъ Мазепы», «Посажная мать (Екатерина II)», «Вольможная панна» (1903). Изъ иностранной исторіи относятся слѣдующіе романы: четыре изъ быта Египта—«Замурованная царица» (1891), «Месть жрецовъ», «Вогиня Изида сваха», «Говоръ камней» (1895); затѣмъ—«Жертвы Вулкана», изъ послѣднихъ дней Помпеи (2-ое изд. 1894), «Иродъ» (2-ое изд. 1897), «Погибелъ

Иерусалима» (1897), «Царь без царства» изъ послѣднихъ дней царства Имеретинскаго, «Прометеево потомство», изъ послѣднихъ дней независимости Абхазіи (1897), «За всемірное владычество», борьба Митридата Понтийскаго съ Римомъ.

Сверхъ того, Мордовцевъ написалъ нѣсколькихъ историческихъ мелкихъ повѣстей, дѣтскихъ и рождественскихъ разсказовъ, не говоря о современныхъ бытовыхъ повѣствованіяхъ.

Наименѣе удачными должны считаться тѣ романы и повѣсти, сюжетъ которыхъ былъ почерпнутъ авторомъ исключительно изъ книжнаго источника, и что по историческимъ дѣйствіямъ и изображаемымъ личностямъ его лично не затрагивало и не волновало. Къ числу таковыхъ должны быть отнесены романы изъ древнегипетской и римской жизни. На всѣхъ этихъ произведеніяхъ лежитъ печать вычурности и писательской потуги, гдѣ авторъ, очевидно, не захватывается событіями, а тѣшится искусственно проинкрустовать изъ книжнаго источника настроеніями и мотивами.

Необходимо, однако, отмѣтить, что еврейскіе ученые высоко ставятъ беллетристику нашего автора, имѣющую сюжетомъ древне-еврейскую жизнь. Поэтому они охотно переводятъ его романы на древне-еврейскій языкъ (языкъ Торы) и отмѣчаютъ, что въ этихъ романахъ превосходно схваченъ духъ древняго іудейства и понятъ смыслъ исторіи Іудей. Не то мы видимъ у него, когда онъ прикасается родной землѣ, и когда изъ-подъ его пера во весь ростъ возстаютъ передъ читателями дѣятели XVI—XVIII вѣковъ, т.-е. тѣхъ эпохъ, которымъ онъ наилучше изучилъ, духомъ которыхъ онъ пропитался, и гдѣ все ему родное и близкое. Изъ числа наиболѣе удавшихся ему должно отмѣтить «Царь и гетманъ», «Идеалисты и реалисты», «Соловецкое сидніе» и «Великій расколъ». Въ большинствѣ его беллетристическихъ произведеній изъ русской исторіи разработаны тѣ же моменты жизни, которые входили и въ его журнальныя работы, при чемъ его непрестанно интересуютъ не спокойныя и тихія проявленія нашего историческаго бытія, а стихійныя и буйныя, гдѣ борются страсти и интересы сильныхъ и слабыхъ. Если не считать его пристрастія ко всѣмъ дѣятелямъ, вышедшимъ изъ Украины, то въ большинствѣ его романовъ мы не встрѣтимъ идеализаціи отдаленныхъ типовъ, искусственнаго созданія героевъ для; его герой—герой собирательный: это русскій простой народъ, та грубая чернь, которая громко при всякомъ случаѣ заявляла о своемъ историческомъ существованіи, о своихъ правахъ, нуждахъ, вѣрованіяхъ и обычаяхъ. Поэтому въ его повѣстяхъ и романахъ читатель видитъ не только выдвинутые на первый планъ, какъ говорится, «историческіе персонажи», но наглядно усмотритъ широкую народную панораму, то движущуюся, то спокойно пребывающую въ грозномъ, но внушительномъ молчаніи. Всѣ эти панорамы нарисованы у него широкими мазками, размашистою кистью и яркими,

подчасъ слишкомъ даже крикливыми красками. Строгая критика судила слишкомъ придирчиво автора именно за эти краски, не желая принимать во вниманіе демократическихъ тенденцій писателя, всегда стремившагося дѣлать свою произведенія, какъ можно болѣе близкими широкому кругу читателей, въ интересахъ популяризаціи историческаго знанія и распространенія определеннаго подбора фактовъ и положеній. Историкъ-художникъ шель въ немъ всегда рядомъ съ историкомъ-публицистомъ, при чемъ слѣдуетъ и рядомъ первый уступалъ дорогу второму, въ интересахъ проповѣди политической и общественной морали, ради которыхъ имъ приносились иногда въ жертву и принципъ чистаго искусства, и начало академическаго безпристрастія. Отсюда иногда зажатое, что называется, впечатлѣніе отъ чтенія его романовъ и косые взгляды на эти романы людей казеннаго взгляда и холодной рефлексіи.

Своими историческими очерками Д. Л. Мордовцевъ, какъ мы знаемъ, создавалъ «пропиленъ» въ будущій художественный храмъ нашей исторіи; своими романами онъ если не создалъ такого храма, то изготовилъ для него нѣсколько широкихъ картинъ-полотенъ, которые въ этомъ храмѣ со временемъ займутъ не послѣднее мѣсто и всегда будутъ привлекать къ себѣ взоры его будущихъ посѣтителей.

Семидесятые годы въ личной жизни нашего писателя не отмѣчены какими-либо особенно выдающимися фактами. Это былъ періодъ напряженной работы по службѣ и въ литературѣ, періодъ сильнаго роста популярности и сближенія съ самыми разнородными элементами нашей журналистики прогрессивнаго направленія. Особенною близостью отмѣченъ этотъ періодъ къ Н. И. Костомарову, интереснаго воспоминанія о которомъ за это время были имъ напечатаны въ «Русской Старинѣ» за 1886 годъ, къ П. А. Гайдебурову, С. Н. Шубинскому, какъ редактору «Древней и Новой Россіи», къ А. С. Суворину, въ молодой тогда газетѣ котораго «Новое Время» имъ и былъ напечатанъ первый его историческій романъ «Реалисты и идеалисты», немало содѣйствовавшій между прочимъ росту газеты и пробужденію къ ней интереса среди массы читателей, любителей занимательныхъ историческихъ фельетоновъ. Событія нашей общественной жизни въ 1881 году сильно разстроили нашего писателя, и вотъ онъ, желая размякать свое подавленное чувство, предпринимаетъ рядъ путешествій, сначала вольныхъ, а потомъ невольныхъ, въ виду постигшей его болѣзни.

Извѣстно его путешествіе въ Египетъ, къ пирамидамъ, въ Иерусалимъ и на Кавказъ и знаменитое восхожденіе на Араратъ, имѣвшее для него печальныя послѣдствія: онъ простудился, схватилъ гнилостный плевроитъ и послѣ долгаго леченія на роднѣхъ должнъ былъ уѣхать на югъ Франціи, въ Ментону, откуда, поправившись, онъ совершилъ поѣздку по Италіи и Испаніи. Всѣ эти поѣздки имъ описаны, напечатаны въ разныхъ журналахъ

и изданы отдельными книжками: «Поѣздка въ Иерусалимъ», «Поѣздка къ пирамидамъ», «Изъ прекраснаго далека», «По Италию», «По Испанію», «На Араратъ», «Въ гостяхъ у Тамерлана». Описанія путешествій Д. Л. Мордовцева считаются въ нашей литературѣ образцовыми описаніями по массѣ вложеннаго сюда безыскусственнаго лиризма и поэтическаго пафоса, придающихъ имъ колоритность и повышенность интереса. Но не только этими художественными особенностями выделяются его описанія поѣздокъ, — въ нихъ наглядно усматривается и его широкая историческая эрудиція, обратившая въ свое время на него вниманіе представителей нашей университетской науки.

Половина восьмидесятыхъ годовъ явилась переломомъ въ личной жизни Д. Л. Мордовцева: онъ потерялъ въ 1886 году долго и тяжело хворавшую супругу, а съ ея смертію исчезла необходимость въ особенной напряженности труда, почему онъ и вышелъ въ отставку изъ министерства путей сообщенія и отдалъ себя всецѣло литературѣ, подвизаясь преимущественно въ газетахъ, гдѣ и помѣщались какъ его многочисленные статьи по вопросамъ дѣла, такъ и воспоминанія о пережитомъ и романы. Главная его работа сосредоточилась въ послѣдніе 15 лѣтъ въ «Новостяхъ», «Восходѣ», «Русской Старинѣ» и «Историческомъ Вѣстникѣ».

Въ декабрѣ 1904 года исполнилось, какъ сказано въ началѣ настоящаго очерка, пятидесятилѣтіе литературной дѣятельности Данила Лукича. Намѣченное на январь 1905 года празднованіе его юбилея состояться не могло: русское общество было охвачено острыми впечатлѣніями отъ извѣстныхъ событій въ январскіе дни, и ему было не до свѣтлыхъ и веселыхъ праздниковъ, хотя бы таковые и сопряжены были съ именами его излюбленныхъ представителей. Уступая общественному настроенію и печально сложившимся обстоятельствамъ, устроители юбилейнаго чествованія нашего писателя, П. И. Вейнбергъ и авторъ настоящаго очерка, вынуждены были отложить намѣченный на 22-е января юбилейный обѣдъ Данилу Лукичу отъ имени писателей и его земляковъ-украинцевъ до болѣе благоприятнаго времени. Таковымъ оказался лишь апрѣль мѣсяцъ, когда 24-го числа въ помѣщеніи ресторана Донона и собрался тѣсный кружокъ знакомыхъ, друзей и почитателей Мордовцева, чтобы принести ему отъ имени разнообразныхъ общественныхъ круговъ дань уваженія и почтенія его заслуженнымъ и бесспорнымъ заслугамъ передъ родиной на поприщѣ литературнаго и общественнаго служенія ей.

На обѣдъ прибыли: членъ государственнаго совѣта Н. С. Таганцевъ, профессоръ А. К. Ворозинъ, Н. И. Карѣевъ, В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, В. И. Ламанскій, редакторъ газеты «Новости» О. К. Нотовичъ, «Стрекозы» И. Ф. Василевскій, писатели: В. А. Авенариусъ, К. И. Арабакингъ, К. С. Варанцевичъ, И. Ф. Василевскій, В. В. Глинскій, Я. Г. Гуревичъ, С. Ф. Год-

левскій, Д. А. Липевъ-Далинъ, Л. А. Полонскій, Ф. Ф. Фидлеръ, господа Е. Ф. Яковлева-Каричъ, В. И. Ясевичъ-Вородаевская, председатель литературнаго фонда П. И. Вейнбергъ, председатель кассы взаимопомощи писателямъ Я. Н. Колубовскій и др., а также тѣкоторые изъ земляковъ-малоросовъ Д. Л. Мордовцева.

Прибытіе на обѣдъ виновника торжества было встрѣчено дружными аплодисментами, и каждый спѣшилъ показать руку милому старцу, который, несмотря на слабость и болѣзненность, не отказался повидаться съ своими друзьями, знакомыми и учениками по литературѣ.

Когда въ концѣ обѣда было розлито по бокаламъ шампанское, профессоръ В. И. Ламанскій, личный другъ и товарищ по университету Мордовцева, председательствовавшій на обѣдѣ, открылъ рядъ привѣтствій юбиляру, вспомнивъ добрымъ словомъ начало литературной дѣятельности ихъ обоихъ и тѣ общественныя условія, при которыхъ эта дѣятельность началась. Въ томъ, что переживала Россія пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, и что она переживаетъ нынѣ, полная аналогія, и какъ тогда все кончилось ко благу ея народа, такъ, можно надѣяться, это кончится и нынѣ. Такимъ образомъ жизненные зари и закатъ Данила Лукича освѣщаются единымъ свѣтомъ общаго блага и счастья. Послѣ г. Ламанскаго П. И. Вейнбергъ принесъ поздравленіе юбиляру отъ литературнаго фонда, членомъ котораго Д. Л. Мордовцевъ состоялъ очень многіе годы, въ теченіе которыхъ онъ исполнялъ въ фондѣ разныя должности, отмѣчая свое служеніе на пользу литературной братіи преданностію дѣлу помощи нуждающимся литераторамъ, любовью къ послѣднимъ и заботою о ихъ благополучіи. Отъ кассы взаимопомощи литераторамъ представилась депутація, избранная на бышемъ въ этотъ день общемъ собраніи членовъ кассы. Въ составъ депутаціи вошли: И. Ф. Василевскій, Н. Н. Волковъ, В. В. Глинскій, Я. Н. Колубовскій, Д. А. Липевъ. Г. Колубовскій, какъ председатель правленія кассы, отмѣтилъ дѣятельность Данила Лукича, какъ бывшаго послѣ Г. К. Градовскаго ея председателемъ, при которомъ касса окончательно расширилась въ своихъ матеріальныхъ средствахъ и приобрѣла широкое распространеніе среди писателей. Послѣ того и произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Глубокоуважаемый Данилъ Лукичъ!

«Сизира въ сегодняшний день весь долгій и трудный пройденный вами путь писательства, невольно съ удивленіемъ и признательностью оставалась на той громадной и разнообразной работѣ, которая была нами такъ прекрасно выполнена за весь этотъ пятидесятилѣтній періодъ времени. Начавъ свою литературную дѣятельность съ поэтическаго произведенія «Казакъ и море», написаннаго родною намъ украинскою рѣчью, вы перешли затѣмъ къ работѣ статистическаго характера по обследованію экономической жизни Поволжья и вмѣстѣ съ тѣмъ къ обнародованію въ переработанномъ видѣ доступныхъ вамъ историческихъ матеріа-

ловъ, почерпнутыхъ изъ богатыхъ провинціальныхъ архивовъ. Это обратило на васъ вниманіе с.-петербургскаго университета, выразившаго желаніе въ 1864 г. видѣть васъ на вакантной тогда катедрѣ русской исторіи и сдѣлавшаго вамъ по сему предмету соотвѣтствующее предложеніе, которое вы, однако, не сочли возможнымъ принять. Почти съ первыхъ же шаговъ вашей литературной дѣятельности вы подаете громкій голосъ въ защиту широкой вѣротерпимости и въ рядѣ историко-бытовыхъ очерковъ становитесь на сторону обездоленныхъ въ тѣ годы правдою и закономъ старообрядцевъ, ихъ вѣрованій, ихъ учителей и народныхъ неконныхъ преданій. Въ настоящее время, когда сектантамъ и старообрядцамъ дарованы права свободнаго исповѣданія и они возносятъ горячія молитвы за тѣхъ, кто въ свое время являлся ихъ адвокатомъ и представителемъ, то, конечно, въ ряду этихъ представителей они отмѣтятъ и ваше имя, какъ человѣка, который въ глухую пору ихъ безправія являлся ихъ другомъ и заступникомъ.

Вы являетесь въ нашей литературѣ первымъ историкомъ обновленной закономъ 1864 г. земской Россіи и въ своихъ работахъ по сему предмету, напечатанныхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ заглавіемъ «Десятилѣтіе русскаго земства», а печатѣхъ навсегда имена тѣхъ земскихъ людей, кто съ неустанной энергіей полагалъ первые кирпичи для новаго историческаго знанія, именуемаго русской земщиной, и рядомъ съ ними заклеймили того, кто ставилъ пренія землему строительству и въ дни призыва къ общій службѣ являлъ кормь и недобросовѣстность.

Вы же явились и первымъ историкомъ доблестнаго служенія родины со стороны русской женщины, представивъ въ своихъ историческихъ трудахъ дѣйствующую галерею женскихъ историческихъ портретовъ, нарисованныхъ любящею и мастерскою рукою. Въ длинной серіи вашихъ романовъ и повѣстей, привлекившихъ къ себѣ тысячи читателей и не одного поколѣнія, вы, какъ историкъ-романистъ, никогда не стремились къ идеализаціи и прославленію героевъ и вѣдомыхъ личностей. Вашими собирательнымъ героемъ былъ герой-народъ, бытіе котораго вы всегда стремились изображать. Вотъ почему, быть можетъ, ни у одного изъ нашихъ писателей-беллетристовъ не отведено такъ много въ его произведеніяхъ мѣста стихійнымъ массовымъ движеніямъ народа, какъ именно у васъ, и вотъ почему вдумчивый читатель найдетъ въ вашихъ работахъ не только рельефно нарисованные, какъ говорится, «историческіе персонажи», но и усмотритъ вполнѣ наглядно обширную народную панораму, то движущуюся въ безыконномъ волненіи, то пребывающую въ грозномъ, но внушительномъ молчаніи. Рядомъ съ работами беллетристическими вы немало подвизались и на поприщѣ публицистическомъ, неодушевленно отзываясь на важнѣйшіе вопросы дня и освѣщая ихъ подъ угломъ историческаго зрѣнія. Въ области вопросовъ этой категоріи вы особенно много потрудились надъ разработкою и освѣщеніемъ вопросовъ славянскаго, еврейскаго и малороссійскаго, въ особенности послѣдняго. Тутъ вы явились въ нашей литературѣ могучимъ звеномъ единѣнія двухъ развитѣлѣйшихъ великаго славянскаго племени, нисколько не нарушая взаимноотношенія не начало обычной славянской смуты и вражды, а начало любви и согласія, исторической гармоніи и равноправнаго братства.

Поэтому, провозглашая вамъ «славу», какъ русскому исторiku, романисту и публицисту, остававшемуся всегда и во всѣхъ областяхъ литературнаго слова вѣрнымъ служебнику народному благу, предлагаю присутствующимъ дружнымъ хоромъ присоединиться и къ той «славы», которую сегодня провозглашаютъ вамъ и ваши земляки, какъ своему доблестному дѣятелю и заслуженному писателю.

Эта украинская «слава» была дѣйствительно возгласана нашему писателю его земляками, гг. Руссовымъ, Саладиловымъ, Арабакинымъ и Лотоцкимъ.

Въ обстоятельныхъ рѣчахъ этихъ ораторовъ было указано на выдающуюся роль Мордовцева въ судьбѣ малороссійской печати и въ ея борьбѣ за равноправность, была отмѣчена его теплое задушевное отношеніе къ своимъ землякамъ, его любовь къ родной Украинѣ, ея исторіи, литературѣ, преданіямъ и народнымъ вѣрованіямъ, была высказана глубокая признательность за все имъ сдѣланное въ теченіе пятидесяти лѣтъ на пользу украинскаго народа и высказано сожалѣніе, что обстоятельства не позволяли ему отдать себя всецѣло на служеніе родному слову. Рѣчи Руссова и Лотоцкаго были произнесены по-малороссійски, рѣчь г. Арабакина, звучавшая особенно задушевно, была сказана въ первой ея половинѣ по-русски, во второй по-украински. Ораторъ съ особенною силою подчеркнул обаятельное значеніе личности «дорогого діда», къ которому каждый молодой начинающій дѣятель литературы, невзирая на свою принадлежность къ той или иной изъ украинскихъ партій, могъ всегда смѣло идти, въ увѣренности встрѣтить поддержку, сердечное къ себѣ отношеніе, совѣтъ и помощь. П. М. Саладиловъ отъ имени благотворительнаго общества имени Тараса Григорьевича Шевченка объявилъ юбилару, что онъ избранъ почетнымъ пожизненнымъ членомъ общества. Сказалъ также задушевное слово С. Ф. Годлевскій, отмѣтивъ въ дѣятельности Данила Лукича полное отсутствіе неприязненной тенденціозности въ его отношеніяхъ къ польской народности и его всегданнее стремленіе внести во взаимоотношенія обоихъ славянскихъ народовъ начала справедливости и братства. Профессоръ А. К. Воровицъ посвятилъ свою рѣчь тому «сепаратизму», подъ знаменемъ котораго протекала литературная дѣятельность юбилара, далъ историческое объясненіе законности этого сепаратизма, отмѣтилъ симпатичность и идеализмъ его и высказалъ убѣжденіе, что подъ знаменемъ такого сепаратизма не грѣхъ идти всякому просвѣщенному и любящему Россію человѣку.

Растроганный юбиларъ не былъ въ состояніи и въ силахъ отвѣчать на всѣ обращенія къ нему рѣчи, боясь расслапаться отъ переполнившихъ его чувствъ, и только заявилъ съ обычной ему и столь хорошо известной всѣмъ знающимъ его скромностью, что сдѣланный ораторами оцѣнка его литературной дѣятельности на самомъ дѣлѣ превышаетъ все его заслуги. Послѣ рѣчей послѣдовало чтеніе главнѣйшихъ общественныхъ адресовъ, писемъ и телеграммъ.

Адресъ с.-петербургскаго общества взаимопомощи донскихъ казаковъ:

Дорогой Данилъ Лукичъ!

Тихій Донъ не разъ вдохновлялъ русскихъ поэтовъ и писателей дѣяніями своихъ сыновъ, но то были все «гости забѣные, пѣвцы случайные», и историческая жизнь припольной рѣки ждала своего пѣвца, который погладилъ бы о ней міру.

Таким счастливым избранником явились вы, дорогой Даниль Лукичъ. Родинские на берегахъ Дона, проводя подъ говоръ его тихоструйныхъ волнъ лучшие дни юности, вы въ теченіи всей своей долготѣйшей жизни остались вѣрнымъ сыномъ далекой родины и отдали ей значительную долю своего литературнаго таланта. На протяжении пятидесяти лѣтъ своей славной работы вы дали рядъ талантливыхъ разсказовъ, не только исторически вѣрно рисующихъ былую жизнь Дона, но и впервые освѣтившихъ глубины сѣдой старины казачества. Каждое наше произведеніе съ чувствомъ искренней радости и гордости пріѣхивалось дочками, и когда вы, уже будучи маститымъ писателемъ, посѣтили родина мѣста, населеніе послѣднихъ, воодушевляемое лучшими чувствами, устроило вамъ достойную встрѣчу. Въ жизни же слободы Даниловки и станицы Усть-Медвѣдицкой пріѣхавъ старого донца составилъ особую эпоху.

Не одна только историческая жизнь Дона интересовала васъ. Вы до настоящаго момента чутко относитесь ко всему, что такъ или иначе касается вашей родины. Такъ, когда донцы, осѣвшие на берегахъ Невы, сплотились въ дружную семью подъ именемъ «с.-петербургскаго общества взаимопомощи донскихъ казаковъ», вы, Даниль Лукичъ, вошли въ эту семью однимъ изъ первыхъ и все время, несмотря на свой преклонный возрастъ, съ глубокимъ вниманіемъ относитесь къ интересамъ ея.

Глубоко цѣни мы вашу литературную заслугу передъ далекой родиной, «с.-петербургское общество взаимопомощи донскихъ казаковъ» проситъ васъ принять званіе почетнаго члена съ искреннимъ пожеланіемъ здравствовать многіе годы и вѣрить, что тихій Донъ не забудетъ вашей великой заслуги и занесетъ имя Данила Лукича Мордовцева на скрижали своей исторіи.

Отъ женскаго взаимно-благотворительнаго общества:

Глубокоуважаемый Даниль Лукичъ!

Русская литература справляетъ сегодня славный праздникъ полулѣтковаго неустаннаго честнаго и талантливаго просвѣтительнаго труда. Приносимъ вамъ теплыя поздравленія въ этотъ торжественный день, мы позволяемъ себѣ думать, что хоръ пріѣхившихъ голосовъ быть бы не полонъ сегодня, если бы среди него не раздавался голосъ русской женщины, историческимъ судьбамъ которой вы посвятили такъ много вашихъ силъ. Въ предисловіи къ первому тому вашихъ монографій «Русскія историческія женщины» выражаетъ ясно вашъ взглядъ: «женщина, говоритъ вы, какою она проявляется въ исторіи,—это такой чувствительный барометръ, который прежде всего отражаетъ въ себѣ состояніе, если позволено такъ выразиться, общественной атмосферы. Каковъ характеръ и направленіе историческаго эпохи,—такую является и женщина, едва ли не исключительнѣе, чѣмъ мужчина. Вотъ почему исторія русской женщины не только пополняетъ собою исторію вообще, но и увеличиваетъ ее болѣе, чѣмъ вся сумма прочихъ историческихъ матеріаловъ». Въ четырехъ книгахъ монографій вы сдѣлали съ глубокоосправедливымъ и гуманнымъ чувствомъ за многотысячными перипетіями женскихъ судебъ, внимательно отмѣчая черты самобытной русской силы. И сила эта выясняется, напламывается и растетъ на талантливыхъ страницахъ вашихъ книгъ, примыкая непосредственно къ дилемъ живой дѣятельности, пережитой многими изъ насъ, къ тѣмъ памятнымъ днямъ, когда неустойчивый потокъ широкихъ общественныхъ вѣяній выразился въ страстнымъ стремленіи русской женщины къ образованію и освободженію. И вотъ нынѣ, въ знаменательные дни наступающаго возрожденія Россіи, мы, члены перваго и един-

ственнаго въ Россіи союза женщинъ, горячо и благодарно пріѣхиваемъ маститаго друга русской женщины, заронишаго во многіе умы и сердца искру теплой вѣры въ ея свѣтлое будущее.

Отъ митавскаго русскаго общества:

Глубокочтимый Даниль Лукичъ!

Пятидесятилѣтній юбилей вашей литературной дѣятельности русская и украинская литературы празднуютъ въ возвышенное и знаменательное для всей Россіи время, въ дни могучаго гражданскаго подъема, освободительнаго движенія и начавшагося обновленія,—въ дни, когда вашъ юбилей долженъ необходимо принять характеръ торжества всей грамотной Россіи, ея заветныхъ думъ, ея заповѣдей и печатнаго слова.

Вотъ почему и мы, скромные труженики и представители митавскаго русскаго общества, пріобщаясь всей душой къ общему праздничному настроенію лучшихъ людей нашей страны и свято исповѣдуя ихъ вѣру, считаемъ своимъ гражданскимъ долгомъ и душевною потребностью къ величественному хору окружающихъ насъ духовныхъ избранниковъ, правдивыхъ истолкователей современныхъ общихъ желаній и непоколебимыхъ стремленій нашего общества, присоединить и нашъ убѣжденный и увѣренный голосъ и нашъ единодушный пріѣхъ.

Даниль Лукичъ! Какое завидное счастье на склонахъ дней своихъ видѣть предъ своими очами восходящую зарю, къ которой вся мыслящая Россія, томившаяся такъ долго въ полуночномъ мракѣ, обращаетъ свои молитвенные и надежды полные взоры! На закатѣ дней своихъ быть озареннымъ пламенно-яркой зарей восходящаго свѣтла золотой свободы,—это ли не чудный и рѣдкостный закатъ, предопределенный вамъ судьбой?

Даниль Лукичъ! Вы переживаете второе «Знаменіе времени!» Почерпните же новыя силы въ несокрушимомъ могуществѣ общественнаго настроенія! Вдохните трубами звуками богини Кліо, властно вознѣвающей нашему народу величайшее на землѣ благо—свободу!

Промолвите намъ вѣщее слово! Въ эти дни чуднаго вашего заката станьте и вы въ рядъ чистыхъ душой учителей и пророковъ, смѣло и грозно провозвѣстившихъ намъ заветъ, какъ человѣку свободному, сильному и смѣлому перейти, по ученію Христа, отъ слова къ дѣлу и жить въ правдѣ и въ братскомъ единеніи, обративъ всю землю въ единую родину, благословенную вѣчными миромъ и счастьемъ, согласно вложенному Богомъ въ наши сердца желанію и чаянію!

Промолвите вѣщее слово! Да будетъ оно для насъ богатымъ послѣдъ наслѣдствъ, громкой лебединой вѣстью писателя-гражданина! Воздайте дань родни и судьбѣ вашей, которая, будучи и впродѣ покорна и послушна нашимъ общимъ горячимъ пожеланіямъ, да испослѣтъ вамъ новыя творческія силы.

Пріѣхивъ и поздравительныя письма юбиляру прислали изъ числа писателей В. А. Амфитеатровъ, Н. Н. Карзининъ, А. С. Суворинъ, С. Н. Шубинскій и др. Поздравляя маститаго романиста, на произведеніяхъ котораго и онъ самъ въ свое время воспитывался, г. Амфитеатровъ говоритъ между прочимъ:

...Кляняюся вамъ изъ Рима земляки ваши — кубатые славине съ барельефовъ Трапной колонны. Эти философы много перевидѣли за 1800 лѣтъ своего каменнаго бытія и намѣрены еще видѣть много, много... Увидятъ они, конечно, — и хочется вѣрить, что скоро! — также и всемірное торжество свѣтлыхъ человѣческихъ правъ: братства народовъ, равенства сословій и свободы личности, за которыя мы славно боролись рѣчью и перомъ цѣлые полѣтка. Подземное кибитѣ жизни поднимается наверхъ нѣжніе пласти ея, и они становятся прекрасными, мощными горами. Воскресеніе народа есть воскресеніе народовъ. Оживутъ угнетенныя племена, забытые языки, покинутыя страны, умершія народопрательства. Близится, близится время, какъ ни тормозятъ его злыя силы, когда великороссъ, малороссъ, поляки, еврей и всѣ народы нашей родины, равные въ правахъ гражданственности, созданные сообща завоеванною свободою, будутъ дружески жить сосѣдними вольными хатами, съ вольными голосами общаго схода. И ласково поминуть въ тѣ свѣтлые дни именъ всѣхъ, кто, какъ вы, вѣлъ своихъ современниковъ къ этому дорогому идеалу. Вести было тяжело, жутко скорбно. Но — «порты воямъ!» да разбѣсть на свѣтъ такое, чего бы не боялися казакъ?!» Это молодецкія слова великаго нашего земляка повольно встаютъ въ моей памяти, когда я разсматриваю на портретѣ вашу добрую улыбку и ваши сѣдины. Ну, и великое спасибо вамъ, и исполать вамъ на бравомъ, честномъ казачествѣ!

А. С. Суворинъ тепло и задуще привѣтствовалъ своего стараго бывшего сотрудника:

Милый Данило Лукичъ!

Живъ Богъ, жива ваша душа посѣлъ такого многолѣтняго странствованія по Божьему міру. Она всегда была горячая, добрая, лѣскольцо хохлацкая, талантливая, съ тѣмъ юморомъ, который такъ чудесенъ на хохлацкомъ языкѣ. Не говорю «на малорусскомъ», потому что подъ прекраснымъ солнцемъ Украины начала расти вся Русь, а не малая только. Далъ вамъ, Боже, еще прожить на этомъ свѣтѣ, чтобы увидѣть и почувствовать, что хохлацкій языкъ сталъ такъ же свободенъ въ печати, какъ былъ онъ въ думѣ, и можетъ продолжаться и расти въ литературѣ... Я не забуду, что свой первый историческій романъ вы написали по моей просьбѣ, а другому я далъ названіе «Царь и гетманъ», что вы писали въ моей газетѣ, называясь англичаниномъ, и были очень талантливымъ и симпатичнымъ англичаниномъ, вопреки репутаціи «коварнаго Альбіона». Но все же вы были прежде всего и посѣлъ всего даровитымъ русскимъ писателемъ, знающимъ и русскую и малорусскую душу, и обѣдъ вамъ откликаться и будутъ откликаться долго и долго. Запороню же не быть, по старая свобода никогда не умираетъ, а только обновляется, и глаза ея блещутъ ярче и свѣтлѣе. Да здравствуетъ Данило Лукичъ и въ жизни и въ своихъ произведеніяхъ!

Редакторъ «Историческаго Вѣстника» адресовалъ своему старому другу и сотруднику журнала шутивое письмо, написанное въ литературномъ стилѣ XVIII вѣка.

Пріяно любезный господинъ генералъ-аншефъ отъ исторій!

Сколъ ни горю великимъ желаніемъ въ сей радостный день съ нашей любовью побесѣдовать, однакоже, удрученныи болѣзнями, не возможемъ сей чести удостоиться.

Принося вашей любви горячее, сердечное поздравленіе, желаю напредъ новую силу и всѣ небесныя, тѣлесныя, душевныя блага, дабы оными со многими иными послѣдствующими въ непремѣнномъ здравіи и благополучіи видѣть и дожить могли.

Благодарствую вамъ за вашу показанную мнѣ любовь и что вы меня въ число вашихъ пріятелей и услужниковъ почитать позволите, и желаю бы чаще имѣть случай, дабы съ вашей любви о мнѣ воспріятое мнѣніе утвердить могли.

Крѣпко любящая старца Данила, есмь и вѣчно пребывать буду вашей любви обязанныи и вѣрный секундъ-майоръ отъ исторій,

Serгіі Шубинскій.

Редакція «Биржевыхъ Вѣдомостей», «Волховскаго Листка», «Дѣтскаго Чтенія», московскій литературно-художественный кружокъ, писатели: П. П. Гнѣдичъ, Н. А. Лейкинъ, А. А. Луговой, И. Н. Потапенко, прислали привѣтственныя телеграммы, какъ равно отозвался на юбилей изъ Варшавы и ветеранъ русско-польскаго дѣла В. Д. Спасовичъ, телеграфировавшій распорядителю торжественнаго обѣда П. И. Вейнбергу:

«Передайте юбиляру Данилѣ Лукичу Мордовцеву мой поклонъ и признательность моихъ земляковъ-поляковъ ему, какъ украинцу-миролюбцу, за его прямое и неизмѣнно хорошее къ намъ расположеніе безъ всякой заваски, чтобы и безъ напоминанія о томъ, что было, но прошло, и что, слава Богу, не повторится. Его Украина и намъ, полякамъ, дорога. Да здравствуетъ все-славянскій миръ и братство».

Немало телеграммъ и письменныхъ привѣтствій въ стихахъ и прозѣ было получено отъ частныхъ знакомыхъ, пріятелей и поклонниковъ нашего романиста, какъ равно и отъ его земляковъ-украинцевъ изъ провинціи, въ томъ числѣ и отъ М. Л. Кропивницкаго, Ганны Барвінокъ и др.

Обѣдъ закончился стихотворнымъ экспромптомъ П. И. Вейнберга, провозгласившаго кличъ — «vivat Данилѣ Лукичъ».

Праздникъ маститаго старца, хотя и не отличался, въ связи съ извѣстными современными общественными событіями, особеннымъ многолюдствомъ, но былъ отмѣченъ трогательною задущею и воодушевленіемъ, гдѣ всѣ присутствовавшіе наперерывъ другъ передъ другомъ спѣшили сказать виновнику торжества ласковое слово съ выраженіемъ любви и признательности за его ко всѣмъ неизмѣнныя теплыя отношенія и за его плодотворную и разнообразную литературно-общественную дѣятельность. На память о юбилейномъ обѣдѣ всѣмъ присутствовавшимъ были розданы портреты Мордовцева съ перечнемъ всѣхъ его многочисленныхъ сочиненій, которыхъ, по подсчету его издателя П. И. Перевозникова, оказалось, написано свыше 129 удобнѣйшихъ томовъ.

Въ апрѣлѣ друзья и почитатели Данила Лукича отпраздновали его юбилей, а лѣтомъ пришло печальное извѣстіе изъ Кисловодска, что 10 юня Мордовцева не стало. Похороненъ онъ, согласно желанію, въ родномъ Ростовѣ 14 юня.

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ.

Съ Леонидомъ Егоровичемъ Оболенскимъ мнѣ приходилось довольно часто встрѣчаться, работать съ нимъ на разныхъ, преимущественно профессионально-литературныхъ поприщахъ, а потому удалось узнать и оцѣнить его, какъ писателя, человѣка и общественнаго дѣятеля. Оболенскій заслужилъ всей своей работой для русской журналистики гораздо большей признательности, чѣмъ представители ея ему воздали и передъ лицомъ его мертваго тѣла на панихидахъ, и въ часъ послѣдняго разставанья на Волковомъ кладбищѣ. Очень лишь тѣсный кружокъ признательныхъ друзей по литературѣ пришелъ 28 сентября 1906 г. проводить его въ мѣсто вѣчнаго упокоенія, и за послѣднимъ комомъ земли, брошенной въ могилу, все какъ-то похололо и печально разошлось, какъ бы чувствуя, что опущенный въ землю писатель заслужилъ гораздо большаго вниманія со стороны собратьевъ по перу, со стороны учащейся молодежи, которую онъ такъ страстно любилъ и къ которой такъ часто обращался, и со стороны широкихъ круговъ столичной интеллигенціи, гдѣ былъ популяренъ и въ жизни которой принималъ такое горячее непосредственное участіе. И мнѣ сдается, что въ этой недостаточной признательности къ писателю сказалось что-то роковое, что всегда отзывалось, на мой взглядъ, на всей дѣятельности и жизни Леонида Егоровича.

Родился Л. Е. Оболенскій въ 1845 г. въ городѣ Малоархангельскѣ Орловской губерніи въ довольно зажиточной семьѣ, представителями которой были людьми далеко незаурядными, оригинальными, но съ болѣзненными зачатками въ характерахъ и въ организмахъ. Знакомая съ его автобиографическими записками, которымъ писатель придалъ искусственную беллетристическую форму («Русская Мысль», 1903 г., кн. IV), мы теперь, когда автора ихъ нѣтъ между нами, можемъ понять, что въ его характерѣ безусловно

и очень наглядно проглядывали многія черты наслѣдственности, доставшіяся ему и по материнской и по отцовской линіи, и притомъ наслѣдственности болѣзненной: порывистость, быстрая восприимчивость, нѣкоторая экальтивированность, нервность, мнительность и подозрительность—съ одной стороны и съ другой—поэтичность натуры, музыкальность, мягкость, ласковость и частая сосредоточенность, переходящая порою въ грусть,—все эти черты явно обрисовываются въ характерахъ семейства Н-скаго, срисованныхъ писателемъ съ родныхъ дѣда, отца и матери. Уже съ дѣтскихъ лѣтъ нашего философа-публициста окружаютъ печальныя тѣни прошлаго и настоящаго, и его пытливая дѣтская мысль болѣзненно пытается слишкомъ рано заглянуть за черту того дѣтства недоступнаго, гдѣ кроются и ненормальныя отношенія между взрослыми—отцомъ и матерью, и странныя отношенія къ его больному дѣду и къ окружающей крѣпостной средѣ. Эта среда оставила въ немъ глубокий слѣдъ, и впечатлительная дѣтская душа слишкомъ рано познала все то скорбное и ужасное въ социальномъ отношеніи, что таила въ себѣ дореформенная крѣпостная Россія. Его воспоминанія объ этой дореформенной эпохѣ, относящіяся именно къ порѣ дѣтства,—передъ глазами читателей въ его воспоминаніяхъ, напечатанныхъ на страницахъ «Историческаго Вѣстника» за 1906 годъ.

Получивъ хорошую домашнюю образовательную подготовку, онъ проходитъ годы своего ученія сначала въ орловской гимназіи, а затѣмъ въ частномъ заведеніи, основанномъ и руководимомъ извѣстнымъ впоследствии педагогомъ И. О. Рашевскимъ, оставившимъ по себѣ столь добрую извѣстность въ качествѣ организатора нашей народной земской школы и выдающагося дѣятеля въ области женскаго высшаго образованія. Рашевскій имѣлъ несомнѣнное вліяніе и на развитие въ юномъ Оболенскомъ его прогрессивныхъ взглядовъ и его склонности къ литературнымъ занятіямъ, которыя ясно обнаружались въ немъ еще на школьной скамьѣ. Въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ и характеристикахъ» («Историческій Вѣстникъ», 1902 г.) Оболенскій даетъ по настоящему вопросу прямые указанія.

Съ 1862 г. Леонидъ Егоровичъ слушаетъ сначала лекціи въ с.-петербургскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи по физикѣ, химіи и физиологіи, а затѣмъ поступать въ московскій университетъ на юридическій факультетъ и тогда же получаетъ любовь къ занятіямъ философій. По прибытіи въ столицу изъ провинціи молодой слушатель университета пытается свои силы на литературномъ поприщѣ. Свое журнальное крещеніе, подобно многимъ изъ нашихъ писателей, онъ получаетъ у извѣстнаго редактора «Искры» В. С. Курочкина, а потомъ ближайшими къ нему старшими по возрасту литературными дѣятелями, которые доброжелательно протянули ему руку, были А. Плещеевъ, А. Шеллеръ, Г. Благосвѣтловъ, М. Салтыковъ, профессоръ Н. Вагнеръ. Уже одинъ перечень этихъ именъ показы-

васть, каково должно было быть литературно-общественное направление юного писателя. На его стихотворениях того периода лежит отпечаток модной тогда гражданственности, протеста и оппозиции. Здесь, очевидно, сказалось влияние автора «музы мести и печали». Позднейшие стихи Леоида Егоровича носили уже больше мягкой колорит, и в его лирике (а он был по природе скорее всего именно лирик) мы видим много задушевности, того искания «добра и красоты», которым при начал его литературной карьеры заглушались у него исключительные гражданскими мотивами. Как поэт и стихотворец, покойный писатель не оставил по себе значительного следа в литературе и не на поэтической деятельности была основана его позднейшая известность. На русском Парнасе он отмежевался себе очень скромное место, и его заслуга заключалась главным образом в том, что его поэтические произведения не звучали диссонансом с тем хором прогрессивных голосов, в котором он принимал долгое время активное участие. Выпуская свои стихотворения отдельными изданиями, сам автор так характеризовал себя, как стихотворца:

Я не трибун: мои писанья
Народ ни разу не прочтетъ
(Мѣшаетъ азбуки незнанье),
Писалъ я только для господъ.

Они одни меня читали:
Я въ нихъ старался перелить
Сознанья высшего печали,
Я ихъ училъ любить.—

Любить науку, трудъ, природу,
Родной, трудящейся народъ...
Не пѣлъ я даже про свободу:
Она иныхъ поэтовъ ждетъ.

Мечталъ я душу челомъ
Къ сознанью правды пробудить,
Вражду, царящую отъ века,
Люби сильнѣе освѣтить.

Мечталъ я въ сердце влить стремленье
Къ добру, работѣ и любви,
Чтобъ не тонули поколѣнья
Въ братоубійственной крови...

Да, эта проповедь любви к науке, к труду, проповедь любви к человечеству во имя правды была проповедью, которая последовательно проводилась им больше или меньше во всех родах его литературного творче-

ства, определяла ему этим самым место не в крайних наших партиях, стоявших под воинственными знаменами непримиримой борьбы, а в том по преимуществу культурном центре, который пока у нас так еще слаб и рѣдок, по который со временем, конечно, выдвигается с особенной силой и займет в нашей жизни почетное место, в интересах именно культурного развития нашего народа.

Если поэзия Оболенского не носила на себе отпечатка особой оригинальности и сочности ярких красок, на которых в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия уже народился столь значительный спрос, то это же можно сказать и про его беллетристику, про его повести, рассказы и романы, в которых автор опять-таки по преимуществу является проповедником все тех же культурных начал на основах мирной социальной эволюции. Его беллетристика за подписью М. И. Красова не выдвигается в разряд литературной прозы первой категории, и вряд ли новейшим поколением читателей она даже известна. Среди этих произведений, однако, надлежит отметить его роман «Два полюса», где находят себе отражение некоторые народнические тенденции, пользовавшиеся особенной популярностью в конце 70-х годов, и обрисованы передовые типы, преимущественно провинциальные, того времени.

Знакомство с провинцией было у Оболенского основательное. Увлеченный народолюбивыми идеями шестидесятых годов и под влиянием призванной к жизни земщины, он в 1866 г. с целью сближения с народом покинул столицу и поступил секретарем калужской земской управы. Но здесь он ужился недолго и вследствие недоразумения с администрацией на почве политической неблагонадежности через три месяца службы в земстве покинул место; также кратковременна и все по тем же обстоятельствам была его служба в Ву и Варнавин. В 1870 г. он переехал в Орел, занявшись здесь адвокатурой. Только в 1878 г. он получил право и возможность переселиться в Петербург, с какового времени он уже всецело посвящает себя журналистике, являясь сотрудником многих передовых столичных органов печати, их издателем-редактором и окончательно определяя свое литературное призвание, как философа-публициста, популяризатора выдающихся западно-европейских научных теорий и представителя в нашей журналистике учения о социальной эволюции.

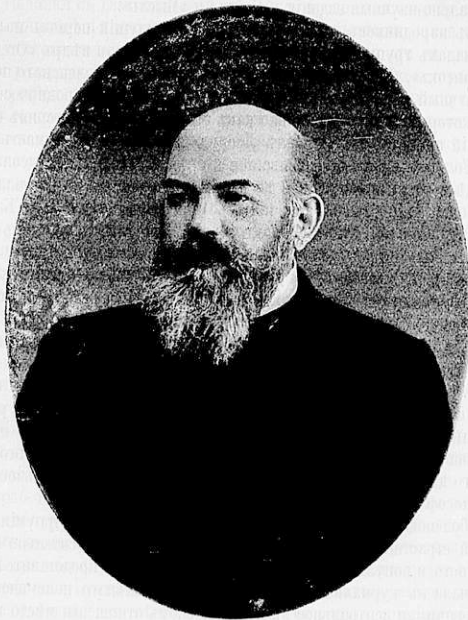
Уже из Орла Оболенский посылает в научно-литературный журнал «Свѣтъ» свои статьи по социологии и психологии, которые по заключению в них научных положений пришлось по душе редактору-издателю журнала, известному профессору Н. П. Вагнеру. Профессор-идеалист обвиняет своего молодого сотрудника, тоже ученого идеалиста, и отсюда рождается их близкая связь, ведущая к тому, что Вагнер пригла-

шает Оболенского к себѣ компаньономъ по журналу и соредакторомъ. Объ этомъ періодѣ жизни Леонидъ Егоровичъ далъ подробныя свѣдѣнія, напечатанныя въ его «Литературныхъ воспоминаніяхъ» на страницахъ «Историческаго Вѣстника» за 1902 г. Въ этихъ воспоминаніяхъ онъ, между прочимъ, такъ обрисовываетъ свои отношенія къ профессору-спириту и представителю идеалистическаго спиритуализма: «Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ нашей совместной работы уже сказались нѣкоторыя неудобства, — повѣствуетъ онъ. — Мнѣ приходилось безпрестанно ѣздить на Васильевскій островъ съ Песковъ, гдѣ я вынужденъ былъ поселиться, такъ какъ мнѣ необходимо было жить вблизи женскихъ медицинскихъ курсовъ, помѣщавшихся въ то время на Пескахъ, въ Николаевскомъ сухопутномъ госпиталѣ. Другое неудобство состояло въ томъ, что, сходясь съ почтеннымъ профессоромъ въ основныхъ нашихъ научныхъ стремленіяхъ, мы расходились въ нѣкоторыхъ деталяхъ, и хотя въ условіи нашемъ онъ обязывался не проводить въ своихъ статьяхъ этого частнаго своего воззрѣнія, а я обязывался не нападать на него, однако въ практикѣ иногда случались разногласія: то мнѣ казалось, что въ какой-нибудь статьѣ почтеннаго ученаго проглядываетъ тенденція, которую мы рѣшили устранить, то ему казалось, что въ моей статьѣ проглядываетъ явно недружелюбное отношеніе къ ней (дѣло идетъ о «спиритуализмѣ», которымъ въ то время увлекался поэтъ-профессоръ). Говоря по правдѣ, мы оба очень корректно относились къ принятымъ на себя обязательствамъ въ этомъ отношеніи, и вообще о многоуважаемомъ Николаѣ Петровичѣ я долженъ сказать, что болѣе мягкаго, гуманнаго, терпимаго и христіански-настроеннаго человѣка я никогда не встрѣчалъ ни прежде, ни потомъ. Онъ былъ вовсе не фанатикъ «спиритуализма» (или «спиритизма»), а широко и свободно-мыслящимъ человѣкомъ, который страстно возмущался тѣмъ, что общество и большинство ученыхъ отвергаютъ великіе вопросы безъ предварительнаго опытнаго изслѣдованія. Онъ видѣлъ въ этомъ недостатокъ свободы мысли, отсутствіе истинной «научности» мышленія, такъ какъ истинная наука ничего не принимаетъ безъ точнаго изслѣдованія, но ничего и не отвергаетъ, но подвергнувъ изслѣдованію.

«Помимо этого Вагнера влекла къ спиритуализму и его поэтическая натура, вдохновенно-фантастическое настроеніе его крупнаго художественнаго таланта, наконецъ, его этическое настроеніе. Онъ гораздо раньше Льва Толстого сталъ задумываться о значеніи «любви», какъ основнаго принципа жизни и морали. Онъ всюду искалъ обоснованія этого принципа, а вовсе не въ одномъ «спиритуализмѣ», какъ это казалось полуневѣжественной публикѣ и мелкимъ газетнымъ зубоскаламъ. Такъ, напримѣръ, онъ видимо увлекался и философій Шопенгауэра, у котораго этика основана также на «симпатіи», связывающей людей, благодаря единству ихъ «сущности», хотя это единство и облечено въ раздѣляющія, индивидуальныя оболочки.

«Нашъ въ началѣ и сближала больше всего эта «этика любви», которой я и посвятивъ первыя мои статьи въ «Свѣтѣ» 1879 г.»

Издательская связь между Вагнеромъ и Оболенскимъ длилась недолго; старый профессоръ уступилъ первое мѣсто своему энергическому и пло-



Леонидъ Егоровичъ Оболенскій.

довитому молодому соредактору, отойдя на второй планъ въ роли простаго сотрудника. Въ слѣдующемъ (1880) году онъ даже выхлопываетъ разрѣшеніе на изданіе новаго научно-популярнаго журнала «Мысль», который вѣстѣ съ подписчиками «Свѣта» и передаетъ цѣликомъ Оболенскому. Новый издатель энергично повелъ дѣло, сгруппировавъ вокругъ себя тѣсную

В. В. Глинскій.

литературную семью, в состав которой входили Вагнер, Баранцевич, профессор Тарханов, профессор Н. Гротъ, профессор Глазенахъ, М. Филипповъ, Португаловъ и другіе. Въ 1883 г., желая нѣсколько расширить журнальные рамки своего изданія, Оболенскій прибрѣтаетъ отъ г-жи Вязиной журналъ «Русское Богатство», которое и замѣнило собою предыдущія два специально-научныя изданія — «Свѣтъ» и «Мысль».

Органъ народниковъ, издававшійся въ предыдущій періодъ на артельныхъ началахъ группой литераторовъ, вышедшихъ изъ нѣдръ «Отечественныхъ Записокъ», «Русское Богатство» подъ редакціей Оболенскаго получило болѣе научный характеръ, хотя не лишалось и своего народническаго колорита, который только нѣсколько какъ бы потускнѣлъ, потерявъ свой политическій ароматъ. Въ журналѣ Леонида Егоровича принимаетъ участіе и Левъ Толстой, здѣсь же развивается и крѣпнѣтъ талантъ Надсона и Гаршина, здѣсь сотрудничаютъ всѣ тѣ же бывшие товарищи по журналистикѣ: Гротъ, Португаловъ, Вагнеръ, къ нимъ же присоединяются Юзовъ (Каблицъ), Цебрикова, Сергѣй Атава (Терпигоревъ), Ясинскій, профессор Н. Каръевъ, М. Гольдштейнъ; тутъ же начинаютъ свою литературную карьеру Н. Рубакинъ, І. Клейберъ, Ю. Везродина и др. Очень полезными въ научно-общественномъ отношеніи явились приложенія къ журналу, которыя завѣлъ Оболенскій, — переводы научныхъ и философскихъ сочиненій Вундта, Спенсера и др. Какъ этими переводными приложеніями, такъ и своими популярными объяснительными къ нимъ статьями Леонидъ Егоровичъ со служилъ русской читающей публикѣ безусловно добрую службу. Онъ бросилъ въ сознание общества немало научно-культурныхъ понятій, раскрылъ передъ нимъ новыя области европейской мысли, популяризируя эти мысли и обогащая ими содержаніе русской повседневной жизни. Въ этомъ отношеніи его дѣятельность на пользу читателей сходна съ дѣятельностью другого философа-публициста, Н. К. Михайловскаго.

У Оболенскаго, конечно, не было блеска таланта, остроумія и политической страстности послѣдняго — отсюда и его относительно меньшая извѣстность и популярность. Кромѣ того, не будучи представителемъ боевого начала въ журналистикѣ, лишенный специального полемическаго таланта и занимаая центральное въ политическомъ отношеніи мѣсто въ нашей общественности, онъ не могъ имѣть громкаго успѣха въ широкихъ кругахъ читателей и оставался какъ бы на второмъ мѣстѣ въ журналистикѣ, заслоненный публицистомъ-соціологомъ, гордо и съ громкимъ успѣхомъ шествовавшимъ подъ обаятельнымъ для массы знаменемъ, на коемъ ярко значились слова: не эволюція, а революція!

Мнѣ кажется, что Оболенскій, будучи отъ природы человѣкомъ очень самолюбивымъ, какъ бы чувствовалъ и понималъ несоотвѣтствіе между своею громадною и напряженною литературною работою и тѣмъ успѣхомъ, кото-

рый ей сопутствовалъ; отсюда его какъ бы нѣкоторая общественная уязвленность и неудовлетворенность. Она его нѣсколько раздражала и озлобляла. Къ тому же онъ не былъ баловнемъ судьбы, каковымъ былъ, несомнѣнно, напримеръ, все тотъ же Н. К. Михайловскій: жизнь давалась ему не такъ легко, и добрыя феи не усыпали старательно его пути розами успѣха и удачи. Начиная съ гимназической скамейки, продолжая службу на практическомъ поприщѣ и кончая литературными издательствами, на его жизненной дорогѣ постоянно встрѣчались неудачи, приводившія его къ разочарованіямъ и разгрому того, что имъ предпринималось съ такою страстною вѣрою въ успѣхъ задуманнаго. Такъ, несмотря на поддержку «Русскаго Богатства» со стороны Л. Толстого и другихъ литераторовъ, журналъ Оболенскаго не получилъ большого распространенія въ публикѣ, и черезъ шесть лѣтъ отчаянной борьбы съ безденежьемъ и отсутствіемъ необходимой подписки издатель вынужденъ былъ передать свое предпріятіе въ другія руки. Съ 1891 г. журналъ перешелъ сначала къ В. Гаршину и С. Кривенку, а потомъ въ распоряженіе Н. К. Михайловскаго и его группы. Съ этого времени Оболенскій остается безъ собственнаго литературнаго угла и обращается въ тотъ журнальный батрака, который ради куска хлѣба мыкается по разнымъ хозяйствамъ, стоявшимъ сплошь и рядомъ много ниже его и по своему умственному развитію, по своимъ литературнымъ запросамъ и своему общественному и политическому кругозору.

Леонидъ Егоровичъ, несмотря на сильно бившую въ него общественную жилку, не былъ настоящимъ газетнымъ работникомъ; въ немъ отсутствовала легкость газетнаго слова, въ немъ не было эластичности газетной фразы. Къ тому же и его литературный арсеналъ былъ слишкомъ тяжеловѣсенъ и громоздокъ для газетнаго дѣла, а вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельства жизни складались такъ, что именно въ газетахъ и сосредоточилась его дальнѣйшая работа. Это въ значительной степени размѣнивало, какъ говорилъ, значеніе его трудовъ и ослабляло его научныя силы. Притомъ онъ не встрѣчалъ здѣсь соотвѣтствующаго ему подбора товарищей по работѣ и чувствовалъ себя какъ бы случайнымъ гостемъ на шумномъ и подчасъ легкомысленномъ журфиксѣ. Правда, были моменты, когда казалось, что онъ снова занимаетъ подобающее ему мѣсто и выступаетъ на долгую совмѣстную работу въ союзъ съ былыми единомышленниками по «Русскому Богатству» — это было, когда С. Н. Кривенко основалъ журналъ «Новое Слово» подъ издательствомъ О. Н. Поповой, а также, когда все тотъ же Кривенко совмѣстно съ К. Станюковичемъ принялъ въ свое завѣдываніе и руководство добродѣевскій «Сынъ Отечества». Тутъ Оболенскому были отведены подходящіе отдѣлы, и онъ могъ хоть душою и мыслью отдохнуть на работѣ по своему личному выбору и бокомъ о бокомъ съ близкими по убѣжденіямъ лицами. Но эти моменты были краткосрочны, и не по винѣ Леонида Егоровича. Изда-

тельские замыслы разбивались злою волею судеб, и из всех начинаний подобравшие литературной группы не выходило ничего обстоятельного и существенного.

А старость и сопутствующая ей болѣзнь надвигались. Про черный день ничего не было припасено, и философу-публицисту снова приходилось бѣгать по редакціямъ и искать хоть какой-нибудь работы. Въ 1905 г. его положеніе было настолько серьезно, что какъ-то при встрѣчѣ со мною Оболенскій настойчиво просилъ меня, зная мое личное знакомство съ однимъ издательемъ, вокругъ котораго создался либеральный успѣхъ дня, переговорить съ нимъ о предоставленіи ему постоянной и обезпеченной работы; иначе ему грозилъ настоящій «черный день». Мои переговоры успѣха не имѣли, но какъ разъ въ это же время ему представилась необходимая работа въ провинціи, гарантировавшая нужный кусокъ хлѣба: онъ получить мѣсто редактора «Придѣлѣвскаго Края» въ Екатеринославѣ. Это мѣсто дало ему нужный заработокъ, но безусловно съ ятимъ же мѣстомъ и въ непосредственной связи оказались и его послѣдніе дни. Изъ напечатаннаго въ 1906 году его очерка въ «Историческомъ Вѣстникѣ» «Что я пережилъ въ провинціи въ дни смуты», видно, какіе дѣйствительно черные дни и часы пришлось испытать редактору газеты. Въ своемъ провинціальномъ редакціонномъ кабинетѣ, безъ семьи около себя, безъ близкихъ друзей и знакомыхъ, онъ постарѣлъ на много лѣтъ и приблизился быстрымъ шагомъ къ той могилѣ, которая разверзлась передъ нимъ на Волковомъ кладбищѣ... А когда миновали кровавые дни смуты, Оболенскій очутился между общественнымъ молотомъ и редакціонной наковальней. Напоръ молодыхъ и буйныхъ силъ въ газетной редакціи и со стороны требовательной улицы за стѣнами этой редакціи, во-первыхъ, личные убѣжденія примирительнаго характера и реальная газетная полезность и необходимость, во-вторыхъ, — создали бѣдному философу-редактору невыносимое положеніе. Онъ попалъ въ заколдованный кругъ противорѣчій, гдѣ нужному примиренію не было мѣста. Пришлось отступить, отказаться отъ редактированія газеты и принять заботливое предложеніе издателя перейти на роль почетнаго сотрудника, посылающаго свои литературныя работы изъ далекой столицы. Въ сентябрѣ Оболенскій былъ уже въ Петербургѣ, хотя и съ нѣкоторымъ разочарованіемъ въ душѣ отъ всего пережитаго въ послѣдній годъ, но съ новой надеждой на будущее. У него въ рукахъ было разрѣшеніе на изданіе журнала «Прогрессъ», гдѣ онъ, какъ нѣкогда въ былые годы, снова собирался выступить передъ публикою подъ знаменемъ науки и съ проповѣдью на устахъ любви, мира, добра. Журналъ долженъ былъ начать выходить, кажется, съ новаго года, но судьбѣ угодно было другое. Мечта мгновенно погасла, и вѣчная непробудная ночь затмила его очи... Оболенскаго не стало.

Приводить здѣсь полный литературно-послужной списокъ скончавшагося философа-публициста не представляется возможнымъ. Имъ было написано на своемъ относительно недолгомъ вѣку очень много. Не считая газетныхъ работъ, большая часть его статей помѣщалась, кромѣ собственныхъ изданій, на страницахъ «Новаго Слова», «Русской Мысли» и др.; «Историческій Вѣстникъ» помѣстилъ его любопытныя автобіографическія воспоминанія, послѣдняя часть которыхъ увидѣла свѣтъ, когда автора уже не было въ живыхъ. Трудно было бы свѣдать сводъ всему философско-соціальному міровоззрѣнію Леонида Егоровича, но дабы восполнить хоть нѣкоторый въ этомъ отношеніи пробѣлъ, приведу лишь формулировку его философскаго символа вѣры, какъ его излагаетъ нашъ историкъ русской философіи, Я. Н. Колубовскій, въ своемъ переводѣ книги Ибервега-Гейнце¹⁾. «Оболенскій, — говоритъ г. Колубовскій, — находится подъ рѣшительнымъ влияніемъ англійской философіи. Это влияніе замѣтно даже тамъ, гдѣ Оболенскому приходится не соглашаться съ ея выводами. Оболенскаго особенно занимаютъ вопросы этики. Она воздвигается на психологической основѣ. Первичныя чувствованія боли путемъ сознательнаго и безсознательнаго опыта осложняются и даютъ позднѣйшія чувствованія. Въ боли, какъ состояніи непріятномъ, мы уже имѣемъ волю. Желанія относятся къ группѣ волевыхъ чувствованій. Они являются основой опытной нравственности. Кромѣ того, есть еще альтруистическая мораль, вытекающая изъ первичнаго свойства органической матеріи — получать при одинаковыхъ условіяхъ однородныя субъективныя состоянія. Это раздѣленіе чувствованій кладется и въ основу ученія о прогрессѣ. На чувствованіяхъ, происшедшихъ путемъ эволюціи, строятся объективныя условія блага, а первичный альтруизмъ создаетъ чисто субъективныя условія блага. При субъективныхъ условіяхъ стимулъ — непосредственная жалость къ другому, вложенная въ органическое вещество и растущая съ ростомъ сознанія о субъективномъ сходствѣ съ другими. Внеопытный альтруизмъ подчиняетъ себя опытной морали. Онъ одинъ только и можетъ быть критеріемъ поведенія.

«Первичный альтруизмъ — то единое, что ведетъ постоянную борьбу съ признаками индивидуальности, это сущность, единая у всехъ, но сущность не въ метафизическомъ смыслѣ, а только ея проявленіе для насъ въ нашемъ состояніи индивидуализаціи. Всѣ чувствованія имѣютъ генетическимъ центромъ я, только симпатія — голосъ того общаго и единого, которое временно приняло оболочку индивидуальности. Значитъ, эту любовь и жалость мы можемъ считать закономъ, неоспоримымъ требованіемъ и свойствомъ

¹⁾ Ибервег-Гейнце. *Исторія новой философіи*. Изд. 1890 г., гдѣ имѣется и самостоятельная глава, написанная переподчинкомъ — «Философія у русскихъ».

мировой сущности, нумена, Бога. Въ субъективных явленіяхъ мы имѣемъ свойство сущности, непосредственно являющейся намъ, въ объективномъ—только символизацию той же невѣдомой сущности. Философія должна давать намъ цѣльное представленіе о мірѣ, или должна охватывать и область чувствъ, и сущность міра, должна быть панфилософіей, если хочетъ служить жизни. Матеріализмъ и позитивизмъ не удовлетворяютъ этому требованію. Они не могутъ непосредственно служить жизни, ибо даютъ одинъ элементъ міра, его скелетъ вмѣсто цѣлаго.

«Человѣкъ можетъ порождать въ себѣ хотѣнія и желанія, которыхъ нѣтъ, но которыя путемъ знанія онъ считаетъ нужными и полезными. Воля безъ мотивовъ не только не свободна, а просто ничто, или не воля, а судорога спинного мозга. Сознательная воля всегда мотивирована, и тѣмъ выше и разумнѣе мотивы, тѣмъ они свободнѣе, т. е. независимѣе отъ всего, кромѣ чистыхъ требованій разума и первичнаго альтруизма».

Въ качествѣ самостоятельнаго переводчика и редактора переводовъ ученыхъ трудовъ Оболенскій познакомилъ русскихъ читателей съ такими выдающимися иностранными авторами, каковы—Фулье, Сѣлли, Кирхманъ, Маусли, Тардъ, Гейдингъ и др.

Отзывчивый въ своихъ статьяхъ на волновавшіе общество вопросы, Оболенскій активно и горячо откликался и на всѣ начинанія общественнаго характера, имѣвшія мѣсто въ специально писательской средѣ. Такъ, онъ принималъ ближайшее участіе въ извѣстныхъ «литературныхъ объѣдахъ» семидесятыхъ годовъ, въ Пушкинскомъ кружкѣ, гдѣ одно время былъ товарищемъ предсѣдателя; самымъ живымъ образомъ содѣйствовалъ основанію «союза писателей» (этотъ «союзъ» именно Леониду Второвичу обязанъ своимъ возникновеніемъ), былъ дѣятельнымъ членомъ кассы взаимопомощи писателямъ, гдѣ его неизмѣнно выбирали членомъ почти всѣхъ комиссій до послѣдняго времени, членомъ правленія и предсѣдателемъ общихъ собраній. Писатели цѣнили въ немъ его первую отзывчивость, охотно прощали ему порою его неровность въ отношеніяхъ, зная, что источникомъ ихъ является его болѣзненная порывистость и экзальтированность, и, приступая къ какому-нибудь начинанію, всегда спѣшили привлечь сюда философа-собрата по перу. Жизнь его такимъ образомъ протекала въ самой тѣсной связи съ физическимъ и духовнымъ міромъ русской журналистики, которой онъ до гробовой доски оставался преданнымъ, выдающимся и полезнымъ представителемъ. Мгновенная смерть застигла его за письменнымъ столомъ съ не успѣвшимъ обсохнуть перомъ въ рукахъ. Начатая журнальная фраза оказалась не дописанною; литературная мысль оборвалась, а съ нею оборвалась и жизнь...

В. П. ОСТРОГОРСКІЙ.

Я былъ знакомъ съ Викторомъ Петровичемъ Острогорскимъ съ середины восьмидесятыхъ годовъ, въ теченіе какового времени жизнь насъ сводила порою очень тѣсно, порою снова разводила, причемъ это раздѣленіе вызывалось не какими-нибудь разногласіями, раздорами и столкновеніями, а просто такъ себѣ, безъ всякой основательной причины, какъ это часто наблюдается въ большомъ столичномъ городѣ между знакомыми, работающими и дѣйствующими на разныхъ поприщахъ; но когда судьба насъ снова сводила, Викторъ Петровичъ попрежнему тепло и ласково меня встрѣчалъ, порою жура словомъ старшаго и любящаго товарища за сдѣланные мною какіе-нибудь промахи и погрѣшности, порою одобряя за то, что ему приходилось по уму и сердцу изъ моей литературной и общественной дѣятельности. Ученикомъ его въ прямомъ смыслѣ этого слова я не былъ, какъ ровно не былъ и его интимнымъ другомъ, другомъ на «ты», каковыхъ у него, безъ достаточнаго даже для того основанія, какъ и у Михайлова-Щеллера, было множество, по все же я всегда испытывалъ къ себѣ дружеское его расположеніе, какъ ровно неизмѣнно, до послѣднихъ дней его жизни, глубоко любилъ и почиталъ этого прекраснаго человѣка и достойнаго общественнаго дѣятеля. Вотъ почему въ моей памяти сохранилось немало личныхъ впечатлѣній о покойномъ, которыя и должны нѣсколько оживить предлагаемый ниже его біографическій матеріалъ.

Викторъ Петровичъ родился въ 1840 году, и дѣтство его протекло при печальныхъ и достаточно ненормальныхъ условіяхъ домашней обстановки, о чемъ до извѣстной степени свидѣлствуютъ и его въ высшей степени интересныя автобіографическія записки «Изъ исторіи моего учительства», и о

чемъ мнѣ лично неоднократно приходилось отъ него самого слышать въ откровенной бесѣдѣ. Отецъ его былъ человѣкъ недюжинный, но чрезвычайно неуравновѣшенный и не безъ странностей, жизнь котораго проходила далеко не равно. Будучи офицеромъ и служа въ Финляндіи, онъ, противъ воли родственниковъ, женился на красавицѣ шведкѣ, выдающейся пѣвицѣ и прекрасной женщинѣ. Отъ этого брака родилось нѣсколько дѣтей, но всѣ они перемерли въ раннемъ возрастѣ; выжилъ только младшій—Викторъ, будущій извѣстный педагогъ и писатель. Не поддержанные въ матеріальныхъ средствахъ родными, Острогорскіе испытывали немалую нужду, почему отецъ Виктора Петровича рано покинулъ невыгодную офицерскую службу и занялся какими-то рискованными торгово-промышленными дѣлами, которыя то приносили ему значительныя средства жизни, то повергали въ нужду и бѣдность. Когда Викторѣу Петровичу минуло всего три года, его мать скончалась, и онъ остался на попеченіи нѣзимо любившей его нянюшки-нѣмки, старой дѣвы, дочери ревельскаго кистера, строго религіозной, страстной поклонницы Шиллера, котораго она знала, какъ и евангеліе, чуть не наизусть. Когда у отца дѣла шли хорошо, онъ баловалъ и нѣжилъ своего сына; когда они снова приходили въ упадокъ, онъ чуть ли не покидалъ свой домъ, то пропадавъ куда-то, то удивляя знакомыхъ и родственниковъ страннымъ выборомъ жизненнаго пути. Такъ, между прочимъ, о чемъ мнѣ лично передавалъ покойный Викторъ Петровичъ, еще одно время, и, кажется, довольно долгое, числился послушникомъ Александро-Невскаго монастыря и чуть ли не въ этомъ званіи и окончилъ жизнь самоубійствомъ. Дѣло, по словамъ Острогорскаго, происходило такъ. Сославшись какъ-то, будучи дома, на нездоровье, отецъ послалъ его за какимъ-то лекарствомъ въ аптеку, а когда это лекарство было доставлено, онъ удалилъ сына изъ квартиры, предложивъ ему прогуляться. По возвращеніи съ прогулки мальчикъ нашелъ лишь бездыханный трупъ родителя, отравившагося именно тѣмъ лекарствомъ, которое ему незадолго передъ тѣмъ было принесено синомомъ. Нечего, конечно, говорить, какую страшную драму пришлось пережить дѣвятинадцатилѣтнему мальчику, и какъ она тяжело отозвалась на его первомъ и хрупкомъ организмѣ. Викторъ Петровичъ, по понятнымъ причинамъ, не любилъ останавливаться на этомъ моментѣ своей жизни и меньше всего былъ склоненъ, конечно, винить своего несчастнаго родителя въ роковой и драматической развязкѣ. Напротивъ, онъ навсегда сохранилъ самыя лучшія воспоминанія объ отцѣ и въ своихъ автобіографическихъ запискахъ признавалъ, что именно ему онъ обязанъ, вмѣстѣ съ няней, первыми прочными основами образованія.

У своей воспитательницы мальчикъ выучился свободно говорить по-нѣмецки, читать и писать, кажется, даже раньше, чѣмъ по-русски, у нея же онъ выучилъ множество нѣмецкихъ стихотвореній, особенно Шиллера,

нѣсколько нѣмецкихъ молитвъ и отрывковъ изъ евангелій. Эта ранняя закладка нѣмецкой образованности послужила добрую службу въ педагогической и литературной дѣятельности Острогорскаго. На его работахъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ основѣ ихъ, ясно видно влияние германскаго гения, и я даже склоненъ видѣть это влияние и въ той восторженности, которую покойный педагогъ-литераторъ всегда отличался при жизни. Страстный поклонникъ Шиллера, часто даже помимо личной воли, выступалъ въ немъ и въ его бесѣдахъ, и въ застольныхъ рѣчахъ, и въ тѣхъ порывахъ къ поэзій, къ которой онъ постоянно чувствовалъ влеченіе.

Обращаясь къ влиянію на него отца и къ своимъ познаніямъ въ отечественной грамотѣ и словесности, онъ вотъ что говорить въ своихъ запискахъ: «Какъ и когда выучился я читать и писать по-русски, не помню. Помню только, что читалъ я и списывалъ съ книги уже по шестому году, и почти ежедневно, по приказанію отца, долженъ былъ выучивать по баснѣ Крылова или небольшому стихотворенію. Отецъ, прекрасно читавшій, или, какъ тогда говорили, декламировавшій, обращалъ особое вниманіе на мое выразительное произношеніе и всегда спрашивалъ выученное самъ, не оставляя меня въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока я, по его мнѣнію, не выучивался говорить порядочно. А чтобы я привыкъ къ хорошему чтенію, онъ очень часто читалъ мнѣ вслухъ и стихи, и прозу, рассказывалъ священную, русскую и всеобщую исторію, выслушанное заставлялъ меня рассказывать и о прочтенномъ со мной толковалъ. Эти чтенія, рассказы и бесѣды имѣли на меня, ребенка, огромное влияніе. Они незамѣтно обогатили меня словами и выраженіями, пристрастили къ чтенію (книгъ у него было множество,—была даже особая, моя собственная бібліотека изъ лучшихъ тогдашнихъ дѣтскихъ книгъ, но ихъ я читалъ мало, предпочитая книги для взрослыхъ, и зналъ наизусть цѣлую массу стиховъ и басенъ) и сдѣлали то, что въ восьми-девять лѣтъ я свободно рассказывалъ прочитанное, нерѣдко самъ придумывалъ новые рассказы, и какъ-то безъ всякихъ грамматикъ или особыхъ упражненій (я только много списывалъ съ прописей и книгъ, внося въ особую тетрадь все, что мнѣ особенно нравилось) писать почти совсѣмъ правильно, и десяти лѣтъ даже сочинилъ повѣсть «Цымбалда» и драму въ двухъ дѣйствіяхъ «Похищенное дитя». Какъ ни странно для маленькаго мальчика, по, конечно, подъ влияніемъ отца и отчасти няни, могу сказать, что еще до поступленія въ гимназію уже страстно любилъ литературу и благоговѣлъ передъ именами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя и другихъ, даже Ломоносова и Державина, слыша отъ отца объ этихъ писателяхъ множество рассказовъ. Эту страсть онъ во мнѣ поддерживалъ и, съ улыбкой смотря на мои упражненія въ прозѣ и даже въ стихахъ, говорилъ: «Ужъ не знаю, что изъ тебя выйдетъ, а только, кажется, коли не писатель, то профессоръ или учитель русской словесности». Эти слова я

запомнил хорошо, и мысль о писательствѣ и учительствѣ не покидала меня во все время моего образованія.

Приведенный автобіографическій отрывокъ чрезвычайно любопытенъ и важенъ для уразумѣнія послѣдующей жизненной дѣятельности Острогорскаго. Мы видимъ, что еще въ отчѣмъ домѣ, на зарѣ юности, въ немъ опредѣленно сказываются склонности и основы жизненнаго поприща, которые впоследствии дали пышный расцвѣтъ. Даже болѣе, многое изъ того, что было до извѣстной степени безсознательно (по крайней мѣрѣ, не въ видѣ системы, основанной на какомъ-нибудь теоретическомъ построеніи) положено его отцомъ въ основу ранняго образованія сына, получаетъ въ зрѣлыхъ трудахъ и педагогическихъ задачахъ послѣдняго вполне сознательную обработку и выливается въ видѣ опредѣленной доктрины и ученія. Я разумѣю въ данномъ случаѣ его ученіе о выразительномъ чтеніи, которому онъ посвятилъ особое пособіе, и которое составляло непременную часть его учительства и предметъ извѣстныхъ публичныхъ лекцій. Такимъ образомъ, мы наблюдаемъ въ Викторѣ Петровичѣ, уже до десятилѣтняго возраста, главные черты его характеристики, какъ общественнаго дѣятеля. Онъ уже тогда проявляетъ склонность къ писательству, къ учительству, въ немъ сказывается ранняя восторженность, экспансивность и предклоненіе передъ творцами русской и иностранной литературы, которыхъ онъ такъ много впоследствии популяризировалъ въ своихъ многочисленныхъ литературныхъ работахъ и истолковывалъ на урокахъ и лекціяхъ. Поэтому можно съ увѣренностью сказать, что нѣкоторые черты наслѣдственности, музыкальность и живость, и результаты ранняго педагогическаго внушенія сказывались въ его характерѣ очень сильно и опредѣленно, что всегда придавало этому характеру большую устойчивость, цѣльность и опредѣленность. Личная работа надъ самимъ собою, извѣстное самовнушеніе, а также воздѣйствіе школы и среды, въ которую онъ попалъ впоследствии, дополнили и развили эти черты и окончательно оформили весь характеръ и опредѣлили жизненное призваніе.

Дѣтство маленькаго Острогорскаго протекало невесело; отсутствіе товарищей было полное, и только няня да прислуга были тѣмъ обществомъ, съ коимъ онъ дѣлился впечатлѣніями и мыслями. Почувствовавъ рано литературное призваніе, онъ въ этомъ обществѣ впервые и проявлялъ его, устраивалъ здѣсь литературные вечера, читалъ имъ какъ свои собственныя, такъ и чужія произведенія пера.

На одиннадцатомъ году жизни отецъ опредѣлилъ его въ первую гимназію прямо во второй классъ; но здѣсь, въ этомъ учебномъ заведеніи, онъ пробылъ всего одинъ годъ, ибо со смертію отца некому было за него платить и тѣмъ болѣе, что первая гимназія въ то время была до извѣстной степени

дорогою аристократическою учебною колыбелью, откуда воспитанниковъ изъ платнаго класса переводили прямо въ лицей. Самоубійство отца, повидимому, неблагоприятно отразилось на отношеніяхъ начальства къ маленькому Острогорскому, и онъ по личному доброму распоряженію попечителя Мусина-Пушкина былъ переведенъ въ дешевую тогда по платѣ третью гимназію, гдѣ было много казеннокоштныхъ, болѣею частью круглыхъ сиротъ или вообще дѣтей безотѣчныхъ бѣдныхъ чиновниковъ, счастливыхъ уже тѣмъ, что дѣти ихъ, такъ или иначе, все же пристроены. Эта гимназія въ тѣ времена (да, пожалуй, и много позднѣе) отличалась очень плохимъ содержаніемъ, грубымъ обращеніемъ съ учениками и жестокими правами интѣриата, напоминавшими припоматную бурсу Помяловскаго.

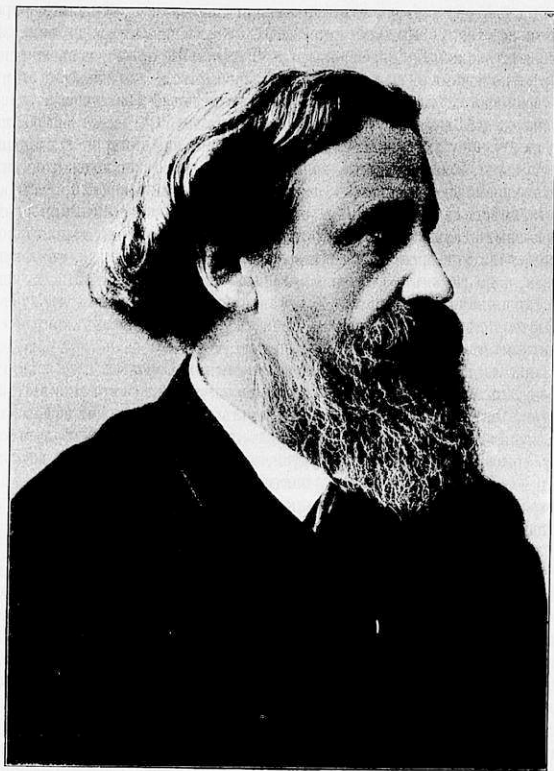
Острогорскій даетъ въ своей книгѣ «Изъ исторіи моего учительства» очень живыя воспоминанія объ этомъ учебномъ заведеніи, гдѣ, отмѣчая многое дурное и неудачное въ строѣ тамошней ученической жизни, находитъ тѣмъ не менѣе нѣсколько словъ теплой признательности къ гимназии, которая его, осиротѣлаго и одинокаго, пригрѣла и поставила на ноги. Здѣсь заслуживаетъ особеннаго вниманія то, что онъ говоритъ о Стоюнигѣ, его влияніи на учениковъ вообще и на него, Острогорскаго, въ частности. «Съ августа 1853 года, когда я перешагнулъ изъ третьяго класса въ четвертый, отнесенный въ гимназіи уже къ старшимъ классамъ, даже занимавшимся особою большую камеру, начинается для меня новый періодъ, такъ сказать, моего литературнаго гимназическаго образованія, — повѣствуетъ онъ. — Этотъ періодъ, продолжавшійся до университета пять лѣтъ (въ пятомъ классѣ сидѣлъ я изъ-за не давшейся мнѣ математики два года), тѣсно связанъ для меня съ незабвенной личностью покойнаго Владимира Яковлевича Стоюнина, преподававшего во всѣхъ старшихъ классахъ русскій языкъ и все время состоявшаго секретаремъ педагогическаго совѣта, на который имѣлъ онъ большое влияніе, и гдѣ всѣкое и умное его слово было авторитетомъ. Изъ всего тогдашняго педагогическаго персонала за все шестилѣтнее мое пребываніе въ третей гимназіи, насколько представляется оно теперь въ моемъ воображеніи, прямо долженъ сказать, что, на мой личный взглядъ, этотъ человѣкъ только и былъ у насъ одинъ настоящимъ серьезнымъ педагогомъ, любившимъ свое дѣло и сознательно стремившимся подѣйствовать на насъ, юношей, своимъ преподаваніемъ и отношеніемъ къ намъ не только образовательно, но и воспитательно. Его свѣтлая личность окончательно рѣшила мое педагогическое и литературное призваніе, и во всю мою педагогическую дѣятельность по настоящее время служитъ мнѣ идеаломъ учителя и человѣка».

Три главныхъ особенности отмѣчаетъ Острогорскій въ знаменитомъ русскомъ педагогѣ: во-первыхъ, большая нравственная сила, поддерживавшая въ немъ собственное достоинство человѣка и побуждавшая учениковъ

уважать его личность; во-вторых, действительная и серьезная образованность, соединенная съ культурностью, проявлявшаяся въ его обращеніи, манерахъ и тактѣ, и, наконецъ, способы методики его преподаваніе. Стоюнинъ, его уроки русскаго языка и словесности, его педагогическія идеи и заветы являются до извѣстной степени кардинальнымъ мѣстомъ въ жизни и характеристикѣ покойнаго Виктора Петровича; имъ и его идеями опредѣлилась жизненная карьера послѣдняго, имъ и его идеями во многихъ и многихъ отношеніяхъ питалась вся его педагогическая дѣятельность, какъ учителя русскаго словесности и популяризатора отечественныхъ классиковъ, съ точки зрѣнія ихъ воспитательнаго значенія въ классномъ и въ-классномъ обученіи, каковому вопросу впоследствии онъ посвятилъ рядъ статей въ журналахъ и отдѣльно вышедшихъ работъ.

Изъ всѣхъ извѣстныхъ мѣстъ дѣятелей русской педагогикѣ, и въ особенности въ области обученія и изученія русскаго словесности, Острогорскій наиболее полно въ практическомъ примѣненіи и теоретическомъ развитіи воспринялъ и осуществилъ педагогическія идеи Стоюнина, почему и является въ нашей школьной жизни наиболее виднымъ и полезнымъ ученикомъ и ближайшимъ замѣстителемъ послѣдняго. Я вовсе не хочу этимъ сказать, что покойный писатель-учитель былъ лишь коней оригинала и эхомъ чужого громкаго и властнаго голоса, далеко лѣтъ: у Острогорскаго было много своего личнаго, индивидуальнаго, чего не было у его учителя. Я отмѣчаю лишь ближайшую преемственность педагогическихъ идей и задачу обоихъ общественныхъ дѣятелей,—идей, вышедшихъ изъ широкаго потока обновленной русскаго жизни шестидесятихъ годовъ, причемъ одинъ изъ нихъ—Стоюнинъ—является непосредственнымъ участникомъ этого обновленія, по крайней мѣрѣ въ области школьнаго дѣла, а другой—Острогорскій—продолжателемъ и истолкователемъ перваго въ примѣненіи къ разнымъ деталямъ этого дѣла, къ требованіямъ дальнѣйшаго времени и къ позднѣйшимъ общественнымъ настроеніямъ.

Обращаясь къ гимназическимъ годамъ Острогорскаго, мы видимъ, что уроки Стоюнина и личное вліяніе послѣдняго опредѣлили его жизненное призваніе. Тогда же онъ, подъ руководствомъ и по указаніямъ своего наставника, обращается и къ серьезнымъ литературнымъ работамъ, изъ коихъ одна, о Велевитиновѣ, была даже прочитана на публичномъ актѣ и была поощрена громкими аплодисментами товарищей, наставниковъ и публики. Послѣдній годъ своего пребыванія въ гимназіи Острогорскій принесть уже въ соприкосновеніе съ общественными теченіями русскаго жизни: «Всѣобщее пробужденіе Россіи къ новой жизни нахнуло свѣжимъ воздухомъ и на нашу гимназію,—повѣствуетъ онъ все въ тѣхъ же воспоминаніяхъ.—Поступило нѣсколько молодыхъ преподавателей, заговорившихъ совсѣмъ новыми языкомъ, даже старые какъ-то подтянулись и стали менѣе педантичны и при-



Викторъ Петровичъ Острогорскій.

дирчивы. Порки не было уже и въ поминѣ, и даже въ маленькихъ классахъ прекратились воспитательскіе, а то и преподавательскіе, щипки и колотушки, и всѣмъ ученикамъ, невзирая на возрастъ, стали говорить—«вы». Приходя послѣ праздниковъ въ гимназію, ученики приносили изъ дому

вороха новостей, слухов о реформах, предположений, мечтаний, вопросов—и все таких живых, интересных; стали появляться в гимназии книжки журналов—«Современник» и «Русский Вестник», и в старшей камеръ и по ночамъ в спальнѣ пошли нескончаемые дебаты обо всемъ этомъ, а у учениковъ седьмого класса разговоры о будущей дѣятельности и, особенно съ ней, выборъ факультета. Но, кажется, болѣе всего способствовали въ эту пору умственному нашему оживленію наши старшіе товарищи, уже студенты, большую частью наши пѣвчіе, свободно поѣщавшіе во вѣкъ-классное время свою alma mater, нерѣдко обѣдавшие и пившіе чай, по старой памяти, вмѣстѣ съ нами и принимавшіе участіе въ многочисленныхъ свѣткахъ и церковныхъ службахъ. Они помогали намъ готовить уроки, носили книги и передавали университетскія и городскія новости... Не по днямъ, можно сказать, а по часамъ росла наша гимназическая молодежь, такъ недавно еще дѣтски-наивная и ничего, кромѣ гимназическихъ стѣнъ и скучной учебы, не видѣвшая, почти ничего, кромѣ нѣкоторыхъ русскихъ писателей, не читавшая...

Написавъ на выпускномъ экзаменѣ сочиненіе «О пользѣ чтенія книгъ» и прочитавъ на торжественномъ актѣ прощальную рѣчь со стихами къ товарищамъ, Острогорскій въ 1858 году кончилъ курсъ своего гимназическаго образованія и безъ экзамена поступилъ на филологическій факультетъ петербургскаго университета, будучи, хотя и плохо, по собственному сознанию, подготовленъ къ воспріимчивости университетской науки, но зато окрыленъ самыми розовыми и пылкими надеждами и горячею вѣрою въ заманчивость и силу этой науки.

Изъ числа университетскихъ профессоровъ особенное вліяніе на Виктора Петровича имѣли Срезневскій, Благовѣщенскій, Стасюлевичъ, Костомаровъ, Пышнинъ и Никитенко, изъ коихъ Срезневскій своимъ проницательнымъ умомъ рѣшительно опредѣлилъ, что Острогорскому, несмотря на его способности и хорошія занятія, ученая карьера не по плечу. Такъ, когда молодой студентъ представилъ ему свою диссертацию на степень кандидата—«Семья, какъ нравственная единица, и хозяйство по Домострою», профессоръ, хотя ее и вполне одобрилъ, но замѣтилъ, что она скорѣе напоминаетъ журнальную статью, чѣмъ ученую диссертацию. «Я смутился,—повѣствуетъ объ этомъ эпизодъ Острогорскій,—и спросилъ, какіе же въ ней научные недостатки. Измаилъ Ивановичъ улыбнулся и уклончиво отвѣчалъ: «Какъ вамъ сказать?—все вѣрно, и факты подобраны и освѣщены, работали много... Я прервалъ его: «Вы хотите сказать, Измаилъ Ивановичъ, мало ученаго баланса, слишкомъ популярно по формѣ и рѣзко по выводамъ? Онъ засмѣялся своимъ всегдашнимъ, нѣсколько ироническимъ смѣхомъ и сказалъ: «Ну, да, вы

скорѣе литераторъ, журналистъ, но не ученый». Профессоръ былъ правъ,—добавляетъ Острогорскій:—ученымъ, въ самомъ дѣлѣ, я и не сдѣлался.

Немалымъ былъ обязанъ молодой студентъ и Никитенку, и въ особенности одною стороною своего характера, которая во всю его жизнь была въ немъ первенствующею, это именно сильнымъ развитіемъ эстетическаго чувства. Александръ Васильевичъ, не наслушавъ убѣждений, направленія и личныхъ вкусовъ своего ученика, имѣлъ самое благотворное на него вліяніе, именно на его эстетическое развитіе. «Въ ту эпоху нашего русскаго Sturm'a и Drang'a, когда въ крайнемъ увлеченіи реализмомъ развѣнчивались и Пушкинъ, и Лермонтовъ, и Вѣлинскій,—этотъ, можетъ быть, односторонній, но убѣжденный и искренній человѣкъ,—говоритъ про Никитенку Острогорскій,—вселилъ во мнѣ, юношѣ, чутье художественной «красоты», которая уже сама по себѣ, безотносительно, воспитываетъ человѣка. Онъ выучилъ меня боготворить эту красоту, смотрѣть на искусство, какъ на святыню, требующую отъ ея жреца-художника возвышенной мысли, извѣстнаго подъема духа и достойной формы, безъ коей настоящаго искусства нѣтъ. И если впоследствии, на попрѣчь учителя словесности, мнѣ сколько-нибудь удавалось дѣйствовать воспитательно на вкусъ учащихся посредствомъ поэзій, заставлялъ ихъ полюбить ее и въ ней находить наслажденіе, то въ значительной степени обязанъ я этимъ Александру Васильевичу, какъ и сознаніемъ важности художественнаго выразительнаго чтенія».

Такимъ образомъ, старому профессору-эстетичу онъ обязанъ былъ тѣмъ, что заложеннымъ въ него съ дѣтскихъ лѣтъ начала художественности, не получивши, однако, достаточнаго развитія въ гимназическихъ стѣнахъ и угрожаемая даже общественными теченіями студенческой жизни, въ которую онъ, какъ видно будетъ дальше, попалъ, никоимъ образомъ не заглушила въ немъ и даже стали фундаментомъ его педагогической и литературно-критической дѣятельности. Онъ избѣгъ крайностей эпохи, лучшихъ сторонъ которой онъ былъ типичнымъ выразителемъ, и до конца своихъ дней былъ восторженнымъ поклонникомъ всего прекраснаго въ жизни, въ чемъ бы это прекрасное ни выражалось, будь то въ литературѣ, музыкѣ, живописи, сценическомъ искусствѣ или просто въ окружающей повседневной жизни. Эстетизмъ билъ въ немъ всегда горячимъ ключомъ, при всемъ его поклоненіи благородному реализму и полезной общественности.

Послѣдній онъ началъ служить очень рано, и рядомъ съ этимъ въ его душевномъ настроеніи того времени какъ бы наблюдается нѣкоторый протестъ противъ этой службы, протестъ, длившійся, однако, очень недолго и который впоследствии онъ сумѣлъ разумно подчинить законамъ гармоніи жизни, гдѣ прекрасное и полезное легко и удобно уживались. Изъ него не вышло ни чистаго эстетика, признающаго только «сладкіе звуки» молитвы, ни грубаго реалиста, преклоняющагося исключительно предъ тревоженіями

окружающей жизни въ ея политическихъ и социальныхъ проявленіяхъ. Тѣмъ не менѣе моментъ нѣкоторой неопредѣленности жизненныхъ задачъ у него какъ бы проглядываетъ, и этотъ моментъ я склоненъ видѣть въ стихотвореніи «Путеводный свѣтъ», напечатанномъ въ журналѣ «Ласточка» въ 1859 году, когда онъ былъ на второмъ курсѣ университета. Впослѣдствіи самъ авторъ признавалъ его очень слабымъ, и таковымъ, конечно, оно и должно быть почитаемо, но, тѣмъ не менѣе, я считаю нелишнимъ привести его здѣсь именно для характеристики его тогдашняго настроенія. Вотъ оно:

ПУТЕВОДНЫЙ СВѢТЪ.

Не падо мнѣ бурь и волненій,
Что сердце волнуютъ и мучатъ;
Ихъ пылъ отъ борьбы остываетъ,
И жизнь безъ отвѣта наскучитъ.

Останутъ кипучія страсти,
Не сблизятся, угаснутъ мечтанья;
Останется горькая память
О дняхъ прожитыхъ упованій.

Такъ ярко порою зарница
Пожаромъ встаетъ надъ землею,
Сіяя среди мрака ночного
И въ мигъ пропадая съ зарею.

Чтобъ могъ я мой путь неизвѣстный
Пройти и легко и свободно,
Пусть чувствна любви и надежды
Мнѣ будутъ огнемъ путеводнымъ.

Въ немъ много скрывается силы,
Хоть пламень не ярко пылаетъ,—
Пусть свѣтъ его тихій, отрадный,
До гроба мой путь осязаетъ...

Кромѣ Никитенка, важное значеніе для умственного развитія Острогорскаго имѣли лекціи А. Н. Пыпина, которыя, правда, долго ему слушать не удалось, но которыя имѣли рѣшительное и опредѣленное на него вліяніе. На этихъ лекціяхъ онъ позналъ настоятельную необходимость для науки основательнаго знанія иностранныхъ языковъ и все значеніе познанія всеобщей исторіи литературы. Подъ вліяніемъ Пыпина Острогорскій сталъ усердно заниматься всеобщей литературой и изученіемъ ея виднѣйшихъ представителей, съ точки зрѣнія ихъ общественныхъ идеаловъ, вліянія ихъ на ходъ всемірной исторіи, а также со стороны изящества самой формы ихъ

произведеній пера. Ознакомленіе учащихся въ такой постановкѣ дѣла съ литературными корифеями западно-европейской жизни стало во всю его педагогическую дѣятельность одною изъ главныхъ задачъ этой дѣятельности. Равнымъ образомъ и изъ лекцій Благовѣщенскаго вынесъ онъ любовь къ классической жизни, и его вліянію приписывалъ онъ то, что впослѣдствіи, уже будучи словесникомъ-учителемъ, считалъ знакомство съ литературой Греціи и Рима совершенно обязательнымъ для молодежи, какъ съ основою нашей собственной культуры.

Таковы были главнѣйшія вліянія на Острогорскаго, исходившія изъ профессорской среды и изъ общаго строя тогдашняго университетскаго преподаванія. Рядомъ съ этимъ заслуживаютъ вниманія и иного рода вліянія, которыя оказали воздѣйствіе на складъ его ума и характера, а именно вліянія чтенія, театра, родного дяди и товарищескаго кружка, окрещеннаго въ свое время наименованіемъ «мыслящаго пролетаріата».

Сочиненія Вѣлинскаго, «Вопросы жизни» Пирогова и Некрасовскій «Современникъ»—вотъ тотъ широкій и блестящій умственный источникъ, откуда студентъ Острогорскій съ особенною пользою для себя почерпалъ запасъ идей и который окончательно утвердилъ его въ стремленіи къ учительству и къ педагогической дѣятельности. Особенно сильно было вліяніе Вѣлинскаго. «Выходъ его сочиненій какъ разъ совпалъ со временемъ пребыванія моего въ университетѣ,—говоритъ Острогорскій въ своихъ воспоминаніяхъ:—и за эти три-четыре года я прочелъ Вѣлинскаго съ величайшимъ увлеченіемъ, томъ за томомъ,— всего, что называется, отъ доски до доски постоянно дѣлая выписки и перечитывая по нѣскольку разъ. На этихъ дѣнадцати томахъ я пережилъ послѣдовательно, вмѣстѣ съ великимъ критикомъ, всѣ три фазы его собственнаго развитія, начиная съ туманнаго шелленгизма и гегелизма, съ которыми я отчасти попутно познакомился изъ книгъ, отъ его романтизма съ прискорбными шатаніями мысли до живого реализма позднѣйшей трезвой критики. Вмѣстѣ съ Вѣлинскимъ я бранилъ Менцеля, увлекался подъ его же вліяніемъ даже слейной исторіей древней литературы Шевырева, бредилъ народною литературою, которая въ то время съ увлеченіемъ собиралась и разбиралась, между прочимъ, Буслаянымъ, котораго «Очерки народной литературы и искусства» я также прочелъ; наконецъ, Вѣлинскій же въ своихъ послѣднихъ томахъ отрезвилъ меня, выведя на дорогу здравой реальной критики, въ которой и утвердили меня потомъ статьи въ «Современникѣ» и позднѣйшія сочиненія А. Н. Пыпина. Вѣлинскій составилъ для меня дѣльный основной капиталъ, такъ сказать, прочный фундаментъ всего моего литературнаго знанія и развитія. На Вѣлинскомъ я, юноша, пережилъ въ три-четыре года, послѣдовательно,

разные периоды умственного роста; онъ, великій русскій энциклопедистъ-популяризаторъ, далъ мѣѣ цѣлую массу понятій эстетическихъ, философскихъ, общественныхъ, нравственныхъ, которыя потомъ только болѣе опредѣлялись, оформлялись и расширялись чтеніемъ, своею горячею, ясною и образною рѣчью онъ былъ моею школою литературнаго стиля и формы».

Приведенныя слова Виктора Петровича никоимъ образомъ не должны быть разсматриваемы, какъ преувеличеніе и полетъ разгоряченной мысли. Если дать себѣ трудъ просмотрѣть работы покойнаго педагога, будь то работы критическія, по общепедагогическимъ вопросамъ, на общественныя темы или относящія до театра,—во всѣхъ ихъ мы найдемъ явные слѣды идей Бѣлинскаго. Какъ Стоюнинъ въ области преподаванія русскаго языка и словесности, такъ Бѣлинскій и его идеи въ другихъ областяхъ культуры и просвѣщенія были для него центрами, къ коимъ всегда тяготѣли его мысль и работа ума. Бѣлинскому посвятилъ онъ немало журнальныхъ и газетныхъ статей, освѣщая его съ разнообразныхъ точекъ зрѣнія и почерпая изъ его сочиненій, въ интересахъ популяризаціи и педагогическаго проповѣдничества, неизсякаемый матеріалъ. Когда въ 1898 году, по случаю пятидесятилѣтія со дня кончины знаменитаго критика, наступили столь извѣстныя его «дни» въ обихѣ столицахъ и въ провинціи, Острогорскій, среди всѣхъ прочихъ писателей и ораторовъ, выдѣлился на торжествахъ съ особенною силою, и пензенскія, напримѣръ, торжества стали совершенно неразрывны съ личностью и именемъ Виктора Петровича. Такимъ образомъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ изученія знаменитаго критика въ студенческіе годы, были не поверхностны и мимолетны, а дѣйствительно оставили въ немъ глубокий слѣдъ, изъ коего впоследствии выросли тѣ общественныя и литературныя явленія его жизни, о коихъ сказано выше.

Кромѣ чтенія и изученія родной литературы, несомнѣнное вліяніе на развитіе его ума и характера оказалъ и театр, который онъ, при всей своей непреходимой студенческой бѣдности, часто посѣщалъ, бывая здѣсь и на драматическихъ, и на оперныхъ представленіяхъ. Страсть къ театру родилась у него еще въ дѣтствѣ, подъ воздѣйствіемъ отца, большого театралла и хорошаго декламатора. Онъ перѣдко разсказывалъ сыну о прежнеемъ актѣрахъ, о театральнхъ писателяхъ, а также декламировалъ ему отрывки изъ Озерова, Хмелынцкаго, Грибодова и другихъ. Въ библиотекѣ отца за многіе годы хранились книжки извѣстнаго журнала «Репертуаръ и Пантеонъ», и вотъ маленький Острогорскій упивался уже съ девятилѣтняго возраста книжками этого журнала. «Нерѣдко читывалъ я отрывки изъ любимыхъ пьесъ своей старушкѣ нянѣ или отцу,—вспоминаетъ онъ въ автобіографическихъ запискахъ,—и вмѣсто всякой игры чуть не по цѣлымъ днямъ занимался разыгрываніемъ сценъ, декламацией монологовъ, устраивалъ импровизированный театр изъ стульевъ, облекаясь въ игрушечный

шлемъ и вооруженіе или драпируясь въ нянины платокъ, воображалъ себя въ роли какого-нибудь Эриани, Трибуля, Гамлета или маркиза Позы.

Страсть къ театру не покидала Виктора Петровича во всю жизнь, и, принадлежа душою цѣлкомъ міру педагогическому и литературному, онъ былъ также чрезвычайно близокъ и къ міру артистическому, имѣя среди послѣдняго немало друзей, посвящая драматическимъ произведеніямъ и искусству вообще немало рецензій и журнальныхъ статей, а также состоя въ теченіе многихъ лѣтъ преподавателемъ петербургскаго театральнаго училища, сохранивъ за собою это учебное заведеніе изъ всѣхъ остальныхъ, въ коихъ онъ когда-то преподавалъ, до послѣднихъ своихъ дней. Театръ и драматическое искусство были въ его жизни тою стихіею, гдѣ онъ питалъ свое прирожденное артистическое чувство и гдѣ почерпалъ эстетическое наслажденіе, очищавшее его отъ пыли жизни и отвлекавшее отъ слишкомъ острыхъ впечатлѣній общественности и ея мутныхъ волнъ. Онъ питалъ даже свои личныя силы въ созданіи драматическихъ произведеній (напримѣръ, комедія «Липочка», драма «Мгла», поставленныя на сценѣ, и небольшія сценки: «Первый шагъ», «Въ бѣлѣтѣхъ на улицѣ», «Въ минуту раскаянія»), но должно откровенно признать, что этотъ родъ литературной дѣятельности не оказался его настоящимъ призваніемъ, и въ качествѣ драматическаго писателя онъ не оставилъ по себѣ выдающагося имени. Иное нужно сказать относительно его теоретическихъ статей о театрѣ и представленіяхъ драматическаго творчества, а также о переводахъ съ иностраннаго и передѣлкахъ западно-европейскихъ авторовъ. Здѣсь онъ былъ силенъ, и его работы въ этой области имѣютъ доброе общественное и воспитательное значеніе. Къ кругу такого рода работъ, по качеству вложенныхъ сюда идей, должны быть отнесены и работы по вопросамъ объ искусствѣ и эстетикѣ вообще. Элементы всѣхъ этихъ работъ находятъ себѣ корни въ его студенческихъ еще занятіяхъ, тогдашнихъ настроеніяхъ и привязанностяхъ.

Кромѣ книгъ и театра, на складъ характера и убѣжденій юнаго Острогорскаго оказалъ немалое вліяніе его дяди, братья отца, имѣвшій послѣ смерти послѣдняго нѣкоторое попеченіе о сиротѣ-племянникѣ. Быть ему полезнымъ матеріально, по скудости личныхъ средствъ, онъ не могъ, но взаимѣ этого дарилъ студенту Острогорскому немало любви и добраго просвѣщеннаго вниманія. «Онъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе на мое литературное развитіе,—признаетъ Викторъ Петровичъ въ своихъ воспоминаніяхъ.—Вмѣстѣ съ дѣтскими лѣтъ повѣрялъ я свои литературныя опыты и мечты объ учительствѣ и писательствѣ; онъ участливо выслушивалъ ихъ, поощряя мои наклонности, впоследствии такъ сердечно радуясь всякому моему успѣху и поддерживая меня своимъ отеческимъ участіемъ въ горькія минуты послѣдующей моей жизни. Въ его небогатую квартиру на Петербургской

сторонѣ собирались иногда по нѣскольکو чловѣкъ и изъ нашего кружка, и многое изъ того, что говорилось тамъ, въ кружкѣ, обсуживалось и здѣсь, вмѣстѣ съ радушнымъ хозиномъ, любившимъ не только меня, но и привязавшимся, какъ къ роднымъ, къ моимъ университетскимъ товарищамъ. Домъ моего покойнаго дяди былъ для меня, за все мое студенческое время, едва ли не единственнымъ хорошимъ семейнымъ домомъ, гдѣ находилъ я ласку и теплый, родственныи привѣтъ.

Отмѣченные въ настоящей главѣ факторы, вліявшіе на Виктора Петровича въ его студенческіе годы, необходимо дополнить еще даваемымъ частнымъ урокомъ, которые также понемногу подготавливали его къ будущей педагогической дѣятельности. Но наибольшее вліяніе на весь складъ его характера и убѣжденій имѣлъ товарищескій кружокъ, гдѣ оформились его взгляды на задачи жизни, и откуда уже цѣликомъ вылилась его дѣятельность, какъ педагога-практика.

Вспоминая свое вступленіе въ университетъ, Острогорскій разсказываетъ, что онъ перешагнувъ гимназическій порогъ и вступилъ въ жизнь самостоятельнымъ гражданиномъ, имѣя лишь на плечахъ гимназическій мундиръ и одну пару бѣлыхъ на брешномъ тѣлѣ. На студенческую экипировку казеннокоштнымъ выдавалось изъ гимназіи сорокъ рублей, но въ виду того, что онъ въ своей выпускной рѣчи допустилъ нѣкоторыя вольности, не поправившіяся начальству, онъ на первыхъ порахъ былъ лишентъ и этой скудной субсидіи. «Такимъ образомъ,—говоритъ онъ,—самостоятельный гражданинъ» очутился на улицѣ даже безъ обѣда въ перспективѣ. Но встрѣтившійся, опоздавшій на актъ, студентъ-товарищъ... обѣдомъ меня накормилъ, а почевать я пошелъ къ другому товарищу... и прожилъ у него цѣлое лѣто. Осенью, экипировавшись кое-какъ, поступилъ я въ университетъ и тутъ-то зажилъ жизнью «мыслящаго пролетарія». Всѣ денежные ежемѣсячные ресурсы мои заключались въ пяти рубляхъ серебромъ, за каковыя я долженъ былъ четыре раза въ недѣлю ходить по вечерамъ въ Колтовскую за сыномъ одного чиновника, за что въ придачу получалъ вскаій разъ по кружкѣ кофе съ ломтемъ сигаго, что иногда составляло въ то время все мое дневное пропитаніе. Въ этотъ первый годъ, какъ часто и потомъ, приходилось питаться всухомлятку однимъ ситнымъ или сайкой съ рубцомъ, а то двумя-тремя буттербродами съ кружкой пива въ одной изъ многочисленныхъ тогда нѣмецкихъ маленькихъ портсигарныхъ на Васильевскомъ островѣ, гдѣ насъ, студентовъ, очень любили, и гдѣ можно было и наѣсться, и напиться пива вволю за какой-нибудь рубль, да еще въ долгъ. Что же касается кватиры, то въ первый годъ ея не было у меня вовсе, и первое мое собственное логовище—проходную клѣткушку съ окномъ, отдѣленную перегородкою,—нашелъ я въ сентябрѣ слѣдующаго года за четыре съ половиной въ мѣсяцъ. Ночевалъ же я въ «эпоху бездомовья», гдѣ случалось: иногда у родныхъ

(домъ моего дяди), иногда у товарищей, а то въ теплое время и на скамьѣ Адмиралтейскаго бульвара (нынѣ Александровскій скверъ), или же на Петербургской, въ Александровскомъ паркѣ,—благо не гнала полиція. Собственности у меня, кромѣ нѣсколькихъ книгъ да двухъ-трехъ паръ бѣлья, не было никакой, а помпнутая наличность сохранялась у товарищей, имѣвшихъ нѣкоторую осядлость. У нихъ я занимался, смотря по тому, у кого была та или другая моя книга. Но чаще всего работалъ я въ прекрасной библиотекѣ академіи наукъ, гдѣ заниматься было и тепло, и спокойно... и гдѣ давали мнѣ даже бумагу, карандашъ и перья».

При такой невеселой и скудной обстановочной сторонѣ жизни, Острогорскій никогда не падалъ духомъ, былъ всегда бодръ, веселъ, каковымъ онъ и оставался до конца жизни, почерпая источникъ своему душевному настроенію въ товарищеской тѣсной средѣ, въ томъ студенческомъ кружкѣ, который и именовался «мыслящимъ пролетариатомъ». Этотъ студенскій пролетариатъ заслуживаетъ вниманія читателей, и на немъ стоитъ остановиться, такъ какъ онъ, несомнѣнно, наложилъ на него рѣзкій опредѣленный отпечатокъ на всю жизнь.

На зарѣ эманипационной эпохи и въ расцвѣтъ ея глаголь «мыслить» и производныя отъ него слова, какъ, напримѣръ, «мыслящій», играли извѣстную роль въ умственной жизни русскаго общества и имѣли до нѣкоторой степени таинственное значеніе либеральнаго характера. Въ тѣ времена Писаревъ выдвинулъ на сцену своихъ знаменитыхъ «мыслящихъ реалистовъ», почерпнувъ эпитетъ своему подлежащему изъ обиходнаго словаря того времени. Среди тогдашней молодежи были «мыслящие реалисты», были и «мыслящіи пролетариаты». Чего-нибудь опаснаго, революціоннаго въ этомъ понятіи не было—здѣсь не поклонялись ни насиліямъ, ни страшнымъ замысламъ, ни красивымъ знаменамъ; просто-напросто это понятіе обнимало собою учащуюся бѣдноту, бездомную, шумную, веселую, романтическую въ политическомъ и общественномъ смыслѣ и восторженную, увлекающуюся безъ конца. Нервная эпоха вѣдала на нихъ своимъ жгучимъ дыханіемъ, и они, опьяненные ею, возбужденные и влюбленные въ нее, выходили на жизненный путь съ горячею вѣрою въ людей, въ отвлеченныя понятія любви и добра. Много тутъ было наивнаго, пожалуй, даже комическаго, съ точки зрѣнія людей, лишенныхъ поэзии и радости жизни, но въ самой этой наивности и въ этомъ смѣшномъ было такъ много сердечнаго, поэтическаго и идеально-хорошаго, что невольно забываешь объ отрицательныхъ сторонахъ и съ любовью останавливаешься на общемъ симпатичномъ обликѣ. Кружокъ Острогорскаго былъ именно симпатиченъ этимъ общимъ своимъ обликомъ, гдѣ краски общественнаго и политическаго романтизма были доминирующими. Въ этомъ кружкѣ нашъ покойный писатель-педагогъ почерпнулъ свои типич-

чекские черты общественного энтузиаста, с которыми он прошел жизненный путь и с которыми сошел в могилу. Конечно, время дѣлало свое: блекли лапы, мѣнялись изъ темнаго въ серебристый цвѣтъ волосы, вся фигура получала старческий отпечаток, но духъ, тотъ духъ, который въ него вложилъ кружокъ «мыслящаго пролетаріата», не покидалъ его до послѣднихъ дней. Длинная галерея общественныхъ дѣателей, вышедшихъ изъ эпохи шестидесятихъ годовъ, проходить передъ моими глазами, но ни къ кому изъ числа ихъ, кромѣ Виктора Петровича, не могу я приложить моихъ стиховъ великаго поэта, сказавшаго про одного изъ своихъ героевъ:

Всегда восторженный рѣчи
И кудри черные по плечамъ...

Мнѣ приходилось видѣть въ квартирѣ покойнаго Острогорскаго его большой портретъ юности, заѣмъ часто видѣть я его въ старые годы, и какъ въ первомъ, такъ и въ послѣдующіе случаи мнѣ всегда именно вспоминались приведенные стихи поэта, желавшаго олицетворить этими строфами представителя восторженнаго романтизма. Сказанный портретъ рисовалъ Викторъ Петровичъ, вышедшаго изъ пѣдъ «мыслящаго пролетаріата», и, глядя на оригиналъ въ старомъ уже возрастѣ, я всегда думалъ, какъ мощно сохранилъ онъ начала своей юности, и какъ ни время, ни невзгоды не колебали въ немъ того священнаго огня, который загорѣлся на школьной студенческой скамьѣ университета конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ.

Описывая кружокъ, въ который онъ попалъ прямо съ гимназической скамьи, Острогорскій такъ опредѣляетъ его общее значеніе и значеніе въ личной жизни... «Намъ кружокъ,—говоритъ онъ,—былъ для насъ, студентовъ, едва сошедшихъ съ гимназической скамьи, истиннымъ благодѣіемъ. Не говоря уже о томъ, что для насъ, лишенныхъ семьи, общества, онъ былъ желаннымъ отдыхомъ и разумнымъ, бодрящимъ развлеченіемъ, котораго ждали мы, какъ праздника, отъ субботы до субботы, онъ былъ для насъ настоящей школой общественности, нравственнымъ контролемъ надъ нашими собственными поступками, такъ сказать, маленькой публичной школой упражненія въ живой рѣчи, что для меня, какъ будущаго учителя, было очень важно,—школой критики, благороднаго остроумія и интеллигентности разнородныхъ, иногда дурно воспитанныхъ характеровъ. Всего же важнѣе то, что за все время существованія кружка всѣ мы незамѣтно прониклись жаждой полезной дѣятельности общественной, честнаго служенія, со временемъ, лучшимъ интересамъ родной земли. Прямо скажу: не попади наивный романтикъ съ гимназической скамьи, кромѣ университета, въ этотъ кружокъ, столкнувшій и сблизившій меня на всю жизнь со многими лучшими людьми, я не знаю, что бы изъ меня вышло». Какая же цѣль пре-

слѣдовалась этимъ кружкомъ? Цѣль его, по собственному признанію Острогорскаго, была собственно очень скромная и довольно неопредѣленная. Здѣсь молодые люди просто сходились, чтобы потолковать обо всемъ, что кого интересовало, подѣлиться новостями, какихъ въ то оживленное время было и въ обществѣ, и въ университетѣ довольно, знакомиться съ текущей журналистикой и путемъ рефератовъ по разнымъ вопросамъ и сообщеній о прочитанномъ взаимно дополнять свое образованіе... Члены кружка подписывались въ складчину на журналы, которые и разбирали по рукамъ; каждый участникъ обязанъ былъ при этомъ докладывать обо всемъ, наиболѣе интересномъ въ области критики и статей политическихъ и экономическихъ, что давало, конечно, поводъ къ горячимъ спорамъ, незамѣтно втягивая молодежь въ интересы общественные и ставя ее соприкосновенно тому, чѣмъ интересовалась тогда вся мыслящая Россія. Здѣсь участіе въ кружкѣ принимали не только товарищи-студенты, но также и пѣвцы, которые посторонние, какъ, напримѣръ, декабристъ Цебриковъ, флотскіе офицеры Страннолюбскіе, артиллерійскій офицеръ Табенскій и другіе. Большинство участниковъ кружка были материально бѣдны, отсюда его наименованіе «пролетаріатъ», цѣли же самообразованія давали основаніе присоединить сюда эпитетъ «мыслящій». И дѣйствительно, не входя въ разсмотрѣніе умѣнности этого эпитета, мы видимъ, что здѣсь лились не одни слова и рѣчи, но что кружокъ дѣйствительно очень скоро перешелъ отъ этихъ словъ къ дѣлу, направивъ свои силы на созданіе, по примѣру частнаго бесплатнаго Таврическаго училища, основаннаго извѣстнымъ барономъ Косинскимъ,—Васильеостровской бесплатной школы для бѣдныхъ, въ созданіи которой приняли непосредственное участіе изъ постороннихъ: Струбинскій, Кавелинъ, Макалинскій, братья Страннолюбскіе, А. Острогорскій, а изъ числа студентовъ шесть человѣкъ и въ числѣ ихъ В. П. Острогорскій. Викторъ Петровичъ даетъ въ своихъ воспоминаніяхъ интересныя данныя объ этомъ вольномъ учебномъ заведеніи, о лицахъ, игравшихъ въ немъ руководящую роль, и томъ значеніи, которое оно практически имѣло, въ смыслѣ подготовки его къ будущей педагогической дѣятельности. Для исторіи русскаго просвѣщенія повѣствованіе Острогорскаго по сему предмету имѣетъ немалый интересъ; немалое значеніе оно имѣетъ и для истолкованія педагогическихъ пріемовъ самого автора записокъ, какъ учителя словесности, прошедшаго здѣсь хотя краткую, но хорошую школу, подъ руководствомъ и въ близости такихъ выдающихся дѣателей отечественнаго просвѣщенія, каковыми были покойные А. Я. Гердь и Ф. Ф. Резнеръ.

Васильеостровское училище, пріобрѣвшее большую популярность и уваженіе не только среди мѣстныхъ жителей, а и вообще въ городѣ, просуществовало всего два года, послѣ чего оно, по распоряженію начальства, было закрыто, къ каковому времени Викторъ Петровичъ уже окончилъ курсъ

университета, пробыв в последнем не полные четыре года, ибо на четвертом курсе за участие в студенческих беспорядках был уволен и должен был держать кандидатский экзамен в качестве экстерна. Окончив курс университета и вступая на совершенно самостоятельную дорогу жизни, он к этой жизни был основательно подготовлен, имея в запасе некоторый педагогический опыт, а также искушившись уже в самостоятельной литературной работе, как поэт, драматург, рецензент и критик.

Учительство Острогорского в столичных учебных заведениях наладилось довольно скоро, и в этом отношении жизнь не вызвала его на борьбу и лишения. Добрая рекомендация профессора Никитенка до известной степени была хорошо визитной карточкой, которая широко открывала перед ним двери учебных заведений. Была одна лишь неудача, да и та больше, так сказать, комического характера, с большим юмором рассказанная самим Висгором Петровичем в его воспоминаниях и которую для характеристики покойного приведу с его слов в цитатом. Дело шло о получении им места в Смольном институте на Николаевской половине, куда его рекомендовали, с одной стороны, все тот же Никитенко, а с другой — инспектор института Тимошеев, небезызвестный переводчик сочинений о Шекспире. Сначала все было убеждено, что Острогорский получит здесь место, так что был даже назначен день его представления начальница учебного заведения, статс-дамь Леонтьевой.

«Я остался один в конце большого зала, со стѣн котораго глядѣли на меня портреты государственныхъ особъ,—разсказываетъ онъ объ этомъ представлении:—Почему-то мнѣ стало жутко... Прошло томительное четверть часа посреди гробовой тишины, нарушаемой только иногда доносившимися изъ классовъ громкими выкриками учителей. Вдругъ большая тяжелая дверь на другомъ концѣ зала открылась настежь, и вдали отъ меня предстала величественная фигура старухи, въ платьѣ съ орденскимъ знакомъ и шлейфомъ, съ лицомъ, сохранившимъ остатокъ красоты, съ пронизательными, устремленными прямо на меня глазами... Вошла—и стала неподвижно, молча разсматривая меня издали... Такими рисуютъ на портретахъ королевъ... Господи, какой маленькой, жалкой, тѣмъ болѣе въ этой огромной залѣ, должна была казаться, сравнительно съ этой высокой, проникнутой чувствомъ непостижимаго достоинства и власти фигурой, невзрачная фигурка худенькаго юноши съ косоватыми глазами, въ старомодномъ фракѣ, неуклюже сидѣвшемъ на узкихъ плечахъ... Я молча сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ; величественно и медленно пошла мнѣ навстрѣчу и Леонтьева. Посреди залы мы оба остановились другъ противъ друга. Она была выше меня чуть не головой; не то съ любовью, не то съ изумленіемъ, самымъ внимательнымъ образомъ и все молча, стала разма-

тывать меня сверху внизъ, съ ногъ до головы. Такъ разсматривалъ, вѣроятно, бѣднаго Гуливера, попавшаго къ великанамъ, король ихъ острова—Бродлинга. Я не выдержалъ взгляда и опустилъ глаза. А она все молчитъ. Наконецъ я начинаю:

«— По приказанію вашего превосходительства, въ качествѣ будущаго преподавателя, честь имѣю представиться...

«Она прервала, протягивая снова:

«— Знаю... вы тотъ... да, Острогорскій... хотите учить...—и вдругъ остановилась...

«Я хотѣлъ выразить благодарность за оказываемую мнѣ честь, но «королева» рѣзко оборвала меня, продолжая все такъ же пропизывать меня глазами.

«— Вы... вы злой... первый... да, первый, злой! Вы здоровы?

Я поспѣшилъ отвѣтить, что совсѣмъ здоровъ, что даю уроки уже нѣсколько лѣтъ, и ученицы на меня не жаловались... Возраженіе ей не понравилось. Она, уже гнѣвно, еще разъ смѣрила меня глазами и, повторивъ еще болѣе раздѣльно: «недобрый, злой... первый», быстро обернулась, не удостоивъ, какъ и раньше, меня даже поклономъ, и величественно вышла въ ту же дверь, въ какую вошла, и я опять остался въ залѣ одинъ. Аудіенція кончилась».

Конечно, уроки въ Смольномъ не состоялись, и не для констатирования этого факта привелъ я столь длинную выдержку. Въ ней важно отмѣтить наивно-добродушный тонъ, съ коимъ Острогорскій повѣствуетъ о постигнутой имъ неудачѣ, тѣ ироническія краски, коими онъ обрисовываетъ свою фигуру и окружающій антуражъ. Видъ это въ своемъ родѣ Диккенсовскій юморъ, и должно замѣтить, что этотъ юморъ не покидалъ никогда Виктора Петровича, когда онъ въ дружескомъ интимномъ кругу повѣствовалъ о самомъ себѣ, о разныхъ злослученіяхъ своей жизни и эпизодахъ изъ литературной, педагогической и общественной практики. Мнѣ никогда не приходилось слышать отъ него пытая, празднаго самобичеванія и жалобъ на несправедливость судьбы; никогда ничего подобнаго. Какъ въ эпизодѣ съ Леонтьевой, такъ и въ другихъ подобныхъ имъ онъ въ своихъ разсказахъ быстро становился на юмористическую точку зрѣнія, и тутъ же на глазахъ слушателей создавалъ въ своемъ родѣ анекдотъ, гдѣ его личность и фигура противопоставлялись окружающему, при чемъ первые элементы повѣствованія рисовались въ комической миниатюрѣ, а вторые—въ комическомъ преувеличеніи, и все это передавалось съ неподражаемой мимикой, съ наддежащими жестами и въ подходящей для того позѣ. Конечно, тутъ разсказчикъ переходилъ иногда въ шаржъ, въ буффонаду, гдѣ дѣйствительность переплеталась съ полетомъ разыгравшейся фантазии, коей у покойнаго было не занимать, но тѣмъ не менѣе тутъ важно отмѣтить именно умѣнье автора находить въ формѣ изложенія примиреніе горечи испытаннаго. Вотъ по-

чему для не знавших покойного лично его литературный рассказ о происшествии с Леонтьевой дать очень хорошее понятие об автобиографических успешных повстанцах Острогорского, относящихся до неудач и невзгод жизни. Иногда, впрочем, он любил драматизировать явления жизни, но только главным образом те, которые относились к области политической и общественной.

Обращаясь к официальному вступлению Виктора Петровича на педагогическое поприще, необходимо отметить, что немногим из его соотарищей по профессии удавалось поработать столь продолжительно и в столь разнообразных учебных заведениях, как ему, пропустить через свои уроки и свое руководство столь значительное число молодежи обоего пола. Из этого отношения его деятельность за сорок лет педагогической службы просто поразительна, и этим-то обстоятельством в значительной степени объясняется громадная популярность Острогорского в нашей столице, тут его чуть ли не на каждом шагу любовно встречали бывшие ученики и ученицы, сохранившие о своем бывшем наставнике самую светлую память и при том память не простого только уважения и холодного почтения, но какой-то теплой дружбы в окраске самого теплого сердечного отношения. От него и его маленькой тщедушной фигурки, несколько согнутой, с роскошной серебристой шевелюрой и скошенными глазами впадо на учеников чьм-то дорогим и милым, с чьм связывались всегда самые лучшие идеальные воспоминания юности, столь громко говорящая взволнованному сердцу.

Педагогический формуляр Острогорского очень почтенен, разнообразен и складывается из следующих моментов.

В 1859—1861 г. он учительствовал в бесплатной Васильеостровской школе, о коей сказано выше; с 1863—1869 г. был учителем словесности в женской гимназии В. В. Швидковской (ныне Ставской), 1867—1869 г.—учителем словесности в Васильеостровской женской гимназии; с 1869—1892 г.—преподавателем истории всеобщей литературы на женских педагогических курсах; с 1869—1877 г.—преподавателем в Елизаветинском институте; 1864—1880 г.—учителем словесности в 1-й военной гимназии; с 1871—1890 г.—в Ларинской гимназии; с 1876—1882 г.—в женском пансионе Шаффе; с 1880—1890 г.—учителем словесности в Коломенской женской гимназии; 1881—1888 г.—преподавателем литературы в театральной школе Коровикова; 1887—1889 г.—читал курс истории новой русской литературы в VIII классе гимназии Стеблин-Каменской; 1896—1897 г. читал курс «По искусству вообще и поэзии в особенности» в Смоленском институте; 1891—1902 г. был преподавателем истории литературы русской на драматических курсах при театральной школе; 1892—1902 г.—состоял преподавателем истории «русской

литературы в «классах новых языков» М. М. Воврищевой-Пушкиной. Кроме того, им за свою жизнь была прочитана масса публичных лекций, из коих многие носили характер целых обширных курсов.

Таков педагогический формуляр Острогорского, куда надлежит поместить еще главные его труды, издавшие отдельно и пользовавшиеся в наших учебных заведениях прочною известностью, как среди учащихся, так и учителей. К числу таковых относятся: «Русские писатели, как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми», «Руководство к чтению поэтических произведений»; «Из мира великих преданий»; «Выразительное чтение. Пособие для учителей и учащихся»; «Этюды о русских писателях»; «Двадцать биографий образцовых русских писателей» и др. Многие из названных книжек выдержали по псковскому изданию, и на них воспитались буквально тысячи учащихся.

Одними отдельно вышедшими изданиями литературно-педагогической деятельности Острогорского не исчерпывалась, и им по вопросам педагогики, по учебному делу вообще помещено в журналах и газетах множество статей, один перечень которых занял бы несколько страниц убогистаго шрифта¹⁾. Глядя на этот длинный перечень, буквально удивляешься энергии покойного Острогорского, с какою он посвящал свое свободное время от уроков все тому же педагогическому делу и школьным вопросам, откликаясь в печати на все живое и животрепещущее в этих областях и настойчиво проводя в них излюбленные взгляды и пожелания. Начиная с первой напечатанной им статьи этого характера, куда я отношу статью в «Библиотеке для чтения» 1864 г.—«Воспитательное значение некоторых художественных произведений И. Крылова», и кончая статьей в «Новостях» (№ 70 за 1902 год)—«Дорогой памяти Д. Д. Семенова», напечатанной положительно за несколько дней до смерти, мы видим в нем писателя-педагога с самыми идеальными, возвышенными стремлениями, непрестанно проводящего в массу русского общества литературно-педагогическую тенденцию, почерпнутую им от лучших учителей молодости (Стоюнина, Вильянского, Широкова, Пыпина и других) и из запаса передовых идей русского общества в период великой освободительной реформы.

Как я уже сказал в начале статьи, я не имѣл чести состоять в числѣ учеников покойнаго Виктора Петровича, но хорошо помню, что в дни моей гимназической жизни немало слышал о нем, как о выдающемся учителе

¹⁾ Он сдѣлалъ въ журналѣ «Миръ Божій» Д. Сильверскимъ за май 1902 г.

словесности, умѣвшемъ вносить струю жизни въ свои уроки, умѣвшемъ воодушевлять свою юную аудиторию и вселять въ нее горячую любовь къ родинѣ и родной литературѣ. Уроки Острогорскаго по всемъ отзывамъ были живымъ обменомъ мыслей и чувствъ между казенною и школьною партою, гдѣ учитель и ученики сливались въ тѣсную семью во имя идеальныхъ началъ жизни, во имя истины и знанія. Викторъ Петровичъ былъ чуждъ всякой педагогической рутины и школьной схоластики и въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ учительствовалъ, положительно выносилъ на своихъ плечахъ многострадальное преподаваніе русской словесности и отечествовѣдѣнія, задавленное и униженное престолутой классической казенщиной. Поэтому въ нашей реальной дѣйствительности въ его образѣ воплощался тотъ милый и всемъ дорогой намъ «учитель словесности», котораго съ такою любовью обрисовала, какъ положительный типъ отечественной жизни, русская беллетристика.

Уинишскій, Стоюнинъ, баронъ Корфъ и другіе педагоги той же старшей плеяды были велики на своихъ постахъ, передъ ними слѣдовало преклоняться и ихъ уважать, но въ нихъ чувствуется нѣкоторая замкнутость, неприступность и сдержанность. Не то ихъ ученикъ—В. Острогорскій: тутъ была истинная доброта, мягкость, задушевность, которая создаетъ человеку имя настоящаго «учителя жизни», не покидающаго своихъ учениковъ ни въ какихъ положеніяхъ и обстоятельствахъ; отсюда горячая любовь къ Виктору Петровичу его учениковъ, широкая его популярность въ русскомъ обществѣ и русской литературѣ и стремленіе его почитателей и близкихъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, высказывать ему чувства горячей признательности, справедливой оцѣнки и сердечнаго уваженія за понесенные труды на пользу русскаго школьнаго дѣла. Съ особенною яркостью эти чувства были проявлены на его юбилейныхъ торжествахъ 1889 и 1894 годовъ. Наиболее полная оцѣнка его, какъ педагога и общественнаго дѣятеля, была произведена въ 1889 году на его четвертьвѣковомъ юбилей, гдѣ поздравилъ виновника торжества собралось множество представителей нашего общества: писатели, ученые, педагоги и его ученики, бывшіе и настоящіе. Здѣсь и въ поднесенныхъ ему адресахъ, и въ скатанныхъ застольныхъ рѣчахъ проявилось съ особенною силою доброе къ нему чувство, и была сдѣлана, справедливая его оцѣнка, какъ педагога, литератора, общественнаго дѣятеля и просто задушевнаго милаго человека и друга ¹⁾.

Въ адресъ его бывшихъ учениковъ и ученицъ такъ былъ очерченъ образъ Острогорскаго, какъ воспитателя юношества:

«Сегодня мы вновь переживаемъ лучшіе годы жизни — годы искреннихъ увлеченій и свѣтлыхъ надеждъ, мы переносимся въ прошлое и представляемъ

себѣ то время, когда со школьной скамьи мы слушали вашу горячую, увѣжденную рѣчь, когда видѣли передъ собой учителя-человѣка и бодро глядѣли на тотъ жизненный путь, который онъ намъ указывалъ впереди. Не одинъ только интересъ къ знанію вызвали въ своихъ сильными словомъ, указывая на литературные образы, рисуя общечеловѣческіе идеалы, вы заставляли почувствовать ихъ красоту, вѣрить въ нихъ, руководиться ими въ будущей дѣятельности. Вы учили насъ уважать честныхъ тружениковъ мысли, любить нашу родину, служить только истинѣ, и у васъ это были не пустые слова, а черты вашей собственной личности, поэтому ваши бесѣды и оставляли въ насъ глубокий слѣдъ; теперь мы разошлись по разнымъ дорогамъ, но у насъ есть одно связующее звено—ваше имя. Каждый изъ насъ гордится тѣмъ, что онъ—ученикъ Острогорскаго, и сознаемъ, что развитіемъ своихъ нравственныхъ увѣжденій онъ во многомъ обязанъ вамъ».

Точно также полно и сердечно привѣтствовали его бывшіе ученики, ставшіе сами преподавателями. Изъ числа послѣднихъ небезызвѣстный педагогическій литераторъ Н. И. Позняковъ, нынѣ тоже сошедшій съ жизненной сцены, въ слѣдующихъ звучныхъ гекзаметрахъ охарактеризовалъ своего учителя:

Вспомнимъ, товарищи дѣтства, тотъ день, когда юный учитель,
Бодрости полный и силы, радужныхъ полный надеждъ,
Къ намъ появился впервые... И сразу его полюбили
Вѣсь мы, и сразу душой всѣ принажились къ нему.
Было въ рѣчахъ его намъ непримичное страстное что-то,
Слово его повизно насъ удивляло своею.
Голосъ его вдохновенно звучалъ въ тишинѣ паставанной
И поселялъ намъ въ сердца сладкій, отрадный восторгъ...
Вспомнимъ, съ какими нетерпѣньемъ всегда мы его ожидали
И какъ спѣшили ловить каждое слово его.
Какое слово, которымъ отцину любить онъ училъ насъ,
Вѣрить въ нее и служить благу родимой страны,—
Какъ разъяснилъ онъ творенья великихъ служителей слова,
И благодарность въ сердцахъ нашихъ онъ къ нимъ вознѣсать,
Какъ вызывалъ передъ нами онъ образы ридъ благородныхъ,
И передъ ними онъ насъ благоговѣть научилъ...
Братія! Умчался годъ въ теченіи неудержимомъ,
Времени много прошло, прозяло много съ тѣхъ поръ...
Вотъ онъ теперь передъ нами сидитъ, сѣдой увѣренный,
Временемъ жизни согбенъ, счастье познавший въ трудахъ.
Но позабудемъ сегодня, что старость его ожидаетъ:
Что намъ до дерзкихъ морщинъ, набороздившихъ чело?!
Дорого то намъ, что тотъ же, все тотъ же нашъ добрый учитель,
Что не посмѣли года духа состарить его:
Такъ же, какъ прежде, въ немъ искрою Божіей теплится сердце,
Какъ и въ тѣ годы, душой юнъ онъ и свѣжъ и могучъ,
Рѣчь его нынѣ, какъ прежде, звучитъ вдохновенно и страстно,
Такъ же, какъ нѣкогда, всѣ любимыхъ его мы и чтимъ.

¹⁾ Описание торжества см. въ «Женскомъ Образованіи», № 8 за 1889 г.

Братя! Собравшись здѣсь пестрой толпою на праздник веселый,
Будемъ же мы ликовать—честь и хвалу воздадимъ,
Слава учителю доброму, честному, милому—слава!
Далъ Богъ здоровья и силъ многія лѣта ему!

Друзья-литераторы такъ оцѣнили и охарактеризовали на этомъ торжествѣ своего товарища по перу въ адресѣ, подписанномъ сорока лицами:

«Въ этотъ радостный день, дорогой Викторъ Петровичъ, когда исполнилось XXV лѣтъ служенья вашего на пользу родного края и когда со всѣхъ сторонъ Россіи пріивѣтствуютъ васъ признательные голоса вашихъ бывшихъ учениковъ, хранящихъ о васъ дорогую память, въ свою очередь, и мы, ваши сотоварищи по перу, спѣшимъ засвидѣтельствовать вамъ наше глубокое уваженіе къ вамъ, дорогой нашъ собратъ, за ту двойную пользу, которую вы въ продолженіе XXV лѣтъ оказывали русской литературѣ вашими непрерывными трудами, и какъ педагогъ, и какъ литераторъ, не переставая внушать многочисленнымъ ученикамъ вашимъ любовь и уваженіе къ русской литературѣ, буди въ нихъ стремленіе осуществлять ихъ высокіе идеалы и всюю вашею жизнью показывая имъ наглядный примѣръ такого осуществленія. Вы въ то же время не оставляли ее безъ вашего личнаго участія, и намъ всегда дорого было это участіе ваше въ общемъ намшемъ дѣлѣ развитія и распространенія въ обществѣ благихъ и свѣтлыхъ идей—мы высоко цѣнили въ васъ мужественнаго борца, непоколебимо несущаго знамя, ни на одну минуту не выпускающаго его изъ руки. Вашъ голосъ былъ всегда однимъ изъ тѣхъ правдивыхъ, искреннихъ и честныхъ, которыхъ такъ немного въ нашей литературѣ. Неустанно звуча въ общемъ литературномъ хорѣ, годось этотъ напоминаетъ намъ нѣшя лучшія времена, и вѣрьте, онъ всегда глубоко западалъ и не перестаетъ западать во всѣ честныя сердца, желающія благъ своей родинѣ. Примите же, нашъ дорогой собратъ, искренній привѣтъ и сердечное пожеланіе отъ всей души, чтобы долгіе годы еще вы оставались среди насъ столь же возлюбленнымъ членомъ нашей литературной семьи и чтобы мы могли дожидаться счастья привѣтствовать васъ снова такъ же горячо и искренне и по истеченіи второго XXV-лѣтія вашего полезнаго и благого поприща».

Адресъ Острогорскому отъ друзей-литераторовъ былъ заслуженною наградою, ибо дѣйствительно его публицистическая и вообще журнальная дѣятельность чрезвычайно почтена, и, помимо спеціальнаго-педагогическихъ трудовъ, за нимъ имѣется немало заслугъ и въ прочихъ родахъ литературы и въ качествѣ рядового работника, и въ качествѣ редактора по-временныхъ изданій.

Я уже отмѣтилъ выше, что его беллетристическое перо не могло похвалиться особенною яркостью и блескомъ; точно также не приходится много распространяться о немъ, какъ о поэтѣ, хотя, несомнѣнно, поэтическія ноты въ немъ всегда громко сказывались, и въ душѣ онъ былъ настоящій худож-

никъ-энтузіастъ, высоко ставившій все изящное и прекрасное въ жизни, литературѣ и искусствѣ. Трудно собственно въ точности опредѣлить, почему же при наличности этого духовнаго элемента даръ истиннаго поэтическаго слова былъ у него затрудненъ, и въ сущности онъ гораздо лучше говорилъ и устно импровизировалъ, нежели писалъ и вообще излагалъ на бумагѣ свои мысли. Можетъ быть, тутъ играла роль недостаточная выдержка характера, недосугъ заняться выработкой стилистики, нетерпѣливость, а также самая профессія учителя, гдѣ за вѣчной работой надъ чужимъ слогомъ и теоретическимъ его истолкованіемъ пропадаетъ собственный даръ творчества, лишаясь вдохновенности и слишкомъ подчиняясь законамъ грамматикальностей. Такъ или иначе, но ни къ числу удачныхъ драматурговъ, ни къ числу выдающихся беллетристовъ или поэтовъ покойный Острогорскій причтенъ быть не можетъ. Все же считаю долгомъ, ради безпристрастія, привести здѣсь одно его стихотвореніе, напечатанное въ «Русскомъ Богатствѣ» за 1880 г., которое лично онъ очень любилъ декламировать среди пріятельскаго кружка, которое было ему, очевидно, дорого по интимнымъ воспоминаніямъ и которое до извѣстной степени обрисовываетъ его идеальные порывы и стремленія. Вотъ оно:

ИЗЪ ГРЕЗЪ ЮНОСТИ.

Безъ боязни гляжу я впередъ,
Свѣтлый образъ себѣ представляю;
Съ нимъ рисуетъ жизнь мнѣ иная,
Интересовъ другихъ и заботъ.
О, люби же меня, дорогая,
И веди за собою впередъ!

Посреди этой мглы роковой,
Посреди этой ночи беззвѣдной,
Что надъ нами нависла такъ грозно,
Путевой ты мнѣ свѣтишь звѣздой,
Чтобъ изъ мрака я къ свѣту съ тобой
Съ обновленною вынесъ душу!

Да, довольно раскаянья, слезъ—
Горькой платы за нѣбъ заблужденія,
За смѣшная порой увлеченія,
Другъ твой въ жизни своей перенесъ,—
Пусть со старымъ покоичь вопросъ:
Нѣтъ о немъ у меня сожалѣній!..

Въ чемъ же новое? Новое въ томъ,
Чтобы, вѣры въ себя не теряя,
Намъ съ тобою, моя дорогая,
Для людей жить полезнымъ трудомъ,
Чтобъ къ труду и другихъ подвигая,
Быть для нихъ путеводнымъ огнемъ...

Сила литературной деятельности Виктора Петровича заключалась, с одной стороны, в большой отзывчивости на явления окружающей жизни, с другой — в твердости общественного символа вѣры и непрестанном исповѣданіи его, въ зависимости отъ соображеній личной выгоды этого исповѣданія. Это былъ правотѣрный шестидесятникъ, проводившій неустанно излюбленные идеи въ своихъ работахъ, по преимуществу критическихъ, біографическихъ и библиографическихъ, по при этомъ шестидесятникъ-эстетикъ, не столько интересовавшійся явлениями политической, экономической и социальной жизни, сколько явлениями культурнаго свойства въ области работы человѣческой мысли на почвѣ литературы, искусства и педагогики. Онъ былъ совершенно свободенъ отъ всякой рѣзкости и исключительности, твердо вѣрилъ, что слово дѣйствительно свободно и что на свободу всѣ имѣютъ одинаковое право въ зависимости отъ приходско-кружковыхъ интересовъ и задачъ, симпатій и антипатій, знакомствъ и кумовства. Будучи врагомъ всякой насильственности, онъ одинаково не признавалъ и насильственности «литературныхъ участковъ», какого бы толка этотъ участокъ ни былъ, гдѣ на Прокрустовомъ ложѣ редакціоннаго деспотизма гибнуть свободная дарованія и независимыя убѣжденія. Конечно, такое отношеніе къ людямъ и собратьямъ лишало его остроты и выпуклости литературныхъ чертъ, но зато давало ему возможность, въ роли руководителя временныхъ изданій, выдвигать на арену жизни новыя молодыя силы и давать имъ возможность высказываться. Въ послѣднемъ отношеніи заслуги его немалыя, именно какъ редактора, управлявшаго въ своей жизни долгое время двумя журналами — однимъ специальнымъ и другимъ общелитературнаго характера. И разумно «Дѣтское Чтеніе» и «Миръ Божій».

У Виктора Петровича былъ большой редакторскій навыкъ и опытъ, съ одной стороны, по выпуску разныхъ изданій, по порученіямъ тѣхъ или иныхъ ученыхъ обществъ, съ другой — по управленію отдѣльными журналами; но при томъ необходимо отмѣтить, что его умѣлость была умѣлостью главнаго руководителя, но никакъ не чернаго работника, легко справляющагося съ кипами корректуръ, съ своевременнымъ выходомъ книжекъ и показывающаго редакціоннаго товара лицамъ. Въ этомъ отношеніи Острогорскій не былъ силенъ, и ему всегда требовался умѣлый ближайшій помощникъ, который бы игралъ при немъ роль няньки, помощника и товарища по работѣ. Оставить же его безъ всякаго попеченія рѣшительно не было возможности, и въ такомъ случаѣ съ милѣйшимъ редакторомъ могло случиться немало досадныхъ курьезовъ и анекдотовъ.

Редактировалъ Острогорскій, какъ уже сказано, журналъ «Дѣтское Чтеніе» и при немъ «Педагогическій Листокъ» съ 1877 по 1884 г.г., журналъ «Дѣло» съ іюля 1883 по іюнь 1884 г.; журналъ «Воспитаніе и Обученіе», издававшійся при дѣтскомъ журналѣ «Родникъ» въ 1885 г., и, наконецъ,

ежемесячный литературный и научно-популярный журналъ для самообразования «Миръ Божій» съ 1892 по день смерти.

Управляя «Дѣтскимъ Чтеніемъ», Острогорскій ставилъ этому старѣйшему изъ дѣтскихъ журналовъ задачу «возбудить въ дѣтяхъ любовь и интересъ къ жизни, способствовать воспитанію въ юношества вѣры въ человека, въ его нравственное достоинство и силу характера, въ назначеніе человека быть полезнымъ гражданиномъ своей родины и членомъ великой семьи человечества». Недостатокъ издательскихъ средствъ не позволялъ въ свое время редактору поставить журналъ на желанную литературную высоту, чего онъ достигъ, только перейдя въ руки извѣстнаго педагога и талантливаго общественнаго дѣятеля Д. И. Тихомирова, когда у журнала явились и необходимыя средства, и, что главное, когда наши беллетристы перестали брезгать «дѣтскою литературою» и стали усиленно дѣлиться отъ своего природнаго богатства крохами на пользу малыхъ сихъ, понимая, что полезно не только заботиться объ аудиторіи взрослыхъ современниковъ, но и подготавливать себѣ будущиxъ читателей.

Значительно больше значеніе Острогорскаго, какъ редактора и организатора «Мира Божьяго», особенно въ первые два-три года основанія этого журнала. Миѣ всегда казалось, что въ литературныхъ кружкахъ, да и въ самой редакціи почтеннаго журнала не отдадутъ себѣ яснаго отчета въ той роли, какую Викторъ Петровичъ сыгралъ на зарѣ жизни этого литературнаго дѣтища покойной А. А. Давыдовой.

Александра Аркадьевна Давыдова, скончавшаяся незадолго передъ Викторомъ Петровичемъ, была женщина, богато одаренная природою, женщина умная, талантливая и энергичная. Ея характеристика довольно полно сдѣлана въ № 3 «Русскаго Богатства» за 1902 г. Н. К. Михайловскимъ, и въ нашей журналистикѣ это, кажется, единственная памятка объ этой достойной женщинѣ, такъ страстно любившей русскую литературу и хотя въ ней непосредственно не принимавшей активнаго участія перомъ, но такъ много для нея сдѣлавшей основаніемъ журнала «Миръ Божій», сумѣвшей его поставить и имъ руководить. Но Давыдова, при всѣхъ своихъ природныхъ качествахъ, врядъ ли была въ состояніи создать, что называется, популярный органъ печати, выкинуть на немъ знамя, привлечь къ нему ученыхъ, литераторовъ и вызвать къ нему сочувствіе читателей. Нѣтъ, съ такою задачею она одними своими силами не справилась бы, и тутъ-то Викторъ Петровичъ, приносилъ въ жертву и личное самолюбіе, и матеріальные расчеты, поступался кое-чѣмъ и въ личныхъ привязанностяхъ и симпатіяхъ, сыгралъ своимъ именемъ, именемъ Виктора Острогорскаго, столь высоко стоявшаго въ общественномъ мнѣніи, рѣшающую роль. Онъ вышелъ, по приглашенію Давыдовой, съ ея дѣтищемъ на авансцену русской журналистики и кликнулъ громкій кличъ, на который люди пошли и не изъ числа близкихъ лично Давы-

довой, а по большей части из числа невѣдомых ей дотола новых сотрудников, выявивших голосу и личной рекомендаціи Острогорскаго. Онъ собралъ ядро, наладилъ дѣло и затѣмъ скромно отошелъ на второй, даже, пожалуй, на третій планъ, уступивъ Давыдову первое мѣсто, которое она съ достоинствомъ и умѣло заняла, не разставаясь никогда съ редакторомъ-организаторомъ, но далеко не всегда, однако, давая должное значеніе его словамъ и указаніямъ и даже, что грѣха таить, обидя его денежнымъ вознагражденіемъ въ мѣру, имъ заслуженной.

Обрисовывая въ сердечныхъ словахъ дѣятельность Острогорскаго, какъ редактора журнала, его ближайшій помощникъ и соредакторъ, собственно фактически несшій въ послѣднее время на своихъ плечахъ редакціонное бремя журнала, А. И. Богдановичъ (тоже нынѣ скончавшійся) такъ говоритъ о своемъ старшемъ покойномъ товарищѣ¹⁾: «Въ нашемъ журналѣ, съ первыхъ самыхъ трудныхъ дней его существованія, онъ былъ настоящимъ редакторомъ-другомъ, который въ каждомъ сотрудничавшій близкаго себя человѣка и готовъ былъ поощрить каждую попытку, каждое робкое начинаніе. Болѣе бережнаго отношенія къ только что выступающимъ писателямъ я не знаю и не могу не поставить Виктору Петровичу въ огромную заслугу передъ родной литературой, что много полезныхъ работниковъ было имъ создано и выдвинуто такимъ образомъ. Въ сложномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ редактированія онъ былъ до извѣстной степени такимъ же педагогомъ, какъ и въ школѣ. Развивать, учить, поощрять и исправлять—вотъ тѣ начала, которыми онъ руководился, постоянно объединяя въ журналѣ все больше и больше опытныхъ работниковъ, отводя каждому мѣсто, больше всего отвѣчающее его достоинствамъ и силамъ. Всегда обаятельный въ личныхъ отношеніяхъ, чрезвычайно доступный и дѣтски-незлобливый, онъ очаровывалъ посетителей въ свои пріемные дни, чѣмъ не мало содѣйствовалъ популярности журнала, въ которомъ каждый новый сотрудникъ скоро чувствовалъ себя, какъ въ родномъ кругу. Но онъ же становился неузнаваемымъ, когда при немъ задѣвались дорогіе ему принципы, и тогда немислима была никакая уступка, никакой компромиссъ. Въ старикѣ просыпался въ такіе минуты боецъ-шестидесятникъ, рѣзко и безпощадно отблъвывавшій противника, по недоразумѣнію залетѣвшаго въ редакцію «Мира Божьяго». Правда, такихъ недоразумѣній было немного, такъ какъ слишкомъ хорошо всѣ знали, каковы взгляды и направленіе Виктора Петровича. Эта неизмѣнная преданность взглядамъ своей молодости и ревность къ нимъ отнюдь не дѣлали его консерваторомъ, не желавшимъ признавать новыхъ волнъ и теченій. Напротивъ, онъ широко открывалъ страницы своего журнала молодымъ настроеніямъ и, даже не соглашаясь съ нѣкоторыми новыми

¹⁾ «Миръ Божій» 1902 г., № 5.

теченіями въ искусствѣ, напримѣръ, охотно допускалъ ихъ, находя, что «надо высказаться, чтобы читатели были освѣдомлены обо всемъ, что новаго происходитъ въ области идей и направленій. Несмотря на свои годы, онъ очень любилъ «молодежь» въ литературѣ, «новые всходы», какъ онъ ихъ называлъ, и требовалъ только одного—помогче, безъ лишней рѣзкости полемики. За каждымъ онъ признавалъ широкое право свободно излагать свои взгляды, если они не шли противъ основныхъ принциповъ общественности, усвоенныхъ имъ въ молодости: прогресса, гуманности, знанія и широкаго просвѣщенія народныхъ массъ, свободы и, прежде всего, вѣры въ людей. Эта вѣра была въ немъ неизблема и поддерживала его въ самыя мрачныя минуты. Ее онъ не уставалъ проповѣдывать и устно, и перомъ, поддерживая ее въ другихъ и укрѣпляя всѣми доводами ума и сердца! Она-то и давала ему силы пережить тяжкія минуты русской жизни и донести до могилы незапятнанными идеалы молодости, не поступившись ничѣмъ изъ благородныхъ заветовъ своихъ великихъ учителей—Вялинскаго, Добролюбова и Чернышевскаго, память которыхъ онъ чтить съ трогательной благодарностью».

А. И. Богдановичъ вѣрно очертить обликъ Острогорскаго въ послѣдніе годы его жизни и какъ редактора, и какъ общественнаго дѣятеля, и какъ человѣка.

Дѣля свою жизнь между литературою и педагогикою, Викторъ Петровичъ не оставался чуждъ остальнымъ сторонамъ общественной жизни, такъ или иначе сопрাকাщавшимся съ этими профессіями. Его всегда встрѣчали участники разныхъ обществъ (комитетъ грамотности, педагогическіе кружки, учебныя и ученые комиссіи), обществъ вспоможенія учащимся заведеній, гдѣ онъ преподавалъ, и литературныхъ обществъ, напримѣръ, кассы взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ, которую онъ очень любилъ, гдѣ неоднократно исполнялъ роль члена ревизіонной комиссіи и общія собранія которой старательно посѣщалъ.

Остальное время онъ посвящалъ своему дому и пріятельскимъ кружкамъ, гдѣ всегда былъ встрѣчаемъ, какъ дорогой, желанный гость. Сообщество Виктора Петровича, бесѣды съ нимъ были истиннымъ удовольствіемъ, гдѣ почерпалось не только пріятное, но и въ высшей степени полезное и поучительное. Я уже говорилъ выше, что, по моему мнѣнію, онъ говорилъ лучше, чѣмъ писалъ. Въ нашемъ обществѣ, гдѣ ораторство совершенно не развито, и гдѣ на десять человѣкъ едва одинъ мало-мальскіи умѣетъ связно построить рѣчь, Острогорскій былъ настоящимъ исключеніемъ. Онъ владелъ мастерски даромъ слова, внося въ свою рѣчь массу юмора, а подчасъ и драматизма, массу естественной восторженности и удивительно притупленныхъ красокъ, почерпаемыхъ изъ неиссякаемаго источника воображенія.

Онъ часто импровизировалъ свои повѣствованія, и въ его передачѣ даже знакомые слушателямъ факты часто получали совершенно неожиданную окраску и освѣщеніе. Я какъ-то не могу представить себѣ Виктора Петровича не говорящимъ, не проповѣдующимъ, не учащимъ, не произносящимъ застольнаго «маленькаго слова» или не спорящимъ. По-моему, это былъ настоящий странствующій проповѣдникъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, который всегда собиралъ вокругъ себя толпу слушателей, жадно внимавшихъ его пылкія рѣчи. Быть можетъ, скептикамъ, людямъ, требовательнымъ и заѣданнымъ рефлексіей, рѣчи Острогорскаго нѣсколько надобѣдали, и они относились къ нимъ съ иронической улыбкой и нескрываемой насмѣшкой, но вѣдь, извѣстно, нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ,—а потому слѣдуетъ смотрѣть на Виктора Петровича—оратора—не среди своихъ (особенно среди литературной братіи), а въ обстановкѣ чуждой и подъ этимъ угломъ зрѣнія цѣнить его рѣчи и застольныя слова. Являлся ли онъ участникомъ торжествъ Вълинскаго въ Пензѣ, пріѣзжалъ ли онъ гостемъ въ Москву, гдѣ, къ слову сказать, любить и цѣнить людей «говорящихъ»,—вотъ тутъ надо было видѣть эффектъ его «маленькихъ словъ», его официальныхъ и неофициальныхъ рѣчей. Тутъ онъ становился настоящимъ героемъ дня, коему окружающіе страстно рукоплескали, коего величали и благодарили. Иду даже далѣе: стоило зайти въ какой-нибудь маленькій кабачокъ (особенно такъ называемый «Каперлаумъ» на Владимирской—любимое мѣсто его закусыванія по дорогѣ, когда онъ съ уроковъ возвращался домой) и встрѣтить здѣсь Виктора Петровича; тутъ-то становилось понятнымъ значеніе его ораторскаго искусства, его проповѣдничества, которое казалось скучнымъ и надоедливымъ нашимъ «генераламъ отъ литературы». Здѣсь простая случайная толпа посѣтителей буквально обильяла его, внимая каждому его слову и съ сочувствіемъ и благодарностью принимая отъ него тѣ «забытыя слова», которая онъ непрестанно твердилъ и которая самъ лично такъ хорошо понималъ. Здѣсь часто эти слова падали на благодарную почву, пробуждали въ окружающихъ лучшіе чувства и помыслы. И это тѣмъ легче дѣлалось, что самъ Викторъ Петровичъ былъ удивительно простъ, не чванливъ, и легко сближался съ новыми знакомыми, съ коими, быть можетъ, жизнь его въ другой разъ и не сведетъ болѣе. «Умственный пролетаріатъ» въ этомъ отношеніи былъ для него хорошей школой, выработать изъ него на-всегда добраго и простаго бурша, у коего «всегда восторженная рѣчь и кудри черные до плечъ». Какъ тогда, въ дни юности, онъ проводилъ неоднократно часы въ пивныхъ Васильевскаго острова съ кружкой пива въ рукахъ, такъ и на старости лѣтъ, уже сѣдой и нѣсколько согнувшійся, онъ охотно заходилъ въ дешевыя кабачки, вполнѣ удовлетворяясь невзыскательной окружающей обстановкой, гдѣ можно было съ пріятелемъ перекинуться словомъ, поспорить и поговорить по душѣ за стаканомъ дешеваго вина.

Эти бесѣды, эти экскурсіи съ пріятелями вреда ему для здоровья не приносили, ибо природа одѣлила его удивительно-крѣпкимъ организмомъ, который за всю жизнь не зналъ ни одной мало-мальски серьезной болѣзни, ни одной экстренной и длительной врачебной помощи. Поэтому онъ и могъ себѣ кое-что лишнее позволить, благо имъ уже столько было сдѣлано для общественнаго добра и пользы просвѣщенія, что иногда ему не только можно было, но даже и должно было отдохнуть.

Домашній отдыхъ, при всей его любви къ семьѣ и дому, его далеко не удовлетворялъ: здѣсь не хватало общности, которой онъ насилью былъ проникнутъ, и къ которой онъ всегда стремился. Ему нужны были, въ времени кабинетной работы, люди, общество, движеніе кругомъ и впечатлѣнія; улицы онъ боялся, и потому не могъ находить удовольствія въ прогулкахъ пѣшкомъ, а отсюда естественное захожденіе въ маленькіе рестораны и сидѣніе тутъ часъ-другой съ пріятелями и даже малознакомыми людьми.

Насколько эта общественная струнка въ немъ всегда громко звучала, свидѣтельствуется всего лучше основанная имъ въ Валдаѣ школа.

Случайно заведши себѣ здѣсь недорогую недвижимую собственность, въ видѣ небольшого домика съ садомъ, куда можно было пріѣзжать лѣтомъ на отдыхъ, Викторъ Петровичъ скоро началъ чувствовать гнетущую тоску въ провинціальной жизни и быстро пришелъ къ заключенію, что и здѣсь слѣдуетъ создать то общественное, къ чему были бы приложены его силы, знанія и любовь къ просвѣщенію. Такимъ общественнымъ явленіемъ могла быть, конечно, главнымъ образомъ школа, въ коей мѣстное бѣдное населеніе чувствовало такой недостатокъ. Спѣша прийти въ этомъ отношеніи на помощь этому населенію, Викторъ Петровичъ и открылъ бесплатную школу, гдѣ дѣти получали бы даромъ всѣ учебныя пособія, а самыя бѣдныя даже обувь и платье. Школа была открыта и содержалась до года его смерти на личные средства основателя, при чемъ ея содержаніе обходилось въ первые годы существованія въ 600—700 рублей въ годъ; но большой наплывъ учащихся и желаніе Виктора Петровича устроить при школѣ и запатія ремеслами заставили расширить и перевести ее изъ собственнаго въ наемный домъ, каковой потомъ онъ купилъ специально для этой школы. Для поддержанія своего дѣтища основатель читалъ разныя публичныя лекціи и, сверхъ того, въ разные сроки вложилъ сюда болѣе 5.000 рублей изъ собственнаго учительскаго и литературнаго заработка, ограничивая для того во многомъ личныя потребности. Его бывшіе ученики, ученицы и друзья рѣшили поддержать школу Острогорскаго и ко дню 35-лѣтія его учительской дѣятельности основали общество попеченія о бесплатной школѣ Виктора Петровича въ Валдаѣ, и такимъ образомъ въ настоящее время забота о ея поддержаніи лежитъ на правительствомъ разрѣшенномъ официальномъ учрежденіи. Съ самаго начала своего существованія школа Острогорскаго встрѣтила горячее сочув-

ствие среди всех его знакомых, благодаря чему сюда поступали пожертвования деньгами, учебными предметами и вещами, а в особенности книжками, так что при школе образовалась хорошая библиотека, как учительская, так и детская. Здесь, кроме общеобразовательных предметов, преподаются ремесла: чулочное (вязание на чулочных машинах) и переплетное. Ремеслам в школьном обучении Острогорский придавал вообще большое значение по двум соображениям, что они: 1) дают в будущем ребенку возможность заняться профессиональным трудом и иметь отсюда вѣрный заработок, и 2) это обучение детей ремеслу в школах должно заставлять родителей оставлять детей в школе на более продолжительное время, благодаря чему создавалась возможность пребывания детей в школьной обстановке, которая бы на них благотворно влияла и их развивала.

При школе устроен сад и огород и организовано специальное занятие по садоводству и огородничеству. На ведение этих занятий Виктор Петрович испрашивал из министерства земледелия субсидию в триста рублей в год, на каковы средства и получил возможность пригласить в школу специалистов, как по садоводству, так и по огородничеству. В создании означенной школы, в ее организации, управлении и руководстве деятельной помощницей Острогорского была его супруга Елизавета Яковлевна, на которую и ложилось все бремя хозяйственных и вообще практических забот об учебном заведении и ее дорогого непрактичного мужа.

Опасаясь, как бы после смерти любимое дѣтище не зачало и не погибло, Виктор Петрович оставил после себя трогательное воззвание к своим ученикам, знакомым и друзьям, которое было опубликовано в «Новостях». Это воззвание имѣет такое глубокое общественное значение, так полно и характерно обрисовывает нравственный облик покойного, что не может не остаться без практического выполнения его теми, к кому оно обращено, и ложится на их нравственную ответственность перед свѣтлою памятью дорогого наставника и выдающегося общественного дѣятеля. Вот текст этого посмертного письма:

«Когда прочтется письмо, авторы уже не будут в живых. Я был так счастлив, что выдѣл много раз трогательное к себѣ внимание, особенно выразившееся в 1889 г., в день чествования четвертьвѣкового юбилея педагогической дѣятельности. Это внимание учившихся у меня и публики не оставляло меня до конца жизни и всегда было лучшем наградою за мою усиленную педагогическую и литературную дѣятельность. Я всегда вѣрил в искренность выражаемых мной чувств, а потому обращаюсь к моим ученикам, ученикам, собратам по литературѣ и всем, кто меня знает, любить и помнить, съ посмертною послѣднею просьбой. Она относится не ко мнѣ (мнѣ уже ничего не нужно), а к дѣлу, которое всю мою жизнь было мнѣ дорого. Это дѣло—просвѣщеніе моей родины, просвѣщеніе в самом ши-

роком смыслѣ этого слова. Все, что я писалъ, какъ умѣлъ и могъ, все, что дѣлалъ, какъ учитель гимназій и разныхъ курсовъ, было направлено единственно къ тому, чтобы въ скорбную эпоху сомнѣній въ пользу просвѣщенія обратить на него вниманіе, какъ на самое важное и существенное. Больше 35 лѣтъ назадъ основалъ я вмѣстѣ съ другими товарищами Васильеостровское бесплатное училище для бѣдныхъ дѣтей, о которомъ не разсказалъ я въ своей книгѣ «Изъ исторіи моего учительства», уже старикомъ, въ 1896 году, а снова, но уже на мои собственные средства, получаемыя отъ уроковъ и литературнаго труда, основалъ въ городѣ Валдаѣ бесплатное училище—дух-классную образовательную, профессиональную школу, помѣщающуюся въ моемъ домѣ, не требующую особаго помѣщенія, которое при жизни мнѣ не удалось построить. Со смертию моей дорогою для меня дѣтище погибнетъ. И вотъ обращаюсь къ вамъ, мои ученики, ученицы, собратія по литературѣ и всѣ, кто меня любилъ, не оставьте моей валдайской школы вашей энергической поддержкой, въ формѣ ли незначительства, литературно-музыкальных вечеровъ, которые я такъ любилъ устраивать съ моими учениками, публичныхъ лекцій—словомъ, какъ пожелаете.

«Вамъ, выражавшимъ ко мнѣ такъ часто пріязнь при жизни моей, вѣрую мою школу въ твердой увѣренности, что не дадите ей погибнуть послѣ моей смерти»

«Васъ любившій, теперь умершій

«Викторъ Острогорскій».

Въ комментаріяхъ это письмо не пуждается; оно является въ нашей общественной жизни такой дивной заgrabной пѣсней возвышенной души, что я считаю текстъ его лучшимъ заключеніемъ моей статьи о покойномъ.

Смерть В. П. Острогорскаго была для всехъ большою неожиданностью. Въ концѣ 1901 года у него появилась рожа на лицѣ: потомъ она исчезла, чтобы черезъ три мѣсяца снова появиться и броситься на мозгъ. При правильномъ леченіи, продолжительномъ и безусловномъ отдыхѣ и покоѣ катастрофа могла быть отсрочена, но покойный не хотѣлъ вѣсть словамъ предупрежденія и продолжалъ до послѣднихъ дней стоять на своемъ славномъ посту редактора популярнаго журнала и учителя словесности, волнуясь и страдая общественными вопросами и злобами, и... катастрофа наступила: 31-го мая 1902 г. его не стало. Тѣло его было привезено въ Петербургъ изъ Валдаѣ, гдѣ его настѣгивѣнный сонъ, и куда онъ по настоятельнымъ убѣжденіямъ жены поѣхалъ для краткаго отдыха и погребено, согласно его волѣ, на Смоленскомъ кладбищѣ, близъ дорогихъ родныхъ ему могилъ.

А. Н. ПЫПИНЪ.

Александр Николаевич Пыпин родился в 1833 году, в городѣ Саратовѣ. Отецъ его былъ дворянинъ стараго, но небогатаго рода, мелкодѣльный землевладѣлец и чиновникъ; по матери его дѣдъ былъ священникъ; его дядя, мужъ сестры матери, Чернышевскій былъ тоже священникомъ. Семья жила то вмѣстѣ, то порознь, когда отецъ его, служившій по дворянскимъ выборамъ, получилъ мѣсто въ томъ уѣздѣ, гдѣ было ихъ родовое небольшое помѣстье и гдѣ онъ числился. «Объ семьѣ были стараго вѣка,— сообщаетъ самъ Пыпинъ въ своей бесѣдѣ на юбилейномъ обѣдѣ¹⁾.—Скромная жизнь, простые нравы, строгое благочестіе. Общественная жизнь,— насколько она понималась въ дѣтствѣ,— достигала нашего дома только косвенно; дядя былъ очень уважаемый въ городѣ человекъ и вполне заслуживалъ этого уваженія; къ нему обращались люди разнаго рода,—и купечество, повѣрившее ему свои благочестивыя помышленія, и богатое дворянство съ религиознымъ настроеніемъ, и церковная пиццета, искавшая помощи; женскій персоналъ семьи,—тетка, еще живая бабушка и ихъ пріятельницы,—принимали богомолковъ,—помню даже юродивыхъ (дядя ихъ не одобрялъ), странницъ, ходившихъ въ Воронежъ, Саратовскую пустынь, Киевъ, даже Иерусалимъ. Въ нашемъ большомъ кiotѣ, вмѣстѣ съ новыми и старинными иконами, бывали и «вѣтки Палестины», принесенныя намъ съ мѣста. Прислуга была наша, крѣпостная. Когда моя семья жила въ Саратовѣ, зимою прѣзжали «мужики» съ разными хозяйственными припасами изъ деревни. Когда семья жила въ уѣздномъ городѣ, а гимназистомъ ѣздили къ своимъ, бывалъ въ «нашей» деревнѣ, иногда сопровождалъ отца

въ его служебныхъ разъѣздахъ. Отношенія къ нашимъ крестьянамъ были вообще добрыя, патріархальныя; помню заботы отца, когда при плохомъ урожаѣ надо было «кормить» крестьянъ. Послѣ освобожденія ихъ, когда мой отецъ снова былъ на службѣ въ Саратовѣ, наши бывшіе крестьяне, прѣзжая въ городъ продавать хлѣбъ, вѣзвали къ намъ какъ «къ своимъ», безъ всякихъ сомнѣній въ томъ, что ихъ и пріютятъ, и покормятъ,—въ чемъ и не ошибались...»

Д. Л. Мордовцевъ, характеризуя семейство Пыпиныхъ, отмѣчаетъ ихъ основную общую черту—«честность» во всѣхъ ихъ жизненныхъ и житейскихъ отношеніяхъ. Даже въ своей уничтоженной книгѣ «Наканунѣ воли» почтенный писатель, извлекая изъ саратовскихъ губернскихъ архивныхъ матеріаловъ для характеристики тогдашней мѣстной администраціи, встрѣтилъ въ ея тогдашнемъ составѣ всего только трехъ честныхъ людей на всю губернію, и въ числѣ этихъ трехъ праведниковъ однимъ былъ именно Пыпинъ, дядя нашего академика. Какъ бы въ объясненіе вышеприведенныхъ автобиографическихъ юбилейныхъ воспоминаній, Александръ Николаевичъ въ той же бесѣдѣ дѣлаетъ изъ нихъ слѣдующій интересный выводъ: «Припоминаю все это потому, что народная жизнь была въ смыслѣ «эволюціи» моихъ понятій знакома мнѣ не изъ книгъ, а изъ непосредственнаго дѣтскаго и юношескаго впечатлѣнія и опыта; мнѣ уже знакомы были самыя разнообразныя типы народной массы; съ дѣтства же буквально «изъ устъ народа» я слышалъ повѣрья и суевѣрія и сказки, между прочимъ прекрасныя, какихъ мнѣ потомъ не привелось встрѣтить въ печатныхъ сборникахъ... Достигая до слуха рассказы, гдѣ въ неясныхъ, но мрачныхъ очертахъ видѣлись тяжелыя стороны тогдашней крѣпостной жизни, свособіе помѣщиковъ, крестьянскіе «бунты», убійства; изъ этихъ воспоминаній мнѣ памяты нѣкоторые эпизоды, которые потомъ были рассказаны Мордовцевымъ въ его книгѣ «Наканунѣ воли»,—увы, уничтоженной цензурой! Но остались и поэтическія впечатлѣнія. Красота необозримыхъ хлѣбныхъ полей, степи, покрытыя ковылемъ, чудные виды на Волгу и безконечное Заволжье съ облетающихъ Саратовъ горъ, красота пейзажа, еще не постигнутая нашими художниками,—громадный весенній разливъ съ караванами судовъ. Нашъ домъ, гдѣ я жилъ въ гимназическіе годы, стоялъ надъ Волгой, и съ верхняго балкона открывался широкій видъ на рѣку и заволжскую степь; на Волгѣ весной медленно двигались вверхъ суда «къ Макарію»; приближаясь къ городу, суда расцѣплялись лентами, стрѣляли изъ небольшихъ пушекъ, пестро приподвигаясь бурлаки затагивали безконечныя гѣсны, въ родѣ той пѣсни «Эй, ухнемъ», которая получила въ наше время право музыкальнаго гражданства...»

Таковъ общій фонъ картины, на которомъ обрисовываются юныя черты лица Пыпина. Определенный въ мѣстную губернскую гимназію, онъ жилъ

¹⁾ «Пятидесятилѣтіе научно-литературной дѣятельности академика А. Н. Пыпина». Оттискъ изъ 3-й кн. «Литературнаго Вѣстника» за 1903 годъ. Спб. 1903. Статья проф. А. Н. Веселовскаго.

въ Саратовѣ у своего дяди, упомянутого уже выше священника Чернышевскаго, человека умнаго, просвѣщеннаго и обладавшаго значительною и хорошо составленною бібліотекою, какъ изъ русскихъ, такъ и иностранныхъ книгъ, которыми гимназистъ Пыпинъ свободно могъ пользоваться. Здѣсь, въ этой бібліотекѣ заложены, быть можетъ, первыя сѣмена учености нашего академика, взлелѣанныя потомъ университетомъ и тою научно-литературною средою, въ которую онъ попалъ, благодаря своему двоюродному брату, извѣстному публицисту Н. Г. Чернышевскому, явившемуся уже въ бытность Александра Николаевича еще въ Саратовѣ его первымъ руководителемъ запятій и чтеній. Послѣ дома родителей домъ дяди былъ въ высшей степени благотворною обстановкою для развитія лучшихъ сторонъ ума и характера юнаго гимназиста. Вотъ какъ характеризуетъ біографъ Н. Г. Чернышевскаго ¹⁾ обоихъ старшихъ представителей дома—отца и сына Чернышевскихъ: «Гаврилъ Ивановичъ,—говоритъ онъ,—былъ человекъ весьма замѣчательный. Вольной умъ, въ связи съ серьезною образованностью и знаніемъ не только древнихъ, но и новыхъ языковъ, дѣлалъ его исключительно личностью въ провинціальной глуши; но всего замѣчательнѣе были въ немъ поразительная доброта и благородство. Это былъ евангельскій пастырь въ лучшемъ значеніи слова, отъ котораго въ то время, когда подавалось обращаться сурово съ людьми для ихъ же блага, никто не слыхалъ ничего, кромѣ словъ ласки и привѣта. Въ школьномъ дѣлѣ, всецѣло построенномъ тогда на звѣрской поркѣ, онъ никогда не прибѣгалъ ни къ какимъ наказаніямъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ добрый человекъ былъ необыкновенно строгъ и ригористиченъ въ своихъ требованіяхъ; въ общеніи съ нимъ нравственно подтягивались самые распущенные люди. Изъ ряду вонъ выделялся доброта, чистота души и отрѣшенность отъ всего мелкаго и пошлаго всецѣло перешла и къ его сыну. Н. Г. Чернышевскій, какъ человекъ, былъ истинно-свѣтлою личностью—это признаютъ злѣйшіе враги его литературной дѣятельности. Самые восторженные отзывы о Чернышевскомъ, какъ о человекѣ, принадлежатъ двумъ престарѣлымъ представителямъ духовнаго сословія, не находившимъ достаточно словъ, чтобы охарактеризовать вредъ его писаній и теорій».

По свидѣтельству біографа, Чернышевскій получилъ среднее образованіе при особенно благоприятныхъ условіяхъ—въ тиши идеальнѣе жившей семьи, въ составъ которой входила и жившая на одномъ дворѣ съ Чернышевскимъ семья А. Н. Пыпина. Николай Гавриловичъ на пять лѣтъ былъ старше своего двоюроднаго брата, но оба были очень дружны, и съ годами, какъ это видно будетъ дальше, ихъ дружба все укрѣплялась. Чернышевскій

¹⁾ «Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона», ст. Л. С. 3.

миновалъ ужасную бурсу дореформенной эпохи и низшіе классы семинаріи, и только въ 14 лѣтъ прямо поступилъ въ старшіе классы. Подготовили его, главнымъ образомъ, при нѣкоторой помощи учителей гимназіи. Ко времени поступленія въ семинарію молодой Чернышевскій уже обладалъ значительною начитанностью и приводилъ учителей въ изумленіе своими обширными знаніями. Товарищи его обожали: это былъ общій поставщикъ классныхъ сочиненій и усердный репетиторъ всѣхъ обращающихся къ нему за помощью. Въ семинаріи Чернышевскій пробылъ два года, затѣмъ продолжалъ занятія дома, а въ 1864 году покинулъ Саратовъ и съ тѣмъ вмѣстѣ своихъ друзей, въ томъ числѣ и 13-лѣтняго Пыпина, чтобы поступить на историко-филологическій факультетъ петербургскаго университета. Такимъ образомъ, Пыпинъ почти три года находился подъ непосредственнымъ вліяніемъ своего двоюроднаго брата, успѣвъ за это время сильно къ нему привязаться и привыкнувъ видѣть въ немъ не только хорошаго и сердечнаго друга, но и рѣшающій авторитетъ въ большинствѣ случаевъ жизни. По его настояніямъ и подъ его воздѣйствіемъ, онъ впоследствии промѣнялъ казанскій университетъ на петербургскій и перѣхалъ навсегда жить въ сѣверную столицу.

Если молодой Чернышевскій пользовался на своей родинѣ всеобщимъ обожаніемъ, то не меньшимъ сердечнымъ расположеніемъ пользовался среди товарищей гимназіи и его младшій двоюродный братъ. Миниатюрный, вѣчно веселый, подвижной и привѣтливый, гимназистъ Пыпинъ былъ любимцемъ класса за свой прекрасный характеръ и любимцемъ учителей и наставниковъ за свои отличные успѣхи въ наукахъ. Среди товарищей его особенно любовно пользовались одноклассники А. П. Ровинскій и младшій по классу товарищъ Д. Л. Мордовцевъ. Эта дружба трехъ молодыхъ людей носила воистину трогательный, даже, пожалуй, нѣсколько сентиментальный характеръ, когда товарищи мѣнялись крестами, клянутся въ вѣчности чувствъ и становятся излишне нервны въ отношеніяхъ другъ къ другу при разлукѣ и при отсутствіи другъ о другѣ свѣтлый...

Въ своихъ воспоминаніяхъ о томъ времени Д. Л. Мордовцевъ съ особенною любовью останавливается на часахъ послѣ гимназическихъ запятій, когда онъ съ Сашей Пыпинымъ, радостные и веселые, бѣжали изъ класса на берегъ Волги, брали у мальчишки Елишки за гривенникъ лодку и безконечно долго катались по широкому раздолью рѣки. Эти волжскіе долгія прогулки запали, видимо, глубоко въ душу покойнаго академика, и, отмѣчая въ своихъ юбилейныхъ бесѣдахъ года юности, онъ съ особенною любовью вспоминаетъ именно и о чарующихъ прелестяхъ Волги, и о заволжскихъ степяхъ, и о бурлацкихъ папъвахъ...

Мордовцевъ, по происхожденію казакъ съ Дона, не можетъ, видимо, помириться, что въ жилахъ его дорогаго Саши не течетъ казацкая кровь, и

вот он пытается превратить своего друга в храброго запорожца. Он заряжает ружье, дает Пышину стрелять, как бы выдвигая в того запорожскую удалость и храбрость, но неопытный стрелок опаливает себя только руки, и этим кончается всякая его прикосновенность к воинскому делу. Впрочем, быть, из далыбйшаго видно будет, что прикосновение к военному элементу Пышинг впоследствии имѣлъ и совершенно по особому случаю, о чемъ съ добродушнымъ юморомъ и вспоминалъ въ старческіе годы, но объ этомъ въ своемъ мѣстѣ. Д. И. Мордовцевъ, хотя старшій по возрасту, но младшій по ученію, является вообще въ ихъ товарищескихъ забавахъ и выѣздовыххъ занятіяхъ коноводомъ: онъ находитъ у отца Пышина старинныя походныя чернильницы, начиняетъ ихъ пороховомъ, проводитъ къ нимъ фитиль и устраиваетъ разрушительные взрывы. Въ этомъ уничтоженіи старинныя участвуетъ и его молодой другъ. Пятдесятъ слишкомъ лѣтъ спустя, на юбилей покойнаго академика, когда всѣ присутствовавшіе восхваляли юбиляра за его спасеніе и правильное освѣщеніе старинны, одинъ лишь его другъ по гимназій могъ ему бросить веселый упрекъ въ небрежномъ именно обращеніи съ этою старинною и въ посягательствѣ на ея уничтоженіе... Любимымъ занятіемъ друзей было изученіе карты звѣзднаго неба. Благодаря Д. И. Мордовцеву, Пышинг зналъ отлично до конца своихъ дней звѣзды необятнаго небеснаго купола, и часто во время своихъ позднѣйшихъ прогулокъ, любуясь ночью на небо, усѣянное міриадами звѣздъ и созвѣздій, онъ, указывая на нихъ и перечисляя ихъ, вспоминалъ: «Это Мордовцевъ еще въ Саратовѣ обучилъ меня астрономіи!»

Мальчики были очень религіозны и не пропускали ни одной всенощной, которую охотно отсанивали въ губернскомъ соборѣ. Что же касается ученія въ гимназій, то оба были въ ней лучшими учениками и были награждены съ учившимися съ ними извѣстнымъ впоследствии въ Москвѣ профессоромъ и докторомъ покойнымъ Захарынымъ помятены на золотую доску, какъ выдающіеся ученики. Пышинг, по свѣдѣтельству Д. И. Мордовцева, дѣйствительно былъ выдающимся ученикомъ и поразалъ какъ товарищей своихъ, такъ и учителей обширными познаніями и громадною начитанностью. Въ юніѣ 1849 года Александръ Николаевичъ окончилъ курсъ саратовской гимназій и поступилъ слушателемъ въ казанскій университетъ на первое отдѣленіе философскаго факультета. Въ архивѣ казанскаго университета имѣется «дѣло» за № 116 о поступленіи туда Пышина¹⁾. Здѣсь помѣщена копія съ аттестата Пышину, выданнаго изъ саратовской гимназій,

¹⁾ «По поводу пятидесятилѣтія научной и литературной дѣятельности академика А. И. Пышина (1853—1903 гг.)». Изъ архива императорскаго казанскаго университета, проф. А. С. Архангельскаго. Казань. 1903.



Александръ Николаевичъ Пышинъ и Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ.

гдѣ значится, что онъ обучался въ гимназіи съ 9-го августа 1842 г. по 1-ое іюня 1849 года; во все время учения своего былъ поведеніемъ отличнымъ и въ преподаваемыхъ предметахъ оказалъ успѣхи: въ Законѣ Божіемъ, священной и церковной исторіи—отличные, русской грамматикѣ и словесности—отличные, математикѣ—отличные, физикѣ—отличные, исторіи—отличные, географіи—отличные. Въ языкахъ: латинскомъ—отличные, французскомъ—отличные, нѣмецкомъ—отличные; въ рисованіи, черченіи и чистописаніи—хорошіе. Сверхъ того обучался съ успѣхомъ греческому языку, и по надлежащемъ испытаніи оказалъ въ немъ отличныя познанія, сообразныя съ курсомъ, установленнымъ въ изданномъ отъ министерства народнаго просвѣщенія въ 1832 году распределенія для преподаванія сего языка въ гимназіяхъ.

Вслѣдствіе того, съ утвержденія г. полсчителя казанскаго учебнаго округа отъ 8-го іюля 1849 года, за № 2672, предоставляется ему, Пыпину: 1) какъ окончившему съ успѣхомъ полный гимназическій курсъ и приобретшему сверхъ того отличныя познанія въ языкѣ греческомъ, на основаніи... (слѣдуютъ статьи закона), право на чинъ 14 класса, съ которымъ онъ и опредѣляется въ гражданскую службу, и 2) по высочайше утвержденному 20-го ноября 1835 года расписанію... (слѣдуетъ новая ссылка на соотвѣствующую ст. закона), *принадлежитъ онъ ко второму разряду чиновниковъ*. Въ удостовѣреніе чего и данъ ему, Пыпину, сей аттестатъ за надлежащимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ печати саратовской гимназіи.

На представленномъ въ университетъ прошеніи резолюція положена: «Пыпина принять въ студенты своекоштного содержанія по разряду общей словесности въ 1-й курсъ, показывая въ спискахъ: изъ дворянъ, родившихся 1833 года 23-го марта, православнаго исповѣданія,—увѣдомитъ о томъ 1-ое отдѣленіе философскаго факультета и инспектора студентовъ. Последнему поручить взыскивать съ Пыпина деньги за слушаніе лекцій».

Въ казанскомъ университетѣ Александръ Николаевичъ пробылъ лишь одинъ годъ, про простѣивъ котораго, какъ видно изъ того же архивнаго дѣла, «студентъ словесности 1-го курса Александръ Пыпинъ подалъ въ правленіе университета слѣдующее прошеніе: «По встрѣтившимся домашнимъ обстоятельствамъ, я не желаю болѣе оставаться въ числѣ студентовъ казанскаго университета, а потому прошу покорнѣйше правленіе университета уволить меня изъ числа студентовъ и выдать мнѣ свидѣтельство о бытности въ университетѣ и всѣ акты о моемъ происхожденіи. Іюля 28-го дня 1850 года». Прошеніе почему не написано не самимъ Пыпинымъ, а на немъ лишь его подпись: «Къ сему прошенію студентъ 1-го курса

историко-филологическаго факультета Александръ Пыпинъ руку приложилъ».

Вслѣдствіе этого прошенія правленіе въ тотъ же день постановило: «Пыпину составить свидѣтельство о бытности въ университетѣ слѣдующаго содержанія: «Объявитель сего Александръ Николаевичъ Пыпинъ, изъ дворянъ, по окончаніи курса наукъ въ саратовской гимназіи поступилъ въ 1849 году въ студенты императорскаго казанскаго университета, по разряду общей словесности въ 1-й курсъ, въ коемъ, при хорошемъ поведеніи, въ 1849—1850 академическомъ году обучался съ успѣхами: церковной исторіи, общей исторіи, языкамъ: французскому и нѣмецкому, греческой словесности и древности, римской словесности и древности, русской словесности и исторіи общей литературы—отличнѣйшими; энциклопедіи философій, славянскимъ нарѣчіямъ—хорошими; переведенъ во 2-й курсъ, и нынѣ, согласно прошенію, по домашнимъ обстоятельствамъ изъ числа студентовъ уволить съ тѣмъ, что какъ онъ не окончилъ полного университетскаго курса наукъ, то не можетъ пользоваться правами, присвоенными дѣйствительнымъ студентамъ, но, на основаніи... (слѣдуетъ ссылка на статью закона), при поступленіи въ гражданскую службу сравнивается въ преимуществахъ по чинопроизводству съ лицами, получившими образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и принадлежитъ ко второму разряду гражданскихъ чиновниковъ. Въ удостовѣреніе чего и дано ему, Пыпину, сіе свидѣтельство изъ правленія императорскаго казанскаго университета».

Но не для поступленія на чиновную службу хлопоталъ студентъ Пыпинъ объ увольненіи его изъ казанскаго университета—его звали въ Петербургъ, въ здѣшній университетъ, двоюродный братъ, Н. Г. Чернышевскій, окончившій къ тому времени столичный университетъ и оставленный при немъ для продолженія научныхъ занятій и приготовленія къ магистерскому экзамену. Молодой кандидатъ философскаго факультета былъ въ то время полонъ научныхъ стремленій и задачъ, выработываваясь въ требовательной и превосходной школѣ Изм. Ив. Срезневскаго въ образцовомъ и серьезномъ, по всѣмъ видимостямъ, въ будущемъ ученаго. Чернышевскій былъ къ тому времени болѣе свободенъ, могъ болѣе посвятить времени своему юному другу и, кромѣ того, на личномъ опытѣ имѣлъ возможность убѣдиться въ прекрасной постановкѣ факультетскаго преподаванія на историко-филологическомъ факультетѣ столичнаго университета, не взирая на общую тяжесть тогдашняго академическаго режима, установленнаго, впрочемъ, для всѣхъ высшихъ разсадниковъ просвѣщенія, и въ его преимуществахъ въ этомъ отношеніи передъ казанскимъ, гдѣ, кромѣ профессора Григоровича, пожалуй, не было никакихъ особенныхъ притягательныхъ элементовъ въ глазахъ молодого Пыпина.

Поступавшие в 1850—1860 гг. пропала столетия на философский факультет по словесному отделению попадали сразу в аудиторию, где читали такие выдающиеся ученые и талантливые руководители занятиями молодежи, как Изм. Ив. Срезневский, М. С. Куторга, Н. М. Благовещенский, М. М. Стасюлевич и др., которые не могли не оказывать глубокого впечатления на своих слушателей, привязывали их так или иначе и к предмету, ими читаемому, и к своей авторитетной личности: Я парочно поименовал только нескольких петербургских профессоров, ибо именно с ними юному студенту Пышину и пришлось иметь главным образом дело и, как мне кажется, им он преимущественно обязан своими научными методами исследований и своим научным багажом обширных знаний. В письмах к Д. Л. Мордовцеву, относящихся к 1850—1851 годам, уже имеются намеки и бледно очерченные данные, из коих можно сделать некоторые выводы касательно по крайней мере влияния профессоров Куторги и Срезневского. Поэтому, в интересах отчетности изображения напастования влияния на общий склад ума и характера покойного Пышина, я и позволю себе остановиться на характеристиках этих представителей университетской науки и их преподавания, сделанных в одном источнике — официальном и другом — неофициальном. Я разумею труд В. Григорьева по истории петербургского университета «в течение первых пятидесяти лет его существования» и небольшую книжку В. П. Острогорского «Из истории моего учительства». Последняя книжка в настоящем случае интересна главным образом потому, что, ознакомившись с нею, как мне о том лично передавал В. П. Острогорский, А. Н. Пышин отнесся чрезвычайно одобрительно к той главе, где автор парисовал в живых красках и живых портретах состояние столичного университета той эпохи, и где мы именно встречаемся с теми представителями науки, которые были наставниками и Александра Николаевича.

«Лекции М. С. Куторги явились по кафедре всеобщей истории такую же живописно и плодотворною новостью, как чтения его брата С. С. Куторги по кафедре зоологии», — говорит официальный историк петербургского университета. — Во взгляде его на требования университетского преподавания не было ничего общего с гимназическими взглядами и приемами его предшественников по кафедре. Источники и литература предмета с критическою их оценкою не входили вовсе в их план: у Куторги составили они основу его чтений. Несовместимым с критическою методою, им усвоенною, представлялось также и следование каким-либо учебникам, которыми они руководствовались: не останавливаясь на изложении общезвестных фактов, он, вместо того, стал знакомить слушателей

с различными господствующими и господствовавшими научными на них воззрениями, старался показать связь этих фактов с предшествующими и последующими явлениями, осветить их, разъяснить их значение и представить таким образом живую и ясную картину постепенного развития человеческого общества... Не грузы имен и чисел выносили слушатели из его аудиторий, а знакомились на означенных вопросах с методом научных занятий, с требованиями научного исследования. Такое преподавание, при дарь изложении, естественно привлекало слушателей, и, возбуждая в них самостоятельность, располагало к самостоятельному занятию предметом. Чтобы поддержать и укрепить это расположение, М. С. Куторга, сверх лекций в университете, завел, с конца сороковых годов, особые вечерние беседы у себя на дому, собственно для студентов, желавших посвятить себя исключительно изучению истории. Тут, подобно тому, как в «семинариях» у германских профессоров, занимался он специальным разбором отдельных исторических вопросов, задавая темы студентам для разработки, разбирая сочинения, которые они представляли, и таким образом на деле знакомил молодых людей с требованиями и приемами исторической критики. Эти старания профессора не остались безплодными; не только некоторые из трудившихся в его семинарии сами заняли впоследствии университетские кафедры истории: строго научным направлением своим обязаны лекциям его даже труды многих из его слушателей, избравших себе иные специальности.

В. П. Острогорский дополняет эту характеристику следующими чертами: «Читал М. С. Куторга, к сожалению, недолго, кажется, на втором только курсе, и, часто манкируя, едва ли прочел лекций двадцать ¹⁾. Помните, держал он себя от студентов далеко, был высокого мнения о своей учености, желчен и несколько сух, и посещали его лекции мало. Но читал он в своем роде мастерски, представляя совершенную противоположность с М. М. Стасюлевичем. Как у последнего был курс общий, так сказать, по преимуществу, *идейный*, — так у этого специальный, фактический, детальный, так что выбранный им параллельно две эпохи: Греция во времена Аристофана и ввек Людовика XIV, вырисовывались у него, благодаря искусному подбору мельчайших фактов, в пыльную, необыкновенно живую картину, которая крепко запечатывалась в воображении. Но такое изложение, однако, не исключало идеи, и, подобно тому, как из романа, например, получается в конце концов и общая отвлеченная мысль, так и из этих, часто жгучих лекций мы вынесли

¹⁾ Эти замечания относятся к шестидесятым годам. В предшествовавшие семестры, когда Куторга не хворал, его семестры и курсы не страдали такими пропусками.

ясное сознание того, как обманчиво бывает в государствъ высшій блескъ, и какъ, такъ называемые въ исторіи, «золотые вѣка» посягъ въ себѣ зачатки несомнѣннаго разложенія».

Вторымъ виднымъ представителемъ факультетскаго преподаванія, съ которымъ Пыпину именно пришлось наиболѣе вмѣстѣ поработать и у кого поучиться, былъ знаменитый русскій славистъ Изаидъ Ивановичъ Срезневскій, перешедшій въ петербургскій университетъ изъ харьковскаго въ 1847 году. По свидѣтельству г. Григорьева, «Срезневскій посвящалъ свой начальный курсъ чтеній энциклопедическому введенію, имѣющему цѣлью знакомить слушателей съ славянскимъ племенемъ, какъ частью кореннаго народонаселенія новой Европы; съ его общими судьбами въ отношеніи политическомъ, религіозномъ, бытовомъ; съ характеристическими отличіями его нарѣчій; съ важнѣйшими явленіями народной его словесности и книжной литературы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ главными пособіями для изученія славянства. Вслѣдъ за этимъ вводнымъ курсомъ слѣдовали постоянно черезъ годъ два другіе: курсъ славянскихъ древностей и курсъ исторіи языка и литературы западныхъ славянъ. Курсъ древностей состоялъ изъ разсмотрѣнія иностранныхъ и домашнихъ свидѣтельствъ, оставшихся о славянахъ древняго времени, и изъ систематическаго изложенія быта, общественнаго устройства и религій каждаго изъ славянскихъ народовъ во времена, предшествовавшія утвержденію между ними христіанства. Курсъ исторіи языка и литературы заключалъ въ себѣ разсмотрѣніе измѣненій, которымъ подвергалось въ народномъ и письменномъ употребленіи каждое изъ главныхъ нарѣчій славянскихъ, и судьбъ народной поэзіи и литературы у каждаго изъ главныхъ народовъ славянскихъ. Заключительный, четвертый курсъ посвященъ былъ древности русскаго языка, съ подробнымъ объясненіемъ главнѣйшихъ его памятниковъ. Кромѣ лекцій, профессоръ Срезневскій упражнялъ слушателей въ научныхъ работахъ филологическихъ и археологическихъ, имѣвшихъ цѣлью приучить ихъ къ самостоятельному разсмотрѣнію памятниковъ языка и письма, вслѣдствіе чего изъ школы его вышло много людей съ превосходнымъ ученіемъ направленіемъ и столь рѣдкимъ еще у насъ умѣньемъ работать наукообразно».

Великимъ скептикомъ, «маленькимъ Вольтеромъ», виртуозомъ слова и человѣкомъ подавляющаго авторитета рисуется Срезневскій въ воспоминаніяхъ В. П. Острогорскаго. «Эта была личность тоже своеобразная и оригинальная,—говоритъ онъ.—Человѣкъ очень большого, остраго, скептическаго ума и мѣткаго ироническаго остроумія, онъ, помимо своей специальности въ славянскихъ нарѣчіяхъ, преимущественно въ древне-русскомъ и церковно-славянскомъ языкѣ, былъ энциклопедистъ, обладавшій громадною памятью, и поражалъ блескомъ и живостью рѣчи. Самолюбиво дававшій чувствовать свою ученость и этотъ энциклопедизмъ вообще, лю-

бившій ловко и кстади мимоходомъ коснуться своихъ близкихъ отношеній чуть не ко всему западно-славянскому ученому міру, съ которымъ облизился онъ за границей во время путешествій, онъ могъ поразить блескомъ и увлекательностью лекцій... Ни сравнительной грамматики, ни исторіи славянскихъ литературъ, ни даже опредѣленныхъ представленій о старомъ и современномъ славянствѣ и его задачахъ онъ почти не давалъ, а просто разбрасывалъ передъ немногими слушателями, какъ бы невзначай, цѣлую массу отрывочныхъ и оригинальныхъ мыслей о языкѣ вообще и разныхъ теоріяхъ его происхожденія, о тѣхъ или другихъ славистахъ, отдѣльныхъ русскихъ писателяхъ, древнихъ памятникахъ, не пренебрегая анекдотомъ, мѣтко обрисовывающимъ личность или явленіе. Даже самыхъ памятниковъ онъ почти никогда не читалъ, предлагая желающимъ изучать славянскія нарѣчія и литературу самостоятельно, что, конечно, было... слишкомъ трудно; но въ то же время относился крайне снисходительно къ тѣмъ, кто почти не занимался вовсе... Срезневскій какъ бы снисходилъ до насъ, небрежно бросая кое-какія крупницы изъ богатой житницы своей учености, разнообразныхъ знаній и жизненнаго опыта; бросалъ какъ бы шутя, подчасъ очень зло, желчно разбивая ту или другую научную теорію, или мнѣніе, развѣчивая ту или другую, якобы авторитетную личность; но воспользуемся ли мы, и какъ этими крупницами, до этого, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ казалось, ему не было никакого дѣла». Г. Острогорскій, въ добавленіе къ сказанному, придаетъ особенное значеніе Срезневскому, какъ временному публичному лектору по вопросамъ о преподаваніи русскаго языка. Слушателей этихъ лекцій было мало, но въ нихъ было столько оригинальнаго, умнаго и практически приложимаго къ преподаванію русскаго языка на живомъ языкѣ, что вмѣстѣ съ трудами поному предмету Буслаява, вошедшими въ извѣстную книгу Срезневскаго «Мысли объ исторіи русскаго языка», онѣ положили серьезное основаніе и методъ всему нашему позднѣйшему отечественному языкознанію въ примѣненіи послѣдняго къ школьному курсу.

Курсора и Срезневскій были консервативными элементами академической тогдашней среды; либеральными же были лекціи Н. М. Благовѣщенскаго и М. М. Стасюлевича, которыхъ и Пыпину пришлось слушать уже на старшихъ курсахъ. Благовѣщенскій, по словамъ Острогорскаго, былъ среди профессоровъ университета единственнымъ русскимъ, глубокоубижденнымъ и широкообразованнымъ классикомъ, соединявшимъ обширныя знанія древняго міра съ горячею вѣрой въ его образовательно-воспитательное, культурное, гуманизирующее значеніе. Въ своихъ лекціяхъ онъ не вдавался въ спеціальныя мелочи, не зарывался въ добри грамматическія, а старался ввести своихъ слушателей въ духовныя интересы древняго міра, дать картины общества съ его настроеніями умственными

и нравственными, дать почувствовать дух писателя и ввести их в самую лабораторию его творчества, не забывая при этом того влияния, какое производил он на умы современников. А чтобы эти писатели, эти все культурные явления, отделанные от слушателей многими звеньями, сделать понятнее, он нередко прибегал к сравнениям с произведениями истории позднейших времен и к сближениям с явлениями литератур иностраных, и особенно русской, чем способствовал и уяснению дела и необыкновенному оживлению своих лекций.

Что же касается М. М. Стасюлевича, которого Пыпину пришлось слушать лишь на последнем курсе, то он производил на своих слушателей чарующее впечатление благородством речи, изяществом и полностью изложением предмета, который привлекал к себе внимание всего петербургского студенчества. Им обращалось особенное внимание при изложении событий всеобщей истории не столько на факты, сколько на обобщение, освещение событий и раскрытие внутренней между ними связи. Лекции г. Стасюлевича вводили в известную дотолку круг философии истории, где на первый план выдвигалась прогрессивная преемственность смены фактов и глубокая вера в созидательную силу поступательного движения народов по пути прогресса к свету и просвещению.

Среднее положение между отвлеченными категориями профессоров занимал А. В. Никитенко, человек гуманный, очень образованный и просвещенный, но представитель несколько устаревших уже к тому времени методов научного мышления и последователь старших заветов Гегелевской философии, не находившей к себе среди передового студенчества уже былого увлечения и интереса.

Извиняюсь перед читателями, что несколько долго задержал их на обзорных тогдашнего университетского преподавания и на характеристик его главнейших представителей. Я придаю большое значение после элемента наследственности и домашнего воспитания влиянию школы, средней и высшей, в деле формирования характеров и направления умов выдающихся деятелей. Мы уже видели на ранних годах юности Александра Николаевича заметные следы влияния на него окружающих ближайших к нему лиц—отца и матери, дяди и двоюродного брата, а также влияние товарищей и всей окружавшей его волжской обстановки в причудливых красках ее природных очертаний. Гимназия и первый год пребывания в казанском университете, повидимому, не сыграли в его жизни какой-нибудь решающей роли, по крайней мере, для такого утверждения сейчас под рукою нет фактических данных. Иначе рисуется роль в его жизни петербургского университета и таких профессоров, как Куторга и Срезневский. В письмах к Д. Л. Мордовцеву мы постоянно встречаемся с упоминаниями об этих деятелях науки,

о занятиях у них, которые его всецело поглощают, и о том серьезном интересе, который ему эти занятия в изобилии давали. Если из некоторых показаний г. Мордовцева, относящихся к гимназическим годам Пыпина, уже очерчивается пока еще в слабой обрисовке научное направление мысли его молодого друга, то уже из писем последнюю к своему казанскому товарищу вытекает положительный вывод, что 16—17-летний студент петербургского университета, вид всякого сомнения, должен явить собою в будущем величину очень крупную и серьезную в сфере русской учености и образованности.

Как же встретила столичная жизнь нашего будущего ученого, и что нашел он в ней отвлеченного склонностям своего ума и сердца? Ответы на эти вопросы и постараемся найти в его письмах к Д. Л. Мордовцеву. Нет сомнения, что этот ответ был бы еще полнее, если бы были опубликованы его письма к второму его казанскому другу—П. А. Ровинскому. Эти письма, насколько можно судить из указаний в письмах первой категории (т.-е. к Мордовцеву), были, пожалуй, еще важнее для определения тогдашних научных интересов Александра Николаевича, и послышались им не только непосредственно адресату, но и для прочтения остальными товарищами. В письмах к «Данечке» звучат преимущественно струны сердечных отношений, изложение фактов чередуется в них постоянно с порывами дружеских и братских чувств; в письмах же к г. Ровинскому должны преобладать фактические данные, и на эти данные он постоянно ссылается и в письмах к г. Мордовцеву, не желая повторяться и возвращаться к одному и тому же предмету.

Пребывание Пыпина в Петербурге было благоприятно для его научных занятий. Он поселился на Офицерской улице у своей старшей сестры, бывшей замужем за Терцинским, занимавшим прежде место преподавателя в саратовской духовной семинарии, а во время пребывания у него Александра Николаевича служившим по синодальному ведомству на ответственном и вполне обеспеченном посту. В доме Терцинских приезжему была отведена отдельная комната, он получал от них полное довольствие и, кроме того, снабжался из дому необходимыми денежными средствами, что все вместе взятое удаляло его от материальных забот и устраняло от необходимости прискакивания себе заработка, в виде репетиторства, уроков и т. п. У сестры ему, повидимому, жилось хорошо, привольно, и ничто не мешало ему погружаться в излюбленные научные занятия. Нечего и говорить, конечно, что столичные развлечения все были далеки от него; таковыми были для него лишь те, что несли с собою умственное и вообще духовное наслаждение.

В своем письме от 13-го сентября 1850 года, четвертом¹⁾, адресованном Д. Л. Мордовцеву, он так полусутоливо, полусерьезно описывает свои развлечения: «Что дѣлаю я?—спрашивает онъ, и отвѣчаетъ:— Я теперь живу чтеніемъ и созерцательною жизнью (эхъ, молъ, куда онъ залетѣлъ, скажешь ты), это значитъ, что я, если не читаю, то гуляю по Петербургу и люблюю имъ; я теперь очень часто хожу гулять. Я прошелъ уже весь Невскій (а это вещь не insignificantная), гулялъ въ Лѣтнемъ саду (какъ тамъ теперь чудесно, хотя теперь и осень), гулялъ въ Екатерингофѣ, былъ въ отдаленныхъ странахъ Петербургской стороны, наслаждался прекраснымъ видомъ Невскаго при газовомъ освѣщеніи, которое гораздо лучше обыкновеннаго освѣщенія масломъ, любовался съ Исаакіевского моста Невой, съ двухъ сторонъ замкнутой рядами огней, мрачнымъ Исаакіемъ и едва выступающимъ изъ сумрачной темноты памятникомъ Петру Великому. Это въ самомъ дѣлѣ прекрасное зрѣлище, лучше котораго я еще не видалъ». Таковы *его развлечения*, по нимъ, оказывается, допускаются имъ въ микроскопическомъ размѣрѣ, такъ что въ одномъ изъ декабрьскихъ своихъ писемъ онъ серьезно говоритъ: «Съ новаго 1851 года я хочу перемѣнить свой образъ жизни, перемѣнить радикально: теперь я всѣ почти вечера (кромя четверга) просиживаю дома; надобно будетъ ходить гулять, въ театръ (до сихъ поръ я еще ни разу не былъ, хоть и часто звали; ни Каратыгинъ, ни Мартыновъ, ни Григи, ни Маріо до сихъ поръ не интересовали меня), на Невскій, въ Пассажи. Пора, я думаю». Но и этимъ невиннымъ намѣреніямъ, по всей видимости, не суждено было сбыться: мы нигдѣ не встрѣтили и намека на его отклоненія отъ исключительно литературныхъ и научныхъ занятій. Всѣ дальнѣйшія письма полны только и только интересами науки, журналистики и литературы. Удовлетворялъ ли его такой исключительный образъ жизни? Нѣтъ, онъ тосковалъ, часто хандрилъ и не находилъ въ себѣ самомъ необходимаго покоя и равновѣсія. Но напрасно было бы думать, что эта тоска и хандра происходили изъ несправедливаго погруженія въ науку и чтеніе. Далеко нѣтъ; здѣсь онъ находилъ себѣ отдыхъ и развлеченіе, а если страдалъ отъ чего, то отъ недостатка вокругъ себя близкихъ людей, любимыхъ сверстниковъ, съ одной стороны,—и съ другой—отъ холода и непривѣтливости всей окружающей его столичной обстановки, столь противорѣчащей тому, съ чѣмъ онъ сиклся и на чемъ возросъ на берегахъ великой русской рѣки. Въ письмѣ отъ 22-го сентября онъ пишетъ: «Милый мой! Я давно уже не писалъ тебѣ, а писать надобно; извини меня, что я такъ долго молчалъ. Все это время я былъ, не знаю, какъ назвать тебѣ это, не въ духѣ. Заниматься скучно, читать—чтеніе еще больше наводитъ тоску, попадаетъ какой-нибудь романъ Жоржъ-Зандъ или «Вѣдныя

люди», рѣшительно не знаешь, что дѣлать. Ко всему этому присоединяется еще ужасная петербургская погода; небо сѣро до невозможности, городъ какъ-то побурѣетъ, измоченный народъ весь, какъ мокрая куры, опустившія крылья и не знающіе, куда дѣваться отъ напасти. Не хочется выходить изъ комнаты; выйдешь—все поражаетъ непріятно. Обыкновенная моя дорога въ университетъ дѣлается до послѣдней степени скучною; будочники, который всегда отдастъ мнѣ честь своей алебардой, стоитъ, повѣся носъ и алебарду; часовые у Литовскаго замка завертываются въ свои черныя шинели и совершенно углубляются въ самосозерцаніе самихъ себя; бульваръ, теперь ошипанный, безъ листьевъ, напоминаетъ только о тишѣ міра сего; Исаакій, и безъ того уже мрачный, дѣлается еще мрачнѣе отъ этой пасмурности, и только золотой куполъ его со своей высоты, кажется, презираетъ всю эту дрянъ; Нева, она сѣрѣетъ, или, лучше сказать, не сѣрѣетъ, а измѣняется въ какой-то черноземный цвѣтъ. Прекрасная перспектива, не правда ли? Да, петербургская погода имѣетъ неотъемлемое свойство наводить страшную скуку; всѣ другія скверныя погоды, даже саратовскія и казанскія, ничто передъ ней».

Жалобы на хандру, по уже не изъ-за погоды, а по другимъ причинамъ, встрѣчаются въ теченіе 1850 года и въ слѣдующихъ его письмахъ. «Ровинскій правду сказалъ,—отвѣчаетъ онъ въ декабрьскомъ письмѣ:—что часто въ этомъ большомъ, многочисленномъ городѣ бываетъ пусто, скучно; не видишь ни одного «человѣка», некому сказать слова. Да, это правда, большая правда для меня. Ни разу я еще не встрѣчалъ между своими знакомыми (а ихъ ужъ довольно) простого настоящаго товарища знакомаго; нѣтъ, все официально, вѣжливо. Хочется услышать слово, а вы молчите, ни слова». Товарищами своими по университету и факультету онъ тоже былъ доволенъ и характеризуетъ ихъ такъ: «О моихъ товарищахъ я, если не ошибаюсь, писалъ тебѣ, и если не тебѣ, то Ровинскому. Они—полюбки всѣ, за исключеніемъ одного нѣмца; среди нихъ мнѣ теперь одинъ только нравится, человѣкъ довольно порядочный: впрочемъ, они народъ, согласный на все; Комкова²⁾ нѣтъ ни одного (да и во всемъ университетѣ нѣтъ, я думаю, ни одного сколько-нибудь на него похожаго; до такой степени рѣдокъ этотъ типъ); есть народъ, довольно и даже очень дѣльный; есть и обыкновенные (казанскіе) студенты, ничего не дѣлающіе до послѣдней минуты, но это вообще рѣдко встрѣчается, гораздо рѣже, чѣмъ въ Казани. Профессорами я доволенъ всѣмъ».

Товарищеская компанія, которая его оживила и дала ему то нѣжное, дружеское, въ чемъ его любящая природа такъ пуждалась, подобралась лишь позже, черезъ два года, когда въ Петербургъ пріѣхалъ Д. Л. Мордовцевъ,

¹⁾ Первыхъ писемъ мнѣ не удалось встрѣтить въ архивѣ Мордовцева. Б. Г.

²⁾ Товарищъ очень перазвитый по Казани. А. в. т.

когда к ним еще пристали будущий известный славист В. И. Ламапский и безвременно погибший племянник Гоголя, Н. Трушковский. Это товарищество освободило его от тоски духовного одиночества, но, конечно, не могло вознаградить его главнейшей утраты. Как известно уже и как о том свидетельствует сам Пыпин в своей переписке с Мордовцевым, он был обязан переезду из Казани в Петербург Чернышевскому, самому любимому, дорогому и авторитетному для него человеку. И вот, не успев он насладиться столичной близостью к своему двоюродному брату, тогда уже кончившему университетский курс, как обстоятельства их снова разлучают, и Чернышевский покидает Петербург, чтобы взять место в саратовской гимназии.

Чернышевский был в те годы жизни Пыпина центральной фигурой, около которой группировались все его интересы, и в нем он находил ту школу, где отшлифовывались его общественные взгляды и симпатии. Именно Чернышевского (как равно и Срезневского, но по иным поводам) полны все письма Александра Николаевича к своему казанскому другу, и вы ясно видите, изучая эти письма, какое важное значение имел для него этот выдающийся человек, жизнь которого так трагически обернулась впоследствии. Душевное волнение Александра Николаевича по случаю возможного отъезда Чернышевского сказывается уже в письме от 13-го сентября, как равно из того же письма выясняются его отношения к двоюродному брату и роль последнего в его жизни.

«Недавно здесь получали бумагу,—пишет он,—в которой Молоствов¹⁾ предлагает Николу место в саратовской гимназии, и вместе с этим Молоствов писал Мусину-Пушкину²⁾ о том же. Раз я был у Пушкина вместе с Николой, он дает ему прочитать это письмо и спрашивает, что он на это скажет. Николка и отписал вот что в Казань, что, дескать, место я принять готов, но дело вот в чем: вы, может быть, хотите, чтобы я держал в Казани экзамен на учителя гимназии; если так, то место мне не нужно, а если вы дадите мне место без экзамена, то извольте. Не знаю, какой ответ получить он на это; дай-то Бог, чтобы это дело разстроилось. Оно может очень и разстроиться, если до получения ответа из Казани получить место здесь, что довольно вероятно. Николка уже читал пробную лекцию в штаб военно-учебных заведений, и Кавелин остался им очень доволен и сдвдлал о нем прекрасный отзыв, и я думаю, что Николу можно будет получить к тому времени место здесь. Иначе—дело будет прескверное. Я буду, кажется, жалеть о том, что перешел сюда. Что мне будет тогда за утешение жить здесь; живя в Казани, я мог

бы, по крайней мере, на вакансии быть в Саратов, а отсюда не знаю, можно ли будет ехать... что-то будет». Это ожидание настолько его разстраивало, что он в том же письме говорит: «Я и занимаюсь теперь не постоянно, а как-то порывами, когда придет охота. Теперь я больше всего занимаюсь славянскими наречиями и английским языком. Мы с Николой быстро поднимаемся на этом поприще; даже учился с ним немного говорить. Мы хотели даже составить себе английскую библиотеку, и уже положили ей основание, купив «Nouveau cours de langue Anglaise», par T. Robertson. Я думаю, ты знаешь, что methode Robertson теперь в большой моде и, кажется, совершенно справедливо. С одним только не можем мы справиться в английском, это с произношением. Это только препятствие мешает нам говорить, потому что если Николка скажет слово, то можешь быть уверен, что я его не пойму. Николка, впрочем, далеко ушел от меня в английский язык, потому что он и до этого читал английские газеты».

Вспоминая в одном из следующих писем (без даты), как часто Н. Чернышевский в беседе с ним цитирует разные места из сочинений Гоголя, Пыпин говорит, между прочим: «Николка много места (следует указание этих мест) приводит слово в слово и всегда производит необыкновенный эффект (заметьте: я теперь почитатель-поклонник Гоголя. Я его любил и прежде, а теперь я просто обожаю его). Николка во многом, очень многом, имел на меня влияние, особенно теперь». Личность этого «Николки» постоянно притягивает его внимание, он пытается глубже проникнуть в этот загадочный характер, нарисовать себя и другим духовный образ этого человека и заставить всех окружающих, и в том числе и своих товарищей юности, полюбить и оценить его... Почти во всех письмах к Д. Д. Мордовцеву он возвращается к этому волнующему его предмету и, упоминая о занятиях своего двоюродного брата, о его знакомых, о книгах, которые он приносит ему читать (главным образом Дикенса в подлиннике), постоянно дѣлает экскурсию в область анализа характера Николая Гавриловича. Так, в полбском письме (без даты) он говорит: «Он, т. е. Чернышевский, такой человек, которого я никогда не видал, да никогда, верно, и не увижу. Я не знаю, как описать тебе его характер (ты его не знаешь!); если бы где-нибудь был изображен такой характер, я бы указал тебе. Но нигде подобного я не встречал, встрѣтил, правда, только в одном месте: недавно читал он отрывок из повести¹⁾, рассказа, или как угодно назови это, конечно, не напечатанной и, к несчастью, лишенной возможности быть напечатанной, он говорил мне,

¹⁾ Попечитель казанского учебного округа.

²⁾ Бывший попечитель того же округа.

¹⁾ Нет ли тут указания на какой-нибудь первоначальный текст романа «Что дѣлать?»

что ее написал один из его друзей, но я с большою вѣроятностью предполагаю, что писалъ онъ ее самъ; все въ ней—его и, между прочимъ, тамъ былъ одинъ характеръ, совершенно снятый съ него—характеръ не изъ обыкновенныхъ, пошлыхъ характеровъ. Можетъ быть, когда-нибудь ты узнаешь его близко, хотя это трудно, не будь съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ, гдѣ бы его можно было узнать... Какъ ошибся бы тотъ, кто сказалъ бы, что нѣтъ въ немъ участія ни къ чему; нѣтъ, въ немъ такъ много участія, что я не могу до сихъ поръ привыкнуть видѣть въ немъ это». Въ декабрьскомъ письмѣ (отъ 20 числа) онъ снова возвращается къ характеру Чернышевскаго и говоритъ: «Это такой человѣкъ, какого я до сихъ поръ и не видывалъ. А вѣдь давно я его знаю, могъ бы къ нему привыкнуть тогда еще, когда вмѣстѣ жили (въ Саратовѣ), могъ бы узнать его такъ, чтобы все мнѣ было въ немъ извѣстно, вполне понятно. Теперь я вижу все, какъ и отчего и зачѣмъ онъ дѣлалъ все такъ, а не иначе; знаю, зачѣмъ онъ отсюда въ Саратовъ ѣдетъ, когда у него здѣсь есть мѣсто, вмѣсто котораго онъ скоро могъ бы получить другое, гораздо лучшее; когда у него здѣсь столько выгодъ противъ Саратова, что многіе совершенно не понимаютъ, отчего Николай вздумалось ѣхать въ такую глушь и дичь. Это все очень просто». Объясненіе такому дѣйствительно мало понятному исчезновенію Чернышевскаго изъ Петербурга находится именно въ письмѣ Пыпина. Отсюда мы узнаемъ, что Николай Гавриловичъ уѣхалъ въ Саратовъ вслѣдствіе влеченія сердца и въ виду того, что именно въ Саратовѣ находилась та, съ которой онъ впоследствии вступилъ въ законный бракъ.

Отъѣздъ Николаи былъ жестокии ударомъ для Александра Николаевича—онъ на время (въ 1853 г. Чернышевскій вернулся въ Петербургъ) лишился друга и руководителя и остался одинокимъ съ своими книгами и лекціями, въ которыхъ одиѣхъ заключились всѣ его радости и наслажденія. Хотя въ одномъ изъ писемъ къ своему казанскому товарищу у него и проскользнуло мгновенное раскаяніе въ пріѣздѣ въ Петербургъ, но оно скоро прошло. По этому поводу онъ писалъ: «Я теперь самъ вижу, какъ скверно было, если бы я остался въ Казани; хотъ тогда, какъ жилъ въ Казани, обѣ этомъ и не думалъ. Довольно бросить общій взглядъ на Петербургъ и петербургскую жизнь, и это будетъ очень легко. Этимъ я обязанъ одному Николаю; если бы онъ обѣ этомъ не постарался и здѣсь и въ Саратовѣ, то я жилъ бы и жилъ въ Казани (Казань—1½ Саратова, если сравнить его состояніе жизни)». Что же прельщало его въ Петербургъ, и почему онъ мирился съ нимъ, несмотря на свое одиночество, отъѣздъ Чернышевскаго, отсутствіе товарищей и скверную погоду, отъ которой онъ иногда прихварывалъ? Примиреніе имъ обрѣдалось въ научныхъ занятіяхъ при здѣшнемъ университетѣ и въ лекці-

яхъ тѣхъ профессоровъ, которыхъ приходилось слушать, и о которыхъ говорено во второй главѣ настоящаго очерка. Мы уже видѣли изъ одного письма, что профессорами онъ былъ «доволенъ всѣми». О ходѣ занятій у нихъ онъ постоянно сообщаетъ своимъ казанскимъ друзьямъ, и изъ письма къ Мордовцеву мы до извѣстной степени можемъ судить, насколько эти занятія были успѣшны и плодотворны.

Утренніе и дневные его часы проходили въ университетѣ, а остальное время онъ почти сплошь проводилъ за книгами у себя дома. Въ своихъ письмахъ онъ подробно сообщаетъ Д. Л. Мордовцеву, чѣмъ ему приходится заниматься, какія книги читаетъ и изучаетъ, и положительно приходишь въ изумленіе отъ этой громадной и всесторонней начитанности, которая въ немъ наблюдается. Передъ нами обрисовывается живой умъ, который не можетъ и не желаетъ сосредоточиться на одной стороне и узкой специальности, но ищетъ себѣ здоровую пищу вездѣ, гдѣ только возможно—и въ рукописныхъ работахъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ, и въ классическихъ сочиненіяхъ, и въ чтеніи всѣхъ существующихъ спеціальныхъ журналовъ и въ случайно доходящихъ до него рукописяхъ, не могущихъ по цензурнымъ условіямъ быть напечатанными. Начитанность и лингвистическая его образованность воистину поразительны! Онъ не только свободно читаетъ на разныхъ языкахъ, но на нихъ же дѣлаетъ въ своихъ письмахъ вставки въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо опасается, чтобы эти письма не попали въ чужія руки, и въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о предметахъ интимнаго и деликатнаго, не подлежащаго опубликованію, свойства. Въ такомъ случаѣ Александръ Николаевичъ исписываетъ цѣлыя страницы на латинскомъ, греческомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, сербскомъ и чешскомъ языкахъ, очевидно, совершенно не стѣсняясь въ такой формѣ излагать свои мысли о предметахъ частнаго характера. Тутъ нѣтъ ученаго щегольства, а только удивительная деликатность и уваженіе къ частной жизни тѣхъ людей, о коихъ идетъ рѣчь, напримеръ, о жизни сестры, въ домѣ которой онъ нашелъ себѣ пріютъ, о Чернышевскомъ и др. Очевидно, усидчивое сидѣніе дома за книгами и фоліантами давало уже на второмъ году его пребыванія въ университетѣ блестящіе и плодотворные результаты: въ немъ ярко сказывалась тотъ глубокий ученый, которому суждено дать такъ много русскому просвѣщенію.

Только одинъ вечеръ въ недѣлю онъ оставался въ домѣ, но и тотъ онъ проводилъ у профессора Куторги на занятіяхъ въ его семинаріи. По этому поводу онъ сообщаетъ въ Казань: «Еще разъ прибавлю, что у насъ въ университетѣ уничтожены педагогическія лекціи Куторги, Никитенка и другихъ профессоровъ (не нашихъ, впрочемъ). Никитенко дѣйствительно прекратилъ свои лекціи, а Куторга объявлялъ, что хотя официально его лекціи и уничтожены, но онъ будетъ заниматься съ нами (я у него бываю на педагогическихъ лекціяхъ) попрежнему, если намъ это пріятно будетъ. Мы, конечно,

съ удовольствіемъ приняла его предложеніе, и лекціи продолжаютъ. Лекціи эти довольно интересны: мы (насъ всего девять человекъ) бываемъ у Куторги по четвергамъ вечеромъ и проводимъ у него часъ или полтора времени: сначала толкуемъ о разныхъ интересныхъ предметахъ (Куторга умѣетъ рассказывать—и потому лекціи его не бываютъ скучны, кромѣ того, онъ много видѣлъ, потому что нѣсколько разъ былъ за границей и знакомъ со многими учеными), потомъ начинается чтеніе приготовленнаго сочиненія. У него богатая историческая бібліотека, и онъ никогда не отказываетъ студентамъ въ книгахъ; изъ нихъ, между прочимъ, есть у него нѣкоторыя рѣдкія теперь сочиненія, такія иногда, какихъ нѣтъ и въ университетской бібліотекѣ.)

Куторга вообще производилъ впечатлѣніе на Пыпина, и не только, какъ лекторъ и руководитель семинаріи, но и какъ авторъ ученыхъ сочиненій, которыми его ученики зачитывались. «Теперь я читаю Куторги «Исторію Афинской республики отъ убійства Иппо до смерти Мильтіада». Книжка небольшая, составленная прекрасно, и въ самомъ дѣлѣ не ошибается инородный подписчикъ «Современника»: Куторга пишетъ (такъ, какъ и читаетъ) вовсе не скучно, не утомительно. Подумаешь, что эта книжка вовсе не ученая, а простой рассказъ, а между тѣмъ это одно изъ замѣчательныхъ ученыхъ изслѣдованій; стоить посмотреть одніи цитаты—такъ увидите, сколько для этой книжечки было прочитано».

О прочихъ профессорахъ Пыпинъ своимъ казанскимъ пріятелямъ не сообщаетъ никакихъ характерныхъ данныхъ; даже о Срезневскомъ, какъ чловѣкѣ и профессорѣ, онъ въ письмахъ къ Мордовцеву не обмолвливается ни однимъ словомъ, несмотря на то, что эти письма именно полны упоминаніями и ссылками на знаменитаго слависта. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вліяніе Срезневскаго на Пыпина, вліяніе огромнаго ума съ широкой энциклопедической эрудиціей, было значительно, и часто въ письмахъ Александра Николаевича проглядываетъ невольное поклоненіе ученика заслуженному учителю. Уликая по одному случаю Шевырева (его разсужденія о сборникѣ Святослава) въ непослѣдовательности, онъ замѣчаетъ: «Вотъ на какомъ основаніи строилъ свои замѣчанія о Святославѣ одинъ изъ первыхъ ученыхъ филологовъ нашихъ. Вообще, какъ Срезневскій говорить, московскіе ученые всегда приходятъ въ экстазъ, ничего не видя—и какъ смѣшно это бываетъ иногда». Онъ сообщаетъ своимъ провинциальнымъ друзьямъ намѣченныя Срезневскимъ къ выпуску работы, программы его курсовъ, проситъ эти программы сообщить въ казанскомъ университетѣ занимающимся славистику и, наконецъ, подъ руководствомъ и по порученію Срезневскаго самъ выполняетъ нѣсколько отвѣтственныхъ работъ.

Стремленіе принять участіе въ общей и ученой литературѣ проявляется у него довольно рано, и въ одномъ изъ писемъ 1850 года онъ въ шутиливой формѣ

сбѣснѣть оповѣстить своихъ друзей: «Знаешь ли,—пишетъ онъ Д. Д. Мордовцеву, —я выступаю въ слѣдующемъ году на литературное поприще. Конечно, мое первое участіе въ литературной дѣятельности не произведетъ эпохи, и даже, можетъ быть, не будетъ замѣчено холодными современниками, но тебѣ я скажу, въ чемъ состоятъ будетъ первый мой трудъ. Я уже тебѣ писалъ въ одномъ письмѣ, что готовится къ напечатанію статья нѣкоего Лерхе. Эта статья теперь у Николи; онъ ее просматриваетъ; я также попытствовалъ заглянуть въ нее и убѣдился или лучше доказалъ Николю, что тамъ въ одномъ мѣстѣ должно поставить черточку (—); онъ не могъ сопротивляться моимъ доказательствамъ, и я поставилъ ее; видишь—въ этой статьѣ будетъ, слѣдовательно, часть и моего дѣланія. Кромѣ того, черезъ мои руки (ужъ совершенно мои) прошла также одна статья Срезневскаго; въ ней моего участія уже гораздо больше».

Когда въ 1903 году праздновался пятидесятилѣтній юбилей научной дѣятельности Александра Николаевича, то Д. Д. Мордовцевъ на юбилейномъ обѣдѣ протестовалъ противъ приуроченія юбилея къ этому году и, основываясь на письмѣ своего друга о тире въ работѣ Лерхе, заявилъ, что празднованіе запоздало на два года. Юбиларъ и присутствовавшіе смѣялись этому шутиливому протесту, но официально все-таки началомъ выступленія Александра Николаевича на учено-литературномъ поприщѣ признали считать 1853 годъ, когда въ «Отечественныхъ Запискахъ» была напечатана его статья о драматургѣ XVIII вѣка Лукинѣ. Но если не правъ Мордовцевъ, то и 1853 годъ строго нельзя назвать первымъ юбилейнымъ годомъ въ дѣятельности нашего ученаго. Еще въ предшествовавшемъ году (1852) онъ заявилъ себя двумя работами, изъ коихъ одна осталась въ архивахъ петербургскаго университета, а другая была напечатана въ «Сборникѣ Академіи Наукъ» (№ 3).

Первая работа была написана для соисканія медали на тему, заданную профессоромъ А. Никитенкомъ для студентовъ историко-филологическаго факультета: «Разсмотрѣть главныя комедіи Сумарокова, фонъ-Визина, Княжнина и князя Шаховскаго въ отношеніи къ содержанію, формѣ и языку, и въ заключеніе представить общій взглядъ, на какую степень эта отрасль словесности была возведена у насъ остальными писателями». По представленіи этой работы, студентъ четвертаго курса А. Пыпинъ былъ удостоенъ факультетомъ золотой медали. Вторую его работою, уже увидавшю свѣтъ, былъ этимологически-синтаксическій словарь къ Новгородской лѣтописи, какъ уже сказано, напечатанный въ «Сборникѣ Академіи». Занятый разработкою лѣтописи, Срезневскій привлекъ къ этой работѣ всѣхъ своихъ лучшихъ учениковъ, въ томъ числѣ и Пыпина. На его долю выпала Новгородская лѣтопись, Ипатьевская была занята Чернышевскій, а Псковской—Д. Д. Мордовцевъ.

Уже приведенных фактических данных достаточно, чтобы с неопровержимою ясностью констатировать, что изъ Александра Николаевича къ концу его университетскаго ученія вполне выработался молодой ученый, передъ которымъ широко разстилается просторное научно-литературное поприще. Въ этомъ убѣжденіи, повидимому, пребывали и его университетскіе наставники, изъ которыхъ нѣкоторые намекали юному студенту, и вполне опредѣленно, на будущую возможность магистерства и докторанта. Такъ, профессоръ древней географіи М. И. Касторскій, когда Пыпинъ держалъ у него переходный экзаменъ съ третьяго на четвертый курсъ, сказалъ ему при всей аудиторіи, что его отвѣтъ по своей точности, вѣрности и большой подробности отвѣтъ достойный магистранта или докторанта. Его связи съ ученымъ міромъ разрастались съ каждымъ годомъ, и уже въ 1851 году онъ, проѣздомъ черезъ Москву, сблизился съ тамошнюю плеядою молодыхъ ученыхъ—И. Е. Забѣлинымъ, Ѳ. И. Буславымъ, Н. С. Тихомировымъ и другими, которыхъ въ своемъ письмѣ къ Мордовцеву и аттестуетъ «славными господами», гостеприимно и радушно его встрѣтившими.

Но если А. Н. Пыпинъ широкою рукою почерпалъ изъ сокровищницы науки дары ея, то онъ не страдалъ эгоистическою скупостью и боязливо подѣлиться этими дарами съ своими близкими. Напротивъ, всѣ его письма полны желаній подѣлиться приобретенными свѣдѣніями со своими казанскими товарищами. Онъ старательно оповѣщаетъ ихъ о выходящихъ или имѣющихъ выйти ученыхъ трудахъ, какъ у насъ въ Россіи, такъ и за границею, совѣтуетъ съ ними ознакомиться, общается даже нѣкоторые высылать въ провинцію и употребляетъ всѣ силы, чтобы пробудить въ казанскихъ лѣтяхъ духъ пытливости и работоспособности. Онъ всюлетуеся ходомъ занятій Ровинскаго, чтеніемъ Григоревича и наслаждаясь всю мощью своего юного слова на Данечку Мордовцева, побуждая его къ работѣ, въ видахъ чего задаетъ соотвѣтствующія его уму и способностямъ темы и научныя задачи. Узнавъ, что его милый Данечка перешелъ съ математическаго факультета на философскій по отдѣлу словесности, онъ радуется, что тотъ бросилъ математическую сущь, но тутъ же сибивить, прикрывая себя авторитетомъ Николи, утилизировать поэтическія и литературныя способности своего друга въ примѣненіи къ тѣмъ вопросамъ науки, которые его въ то время интересовали въ Петербургѣ на лекціяхъ Срезневскаго. Занимаясь изученіемъ Краледворской рукописи, онъ вспоминаетъ о своемъ казанскомъ другѣ и пишетъ ему въ концѣ 1850 г.: «Недавно мнѣ пришла въ голову мысль: я читалъ Краледворскую рукопись на новочешскомъ языкѣ... и мнѣ вдумалось, что какъ бы хорошо было, если бы ты перевелъ Краледворскую рукопись на холандскій языкъ (или малороссійскій, какъ угодно), на тотъ, какимъ говорятъ у насъ на Дону. Я уже, кажется, писалъ тебѣ, что Ганка затѣваетъ изданіе Краледворской рукописи—polyglotta, что недавно черезъ Срезневскаго онъ до-

сталъ переводъ съ болгарскаго; черезъ Срезневскаго же твой переводъ могъ бы быть переданъ г. Ганкѣ и быть напечатаннымъ... Въ самомъ дѣлѣ, странно бы было, если бы не было переводовъ славянскихъ, когда есть переводы нѣмецкій, даже англійскій. Какъ ты объ этомъ думаешь? Я просилъ уже Николю поговорить объ этомъ съ Срезневскимъ: быть можетъ, у Ганки нѣтъ еще холандскаго перевода, а если есть, то, быть можетъ, только южно-русскій (т. е. не совсѣмъ такой, какъ вашъ языкъ). Я не вижу никакой причины, по которой тебѣ можно было бы отказаться; да если бы у Ганки и былъ уже переводъ этотъ, то все-таки можно отослать ему; онъ, можетъ быть, предпочелъ бы твой, потому что ты, разумеется, сталъ бы переводить стихами, а стихъ у тебя гладкій, ровный, тогда какъ въ тѣхъ Ганкиныхъ переводахъ, которые уже были помѣщены, не всѣ отличаются этими достоинствами. Въ отношеніи языка ты тоже не можешь отговариваться: древне-чешскій языкъ такъ нетруденъ, такъ близокъ къ церковно-славянскому, даже къ нынѣшнему русскому, что не будетъ представлять почти никакой трудности... Ты, можетъ быть, вдумался отговариваться недостаткомъ времени, но эта отговорка никуда не годится, потому что Краледворская рукопись такъ мала, что и не потребуетъ вовсе много времени. Впрочемъ, всѣ эти случаи и разбираю такъ только потому, что убѣжденъ, что ты не захочешь отказываться (если нужна будетъ эта работа) отъ этого дѣла, которое принесетъ пользу и удовольствіе тебѣ и будетъ полезно для науки. Не знаю, какъ до сихъ поръ почтенный г. Григоревичъ не вдумалъ попросить тебя объ этомъ».

Какъ характерно это письмо для молодого Пыпина и обрисовки его духовнаго образа! Тутъ не такъ самая тема интересна, какъ тѣ приемы убѣжденія своего друга, которые пущены въ ходъ: сколько здѣсь тонкаго ума, знанія человѣческаго сердца и настойчивости въ достиженіи цѣли, когда обдуманно и рѣшительно отрѣзаются всѣ пути отступленія, для того чтобы онъ не чувствовалъ и не видѣлъ, какъ его берутъ въ руки и заставляютъ сдѣлать намѣченное. Въ моемъ распоряженіи нѣтъ отвѣтовъ Мордовцева, но уже изъ слѣдующихъ писемъ къ нему Пыпина видно, что дѣло не обошлось безъ сопротивленія, и нашъ петербургскій молодой ученый развертывается передъ своимъ казанскимъ товарищемъ въ подробностяхъ даже лингвистическіе способы выполненія задуманной задачи и обещаетъ эти способы во всѣхъ деталяхъ. Въ этой настойчивости сказались въ Александрѣ Николаевичѣ богатая педагогическія силы воздѣйствія на окружающихъ и соприсающихся съ нимъ, которые впоследствии реализовались въ русской жизни многочисленными конкретными явленіями. Хотя онъ и былъ удаленъ несчастными и злыми обстоятельствами отъ официальнаго руководства занятіями университетской молодежи, мы тѣмъ не менѣе видимъ на многочисленныхъ примѣрахъ въ нашей ученой литературѣ и журналистикѣ, какъ многое по-

явилось въ свѣтъ и въ какомъ направленіи и освѣщеніи, именно благодаря его просвѣщенному и умѣлому руководству, помощи и воздѣйствію.

Послѣ настойчивыхъ писемъ своего друга Д. Л. Мордовцева, наконецъ высалъ ему просимый переводъ знаменитой рукописи, и вотъ Пыпинъ, довольный достигнутымъ результатомъ, сѣлѣтъ съ посылкою ласковой, но обстоятельной критики, простирающейся и на размѣръ стихосложенія, и на недостатки въ лингвистической точности, и на стилистическіе промахи; и все это имъ сдѣлано съ удивительною арудицею, глубокимъ пониманіемъ дѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ деликатно и осторожно, чтобы не задѣвать самолюбія автора.

Я уже говорилъ о тоскѣ одиночества, которая съ особенною силою охватила Пыпина, особенно послѣ отъѣзда его друга Николи. Но вотъ въ одномъ изъ писемъ другого «друга и брата», Данечки, онъ видитъ указаніе, что тотъ былъ бы не прочь при благоприятныхъ обстоятельствахъ переѣхать въ Петербургъ и поступить въ зѣбшій университетъ. Это извѣстіе было искрою, которая зажгла любящее сердце Александра Николаевича, и онъ въ рѣдъ горячихъ, любящихъ писемъ уговариваетъ своего друга скорѣе осуществить эту мысль. Онъ обсуждаетъ переѣздъ Мордовцева въ столицу самымъ обстоятельнымъ образомъ, взвѣшиваетъ все, что говоритъ за этотъ переѣздъ, и приходитъ къ неоспоримому выводу, что переѣздъ этотъ долженъ совершиться во что бы то ни стало, безъ чего онъ, Пыпинъ, не знаетъ, какъ ему и быть. Онъ изыскиваетъ способы своему другу для предотвращенія матеріальныхъ стѣсненій и указываетъ на даваніе уроковъ, какъ на первое средство къ жизни, и тутъ же въ деликатной и осторожной формѣ, только намекомъ, даетъ понять, что и онъ, Пыпинъ, конечно, приметъ всѣ мѣры, чтобы облегчить своему Данечкѣ бремя жизни. Изъ словъ Д. Л. Мордовцева оказывается, что когда онъ дѣйствительно переѣхалъ въ Петербургъ, то его другъ предоставилъ въ его распоряженіе необходимое пропитаніе, въ видѣ обѣдовъ у сестры, которыми нашъ заслуженный романистъ въ первое время безплатно и пользовался.

Соблазняя своего друга переѣздомъ въ Петербургъ, Пыпинъ между прочимъ писалъ: Пыпинъ мнѣ поскорѣе о твоёмъ рѣшеніи: я приготовлюсь тебя принять. Какъ мы здѣсь заживемъ! Не говоря уже обо всемъ прочемъ, какія сокровища представляются твоему наблюдательному и пылливому уму! Конечно, ты будешь ужасно поглощать Публичную бібліотеку, Румянцовскій музей и проч. Всѣ рукописи, начиная отъ древнѣйшаго Нестора, пройдутъ черезъ твои руки; Срезневскій непременно завербуетъ тебя въ свои партизаны (да ты имъ будешь и по своей волѣ); ты будешь имѣть случай видѣть двигателей нашей науки и литературы, хотя не всѣхъ, но очень многихъ, тебя займутъ вопросы гуманные, социальныя, литературныя, ученые; ты самъ, можешь быть, выступишь въ яѣкоторомъ родѣ на поприщѣ ученой или лите-

ратурной дѣятельности, какъ человѣкъ талантовъ; самъ будешь дѣйствовать, а это-то вѣдь и нужнѣе всего: нужно сдѣлать что-нибудь самому. А Казань кишеть въ своемъ уединеніи, ничего не дѣлаетъ со всѣми своими кліентами; все дѣйствующее здѣсь, въ Петербургѣ; поэтому и тебѣ нужно быть здѣсь. Итакъ, безъ сомнѣнія, въ первыхъ числахъ августа я буду встрѣчать въ почтамтѣ или въ какой-нибудь конторѣ дилижансовъ новаго провинціала, прѣѣхавшаго въ Петербургъ».

Ожиданія Пыпина сбылись, и осенью 1851 года Д. Л. Мордовцевъ поступилъ въ петербургскій университетъ. Съ этого времени для обоихъ нашихъ выдающихся дѣятелей русской литературы и науки наступила новалъ, болѣе свѣтлая и радостная пора—ихъ дружба расцвѣла, подобались къ нимъ и соответствующіе товарищи, какъ я уже о томъ упоминалъ, В. И. Ламанскій и Н. Трушковскій, и потекла жизнь молодежи, полная духовныхъ интересовъ и умственныхъ наслажденій въ широкой и свѣтлой для нѣкоторыхъ изъ нихъ перспективѣи впереди на многіе годы. А тѣмъ временемъ не за горами былъ для Александра Николаевича и порогъ университета, переступивъ который, онъ очутился на первыхъ порахъ въ той сѣрой дѣйствительности, именующей русской жизнью первой половины пятидесятихъ годовъ, на фонѣ которой даже еще не пробивались лучи солнца, согрѣваемаго черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ русскій народъ дыханіемъ воли и свободы. Личная жизнь сложилась для молодого кандидата университета на первыхъ порахъ благоприятно, но уже скоро эта самая жизнь обернулась для него злою мачехою, наносившею ему ударъ за ударомъ и съ поразительною неблагодарностью платящую ему за все то доброе и хорошее, что онъ отъ полноты возвышеннаго сердца и своего крупнаго ума въ нее вносилъ и съ неустанною энергіею въ нее выдѣлялъ, на благо русскаго народа и его просвѣщенія.

Въ 1853 году А. Н. Пыпинъ кончилъ курсъ университета съ оставленіемъ при немъ для приготовленія къ профессорскому званію, и съ того времени, вплоть до 1861 года, мы видимъ его въ роли ученаго изслѣдователя и представителя науки, дѣятельность котораго связана непосредственно съ столичнымъ высшимъ разсѣдникомъ просвѣщенія. Ученая его работы, служащая какъ бы преддверіемъ къ его предстоящей профессорской дѣятельности, появляются въ печати быстро одна за другою. Въ числѣ этихъ извѣстныхъ работъ слѣдуетъ назвать: «Словарь къ первой повгородской лѣтописи», «Матеріалы для славянской палеографии къ «Описанію Румянцовскаго Музеума» Востокова», «Очерки изъ старинной русской литературы», «О романахъ въ старинной русской литературѣ», «Старинные апокрифы», критическая статья по поводу «Русскихъ народныхъ сказокъ» Аванасьева, «Владимиръ Лукинъ», его кандидатская диссертация, отрывки изъ которой были помѣщены въ

«Отечественных Записках», наконец, критическая статья на книгу Милокова «Очерки истории русской поэзии».

Профессор А. С. Архангельский в своем прекрасном очерке, посвященном трудам А. Н. Пыпина¹⁾, так характеризует его работы того периода: «Своим содержанием все эти работы говорили не только о широком понимании задач предмета, — но и о современной новой его постановке. Уже в этих первых работах нельзя не видеть постоянного внимания исследователя к историческому факту, стремления к выяснению исторического значения и внутреннего органического развития изучаемого историко-литературного явления, к выяснению за наличностью факта его внутреннего значения и смысла. Уже здесь исследователь выдвигает важное культурное значение нашей старой переводной повести, поднимает вопрос о влиянии Востока на древне-русскую литературу, приступает к изучению русской журналистики XVII века, цѣлую монографию посвящает выяснению литературной деятельности очень малоизвестного писателя... Критическая статья о книжке Милокова являлась любопытной иллюстрацией столкновения старых литературных взглядов с новыми. Работы нашего ученого помещались на страницах специальных изданий того времени, а также журналов «Современник», «Отечественные Записки», «Атеней». Я не стану утомлять внимания читателей полной библиографической справкой о трудах покойного академика за весь тот период — интересующиеся найдут эту справку в названной брошюре профессора А. С. Архангельского, а также в «Списке трудов академика А. Н. Пыпина. 1853—1903 года», составленном Я. Л. Барсовым²⁾; остановимся лишь на его магистерской диссертации «Очерки литературной истории старинных повестей и сказок русских», напечатанной в «Ученых Записках II отделения Академии Наук», в т. IV за 1858 год. Труд этот по всей справедливости считается классическим в нашей литературе и составил в ней в некотором роде эпоху.

В этой работе дана у нас впервые история русской повести, начиная с заимствований из византийских и южно-славянских источников и кончая повестями, сложившимися под западным влиянием, и первыми попытками оригинальной бытовой повести XVII века. Автор пользовался рукописными сборниками Публичной библиотеки и Румянцовского музея, в то время еще мало известными и не обследованными. Некоторые старинные повести впервые исследованы Александром Николаевичем, а другие («Девгеніево Дѣліе», «Повесть о Горь-Злосчастіи») даже впервые им от-

¹⁾ «Труды академика А. Н. Пыпина в области истории русской литературы. По поводу пятидесятилетия его научной деятельности». СПб. 1903.

²⁾ «История отделения русского языка и словесности императорской академии наук». СПб. 1903.

крыты. Этот труд Пыпина, по свидетельству профессора А. С. Архангельского, сблал настоящую эпоху в изучении взятого отдела нашей старой литературы. Перед русской наукой разом открылась цѣлая невѣдомая область, одновременно подвергнутая и самому тщательному, документальному изучению. По обширности захваченного к изучению материала, по эрудиции и тщательности изучения труд Пыпина являлся событием для всей тогдашней нашей науки, только что начинавшей становиться на ноги, совсем не приуроченной к подобного рода исследованиям... «Очерк» Пыпина не только во все послѣдующее время являлся исходным пунктом для каждой специальной работы в области нашей старинной повести, — но продолжает вполне сохранять это значение и до сих пор, сохранить, повидимому, и на очень еще долгое время».

[Когда диссертация была уже представлена в факультет, по им еще не рассмотрѣна, Пыпинъ, как то мы узнаем из недавно опубликованных проф. А. С. Архангельским архивных казанских университетских материалов¹⁾, вдруг подает поочинило казанскаго учебнаго округа слѣдующее прошеніе: «Окончивъ въ 1853 году полный курсъ въ с.-петербургскомъ университетѣ по историко-филологическому факультету, разряда общей словесности, въ прошломъ 1855 году я выдержалъ экзаменъ на степень магистра русской словесности и, желая въ настоящее время занять мѣсто при императорскомъ казанскомъ университетѣ, имѣю честь покорнѣйше просить ваше превосходительство предоставить мнѣ право на получение мѣста адъюнкта по кафедрѣ русской словесности по защищеніи мною диссертации моей, представленной уже историко-филологическому факультету петербургскаго университета. Необходимые для этого документы въ свое время будутъ мною представлены въ департаментъ народнаго просвѣщенія. Кандидатъ с.-петербургскаго университета Александръ Пыпинъ. Петербургъ, 21-го мая 1856».]

[Прошеніе это было передано поочиниломъ на обсужденіе совѣта университета, который въ засѣданіи 15-го сентября, по обсужденіи ученыхъ работъ просителя, общающихся «самыя лучшія надежды въ будущемъ», напелъ Пыпина вполне достойнымъ занять мѣсто адъюнкта по кафедрѣ русской словесности. По произведенной баллотировкѣ выяснилось, что за представленіе ему желаемой кафедры высказалось семнадцать голосовъ и противъ — одинъ, вслѣдствіе каковыхъ результатовъ баллотировки деканъ историко-филологическаго факультета 29-го октября 1856 году официально сообщилъ ректору университета: «Вслѣдствіе предложенія вашего превосходительства отъ 12-го октября, за № 659, историко-филологическій факуль-

¹⁾ «По поводу пятидесятилетия научной и литературной деятельности академика А. Н. Пыпина».

теть имѣть честь донести, что на мѣсто уволеннаго кандидата Ровинскаго представленъ и баллотированъ въ засѣданіи совѣта отъ 15-го сентября исполняющимъ должность адъюнкта по кафедрѣ русской словесности г. кандидатъ Пыпинъ, и что за тѣмъ факультетъ ожидаетъ утвержденія г-на Пыпина въ означенномъ званіи».

Дальнѣйшій ходъ дѣла изъ имѣющихся документовъ не виденъ. Известно только, что Пыпинъ не покинулъ Петербурга, и вопросъ о его казанской профессурѣ канулъ въ воду.

По защитѣ диссертациі Пыпинъ былъ удостоенъ степени магистра русской словесности и въ 1858 году, въ качествѣ профессоранта по исторіи европейскихъ литературъ, посланъ университетомъ въ путешествіе по славянскимъ землямъ и Западной Европѣ. Это путешествіе нашло себѣ отраженіе и въ нашей журналистикѣ: Александръ Николаевичъ посвятилъ ему два очерка: «Изъ Венеціи» и «Изъ Флоренціи», напечатанные въ 1859 году въ «Современникѣ». Въ бытность свою за границею Пыпинъ, между прочимъ, побывалъ и въ Лондонѣ у Герцена. Въ интересныхъ «Воспоминаніяхъ» Н. А. Огаревой-Тучковой мы находимъ слѣдующее любопытное о немъ упоминаніе. «Не могу вспомнить теперь, съ кѣмъ прѣзжалъ въ это время еще очень молодой профессоръ А. Н. П.—, —говоритъ она, разумѣя въ данномъ случаѣ именно нашего ученаго. — Герценъ уже зналъ его по его статьямъ, онъ былъ пріятно пораженъ прекрасной симпатичной наружностью молодого профессора. Сынъ Герцена сопровождалъ его по Лондону и съ удовольствіемъ рассказывалъ о томъ, что молодой ученый предпочиталъ шумнымъ удовольствіямъ большого города разговаривать съ трехлѣтнимъ ребенкомъ квартирной хозяйки и отъ души смѣяться въ его выходкамъ. Слушая этотъ рассказъ, Герценъ сказалъ сыну: «Что ты говоришь, Саша, меня вовсе не удивляетъ, выраженіе его лица прекрасно, въ немъ сказывается высоко-нравственная чистота».

Этотъ рассказъ г-жи Огаревой чрезвычайно характеренъ для обрисовки духовныхъ образовъ обоихъ изъ дѣйствующихъ лицъ — и Герцена, и Пыпина. Издатель «Колокола» своимъ острымъ и пытливымъ умомъ какъ нельзя въпрямь разглядѣлъ природу своего гостя, отличительною чертою котораго была именно высоко-нравственная чистота, сопровождавшая его всю жизнь, вплоть до гробовой доски. Эта евангельская чистота сердца и сближала его постоянно съ малыми дѣтми, ради бесѣды съ которыми онъ и въ старости всегда готовъ былъ пожертвовать разговоромъ съ самыми умными и интересными своими знакомыми. И, глядя на этого старика съ лучистымъ сіяніемъ добрыхъ глазъ, въ которыхъ виднѣлась его чистая душа, невольно приходили на умъ и великая нагорная проповѣдь и заповѣдь Христа своимъ ученикамъ: «Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ», и «Истинно говорю вамъ, если не обратитесь и не будете, какъ дѣти, не войдете въ царство небесное».

[По возвращеніи изъ заграничнаго путешествія Александръ Николаевичъ былъ назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора и въ 1860—1861 учебномъ году читалъ въ университетѣ лекціи по исторіи провансальской и средне-вѣковой французской литературъ. Официальный историкъ петербургскаго университета очень мало сообщаетъ намъ о Пыпинѣ, какъ профессорѣ, но зато въ воспоминаніяхъ В. П. Острогорскаго мы встрѣчаемъ по нему предмету обстоятельныя свѣдѣнія. «Помнится, еще задолго до появленія Пыпина въ петербургскомъ университетѣ, въ публикѣ, какъ и между студентами, ему предшествовала самая лестная репутація солиднаго молодого ученаго, — повѣствуетъ г. Острогорскій. — Это уже сразу располагало къ нему молодежь; но съ первыхъ же лекцій, увидѣвъ, что онъ, отличаясь строгой научностью, представляли, повидимому, интересъ только для специалистовъ, большинство нахлынувшихъ было слушателей перестало его посѣщать, и остались его постоянными и усердными слушателями почти только одни филологи разныхъ курсовъ, которыхъ въ то время было всего-то на всѣхъ четырехъ курсахъ едва ли болѣе ста! Послѣ серьезнаго вступленія, гдѣ опредѣлялъ онъ значеніе своего предмета въ ряду наукъ, современное положеніе послѣдняго въ наукѣ европейской и указавъ основные приемы научной критики и главнѣйшіе источники, онъ прямо перешелъ къ разсмотрѣнію средне-вѣковой литературы, сколько помнится, провансальской и средне-вѣковыхъ французскихъ лѣтописцевъ-мемуаристовъ. Странное впечатлѣніе, произвелъ на меня въ первое время Александръ Николаевичъ, пока я нѣсколько не привыкъ къ нему и не сталъ все болѣе и болѣе заинтересовываться предметомъ и уважать профессора. Не было у него ничего внѣшняго, блестящаго, поразжающаго, — ничего такого, что такъ увлекало меня, напримѣръ, въ Стасюлевичѣ, Костомаровѣ или Никитенкѣ: ни французскаго блеска и текучей, краснорѣчивой, бойкой рѣчи перваго, ни оригинальной художественности втораго, ни изящества и задумчивости третьяго; не было и ироническаго тона и разнообразія занимательнаго, часто анекдотическаго содержанія лекцій Срзневскаго, — ничего этого у Пыпина не было, и многимъ изъ насъ, избалованнымъ красотой лекцій и популяризацией науки, это могло не нравиться. Но, по отношенію къ себѣ лично, я долженъ сказать, что за все мое студенческое время, изъ всѣхъ слушавшихъ мною филологовъ, кромѣ Костомарова — все-таки профессора-художника, много бравшаго и своей личностью, А. Н. Пыпинъ преимущественно остался въ моей памяти идеаломъ вполне спокойнаго; строго серьезнаго ученаго, всецѣло отдаващаго наукѣ, нелицеприятные выводы которой даются только путемъ долгаго и упорнаго самостоятельнаго изслѣдованія источниковъ и глубокой исторической ихъ критики. Своими немногими лекціями онъ показалъ мнѣ настоятельную необходимость для науки основательнаго знанія иностранныхъ языковъ, недостаткомъ котораго такъ страдаютъ русскіе студенты; показалъ, сколь важно

для учителя словесности знакомство с литературой европейской, и как много требуется от человека упорного, долгого труда, чтобы внести в науку хоть что-нибудь новое, существенное».

Профессорство А. Н. Пыпина было очень кратковременно: в 1861 году разыгралась в петербургском университете смута, известная под названием «студенческих волнений», результатом которой был выход в отставку нескольких выдающихся представителей профессорской корпорации, в том числе и Александра Николаевича.

В ноябре 1861 года дверь петербургского университета крепко и навсегда захлопнулась за спиною молодого ученого, и первым его научно-общественным надеждам был нанесен жестокий удар. Злая мачеха-судьба, руками официальных руководителей нашей образованности, постаралась, чтобы ни эти, ни какие-нибудь другие из дверей патентованных храмов науки перед ним больше не раскрывались почти до конца дней его жизни, достигла этого и тем самым навсегда вписала в историю отечественного просвещения страницы позора...

В своих письмах к Д. Л. Мордочову студент 2-го курса Пыпин уже постоянно обращается к интересам литературы и журналистики. Поговорив с своим другом о научных повестях, он вслед за тем делает обзорные стилизации журналов и, очевидно, со слов своего двоюродного брата, Чернышевского, дает о нем беглые сведения и т. д. В недалеком будущем иметь появиться на свет или каковы предположения насчет этого того или другого журнала. Его внимание привлекают к себе работы «Николи», он пытается расшевелить в этом направлении своих казанских приятелей, пытаясь их, почему не пишет ничего Шинкин (известный впоследствии публицист), ожидая с нетерпением приезда в Петербург тоже известного поэта-переводчика Михайлова, приятели Чернышевского, дать о нем беглые сведения и т. д. Таким образом, журнальная жилка, жилка ученого публициста в нем начинает рано биться, и атмосфера журнализма пронитывает его насквозь еще на школьной скамье. Возвращаясь к обзорной тематике, когда он вступил на литературный путь, а также запаса побуждений и возбудителей на него прогрессивных начал, Пыпин в своей застольной беседе¹⁾ так обрисовывает сумму этих ныне уже исторических данных: «В начале сознательной жизни, — говорит он, — моим ближайшим руководителем, старшим товарищем был мой двоюродный брат... Он был юноша, ревностно искавший научного знания и полный идеа-

лизма; я был мальчишкой. Он был уже богат сведениями, которые сохраняла его редкая память; в поэзии он носился с Шиллером, Жуковским и Пушкиным. Его увлекали не одни поэтические картины, но и возвышенные человеческие идеи. Когда он был в университете, я был в классах гимназии... В письмах он поддерживал во мне интерес к занятиям, особенно рекомендовал историю, — с тех пор я узнал имена Раумера и Шлоссера, хотя в провинции не мог иметь их в руках. Часто писал он мне длинные письма по-латыни; сам он был отличный латинист и хотел меня приучать к латыни, а также он касался в письмах таких предметов, о которых было менее удобно писать по-русски. Здесь в первый раз, к концу сороковых годов, я увидел возможность крестьянского вопроса. В письмах в связи с историей говорил о «glebae adscripti» и «terrae firmi». В Петербург я застал его за новейшей немецкой философией и новейшей историей. В университете, с 1849 г., меня привлекала русская старина и литература и вместе с тем старина и литература славян. [По окончании курса, я вскоре познакомился с литературными кругами и особенно близко видел круг редакции «Современника» с Некрасовым во главе... Здесь открылась для меня поучительная и знаменательная картина русской жизни и литературы. Над литературой тяготело то реакционное давление, которое внушено было после 1848 г. опасениями мнимой возможности отражения у нас западных политических волнений. «Негласный комитет» своею подозрительностью угнетал самую цензуру; надзор был усилен до того, что каждое крупное ведомство имело свою цензуру, простиравшуюся на все, в чем литература могла касаться его. Всего считалось 17 цензур... В этих тяжелых условиях должна была действовать литература, призванная, казалось бы, выражать нравственное состояние общества [слишком часто приходилось ей говорить неясными отвлеченностями или далекими намеками, или просто умолкать. Тем временем надвигалась политическая гроза, которая разразилась крымской войною. Мне памятно возбуждение общества, когда под влиянием неожиданных испытаний и разоблачений сложилось убеждение в несостоятельности старого порядка. В то же время подняли севастопольской обороны говорили о богатстве личного мужества и самоотвержения. Что нельзя идти так дальше, начинали видеть даже люди заурядного понимания. Близились кризисы».

По словам г. Веселовского, передающего эту речь Пыпина, в литературных кругах жило с 1840-х годов твердое убеждение в необходимости иного порядка, преобразования, большего простора для просвещения, большей свободы для общественности. «При всех стеснениях конца сороковых и первых пятидесятых годов в литературе не заглухла живая струя преданий; помнили заветы Вельяминова. Чернышевский писал

¹⁾ Отклик из 3-й книги «Литературного Вестника» за 1903 г.

тогда «Очерки Гоголевского периода», которые были первою литературною биографіею великаго критика; фактическія черты или прямо от современников, по их устнымъ разсказамъ, особенно Анненкова. Съ конца сороковыхъ годовъ выступила, знаменитая вскорѣ, плеяда писателей-художниковъ, оставившая неизгладимый слѣдъ на его интересахъ и стремленіяхъ; готовились произведенія, которымъ суждено было составить эпоху въ исторіи русской литературы. Съ такими-то задатками интересовъ, намѣреній и склонностей, въ которыхъ какъ будто уже мелькали очертанія будущей биографіи Вѣлинскаго, его трудовъ по древней литературѣ и этнографіи и построеннаго на широкой основѣ племенной равноправности и уваженія къ народоу личности историческаго обозрѣнія всѣхъ славянскихъ литературъ, А. Н. Пыпинъ вступилъ въ новый періодъ русской жизни и общественной. «Повторилось дней Александровыхъ прекрасное начало». Общество исполнилось надеждъ; люди сороковыхъ годовъ и ихъ преемники, хранившие, какъ драгоцѣнный заветъ, память тѣхъ временъ, ожидали исполненія своихъ давнихъ мечтаній. Дѣятельность поэта расширилась и оживилась. Въ «Современникѣ», съ которымъ Пыпинъ сблизился, благодаря Чернышевскому, сосредоточивались лучшія силы этой плеяды.—Тургеневъ, Гончаровъ, Некрасовъ, Григоровичъ, наконецъ, новое имя, всего въ трехъ буквахъ, Л. Н. Т., вызвали самыя горячія сочувствія,—вернулись къ дѣятельности Достоевскій, Салтыковъ. «Я считаю себя счастливымъ»,—говорилъ Пыпинъ:—что былъ свидѣтелемъ, иногда близкимъ, этой оживленной поры, которая стала уже историческою эпохою русской литературы. Это была пора въ своемъ родѣ единственная,—рѣдкое соединеніе дарованій, богатыхъ и разнообразныхъ; это было настоящее представительство національнаго гения, и мы видѣли потомъ, что Европа съ изумленіемъ открыла въ созданіяхъ этой литературы и русскій художественный гений, и русскую душу».

Помѣстивъ свои журнальныя статьи въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Атеней» и «Современникъ», онъ со временемъ сосредоточился исключительно на страницахъ послѣдняго журнала, гдѣ съ 1863 г. былъ членомъ редакціи, а съ 1865 по 1866 гг.—годъ закрытія «Современника»,—его отвѣтственнымъ редакторомъ. За этотъ періодъ имъ помѣщено здѣсь немало крупныхъ статей, критическихъ и бібліографическихъ замѣтокъ, а также переводныхъ произведеній. Вступленіе Пыпина въ составъ редакціи «Современника», послѣ смерти Добролюбова и ареста Чернышевскаго, было, конечно, для журнала большимъ и цѣннымъ приобретеніемъ, но дни его были сочтены, и на долю Александра Николаевича выпала печальная обязанность хоронить дорогое порученное ему дѣло и вторично уже испытать въ жизни злой ударъ судьбы, разбившей еще разъ его надежды и упованія.

Со своимъ участіемъ въ «Современникѣ» Пыпинъ сохранилъ самыя свѣтлыя воспоминанія и именно имъ посвятилъ немало теплыхъ страницъ въ своей послѣдней работѣ, посвященной личности Н. А. Некрасова. Въ этомъ трудѣ онъ изложилъ ясно и понятно излагаетъ, почему между авторомъ «Кому на Руси жить хорошо» и его старшими по литературѣ товарищами произошелъ разрывъ и почему именно Некрасовъ скорѣе тяготѣлъ къ молодой фракціи своего журнала, нежели къ старшей. Говоря о послѣдней, Пыпинъ утверждаетъ: «Новая критика, т.-е. критика Добролюбова и Чернышевскаго, была имъ непріятна; «политика», т.-е. вопросы общественныя, были неинтересны: «разные экономическіе вопросы» (а рѣчь шла объ освобожденіи крестьянъ) просто невразумительны. Словомъ, интересы молодыхъ поколѣній,—тѣ самыя, которые подняты были въ тревожную пору крымской войны и волновали лучшую часть общества,—были какъ будто чужды старымъ друзьямъ, когда, напротивъ, для молодыхъ поколѣній это были интересы животрепещущіе. Но то, что было чуждо или нелюбимо старымъ друзьямъ, было Некрасову вполне пріусуще, и не трудно было человѣку, нѣсколько воспримчивому къ общественнымъ вопросамъ, понять, въ годы кризиса крымской войны, общественное возбужденіе; понять, что оно должно было быть тѣмъ сильнѣе въ поколѣніяхъ молодыхъ, всегда наклонныхъ къ идеальному и еще не успѣвшихъ зачерствѣть въ рутинѣ себялюбія и самодовольства. Некрасовъ сумѣлъ понять идеалистическое настроеніе, представителями котораго были два новыхъ сотрудника журнала».

Этотъ идеализмъ, понятный Некрасову, сблизилъ его и съ Пыпинымъ, этимъ чистымъ представителемъ именно житейскаго и общественнаго идеализма, а эта-то близость и оставила въ сердцѣ Пыпина на всю жизнь признательность и даже поклоненіе передъ знаменитымъ русскимъ поэтомъ. Послѣ Чернышевскаго никто изъ нашихъ писателей,—Вѣлинскій не въ счетъ, съ нимъ онъ знакомъ, естественно, не былъ,—не производилъ на Пыпина такого сильнаго впечатлѣнія и не имѣлъ такого вліянія, какъ Некрасовъ. Уже въ письмахъ къ Мордовцеву онъ цитируетъ именно этого писателя, и къ нему же летитъ его мысль въ послѣдніе мѣсяцы жизни, когда изъ дали времени передъ нимъ во весь ростъ вырисовывалась эта для многихъ столь загадочная и несимпатичная, а для него—столь понятная и любимая фигура. Какъ бы предчувствуя свой близкій конецъ, онъ сѣвшіе повѣдать читателямъ мелочи и факты изъ жизни этого человѣка, опасаясь, какъ бы со смертью его—послѣдняго сподвижника Некрасова—не осталось чего-нибудь непонятнаго и темнаго. Онъ произноситъ ему свое оправдательное и хвалебное слово, и это слово было послѣдней пѣсней исчезающаго лебедя. Начало и конецъ его журнальной дѣятельности здѣсь какъ бы символически сплелись въ торжествующую пѣсню объ общественномъ идеализмѣ, видимымъ по-

борниками которого были и поэт горя народного и его молодой ученый соредаторъ по «Современнику».

Уже распоряженіемъ министра внутреннихъ дѣлъ отъ 4-го декабря 1865 года «Современнику» было дано второе предостереженіе, и вслѣдствіе сего редакція журнала вынуждена была выступить съ слѣдующимъ разъясненіемъ¹⁾: «Съ полученіемъ «Современникомъ» второго предостереженія въ Петербургъ разнесся слухъ, что «Современникъ» въ слѣдующемъ году издаваться не будетъ. Такъ какъ мы ничего подобнаго не публиковали, а, напротивъ, объявляемъ о продолженіи журнала, то это значитъ, что публика по двумъ предостереженіямъ поспѣшила прійти къ заключенію, что правительство имѣетъ намѣреніе закрыть «Современникъ». Не принимая на себя право входить въ намѣренія правительства, мы все-таки скажемъ, что, съ своей стороны, не можемъ прійти къ подобному заключенію, иначе сами бы закрыли журналъ. Не говоря уже о томъ, что и третье предостереженіе, по смыслу закона, не есть еще непремѣнно смертный приговоръ журналу, укажемъ на слѣдующее обстоятельство». Слѣдуетъ справка изъ практики журналовъ и ссылки на цензурный уставъ, а въ заключеніе сказано: «На этомъ основаны наши надежды на существованіе «Современника» въ слѣдующемъ году; и мы прибавимъ, что видимъ возможность, не измѣняя нашей программы, вести наше дѣло такъ, чтобы впредь избѣгать предостереженій». Но всѣ эти ссылки на смыслъ закона и надежды на возможность борьбы остались тщетными. (Съ № 2 журнала 1866 г. въ нихъ появились статьи Ю. Жуковского «Вопросъ молодого поколѣнія», за каковыя авторъ и отвѣтственный редакторъ А. Н. Пыпинъ были привлечены къ судебной отвѣтственности. По этому случаю Никитенко въ своемъ дневникѣ²⁾ записитъ подъ датой 6-го октября: «Дѣло Пыпина и Жуковского рѣшено во второй судебной инстанціи. Инстанція эта признала обвиненіе ихъ въ томъ, что статья «Вопросъ молодого поколѣнія» оскорбляетъ дворянство, неправильнымъ, но осудила того и другого на трехнедѣльный арестъ на гауптвахтѣ и на взносъ штрафа по сту рублей съ каждаго за бранчивыя выраженія. Итакъ, Валуевъ все-таки не добился полного торжества. Онъ настаивалъ именно на оскорбленіи дворянства».

Такимъ образомъ, Пыпинъ отсидѣлъ положенный срокъ на гауптвахтѣ и, вспоминая о томъ въ послѣдствіи, добродушно замѣчалъ, что и онъ имѣлъ въ жизни «отношеніе къ военному сословію». Однако, по справкѣ Мордовцева, какъ мы знаемъ, это было вторымъ его прикосновеніемъ къ воинскому дѣлу... Въ томъ же дневникѣ Никитенка подъ датой 23-го іюня

¹⁾ «Современникъ», 1865 г., № 12.

²⁾ А. В. Никитенко, «Моя жизнь о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ».

сказано: «Я не помню давно, чтобы правительственная мѣра производила такое единодушное и всеобщее недовольство, какъ... запрещеніе двухъ журналовъ: «Современника» и «Русскаго Слова»—послѣднее, впрочемъ, потому, что сдѣлано помимо закона».

Хотя ударъ судьбы, который постигъ Пыпина, былъ и очень силенъ, но до нѣкоторой степени та же судьба послала ему и нѣкоторое утѣшеніе. Въ томъ же 1866 году его бывшій профессоръ, а потомъ товарищъ по университетскому преподаванію, М. М. Стасюлевичъ, основалъ «Вѣстникъ Европы», журналъ исторіи, литературы и науки, и сплотил здѣсь въ одну литературную группу съ опредѣленнымъ общественнымъ направленіемъ своихъ бывшихъ товарищей, вмѣстѣ съ нимъ покинувшихъ въ 1861 году университетъ. Конечно, ближайшимъ сотрудникомъ и помощникомъ своимъ по журналу онъ пригласилъ А. Н. Пыпина, который съ тѣхъ поръ и почти въ теченіе пѣтихъ сорока лѣтъ былъ самымъ ревностнымъ литературнымъ вкладчикомъ въ «Вѣстникъ Европы», обогативъ его рядомъ научныхъ произведеній по исторіи русской литературы первокласснаго значенія и первостепенной важности. Но, работая въ журналѣ г. Стасюлевича въ области оригинальныхъ и самостоятельныхъ изысканій, онъ находилъ еще достаточно силъ, чтобы дарить и нашу переводную литературу своими трудами, гдѣ во всемъ блескѣ сказались его широкія лингвистическія, соціологическія, философскія и историческія познанія. Частію подъ его редакціей, частію въ его переводѣ появились историко-литературныя и историческія сочиненія Шерра, Геттнера, Дрѣпера, Лекки, Тэма, Рохау, Бентама. Вмѣстѣ съ М. Антоновичемъ онъ перевелъ «Исторію индуктивныхъ наукъ» Уэвеля, а въ 1890 годахъ подъ его редакціей вышли «Исторія нѣмецкой литературы» Шерера и «Искусство съ точки зрѣнія соціологій» Гюйо.

Личная интимная жизнь Александра Николаевича въ этотъ періодъ протекала какъ нельзя мирно и счастливо. Въ январѣ 1863 года онъ вступилъ въ бракъ съ дѣвицей Юліей Петровной Гурскаинъ, лютеранкой по вѣроисповѣданію и уроженкой Петербурга. Юлія Петровна окружила жизнь своего ученаго мужа самою нѣжною заботливостію и трогательнымъ попеченіемъ, была его истиннымъ другомъ и помощницею въ трудахъ, а въ послѣднія 15 лѣтъ своей жизни (она скончалась 5-го декабря 1897 г.), когда дѣти подросли и стали на ноги, а у Александра Николаевича вслѣдствіе усиленныхъ занятій утомилось зрѣніе, она писала подъ его диктовку и дѣлала для него, по его указаніямъ, необходимыя выписки. Такъ, его извѣстная «Исторія русской литературы» вся до послѣдней строки написана ея рукой. Къ сожалѣнію, послѣдній томъ вышелъ изъ печати уже послѣ ея смерти. Въ уваженіе къ такой роли своей жены-друга въ его трудахъ Пыпинъ посвятилъ эту «Исторію литературы» памяти Юліи

Петровны, но помѣтили это посвященіе лишь на немногихъ экземплярахъ. (Отъ брака съ Юліей Петровной у него родилось двое сыновей и двѣ дочери.)

Изъ фактовъ общественной его жизни надлежитъ еще отмѣтить, что уже съ 1861 г. онъ принималъ близкое и непосредственное участіе въ дѣлахъ литературнаго фонда, гдѣ, между прочимъ, въ теченіе 12 лѣтъ былъ членомъ правленія.

Въудучи главнымъ сотрудникомъ «Вѣстника Европы», Пыпинъ помѣстилъ здѣсь длинный рядъ классическихъ работъ по исторіи нашей общественности и нашего просвѣщенія, которыя являются въ настоящее время настольными книгами каждаго образованнаго и занимающагося русскаго человека. Тутъ цѣлая гуманная энциклопедія русской жизни, неисчерпаемый источникъ фактовъ, обнимающихъ собою всѣ главнѣйшіе моменты въ исторіи русскаго народа. (Источникъ свѣтлыхъ мыслей, облагораживающихъ и возвышающихъ умъ читателей. Главнѣйшія работы эти суть (изъ нихъ большинство вышло отдѣльными изданіями): «Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I», «Характеристика литературныхъ мѣнъ отъ 1820 до 1850-хъ годовъ»¹⁾, «Вѣлинскій, его жизнь и переписка», «Исторія русской этнографіи», «Исторія русской литературы», многочисленныя статьи о масонствѣ, «Крыловъ и Радищевъ», «Феофанъ Прокоповичъ и его противники», статьи о панславизмѣ, «Польскій вопросъ въ русской литературѣ», статьи о сочиненіяхъ Пушкина и ихъ текстъ, «Обзоръ русскихъ изученій славянства», статьи о Салтыковѣ, о Некрасовѣ, «Литературныя воспоминанія» и «Переписка», «Гердеръ», рядъ статей и замѣтокъ по текущей литературѣ, масса критическихъ замѣтокъ и рецензій на нововышедшія книги и проч. и проч. Кроме того, имъ, совместно съ В. Д. Спасовичемъ, изданъ замѣчательный трудъ, посвященный исторіи славянскихъ литературъ. Этотъ капитальный трудъ, по мнѣнію специалистовъ, представляетъ собою единственное до сихъ обстоятельное изложеніе судебъ тысячелѣтней исторіи литературы западныхъ и южныхъ славянъ, чрезвычайно замѣчательное не только какъ сводъ того, что сдѣлано въ области изученія духовной жизни славянства, но и по истинно-научному своему методу. Пыпинъ относился здѣсь съ величайшимъ уваженіемъ и съ полною терпимостью къ духовному складу каждой изъ отдѣльныхъ славянскихъ народностей и является рѣшительнымъ противникомъ поглощенія одной народности другою, исходя притомъ изъ идеалистическихъ соображеній главнымъ образомъ о совмѣстномъ свободномъ развитіи общечеловѣческой культуры и національныхъ ихъ индивидуальностей.

¹⁾ За эти статьи «Вѣстнику Европы» было дано въ 1873 г. второе предостереженіе. Б. Г.

Такая богатая и плодотворная дѣятельность Пыпина обратила на него уже въ 1871 году вниманіе академіи наукъ, и былъ поставленъ вопросъ объ избраніи его въ адъюнкты по креслу исторіи. Этотъ эпизодъ въ жизни Александра Николаевича надѣлалъ много шума въ свое время въ Петербургѣ, и о немъ имѣется обстоятельное свидѣтельство лѣтописца того времени А. В. Никитенка. Въ его дневникъ подъ 6-мъ октября 1871 года записано: «Поднимается великая буря на академію наукъ въ кругу интеллигентнаго общества за избраніе въ адъюнкты ея по креслу исторіи (А. Н.) Пыпина. Избраніе это, впрочемъ, состоялось еще только въ отдѣленіи и пройдетъ ли оно въ общемъ собраніи—это еще вопросъ. Говорятъ: «Какъ можно было избрать Пыпина по части исторіи за одну только статью, напечатанную имъ въ «Вѣстникѣ Европы» объ Александрѣ I и Карамзинѣ?» И далѣе: «Почему же не избрали Костомарова, который и есть настоящій дѣятель по русской исторіи?» Особенно кричать и вопять тѣ, которые недружелюбно относятся къ «Вѣстнику Европы». Къ нимъ, разумеется, примыкаетъ и партія министерства народнаго просвѣщенія. Эта послѣдняя грозитъ, что министръ при докладѣ государю объ утвержденіи Пыпина можетъ сдѣлать такіа замѣчанія, въ силу которыхъ Пыпинъ, пожалуй, окажется не утвержденнымъ. Такъ думаютъ *.. *. Скандалъ большой. Правда, по моему мнѣнію, состоитъ въ слѣдующемъ. Не Пыпина, а Костомарова, дѣйствительно, слѣдовало избрать на кресло исторіи. Заслуги Костомарова и его дарованія въ этой области всѣми признаны, и Пыпинъ, конечно, не можетъ быть не только предпочтенъ ему, но и поставленъ съ нимъ на ряду. Между тѣмъ, послѣдній могъ бы быть по всѣмъ правамъ и по всей справедливости избранъ во II отдѣленіе по части исторіи русской словесности,—и это, конечно, никого не удивило бы, не обидѣло и не озлобило. Теперешнее избраніе приписываютъ интригамъ Некрасова и *.. *. Оно, можетъ быть, и такъ. Посмотримъ, что сдѣлаетъ общее собраніе. Вотъ уже появилась и статья въ «Голосѣ» противъ избранія Пыпина». Подъ 19-мъ октября: «Министръ, графъ Толстой, говоритъ, свирѣпствуетъ противъ выбора Пыпина въ адъюнкты академіи. На дѣлахъ, за обѣдомъ у себя, онъ, въ присутствіи многихъ лицъ, расточалъ ужасные укоры на академію за этотъ выборъ съ обыкновенною своею горячностью объявлялъ, что пока онъ министръ, онъ не допуститъ, чтобы Пыпинъ сѣлъ на академическое кресло. За что такая неприязнь къ этому человеку? Въ данномъ случаѣ виновать не онъ, а тѣ любители интригъ, которые поставили его въ неловкое положеніе. Самъ онъ человекъ почтенный, ученый! Онъ участвуетъ въ журналѣ «Вѣстникъ Европы», который находится въ оппозиціи съ министерствомъ, и при томъ онъ не приверженецъ классицизма и Каткова: ужъ не въ этомъ ли вся вина его въ глазахъ нѣкоторыхъ?» Подъ 12-мъ ноября онъ заноситъ: «Пыпинъ избранъ въ адъюнкты академіи наукъ по русской исторіи въ сегодняшнемъ об-

желаемой, но почти недостижимой в исторических изслѣдованіяхъ объективности возрѣній. Этотъ недостатокъ свойственъ болѣе или менѣе каждому историческому писателю, и ученые противоположныхъ ему возрѣній, какъ, напримѣръ, славянофилы, были въ своихъ историческихъ взглядахъ еще болѣе субъективны. Это качество не можетъ умалить несомнѣнныхъ ученыхъ заслугъ, какъ А. Н. Пыпина, такъ и главнѣйшихъ представителей славянофильскаго направленія.

«Такія книги, какъ «Общественное движеніе въ Россіи при императорѣ Александрѣ І» и «Исторія русской этнографіи», взятая каждая въ отдѣльности, уже могли дать, по справедливости, г. Пыпину официальное право на получение ученой степени доктора русской исторіи. Присоединеніе къ нимъ другихъ вышепозванныхъ сочиненій,—по глубокому нашему убѣжденію,—лишь еще болѣе усиливаетъ это право. А потому мы рѣшились обратиться съ просьбою къ историко-филологическому факультету ходатайствовать предъ его сѣятельствомъ г. министромъ народнаго просвѣщенія о возведеніи Александра Николаевича Пыпина, во вниманіе къ ученымъ заслугамъ, оказаннымъ имъ въ теченіе тридцатилѣтнихъ трудовъ на поприщѣ русской исторіи и вспомогательныхъ знаній при ея изученіи: палеографіи, археографіи, археологій и этнографіи—въ званіе почетнаго *доктора русской исторіи*. Убѣрежь, что наши многоуважаемые товарищи отнесутся сочувственно къ нашему предложенію, раздѣляя наше возрѣніе на ученые достоинства г. Пыпина, и тѣмъ болѣе еще, что г. Пыпинъ не чуждъ казанскому университету. Уроженецъ города Саратова и воспитанникъ тамошней гимназіи, онъ началъ высшее образованіе въ нашемъ университетѣ.

Заслуживъ единогласное ходатайство факультета, совѣтъ университета единогласно же опредѣлилъ: «Вполнѣ соглашаясь съ представленіемъ историко-филологическаго факультета объ ученыхъ заслугахъ Александра Николаевича Пыпина,—просить ходатайства попечителя округа предъ г. министромъ народнаго просвѣщенія объ утвержденіи Пыпина въ степени доктора русской исторіи, на основаніи ст. 30-й унв. уст., III, п. 10, безъ представленія диссертациі».

Черезъ два мѣсяца на это представленіе совѣтомъ университета было получено официальный отвѣтъ попечителя отъ 28-го мая 1891 года, за № 2785, на имя ректора университета: «При представленіи отъ 4-го минувшаго апрѣля, за № 1915, мною было сообщено господину министру народнаго просвѣщенія ходатайство совѣта казанскаго университета о возведеніи А. Н. Пыпина въ степень доктора русской исторіи безъ требованія отъ него диссертациі на эту степень.

«Не признавая возможнымъ утвердить означенное постановленіе совѣта, господинъ министръ предложеніемъ отъ 20-го мая, за № 8802, о семъ меня увѣдомилъ».

Этотъ достойный отвѣтъ послѣдовалъ отъ графа И. Д. Делянова, бывшаго тогда министромъ народнаго просвѣщенія и продолжавшаго, какъ бы по завѣту своего патрона и предшественника, графа Д. А. Толстого, относиться къ нашему ученому съ удивительнымъ нерасположеніемъ и непонятнымъ озлобленіемъ. Демонстративный выходъ изъ профессорск. университета въ 1861 году, несочувственное отношеніе къ реакціонной политикѣ Александра І, высказанное имъ въ извѣстныхъ статьяхъ, посвященныхъ той эпохѣ, приверженность ко всякому освободительному движенію и свободному проявленію независимаго человѣческаго духа—вотъ тѣ главнѣйшія преступленія со стороны А. Н. Пыпина въ глазахъ графа Толстого, которыя побудили и его, и его единомышленниковъ упорно отказываться зачесть заслуги Пыпина передъ родиною въ послужную списокъ съ государственнымъ на немъ знакомъ одобренія и предпочитать, чтобы его дѣятельность протекала внѣ рамокъ официальныхъ учрежденій. Только въ концѣ XIX столѣтія, когда сошли со сцены просвѣщенные его гонители, двери этихъ учрежденій передъ нимъ широко раскрылись, и онъ вошелъ туда съ высоко поднятой головой и увѣнчанный полуувѣковыми почти лаврами общественной признательности. Пыпинъ былъ избранъ въ академики, а казанскій университетъ получилъ возможность возвести его въ свои почетные члены.

Въ добавленіе ко всему сказанному объ А. Н. Пыпинѣ и ко всѣмъ собраннымъ для его будущаго жизнеописанія матеріаламъ я не имѣю болѣе что прибавить. Главнѣйшіе факты жизни мною сообщены, а широкая и полная его духовная жизнь вся въ его многочисленныхъ трудахъ и работахъ, включая сюда и академическія работы по обнародованію и редактированію сочиненій Екатерины II. Эти труды его были достаточно всесторонне освѣщены на его полуувѣковомъ юбилей въ 1903 году, въ цѣломъ рядѣ рѣчей, напечатанныхъ въ столь часто цитированномъ мною отискѣ изъ «Литературнаго Вѣстника», и въ изобилии напечатанныхъ о немъ статьяхъ въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ. Изъ числа послѣднихъ долженъ отмѣтить прекрасную статью Е. Ляцкого, напечатанную въ «Вѣстникѣ Самообразованія», 1903 г., № 27, гдѣ, въ сжатомъ изложеніи, приведена сущность общественныхъ взглядовъ нашего академика, хотя и примѣнительно только къ его «Исторіи литературы».

Литературная и научная дѣятельность Александра Николаевича получила свое развитіе при общемъ оживленіи русской жизни во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ, и прервалась она тоже при окружающемъ общемъ оживленіи и напряженномъ ожиданіи лучшаго будущаго. И если этому будущему суждено осуществиться (а въ это нельзя не вѣрить!), то,

озирался на всех, кто так или иначе потрудился для этого будущего, не забудем же с особенною признательностью вспомнить и о том, кто, непрестанно живописуя в своих ученых трудах историческую судьбу русского народа, тем самым прокладывал пути к его счастью и гражданскому и духовному благополучию. А. Н. Пыпин много потрудился в этом направлении, немало было приносим в жертву мраку и застою, мужественно вынося удары судьбы. Так пусть же за все это на общем празднике русского народа ему будет современниками провозглашена громкая «слава» и историческая «вечная память».

В. Е. РУДАКОВЪ.

Вследъ за редактором «Исторического Вѣстника», незабвеннымъ Сергѣемъ Николаевичемъ Шубинскимъ, скончавшимся 28-го мая 1913 г., отошелъ въ вѣчность его постоянный сотрудникъ, своего рода столпъ изданія, Василій Егоровичъ Рудаковъ, чье имя въ теченіе двадцати лѣтъ неизмѣнно сжогмѣсячно появлялось на страницахъ журнала подъ замѣтками въ отдѣлѣ критики и библиографіи или подъ статьями болѣе ответственного характера. Годъ для «Исторического Вѣстника» выдался тяжелый: смерть, начавшаяся съ марта мѣсяца 1913 г., вырвала изъ рядовъ его сотрудниковъ пятерыхъ дѣятелей разнаго литературнаго значенія и положенія, но которые такъ или иначе оставили по себѣ слѣдъ въ тридцатичетырехлѣтней жизни «Исторического Вѣстника». 16-го марта скончался Евгеній Валентиновичъ Коршъ, чьи «Врызги памяти» были напечатаны въ июньскомъ номерѣ журнала; слѣдъ за нимъ на Литераторскихъ мосткахъ Волкова кладбища опустили въ могилу Михаила Викторовича Шевлякова; 17-го мая скончался Александръ Павловичъ Чеховъ-Съдой; 28-го мая въ жизни журнала совершился переломъ: онъ лишился своего стараго редактора, и вотъ не прошло и мѣсяца, какъ пошла траурная рамка на первой страницѣ «Новаго Времени» оповѣстила сотрудниковъ «Исторического Вѣстника» о новой утратѣ: въ лѣтнихъ баракахъ военно-клиническаго госпиталя на Нижегородской улицѣ смежилъ навѣки свои очи всѣми столь любимый, тихій, симпатичный и трудоспособный В. Е. Рудаковъ.

Для большинства сотрудниковъ журнала, такъ тѣсно сжившихся за много лѣтъ съ Василіемъ Егоровичемъ, эта смерть была неожиданною, но для меня, увѣ! его ближайшаго друга и товарища по работѣ, давно предвидимую. Для меня это былъ вопросъ времени, ибо уже съ весны доктора опредѣляли, что дни Рудакова не долги, особенно имѣя въ виду его несомнѣнно подчиниться тому строгому режиму, котораго отъ него требовала медицина. Хворать онъ сталъ

уже съ годъ тому назадъ, и уже тогда пользовавшій его врачъ В. В. Вертенсонъ настоятельно требовалъ отъ него слѣдованія тѣмъ указаніямъ, которыя онъ ему въ интересахъ сохраненія здоровья предписывалъ. И дѣйствительно, Рудаковъ началъ нѣсколько беречь себя, на лѣто уѣхалъ въ Череповецъ вмѣстѣ съ старушкой-матерью Дарсей Ивановой къ своей любимой сестрѣ Елизаветѣ Егоровнѣ Львовой и на мой почтовый запросъ о его самочувствіи весело писалъ мнѣ: «Amicissime! Обрѣтаюсь на лонѣ природы, вѣтъ, нѣю молоко и сплю по три раза въ сутки, заполняя остальное время броженіемъ съ племяннями въ окрестностяхъ города и кой-какимъ чтеніемъ... Здѣсь тепло велие, вѣроятно, такожде и въ Питерѣ. Полагаю, что, сидя ради жары у себя въ прохладномъ кабинетѣ, ты натворилъ дѣльный ворохъ статей»...

Осенью Василій Егоровичъ вернулся освѣженный и подправившійся, но затѣмъ вредная жизнь Петербурга, которую онъ велъ, съ ея нѣкоторыми излишествами испортила все то, что наладилъ Череповецъ. Появилась одышка, ослабленіе дѣятельности сердца, недомоганіе печени и общее расслабленіе организма съ вытекающей отсюда потерей силъ. Нездоровая обстановка маленькой квартиры и отсутствіе постоянного надзора и контроля надъ нимъ врача заставили меня и В. В. Вертенсона оказать на больного давленіе, чтобы онъ легъ въ больницу. Прогрессирующая водянка и его самого напугала, и въ началѣ мая онъ легъ въ клинику профессора Яновскаго. Здѣсь стало ему легче, но переходъ этой клиники на лѣтнее барачное положеніе, къ несчастью, заставилъ его выписаться, однако эта выписка оказалась роковою, и по ходатайству д-ра Е. П. Таубе, замѣнившего собою за отъѣздомъ изъ Петербурга Вертенсона, онъ былъ принятъ въ другіе бараки того же госпиталю. И вотъ здѣсь-то и настигъ его послѣдній часъ. Еще за день передъ тѣмъ я навѣститъ своего друга. Онъ казался нѣсколько окрѣпшимъ и велъ бесѣду со мною о предстоящей поѣздкѣ на югъ, въ самарскія степи, гдѣ вольный воздухъ, тепло и солнце должны были согрѣть и оживить приходившія въ разрушеніе части его больного организма. Въ разговорѣ со мной онъ высказывалъ какъ будто увѣренность въ возможность этой поѣздки, ожидая только исполненнаго имъ пособія по мѣсту службы въ герольдскомъ архивѣ сената; но это пособіе медлило прибытіемъ, и въ результатъ оказалось до смѣшного скуднымъ, что больного чрезвычайно огорчило. Я, тѣмъ и какъ могъ, пытался поддержать его оптимистическое настроеніе, старался отвлечь его отъ печальныхъ мыслей и 24-го іюня далъ ему послѣднее прощальное лобзаніе съ тѣмъ, чтобы черезъ день принести радостную вѣсть о финансовой возможности для него столь ожидаемой имъ поѣздки. Уходя, я бросилъ на его желтое, какъ-то вздунувшееся лицо тревожный взглядъ, и невольное сомнѣніе пробѣжало въ моемъ мозгу: какимъ-то я тебя увижу въ будущій разъ и увижу ли вообще? Уже вечеромъ 26-го іюня д-ръ Таубе сообщилъ мнѣ по телефону, что его пациентъ очень плохъ и что катастрофа не за горами. Оказа-

лось, что послѣ нѣкотораго уснокоенія наканунѣ Рудаковъ во весь слѣдующій день чувствовалъ себя крайне беспокойно, отхаркиваніе кровью становилось чаще, приступы удушья дѣлались сильнѣе, онъ постоянно просилъ перевести себя съ кресла на постель и обратно, а въ началѣ десятаго часа выразилъ желаніе лечь заснуть и въ десять часовъ пятнадцать минутъ постлѣ-



Василій Егоровичъ Рудаковъ.

двухъ-трехъ тяжелыхъ вздоховъ дѣйствительно впасть въ сонъ, но не въ желанный и укрѣпляющій, а въ вѣчный, суровый и непробудный. Вмѣсто ожидаемаго имъ приволья самарскихъ степей его настигъ холодъ могилы Волкова кладбища съ предварительнымъ этапомъ въ мертвецкой часовнѣ госпиталю, гдѣ я и напелъ его рано утромъ 27-го іюня.

В. Е. Рудаковъ родился 26-го апрѣля 1864 года въ Архангельскѣ, гдѣ отецъ его служилъ старшимъ мексевичникомъ; предки же его происходили изъ духовнаго званія. У Рудаковыхъ было четверо дѣтей: три дочери и одинъ сынъ, именно нашъ милый, нынѣ скончавшійся Василій Егоровичъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ Петровскомъ въ приходской школѣ, откуда былъ переведенъ въ мѣстную гимназію, по окончаніи которой поступилъ въ петербургскій историко-филологическій институтъ. Отличаясь съ дѣтства любознательностью и чувствомъ влеченіе къ наукѣ и литературѣ, онъ въ институтѣ особенно усердно занимался на лекціяхъ Е. Е. Замысловскаго, В. Е. Васильевскаго, И. Н. Жданова, а также классическими языками. По выходѣ изъ института Рудаковъ нѣсколько лѣтъ состоялъ преподавателемъ въ зрѣвшей первой классической гимназіи и женской гимназіи Е. М. Гедда, но какія-то непріятности съ однимъ изъ окружающихъ инспекторовъ побудили его бросить официальную педагогику и выйти въ отставку. Тутъ наступилъ для него очень трудный въ матеріальномъ отношеніи періодъ жизни, когда онъ испытывалъ всѣ печали безработнаго интеллигента, не увѣреннаго въ завтрашнемъ днѣ и перебивающагося денежными случайными уроками и такою же случайной литературной работой. Въ этотъ періодъ онъ начиналъ посѣщать лекціи въ археологическомъ институтѣ, гдѣ сблизился съ директоромъ этого института профессоромъ И. Е. Андреевскимъ, который приближаетъ его къ себѣ и при формированіи штата сотрудниковъ для энциклопедическаго словаря Эфрона и Брокгауза беретъ В. Е. въ первую же очередь ближайшимъ сотрудникомъ, поручивъ ему археологическую часть словаря. Впоследствии, по кончинѣ Андреевскаго, Рудаковъ сумѣлъ должнымъ образомъ отблагодарить своего наставника, посвятивъ ему въ 1891 году на страницахъ журнала (№ 11) русскаго общества охраненія народнаго здравія небольшую справочную статью, гдѣ далъ полный хронологическій указатель всѣхъ литературныхъ трудовъ профессора, до мельчайшей статьи включительно, съ указаніемъ и всѣхъ рецензій на его труды и работы. Къ памяти своего наставника онъ обращался и впоследствии каждый разъ, когда приходилось говорить или объ археологическихъ институтѣхъ, или о разныхъ моментахъ изъ исторіи нашей археологіи.

Еще будучи преподавателемъ въ сказанныхъ гимназіяхъ, онъ, слѣдуя своей склонности къ классическимъ древностямъ, переводить и выпускать отдельными изданіями слѣдующихъ классиковъ: 1) Саллюстій Криспъ. «О войнѣ съ Югуртой». Введеніе, переводъ и примѣчанія. Спб. 1893 г. 2) Саллюстій Криспъ. Полное собраніе сочиненій. Спб. 1894 г. (Сюда вошли ранѣе изданные переводы: «Заговоръ Катилины», «О войнѣ съ Югуртой» и впервые появившіеся полностью въ русской литературѣ историческіе «Отрывки», съ объяснительными реальными примѣчаніями и указателемъ именъ ко всѣмъ тремъ выпускамъ). 3) М. Т. Цинеронъ. «Рѣчи противъ Верреса». Пятая рѣчь

второй сессіи, «О казняхъ». Введеніе, переводъ и примѣчанія. Спб. 1893 г. 4) Г. Юлій Цезарь. «Записки о Галльской войнѣ». Переводъ съ портретомъ и биографическимъ очеркомъ автора. №№ 88, 89 и 90 «Моей Библиотеки», изд. М. М. Ледерле. Спб. 1893 г. 5) Овидій Назонтъ. «Письма съ Понта». Переводъ съ портретомъ и биографическимъ очеркомъ автора. №№ 64 и 65 той же «Библиотеки». Спб. 1894 г. Всѣ эти изданія были одобрены ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія, а также вызвали сочувственные отзывы рецензентовъ, напримѣръ, «Русской Мысли», журнала «Гимназія» и друг., и какъ пособія для изученія классиковъ, не потеряли своего значенія и по сю пору.

Выйдя на сцену сознательной жизни подъ педагогическимъ знаменемъ, В. Е. Рудаковъ сохранилъ до конца своихъ дней тяготѣніе къ вопросамъ педагогики и русскаго просвѣщенія въ широкой ихъ постановкѣ. Какихъ-нибудь специальныхъ изслѣдованій по сему предмету имъ не было написано, но тяготѣніе это наблюдается во всѣхъ его работахъ—въ рецензіяхъ, въ некрологахъ, въ юбилейныхъ очеркахъ и въ статьяхъ археологическаго характера, печатавшихся по преимуществу на страницахъ «Историческаго Вѣстника», а также «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія», въ «Наблюдателѣ», «Русскомъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ и библиотекѣ самообразованія», а также въ словарѣ Брокгауза и Эфрона, въ критико-биографическомъ словарѣ С. А. Венгера и въ «Русскомъ биографическомъ словарѣ» императорскаго русскаго историческаго общества, какъ равно и въ газетныхъ замѣткахъ, появлявшихся на столбцахъ «Русской Жизни» А. Пороховщикова, «Новостей» К. Нотвича, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», «Правительственнаго Вѣстника» и «Новаго Времени». Перечислитъ всѣ статьи Василія Егоровича, особенно по отдѣлу критики и библиографіи «Историческаго Вѣстника» и журнала министерскаго не представляется возможнымъ: это заняло бы почти печатный листъ. Если поглядѣть ежегодные указатели «Историческаго Вѣстника», то читатель увидитъ на буквы Р., В. Р., В. Р.—въ и т. д. цѣлые столбцы текста, гдѣ перечислены библиографическія замѣтки, помѣщенные за тотъ годъ Василіемъ Егоровичемъ, начиная съ 1892 года. Отметимъ здѣсь лишь главнѣйшія работы Рудакова, которымъ онъ и самъ придавалъ значеніе и которые, по моему мнѣнію, наиболее полно выражаютъ его научно-литературный образъ. Вотъ эти работы:

«Историческій Вѣстникъ».

Некрологи.

1) Аскалонъ. Ник. Труворовъ, историкъ, директоръ археологическаго института, (1896 май).

2) Василій Григорьевичъ Васильевскій (1899, июнь).

3) Мих. Ник. Капустинъ (1900, июнь).

4) Леонидъ Ник. Майковъ (1900, май).

- 5) Василий Павлович Васильев (1900, июнь).
 - 6) Ник. Александр. Сергеевский (1901, февр.).
 - 7) Н. И. Сухомлинов и И. Н. Жданов (1901, окт.).
 - 8) Алексѣй Иван. Маркевичъ, проф. новороссійскаго университета, историкъ (1903, сент.).
 - 9) Григ. Космичъ Рѣпинскій, сенаторъ, историкъ (1906, мартъ).
 - 10) Викт. Никитичъ Никитинъ (1908, май).
 - 11) Николай Дмитриевичъ Сергѣевскій, профессоръ и государственный дѣя-тель (1908, ноябрь).
 - 12) К. О. Хартузаръ (1909, январь).
 - 13) А. С. Верещагинъ (1909, мартъ).
 - 14) Н. Н. Гераковъ (1909, июль).
 - 15) И. И. Ореушъ (1909, июль).
 - 16) О. О. Соколовъ (1909, июль).
 - 17) В. Р. Завадскій (1911, февраль).
 - 18) В. О. Ключевскій (1911, июль).
 - 19) Андрей Александр. Титовъ (1911, дек.).
 - 20) Петръ Андреевичъ Гильтебрандтъ.
 - 21) Василий Ивановичъ Жмакинъ, редакторъ «Церковныхъ Вѣдомостей», послѣ-дователь исторіи русской церкви и древней литературы.
 - 22) Ив. Вас. Помяловскій, заслуженный профессоръ петербургскаго универ-ситета.
 - 23) Ник. Петр. Семеновъ, поэтъ, общественный дѣятель, историкъ освобожденія крестьянъ.
 - 24) Петръ Александр. Ефремовъ.
 - 25) Александръ Ник. Веселовскій.
 - 26) Н. О. Дубровинъ.
- Юбилей.
- 1) «Юбилей П. И. Бартевева» (1902, янв.).
 - 2) «Юбилей К. К. Арсеньева» (1908, янв.).
 - 3) «Юбилей И. И. Благосейтлова» (1910, октябрь).
 - 4) «Археологическая дѣятельность гр. А. А. Гобринскаго». (1911, № 3).
 - 5) «Юбилей Э. А. Вольтера» (1911, май).
 - 6) «Столѣтіе общества любителей россійской словесности при московскомъ университетѣ» (1911, июнь).
 - 7) «Чествованіе Б. Б. Глинскаго 21-го февраля 1912 г.». (1912, мартъ).

Археологія.

- 1) «Пятидесятилѣтіе археологическаго общества (1896, май).
- 2) «Археологія и исторія въ трудахъ губернскихъ ученыхъ архивныхъ комис-сій» (1899, июнь).
- 3) То же самое (1901, дек.).
- 4) «Историко-археологическій съѣздъ въ Костромѣ (1909, сент.).
- 5) «Памяти графа А. С. Уварова» (1910, февраль).
- 6) «Страница изъ исторіи нашихъ архивовъ» (1910, сентябрь).
- 7) «Два археологическихъ юбилея». (По поводу тридцатипятилѣтія император-скаго археологическаго института). (1913, мартъ).
- 8) «Что обѣщаетъ XVI археологическій съѣздъ».
- 9) «Что грозитъ общедворянскому архиву».

Статьи общаго характера.

- 1) «Монаршее милосердіе». (1899, июль).
- 2) «Студенческая научная обществ». (Историч. очеркъ) (1899, дек.).
- 3) «Къ исторіи крестьянскаго движенія при Павлѣ I» (1900, мартъ).
- 4) «Петрозаводскъ». (По поводу двухсотлѣтія со дня его основанія) (1903, авг.).
- 5) «Къ биографіи П. Я. Чаадаева» (1907, ноябрь).
- 6) «XIV археологическій съѣздъ и тысячелѣтіе города Чернигова» (1908, окт.).
- 7) «Академическій Кольцовъ» (1909, ноябрь).
- 8) «Къ вопросу о происхожденіи крѣпостного права въ Россіи» (1910, май).
- 9) «Послѣдніе дни цензуры въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. (Предсѣ-датель петербургскаго цензурнаго комитета В. А. Песъ)» (названо отдѣльною книгою въ 1911 году).
- 10) «Архивные розыски о рожденіи Бѣлинскаго и происхожденіи его матери» (1911, май).
- 11) «Князь Д. М. Пожарскій и его усыпальница» (1912, ноябрь.).

„Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“.

Некрологи.

- 1) Преосв. Борисъ (Плотниковъ), членъ святаѣшаго синода, писатель.
- 2) М. А. Веневитиновъ, изслѣдователь русской старины.
- 3) П. А. Гильтебрандтъ.
- 4) Вас. Вас. Крестининъ. (По поводу столѣтія со дня смерти историка-само-родка).
- 5) И. И. Малышевскій, историкъ русской церкви.
- 6) Л. Н. Моздалевскій, извѣстный педагогъ и писатель.
- 7) Н. А. Сергеевскій, выдающійся педагогъ и дѣятель въ Сѣверо-Западномъ краѣ.
- 8) К. А. Скальковскій.
- 9) Н. И. Суворовъ, археологъ.
- 10) А. Н. Труворовъ.
- 11) А. А. Титовъ.
- 12) П. И. Бартепепъ.
- 13) Г. Д. Филимоновъ, археологъ и знатокъ церковныхъ древностей.
- 14) В. Н. Юргевичъ, профессоръ новороссійскаго университета.
- 15) С. О. Огородниковъ, историкъ Архангельскаго края и знатокъ военноморской исторіи.

Статьи.

- 1) «Хронологическій указатель литературныхъ трудовъ Л. Н. Майдкова» (1900, № 10).
- 2) «Всероссійское хранилище дворянскихъ дѣлъ» (1907, № 5).
- 3) «Столицы мѣстнаго приказа» (1908, № 4).
- 4) «Археологическій съѣздъ въ Новгородѣ» (1912, № 7).
- 5) «Императорскій археологическій институтъ». (Къ тридцатипятилѣтію его существованія) (1913, № 4).

Отдельные издания:

- 1) «Генералиссимус князь А. В. Суворовъ въ анекдотахъ и разсказахъ современниковъ» (Спб. 1899).
- 2) «Систематическій каталогъ книгъ и брошюръ, находящихся въ библиотекѣ К. Θ. Хартулари» (Спб. 1901).
- 3) «Третій областной историко-археологическій съѣздъ въ городѣ Владимирѣ» (Спб., 1906).
- 4) «Четырнадцатый археологическій съѣздъ въ тысячелѣтіе гор. Чернигова» (Спб., 1908).
- 5) «Архивъ департамента герольдіи правительствующаго сената». Историко-статистическія свѣдѣнія (Владимиръ, 1908).
- 6) «Полтавская битва. Двухсотлѣтія ея годовщины. 1709 г.—27-го іюня—1909 г. (Спб., 1909).

Кромѣ того, въ послѣднее время онъ принималъ участіе въ изданіяхъ О. А. Тараныгина, посвященныхъ описанію памятниковъ родной старины.

Если, какъ уже сказано выше, покойный писатель еще на школьной скамьѣ проявлялъ тяготѣніе къ литературной работѣ, то, несомнѣнно, именно приближеніе къ И. Е. Андреевскому даю толчокъ его дѣвственнымъ способностямъ. Онъ дѣлательно работаетъ въ первыхъ томахъ «Энциклопедическаго словаря» Брокгауза-Ефрона, начинашаго выходить подъ редакціей Андреевскаго, и школа, пройденная имъ подъ руководствомъ этого ученаго, а равно методы работы, усвоенные имъ изъ занятий въ историко-филологическомъ институтѣ на лекціяхъ профессоровъ Е. Е. Замысловскаго и В. Г. Васильевскаго, опредѣлили всѣ достоинства литературныхъ разысканій Рудакова: ихъ фактическую точность, сжатость и обоснованность на первоисточникахъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ неопытнымъ сотрудникомъ изданій, гдѣ работалъ. На него можно было положиться, и статьи и замѣтки его со стороны ихъ хронологической, генеалогической и фактической достоверности не требовали редакціонной проверки. Не обладавъ повѣствовательнымъ даромъ и способностями портретиста при воспроизведеніи біографій или характеристикъ описываемыхъ лицъ, онъ для массы читателей былъ, пожалуй, нѣсколько тяжелъ и скученъ, но для исторіи русскаго просвѣщенія онъ оказалъ своей добросовѣстностью въ работѣ и трудолюбіемъ безусловно важныя услуги. Состоя на службѣ съ начала девяностыхъ годовъ въ архивѣ департамента герольдіи, Василій Егоровичъ располагалъ, благодаря этому, драгоценнымъ матеріаломъ въ интересахъ установленія правильныхъ датъ и фактовъ русскаго дворянскаго родословія. Часто, прочитывая по утрамъ въ газетахъ напечатанные тамъ некрологи тѣхъ или иныхъ выдающихся дѣятелей нашей жизни, онъ приходилъ въ негодованіе отъ того фактическаго вранья, которое въ этихъ некрологахъ появлялось по части хронологіи и родословной, и всегда спѣшилъ предупредить меня, какъ

составителя некрологовъ для «Историческаго Вѣстника», чтобы я не повторилъ газетныхъ промаховъ и вносилъ въ данныя для нашего журнала нужные коррективы. Всѣ его некрологическія статьи въ этомъ отношеніи чрезвычайно цѣнны, и будущій историкъ нашей общественности найдетъ здѣсь безспорный матеріалъ, строго проверенный, съ осторожными отсюда выводами. Какъ образецъ такого добросовѣстнаго отношенія Рудакова къ дѣлу, можетъ служить напечатанная имъ монографія «Великій русскій критикъ В. Г. Вѣлиинскій», изданная отдельной брошюрой въ «Дешевой Библиотекѣ» (№369) А. С. Суворина. Здѣсь онъ установилъ точныя свѣдѣнія о родословной Вѣлинскаго, для чего воспользовался данными архива департамента герольдіи, а также другихъ правительственныхъ учреждений. Я помню, сколько стараній приложилъ Василій Егоровичъ, чтобы точно опредѣлить подробности изъ формулярнаго списка отца Вѣлинскаго, для чего вынужденъ былъ предпринять даже экскурсію за предѣлы Петербурга; помню также, какъ онъ волновался, когда около этихъ родословныхъ вопросовъ возникъ въ печати споръ, въ результатъ котораго правда оказалась на его сторонѣ.

«Пущенный въ литературу» Андреевскимъ, Рудаковъ въ то же время сначала причислился къ департаменту герольдіи сената, а потомъ и получилъ здѣсь мѣсто завѣдывающаго архивомъ. На этомъ мѣстѣ онъ сталъ въ приближеніе къ такому знатоку нашей дворянской геральдики, какъ управляющій гербовымъ отдѣленіемъ департамента А. П. Барсуковъ; тогда же онъ познакомился съ покойнымъ нынѣ адвокатомъ и дѣятелемъ по тюремному вѣдомству К. Θ. Хартулари, сталъ вхожъ въ его домъ и черезъ его посредство на много лѣтъ сроднился и съ библиотечнымъ тюремнымъ дѣломъ, служению которому онъ отдалъ много времени и силъ. Только со смертію Хартулари, въ связи съ новѣйшими вѣдѣніями во внутренней тюремной политикѣ, В. Е. отошелъ отъ тюремныхъ бібліотекъ, находя новый тюремный курсъ несогласнымъ съ своими прогрессивными убѣжденіями.

Въ началѣ девяностыхъ годовъ, какъ я уже упоминалъ выше, Рудаковъ вступилъ въ составъ журнальной семьи «Историческаго Вѣстника» и скоро такъ съ нею сроднился, что сталъ при С. Н. Шубинскомъ своимъ человѣкомъ. Покойный редакторъ «Историческаго Вѣстника» полюбилъ своего нѣсколько молчаливаго, добродушнаго, покладистаго и добросовѣстнаго сотрудника, который и съ своей стороны платилъ своему редактору тѣмъ же добрымъ чувствомъ, участвуя въ качествѣ члена организаціоннаго комитета всѣхъ юбилейныхъ чествованій, устраиваемыхъ Шубинскому его сотрудниками по журналу. Насколько отношенія между тѣмъ и другимъ были тѣсны, всего лучше явствуетъ изъ слѣдующаго къ нему письма Сергія Николаевича. Вотъ оно:

«Многоуважаемый Василий Егорович!

«Способны ли вы на дружеское одолжение? Если вам неудобно исполнить то, о чем я хочу вас просить, то не стесняйтесь несколько, откажите, и вбрызьте, что я на это ни малейше не обижусь. Дёло вот в чем:

«Печатается четвертое издание моих Исторических очерков и рассказов». К ним нужен «Указатель личных имен». Сам я положительно не в силах исполнить эту работу. Не сдѣлаете ли вы ее вмѣсто меня? При третьем издании есть «Указатель», что облегчить работу. Добавлено в четвертом издании всего пять или шесть новых статей, к которым и нужны новые имена, а в старых придется лишь пересмотреть цифры страниц.

«Отвѣтите съ полной откровенностью.

«Вашъ С. Шубинскій».

Работу эту Рудаковъ долженъ былъ сдѣлать изъ любезности, даромъ, и трудъ, сюда вложенный, выходилъ вовсе не такъ простъ, какъ это можетъ показаться съ перваго раза, судя по письму Сергѣя Николаевича. Здѣсь надо было потратить много времени, знаній и силъ, и Рудаковъ, любя своего редактора, охотно пошелъ на эту жертву, понимая, что изъ наличнаго состава тогдашнихъ сотрудниковъ журнала, кромѣ него, никто не въ состояніи удовлетворить строгой требовательности Шубинскаго. И дѣйствительно, В. Е. прекрасно выполнилъ свою задачу, и всѣ послѣдующія изданія «Историческихъ очерковъ и рассказовъ» выходили съ указателями, имъ составленными, что въ значительной мѣрѣ повышало цѣнность книги С. Н. Шубинскаго. Послѣдній цѣнилъ услугу, ему оказанную, и писалъ къ составителю указателя изъ Любани (1907 года): «Письмо получилъ, но отвѣчать точася не могъ, потому что одновременно съ письмомъ получилъ жестокой приступъ подагры, которая уложила меня въ постель. Особенно досадно, что эта несносная болѣзнь отгнала мой переѣздъ въ городъ по крайней мѣрѣ на двѣ недѣли. Какой я теперь редакторъ; самое лучшее устроиться куда-нибудь въ богадѣльню.

«Искренно благодарю за дружеское участіе ко мнѣ. Буду молить Бога, чтобы у васъ никогда не было ни подагры, ни другихъ болѣзней.

«Я сдѣлалъ распоряженіе, чтобы типографія доставляла вамъ верстаные листы ¹⁾. Еще разъ сердечно благодарю».

¹⁾ Указатели.

Подъ письмомъ Сергѣй Николаевичъ, какъ то онъ любилъ иногда дѣлать, нарисовалъ низко кланяющагося старичка съ фуражкой въ рукахъ и въ наглухо застегнутомъ мундирѣ ¹⁾.

Любя своего старательнаго, плодovitаго и покорнаго сотрудника, Шубинскій въ бесѣдѣ съ Рудаковымъ принималъ всегда добродушно-шутливый тонъ, подсмѣиваясь надъ его археологическими писаніями и описательными рецензіями, а также надъ его полнотою и пристрастіемъ къ пиву.

— Ну, смотрите, вѣдь онъ лопнетъ когда-нибудь здѣсь въ кабинетѣ и пивомъ зальетъ всю мою бібліотеку.

Всѣ мы смѣялись, и особенно самъ объектъ шутки, понималъ, что въ безобидныхъ словахъ Сергѣя Николаевича кроется какъ бы отеческая любовь къ блудному сыну и обычный ему шаржъ. Пилилъ иногда Шубинскій его и за частую перемѣну квартиръ, что вносило беспорядокъ въ адресную книжку аккуратнаго редактора «Историческаго Вѣстника». Въ отчаяніи отъ необходимости переписывать его адреса, онъ ему пишетъ: «Опять новалъ квартира! Экій несвѣда. Изъ Новаго переулка въ Казанскую; изъ Казанской въ Офицерскую; изъ Офицерской въ Эртелевъ; изъ Эртелева въ Колокольную. Теперь изъ Колокольной куда?»

Цѣня въ Рудаковѣ его рабочую точность и аккуратность, Сергѣй Николаевичъ съ конца девяностыхъ годовъ поручилъ ему составленіе ежегодныхъ указателей журнала, и нужно отмѣтить, что именно эти указатели, составленные Рудаковымъ, отличаются отъ всѣхъ прежнихъ указателей ясностью, толковостью и удобствомъ пользованія. На него было возложено и составленіе общаго указателя къ журналу за годы, посвядовавшіе вслѣдъ за юбилейнымъ каталогомъ «Историческаго Вѣстника». Шубинскій, исполняя въ данномъ случаѣ волю Алексѣя Сергѣевича Суворина, торопилъ составителя съ этой работой и мечталъ видѣть ее осуществленною при своей жизни, но болѣзнь, захватившая Рудакова съ зимы 1912 года, помѣшала этому осуществленію. Собственно работу по существу онъ закончилъ и осталось только составить «Алфавитъ личныхъ именъ, упоминаемыхъ въ указателѣ статей». Когда за день до его кончины я сидѣлъ у него въ палатѣ, на мой вопросъ о судьбѣ указателя онъ отвѣтилъ:

— Вотъ вернусь съ юга, быстро все закончу. На карточки все разнесено и осталось работы всего на два-три вечера.

¹⁾ Кстати, я забылъ отмѣтить въ своей біографіи С. Н. Шубинскаго (см. «Истор. Вѣстн.» 1913, № 6), что онъ очень педунно рисовалъ перомъ карикатуры. Много такихъ карикатуръ имъ было помѣщено въ литературномъ альбомѣ Д. Л. Мордовцева, судьба какового альбома надѣ, однако, неизвѣстна. Б. Г.

Поручал Рудакову хотя и скучные, кропотливые, не показательные работы, С. Н. Шубинский, мало доверявший в жизни окружающим, однако, охотно доверял В. Е. Рудакову представительство от журнала на разных археологических съездах, результатом какого представительства и были его статьи в этой области, выше переименованные. Походы на эти съезды Рудаков делал на свой счет, как член этих комиссий, сотрудник ученых журналов и участник некоторых научно-литературных обществ. Из числа последних его симпатиями особенно пользовалось библиологическое общество, где он даже состоял секретарем. Кроме этого общества, он состоял членом военно-исторического общества и общества ревнителей истории. Принимая участие в судьбах литературной среды, Рудаков состоял и членом кассы взаимопомощи литераторов и ученых, а также принимал участие в писательских съездах.

Завоевав расположение С. Н. Шубинского, Василий Егорович вместе с тем приобретал и любовь и дружбу всех остальных сотрудников журнала, но в особенную интимную близость он вступил только с автором настоящего очерка, причем не могу не отметить, что эта близость и интимность образовались лишь за последние пять лет, а до тех пор он как-то меня чуждался. Но однажды приблизившись ко мне, он действительно меня полюбил и сделался мне воистину преданным человеком, обнаружив особенно свои добрые чувства ко мне в дни моего юбилейного чествования в 1912 г. Да и я платил этому милому человеку искренней любовью и сердечно делился с ним всеми своими радостями и горестями. Вот почему в пытливые ответственные для меня дни кончина Василия Егоровича была мне особенно тяжела: я потерял личного друга, советчика и, пожалуй, в будущем ближайшего сотрудника по журналу.

В своей личной жизни Рудаков оказался незадачлив. Чувствуя тяготы к семейному началу, страстно любя свою родину, мать, сестру, племянников, он тем не менее не сумел себе сколотить прочного семейного очага. Только года три тому назад мы с С. Н. Шубинским неожиданно узнали, что Рудаков женился, и стал даже бывать у него, но супружеское его гнездо оказалось недолговечным, и последние два года он перешел на жизнь вдвоем с старушкой-матерью, которую для смягчения одиночества выписал к себе из Череповца. Однако видно было, что какая-то скука и тоска угнетали его, и он иногда, к вящему огорчению Дарьи Ивановны, исчезал из дому с утра и до утра. Эти-то исчезновения и были роковыми для Василия Егоровича. Мы знаем, каким путем дошел он до барачной военно-клинической больницы. 26-го июня, поздно вечером его не стало, а 28-го я опустил дорогого друга в холодную

могилу Волкова кладбища на Михневических мостках, рядом с могильным местом сотрудников «Петербургского Листка» и напротив могилы недавно скончавшегося писателя С. Соломина-Стечкина. Была глухая летняя пора, почти все знакомые и друзья покойного оказались в разъездах, и лишь очень небольшая кучка людей проводила скромную погребальную колесницу с бренными останками Василия Егоровича до места их вечноного упокоения. Летнее солнце горело ясно, в воздух разлита была теплота, а на душе было так холодно, сиром и жутко...

1913 г.

В. И. СЕРГѢВИЧЪ.

Скончавшійся 26-го ноября 1910 года заслуженный профессоръ петербургскаго университета, членъ государственнаго совѣта Василій Ивановичъ Сергѣевичъ представлялъ собою выдающуюся величину въ русской жизни, и смерть его является крупною потерей для нашего скуднаго талантами, бѣднаго сильными и благородными характерами русскаго общества и особенно въ нынѣшнее переходное политическое время, когда у насъ существуетъ настоятельная надобность именно въ такихъ представителяхъ отечественной культуры, каковыми былъ почившій. Сергѣевичъ пользовался при жизни широкою научною извѣстностью и являлся тѣмъ общепризнаннымъ авторитетомъ, передъ которымъ современники склонялись и имя котораго по всей справедливости было занесено на видное мѣсто въ скрижали отечественнаго просвѣщенія. Университетъ въ течение долгихъ годовъ имѣлъ право и основаніе имъ гордиться и считать его въ сонмъ той своей ученой плеяды, которая составляетъ его истинное украшеніе и славу. Когда въ восьмидесятыхъ годахъ юноши переступали порогъ здѣшняго высшаго храма науки и, помимо избранной имъ научной специальности, желали ознакомиться съ выдающимися представителями разныхъ кафедръ, то въ числѣ многочисленныхъ тогдашнихъ корифеевъ русской науки имъ всегда указывали и на В. И. Сергѣевича, какъ на лектора, аудиторию котораго обязательно надо посетить, дабы получить представление объ образцовомъ профессорѣ, выгодно и гармонично соединявшемъ въ своихъ чтеніяхъ полноту научныхъ свѣдѣній, глубину анализа излагаемаго предмета, ясность мысли и изящество формы изложенія. Онъ не увлекалъ слушателей пафосомъ рѣчи, не поражалъ ихъ афоризмами, не развлекалъ примѣрами и параллелями: рѣчь его лилась гладко, серьезно, изычно, но общедоступно и понятно, почерпая свое содержаніе изъ того глубокаго историческаго

источника, гдѣ все для него было ясно и чисто и что въ полной и необходимой мѣрѣ утоляло жажду научнаго знанія обширной одиннадцатой аудитории, гдѣ онъ всегда читалъ свои лекціи. Передъ слушателями вырисовывался типъ истиннаго жреца науки, который бережно и съ любовью несетъ по своей жизненной дорогѣ свѣтильникъ знанія, горящій чистымъ и свѣтлымъ пламенемъ и бросающій на все окружающее не только свѣтъ, самъ по себѣ мертвый и холодный, но и то тепло, которое придаетъ этому свѣту животворящую силу. Печать талантливости на его личности бросалась въ глаза, и часть другой, проведенный на лекціи Сергѣевича по исторіи русскаго государственнаго права, оставалъ въ новичкахъ и его слушателяхъ вообще сильное впечатлѣніе, которое не сглаживали ни лекціи другихъ профессоровъ, ни долгіе слѣдующіе послѣ университета годы. Образъ надолго оставался въ памяти, образъ цѣльный, изящный и творческій, къ которому всегда охотно возвращалась мысль, когда приходилось вспоминать годы, проведенные въ здѣшнемъ университетѣ.

Характеризуя своего профессора въ посвященномъ ему некрологѣ, слушатель его Д. М. Одинецъ на столбцахъ «Рѣчи» (1910 г., № 327) такъ справедливо и прекрасно обрисовалъ его:

«Обладавъ крупнымъ талантомъ, профессоръ Сергѣевичъ былъ также великимъ мастеромъ научной техники,—говоритъ онъ.—Въ данномъ отношеніи В. И. Сергѣевичъ—это русскій Фюстель-де-Куланжъ. Та же строгая обоснованность и документировка положеній, та же осторожность въ выводахъ, то же убѣжденіе, что исторія есть одна изъ самыхъ трудныхъ дисциплинъ, отмѣчаютъ обоихъ изслѣдователей. Синтезу долженъ необходимо предшествовать анализъ—таковъ ихъ девизъ, которому они никогда не измѣняли. И если этотъ синтезъ не всегда высказывается, то это понятно, такъ какъ онъ всегда чувствуется... В. И. Сергѣевичъ былъ въ полномъ смыслѣ историкомъ-творцомъ. Въ этомъ его сила, и съ этой стороны нужно подходить къ нему въ оцѣнкѣ его значенія.

«Тѣ лица, которыя имѣли счастье быть его непосредственными учениками, сумѣютъ оцѣнить В. И. Сергѣевича еще съ одной стороны. Указанія профессора Сергѣевича, его руководство были цѣнны, какъ по богатству своего матеріальнаго содержанія, такъ и по глубинѣ своей задушевной предупредительности. Въ словахъ старика-учителя жила неугасимая любовь и жажда знанія, неутолимая энергія новыхъ поисковъ. Всѣмъ съ нимъ были всегда моментами высокой эмоциональнаго подъема. Таковы впечатлѣнія личнаго опыта. Эти впечатлѣнія незабвенны».

И другой его ученикъ, академикъ М. Дьяконовъ, на страницахъ той же газеты также согласно съ этой характеристикой говоритъ:

«Много покатный прошло черезъ аудиторию профессора Сергѣевича, и всѣ они, конечно, сохранять о немъ память, какъ объ одномъ изъ самыхъ

выдающихся профессоров нашего университета. Не одни студенты-юристы тьслились в его аудитории; каждый студент петербургского университета не один раз в нее заходил. Простой, нетеропливый, отчетливый и всегда серьезный рассказ в мѣтких характеристиках инстинктов и бытовых явлений древности рѣзко запечатлѣвался в умах слушателей и постоянно привлекал их в эту аудиторию.

В. И. Сергѣевичъ былъ не только преподаватель; онъ былъ, прежде всего, ученый изслѣдователь. Его ученое творчество не поражаетъ обиліемъ. Но каждый его трудъ является цѣннымъ по важности и оригинальности вкладомъ в историческую науку. Все, что онъ только написалъ, является замѣчательнымъ по простотѣ и ясности литературнымъ произведеніемъ. Можно съ авторомъ не согласиться, но его нельзя не понять или неправильно истолковать. Такого образцоваго мастерства въ изложеніи не сыщешь больше въ русской исторической литературѣ».

Таковъ общій обликъ почиваго ученаго. Обращаясь къ его curriculum vitae и научному формуляру, мы узнаемъ ¹⁾, что В. И. Сергѣевичъ родился 19-го марта 1832 года ²⁾. По окончаніи курса въ четвертой московской гимназій съ золотой медалью онъ поступилъ на юридическій факультетъ московскаго университета. Выйдя изъ университета въ 1857 году кандидатомъ юридическихъ наукъ, онъ избралъ для своей дѣятельности научное и педагогическое поприще и опредѣлился на первыхъ порахъ учителемъ законовѣдѣнія въ первую московскую гимназію. Въ 1862 году онъ былъ командированъ совѣтомъ университета за границу для приготовления къ профессурѣ и занимался тамъ преимущественно въ Гейдельбергѣ, слушая лекціи Вундта, Цепля, Рено, Миттермайера и Вангера.

По возвращеніи на родину В. И. блестяще защитилъ диссертацию на степень магистра государственнаго права «Уѣче и князь». Диссертация эта, въ которой онъ первый изъ нашихъ ученыхъ историковъ-юристовъ установилъ правильную схему устройства древне-русскаго княжества, вызвала восторженный отзывъ старика М. П. Погодина, сумѣвшаго своимъ прощательнымъ взоромъ оцѣнить въ молодомъ изслѣдователѣ крупную науч-

¹⁾ «Современники». Альбомъ биографій Н. И. Афанасьева, т. 2-й.

²⁾ Фамилія Сергѣевича первоначально писалась Сергѣичъ; съ такимъ написаніемъ этотъ родъ и былъ первоначально утвержденъ по Могилевской губ., какъ происходящій отъ шляхты. Сергѣичѣвъ отецъ Василій Ивановичъ—Иванъ Ивановичъ, уже съ написаніемъ Сергѣевичъ, принадлежалъ къ дворянству Орловской губ., со внесеніемъ въ III часть родословной книги, по личнымъ заслугамъ. Отъ перваго брата Ивана Ивановича С. съ Александрой Петровной Н. былъ единственный сынъ Василій, обучавшійся первоначально въ орловскомъ Вахтанга кадетскомъ корпусѣ; а отъ втораго брата съ Марией Дмитріевной Н. онъ имѣлъ трехъ сыновей: Николая, Дмитрія и Александра и трехъ дочерей: Варвару, Софію и Юлію. В. Г.

ную силу. Съ 1868 г. мы видимъ Сергѣевича лекторомъ въ московскомъ университетѣ, въ качествѣ доцента по кафедрѣ государственнаго права, а черезъ три года онъ уже защищаетъ диссертацию на степень доктора государственнаго права: «Задачи и методы государственныхъ наукъ», послѣ чего возводится сначала въ званіе экстраординарнаго, а затѣмъ ординарнаго профессора.

Въ 1872 г. онъ перешелъ въ петербургскій университетъ, гдѣ занялъ кафедру по исторіи русскаго государственнаго права, и съ тѣхъ поръ по 1907 г. читалъ непрерывно въ здѣшнемъ университетѣ лекціи по этому предмету, создавъ цѣлую школу послѣдователей и учениковъ, изъ которыхъ многие составили себѣ въ послѣдствіи ученые имена и явились продолжателями его научнаго творчества въ нѣкоторыхъ нашихъ столичныхъ и провинціальныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Съ 1887 г. по 1897 г. В. И. былъ деканомъ юридическаго факультета, а съ 1897 по 1899 г. ректоромъ петербургскаго университета, каковую должность онъ покинулъ при бурныхъ обстоятельствахъ, о коихъ будетъ сказано ниже и которыя, несомнѣнно, въ значительной мѣрѣ оставили на немъ тяжелый слѣдъ. Съ основанія въ 1878 г. археологическаго института Сергѣевичъ былъ приглашенъ читать слушателямъ института юридическія древности и вскорѣ былъ избранъ въ почетные члены института. Немало потрудился покойный и на пользу императорскаго историческаго общества, гдѣ онъ состоялъ виднымъ дѣятелемъ. Какъ членъ этого общества, онъ собралъ и отпечаталъ въ восьми томахъ «Историческія свѣдѣнія о Екатерининской комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія» (1881—1894 гг.).

Въ 1907 г. В. И. былъ назначенъ членомъ государственнаго совѣта и принялъ дѣятельное участіе въ его работахъ, особенно при разсмотрѣніи крестьянскаго, земельнаго и вѣдомственнаго вопросовъ. Его выступленія по этимъ вопросамъ запечатлѣны въ стенограммахъ засѣданій нашей верхней палаты, а въ общей печати отраженіе его взглядовъ по симъ предметамъ можно найти на страницахъ «Журнала Министерства Юстиціи» и въ «Новомъ Времени». Такъ, въ первомъ изъ этихъ изданій (май 1906 г.) имъ напечатана интересная статья «Всеобщее избирательное право», а въ 1908 г. онъ откликнулся на жгучій острый вопросъ въ «Новомъ Времени» статьями: «Есть ли у крестьянъ теперь общинное землевладѣніе?» и «Когда надѣльные земли стали собственностью крестьянъ». Къ нѣкоторымъ изъ взглядовъ по симъ вопросамъ покойнаго историка-юриста мы обратимся нѣсколько далѣе, а пока отмѣтимъ то главнѣйшее научное наслѣдіе, которое онъ оставилъ по себѣ своей родинѣ. Кромѣ указанныхъ уже ученыхъ трудовъ, давшихъ ему научное званіе, Сергѣевичъ издалъ и напечаталъ слѣдующія цѣныя работы, изъ которыхъ каждая въ свое время обращала на себя вниманіе ученой корпораціи, заставляла о себѣ

говорить и имѣть то или другое значеніе и для нашихъ и, быть можетъ, и для многихъ грядущихъ дней; къ числу таковыхъ отдѣльно изданныхъ относятся: «Лекціи и изслѣдованія по исторіи русскаго права» (четвертое изданіе, исправленное и дополненное, вышло въ 1911 году), «Русскія юридическія древности» (3 т., изд. 1890—96 гг.). Въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» имѣ напечатаны: «Особенности французскаго кассационнаго суда», «Очеркъ кассации въ Пруссіи», «Время возникновенія германской поземельной общины», «Порядокъ отмѣны рѣшеній по новому уставу гражданскаго судопроизводства» и друг. Въ «Сборникѣ государственныхъ знаній»—«Земскіе соборы въ Московскомъ государствѣ», «Государство и право въ исторіи» и друг.; въ «Наблюдателѣ»—«Вольные и невольные слуги московскихъ государей», въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ»—«О порядкѣ полученія ученыхъ степеней», «Пересмотръ исторіи служилаго землевладѣнія», въ «Вѣстникѣ Европы»—«Откуда неудачи Екатерининской законодательной комиссіи», «Задачи исторіи кодификаціи», «Германскіе университеты и наши», «Реформа университетскаго преподаванія»; въ «Сельскомъ Вѣстникѣ»—«Время возникновенія крестьянской поземельной общины»; въ «Журналѣ Министерства Юстиціи»—«Новыя ученія въ области государственнаго права», «Всеобщее избирательное право», «Крестьянское право и общинное землевладѣніе въ Архангельской губ. въ половинѣ XVIII вѣка», «Первичныя народныя собранія у германцевъ и грековъ», «Законы царя Хаммураббита и Вибліи о несвободныхъ людяхъ», «Новое ученіе о правѣ и нравственности», «Мой отвѣтъ г. Петражицкому»; въ газетѣ «Слово»—«Мысли по поводу новаго закона о государственной думѣ», «Новый совѣтъ министровъ» и много другихъ статей въ разныхъ изданіяхъ, написанныхъ по вопросамъ законодательнаго дня въ связи съ его спеціальностью изслѣдователя историко-юридическихъ судебъ русскаго народа.

Во вниманіе къ обширнымъ заслугамъ передъ наукою В. И. Сергѣевичъ былъ избранъ почетнымъ членомъ императорскихъ университетовъ: юрьевскаго, харьковскаго и кіевскаго св. Владимира; историческаго общества Нестора Лѣтописца, чешской академіи Франца-Йосифа, юридическаго общества при московскомъ университетѣ, симбирской и виленьской ученыхъ архивныхъ комиссій. Въ декабрѣ 1909 г. юридическій факультетъ юрьевскаго университета присудилъ ему за его ученые труды премію графа Сперанскаго. Кромѣ спеціально ученыхъ учрежденій, выше перечисленныхъ, въ которыхъ онъ принималъ видное участіе, мы видимъ его членомъ и другихъ общественныхъ и научно-литературныхъ организацій, тѣсно связанныхъ съ жизнью и дѣятельностью отечественныхъ ученыхъ и писателей. Такъ, онъ въ теченіе многихъ лѣтъ состоялъ членомъ литературнаго фонда, въ составъ котораго избирался его председателемъ, членомъ кассы взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ, общія собранія которой онъ охотно



Василій Ивановичъ Сергѣевичъ.

посещал и где иногда по спорным уставным вопросам кассы поднимал свой вѣсѣй голосъ. На второмъ всероссійскомъ сѣздѣ писателей весной 1910 года онъ также записался членомъ, желая, вопреки агитаціи противъ этого сѣзда, поддержать его своимъ авторитетомъ и, дѣйствительно, на одномъ изъ засѣданій оказалъ ему нѣкоторую услугу въ смыслѣ добраго воздѣйствія на настроеніе присутствовавшего на сѣздѣ представителя полицейской власти. Точно также, когда въ первой половинѣ восьмидесятихъ годовъ при здѣшнемъ университетѣ было основано студенческое научно-литературное общество, В. И. принялъ въ немъ дѣятельное участіе, явившись руководителемъ общихъ собраний и ученыхъ засѣданій студентовъ.

Такимъ образомъ, изъ приведеннаго жизненнаго и научнаго формуляра скончавшагося профессора мы видимъ, что онъ не являлъ собою типа сухого ученаго, запертаго въ тѣсныя рамки своей специальности и своего академическаго кабинета, скупо оберегающаго свое ученое богатство отъ прикосновенія къ нему постороннихъ людей, но, наоборотъ, человѣка, по мѣрѣ силъ, возможности и соответственно своему призванію и общественной потребности, охотно идущаго навстрѣчу запросамъ современной жизни, въ надеждѣ и желаніи внести въ эту жизнь лучъ своего научнаго знанія и лепту житійскаго опыта. Но при такомъ служебномъ на пользу родины онъ не размѣнивается на мелочи, не вульгаризируетъ своего пера, не опошляетъ своего ученаго званія, а выступаетъ лишь въ такіе моменты и по такимъ случаямъ, когда въ немъ начинается говорить истинная потребность въ рѣчи, какъ ученаго изслѣдователя исторической и текущей отечественной дѣятельности. Отсюда нѣкоторая кажущаяся бѣдность его литературнаго наслѣдія, размѣръ котораго, исходя изъ соображеній наличности его природныхъ дарованій, можно было бы ожидать значительно большаго масштаба: Но при оцѣнкѣ этого наслѣдія именно приходится судить о немъ не по количественному, а качественному требованію, и вотъ, если подойти къ покойному Сергѣевичу съ этой стороны, то и приходится съ полной горечью сознанія засвидѣтельствовать, что въ немъ Россія потеряла одного изъ своихъ лучшихъ сыновъ, память о которомъ будетъ вспоминаться съ теплою признательностью.

Если обратимся къ качественной оцѣнкѣ научной дѣятельности Сергѣевича, то по сему вопросу мы находимъ въ краткой, но очень содержательной статьѣ, ему посвященной въ XXIX томотѣ анциклопедическаго словаря Брокгауза и Эфрона, принадлежащей, повидимому, перу его ученика, академика М. А. Дьяконова, слѣдующую прекрасную его характеристику. Онъ говорить: «Какъ богѣ крупныя работы Сергѣевича, такъ и небольшія журнальныя статьи его одинаково отличаются свѣжестью и оригинальностью выводовъ, всегда строго обоснованныхъ на тщательномъ изученіи источниковъ. Написаны онѣ образцовымъ по простотѣ, ясности и об-

разности литературнымъ языкомъ. Первый большой трудъ С. «Вѣче и князь» впервые установилъ правильную схему государственнаго устройства древнерусскихъ княжествъ. Народоуправства или вѣча оказались не только принадлежностью сѣверныхъ торговыхъ республикъ, но общераспространенной формой быта всѣхъ русскихъ земель; ихъ повсемѣстность выяснена разсмотрѣніемъ какъ документальныхъ свидѣтельствъ, такъ и общихъ условій быта. Второй элементъ въ составѣ власти—князья—опредѣляютъ свои отношенія къ народу, къ дружинѣ и между собой на основаніи договора. Договорнымъ началомъ проникнуть весь государственный бытъ, имъ же опредѣлялись и отношенія между князьями. С. выступилъ однимъ изъ самыхъ горячихъ противниковъ теоріи родового быта. Идѣя родового старшинства, которымъ, по этой теоріи, опредѣлялись отношенія между князьями, была противопоставлена идея равнаго достоинства князей. Въ противовѣстіи теоріи лѣстичнаго восхожденія при распределеніи волостей между князьями выставлено совершенно новое начало: волости въ древней Руси не наслѣдовались, а добывались. Какъ бы въ подкрѣпленіе своихъ методологическихъ пріемовъ С. выпустилъ въ свѣтъ свой блестящій этюдъ «Задачи и методы государственныхъ наукъ». Здѣсь подвергнуты безопадной критикѣ способы изслѣдованій нѣмецкихъ политическихъ писателей, начиная съ Конта, и непригодностью чисто философскихъ или смѣшанныхъ пріемовъ объяснено неудовлетворительное состояніе государственныхъ наукъ въ Германіи. Въсѣдъ за этимъ впервые для русскаго читателя дано сжатое изложженіе основныхъ пріемовъ и задачъ положительнаго метода, поскольку онъ выработанъ Контомъ, Миллемъ и Льюисомъ. Къ методологическимъ вопросамъ С. возвращался и поздѣе, напр., въ статьѣ «Право и государство въ исторіи»; но вниманіе его главнымъ образомъ привлекали отдѣльные вопросы исторіи права, какъ-то земскіе соборы, Екатерининская комиссія, договоры съ греками, образованіе государственныхъ территорій и проч. По каждому изъ этихъ вопросовъ имъ высказаны мнѣнія, съ которыми необходимо считаться каждому изслѣдователю и которыя до сихъ поръ во многихъ отношеніяхъ остаются не поколебленными. Далекій отъ славянофильскаго воззрѣнія, по которому наши соборы являлись идеаломъ представительства, авторъ не раздѣляетъ и отрицательной точки зрѣнія Соловьева и Утичерева. Онъ видитъ въ соборахъ первую ступень развитія представительныхъ учреждений и проводитъ аналогію ихъ съ подобными учрежденіями во Франціи и Англіи. Несмотря на несовершенство въ организации, соборы оказали великія услуги государству: «одной патріотической дѣятельности земскихъ соборовъ начала XVII в. уже довольно, чтобы Россія всегда вспоминала о нихъ съ благодарностью». Разсматривая вопросъ о территориальномъ ростѣ Московскаго государства, С. вопреки установившемуся взгляду, что оно выросло изъ вотчины московскихъ князей, развиваетъ

мысль, что не московский удѣлъ, а великое княжество Владимірское послужило основной ячейкой для этого роста съ той самой минуты, какъ Дмитрій Донской приобрѣлъ его въ наследственное владѣніе своего дома. Московскіе князья, начиная съ Калиты и до Дмитрія Донского, вовсе не были создателями того порядка, который привелъ Москву къ единовластію и величію. Калита—вовсе не основатель государственнаго величія Москвы, какъ думали древніе грамотеи и вслѣдъ за ними повѣйшіе историки, а первый рѣшительный проводникъ взгляда на княженіе, какъ на частную собственность князя, со всѣми противогосударственными послѣдствіями такого взгляда... Въ 1890 г. появился первый томъ капитальнаго труда «Русскія юридическія древности», представляющаго собою начало новой переработки исторіи русскаго права до конца XVII в.... Изложеніе (здѣсь) представляетъ ту особенность, что въ текстѣ приведены характерныя мѣста изъ источниковъ, которыя и разъясняются. Почти по всѣмъ вопросамъ или предлагаются новыя оригинальные выводы, или приводятся новыя соображенія въ пользу прежде высказанныхъ взглядовъ. Даже отдѣлы, ранѣе изслѣдованные авторомъ, написаны вновь и по новому плану». Профессоръ не успѣлъ въ такомъ видѣ переработать всю древнюю исторію русскаго права, но все, что не вошло въ «Древности», изложено въ особомъ изданіи—«Лекціи и изслѣдованія по древней исторіи русскаго права», вышедшемъ въ 1911 году четвертымъ изданіемъ. Это все необходимыя пособія для каждаго изучающаго русскую исторію, настольныя книги любителя русской старины. Съ каждой строкой этого четырехтомнаго курса необходимо считаться русскому историку».

Приведенная выше оцѣнка Сергѣевича, какъ ученаго, достаточно полна, чтобы къ ней что-либо прибавлять въ краткомъ біографическомъ очеркѣ. Литература о трудахъ покойнаго обширна, и интересующіеся этой стороной вопроса могутъ найти о немъ указаніе въ томъ же упомянутомъ полумѣ «энциклопедіи». Намъ хочется лишь обратить вниманіе нашихъ читателей на характерность научнаго пути, намѣченнаго себѣ ученымъ, съ котораго онъ никогда не сходилъ и который имѣлъ одну опредѣленную цѣль и задачу. Путь этотъ, проложенный черезъ русскую исторію, черезъ русскія юридическія древности, имѣлъ въ виду развитіе въ слушателяхъ, въ рускомъ обществѣ, въ рускомъ народѣ правосознанія, усвоеніе такихъ юридическихъ нормъ, которыя должны были въ своемъ постепенномъ развитіи приблизить нашу голину къ типу государства, организованнаго не на патриархальныхъ началахъ произвола и самовласти, а на основахъ народопростава, на тѣхъ началахъ, осуществленіе которыхъ понемногу сбывается лишь въ наши дни. Сергѣевичъ, человѣкъ очень осторожный, не спѣшилъ облекать свои тенденціи въ публицистическую форму, преждевременно разжигать страсти и переть противъ рожа. Онъ подходилъ къ выводамъ,

какъ ученый, указывая, что древне-русская жизнь не была лишена законсовѣщательныхъ органовъ, что и въ ней издревле царило договорное начало между управляющими и управляемыми и такимъ образомъ имъ ставился какъ бы вопросъ о незаконности исчезновенія этого начала изъ новѣйшей русской исторіи и о необходимости возвратиться къ нему, но, понятно, въ формѣ, соответствующей духу и потребности времени и согласной съ опытомъ европейскихъ народовъ. Онъ не кричалъ о «конституціи», не громилъ неограниченную монархію, а лишь обставлялъ историческіе пути отечественной жизни, останавливаясь здѣсь на тѣхъ ея главнѣйшихъ эпохахъ, которыя всегда яснѣе иллюстрировали его тенденціи, какъ юриста, какъ воспитателя общества въ сказанномъ направленіи. Вотъ почему я считаю его однимъ изъ тѣхъ видныхъ учителей русской жизни, осторожно и съ историческими фактами въ рукахъ, съ неопровержимыми доказательствами ведшимъ современниковъ къ разумнѣю желательныхъ лучшихъ условий русской государственности, зари которой забрезжила лишь послѣ манифеста 17-го октября 1905 года.

Не лишнимъ интереса можно отмѣтить, между прочимъ, тотъ фактъ, что еще въ 1905 г. онъ какъ бы не вѣрилъ восходу этой зари. Самое появленіе государственнаго акта 17-го октября онъ относилъ на счетъ случайности, а не разсматривалъ какъ явленіе органическое, выросшее изъ совокупности сложившихся обстоятельствъ, что въ его глазахъ, какъ историка-юриста, лишало актъ той историчности, безъ которой онъ не представлялъ себѣ прочности извѣстныхъ установленій, изъ этого акта вытекающихъ.

Такъ, когда Сергѣевичъ былъ приглашенъ однимъ частнымъ кружкомъ, въ которомъ и автору настоящаго очерка пришлось въ тѣ дни приснопамятнаго года принять участіе, на засѣданіе для обсужденія вопроса объ образованіи партіи, ставящей себѣ, между прочимъ, задачей и поддержку въ обществѣ реформаціонныхъ стремленій правительства и содѣйствіе тогдашнему премьеру-министру, онъ охотно прибылъ на засѣданіе и принялъ на себя здѣсь даже предсѣдательствованіе. Внимательно вслушивался предсѣдатель собранія въ рѣчи, руководилъ преніями, формулировалъ вопросы, вообще держалъ себя въ высшей степени безпристрастно и объективно, но когда одинъ изъ присутствовавшихъ обратился къ нему съ вопросомъ: какъ же онъ самъ смотритъ на намѣченную задачу будущаго общества?—В. И. всѣхъ поразилъ своими словами:

— Я не могу сочувствовать и принимать участія въ поддержкѣ того премьер-министра, въ основаніи былой политики котораго лежать такія противозаконныя начала, какъ постройка желѣзной дороги по чужой территоріи (Манчжурской), показывающая безцеремонное и хищническое отношеніе къ собственности слабаго сосѣда, и, съ другой стороны, какъ построеніе всей фискальной и экономической политики на эксплуатаціи безправствен-

ных инстинктов народа, сулящей ему нравственную гибель и обнищание. Казенное вино, казенная монополия для меня вполне достаточны, чтобы раз навсегда залить, что между мною, как ученым, как хранителем этического начала, не может быть ничего общего с тем, кто сознательно ведет народ по пути его гибели.

— Но, позвольте, существует правительство, вступившее на путь реформ...

— Реформы, правительство!—воскликнул Сергѣевичъ.—Да знаете, что случилось: какая-то кучка отчаянных людей загнала правительство въ уголъ, схватила за горло, и оно, растерявшись, хрипло прокричало какия-то слова, дѣйствие которыхъ выяснится еще въ будущемъ и которые не приведены въ согласіе со всемъ укладомъ жизни, не вытекаютъ изъ естественнаго историческаго хода вещей.

— Значитъ, вы противъ реформъ, противъ законодательныхъ учрежденій?

— Не значитъ. Только къ нимъ не такъ подошли. Я всегда ихъ проповѣдывалъ—доказательства тому во всехъ моихъ трудахъ, во всей моей научно-литературной дѣятельности, если ее проанализировать и понять.

Намѣченная партія вообще не образовалась по разнымъ причинамъ, но ходъ событий показалъ Василию Ивановичу, что, пожалуй, онъ былъ слишкомъ строгъ въ приведенныхъ здѣсь сужденіяхъ и въ 1907 г. ему даже пришлось вступить въ ряды верхней палаты, принять въ ея работахъ дѣятельное участіе, а въ 1906 г., еще до назначенія его членомъ государственнаго совѣта, высказать печатно о способахъ и путяхъ осуществленія новаго государственнаго строя. Свой взглядъ по сему предмету онъ изложилъ въ статьѣ «Всеобщее избирательное право» («Журналъ Министерства Юстиціи» 1906 г., № 5), гдѣ отрицательно высказался по вопросу о знаменитой «четыреховскѣ» и противъ однопалатности въ нашемъ государственномъ строѣ, которая въ тѣ годы особенно пропагандировалась партіей народной свободы и социаль-демократами. Въ этой статьѣ ученый конституціоналистъ и приверженецъ представительной монархіи уже снимаетъ съ себя обликъ былой осторожности и послѣ разнаго рода историческихъ справокъ, почерпнутыхъ изъ отечественной исторіи и исторіи западныхъ народовъ, откровенно высказываетъ свое политическое *profession de foi*, гдѣ въ заключительной части говоритъ: «Какъ бы ни были несовершенны формы представительной монархіи, все же представительная монархія будетъ лучшимъ формою монархіи, ибо дѣлаетъ возможнымъ общеніе монарха и народа. Что такое англійское представительство въ XVIII вѣкѣ? Множество крупныхъ пунктовъ населенія вовсе не имѣли представительства, а гнилые мѣстечки, обладавшія этимъ правомъ, вовсе не избирали депутатовъ, ихъ назначали тамъ богатые лорды, крупные мѣстные земельные собственники. Волѣе несовершенной

формы представительства и выдумать сельзя. Но это не помѣшало благотворительному дѣйствію англійскаго представительства, не помѣшало созданію законовъ, ограждающихъ свободу, не помѣшало Монтеスキю оцѣнить оригинальныя особенности англійскаго устройства и написать знаменитую главу объ англійскомъ парламентѣ, открывшую новую эру въ исторіи политическихъ ученій. Избирательные законы, конечно, имѣютъ большую важность; но и здѣсь, какъ вообще въ жизни, не все дѣло въ законахъ, а прежде всего въ людяхъ».

Людямъ, какъ носителямъ высшихъ даровъ цивилизціи и культуры, какъ носителямъ высшаго этического начала, покойный ученый отводилъ первенствующее мѣсто во всехъ комбинаціяхъ чловѣческаго существованія, чловѣческой жизни и никоимъ образомъ не допускалъ подавленія ихъ свободной воли механическими процессами и холодными формулами. Онъ проповѣдывалъ лишь, чтобы содержимое соответствовало формѣ, его содержащей, чтобы между тѣмъ и другимъ наблюдалась гармонія, а отсюда дѣлалъ непосредственный постулатъ, чтобы законъ и справедливость были понятіями однозначными. Многія интересныя мысли по сему предмету разбросаны имъ въ двухъ статьяхъ, посвященныхъ разбору трудовъ профессора Петражицкаго и помѣщенныхъ на страницахъ «Журнала Министерства Юстиціи» за 1909 и 1910 гг., любопытныхъ, помимо ихъ научно-философскаго содержанія, и той полемической формой, которую авторъ имъ придалъ. Во второй статьѣ онъ не послѣдовалъ примѣру своего оппонента, явно сводившаго со старикомъ-ученымъ какіе-то партійные счеты и задѣвшаго личность послѣдняго, личность, къ несчастью, въ послѣднее десятилѣтіе ставшую своего рода мишенью для разныхъ нападокъ со стороны ультра-либеральнаго лагеря, не могшаго простить Василию Ивановичу его поведенія въ качествѣ ректора университета въ 1899 г., во время прогрессивныхъ тогда на всю Россію безпорядковъ въ здѣшнемъ университетѣ, поведенія, не соответствовавшаго требованіямъ тогдашней взбаламученной политической стихіи, которая пыталась обратить университетъ въ широкую арену для политической общественной агитаціи.

Студенческие безпорядки въ зданіяхъ высшихъ учебныхъ заведеній составляютъ особую страницу въ исторіи нашего революціоннаго движенія и искони тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ нимъ. Послѣ тѣхъ котораго затѣяна, наблюдавшаяся въ первые годы послѣдняго десятилѣтія минувшаго вѣка, эти безпорядки вспыхнули въ Петербургѣ совершенно неожиданно и, между прочимъ, омрачились печальнымъ эпизодомъ столкновенія учащейся молодежи 8-го февраля 1895 года близъ Аничкова моста съ полиціей и избѣженія подгулявшихъ манифестантовъ дворниками. Этотъ эпизодъ въ свое время надѣлалъ много шума, вызвалъ особое правительственное сообщеніе и легъ неслучайно какъ на дѣйствія столичной полиціи, такъ и на поведеніе моло-

дежи. В. И. Сергѣевичъ, бывшій въ то время деканомъ юридическаго факультета, не могъ, соотвѣственно своимъ взглядамъ на значеніе служителей науки, стать на сторону студентства, и этого его взгляда на дѣло не вызвалъ сочувствіе его слушателей и не послужилъ къ его популярности среди политиканствующихъ кружковъ столицы. Но В. И. никогда не искалъ этой дешевой популярности и не приносилъ ей въ жертву своихъ взглядовъ и убѣждений. Такъ, будучи до извѣстной степени сторонникомъ университетскаго устава 1863 года, онъ, полемизируя съ извѣстнымъ въ свое время попечителемъ кавказскаго округа К. П. Яновскимъ по вопросу о «воспитаніи и обученіи въ нашихъ университетахъ», касаясь дѣйствующей ст. 123 университетскаго устава, говоритъ на страницахъ «Научнаго Обозрѣнія» (1898 г., № 10):

«Статья устава подчиняетъ студентовъ полиціи «на общемъ основаніи» въ отношеніи соблюденія вишняго порядка, не болѣе. Если студентъ совершитъ какой-либо безпорядокъ, то протоколъ по поводу этого безпорядка составляется полиціей, и дѣло направляется къ разсмотрѣнію судебныхъ учреждений въ общемъ порядкѣ. О какомъ-либо специальномъ наблюденіи полиціи за образомъ жизни студентовъ тутъ и рѣчи нѣтъ. За образомъ жизни студентовъ полиція наблюдаетъ не болѣе и не менѣе, какъ за образомъ жизни всѣхъ другихъ подданныхъ имперіи Россійской, и, конечно, права этого лишена быть не можетъ.

«Но, можетъ быть, авторъ (т.-е. г. Яновскій) желаетъ, чтобы дѣла о нарушеніи студентами спокойствія и тишины и всякіе къ нимъ претензіи и искъ частныхъ лицъ разсматривались не въ общемъ порядкѣ, а университетскимъ начальствомъ? Тогда пришлось бы вооружить университетское начальство правомъ составлять полицейскіе протоколы, вызывать къ своему суду заинтересованныхъ лицъ и свидѣтелей, допрашивать ихъ и выслушивать ихъ показанія и, наконецъ, и постановлять по всѣмъ этимъ дѣламъ рѣшенія. Это было бы возвращеніе къ средневѣковому порядку вещей, о которомъ и средневѣковые университеты могли только мечтать! Въ наше время о такомъ порядкѣ вещей и рѣчи быть не можетъ. Благодаря судебнымъ уставамъ императора Александра II, студенты не нуждаются ни въ какой особой охранѣ. Подчиненіе студентовъ внѣ зданій университета общему порядку нисколько не умаляетъ правъ университетскаго начальства по наблюденію за ихъ поведеніемъ. На основаніи устава и существующихъ правилъ подчиненіе студентовъ надзору полиціи не освобождаетъ ихъ отъ повиновенія учебному начальству и внѣ зданій университета. Полиція же обязана увѣдомлять ректора о всѣхъ проступкахъ, совершенныхъ студентами внѣ зданій университета, и правленію университета предоставлено обсуждать эти проступки и подвергать виновныхъ такимъ послѣдствіямъ, какія оно признаетъ за благо».

Высоко ставя значеніе въ жизни высшаго образованія и вмѣстивъ этого образованія—университетовъ, онъ предъявлялъ и къ студентамъ, и къ профессорамъ, и къ должностнымъ лицамъ административной категоріи идеальныя требованія, имѣющія своей исключительной цѣлью служеніе истинѣ и наукѣ, безъ вторженія сюда уличнаго гомона и тѣхъ началъ общественности, которыя отвлекаютъ жрецовъ знанія и ученія отъ ихъ непосредственнаго дѣла. До извѣстной степени взгляды его по сему предмету довольно полно выражены въ статьѣ «Германскіе университеты и наши», напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» за 1905 г., № 5.

Приведенные выше взгляды Сергѣевича шли вразрѣзъ съ тѣмъ движеніемъ среди студенчества, которое наблюдало какъ въ 1896 году, такъ и въ послѣдующіе два года, 1897 и 1898, когда молодежь начала, въ пику полиціи и администраціи, демонстрировать на улицахъ, вынося сюда свое возмущенную энергію и пылкія чувства. Но до столкновенья молодежи съ В. И., какъ тогдашнимъ ректоромъ, дѣло не доходило; это столкновенье произошло лишь въ 1899 году, когда ему пришлось пойти противъ общаго теченія и, сохраняя свою независимость истиннаго жреца науки и просвѣщенія, быть принесеннымъ въ жертву суевѣ времени.

Предвидя возможность безпорядковъ со стороны студентовъ въ день акта 8-го февраля 1899 года, министръ внутреннихъ дѣлъ Горемыкинъ сообщилъ министру народнаго просвѣщенія покойному Боголюбову, что въ виду предстоящаго праздника 8-го февраля имъ предложено ¹⁾ градоначальнику озаботиться предупрежденіемъ какихъ-либо нарушеній студентами общественнаго порядка, и просилъ объявить о запрещеніи ходить по улицамъ съ пѣснями и объ установленіи надзора за разрѣшенными въ этотъ день чаепітиями. Со своей стороны, министръ народнаго просвѣщенія въ особомъ совѣщаніи 13-го января высказалъ, что уличные безпорядки прежнихъ лѣтъ ни въ коемъ случаѣ терпимы не будутъ, и возбудилъ вопросъ о необходимости предупрежденія студентовъ относительно поведенія ихъ въ день годового праздника. Въ исполненіе сего правленіемъ университета было составлено особое отъ имени ректора объявленіе, которое съ разрѣшенія министерства народнаго просвѣщенія и было 1-го февраля вывѣшено въ университетѣ.

Этимъ объявленіемъ ректоръ университета поставлялъ на видъ студентамъ совершаемая ими въ день акта нарушенія порядка и спокойствія на улицахъ столицы и въ общественныхъ собраніяхъ, «что дастъ поводъ къ при-

¹⁾ Дальнѣйшія свѣдѣнія заимствованы изъ «Доклада П. С. Ванновскаго о студенческихъ безпорядкахъ 1899 года», изданнаго отдѣльною брошюрою журналомъ «Свѣтлая Пальмира» въ 1906 г. Нельзя не отмѣтить, что этотъ докладъ былъ составленъ въ духѣ неблагопріятномъ В. И. Сергѣевичу съ явной тенденціей выставить его дѣйствія неправильными.

скорбным столкновениям и вызывает неудовольствие публики, которая давно обратила внимание на эти беспорядки и осуждает за них все студенчество, тогда как в них участвует небольшая его часть». Указывая на необходимость исполнять законы и охранять честь и достоинство университета, ректор привел выписки из соответствующих статей уголовного кодекса, с указанием положенных за уличные проступки наказаний.

Объявление это было вывешено в университет в субботу 1-го февраля, около 4—5 часов пополудни. Уже в первый затѣм будничных день 3-го февраля у объявления останавливалось значительное количество студентов, внимательно его читавших. По удостоверению студентов, объявление произвело на них удручающее впечатлѣніе: оно напомнило имъ то, что безъ того имъ было хорошо извѣстно, чѣмъ большинство ихъ возмущалось и противъ чего они сами рѣшили принять мѣры; «взаимъ теплаго слова, вмѣсто воздѣйствія на нравственное чувство—оно угрожало уголовными карами, выставляя студенчество, по выражению одного студента, дикую толпу, съ которою можно справиться лишь посредствомъ угрозы физической болью. Обиднымъ казалось и то, что вечерние кутежи и буйства въ день 8-го февраля ставятся въ вину всему студенчеству, тогда какъ въ дѣйствительности, какъ то признаетъ и само объявление, они были дѣломъ незначительнаго меньшинства». Достоверность этихъ показаній студентовъ, данныхъ Ванновскому, впоследствии подтвердилъ, съ одной стороны, начальникъ отдѣленія по охраненію общественной безопасности и порядка въ Петербургѣ полковникъ Пирамидовъ, удостоверившій на основаніи полученныхъ агентурнымъ путемъ свѣдѣній, что студенты были недовольны объявленіемъ ректора, усматривая въ немъ нарушеніе традиционныхъ вольностей, а съ другой—объясненіемъ управляющаго учебнымъ округомъ Лаврентьева, признавашаго объявление «безтактнымъ и для студентовъ обиднымъ», утверждая, что, если бы оно было своевременно ознакомлено съ текстомъ этого объявленія, оно употребилъ бы все отъ него зависящее, чтобы оно вывѣшиваемо не было, причемъ управляющій округомъ присовокупилъ, что въ прежнее время такихъ объявленій никогда не бывало.

Считая авторомъ этого объявленія ректора университета и полагая почему-то, что опубликованіе въ газетахъ состоялось по его распоряженію, студенты начали замѣтно волноваться и явно высказывали свое неудовольствіе поступку Сергѣевича. Это обстоятельство, своевременно замѣченное нѣкоторыми чинами инспекціи, не вызвало, однако, со стороны высшаго университетскаго начальства никакихъ мѣропріятій. 6-го февраля во время утренней лекціи профессора Туганъ-Варановскаго по рукамъ студентовъ ходила записка, приглашавшая собраться на сходку для обсужденія вопроса о посылкѣ вѣика на гробъ скончавшагося президента Французской республики Фора. По окончаніи лекціи сходка эта, о которой было известно ин-

спекціи, ей не препятствовавшей, дѣйствительно, собралась въ одной изъ обширнѣйшихъ аудиторій (IX), около 12 час. 30 мин. въ аудиторию эту явился долженствовавшій въ ней читать лекцію профессоръ Петражицкій, и она была очищена инспекціей для слушателей этого профессора, при чемъ удаленные изъ нея студенты перешли на площадку главной дѣстницы и стали разсуждать уже по поводу объявленія. Всѣ сходились на необходимости выразить въ какой-либо формѣ протестъ ректору за его объявление, и первой мыслью было вовсе не являться на актъ, что было, однако, отвергнуто въ виду невозможности извѣщенія о томъ почти 4,000 студентовъ; затѣмъ меньшинство предлагало освидѣтельствовать Сергѣевича на публичномъ актѣ, а большинство высказалось за безмолвный протестъ—демонстративнымъ въ полномъ порядкѣ выходомъ всѣхъ студентовъ изъ зала въ моментъ появленія ректора на кафедрѣ. Несмотря на предложеніе находившагося все время на площадкѣ инспектора прекратить сходку, студенты разошлись только въ исходѣ второго часа, причемъ кѣмъ-то изъ нихъ объявленіе ректора вмѣстѣ съ рамой было со стѣны сорвано, покрывавшее его стекло разбито, а самое объявление изорвано. На сходкѣ этой участвовало около 4000 человекъ, и было рѣшено, что участники ея займутъ средней проходъ между стульями, чтобы быть замѣтнѣе ихъ демонстративный выходъ изъ зала. Независимо отъ этого было подтверждено о необходимости соблюдать въ день акта порядокъ на улицѣ и избѣгать всякихъ столкновеній съ полиціей. О рѣшеніи сходки было своевременно извѣщено инспекціи и ректору. 7-го февраля послѣдній доложилъ министру объ этомъ, но никакихъ указаній или инструкцій ни со стороны Боголюбова, ни со стороны ректора не послѣдовало въ руководство университетской администраціи.

Одновременно съ этимъ петербургскій городначальникъ организовалъ особое совѣщаніе для обсужденія мѣропріятій на 8-е февраля. Въ составъ этого происходившаго подъ предѣтельствомъ генералъ-майора Клейгельса совѣщанія вошли четыре полицеймейстера, упомянутый выше полковникъ Пирамидовъ и и. д. начальника полицейскаго резерва ротмистръ Галле. Совѣщаніемъ этимъ выработано особое секретное приложеніе къ приказу 7-го февраля за № 38, въ которомъ подробно изложено расположеніе и движеніе полицейскихъ нарядовъ. За исключеніемъ этого приказа никакихъ другихъ указаній или инструкцій чинамъ полиціи дано не было, причемъ исполнителямъ приказа предоставлено было «въ случаѣ необходимости отступать отъ указаній и дѣйствовать по собственной инициативѣ».

День торжественнаго акта 8-го февраля 1899 года открылся обычнымъ литургією въ 10 ч. 30 м.; самый же актъ былъ назначенъ въ часъ дня.

Уже съ 11 часовъ началось движеніе студентовъ по направленію къ университету; шли они небольшими группами, останавливались и заглядывали во дворы адмиралтейства и академіи наукъ, гдѣ были сосредоточены значи-

тельные полицейские наряды; вокруг университета расположены были околоточные и городовые, а по тротуарам близ него ходили переодетые околоточные, чиновники и агенты охранного отделения. Посторонней публики на акт было немного; мѣста для почетныхъ гостей болѣею частью оставались свободными, въ числѣ таковыхъ гостей были: петербургскій митрополитъ Антоній, министръ финансовъ Витте, помощникъ попечителя учебнаго округа Лаврентьевъ; зато бросалось въ глаза чрезмѣрное количество студентовъ: они занимали мѣста въ проходѣ, стояли между колоннами, на хорахъ, на площадкѣ, наконецъ въ числѣ около пятисотъ человекъ заняли средній проходъ между стульями; здѣсь было такъ тѣсно, что стоявшій въ этомъ проходѣ помощникъ инспектора Орнатскій былъ прижатъ къ находившемуся впереди его ряду студеивъ. Это была та группа студентовъ, которая условилась на сходкѣ 6-го февраля выразить протестъ ректору безмолвнымъ и демонстративнымъ выходомъ изъ зала. Актъ начался обычными церковными пѣснопѣніями, за которыми слѣдовало чтеніе отчета профессоромъ Смирновымъ и рѣчь профессора Ольденбурга. Все происходило въ полномъ порядкѣ, за исключеніемъ того, что на площадкѣ, гдѣ была густая толпа студентовъ, слышалось нѣсколько аплодисментовъ. Разслѣдованіемъ обнаружено, что въ это время тамъ было оглашено состоявшееся 6-го февраля рѣшеніе выразить протестъ удаленіемъ изъ зала, изъ университета не выходить толпой, ресторановъ не посѣщать и избѣгать всякихъ столкновеній съ полиціей; аплодисменты выражали сочувствіе этому рѣшенію. По окончаніи рѣчи профессора Ольденбурга на кафедру вступилъ ректоръ, В. И. Сергѣевичъ, и тотчасъ же въ залѣ произошелъ безпорядокъ: занимавшая средній проходъ между стульями толпа студентовъ двинулась изъ зала столь стремительно, что нѣкоторые были буквально вытѣснены ею на площадку, а позади помощника инспектора Орнатскаго сразу образовалось свободное пространство аршина въ три.

Послышались крики: «Вонъ! выходи!» «Господа, уйдемъ!» и почти одновременно съ этимъ шиканье, свистки и аплодисменты. Послѣдніе были настолько оглушительны, что ректоръ не могъ сказать ни одного слова, а должествовавшая происходить во время рѣчи раздача золотыхъ и серебряныхъ медалей производилась такимъ образомъ, что стоявшіе около ректора профессора Дювернуа и Смирновъ читали въ показываемомъ имъ списокѣ фамилии стоявшихъ въ особо назначенномъ мѣстѣ студентовъ, коимъ присуждены медали, подходили къ нимъ и подвигали подлежащаго студента къ митрополиту, который и вручалъ ему медаль. Шумъ и безпорядокъ продолжались, пока Сергѣевичъ не подаль знака оркестру, заигравшему народный гимнъ, при первыхъ звукахъ котораго подворилась полная тишина; гимнъ былъ выслушанъ стоя, съ полнымъ уваженіемъ и, по требованію студентовъ, повторенъ.

Затѣмъ была пропѣта традиционная студенческая пѣсня «Gaudeamus», и почетные посѣтители, и въ числѣ ихъ помощники попечителя округа, а вслѣдъ за ними и посторонняя публика удалились.

По окончаніи акта студенты нѣкоторое время оставались въ университетѣ, занимались пѣніемъ «Дубинушки», «Gaudeamus» и др. студенческихъ пѣсней и затѣмъ стали расходиться, при чемъ снова было подтверждено рѣшеніе не производить на улицѣ никакихъ безпорядковъ и не выходить изъ университета толпою; съ этою цѣлью въ дверяхъ университета были поставлены особые счетчики изъ студентовъ, которые съ часами въ рукахъ выпускали на улицу чрезъ каждыя одну-двѣ минуты человекъ шесть-восемь товарищей; нѣкоторые пробовали загвѣвать пѣсни на улицѣ, но тотчасъ были останавливаемы товарищами; въ шинельной одитъ изъ студентовъ обратился съ такой рѣчью: «Хотя протестъ нашъ ректору и не удался, а студенты вели себя на актѣ не такъ, какъ слѣдовало, но во всякомъ случаѣ на улицѣ надлежитъ вести себя хорошо». Студенты выходили отдѣльными группами и не останавливались на улицѣ, безпрепятственно направляясь во всѣ стороны; только ближайшій къ Дворцовому мосту переходъ черезъ Неву былъ закрытъ, для чего ледъ у берега былъ вырубленъ и вынуты глыбы его поставлены стоймя; сдѣлано это было еще наканунѣ, безъ вѣдома градоначальника и мѣстнаго полиціеймейстера барона Нолькена ротмистромъ Галле по собственной инициативѣ и при содѣйствіи участковаго пристава Петровскаго. Это было предпринято, но ихъ словамъ, съ цѣлью лишить студентовъ возможности идти толпою по ту сторону Невы, а равно и въ виду опасенія, что тонкій ледъ не выдержитъ тяжести толпы.

Какъ и можно было ожидать, встрѣча студентовъ съ полиціей на улицѣ, при естественномъ нервномъ настроеніи обѣихъ сторонъ, не обошлась благополучно, особенно когда выяснилось, что инструкции, данныя на сей день нарядамъ полиціи, не отличались опредѣленностью, съ предоставленіемъ излишней власти начальникамъ отдѣльныхъ частей. Полиція и на сей разъ переусердствовала, произошли столкновенія, послѣдовала свалка, и многие студенты оказались избитыми ¹⁾.

Вечеромъ въ разныхъ кухмистерскихъ, по установившемуся къ тому времени обычаю, были устроены разные вечеринки, которыя, однако, протекали мирно, не вызывая со стороны дежурившей на нихъ полиціейской власти никакихъ нареканій.

Еще 8-го февраля, тотчасъ послѣ столкновенія съ полиціей, студенты стали толковать о необходимости собраться на слѣдующій день въ универси-

¹⁾ Отраженіе этого побѣна запечатлѣно въ сложной студентами шуточной пѣснѣ «Нагаечка», въ тѣхъ поръ охотно распѣвавшейся на студенческихъ вечеринкахъ и даже балахъ учащихъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Б. Г. в. в. глинскій.

тетъ и поговорить по поводу случившагося. Во вторникъ 9-го февраля они явились въ университетъ около 10 часовъ утра; на лекціяхъ слушателей было мало, на что не было обращено вниманія, такъ какъ обыкновенно на другой день послѣ акта это составляетъ обычное явленіе. Студенты толпились на площадкѣ передъ актовымъ заломъ, и около 12 ч. дня нѣкоторые изъ нихъ обратились сначала къ инспектору, а потомъ и къ ректору съ просьбою открыть актовый залъ. Сергѣевичъ желаніе ихъ исполнилъ, сказавъ, что явится самъ поговорить съ ними; произнесенная имъ рѣчь произвела на студентовъ, однако, неблагоприятное впечатлѣніе: они ждали совѣта и указаній по поводу волнующаго ихъ столкновѣнія съ полиціей, а ректоръ, «относясь вообще къ этому въ ихъ глазахъ чрезвычайно серьезному дѣлу съ ироніей, говорилъ главнымъ образомъ объ освищеніи его на актѣ и приглашалъ участвовавшихъ въ томъ явиться съ повинною». Въ такомъ, по крайней мѣрѣ, освѣщеніи представлено это выступленіе Сергѣевича передъ собраніемъ студентовъ въ разслѣдованіи, сдѣланномъ П. С. Вановскимъ.

По уходѣ ректора, встрѣченнаго и выслушаннаго въ полномъ молчаніи, началась сходка для обсужденія вопроса о томъ, въ какой формѣ можетъ быть выраженъ студентами протестъ или жалоба на избиеніе ихъ чинами полиціи. Были предложены: подача общей петиціи, жалоба въ судебномъ порядкѣ и жалоба градоначальнику на дѣйствія его подчиненныхъ; но всѣ эти предложенія были отклонены: первое въ виду того, что общая петиція, какъ воспрещенная закономъ (на основаніи 112 ст. г. 14 уст. о пред. и прес. прест. запрещается учинять прошеніе или доносъ скопомъ или заговоромъ), принята не будетъ; второе—въ виду крайней сомнительности его успѣха, а третье—показалось студентамъ унижительнымъ и бесполезнымъ въ виду того, что, по мнѣнію ихъ, избиеніе нагайками последовало по приказанію градоначальника. Ни къ какому опредѣленному рѣшенію сходка не пришла, вопросъ былъ отложенъ до слѣдующаго дня, и около трехъ часовъ студенты разошлись изъ университета небольшими группами и въ полномъ порядкѣ.

10-го февраля, въ среду, студенты собрались въ университетъ въ большемъ, чѣмъ наканунѣ, количествѣ: раннія лекціи профессора Дювернуа и Коновалова (10—12 час.) прошли при обычномъ числѣ слушателей, но на слѣдующей лекціи приватъ-доцента Свѣшникова слушателей уже не было. Въ первомъ часу дня на площадкѣ передъ актовымъ заломъ собралось до 1300 человекъ, и къ ректору отправилась депутація съ просьбой открыть актовый залъ, а когда въ этомъ было отказано, студенты вошли въ залъ черезъ окно въ коридорѣ. Обсуждая формы протеста, сходка остановилась на необходимости закрыть университетъ и тѣмъ обратить вниманіе правительства на положеніе студентовъ; мѣрами предлагались—легальныя: просьбы о томъ со стороны отдѣльных студентовъ или подача общей петиціи, и нелегальныя: коллективная подача просьбы объ увольненіи, или такъ называемая обструк-

ція, т. е. непосѣщеніе лекцій по предварительному о томъ соглашенію и препятствованіе всѣми мѣрами чтенію лекцій. Послѣ продолжительныхъ разговоровъ сходка остановилась на этой послѣдней мѣрѣ, при чемъ была отправлена депутація къ ректору съ просьбой прийти на сходку и выслушать ея рѣшеніе, по ректорѣ объявилъ, что усталъ и на сходку прийти не можетъ, а проситъ собраться завтра къ 12 часамъ.

11-го февраля, въ четвергъ, студенты снова собрались въ университетъ въ большомъ количествѣ и сравнительно рано; въ этотъ день впервые, согласно рѣшенію сходки вчерашняго дня, началась примѣняться обструкция. Актовый залъ запертъ не былъ, въ него къ 12 часамъ собралась масса студентовъ, и началась сходка, окончательно постановившая примѣненіе обструкции. Около часа въ залѣ явился Сергѣевичъ и обратился къ студентамъ съ рѣчью. Рѣчь эта была выслушана при полномъ молчаніи и произвела на слушателей еще болѣе неблагоприятное впечатлѣніе, чѣмъ первая. Послѣ нея къ обструкціи примкнули тѣ, которые до сихъ поръ колебались, и которые, по собственному ихъ признанію, въ теченіе четырехлѣтняго пребыванія въ университетѣ не заняты были участіемъ въ какой-либо исторіи или организаціи. Въ этой рѣчи ректоръ, снова упрекая студентовъ въ освищеніи его на актѣ и высказывая надежду въ томъ, что виновные сами къ нему явятся, съ ироніей говорилъ о томъ, «что въ университетѣ функционируетъ временное правительство», что «въ закрытомъ заведеніи, въ домѣ номеръ 7 по Невѣ, происходитъ революція», говорилъ, «что его легко смѣститъ силою, но просилъ помнить, что за нимъ стоитъ попечитель, за попечителемъ—министръ, а дальше?».. Указывая, что желанія студентовъ—«райскія птицы, которые не перенесутъ нашего суроваго климата», что «полиція надѣлала глупостей, что вообще ей свойственно хватать черезъ край, что преслѣдовать ее трудно, и онъ не удивится, если избившій студентовъ поручикъ будетъ повышенъ въ чинъ»; наконецъ, заявивъ, что «онъ объяснялся съ извѣстнымъ молодежи сенаторомъ Кони, который будто бы сказалъ, что требованіе студентовъ закрыть университетъ—не логично, а гораздо логичнѣе студенты поступили бы, требуя закрытія полиціи». Вскорѣ послѣ ухода ректора сходка разошлась и въ послѣдующіе дни не собиралась.

На сходкахъ 9-го, 10-го и 11-го февраля было избрано особое бюро въ составъ трехъ лицъ, въ томъ числѣ и председатель. Бюро это руководило сходкой, записывало желающихъ говорить, и председатель резюмировалъ пренія, слѣдилъ за порядкомъ и ставилъ вопросы. На всѣхъ этихъ сходкахъ председательствовалъ студентъ Волкештейнъ; составъ бюро и даже самое его существованіе ни агентурными свѣдѣніями, ни инспекціей университета обнаружены не были, но при разслѣдованіи члены этого бюро сами назвали себя. То были студенты Сумчинъ и Казаровъ; обнаружены и лица, бывшія въ составѣ депутаціи къ ректору (ст. Мазаракій), и нѣкоторые ораторы

на сходках: Иорданский и Носарь¹⁾—все это сами признавшие. Самая обструкция применялась мирно и без насилия; применялась она различно: къ некоторым профессорам студенты являлись на домъ и предупреждали, что на лекціяхъ ихъ слушателей не будетъ, прося этимъ не обижаться, а имѣть въ виду, что это единственно возможная форма протеста (съ такой просьбой обращались къ Гоби и фант-дери-Флиту). Другихъ профессоровъ просили не читать, являясь для этого во время лекцій, а если профессоръ не соглашался, то слушатели его молча выходили изъ аудитории вмѣстѣ съ кучкой вошедшихъ въ нее студентовъ; былъ случай, что одного слушателя вывели изъ аудитории подъ руки; обычная форма примѣненія обструкции была та, что вошедшій въ аудиторию профессоръ заставлялъ ее пустою, а всѣ наличные студенты толпились въ коридорѣ. Такъ было поступлено съ профессорами Горчаковымъ, Ведровымъ, Марковымъ, Дювернуа, Георгіевскимъ и др. Нѣкоторые изъ профессоровъ пробовали сидѣть установленные часы въ аудиторию, она все время оставалась пустою (Горчаковъ, Сергѣевскій, Марковъ), а другіе покушались убѣдить стоявшихъ въ коридорѣ студентовъ (Горчаковъ), но успѣха не имѣли.

Большую часть къ профессорамъ обращались и съ ними говорили студенты другихъ факультетовъ, имъ знакомые, при чемъ Носарь сбиралъ себѣ даже бороду, желая, по словамъ его, во время безпорядковъ меньше бросаться въ глаза.

О событіяхъ 8-го, 9-го и 10-го ни попечитель учебнаго округа Капустинъ, подавшій 10-го февраля прошеніе объ отставкѣ, ни помощникъ его, Лаврентьевъ, официальныхъ свѣдѣній не имѣли, а знали о томъ лишь по разсказамъ, и потому никакихъ мѣръ со стороны округа принято не было; поведение студентовъ на актѣ даже не обсуждалось правленіемъ; вечеромъ 10-го февраля происходило у министра народнаго просвѣщенія частное собраніе, гдѣ указывалось на необходимость немедленно принять энергичныя мѣры, но окончательнаго рѣшенія постановлено не было. Затѣмъ 11-го февраля было засѣданіе правленія университета, постановившее ходатайствовать передъ министромъ народнаго просвѣщенія о разрѣшеніи совѣту университета обратиться къ студентамъ со слѣдующимъ, одобреннымъ сорока профессорами воззваніемъ:

«Совѣтъ императорскаго петербургскаго университета, разсмотрѣвъ вопросъ о происходившихъ въ университетѣ безпорядкахъ, обращается къ студентамъ съ предложеніемъ вернуться къ правильному теченію академическаго

ческой жизни, такъ какъ они должны быть убѣждены въ томъ, что совѣтъ стоитъ на сторонѣ интересовъ и чести университета. О поводѣ, вызвавшемъ волненіе среди студентовъ, совѣтомъ рѣшено довести до свѣдѣнія министра народнаго просвѣщенія».

Это ходатайство правленія было того же 11-го февраля должно было министру Боголѣзову, но было имъ отклонено; въ то же время со стороны его послѣдовало распоряженіе вывѣсить слѣдующее объявленіе:

«Ректоръ, на основаніи распоряженія министра народнаго просвѣщенія, въ виду продолжающихся не дозволенныхъ сходокъ, объявляетъ, что дальнѣйшія сходки и дѣйствія скопомъ, препятствующія чтенію лекцій, допущены не будутъ. Студенты предупреждаются, что упорствующіе въ безпорядкахъ будутъ, по соглашенію министра народнаго просвѣщенія съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, уволены изъ числа студентовъ и высланы на родину».

Независимо отъ вывѣшенія этого объявленія, Боголѣзовъ поручилъ управляющему округомъ Лаврентьеву пригласить на слѣдующій день въ зданіе университета полицію и, въ случаѣ препятствованія дальнѣйшему чтенію лекцій, всѣхъ наличныхъ студентовъ переписать.

Дѣйствительною причиною призыва полиціи былъ дошедшій до министра народнаго просвѣщенія изъ конфиденціального источника слухъ о предполагаемой на 13-е февраля «чудовищной демонстраціи» всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній столицы, причемъ на замѣчаніе Лаврентьева, что такой демонстраціи зимой на открытомъ мѣстѣ собраться трудно, а изъ закрытыхъ помѣщеній нѣтъ зала больше университетскаго, куда смогутъ попасть только одни студенты, министръ отвѣтилъ, что ему неизвѣстно, гдѣ эта демонстрація состоится, но что она непременно будетъ.

Въ ночь на 12-е февраля, въ исполненіе вышеуказаннаго распоряженія министра народнаго просвѣщенія, градоначальникъ приказалъ и. д. полиціеистра барону Нолькену съ нарядомъ въ 600 нижнихъ чиновъ явиться во дворъ академіи наукъ къ 10 час. 30 мин. утра и по письменному требованію ректора или попечителя округа занять зданіе университета, при чемъ поголовно переписать указанныхъ ему студентовъ. Въ 9 часовъ утра 12-го февраля въ университетъ прибылъ Лаврентьевъ, и около того же времени начали собираться студенты. Къ 10 часамъ ихъ было уже около двухсотъ человѣкъ, при чемъ они воспринимали въ чтеніи лекцій профессорамъ: Коновалову, Тернеру и Никитину. Къ 11 часамъ студентовъ собралось уже около трехсотъ—четыре-хотъ человѣкъ, и они стали вытѣснять изъ коридоровъ чиновъ и служителей инспекціи. Управляющій округомъ Лаврентьевъ предложилъ было предупредить студентовъ, что противъ нихъ будетъ употреблена сила, но В. И. Сергѣевичъ, ссылаясь на вышѣшенное уже объявленіе, отклонилъ это предложеніе, и въ 10 час. 25 мин. утра Лаврентьевъ далъ барону

¹⁾ Тотъ самый Носарь-Хрусталева, который пять лѣтъ спустя такъ много заставилъ о себѣ говорить, какъ предѣлитель навѣстнаго совѣта рабочихъ депутатовъ, руководившій всероссійскою забастовкой. Очевидно, уже тогда Носарь проходилъ вѣдущую организаторскую школу, которая и помогла ему стать впоследствии на «высоту» бурныхъ революціонныхъ событій Россіи. В. Г.

Нолькену письменное требование немедленно занять все входы и выходы университета, что и было исполнено.

Оцѣнив университет, полиція приступила къ перепискѣ студентовъ, что и было сдѣлано безпрепятственно, при чемъ въ списки внесено 825 человекъ, у нѣкоторыхъ изъ коихъ были отобраны бывшіе при нихъ входные билеты. Около 12 часовъ дня въ университетъ прибылъ градоначальникъ Клейгельсъ и продолжительное время бесѣдовалъ со студентами, жаловавшимися ему на избиеніе нагайками.

13-го февраля, въ субботу, оцѣпленіе университета было поручено барону Нолькену съ нарядомъ въ 400 человекъ нижнихъ чиновъ, но такъ какъ нарядъ этотъ явился лишь къ 11 часамъ, то въ университетъ успѣло пройти значительное количество студентовъ, какъ имѣвшихъ при себѣ входные билеты, такъ и не имѣвшихъ оныхъ. По явкѣ полиціи, пропускались только предъявившіе билеты. Въ зданіи университета замѣчался полный беспорядокъ: профессора отказывались читать лекціи, считая неудобнымъ проходить сквозъ ряды занимавшихъ коридоры городовыхъ, а тѣ изъ нихъ, которые являлись на лекціи, находили аудиторіи пустыми; въ то же время въ свободныхъ аудиторіяхъ замѣчались группы студентовъ въ разстегнутыхъ сюртукахъ и тулужкахъ, курившихъ, игравшихъ въ карты или лежавшихъ на скамейкахъ. Между тѣмъ не пропущенные въ университетъ студенты стояли на улицѣ, прося или пропустить ихъ въ университетъ, если занятія тамъ продолжаются, ибо они подвергаются высканію за пропуски лекцій, или объявить имъ, что чтеніе послѣднихъ прекращено.

Управляющій учебнымъ округомъ, поставленный въ крайне затруднительное положеніе въ виду, съ одной стороны, законности требованій студентовъ, съ другой—въ виду приказанія министра народнаго просвѣщенія ни въ какомъ случаѣ не объявлять чтеніе лекцій прекращеннымъ, призвалъ возможнымъ дать знать находящимся на улицѣ студентамъ, что непосѣщеніе лекцій въ этотъ день имъ въ вину поставлено не будетъ. Въ этотъ день въ университетъ было переписано 1064 студента, а стоявшіе на улицѣ около 400 человекъ были отведены въ близлежащій манежъ 1-го кадетскаго корпуса, гдѣ тоже были переписаны, послѣ чего около трехъ часовъ пополудни все студенты были отпущены и разошлись по домамъ.

На вечернемъ засѣданіи у министра народнаго просвѣщенія обсуждался въ этотъ день вопросъ о закрытіи университета до осени, но рѣшеніе это принято не было, и снова приказано было лишь оцѣпить университетъ полиціей.

15-го февраля, въ понедѣльникъ дѣйствительно зданіе университета было оцѣплено полиціей около 10 час. 30 мин. утра; въ университетъ впускались только имѣвшіе входные билеты туда, а потому ихъ было немного; попытки читать лекціи попрежнему не удавались, ибо толпившіеся въ коридорѣ студенты въ аудиторіи не шли. Въ 12 часовъ назначена была лекція ректора Сер-

гѣевича; отправясь въ свою аудиторію, онъ нашелъ ее пустою, а въ коридорѣ передъ нею стояла группа студентовъ, которые на вопросъ, нѣтъ ли въ числѣ ихъ его слушателей, отвѣтили отрицательно; тогда ректоръ предложилъ имъ перейти въ актовъ залъ, гдѣ онъ хочетъ побесѣдовать съ ними, но двое выступившихъ впередъ студентовъ вѣжливо и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно заявили, что такъ какъ онъ самъ передаетъ свою власть полиціи, то бесѣдовать они будутъ не съ нимъ, а съ полицмейстеромъ.

Съ 16-го февраля чтеніе лекцій въ университетѣ было прекращено: первые два дня подъ предлогомъ назначенныхъ въ эти дни засѣданій совѣта, а 18-го и 19-го числа—безъ объявленія причинъ, о чемъ и вывѣшены соотвѣтствующія объявленія; затѣмъ, по распоряженію министра народнаго просвѣщенія отъ 22-го февраля за № 59, занятія въ университетѣ объявлены приостановленными до 1-го марта.

Засѣданія совѣта 16-го и 17-го февраля были посвящены обсужденію поставленнаго министромъ Боголюбовымъ вопроса: какое нравственное содѣйствіе можетъ оказать совѣтъ по успокоенію умовъ молодежи?

Въ первомъ же изъ этихъ засѣданій нѣкоторые изъ профессоровъ, отъ лица значительной группы товарищей, просили ректора передать председательствованіе въ этомъ совѣтѣ управляющему округомъ, на что онъ не согласился, а въ слѣдующемъ засѣданіи заявилъ, что «оскорбленіе это имъ такъ же не заслужено, какъ и тѣ свистки, которые раздавались въ актѣ». Совѣтомъ указано было пять мѣръ къ успокоенію молодежи и, сверхъ того, въ засѣданіи 22-го февраля одобрить текстъ выработаннаго правленіемъ и приведеннаго выше воззванія къ студентамъ, при чемъ въ качествѣ одного изъ средствъ къ успокоенію послѣднихъ, профессоромъ Ламанскимъ было предложено временное оставленіе ректоромъ должности подъ предлогомъ болѣзни или отпуска, что В. И. Сергѣевичемъ также принято не было.

Въ залѣ совѣта, въ дни засѣданій 16-го и 17-го февраля, на особомъ столѣ лежали петиціи на имя министровъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, подписанныя академиками Фаминцынымъ и Бекетовымъ; къмъ были доставлены въ засѣданіе совѣта эти петиціи, осталось при разсѣдованіи университетскихъ беспорядковъ П. С. Валовскимъ не обнаруженнымъ, и спрошенный при разсѣдованіи ректоръ Сергѣевичъ отозвался, что о нихъ ему ничего неизвѣстно; петиціи эти подписывались большинствомъ профессоровъ во время засѣданія, и, дѣйствительно, петиція министру народнаго просвѣщенія оказалась подписанною академиками Фаминцынымъ и Бекетовымъ и затѣмъ профессорами и преподавателями высшихъ столичныхъ учебныхъ заведеній.

Содержаніе этой петиціи слѣдующее:

«Желаю содѣйствовать прекращенію студенческихъ волненій, мы считаемъ своимъ долгомъ высказать свое мнѣніе по этому предмету. Близжай-

шую причину волнений мы видимъ въ данномъ случаѣ въ слишкомъ жестокое отношеніи полиціи къ учащейся молодежи, подчасъ проявляемомъ въ оскорбительной формѣ. Подвергнувшись 8-го февраля воздѣйствію полиціи юноши заслуживаютъ даже въ своемъ увлеченіи болѣе мягкаго и сердечнаго къ нимъ отношенія. Придя къ такому твердому убѣжденію, основанному на многолѣтнемъ опытѣ нашей преподавательской дѣятельности и близкомъ общеніи со студентами, мы рѣшаемся поднять свой голосъ въ защиту молодежи. Не усматривая ни малѣйшей политической окраски ни въ безпорядкѣ на актѣ 8-го февраля, ни въ послѣдующихъ столкновеньяхъ съ полиціей, вызванныхъ разными случаями оскорбленія, путемъ полицейскаго воздѣйствія на студентовъ, предлагаемъ предоставить совѣту профессоровъ обсудить мѣры къ успокоенію молодежи».

13-го февраля состоялось у министра народнаго просвѣщенія особое засѣданіе, гдѣ были рассмотрѣны изданныя списки участниковъ въ университетскихъ безпорядкахъ и установлена безусловная виновность семидесяти восьми студентовъ. Всѣ они были арестованы, а затѣмъ многогородные высланы въ избранные ими города, за исключеніемъ университетскихъ, при чемъ высылаемымъ предъявлялось объясненіе, что они исключаются изъ университета по распоряженію министра народнаго просвѣщенія и высылаются изъ столицы, имѣющіе же постоянное мѣстожителство въ Петербургѣ были задержаны и засимъ отданы на поруки. 6-го марта, по возобновленіи въ университетѣ обычнаго порядка, правленіе, пересмотрѣвъ списки уволенныхъ студентовъ, постановило ходатайствовать о возвращеніи въ число студентовъ всѣхъ семидесяти восьми человекъ, но съ тѣмъ, чтобы сорокъ девять изъ нихъ были подвергнуты выговору со внесеніемъ въ штрафную книгу, а двадцати девяти назначенъ былъ выговоръ и арестъ на квартирѣ на три дня съ предупрежденіемъ, что, при повтореніи, они будутъ уволены изъ университета. Постановление это было утверждено министромъ Боголюбовымъ. Но еще до этого постановленія правленія 20-го февраля высочайшимъ назначеніемъ было возложено на члена государственнаго совѣта П. С. Ванновскаго разслѣдованіе университетскихъ безпорядковъ за этотъ періодъ. Когда 1-го марта университетъ былъ открытъ, то немедленно же опять собралась сходка, которая постановила:

«Возложить ихъ судьбу на совѣсть производящаго по высочайшему повелѣнію разслѣдованіе по настоящему дѣлу и на совѣсть академиковъ Бекетова и Фамициныхъ».

Всѣ эти сходы происходили уже съ вѣдома ректора въ актовомъ залѣ; 1-го марта студенты вошли черезъ окно, но вслѣдъ за тѣмъ залъ былъ представленъ сходкѣ съ разрѣшенія Сергѣевича. По примѣру прежнихъ сходокъ и на этихъ было особое бюро въ составѣ трехъ лицъ, одинъ изъ коихъ несъ обязанности председателя. Такимъ председателемъ на первой сходкѣ былъ

студентъ Щеголевъ ¹⁾, а на двухъ послѣднихъ студентъ Волькенштейнъ, въ составѣ бюро были студенты Сумчинъ и Гуревичъ. На двухъ послѣднихъ сходкахъ присутствовали самъ ректоръ, помѣщаясь на кафедрѣ рядомъ съ председателемъ, разговаривать съ нимъ, а уходя раньше окончанія послѣдней сходы, просилъ председателя сообщить ей рѣшеніе. По удостовѣренію Волькенштейна, когда онъ, въ исполненіе желанія ректора, явился къ послѣднему, ему, видимо, было уже извѣстно рѣшеніе сходы, и онъ только замѣтилъ Волькенштейну, что «въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ исключены по одной трети студентовъ, а мы, которыхъ вы освистали, изъ четырехъ почти тысячъ исключили всего семьдесятъ восемь человекъ».

Съ 4-го марта чтеніе лекцій началось въ полномъ порядкѣ, при обычномъ числѣ слушателей, и университетъ вошелъ въ обычные условія жизни.

Комиссія П. С. Ванновскаго, разслѣдовавшая описанные безпорядки, вынесла слѣдующую любопытную резолюцію, гдѣ установила, на кого должна пасть отвѣтственность за очерченные безпорядки. Такими отвѣтственными, по мнѣнію комиссіи, должны быть признаны:

1) Учебное начальство, не проявившее должной энергіи и осмотрительности въ первые дни безпорядковъ и смотрѣвшее снисходительно на совершающееся на его глазахъ нарушеніе студентами установленныхъ правилъ, а въ частности:

а) Ректоръ университета тайный совѣтникъ Сергѣевичъ, которому сверхъ вышеизложеннаго должно быть поставлено въ вину присутствіе на недозволенныхъ сходкахъ студентовъ съ самовольно избраннымъ ими председателемъ сходы и, наконецъ, произнесеніе на этихъ сходкахъ рѣчей, совершенно не соотвѣствующихъ даннымъ обстоятельствамъ.

Такія, признанныя самимъ тайнымъ совѣтникомъ Сергѣевичемъ за дѣйствительно произнесенныя имъ фразы, какъ о невозможности правильно обсуждать дѣло на многочисленной сходкѣ, какъ указанія на то, что усердная полиція перехватываетъ черезъ край и преслѣдовать ее за это трудно... «я даже не удивлюсь, если сообщать вскорѣ, что поручикъ получилъ чинъ штабсъ-капитана», что сенаторъ Кони, съ которымъ ректоръ совѣтовался, сказалъ, что «если бы студенты требовали закрытія полиціи, они поступили бы логично»... что «изъ-за того, что полиція надѣлала глупостей, не слѣдуетъ нарушать законовъ», что дѣянія студентовъ есть революція въ закрытомъ помѣщеніи, что «студенты въ прошломъ году сняли строй полиціи и побѣдно шествовали по Невскому»,—такія фразы, выслушиваемыя студентами отъ ученаго юриста, законовѣда и профессора, способны были содѣйствовать усиленію волненій молодежи, внушая ей совершенно ложныя понятія, а не

¹⁾ Впослѣдствіи одинъ изъ редакторовъ «Былого» и «Минувшихъ Годовъ». Б. Г.

успокоить их. Затѣмъ, дальнѣйшая дѣятельность ректора указываетъ, что онъ, сосредоточивъ все вниманіе на нанесенномъ ему оскорбленіи на актѣ, постоянно напоминалъ объ этомъ студентамъ и, думая все время только о себѣ, относился слишкомъ поверхностно къ совершающимся безпорядкамъ, которые на первыхъ порахъ легко было подавить.

б) Инспекція университета, не проявившая должной энергіи въ надзорѣ за студентами, не обнаружившая тотчасъ же лицъ, виновныхъ въ первыхъ безпорядкахъ, и относившаяся въ нимъ безучастно, посвящая свое время обычнымъ канцелярскимъ занятіямъ. При этомъ нельзя не признать, что уменьшающимъ вину инспекціи обстоятельствомъ является слабость ея силъ, ибо четыре помощника инспектора при одиннадцати служителяхъ не могутъ проявить, какъ слѣдуетъ, надзора почти за четырьмя тысячами студентовъ.

в) Профессора и преподаватели университета, не сумѣвшие, а, можетъ быть, поставленные въ физическую невозможность заслужить полное довѣріе учащейся молодежи путемъ большаго общенія съ нею, при чемъ произнесение нѣкоторыми изъ нихъ на студенческихъ вечеринкахъ рѣчей на зажигательныя темы «марксизмъ», «народничество» и т. п. представляется по меньшей мѣрѣ неумѣстнымъ.

г) Правленіе университета, составившее списки подлежащихъ административной высылкѣ студентовъ безъ должной осмотрительности и недостаточно обдуманно.

2) Чины полиціи, а въ частности:

а) Градоначальникъ, не объявившій въ свое время во всеобщее свѣдѣніе о тѣхъ пунктахъ, которые открыты для движенія бывшихъ на актѣ публики и студентовъ, и отдавшій по полиціи недостаточно точный и опредѣленный приказъ, породившій недоразумѣнія въ его ближайшихъ исполнителяхъ, и, наконецъ, назначившій двухъ равноправныхъ начальниковъ въ важнѣйшемъ районѣ дѣйствій полиціи.

б) Капитанъ баронъ Нолькенъ и ротмистръ Галле, своими неумѣстными и недостаточно обдуманными распоряженіями искусственно создавшіе толпу, которая вовсе не имѣла намеренія собираться.

в) Полковникъ Пирамидовъ, который, не будучи поименованъ въ приказѣ, явился фактически третьимъ распорядителемъ на Васильевскомъ островѣ и внесъ еще большую неопредѣленность въ дѣйствія полиціи.

г) Штабсъ-ротмистръ Владимировъ, имѣвшій порученіе лишь провести вѣтренную ему часть на Петровскую площадь, а вмѣсто того взявшій на себя разсыпаніе встрѣченной имъ толпы и не удержавшій нижнихъ чиновъ своей части въ должномъ порядкѣ, послѣдствіемъ чего было самовольное употребленіе ими нагаекъ.

При этомъ надлежитъ отмѣтить грубое обращеніе нижнихъ чиновъ съ публикою и студентами и недостаточную выдержанность полиціи по отно-

шенію къ проявленнымъ къ ней со стороны студентовъ выходкамъ, что особенно ярко бросается въ глаза при сопоставленіи образа дѣйствій полиціи на Васильевскомъ островѣ съ благоразумнымъ и умѣлымъ обращеніемъ генералъ-майора Есипова и находившихся въ его отрядѣ чиновъ съ публикою и студентами.

3) Студенты университета (имена отдѣльныхъ участвовавшихъ въ безпорядкахъ студентовъ приведены въ текстѣ доклада), дозволившіе себѣ выразить на торжественномъ актѣ публично неудовольствіе своему непосредственному начальству—ректору, участвовавшіе затѣмъ въ недозволенныхъ сходкахъ и предпринявшіе забастовку въ цѣляхъ закрытія университета, а для правильнаго веденія оной образовавшіе тайные кружки и организацию; они же, несомнѣнно, виновны въ томъ, что первые подали поводъ къ столкновенію съ полиціей, позволивъ себѣ безъ всякой надобности бросать свѣчки въ вахмистра Скольмейстера и сопровождавшаго его городского, а затѣмъ встрѣтивъ тѣми же свѣчками, лопатами и т. п. орудіями подходившій къ нимъ отрядъ штабсъ-ротмистра Владимирова.

«Не подлежитъ сомнѣнію,—сказано далѣе въ резолюціи:—что среди столичной университетской молодежи, собранной изъ различныхъ мѣстностей имперіи и изъ разныхъ слоевъ общества, всегда найдется известное число лицъ, увлекающихся разнаго рода политическими теоріями. Этому способствуютъ то обстоятельство, что студенты ничѣмъ не связаны между собой, ни внутри университета ни внѣ его стѣнъ, напротивъ, искусственно разобщаются, а между тѣмъ молодежь, только что прошедшая среднюю школу, со свойственнымъ ей корпоративнымъ духомъ, склонна къ общенію, къ единенію въ кружки, хотя бы для совмѣстнаго чтенія, развлеченій и занятій.

«Не подлежитъ въ равной мѣрѣ сомнѣнію и то, что въ настоящее время среди университетской молодежи есть лица, склонныя къ политическимъ лжеученіямъ, но несомнѣнно, что движеніе, выразившееся въ безпорядкахъ, имѣвшихъ мѣсто съ 8-го февраля по 3-е марта включительно, было чуждо всякихъ осложненій политическаго характера.

«По отзывамъ компетентныхъ лицъ изъ среды заслуженныхъ лицъ, опытныхъ профессоровъ и преподавателей, связывать настоящіе студенческіе безпорядки съ политическими движеніями прежнихъ лѣтъ не представляется никакихъ оснований: на всѣхъ сходкахъ и во всѣхъ нелегальныхъ изданіяхъ указанного періода не было ни одного намека на желаніе придать безпорядкамъ политическій характеръ».

Послѣдній выводъ комиссіи П. С. Ванновскаго заслуживаетъ вниманія. Слѣдователь не найдетъ политическаго элемента въ университетскихъ безпорядкахъ, и, дѣйствительно, конкретнаго такого элемента не было, но полвившаяся вскорѣ за симъ известная евская студенческая прокламація «Маску долой» прямо утверждала, что студенческія волненія суть волненія, какую

бы форму они ни принимали и во что бы ни отливались, именно политического порядка, имѣютъ политическую тенденцію и политическую задачу. Подъ такимъ же угломъ зрѣнія смотрѣлъ на нихъ и тогдашній ректоръ В. И. Сергѣевичъ, говоря студентамъ о «жарь-птицѣ». Мы знаемъ уже, какъ онъ взираетъ на университетъ и на вторженіе сюда улицы, и если принять во вниманіе, что онъ былъ законникомъ-юристомъ, считавшимъ обязательнымъ соблюденіе тѣхъ установленій, которые были узаконены и не отменены университетскимъ уставомъ, то отсюда становится понятнымъ то страшно трудное положеніе, въ которомъ онъ очутился. Какъ человѣкъ, онъ жалѣлъ молодежь; какъ лицо, обязанное охранить вѣрнѣйшій ему порядокъ и нести съ честью и съ достоинствомъ свое званіе ректора, онъ не въ силахъ былъ идти на компромиссы и пошелъ «противъ теченія». Сергѣевичъ зналъ, что студенчество страшно энергировано, что по его адресу раздаются угрозы и что ему дѣйствительно грозитъ опасность оскорбленія дѣйствіемъ, и тѣмъ не менѣе онъ мужественно, несмотря на угрозы товарищей, инспекціи и близкихъ лицъ, смѣло идетъ въ разъяренную толпу и притомъ идетъ нарочно въ полной формѣ, со всѣми регалиями, идетъ, какъ лицо, обязанное во всей полнотѣ своего долга службы быть на своемъ посту. И мы видимъ, что толпа цѣнитъ это благородное мужество,—на него нѣтъ посягательствъ, и лишь молчаніе сопровождаетъ его рѣчи. Сергѣевичъ остался вѣрнѣйшій себѣ и на засѣданіи университетскаго совѣта; онъ, быть можетъ, хранилъ въ душѣ своего рода адъ, но остается спокойнымъ и не трогается эскалаторнымъ требованіемъ товарищей сложить съ себя званіе председателя и подать въ отставку. Онъ независимо держитъ себя и въ отношеніи министерства, и въ отношеніи полиціи—онъ все время спокоенъ, ровенъ и держитъ себя такъ, какъ ему повѣлываетъ его совѣсть. Быть можетъ, съ устъ его срываются сарказмы, сарказмы, одинаково относящіяся и къ возбужденной толпѣ, и къ тѣмъ, въ чьемъ распоряженіи была судьба волнующагося передъ нимъ моря молодыхъ жизней. Но этотъ сарказмъ былъ присущая черта его характера, та черта, которая позволяла ему, какъ историкъ-юристу, правильно оцѣнивать общее тогдашнее положеніе государственныхъ вещей и прозрѣвать недалекие историческое будущее своей родины. Онъ въ трудную минуту жизни сохранилъ равновѣсіе ума и... никому не угодилъ, хотя, конечно, какъ очень умный человѣкъ, легко сумѣлъ бы завоевать себѣ симпатіи, если не массы, то нѣкоторыхъ тѣхъ кружковъ, которые до того считали его «своимъ». Но онъ не прельстился этимъ и, оставаясь самимъ собою, каковымъ создала его природа, культура и житейскій опытъ, предпочелъ скорѣе заслужить порицаніе этихъ кружковъ, чѣмъ измѣнить своей совѣсти, своей морали. И дѣйствительно, мы наблюдаемъ, что съ того рокового для него 1899 г. онъ становится какъ бы опальнымъ въ тѣхъ сферахъ и обществахъ, гдѣ его прежде выбирали председателемъ и считали «своимъ». Русская жизнь этого десятилѣтія спу-

тала жизненные карты, и на его долю палъ общественный проигрышъ, который онъ, однако, сносилъ терпѣливо, спокойно и съ сохраненіемъ собственного достоинства.

Пойдя противъ общественнаго теченія, не удовлетворивъ открывшимся вліяніемъ «отеческаго попеченія», не подчинившись прорвавшейся общественной стихіи, Сергѣевичъ не считалъ для себя возможнымъ далѣе сохранять званіе ректора, и когда жизнь университета вступила въ спокойное русло, подалъ въ отставку, сохранивъ за собою, однако, занимаемую имъ профессорскую катедру. Ученый снова смѣнилъ администратора, и жизнь его потекла спокойно, хотя, быть можетъ, въ немъ и просыпалось иногда сокрушеніе о пережитыхъ тревоженіяхъ 1899 года. Знаменитому ученому уже никто не считалъ себя въ правѣ и въ силахъ бросить какія-либо недостойные упреки, и авторитетъ научнаго знанія скорѣе покрывалъ собою въ глазахъ современниковъ всѣ его волеяны или неволеяны прегрѣшенія, если только таковыя и были, какъ на томъ настаивалъ въ своемъ разслѣдованіи П. С. Ванновскій.

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ.

Въ преддверіи 1911 года пришлось опустить на Литераторскихъ мосткахъ Волкова кладбища А. М. Скабичевского, старого личного друга, дать ему послѣднее земное лобзаніе и сказать на свѣжей его могилѣ послѣднее «прости». Для меня эта грустная страница жизни не была чѣмъ-нибудь неожиданнымъ, поразившимъ своею внезапностью; я ждалъ кончины Скабичевского, присутствовалъ при постепенномъ ликвидированіи имъ земного существованія и еще за день, сидя вечеромъ у изголовья больного и бесѣдуя съ нимъ на разныя житейскія темы, прекрасно сознавалъ, что предо мною свѣча писательской жизни догораетъ и что для дальнѣйшаго процесса горѣнія нѣтъ уже болѣе материала—болѣзнь поглотила всѣ соки организма и было лишь больно наблюдать, какъ человекъ страдаетъ и тѣстно хватается за призраки возможнаго спасенія. Послѣдняго не было, и консультировавшіе по моей просьбѣ врачи еще недѣлю назадъ установили, что остановить старческое истощеніе не представляется возможнымъ. Я простился съ старымъ другомъ, съ которымъ жизнь спаяла меня на двадцать лѣтъ, при обстоятельствахъ, о которыхъ скажу ниже, а подъ утро 29-го декабря телеграмма оповѣстила меня, что Скабичевского не стало. Онъ уснулъ еще днемъ 28-го числа, дыханіе было тихое, равное, видимо, страданіе улеглось; больной не просыпался; только ночью замѣтно было, что это дыханіе становится все тише, тише, а къ исходу третьяго часа утра передъ присутствующими обрисовался вытянувшійся, похолодѣлый и бездыханный трупъ.

Мнѣ удалось пріѣхать въ Павловскъ, гдѣ въ послѣдніе годы постоянно обиталъ Скабичевскій, лишь къ вечеру. Какимъ прекраснымъ лежать онъ на своемъ смертномъ одрѣ съ раскинутыми по плечамъ сѣдыми кудрями, со спокойнымъ, величавымъ выраженіемъ осунувшагося мертваго лица,—тѣмъ выраженіемъ, которое такъ ясно говорило, что здѣшнее земное кончилось и началось что-то новое, нами невѣдомое и нами непознаваемое...

Кругомъ со стѣнъ взирали на своего собрата портреты представителей отечественной литературы, пріявшіе его нѣгъ въ свой загробный сонмъ. Въ комнатѣ стояла жуткая тишина; въ окна заглядывали послѣдніе лучи догорающаго сѣвернаго дня... Прощай, старый другъ!.. Спи спокойно... Ты много въ жизни потрудился, имѣешь право отдохнуть...

Полузабытый писатель, почти всѣми друзьями по литературѣ оставленный, онъ пережилъ свою въ свое время широкую извѣстность и вдали отъ шума людскаго въ послѣдніе два года доживалъ свой вѣкъ въ кругу тѣснаго семейнаго круга, его любившаго, холившаго, всѣми силами и средствами старавшагося облегчить давній, но таинственный недугъ и все надѣявшагося вернуть къ жизни, продлить дни стараго заслуженнаго писателя. И онъ самъ надѣялся, что вотъ-вотъ облегченіе, благодаря медицинской помощи, наступитъ и возможно будетъ еще пожить, погрѣться на солнцѣ и на людяхъ, съѣздить куда-нибудь на Кавказъ или за границу и стать здоровымъ.

— Вотъ наступитъ весна, поѣду на Кавказъ или, еще лучше, за границу на воды и, авось, поправлюсь,—такъ, испытующе взирая на меня, говорилъ онъ.

Но вскорѣ опять мрачныя предчувствія его охватывали, и онъ съ отчаяніемъ повторялъ:

— Нѣтъ, видимо, мнѣ не поправится. Пора умирать.

Я и окружающіе старались разсѣять его грустныя мысли и вмѣстѣ съ нимъ строили предположенія о его поѣздкѣ за границу. Но это были, конечно, иллюзіи, тѣ необходимыя утѣшенія, которыя съ завѣдомою ложью преподносятся больному, дабы вызвать въ немъ приливъ самочувствія, пробудить самогипнозъ. Близость вѣющей надъ старикомъ смерти мнѣ особенно бросилась въ глаза въ одно изъ осеннихъ моихъ посѣщеній его. Мнѣ дали знать, что А. М. слабъ, страдаетъ и очень хочетъ меня повидать. Я случайно сообщилъ встрѣтившемуся одному писателю о плохомъ состояніи здоровья критика, и на слѣдующій день въ газетахъ появилось краткое извѣщеніе о его болѣзни. Когда я пріѣхалъ въ Павловскъ, сюда же къ нему пріѣхали напуганные газетными извѣстіями жившіе тамъ же на дачѣ писатели—Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Д. И. Рихтеръ, С. Н. Южаковъ. Больной всѣмъ намъ обрадовался, принималъ самое дѣятельное участіе въ бесѣдѣ, шутилъ, смѣялся, но, видимо, былъ крайне утомленъ образовавшимся кругомъ, дружескимъ шумомъ за вечернимъ столомъ съ его неизмѣнными закусками и питьями. И вотъ въ разгаръ бесѣды я случайно остановилъ свой взглядъ на хозяйнѣ и сразу почувствовалъ какой-то внутренній холодъ: передо мною сидѣлъ живой покойникъ, съ заострившимся носомъ, окостенѣвшимъ взоромъ и впалымъ синеватымъ ртомъ. «Такіе не живутъ долго, ихъ часъ уже приближается», подумалъ я тогда же, но этотъ часъ растянулся еще на нѣсколько мучительныхъ мѣсяцевъ, мѣсяцевъ борьбы за жизнь и угасанія. Больной лишился совер-

шенно возможности принимать пищу, чувствовал к ней полное отвращение и злобу и только под усиленными уговорами близких, после капризов и брызжания соглашался проглотить одну-другую ложку жидкой пищи, получая какао или кусочек размятченной мясной или рыбной фарша, да и то от них скоро начинал чувствовать тошноту и задыхание. Эта борьба за еду и с едой были просто драматичны и вызвали чувство сострадания. Был созван консилиум, но врачи в точности не могли поставить диагноза болезни и лишь констатировали, что в больному писателю угасают силы и наблюдается усиленное истощение организма; тем не менее они не усматривали присутствия злобного рака. А казалось, что именно эта ужасная болезнь подтачивает силы больного и лишает его возможности принимать пищу. Шло лето, надвинулась осень, а больному становилось все хуже и хуже, и близкие к нему лица с грустью наблюдали, что от полного, несколько оживленного писателя оставалась лишь грустная тень — тоскующая, тиготичающаяся жизнью, но все же страстно желающая жить и даже возлагающая какие-то смутные надежды на будущую весну.

Работать пером Скабичевский уже больше года назад не был в состоянии. Его автобиографические записки, напечатанные в «Историческом Вестнике» за 1910 г., были им написаны еще в первой половине предшествовавшего года, да и то написаны с некоторым трудом, с моими поощрениями и поощениями. Вручая мне эти свои воспоминания, он сам категорически заявил, что здесь поставлена точка его литературству и что больше ему уже не придется беседовать с читателями. Я делал попытки подбодрить его, заставить его взяться за перо, имея в данном случае в виду главным образом нужник ему заработок и, пожалуй, в некотором отношении достиг цели. Он сидел над собою насилье и прислал мне в начале января 1910 г. небольшой рассказ при следующей записке: «Дорогой Борис Борисович! ждал вас все святки, да так и не дождался, а посему посылаю вам общепланную повестушку, которую я наконец кончил. Посылаю ее вам без всякой надежды на поминание, и лишь на ваш строгий суд. Дело не в том, годится ли она, или нет для «Исторического Вестника», — но если бы и годилась, я все-таки сомневаюсь, удастся ли выстушить вдруг в печати в качестве беллетриста с такою дрянью? Не выйдет ли посрамление моего какого-нибудь имени? Вот вопрос, какой я предоставляю на ваше обсуждение, жду ответа».

«Amicus Plato, sed magis amica veritas» — гласит латинская мудрость, и, следуя ей, с одной стороны, а с другой, жалко именно литературное имя писателя, я не нашел возможным передать С. Н. Шубинскому присланный рассказ и вернул его автору — вещь была слабая и могла найти место в печати лишь в качестве курьеза, дающего повод критик позубоскалить над бедным стариком. А нельзя не отметить, что тем более

Скабичевский отходить еще при жизни, так сказать, в эпоху прошлого, тем это зубоскальство становилось все обиднее и жестче. Пока он был еще на своем посту еженедельного критика на столбах «Новостей», лет десять тому назад, его остерегались как никак трогать, а когда он выбыл из действующего журнального строя и лишен был возможности «отгрызнуться» и дать отпор, противники его осмелились и распоясались в своих недоброжелательных к нему отношениях. Это обстоятельство его огорчало и, между прочим, послужило одним из обстоятельств, почему он категорически отверг предложение мое и тоже ныне покойного С. Н. Южакова, а также М. А. Антоновича, устроить ему литературный фестиваль по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности, исполнившегося в феврале 1909 г. По сему предмету он писал мне, в связи с вопросом о неполучении им ответа от правления кассы взаимопомощи литераторов и ученых на поданное им прошение о назначении пенсии: «Отсутствие какого бы то ни было известия от вас о моей участи невольно заставляет меня предполагать, что в просьбе моей мне отказано. При этом передо мною снова встает мрачный призрак предчувствия, что юбилей мой ничего не обещает мне, как лишь ряд скандалов, которые мне придется испытать ни с того, ни с сего. Особенно если принять во внимание, какое несметное число врагов нажил я в продолжение всей своей литературной деятельности, в лиц как тех беллетристов и поэтов, которых я осмелился, так и тех, которых я возвеличил, но не в такой степени, как они ожидали. Они молчали и только скрипели зубами, пока я работал, а теперь вот набросятся они на меня беззащитного! Да и вообще до юбилея ли мне, когда меня сидит мысль, что мне приходится жить на хлебах из милости... А я вот какой пыл работник: не в силах написать небольшое письмо иначе, как на ремингтон в действие так называемого «писчего спазма». Да и кто пойдет на юбилей всеми забытого рецензента?»

Празднование юбилея действительно не состоялось и главным образом вследствие опасности для здоровья виновника предполагаемого торжества. Сначала его оторочили до осени и, когда А. М. получил уведомление об этой оторочке, то он мне писал: «Что касается оторочки моего юбилея до осени, то я не только ничего не имею против этого, а, напротив, очень рад, так как предстоящее торжество производит на меня впечатлительное трудного и страшного экзамена, и я, как тленный и трусливый школяр, рад, что экзамен отлагается на неопределенное время».

В приведенных строках из писем, вероятно, кое-что читателям неясно — я забывал несколько во времени биографического изложения вперед, а потому начну с начала, с той биографической канвы, которая не попала в воспоминания Скабичевского, напечатанные в «Историческом Вестнике», по которую необходимо восстановить из другого литературного

источника. Таких источников не сколько. Своей автобиографией скопавшийся критик не раз дѣлился съ читателями, то въ фельетонахъ, появившихся въ «Новостяхъ» за 90-е годы минувшаго столѣтія и потомъ вошедшихъ въ полное собраніе его «Сочиненій», то въ «Воспоминаніяхъ о пережитомъ», появившихся въ трехъ книжкахъ «Русскаго Богатства» за 1908 г., то въ автобиографіи, написанной имъ для словаря С. А. Венгерова ¹⁾. Я воспользуюсь данными изъ послѣдняго очерка, въ интересахъ экономіи мѣста и дабы имѣть возможность скорѣй перейти къ той половинѣ жизни писателя, которая почти цѣликомъ протекла на моихъ глазахъ и которая не вошла въ воспоминанія, напечатанныя въ «Историческомъ Вѣстникѣ»; но замѣчу, что автобиографія, нашедшая себѣ приютъ въ «Русскомъ Богатствѣ», представляетъ по силѣ писательскихъ красокъ литературное явленіе значительное: такъ живо, сочно и красочно она написана. Когда я прочелъ ее, я не могъ не замѣтить Скабичевскому:

— Vous avez manqué votre vocation—вы отъ природы родились беллетристомъ, а по игръ судьбы стали критикомъ и публицистомъ.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ мнѣ:—такъ это вышло, вылилось изъ сердца. Всѣ мои беллетристическіе опыты оказывались неудачными, и даже вы,—добавилъ онъ съ ласковой шуткой,—меня, какъ беллетриста, еще на дняхъ забраковали.

Въ своей автобиографіи для С. Венгерова онъ записалъ:

«Родъ мой со стороны отца произошелъ изъ Польши, откуда онъ въ незапамятныя времена (до присоединенія Малороссіи) переселился въ Черниговскую губернію, въ Новгородъ-Сѣверскій уѣздъ, обрусѣлъ со временемъ, измѣнилъ свою фамилію изъ Скабицкихъ въ Скабичевскіе и изъ шляхтичей превратился въ казаковъ.

«Еще ближайшіе мои предки при Екатеринѣ II носили казачіи званія есауловъ, сотниковъ и пр. Дѣдъ мой былъ бѣдный хуторянинъ и подъ конецъ жизни дошелъ до полного разоренія и безпріютности, потерявъ послѣдній клочокъ земли, которымъ владѣлъ. Отецъ мой кончилъ курсъ въ новгородсѣверской гимназій и, чувствуя страсть къ математикѣ, въ 1826 г. пріѣхалъ въ Петербургъ съ цѣлью поступить въ университетъ на математическій факультетъ, но не выдержалъ вступительнаго экзамена изъ языковъ и принужденъ былъ поступить на канцелярскую службу, въ которой онъ и состоялъ въ качествѣ регистратора въ сенатѣ почти до своей смерти. Въ 1836 году онъ женился на одной изъ многочисленныхъ дочерей мелкаго художника Ив. Войнова, занимавшаго какую-то административную должность при академіи художествъ, женщицѣ малообразованной и едва грамотной. Въ 1838 году отъ этого брака и родился вашъ покорнѣйшій слуга, въ Семеновскомъ полку

¹⁾ Она послѣ смерти А. М. напечатана въ «Рѣчь» (1910 г., № 357).

близъ Царскосельской желѣзной дороги. Дѣтство и молодость провелъ я на Петербургской сторонѣ, въ маленькомъ домишкѣ въ Никольской (теперь Звѣринской улицѣ), доставшемся моей матери отъ отца ея. Это была жизнь



Александръ Михайловичъ Скабичевскій.

совершенно провинціальная, захолустная, не имѣющая ничего общаго со столицей.

«Вѣчная борьба съ бѣдностью, замкнутость и гнетущая скука. Никакихъ новостей и извѣстій общественной жизни не доходило до маленькаго домика

на Никольской. Здесь вѣрили въ домовыхъ и колдовство, и не только вѣрили, а видѣли ихъ, и я въ томъ числѣ, а что касается до колдовства, то моя родная тетка при моихъ глазахъ была испорчена золовкой и умерла, сойдя съ ума на другой день послѣ своей свадьбы. Неграмотнымъ я себя не помню, но книгъ доходило мало въ это захоудустье среди стличнаго шума... Первая книга, какую я читалъ, это былъ «Жиль-Влазъ» Лессажя въ старинномъ переводѣ времени Елизаветы. Это былъ толстѣйшій фоліантъ въ кожаномъ переплетѣ, и въ то время, какъ я его читалъ съ первыхъ страницъ, послѣднія истреблялись на различныя надобности. Изрѣдка доходили до меня разрозненные книжки старыхъ журналовъ въ родѣ «Благонамѣреннаго», «Отечественныхъ Записокъ» Свинина, альманаховъ 30-хъ годовъ, «Иллюстраціи» Букольниковской редакціи и «Аракулъ Чародѣя», не выходившаго изъ моихъ рукъ. Въ 1848 году я поступилъ въ Ларинскую гимназію. Здѣсь горизонтъ моей умственной жизни началъ расширяться. На сцену являлись Жуковский и Пушкинъ, и послѣдній приводить меня въ такой восторгъ, что тринадцати лѣтъ я и самъ вообразилъ себя Пушкиннымъ и началъ писать стихи, и мелкіе, и крупныя, до поэмъ въ нѣсколько тысячъ стиховъ. Въ мои руки начали попадаться книжки «Библіотеки для чтенія» Сенокоскаго, «Отечественныхъ Записокъ» времени Вѣлинкаго и «Современника», переводныя романы В. Скотта но особенно Евгения Сю и Дюма, которыми я зачитывался до полного самозабвенія, и въ подражаніе «Трѣмъ мушкетерамъ» написалъ даже три части изъ задуманнаго мною многотомнаго романа «Три студента». Въ четвертомъ классѣ я подвергся сильному вліянію учителя словесности Николая Павловича Корелкина, человѣка молодого, философски образованнаго, ученаго магистранта, тайнаго либерала (явныхъ тогда еще не было). Онъ тотчасъ же уничтожилъ мое риемоплество. Кумиромъ моимъ вмѣсто Пушкина и Лермонтова сдѣлался Гоголь, и я началъ писать повѣсти въ духъ гоголевской «Шинели». Затѣмъ подъ вліяніемъ смерти Н. П. Корелкина, поразившей меня до крайняго нервнаго потрясенія, и чтенія Гоголя (его письма) я впалъ въ мрачный мистицизмъ, боролся съ плотью, постился, каялся, молился и считалъ себя самымъ ужаснымъ, безповоротно павшимъ и осужденнымъ грѣшникомъ съ печатью проклятія на челѣ. Въ 1856 году я поступилъ въ петербургскій университетъ на филологическій факультетъ, и университетъ быстро разсѣялъ весь этотъ мистическій страхъ. Еще на первомъ курсѣ я увлеклся богословскими лекціями Янышева и ходилъ къ нему на квартиру каяться въ грѣхахъ и искать пути къ спасенію, а на второмъ курсѣ я явился къ нему съ цѣлью разрушить его религіозныя вѣрованія, и онъ просилъ меня бѣже къ нему не являться. Курсъ нашъ состоялъ изъ восьми студентовъ, слившихся въ тѣсный товарищескій кружокъ, состоявшій изъ двухъ элементовъ: строгихъ специалистовъ и художественныхъ натуръ, къ которымъ причисля-

лись Писаревъ, другъ его Трескинъ и я ¹⁾. Подражая специалистамъ, мы тѣтено переходили отъ одной специальности къ другой и не могли ни на чемъ остановиться, и если товарищи наши смотрѣли на насъ свысока и съ презрѣніемъ за эти вѣчныя бросанья, зато мы выигрывали въ томъ отношеніи, что кругъ нашего чтенія былъ обширнѣе. Я не оставлялъ, впрочемъ, своихъ мечтаній о литературѣ, продолжалъ писать повѣсти и драмы, и одна изъ нихъ—«Круглики»—была даже напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1862 г. Но еще раньше я началъ печататься въ журналѣ «Разсвѣтъ», издаваемомъ Крепнинымъ, гдѣ въ концѣ 1859 года была помѣщена статья моя о «Запискахъ Охотника» Тургенева, а въ 1860—статьи о «Черногоріи» и «Испаніи и Марокко». Въ то же время въ «Отечественныхъ Запискахъ» помѣщались изрѣдка мои рецензіи, и вмѣстѣ съ товарищами я переводилъ романъ Флора «Саламбо», помѣщенный тоже въ «Отечественныхъ Запискахъ».

Въ 1861 г. я кончилъ курсъ въ университетѣ со степенію кандидата, и тутъ начались мои самыя тяжелыя годы въ жизни. Я едва перебивался частными уроками, служилъ даже въ канцеляріи военнаго генералъ-губернатора, получая 12 рублей жалованья, по недолго. Въ 1862 г. я получилъ хорошую работу въ «Иллюстраціи» Баумана, издававшейся тогда подъ редакціей Цейдлера,—именно воскресныя фельетоны, дававшие мнѣ рублей сто въ мѣсяцъ. Но недолго продолжалось мое благоденствіе. Весной 1863 года Цейдлеръ оставилъ редакцію «Иллюстраціи», погибавшей по незначительности подписки, и я сѣхалъ на 25 рублей въ мѣсяцъ, которые я зарабатывалъ, пиша объяснительный текстъ къ картинкамъ «Воскреснаго Досуга». Тамъ же были помѣщены мною біографіи нѣкоторыхъ русскихъ писателей, начиная съ Ломоносова и Кантемира, повѣсти «Скряга» и «Перчаточница» и стихи «Пѣсни сверчка». Въ 1864 г., по рекомендаціи В. П. Евскаго, я поѣхалъ въ Ярославль редактировать «Рыбинскій Листокъ». Тамъ я ничего не писалъ, а только редактировалъ, но недолго—съ мая по августъ, когда «Рыбинскій Листокъ» былъ закрытъ, съ одной стороны, по недостатку средствъ издателя Ив. Жукова, а съ другой—по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ, которому рыбинскіе купцы пожаловались на зловредность «Рыбинскаго Листка».

Въ теченіе 65 и 66 годовъ я почти ничего не писалъ, весь ушелъ въ педагогику—училъ сначала въ школѣ Человѣколюбиваго общества, потомъ въ Смольномъ, потомъ въ Ларинской гимназіи. Въ 65-мъ году только и были помѣщены мною полемическая статья противъ Писарева о «Рудинѣ» въ послѣднемъ № «Народной Лѣтописи» да критика на «Воеводу» Островскаго

¹⁾ Кромѣ названныхъ лицъ, товарищами А. М. по курсу были: извѣстные впоследствии ученые—Е. Е. Замысловскій, Л. Н. Майковъ и писатель П. Н. Полевой.

въ «Сынъ Отечества», а въ 1866 году была помѣщена въ послѣднемъ апрѣльскомъ номерѣ «Современника» статья о Левитовѣ и Слѣщовѣ. Въ 1867 году — статья о «Воспитательномъ значеніи Гончарова и Тургенева» въ «Невскомъ Сборникѣ», подъ псевдонимомъ Алкаидрова. Съ 1868 года начинается мое сотрудничество въ «Отечественныхъ Запискахъ».

«Въ томъ же году въ «Недѣлѣ» статьи о Прудонѣ (искусство), «Герон голубинаго полета» (о романѣ Авдѣева), о романѣ Шпилягагена «Одинъ въ полѣ не воинъ». Въ «Отечественныхъ Запискахъ», кромѣ критическихъ статей, въ 1870 году я началъ рядъ статей «Очерки развитія прогрессивныхъ идей въ Россіи», которые окончилъ въ 1872 году. Некрасовъ издалъ ихъ отдѣльнымъ изданіемъ, но книги были сожжены при Лонгиновѣ. Не помню, въ 72 или 73 году, я написалъ нѣсколько критическихъ статей въ «Искру» Курочкина, передъ ея окончательнымъ прекращеніемъ, и, не помню, какую-то статью въ «Азіатскій Вѣстникъ», въ первую и единственную книжку этого журнала. Въ 1874 году, въ ноябрѣ, я началъ писать литературные фельетоны въ «Виржевыхъ Вѣдомостяхъ» Полетники (перепечатанныхъ впоследствии въ «Молву»). Въ 1875 году я задумалъ писать романъ въ двухъ частяхъ; первая была уже написана и начала печататься въ апрѣльской книжкѣ 1875 года, но была вырѣзана изъ журнала по докладу цензора Лебедева за сочувствіе нигилистамъ.

«Между тѣмъ педагогическая служба моя прекратилась въ 1871 году, такъ какъ штатнаго мѣста въ Петербургѣ мнѣ не давали, а сверхштатнымъ по новому уставу не полагалось жалованья. Три года я продолжалъ еще заниматься педагогіей, имѣя частные уроки въ гимназій Слѣпшовой; въ 1875 году они прекратились съ поступленіемъ моимъ въ «Виржевыя Вѣдомости», и съ тѣхъ поръ я педагогичѣ больше уже не занимался.

«Въ 1879 году въ полѣ прекратились мои фельетоны въ «Молвѣ». Я отказался отъ дальнѣйшаго сотрудничества, разсерженный одною передовою статьею Полетники. Въ 1880 году началось «Русское Богатство». Тамъ я писалъ подъ псевдонимомъ А. Питерскаго статьи объ «Аннѣ Карениной» и «Литературномъ вечерѣ» Гончарова. Повѣсть, передѣланная изъ первой части романа, статьи о книгѣ Дюма о женскомъ вопросѣ и пр. Въ 1881 году весной «Слово» — внутреннее обозрѣніе въ майской книжкѣ о еврейхъ. Въ 1882 году «Устон».

«Въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ теченіе 1880 и 1881 годовъ я писалъ о французскихъ романтикахъ — В. Гюго и Ж. Зандѣ, а съ 1882 года началъ рядъ статей о цензурѣ, которая продолжала и понинѣ.

«Кромѣ всего вышеупомянутаго, имѣются въ «Исторіи русской литературы» Полевого мои три главы (о Н. Полевомъ, Вѣлинскомъ и Гоголѣ), написанныя въ 1871 году, и въ посмертномъ изданіи Некрасова біографія его, написанная въ 1879 году».

Въ приведенной автобіографіи читатели найдутъ все главное, фактически существенное, детальное же и часто очень характерное, можетъ быть почерпнуто изъ указанныхъ статей въ «Русскомъ Богатствѣ» и изъ статьи «Первое 25-лѣтіе моихъ литературныхъ мытарствъ», напечатанной въ «Историческомъ Вѣстникѣ» и доведенной имъ до 1884 года, года запрещенія «Отечественныхъ Записокъ». Послѣ закрытія этого журнала Скабичевскій печаталъ свои работы въ «Уверномъ Вѣстникѣ», «Русской Мысли», «Новомъ Словѣ», «Педагогическомъ Листкѣ» и въ газетахъ «Русскія Вѣдомости», «Сынъ Отечества» и «Новости». Многія изъ его работъ были издаваемы отдѣльно, то въ видѣ сборниковъ («Веллетристы-народники» и прочіе критическіе очерки 1888 года), то въ видѣ собранія сочиненій (2 тома, 1-е изданіе въ 1890 г., 2-е въ 1903 г.), то въ видѣ брошюръ біографической бібліотеки Ф. Ф. Павленкова. Изъ отдѣльно изданныхъ его сочиненій особенно видное мѣсто занимаютъ — «Исторія новѣйшей русской литературы» (7-е изд. въ 1909 г.) и «Очерки исторіи русской цензуры» (1890 г.).

Приступая къ описанію своего перваго 25-лѣтія литературныхъ мытарствъ, Скабичевскій въ предисловіи говоритъ, что въ этотъ періодъ времени онъ вполне опредѣлился, какъ семидесятникъ, «написавъ все, что вышло изъ-подъ моего пера лучшаго», — говорить онъ. — Въ дальнѣйшей моей дѣятельности я ни на шагъ не подвинулся впередъ отъ того, чѣмъ я былъ въ началѣ 80-хъ годовъ, такъ что, если бы и умеръ въ 1884 году, я имѣлъ бы полное право сказать при послѣднемъ издыханіи: я все свое земное совершилъ. Далѣе затѣмъ я подвизался во многихъ органахъ, писалъ газетныя рецензій, журнальныя статьи, имѣя въ виду не столько стремленіе сказать что-либо новое, сколько хлѣбъ насущный! Да и времена-то пошли такіа тяжкія, что не до новаго было; вѣрно было заботиться лишь о томъ, чтобы сохранить свою позицію. Единственный мало-мальски серьезный трудъ, какой я совершилъ въ теченіе второй половины своего литературства, была «Исторія новѣйшей русской литературы», имѣвшій столь значительный успѣхъ, что дошелъ нынѣ до седьмого изданія, да и тотъ былъ совершенъ мною не по личной инициативѣ, а по заказу покойнаго Ф. Ф. Павленкова».

Эта исповѣдь стараго писателя заслуживаетъ вниманія. Онъ далъ здѣсь свое самоопредѣленіе, какъ «семидесятника», съ одной стороны, а съ другой слишкомъ рѣшительно подвергъ какъ бы осужденію свою литературную дѣятельность въ послѣдующее за 1884 годомъ время, отнесъ ее къ ремесленничеству и придавалъ ей слабое значеніе. Это и слишкомъ строго и несправедливо. Надо замѣтить, что послѣ закрытія «Отечественныхъ Записокъ» положеніе сотрудниковъ журнала стало дѣйствительно затруднительнымъ и въ матеріальномъ отношеніи, и по той позиціи, которую они занимали, какъ литературные дѣятели опредѣленнаго народническаго толка, и которой имъ ни

один орган печати, вследствие совокупности наступивших новых условий общественной жизни, дать не мог. Вся журнальная армия, во главе с Щедриным-Салтыковым, разсылаясь, потускнела временно в своем колоритѣ, пока нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ, напримеръ, Н. К. Михайловскому, бывшему всегда в своей жизни баловнемъ судьбы, не удалось сгруппировать вокругъ себя подборъ единомыслящихъ работниковъ пера и, благодаря этому самому, вернуть себѣ нѣкоторую свободу литературнаго дѣйствія и вслѣдствіе сего временно было утраченную колоритность. Очутился в трудномъ положеніи и А. М. Скабичевскій, по тутъ ему на выручку пришелъ О. К. Нотовичъ, пригласившій его на амплу постоянного (по четвергамъ) критика въ «Новостяхъ». Материально нашъ писатель былъ до нѣкоторой степени компенсированъ и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обрѣталъ общественное положеніе, до нѣкоторой степени равное тому, которое занималъ по пятницамъ въ «Новомъ Времени» В. П. Вуренинъ. Не входя въ сравненіе дарованій обоихъ критиковъ, отмѣчу лишь, что для опредѣленнаго круга читателей, пользовавшихся только «Новостями» в цѣляхъ знакомства съ новинками тогдашней литературы, голосъ Скабичевского во весь періодъ 80-хъ и 90-хъ годовъ былъ голосомъ очень вѣскимъ, вліятельнымъ и въ этомъ отношеніи онъ держалъ въ страхѣ тѣхъ, къ кому приближался съ своимъ критическимъ скальпелемъ. И я, наблюдавшій въ значительный промежутокъ времени этотъ періодъ его дѣятельности, могу сказать, что, при всей трудности своего положенія въ газетѣ, онъ дѣлалъ свое дѣло добросовѣстно и внимательно, поскольку ему то позволяли силы и способности. А положеніе дѣйствительно было трудное, въ виду того гоненія, которому тогда подвергся россійскій либерализмъ и радикализмъ и которому уклончиво и съ вѣчной опаской служили «Новости». Газетѣ и ея редактору приходилось тогда очень жутко отъ сыпавшихся изъ разныхъ министерствъ запретительныхъ циркуляровъ, и писателямъ по необходимости приходилось обезцѣвчиваться и сводить свою роль на роль переказчиковъ, компиляторовъ, хроникеровъ, говорящихъ не о томъ, о чемъ имъ хотѣлось бы говорить, а что подскажетъ редакторъ и «циркуляръ». Это дѣйствительно очень сильно отразилось и на качествѣ письма Скабичевского, и онъ поэтому сплошь и рядомъ не разбирая судимаго произведенія подъ привычнымъ ему угломъ публицистической критики, а «излагалъ» его своими словами, разбавляя легкой моралью изъ либерально-радикальнаго катехизиса, усвоеннаго имъ въ семидесятые годы. Духовно онъ тяготился такой ролью, часто на моихъ глазахъ просто съ отвращеніемъ посылалъ въ редакцію свой очередной фельетонъ, но отказаться отъ подневольной работы не могъ: надо было и самому ѣсть, пить, надо было содержать другихъ, надо было выполнять свои обязанности, юридическія и нравственныя, но отношенію третьихъ лицъ, съ кѣмъ онъ къ тому времени порвалъ

семейныя связи, но къ которымъ сохранилъ полное благородство обязательныхъ въ матеріальномъ смыслѣ отношеній. Итакъ, получивъ и въ литературномъ и въ общественномъ отношеніи до нѣкоторой степени прочную позицію, А. М. продолжалъ, какъ и въ предшествовавшее десятилѣтіе, служить тому знамени, подъ которымъ вступилъ въ литературу и на которомъ яркими буквами значились символическія въ политическомъ смыслѣ слова «Современникъ», «Искра» и «Отечественныя Записки». Поэтому я стараюсь на основаніи чужихъ словъ и чужихъ показаній, какъ дружески-сочувственныхъ, такъ и нѣсколько почитительно-пристрастныхъ, съ отбѣнкомъ отрицательнаго характера, опредѣлить, какое же мѣсто въ литературѣ должно быть отведено ему, какъ критику и публицисту, столь долго подвизавшемуся въ нашей литературѣ. Такой способъ литературной рекомендаціи, во избѣжаніе заподозрѣванія меня въ дружеской пристрастности, я считаю въ настоящемъ случаѣ наиболѣе подходящимъ. Начну со вторыхъ и изъ нихъ на первое мѣсто ставлю А. А. Измайлова, при жизни нашего писателя не всегда ласково вспоминавшаго своего старшаго собрата.

Этотъ талантливый и сравнительно молодой критикъ-публицистъ и беллетристъ изъ «Виржевыхъ Вѣдомостей» писалъ вслѣдъ за смертью Скабичевского въ некрологѣ, ему посвященномъ въ этой газетѣ (№ 12,097):

«Вслѣдъ за недавно умершимъ Юнаковымъ ушелъ вотъ уже и послѣдній представитель «Отечественныхъ Записокъ» и цѣлой связанной съ ними эпохи. Еще есть нѣсколько беллетристовъ, поэтовъ, которые связали свое имя съ блистательнымъ дѣломъ Некрасова и Салтыкова. Но Скабичевскій былъ и ближайшимъ сотрудникомъ, и членомъ редакціи, и одно время былъ прикосновенъ къ редактурѣ. Онъ не былъ равнымъ среди этихъ великановъ, создавшихъ славу журналу и оставшихся славою русской литературы. Въ этой кузницѣ, гдѣ боги ковали свои молнии, онъ былъ только скромнымъ и вѣрнымъ и трудолюбивымъ рабочимъ. Но тѣнь ихъ величія падала и на него и окружала его имя уваженіемъ до смерти. И со всѣми этими великими именами связано имя Скабичевского. Онъ былъ другомъ Писарева. Онъ писалъ о Некрасовѣ, какъ пишутъ о человѣкѣ, котораго видятъ изо дня въ день и знаютъ полно въ каждомъ общественномъ движеніи, въ каждой мелочи домашняго обихода, Салтыковъ, Михайловскій, Курочкинъ, Глѣбъ Успенскій, Слѣпцовъ, вся позднѣйшая плеяда писателей почти безъ конца,—все это были для него близкіе и знакомые, часто друзья.

«Студентомъ Скабичевскій вошелъ въ литературу и остался ей вѣренъ до конца. Вмѣстѣ съ Писаревымъ въ журналѣ для дѣвицъ «Разсвѣтъ» онъ началъ печататься совсѣмъ юношей и только въ началѣ истекающаго года поставилъ точку подъ своимъ «Литературными воспоминаніями», напечатан-

ными в «Историческом Вѣстникѣ», которая и были его лебединой пѣснью. Скабичевскій былъ однимъ изъ неутомимѣйшихъ литераторовъ. Его статьи изъ однихъ «Отечественныхъ Записокъ» составили бы десятокъ книгъ. Потому не менѣе неутомимо онъ писалъ въ «Словѣ», «Устояхъ», «Новомъ Словѣ», «Недѣлѣ», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Русскихъ Вѣдомостяхъ», «Сынѣ Отечества», «Новостяхъ», «Виржевыхъ Вѣдомостяхъ» старой редакціи. Его «Исторія русской цензуры», въ свое время запрещенная, до послѣдняго времени, до появления изслѣдованій, написанныхъ болѣе свободнымъ языкомъ, — была единственной попыткой пролить свѣтъ въ это царство тьмы и инквизиционныхъ секретовъ. Его изслѣдованіе о русскомъ историческомъ романѣ, страдающее двумя недостатками, — тѣмъ, что въ немъ отсутствуетъ «историчность» оцѣнокъ, и тѣмъ, что всѣ эти Полевые, Кукольниковы разсматриваются у него подъ узкимъ угломъ либерализма, — все-таки до сихъ поръ остается почти единственнымъ въ области стараго историческаго романа трудомъ.

«Неопустительное наблюденіе за русскимъ изыщнымъ творчествомъ облегчило Скабичевскому составленіе «Исторіи новѣйшей литературы». Эта книга изъ всѣхъ книгъ его была наиболѣе популярной и наиболѣе способствовала прославленію его имени. Она тоже была первою по времени напечатанія и долгое время единственною у насъ исторіей новыхъ писателей. Спѣшность работы, вынужденность на быстрыхъ и опредѣленныхъ рѣшеніяхъ, невозможность иногда серьезно и вдумчиво взвѣсить литературную новинку сдѣлали то, что среди мнѣній Скабичевского безъ всякаго труда можно указать трагическія ошибки.

Эти ошибки неизбѣжно оказались и въ его «Исторіи» и, только совершенствуя эту книгу съ каждымъ новымъ изданіемъ, А. М. смятчалъ и устранялъ ихъ. Много вредило также Скабичевскому и его нѣсколько одностороннее и узкое созерцаніе литературныхъ явленій подъ угломъ тенденціознаго либерализма. И, говоря объ его заслугахъ, которые, несомнѣнно, и велики, и которыя можетъ отрицать только незнающій, — нельзя умолчать о томъ, что покойный своимъ авторитетомъ и авторитетомъ изданій, въ которыхъ работалъ, долгое время утверждалъ ошибочное настроеніе, превознося совершенно слабыя въ художественномъ отношеніи вещи за симпатичность и благородство ихъ тенденцій и игнорируя или осуждая созданія чистой художественной цѣнности. Такъ, на думѣ А. М. лежалъ грѣхъ непониманія Гончарова, «Обрывъ» котораго онъ жестоко осудилъ за фигуру Марка Волохова. Беззлбный Чеховъ не могъ забыть Скабичевскому, что признанный критикъ не поддержалъ его при первыхъ неуверенныхъ шагахъ и, признавая въ немъ дарованіе рисовальщика, рѣдко отрицалъ всякій идейный смыслъ его писаній. Къ чести Скабичевского надо сказать, что съ полной откровенностью онъ сознался впоследствии въ этой своей ошибкѣ и уже поощрялъ Чехова-автора «Палаты» № 6, а въ оправданіе можно прибавить,

что и Михайловскій, много болѣе чуткій къ изящному, на первыхъ порахъ тоже звалъ его «писателемъ безъ Бога въ душѣ» и «съ холодной кровью».

«Чисто просвѣтительная, популяризаторская заслуга Скабичевского колоссальна. Черезъ его писанія и подъ угломъ его зрѣнія все то великое множество русскихъ читателей, которые не читаютъ книгъ, а просматриваютъ газетные фельетоны, — познакомились со всѣмъ, что появляется новаго въ литературѣ. Десятки, пожалуй, сотни биографій большихъ русскихъ писателей онъ пустил въ свѣтъ. Некрасовская — лучшая изъ нихъ и, вообще, лучшая изъ биографій поэта. Не пренебрегалъ онъ и редактурой изданій, и его Пушкинъ — одно изъ наиболѣе ходкихъ изданій. Исключительно интересны были его литературныя воспоминанія. Часть ихъ вошла въ двухтомное собраніе его сочиненій. Часть появилась только въ этомъ году. Здѣсь проходятъ передъ читателемъ не только интересныя фигуры писателей 60-хъ годовъ, но и самая эпоха съ настроеніями и тогдашними интересами».

Талантливость и тактъ Измайлова помогли ему удержаться въ рамкахъ справедливости и въ общемъ набросать довольно живой и недурно освѣщенный портретъ покойнаго критика, гдѣ поставлены и всѣ плюсы его литературной жизни, какъ они имъ понимаются. А вотъ голосъ болѣе отрицательно-пристрастный, который, быть можетъ, слишкомъ преждевременно прозвучалъ на свѣжей могилѣ. Въ «Голосѣ Москвы» (№ 301) г. Гранатовъ (псевдонимъ) написалъ на слѣдующій день смерти Скабичевского:

«Вчера скончался извѣстный публицистъ-критикъ Александръ Михайловичъ Скабичевскій.

«Современному поколѣнію его имя мало говорить. Кое-кто развертывалъ его «Исторію новѣйшей литературы», по и то, какъ справочную книжку, заимствуя оттуда хронологическія данныя. Но было время, когда имя Скабичевского стояло въ ряду именъ, занимающихъ главныя командныя мѣста въ русской литературѣ. Некрасовъ, Салтыковъ, Михайловскій, Глѣбъ Успенскій, Елисеевъ, Шелгуновъ и Скабичевскій составляли въ глазахъ широкой публики редакцію «Отечественныхъ Записокъ». Громкая слава именъ Некрасова и Салтыкова освѣщала и имя Скабичевского, падая на всю группу писателей популярнѣйшаго журнала.

«Въ то время Скабичевскій печаталъ всего большой трудъ — «Очерки по исторіи русской цензуры». Съ закрытіемъ «Отечественныхъ Записокъ» Скабичевскій перешелъ въ «Русскую Мысль», какъ критикъ. Тѣ, кто въ критикѣ не желаютъ видѣть особаго вида художественной литературы, а считаютъ ее только орудіемъ партійной борьбы, — тѣ должны помянуть критика Скабичевского добрымъ словомъ. Онъ честно работалъ въ интересахъ своего литературно-политическаго кружка. Слишкомъ даже честно: отрицались и принижались такіе писатели, какъ Чеховъ и Лѣсковъ, подмалася рука на Достоевскаго и Толстого, — и все только потому, что эти гиганты литера-

туры не могли и не хотѣли подчинить себя взглядамъ господствующаго литературнаго кружка. Мы имѣемъ другое представленіе о задачахъ критики, и даже у открытой могилы писателя не можемъ подарить своего сочувствія дѣлу его жизни. Время шло. Идеалы мѣнялись. Умирали одни литературно-политическіе кружки и возникали другіе. Но Скабичевскій, разв навсегда усвоившій катехизисъ своей партіи, съ упорствомъ чловѣка, лишеннаго способности развиваться, ни на шагъ не отступалъ отъ него. Это повело къ тому, что всѣ стали отступаться отъ него самого. Ушли даже главарь той партіи, которой онъ служилъ. Скабичевскій не могъ попасть въ сотрудники не только «Русскаго Богатства», руководимаго его сотоварищемъ по «Отечественнымъ Запискамъ» Михайловскимъ, но и лишился работы въ «Русской Мысли». Со страницъ «Русской Мысли» онъ спустился до «Новостей» Новича.

«Съ прекращеніемъ «Новостей» Скабичевскій остается совсѣмъ безъ работы. Никому оказались не пужливыми его большой опытъ и его знанія. Подчиненіе себя узкой партійной работѣ, такимъ образомъ, дало себя знать и уготовило писателя трагедію. Чловѣкъ, всю жизнь исповѣдывавшій вѣру въ силу кружковъ, въ силу массы, покинутъ былъ всѣми и обреченъ на одиночество».

Въ этой замѣткѣ и рядъ фактическихъ невѣрностей и слишкомъ развязные выводы, но кое-что здѣсь справедливо, почему въ интересъ полноты исторіи оцѣнки скончавшагося критика я и привожу эту некрологическую замѣтку.

А вотъ историко-литературное опредѣленіе значенія Скабичевского, сдѣланное въ «Вольшій Энциклопедіи» (т. XVII), редактированной покойнымъ С. Н. Южиковымъ. Здѣсь мы читаемъ: «Защитникъ свободы и естественности творческихъ процессовъ, С., по собственному заявленію, — всегда былъ далекъ какъ отъ теоретиковъ чистаго искусства, такъ и отъ теоретиковъ полезнаго искусства, обрекающаго его на подневольное орудіе въ рукахъ какой бы то ни было политической партіи. — Онъ требуетъ отъ искусства изображенія жизни во всей ея совокупности, и въ этомъ требованіи опирается на принципы реализма, установление котораго ставить въ особенную заслугу Вѣлинскому. Разсматривая всѣ окружающія явленія въ связи съ данными условиями, ихъ породившими, истинно-реальная точка зрѣнія заставляетъ отрѣшаться отъ всякаго романтизма и наблюдать жизнь такъ, какъ она течетъ вокругъ насъ, не идеализируя ея, но и не ограничиваясь однимъ поверхностнымъ ея воспроизведеніемъ, а проникая въ ея глубину. Художникъ, изображающій дѣйствительность, воспроизводитъ ее не такъ, какъ она есть, а такъ, какъ она отражается въ его представленіяхъ. Поэтому рабское копированіе дѣйствительности не должно и не можетъ быть задачею искусства. Даже самыя талантливыя произведенія даютъ

лишь относительно вѣрное ея изображеніе. Это положеніе обусловлено психологическою сущностью самаго творческаго процесса, въ развитіи котораго С. придаетъ наибольшее значеніе моменту образованія поэтическихъ образовъ. Съ этой стороны между дѣятельностью поэта и ученаго нѣтъ не только никакой противоположности, но, наоборотъ, наблюдается полная аналогія. Настоячиво проводя, вслѣдъ за Добролюбовымъ, эту мысль во многихъ своихъ критическихъ статьяхъ, С. утверждаетъ, что, какъ и ученый, поэтъ приходитъ къ своимъ открытіямъ путемъ постепеннаго и длительнаго развитія различныхъ умственныхъ комбинацій — путемъ анализа и обобщенія; вся разница лишь въ силѣ и степени воспроизведенія возникающихъ въ мозгу поэта и ученаго идей, одинаково создаваемыхъ на основахъ индукціи. И только это одно индуктивное творчество есть истинно свободное, реальное и полезное, потому что только оно одно можетъ вѣрно и безпристрастно изобразить правду жизни, что и является главною задачею искусства. Изучая окружающую жизнь и поднимаясь все выше и выше въ своихъ произведеніяхъ, поэтъ въ концѣ концовъ неизбѣжно доходитъ до высшаго отъ нихъ, непосредственно связаннаго съ реализмомъ въ литературѣ, до понятія о народности. Изучить свой народъ во всѣхъ условіяхъ его жизни, во всѣхъ формахъ ея и проявленіяхъ, проникнуться всѣми его общими интересами, его радостями и страданіями — вотъ, по опредѣленію С., истинная задача реальнаго поэта. Опредѣляя такъ ясно задачу поэта и требуя на ряду съ этимъ отъ произведенія искусства, чтобы они воспроизводили правду жизни, будя сознаніе въ людяхъ, указывая на общественныя неустройства и цѣли, къ которымъ должно стремиться, С. поставилъ себѣ задачу — занять сбалансированную примирительную позицію между двумя отчужденными имъ противоположными этическими теоріями — чистаго искусства и искусства, какъ общественнаго служенія великимъ интересамъ гуманности и прогресса, задачу, которая не всегда была достаточно понята и усвоена его критиками. Въ своихъ первыхъ серьезныхъ критическихъ работахъ онъ стоитъ на чисто публицистической точкѣ зрѣнія, а въ позднѣйшихъ статьяхъ, сохраняя свое нейтральное положеніе, рѣшительно склоняется въ сторону идеи о служебномъ значеніи искусства. Въ своихъ историко-литературныхъ и критическихъ работахъ С. выступаетъ передъ нами убѣжденнымъ защитникомъ и популяризаторомъ лучшихъ традицій, завѣщанныхъ критикомъ Вѣлинскаго, возрожденныхъ и рѣзче сформулированныхъ въ эпоху 60-хъ годовъ и получившихъ дальнѣйшее развитіе въ 70-е годы. Къ этому-то послѣднему періоду и относится начало наиболѣе энергичной и серьезной литературной дѣятельности С., создавшей ему почетную извѣстность, какъ одному изъ видныхъ литературныхъ критиковъ въ тѣсномъ смыслѣ. Около четырехъ десятилѣтій внимательно слѣдитъ онъ за всѣми болѣе или менѣе выдающимися явленіями родной литературы.

руководствуясь при их оценке принципами «народного блага», «народного труда и братства», которым он остался верен в течение всей многолетней литературной деятельности.

«Разматывая произведений русской словесности в связи с эпохой, в которую они появились, С. дает ценные характеристики наиболее ярких эпох в развитии русской общественной мысли и таким путем выясняет не только литературное, но и морально-общественное значение выдающихся художественных памятников русской литературы».

Я привел здесь подборку разных взглядов на оценку критическо-литературной деятельности Скабичевского, из которых выясняется его историческое значение для известной литературной эпохи, где ему пришлось играть видную роль и где устанавливается, почему в новейший период нашей жизни ему не находилось места для журнальной работы. Методы его бывших критических исследований по спросу на них читающего рынка устарели, не находилось подходящих органов, где бы он мог постоянно прилагать свои дарящие силы, между ним и редакциями образовалась некоторая отчужденность: писатель явно переживал свою известность и сходил на нить. Тут своего рода драма, некоторых деталей которой придется коснуться далее, в связи с известными мне фактами из его жизни.

Впервые я увидался с А. М. Скабичевским во второй половине 80-х годов на одном из журфиксов В. И. Семеновского, которые мы, тогдашняя университетская молодежь, только что кончившая курс, охотно посещали. Литературная фигура критика была настолько уже определившаяся и отчеканенная, что нас к нему подводили, как к знаменитости, столпу определенного направления, в чьи руки покоится своего рода знамя эпохи. Тогда уж он состоял критиком-фельетонистом «Новостей», и никто из тогдашних посетителей радикального салона Семеновского-Водовозовых не усматривал в этом какого-то «опускания», как о том нынче повещает сотрудник «Голоса Москвы»; напротив, литературная работа в единственной тогда либеральной газете западнического направления, издававшейся О. К. Нотовичем, считалась выгодной для широких народнических кругов, которые через эту работу имели возможность в известном направлении воздействовать и на общество, и на литературную молодежь. Я прекрасно помню, что к А. М. именно обращались с просьбой выдвинуть то или иное явление, народившееся в журналистике, подчеркнуть как явление положительного или отрицательного характера, обращались с просьбой поддержать выступающего на литературное поприще начинающего писателя, оценить новое еще не напечатанное произведение и т. д. И Скабичевский, действительно, как Эолова

арфа, воспринимал течение в духовно-родственных ему кружках и отражал их в своих четверговских фельетонах, с которыми считались в литературных сферах и которых порою ожидали с нетерпением. Неожиданно для меня он, между прочим, выдвинул и одну из первых моих работ, напечатанных в «Историческом Вестнике», посвященную памяти только что тогда скончавшегося профессора Ор. Фад. Миллера.

Близко я сошелся с А. М. лишь в 1890 году, когда привлек его к составу сотрудников «Северного Вестника», приобретенного кружком молодежи от А. М. Евреиновой; как официальный редактор-издатель этого журнала, я посетил заслуженного критика, и, хотя вся единомыслящая ему радикальная группа писателей стояла во враждебном отношении к организуемому новому делу, Скабичевский, однако, не нашел серьезных резонов для своего отказа и охотно примкнул к нашей журнальной семье, поддерживая ее, таким образом, своим авторитетом и до некоторой степени защитив даже от ожидавшихся нападков и выходок партийного характера. Как фельетонист тогда распространенной газеты, он оказал мне, как издателю журнала, даже немало услуг, помогая привлечь внимание публики на запущенный и опустившийся при предшествовавшей издательнице орган печати. В эти недолгие месяцы совместной работы я близко узнал А. М., как прекрасного, отзывчивого, скромного и доброго человека, готового на жертвы ради общего дела и подчиняющего ему свое личное и свои личные интересы. Так, он, будучи величиной в журнале первозразрядной, тем не менее, понимая всю материальную трудность нового дела, часто безкорыстно нес сюда некоторый редакционный труд и довольствовался тем средним гонораром за свои статьи и рецензии, который мы могли выплачивать сотрудникам, чего нельзя сказать про многих других писателей, даже категориями ниже его. Его имя, стоявшее в числе наших друзей, особенно благоприятно действовало на настроение московских литературных кругов, которые вслед за Скабичевским охотно и вступили в ряды сотрудников обновленного журнала. С того времени между мною и им установились понемногу близкие, товарищеские отношения, отношения писателя старшего поколения к младшему, где было много хорошего чувства взаимной любви и дружбы. В мае 1891 года над мною разразилась литературная буря, я лишился «Северного Вестника» и остался не у писательского дела. Одновременно со мною выпал, и притом довольно демонстративно, из журнала и Скабичевский, при чем в виде выражения особого сочувствия устроил мне прощальный обед, на который собрались некоторые писатели, как из числа бывших моих сотрудников, так и некоторых посторонних. где он, никогда публично не изъяснявшийся и всегда затруднявшийся в

словесной бесѣдѣ, выступилъ даже съ рѣчью по моему адресу. Эта дружеская демонстрація была мнѣ очень дорога, меня тронула, подкрѣпила мой нѣсколько упавшій духъ, а самого А. М. обрисовала какъ очень деликатнаго и нѣжнаго друга. Моя привязанность къ нему еще болѣе выросла и окрѣпла, и я сталъ его частымъ посѣтителемъ въ то время.

Это былъ очень хорошій періодъ въ его личной жизни, когда онъ полной грудью вдыхалъ невѣдомое ему дотола семейное счастье, найденное имъ въ новой семьѣ. Тамъ, въ первой половинѣ жизни у него не было счастья въ настоящемъ смыслѣ слова, была жена, были дѣти, былъ домъ, но не было того тихаго, уютнаго семейнаго очага, который согрѣваетъ человѣка, вливаетъ въ него покой, даетъ ему полное нравственное удовлетвореніе и нужную ему радость. За порогомъ 50-ти лѣтъ жизни онъ ихъ наконецъ обрѣлъ какъ бы распылялся въ этомъ обрѣтенномъ имъ такъ поздно счастьи, растворился душою въ этой новой жизни. Было умиротворенно и радостно за человѣка. У него и у А. И. Топоровой, жившей тогда на Фонтанкѣ, въ домѣ графа Левашева, все чувствовали себя невзыскательно, хорошо и весело. На ихъ журфиксахъ собиралось много народа, въ числѣ котораго я встрѣчалъ всего чаще М. А. Антоновича, С. А. Венгерова, М. О. Михневича, С. Н. Кривенка, В. П. Острогорскаго, М. Л. Песковского, Ф. Ѳ. Павленкова, В. И. Семевского, Р. И. Сементковскаго, К. М. Станюковича и многих другихъ. Вывали молодые писатели и писательницы, навѣщали московскіе друзья, какъ В. А. Гольцевъ, Д. И. Тихомировъ и другіе. Хлѣбосольный и ласковый хозяинъ былъ въ этомъ кругу милымъ центромъ, дѣйствовавшимъ на всѣхъ окружающихъ удивительно умиротворяюще и тепло. Печать добродушія, малорослискаго добродушія лежала на всей его фигурѣ, гдѣ явственно сказывались и нѣкоторая природная склонность къ лѣни, и нѣкоторая про себя юмористическая насмѣшливость.

— И подумаешь, что это злой критикъ, стукающій еженедѣльно по головамъ молодыхъ писателей,—глядя на А. М., говаривалъ, указывая на хозяина, покойный В. О. Михневичъ.—Вотъ такъ и кажется, что изъ Гоголевской галереи вышелъ Довгочухъ и сѣлъ между нами на хозяйское мѣсто. А гдѣ у васъ тутъ настоечка, гдѣ запеканочка, гдѣ сырники въ маслѣ?

Это было ужасно мѣтко, мы все хохотали, и пуще всѣхъ самъ А. М. Дѣйствительно, многія черты Гоголевскаго обихода лежали на Скабичевскомъ, на всей его нѣсколько отяжелѣвшей, заплывшей фигурѣ, на всей его повадкѣ, любви къ жирной ѣдѣ, къ доброй выпивкѣ. Надо писать очередной критическій фельетонъ, а самого такъ и тянетъ растянуться на солнышкѣ, на лужайкѣ; надо шевелить мозгами, а самому хочется уйти въ пирвану, въ созерцаніе, въ лѣнивое наблюденіе пространства, надо махать перо въ чернила, а самого тянетъ къ колбасамъ, къ крымскому и хакетинскому. Хохоль, настоящій хохоль!

И вотъ, сдавши очередную работу разсылному въ типографію на «Екатерининскомъ каналѣ, гдѣ у Харламова моста помѣщались «Новости», Скабичевскій облегченно вздыхалъ, точно тяжелая ноша спала съ плечъ, и своею тихою, нѣсколько перевальною, грузною походкою направлялся въ дешевенскій кабачокъ, преимущественно «винницу» казакскихъ и крымскихъ винъ, гдѣ его уже ожидали пріятели. Немало часовъ протекло у насъ съ нимъ въ этихъ «винницахъ» и, что грѣха таить, какъ поется въ какомъ-то куплетѣ:

Въ погребкѣ не разъ,
Мы за часомъ чаемъ
Проводили весь день напролетъ...

Изъ литературныхъ собраний подбирались сюда С. В. Максимовъ, В. П. Острогорскій, Е. А. Соловьевъ (Скриба), В. П. Михайловъ-Мартовъ, В. В. Огарковъ, С. Н. Южаковъ и др., но всего болѣе Скабичевскій любилъ, чтобы къ нему подсаживались тѣ совершенно невѣдомые ему посѣтители этихъ «таверней», которыхъ гналъ сюда изъ дома семейный разладъ и тѣ невзгоды жизни, которыя такъ часто на Руси именно заливаются «слезнымъ виномъ». Эти несчастные, обойденные жизнью чувствовали къ А. М. какое-то особенное тяготѣніе, раскрывали ему свои наболѣвшія души и какъ бы старались въ приближеніи къ нему найти подъемъ и очищеніе своему падшему существованію. И нужно было видѣть, какъ мягко, задушевно, деликатно велъ съ ними этотъ извѣстный русскій писатель бесѣду, какъ отечески онъ ихъ журилъ и давалъ имъ совѣты и наставленія. Было бы ошибочно дѣлать изъ моего повѣствованія выводъ, будто Скабичевскій былъ какимъ-то кабанчимъ завсегдатаемъ или кутилою. Совсѣмъ нѣтъ, онъ былъ воздержанъ по своимъ силамъ на питье, и я никогда не видѣлъ его охмѣлѣвшимъ и потерявшимъ здравый смыслъ. Онъ просто любилъ отъ времени до времени «освѣжиться» въ этой обстановкѣ, сблизиться съ новымъ міромъ и выносить отсюда любопытный запасъ наблюденій и выводовъ, которыхъ въ интеллигентномъ, литературномъ кругу не находилъ.

Въ 1894 году минуло 35 лѣтъ литературной дѣятельности Скабичевскаго, и на одномъ изъ собраний у него въ среду друзья его рѣшили отпраздновать эту юбилейную годовщину торжествомъ. Былъ избранъ особый комитетъ, въ составъ котораго вошли: пишущій эти строки, В. В. Огарковъ, В. П. Острогорскій, М. Л. Песковский. Комитетъ кликнулъ кличь въ литературный міръ, и на зовъ публика повалила въ изобиліи. Откликнулись всѣ либеральные журнальные приходы, безъ различія колоколенъ, и праздникъ вышелъ шумный и на славу. Утромъ рядъ депутатовъ пріивѣтствовалъ юби-

в. в. гинзбургъ.

ляра на дому с адресами и подношениями, а вечером состоялся в старом помпезном ресторане «Медведь» по подписке обед, на который явились почти все представители лэваго лагеря. Вспоминая нынче тот день, видишь в памяти своей длинную вереницу заслуженных и известных писателей и общественных деятелей, нынче сошедших с жизненной сцены, которые прибыли, чтобы поздравить виновника торжества: Ф. О. Павленков, Глеб Успенский, Н. К. Михайловский, Я. Г. Гуревич, В. Д. Спасович, Д. И. Мордовцев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. П. Даматов, В. О. Михневич, Н. С. Максимов, М. Л. Песковский, С. И. Васюков, С. Н. Южак, А. П. Манасеин и др. Было шумно, весело, дружно, сказано было много хорошего по адресу юбиляра, проявлено ему много чувств дружбы, уважения и любви. Произошел и инцидент, надбавивший в нашем тогдашнем муравейнике переполох и нашедший себя даже отражение в печати.

Незванным-непрошенным явился на обед А. И. Флексер-Волынский, обрѣтавшийся тогда почти со всеми наличными обѣдающими силами в антагонизм, явился, не предупредивши никого заранее о своем желании присутствовать на юбилей. А как раз именно накануне шла рѣчь, когда выяснялся список обѣдавших, как быть с теми, кто нежелателен для юбиляра, и рѣшено было как-нибудь деликатно от них отдѣлаться, дабы не омрачить торжества. Между прочим, сам Скабичевский, по природѣ своей человекъ очень вспыльчивый, заявилъ, что если на его юбилей пожалуютъ такая-то и такая-то лица, а въ томъ числѣ и г. Волынский, то онъ уйдетъ изъ обѣденнаго зала. И вдругъ именно въ дверяхъ появляется нежданный гость. Какъ быть? Къ нему бросились Острогорский и Песковский и заявили, что, молъ, записъ на обѣдъ кончена и что залъ болѣе не вмѣщаетъ публики. Волынский понялъ, въ чемъ дѣло, проглотилъ въ тотъ мигъ горькую пилюлю, но перенесъ обсужденіе вопроса на столби печати, и... загорѣлась полемика. Мы, устроители торжества, печатно же изворачивались, не желая говорить въ лицо человекѣ неприятности, а печать на насъ насылала, и подъ предлогомъ обсужденія этого инцидента сводились полемическіе счеты по разнымъ другимъ предлогамъ. «Литераторы отъ Медвѣда»—стало крылатымъ словечкомъ. Вообще я не помню, чтобы какое другое литературное торжество вызвало столько разныхъ полемикъ, какъ именно обѣдъ въ честь Скабичевского, почему на известной исторической перспективѣ на немъ и лежить нѣкоторый отпечатокъ своего рода событія, вызвавшего расколы. Но рядомъ съ этими расколами тутъ же протянуты были и руки примиренія. Я разумю тутъ примиреніе Михайловскаго и Скабичевскаго. Былые друзья и соратники по «Отечественнымъ Запискамъ», они въ исходѣ восьмидесятыхъ годовъ разошлись и даже вступили на почву литературнаго препирательства и вовсе не по какому-либо

принципіальному, идейному разногласію, но по курьезному случаю, о которомъ было разскажу, какъ мнѣ его обрисовалъ самъ Скабичевскій.

Рѣшивъ отплыть отъ своего перваго семейнаго берега, Александръ Михайловичъ вмѣстѣ съ тѣмъ прежде, чѣмъ сдѣлать рѣшительный въ этомъ направленіи шагъ, вынесъ въ душѣ борьбу съ самимъ собою, борьбу, которой далъ отраженіе въ одномъ изъ своихъ критическихъ фельетоновъ, гдѣ по какому-то литературному поводу прочелъ мораль всѣмъ бросающимъ женщинъ, разрывающимъ семейныя узы и ищущимъ личнаго счастья въ ущербъ бросаемымъ. Какъ разъ въ тотъ же періодъ Михайловскій переживалъ также крушеніе одного изъ своихъ романовъ, которыми такъ богата была его жизнь, и вступалъ въ полосу новаго. Фельетонъ Скабичевскаго, являвшійся въ сущности актомъ самообличенія, въ освѣщеніи досужихъ людей, подсунувшихъ Михайловскому газету съ опредѣленнымъ жестомъ и съ опредѣленнымъ толкованіемъ, попадалъ не въ бровь, а прямо въ глазъ, и самолюбивый социологъ-публицистъ разразился противъ своего недавняго друга въ сущности совершенно не нужной полемикой, и, какъ публицистъ огромнаго остроумія и большой насмѣшки, сумѣлъ, конечно, поставить своего оппонента въ невыгодное положеніе. Отсюда охаживденіе ихъ отношеній и неприглашеніе Скабичевскаго въ число сотрудниковъ «Русскаго Богатства», когда этотъ журналъ перешелъ подъ главенство Михайловскаго. Вотъ истинная причина его отсутствія въ спискѣ сотрудниковъ новой редакціи, хотя то, что говоритъ обозрѣватель «Голоса Москвы», имѣвъ свое нѣкоторое основаніе, берущее начало только въ дальнѣйшихъ событіяхъ, о которыхъ рѣчь ниже.

На юбилейномъ обѣдѣ Михайловскій пилъ здоровье своего бывшаго друга, провозглашалъ тостъ за русскую литературу, и на слѣдующій день былъ у него съ визитомъ. Примиреніе состоялось, и Скабичевскій былъ приглашенъ дать что-нибудь для «Русскаго Богатства», о чемъ особенно хлопоталъ С. Н. Кривенко. И дѣйствительно, весною онъ принялся за статью о Львѣ Николаевичѣ Толстомъ, по поводу только что вышедшаго какого-то его новаго произведенія. Но тутъ вышло роковое недоразумѣніе. Нужно замѣтить, что именно въ это время въ кружкахъ тѣлой печати замѣчается особенное тяготѣніе къ аполлопанскому философу, и, конечно, не какъ къ художнику и философу христіанской морали, а какъ къ человекѣ, ставшему въ оппозицію и къ буржуазному обществу, и къ правительству. Скабичевскій, стоявшій въ сущности всю жизнь внѣ активныхъ политическихъ теченій, не соразмѣрилъ этого движенія съ требованіями, которыя предъявлялись къ нему, какъ къ литературному критику, и, исходя изъ своей прежней позиціи сотрудника «Отечественныхъ Записокъ», подошелъ къ Льву Николаевичу съ одной стороны. Выводъ для философа автора «Войны и мира» получался отрицательный, а это не соответствовало политическимъ

тенденция «Русского Богатства», в расчеты которого тогда вовсе не входила полемика с Толстым. Скабичевский не угодил радикальным взглядам, и статья ему была возвращена. Отсюда новая обида и нежелание дѣлать болѣе попытокъ къ литературному сближенію съ редакціей Михайловскаго.

Онъ ограничился своей ролью фельетониста въ «Новостяхъ» и сотрудника Ф. Θ. Павленкова, съ которымъ у него было установлено особое соглашеніе, по которому Павленковъ, такъ сказать, законтрактровалъ себя отдѣльными изданіями Скабичевскаго, являясь ихъ единственнымъ собственникомъ, за что по расчету каждаго изданія выплачивалъ ему по 100 рублей въ мѣсяцъ. «Исторія новѣйшей русской литературы» шла шибко, былъ спросъ и на «Собраніе» всѣхъ сочиненій критика, а потому издатель и могъ безъ риска авансировать своему сотруднику суммы, нужныя ему для повседневной жизни. Ф. Θ. Павленковъ, какъ Г. З. Елисеєвъ, помянувшій А. М. наравнѣ съ Гл. Успенскимъ въ своемъ завѣщаніи, давъ имъ право на выигрышъ по билету, пожертвованному литературному фонду, высоко цѣнилъ Скабичевскаго, какъ критика и историка литературы, и охотно во всемъ шелъ навстрѣчу его нуждамъ и желаніямъ. Заработокъ въ «Новостяхъ» и рента, выплачиваемая Павленковымъ, и составляли жизненный матеріальный фондъ нашего критика, но дѣла Нотовича приходили понемногу въ упадокъ, газета явно падала, и Скабичевскій съ его платой по 50 рублей за еженедѣльный фельетонъ становился ему не по карману, старый фельетонистъ оказывался въ тягость издателю, который и началъ хлопотать о замѣнѣ его кѣмъ-нибудь другимъ, побойчѣе, поновѣе и повыгоднѣе. Таковымъ сотрудникомъ и являлся Е. А. Соловьевъ (Скриба-Андреевичъ), человекъ очень талантливый, пользовавшійся въ нѣкоторыхъ молодыхъ кружкахъ широкой популярностью, но до нельзя безпутный и погибавшій отъ алкоголизма. Онъ былъ скорѣе ко двору во всѣхъ отношеніяхъ Нотовичу, и старый критикъ понемногу вынужденъ былъ сначала сократить свой заработокъ до минимума, а потомъ и совсѣмъ ликвидировать свои отношенія къ издателю «Новостей», печальный конецъ которыхъ за истощеніемъ подписчиковъ былъ тоже не за горами.

Налаживалась въ десятилѣтіе 90-хъ годовъ у А. М. и работа въ изданіяхъ, которая постоянно съ удивительнымъ упорствомъ, но и съ удивительнымъ несчастьемъ организовывалъ и С. Н. Кривенко послѣ того, какъ онъ разорвалъ съ Н. К. Михайловскимъ и вылетѣлъ изъ «Русскаго Богатства». Такъ, мы видимъ Скабичевскаго въ это время членомъ редакціи и сотрудникомъ «Новаго Слова» и «Сына Отечества», изъ которыхъ Кривенко старался сдѣлать органы бывшихъ правыхъ народныхъ, съ разработкой въ нихъ преимущественно экономическихъ вопросовъ и съ борьбою противъ нарождавшейся въ то время съ такимъ шумомъ плутократіи. Но всѣ эти по-

пытки Кривенка оказывались неблагополучными, скоро лопались, и Скабичевскій снова оставался при однихъ «Новостяхъ» и изданіяхъ Павленкова. Отъ времени до времени его небольшія работы появлялись въ «Русской Мысли» редакціи В. А. Гольцева и въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», а также въ «Педагогическомъ Листкѣ» Д. И. Тихомирова, но это сотрудничество въ московскихъ изданіяхъ не могло быть постояннымъ и обезпечивающимъ опредѣленный заработокъ. Около всѣхъ этихъ изданій, въ особенности первыхъ двухъ, толпилось столько народа, алчущаго работы, что петербургскому гастролеру, да еще съ специальными литературными темами, оставалось здѣсь въ теченіе года немного мѣста.

Къ исходу 90-хъ годовъ новая семья Скабичевскаго перекочевала на постоянное жительство въ Павловскъ, гдѣ А. И. Топоровой была приобретена охота. Старику, болѣвшему въ послѣднее время въ столицѣ, хорошо было въ новомъ жилищѣ и на свѣжемъ воздухѣ, но этотъ переѣздъ имѣлъ рядомъ съ хорошей и нѣсколько отрицательную сторону. Онъ сталъ чуждъ тѣмъ литературнымъ учрежденіямъ, въ которыхъ принималъ прежде такое горячее участіе, и понемногу его стали забывать. Все рѣже и рѣже его характерная, тучная фигура съ распущенными по плечамъ сѣдыми жидковатыми кудрями появлялась на нашихъ засѣданіяхъ, въ нашихъ собраніяхъ, и прибытіе Скабичевскаго понемногу начинало казаться напоминаніемъ отошедшей куда-то въ даль былой эпохи. Я помню, какъ одинъ довольно извѣстный публицистъ, увидавъ А. М., съ удивленіемъ сказалъ мнѣ:

— А я былъ увѣренъ, что Скабичевскій уже давно скончался, и всегда думалъ о немъ, какъ объ явленіи давно прошедшемъ!

Начали понемногу надвигаться на старога писателя и невзгоды жизни. Сократился сначала заработокъ, потомъ выхоръ политическихъ событій 1905 года разсѣялъ ту молодежь въ его второй семьѣ, къ которой онъ былъ привязанъ; чуть было администрація не сдѣлала и его причастнымъ къ ошибкамъ и грѣхамъ этой молодежи, и ему даже грозила высылка изъ столь любившагося ему Павловска, но только вмѣшательство черезъ посредство Е. П. Карпова въ дѣло А. С. Суворина сохранило ему здѣсь пребываніе; наконецъ обрушилась новая бѣда. Душеприказчики Ф. Θ. Павленкова, ликвидируя его издательскія предпріятія, сдѣлали учетъ заборамъ Скабичевскаго. Балансъ оказался нарушеннымъ, заборъ захватилъ собою нѣсколько изданій впередъ, на расходъ которыхъ въ ближайшее время трудно было расчитывать, и денежные помѣсячныя выдачи были ему прекращены. Положеніе старога и начавшаго сильно недомогать писателя сдѣлалось критическимъ и пришлось поклониться литературнымъ учрежденіямъ. Первая пришла на выручку «касса взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ», коей онъ состоялъ учредителемъ и гдѣ онъ по всѣмъ правамъ

имѣлъ право на пенсію. Таковая была ему назначена въ 1909 году въ высшемъ размѣрѣ, по 50 рублей въ мѣсяцъ; засимъ откликнулся Литературный фондъ, коего онъ состоялъ членомъ и первымъ лѣтописцемъ, назначивъ ему ежемѣсячное пособіе въ 25 рублей, пришесть на помощь и «фондъ имени императора Николая II» при академіи наукъ, со своей стороны ассигновавшій пособіе въ 25 рублей въ мѣсяцъ. Получилась въ итогъ сумма въ 100 рублей, на которую надо было жить, лечиться и еще выполнять нѣкоторыя свои обязательства въ отношеніи первой жены. Со смертію послѣдней эта сторона расходовъ сократилась, но выросли новыя—на постоянное леченіе, на аптеку, на опредѣленный режимъ. Цѣлый рядъ писемъ ко мнѣ за это время обнаруживають, какъ страдалъ бѣдный старый писатель передъ картиною надвигавшихся бѣдъ. Правда, рука близкой женщины дѣлала все отъ нея зависящее, чтобы любимый человѣкъ не чувствовалъ ни въ чемъ недостатка, и его въ сущности не было, но было наличие сознанія, что все приходящее является не результатомъ рукъ твоихъ и накопленіемъ изъ прошедшаго заработка, а пособіемъ со стороны. Его нѣкоторые письма ко мнѣ дышуть горечью отчаянія, и, читая ихъ, невольно всегда приходило на умъ старый стихъ: «братья писатели, въ вашей судьбѣ что-то лежитъ роковое»...

Къ началу 1912 года бюджетъ его удалось повысить до 125 рублей въ мѣсяцъ, и когда я прислалъ ему это радостное извѣстіе, онъ съ грустью поды диктовку отвѣтилъ мнѣ: «этимъ мнѣ уже не удастся воспользоваться—врядъ ли доживу до праздниковъ». Пророчество сбылось: на рубежѣ новаго года небольшая относительно кучка писателей опустила его бренное тѣло въ могилу на Литераторскихъ мосткахъ Волкова кладбища, и новый крестъ обогатилъ собою своеобразный кладбищенскій пантеонъ русской литературы. Отошелъ въ вѣчность послѣдній представитель большой литературной эпохи: вся жизнь которого прошла въ литературѣ, для литературы и въ ея средѣ. Въ ряду же ея могильныхъ памятниковъ поставленъ и ему крестъ, рядомъ съ недавно скончавшимся его другомъ С. Н. Южаковымъ и любившимъ его Г. З. Елисеевымъ. Жизнь стараго русскаго литератора завершилась обычнымъ концомъ: безработицею, небезопасностью подъ старость, пособиями и пенсіями изъ литературныхъ организацій и могилы на Волковомъ кладбищѣ...

К. А. СКАЛЬКОВСКІЙ.

Скальковский былъ весь оригиналенъ, самобытенъ и независимъ, какъ въ своей личной, такъ и въ общественной жизни. Онъ всегда стоялъ у всѣхъ на виду, никому не кланялся, ни передъ кѣмъ не заискивалъ и, какъ enfant terrible, говорилъ небрежно-насмѣшливо нутро и направо, друзьямъ и недругамъ, начальству и подчиненнымъ горькія истины, не заботясь о послѣдствіяхъ своей откровенной рѣчи¹⁾. Это привлекало къ нему вниманіе массы, дразнило тѣхъ, кому и о комъ онъ говорилъ, рождало вокругъ его имени легенды и пересуды, плодило ему враговъ и создавало изъ него тотъ умственный центръ, съ которымъ современники считались и къ которому они неизмѣнно обращались,—иные въ интересахъ исторической и бытовой справки, другіе въ цѣляхъ оригинальнаго освѣщенія «вопросовъ дня», третьи, ища въ немъ объектъ для полемики и пищу для спора и насмѣшки. Скальковский никогда не оставался въ тѣни, никогда не былъ тою милой посредственностью, которая ни горяча, ни холодна, и которая всѣмъ мила и родственна. Хотя на своемъ 35-лѣтнемъ литературномъ юбилей онъ добродушно-насмѣшливо и провозгласилъ себя «неудачникомъ въ жизни», но въ сущности онъ до извѣстной степени былъ скорѣе баловнемъ судьбы. Правда, его широкія умственные способности, его просвѣщенный кругозоръ, эрудиція и запасъ опыта жизни, быть можетъ, давали ему нѣкоторое право на нѣчто еще большее,—на болѣе крупное служебное положеніе, на болѣе милостивую оцѣнку его дѣятельности со стороны власть имущихъ, но и то, что далось ему жизнью, при наличности трудныхъ условий русской дѣйствительности, гдѣ посредственности силою и рядомъ стоять на виду и на первомъ мѣстѣ, а люди,

¹⁾ Въ воспоминаніяхъ В. Б. Бертенсона «За тридцать лѣтъ. Листки изъ воспоминаній» («Историческій Вѣстникъ» 1911 г.) читатели найдутъ по нему предмету немало указаній.

отмѣченные печатью таланта, затираются въ задніе ряды, при такихъ обычныхъ у насъ условіяхъ,—нельзя не признать, что жизнь скорѣе улыбалась покойному и дала въ его распоряженіе всѣ средства, чтобы оставить по себѣ довольно громкую память и значительный слѣдъ въ исторіи нашей общественности, нашей культуры. Эта жизнь дала ему крупное государственное положеніе, хорошія матеріальныя средства, благодаря которымъ онъ могъ независимо работать въ литературѣ, дала ему возможность по тому или иному случаю избѣдить чуть ли весь свѣтъ, много «пожить», вкусить многихъ радостей и видѣть по многимъ статьямъ отечественнаго обихода плоды рукъ своихъ; жизнь покойнаго поэту можетъ считаться очень полною, разнообразною и интересною, которая дается въ удѣлъ лишь особымъ избранникамъ.

Сынъ извѣстнаго историка Аполлона Александровича, К. Скальковскій родился въ Одессѣ въ 1843 г. Получивъ прекрасное домашнее образованіе, которое въ раннемъ возрастѣ пробудило въ немъ духъ пытливости и интереса къ вопросамъ просвѣщенія, онъ сначала кончилъ курсъ въ Ришельевскомъ лицѣе, а затѣмъ въ институтѣ горныхъ инженеровъ. Поступивъ затѣмъ на службу по горному вѣдомству, Константинъ Аполлоновичъ произвелъ рядъ геологическихъ и геогностическихъ изслѣдованій въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи, на Мангизлакомъ полуостровѣ и въ земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска, одновременно онъ основательно изучалъ хозяйство горныхъ заводовъ, уральскихъ, подмосковныхъ и олонекскихъ. Такимъ образомъ, онъ уже на зарѣ своей жизни являлся одновременно и практикомъ-инженеромъ съ солидной научной подготовкой и ученымъ-экономистомъ, могущимъ судить о нуждахъ своего отечества не только на основаніи книжной мудрости и кабинетнаго культуртрегерства, но и изъ широкаго запаса опытнаго знанія реальной жизни во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ. Начавъ еще на школьной скамьѣ, будучи воспитаникомъ горнаго института, свою литературную дѣятельность, онъ въ 1866 г. выпускаетъ надѣлавшую шума брошюру: «Стоитъ ли поощрять нашу промышленность?»—брошюру, которая явилась своего рода одинокомъ, но сильнымъ голосомъ протекціониста въ то почти исключительно фритредерское время. Въ 1867 г. онъ былъ избранъ секретаремъ только что учрежденнаго «общества для содѣйствія русской промышленности и торговли», въ каковой должности онъ и пробылъ 10 лѣтъ; позднѣе онъ былъ дѣятельнымъ членомъ комисіи, которая выработала таможенный тарифъ 1891 года съ его протекціонистскимъ характеромъ. Одновременно онъ занималъ въ горномъ институтѣ кафедру горнозаводской статистики вмѣстѣ съ политической экономіей. Въ горномъ департаментѣ онъ проходилъ рядъ должностей, выдающихся и отвѣтственныхъ, до директора департамента включительно, откуда въ 1896 г. онъ и вышелъ въ отставку, отдавъ себя всецѣло частной службѣ въ промышленныхъ и кредитныхъ предпріятіяхъ. Время его управленія департаментомъ отмѣчено многими

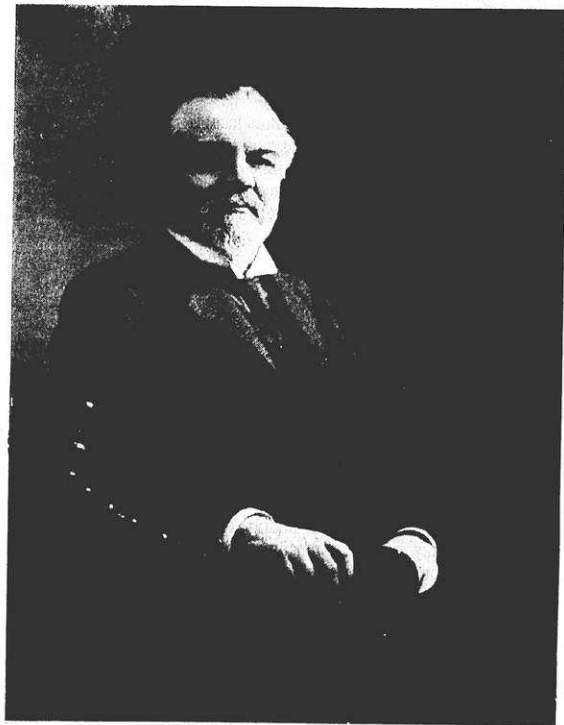
выдающимися законоположеніями по горной части, упорядоченіемъ казеннаго хозяйства на заводахъ, оживленіемъ многихъ отраслей добывающей промышленности и т. д., причемъ инициатива большинства мѣропріятій исходила почти исключительно отъ самого Константина Аполлоновича. Въ то же время ему приходилось бывать дѣятельнымъ членомъ многихъ комиссій, образованныхъ при другихъ вѣдомствахъ, гдѣ къ его голосу, независимому и практическому, всѣ всегда внимательно прислушивались и съ нимъ совбразовались. Особенно цѣнило его вѣдомство финансовъ, которое и возлагало на него постоянно рядъ порученій отвѣтственнаго характера, вслѣдствіе которыхъ ему и приходилось предпринимать самыя разнообразныя поѣздки какъ въ цѣляхъ разныхъ научныхъ изслѣдованій, такъ и освѣщенія вопросовъ въ ихъ практической и государственной постановкѣ. Результатомъ этихъ поѣздокъ-командировокъ явился рядъ литературно-научныхъ работъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ большую практическую цѣнность, какъ, напримѣръ, «Суэцкій каналъ и его значеніе для русской торговли», «Срочное почтовое пароходство въ Россіи и за границею», «Горное законодательство въ Соединенныхъ Штатахъ», «Русская торговля въ Тихомъ океанѣ», «Русскій торговый флотъ и срочное пароходство на Черномъ и Азовскомъ моряхъ» и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ специальныхъ изданіяхъ можно найти массу слѣдовъ, непосредственно связанныхъ съ его учеными поѣздками. Массу востину удивляться, когда нашъ ученый администраторъ успѣвалъ работать и на государственно-служебномъ поприщѣ, и на учено-литературномъ! Нѣтъ никакого сомнѣнія, что мысль его никогда не оставалась праздною, и книга, чернила и перо были неразлучными спутниками и друзьями, сопровождавшими его на всѣхъ широтахъ земного шара. Помимо специальныхъ работъ, стоящихъ въ непосредственной зависимости отъ командировокъ, мы видимъ Скальковскаго дѣятельнымъ работникомъ и по части горнопромышленной статистики, гдѣ онъ оставляетъ по себѣ крупный слѣдъ. Такъ, съ 1870 по 1881 г. онъ составлялъ и редактируетъ «Сборники статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части». Можно съ увѣренностью сказать, что врядъ ли кто изъ современниковъ Скальковскаго, находившихся въ аналогичныхъ съ нимъ условіяхъ служебной дѣятельности, такъ разнообразно и плодотворно поработалъ на поприщѣ теоретической разработки специальныхъ вопросовъ, какъ именно онъ, причемъ свѣдѣнія объ этихъ работахъ мало проникали въ массу русской публики, которая потому и лишена была почти возможности судить Константина Аполлоновича, какъ рѣдкаго у насъ ученаго инженера, умѣющаго ясно ставить трактующе вопросы и освѣщать ихъ разносторонне и обстоятельно.

Многочисленныя поѣздки его по казенной надобности со временемъ развили въ немъ страсть въ путешествіямъ вообще, такъ, что рѣдкіе годы проходили, когда русскіе читатели не получали отъ него большаго или малаго

числа очерковъ, посвященныхъ описанію посѣщенныхъ имъ странъ и народовъ. Большая часть составленныхъ имъ описаній вышла отдѣльными книгами, изъ которыхъ нѣкоторыя выдержали не одно изданіе. Къ числу таковыхъ относятся, какъ наиболѣе выдающіяся и занимательныя, объединенныя при томъ общимъ заглавіемъ «Путевыя впечатлѣнія»: «Въ Испаніи», «Въ Египтѣ, Аравіи и Индіи», «Въ Португаліи, Австріи, Франціи и Италіи», «По Кавказу, Турціи, Сербскимъ землямъ и Соединеннымъ Штатамъ», «Сорокъ шесть тысячъ верстъ по морю и сушѣ», «Путевыя впечатлѣнія въ Швеціи, Даніи, Бельгіи», «Въ Италіи, Марокко, Англіи и Франціи».

Всѣ эти описанія изложены живо, увлекательно и даютъ въ распоряженіе читателей обширный географическій, историческій, бытовой и политико-экономическій матеріалъ. Въ нихъ сказывается во всемъ блескѣ обширная эрудиція автора, его близкое и обстоятельное знакомство съ Европой, которое А. С. Суворинъ въ своей характеристикѣ покойнаго¹⁾ считаетъ «рѣдкимъ» у насъ. «Онъ зналъ исторію Европы, въ особенности со временъ великой революціи, какъ рѣдко кто ее знаетъ,—свидѣтельствуетъ издатель «Новаго Времени».—Онъ зналъ ее не только въ главныхъ политическихъ теченіяхъ и отношеніяхъ къ Россіи, не только въ характерахъ дѣятелей ея, но онъ зналъ ее во всѣхъ сколько-нибудь значащихъ подробностяхъ. Онъ изучалъ ее не только по книгамъ, но и путешествуя, въ современныхъ бытовыхъ условіяхъ, изучалъ въ ея литературѣ, театрѣ, искусствѣ, политикѣ». Поэтому, знакомясь съ тѣмъ или инымъ томомъ изъ «Путевыхъ впечатлѣній» Скальковского, по необходимости умственно приобщаешься къ исторической и политической жизни той страны, о коей идетъ рѣчь, воспринимаешь очень много такихъ свѣдѣній, которыя расширяютъ вашу энциклопедію, вашъ научный кругозоръ зрѣнія. Способъ изложенія, манера автора трактовать содержание своей работы, самый подходъ къ вопросамъ часто смущаютъ слишкомъ взыскательныхъ читателей нѣкоторой кажущейся легковѣсностью и даже легкомысліемъ; но если это и является слабою стороною въ глазахъ нѣкоторыхъ, то въ глазахъ большинства читателей это достоинство и то качество, благодаря которому книга всегда будетъ прочитана до конца съ неослабнымъ интересомъ и использована наиболѣе продуктивно въ интересахъ самообразованія. Русскую публику надо еще приучать къ чтенію, и Скальковский въ данномъ случаѣ былъ, безспорно, тѣмъ, который умѣлъ овладѣть вниманіемъ широкой аудиторіи, внушая ей любовь къ печатному слову и къ познанію того, что стоитъ за предѣлами обыденной безсодержательной жизни.

Многочисленные научно-литературные труды составили Скальковскому доброе имя талантливаго работника, но его широкая популярность обосно-



К. Скальковский

¹⁾ «Новое Время», 7 мая 1906 г.

валась не на них главным образом. Ему дала ее его деятельность на поприще публицистики, в роли газетного сотрудника и автора многочисленных статей, очерков и замѣток, бойких, остроумных и повседневных, гдѣ ярко сказались его таланты хроникера русской и отчасти европейской жизни, — талант, равный которому по блеску и силѣ трудно указать въ нашей повременной печати.

Скальковский не былъ созданъ для такъ называемой нашей ежемѣсячной журналистики съ ея нѣсколько громаднымъ матеріаломъ и содержаніемъ, требующими отъ автора особой сноровки обобщения, гдѣ детальное и повседневное уступаетъ мѣсто общему и философско-идейному. Онъ былъ характернымъ представителемъ жизни данного момента и въ своихъ писаніяхъ, особенно относящихся къ восьмидесятымъ годамъ минувшаго столѣтія, съ особенною силою умѣлъ отражать то, чѣмъ интересовалась и волновалась широкая масса потребителей газетнаго листа. Прекрасный стилистъ, Скальковский подносилъ читателямъ свои произведенія въ легкой и красивой формѣ изложенія; человекъ рѣдкаго остроумія, онъ постоянно отвлекался отъ главнаго сюжета, его занимающаго, въ сторону полемики, вылазокъ въ станъ друзей и недруговъ, умѣя во-время и ловко сказать имъ колкое слово; ученый, обладающій феноменальною почти памятью, онъ постоянно пересыщалъ свои положенія экскурсіями изъ области столь хорошо ему знакомой исторіи, откуда онъ мастерски почерпалъ параллели, сравненія, указанія опыта и предостереженія былого; общественный дѣятель и работникъ на государственномъ поприщѣ, онъ умѣлъ извлекать изъ своего громаднаго запаса видѣннаго и пережитаго немало иллюстрацій для оживленія разрабатываемаго вопроса и создавать такимъ образомъ для него своего рода историческую рамку, изъ-за которой самый вопросъ получалъ особенную рельефность и причудливость освѣщенія. Онъ въ каждомъ своемъ очеркѣ былъ по преимуществу боевымъ писателемъ, своего рода литературнымъ дуэлистомъ, весело и небрежно помахивающимъ сатирическою рапирой въ увѣренности въ своей несомнѣнной побѣдѣ.

Согласно его автобіографическимъ запискамъ, вошедшимъ въ послѣднюю имъ изданную книжку «Воспоминанія молодости. По морю житейскому», литературныя наклонности сложились въ немъ еще въ дѣтскомъ возрастѣ, покойный публицистъ рано почувствовалъ необходимость дѣлиться съ окружающими письменнымъ словомъ. Фактически же, въ качествѣ профессиональнаго литературнаго работника, онъ выступилъ на журнальномъ поприщѣ, еще будучи студентомъ. Первые его произведенія появились въ нынѣ совершенно забытыхъ изданіяхъ — въ «Современномъ Словѣ» Писарева, «Разсвѣтѣ» Крепнина и «Модномъ Магази́нѣ». Затѣмъ онъ сталъ сотрудничать въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», «Голосѣ», «Новомъ Времени» Киркора; въ концѣ шестидесятыхъ годовъ онъ вступилъ въ составъ редакціи

«С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» Корша, гдѣ особенно сблизился съ А. С. Суворинымъ и В. П. Вуренинымъ и, по приобрѣтеніи первымъ изъ нихъ нынѣшняго «Новаго Времени», становится его постояннымъ сотрудникомъ. Нельзя не отметить, что газета А. С. Суворина, бесспорно, многимъ обязана талантливому инженеру-публицисту. Онъ первый завелъ здѣсь отдѣлъ «Среди газетъ и журналовъ» по примѣру «Figaro», послужившій прообразомъ для всѣхъ послѣдующихъ русскихъ газетъ. Онъ велъ этотъ отдѣлъ болѣе шести лѣтъ съ рѣдкимъ талантомъ и остроуміемъ, создавая здѣсь «направленіе» газеты, давая ей тонъ, привлекая отсюда ей единомышленниковъ и почитателей и нанося отсюда же ея идейнымъ противникамъ мѣткіе удары и пораженія.

Въ «Новомъ Времени» имъ была помѣщена масса руководящихъ статей по вопросамъ финансовымъ, экономическимъ, иностранной политики и др., вмѣстѣ съ тѣмъ фельетоновъ, замѣтокъ, біографическихъ очерковъ, характеристикъ современниковъ и сошедшихъ со сцены жизни государственныхъ и общественныхъ дѣятелей. Многие изъ этихъ статей, дополненные, переработанные и нѣсколько видоизмѣненные, вошли потомъ въ отдѣльно имъ изданныя книги, изъ которыхъ главнѣйшими могутъ считаться: «Вѣтшная политика Россіи и положеніе иностранныхъ державъ», «Современная Россія», «Наши государственные и общественные дѣятели», «Въ Парижѣ», «О женщинахъ», «Въ театральномъ мірѣ», «Воспоминанія, наблюденія и размышленія», «Тамъ и сямъ. Замѣтки и воспоминанія», «Сатирическіе очерки и воспоминанія», «Очерки и фантазіи», «Новая книга», «Маленькая хрестоматія для взрослыхъ», «Воспоминанія молодости».

Вспоминая въ своихъ запискахъ о своей литературной подготовкѣ, онъ свидѣтельствуетъ, что «политическая экономія и женскій вопросъ» его наиболѣе занимали на зарѣ юности. Къ этимъ категоріямъ вопросовъ впоследствии прибавился интересъ къ вопросамъ иностранной политики и театра. Въ каждой изъ этихъ категорій онъ оставилъ по себѣ очень замѣтный слѣдъ, являясь здѣсь работникомъ очень плодотивымъ, занимательнымъ, умѣвшимъ подходить къ темѣ съ совершенно оригинальной точки зрѣнія, порою въ роли «маленькаго Вольтера» съ насмѣшливой улыбкой на устахъ, порою въ роли баловня нашей общественной жизни, который съ наивною откровенностью оповѣщаетъ читателей о томъ, что другой на его мѣстѣ считалъ бы нужнымъ держать въ секретѣ по соображеніямъ личной заинтересованности. Его работы по вопросамъ иностранной политики ставятся высоко знатоками дѣла, особенно иностранцами, и здѣсь онъ являетъ собою типъ писателя, который не только добросовѣстно разрабатываетъ свой матеріалъ, но и дѣлаетъ это съ горячею любовью къ той странѣ, сыномъ которой онъ гордится быть. Онъ страстно любилъ Россію, но любовь его была не сентиментальная, не любовь краснаго патриота, патриота типа «шапками

закидаемъ, но вполне сознательная, которая руководится принципомъ: «кого люблю, того и бью». И онъ бичевалъ свою родину и въ ея настоящемъ, и въ ея прошедшемъ, оголяя ея дурныя стороны, смѣялся намъ ними, и не потому, чтобы этотъ смѣхъ доставлялъ ему удовольствіе самъ по себѣ, а потому, что автору хотѣлось видѣть родную землю и ея сыновъ совершенными и прекрасными.

Выступивъ подъ вліяніемъ главнымъ образомъ Жоржъ-Зандъ поборникомъ у насъ женскаго вопроса, онъ издалъ въслѣдствіи книгу, возбуждавшую такъ много разговоровъ, и благопріятныхъ, и неблагопріятныхъ по преимуществу для него, имѣвшую такой шумный успѣхъ, подъ заглавіемъ «О женщинахъ», первоначально подъ псевдонимомъ «Вопросительный знакъ». Въ этой книжкѣ Скальковскій относился къ женщинамъ насмѣшливо, мѣстами зло, и отсюда многіе заключили о его якобы женоненавистничествѣ.

На самомъ дѣлѣ это была лишь манера говорить, его обычная манера насмѣшливого и остроумнаго южанина обсуждать каждый вопросъ, за которой скрывалась его настоящая физиономія самаго страстнаго поклонника женщины. Скальковскій, говорившій въ печати прекрасному полу столько горькихъ истинъ, былъ по существу своему, и въ личной жизни, и въ литературѣ, настоящимъ трубадуромъ женщины, какъ созданія изящнаго, прекраснаго, посланнаго на землю для украшенія и на радость земной жизни человечества. Неможно сибаритъ и эпикуреецъ по своей природѣ, онъ вѣчно славилъ женщину, создавалъ ей пьедесталъ, къ подножію котораго склонялся съ восторгомъ и любовью. Отсюда, быть можетъ, происходила и его любовь къ театру и по преимуществу къ балету, этому царству женщины, гдѣ ей въ потокахъ свѣта и въ волшебной обстановкѣ суждено являться передъ зрителями во всей своей природной граціи и поэтической красотѣ.

Скальковскій былъ истинный театралъ, зналъ театръ, русскій и западно-европейскій, въ совершенствѣ понималъ сцену и въ своихъ писаніяхъ умѣлъ всегда отражать интересы театра и его представителей съ особенною любовью и умѣньемъ. «Еще на школьной скамьѣ я мечталъ быть театральнымъ критикомъ, — повѣствуетъ онъ въ книгѣ «Въ театральномъ мірѣ», — блаженнѣе этого состоянія я ничего не могъ себѣ представить. Понятно, что и критики въ моихъ глазахъ казались людьми избранными. Моя мечта осуществилась въ 1871 г., когда А. С. Суворину надоѣло писать въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» о французскомъ театрѣ и балетѣ, и покойный Корипъ, просилъ меня заняться этимъ дѣломъ. Занявшись французскимъ театромъ, пришлось писать и объ опереткѣ, тогда весьма модной. Во время издательства Баймакова я писалъ и о русскомъ театрѣ, французскою же сценою и балетомъ занимался болѣе двадцати пяти лѣтъ, посвящая иногда время и другимъ театральнымъ вопросамъ». Эта длительная связь съ театральными

міромъ позволила ему занять въ нашей литературѣ мѣсто виднаго театральнаго критика, а также историка театра и теоретика театральнаго дѣла.

Такова была въ общихъ чертахъ разносторонняя кипучая литературная дѣятельность покойнаго Константина Аполлоновича, создавшая ему въ нашей журналистикѣ имя популярнаго энциклопедиста, которому еще надолго суждено будетъ не исчезнуть изъ памяти потомства.

Характеризуя этого въ высшей степени своеобразнаго и самобытнаго представителя русской жизни, близко знавшаго его А. С. Суворинъ такъ говоритъ о немъ, о послѣднихъ дняхъ его жизни и о его отношеніяхъ къ нашимъ нынѣшнимъ жгучимъ событіямъ:

«Какъ собесѣдникъ, онъ былъ всегда интересенъ своимъ знаніемъ обыкновенной жизни и административной и своей начитанностью. Онъ былъ прямо увлеченъ по остроумію и юмору въ часы одушевленія и хорошаго расположенія духа. Кто его мало зналъ, того могли нѣсколько шокировать его холодные приемы, его иногда пренебрежительный, иногда насмѣшливый тонъ. Но хорошо знавшіе его могутъ представить множество доказательствъ его добраго и великодушнаго сердца. Ему часто платили зломъ за добро, часто клеветали на него самымъ беззастѣнчивымъ образомъ, но это одна изъ тѣхъ сторонъ нашей общественности, которая еще, вѣроятно, долго не исчезнетъ, и съ которою приходится мириться, скрѣпя сердце.

«Русской революціи онъ не ожидать. Еще на этихъ дняхъ онъ говорилъ мнѣ: «Если бы кто лѣтъ пять тому назадъ сказалъ мнѣ, что будетъ все то, что я видѣлъ и вижу, я бы никогда не повѣрилъ. О правительствѣ нечего толковать, я всегда считалъ его отпѣтымъ, но, хорошо зная всѣ недостатки общества, я все-таки думалъ, что оно не такое дряблосе и ничтожное, что оно за что-нибудь стоитъ, хоть за собственность, хоть за Россію, хоть за монархію. А и этого ничего нѣтъ. Безпастушье стадо. Гони, его куда хочешь». Онъ близко принималъ къ сердцу всѣ событія, страшно нервничалъ и негодовалъ. Во время японской войны сначала онъ поддавался надеждамъ, но потомъ въ его письмахъ попадаются рѣзкія характеристики главнокомандующихъ и генераловъ и полное отчаяніе. Но о портемутскомъ мирѣ онъ не могъ говорить спокойно. Онъ считалъ этотъ миръ позорнымъ и предсказывалъ революцію. Превосходно зная парламентскую жизнь Европы, справедливо одѣывая ея достоинства и недостатки, онъ оставался неизмѣннымъ поклонникомъ сильной власти. Какъ скоро сильной и талантливой власти нѣтъ, она немедленно переходитъ въ парламентъ, и парламентомъ овладеваютъ революціонные элементы. Особенно у насъ онъ боялся за такой оборотъ дѣла.

«Русскій человѣкъ до мозга костей, онъ ненавидѣлъ эту революцію, потому что она, по его мнѣнію, приведетъ Россію къ полному разложенію.

Отъ Россіи останется Московское государство временъ Ивана Калиты,—желчно говорилъ онъ.—При полной неспособности правительства,—продолжалъ онъ,—при его шатаніяхъ, при отсутствіи всякой системы, всякой твердой политики, которая видѣла бы хоть немного впередъ, хоть дальше своего носа, это очень возможно. Развѣ Николай угодникъ поможетъ. И его это мучило и отражалось на его здоровьѣ».

К. А. Скальковскій скончался 6-го мая 1906 г. скоропостижно. Похороны его состоялись 8-го мая на Александро-Невскомъ кладбищѣ.

М. П. СОЛОВЬЕВЪ. и С. И. КОССОВИЧЪ.

Изъ цензурнаго прошлаго.

Когда въ маѣ 1890 г. я принялъ отъ А. М. Евреиновой издательство журнала «Сѣверный Вѣстникъ», на меня сразу легла нелогичная задача выпуска запоздаваемаго № 5 книжки съ тѣмъ убогимъ литературнымъ матеріаломъ, который мнѣ достался въ послѣдствіе отъ старой редакціи. Кое-какъ необходимый номеръ былъ выпущенъ, а для июньской книжки я уже получилъ вѣковую возможность улучшить содержаніе журнала. Вотъ тутъ-то впервые мнѣ и пришлось ознакомиться съ мытарствами по цензурѣ и съ хожденіемъ по цензурѣ, въ роли редактора подцензурнаго изданія. Первое мое знакомство было съ цензоромъ П.—номъ, ставленникомъ всемогущаго тогда оберъ-прокурора синода, К. П. Побѣдоносцева. Собственно, журналъ состоялъ въ завѣдываніи нинѣ уже покойнаго цензора, Смарагда Игнатьевича Коссовича, но послѣдній находился въ отпуску, и П.—тъ временно правилъ его обязанности, а въ томъ числѣ читалъ и гранки подцензурнаго «Сѣвернаго Вѣстника». Не могу сказать, чтобы П. проявлялъ въ отношеніи журнала какую-либо особенную «строгость» или «немилость»; съ этой стороны редакціи не приходилось на него жаловаться, да, въ сущности говоря, къ тому не давалось и достаточныхъ поводовъ: матеріалъ, посылаемый на его утвержденіе, былъ довольно безобиднаго свойства даже для того ужаснаго времени, и въ немъ не содержалось ничего такого, что бы грозило какой-либо сторонѣ русской жизни и Русскаго государства опасностью и потрясеніемъ основъ. Правда, П. все же прохаживался красными чернилами по отдѣльнымъ фразамъ и словамъ, показывая свое служебное усердіе, но такъ, чтобы при его благосклонномъ участіи исчезали цѣлыя статьи или страницы произведеній или мѣнялся смыслъ писаннаго, такого случая въ нашей редакціонной практикѣ съ нимъ не встрѣчалось. Главное неудобство сношеній съ П. была его

в. в. глинскій.

ужасная тѣнь. Я торопилъ типографію, чтобы нагнать упущенное прежде время и поставить выходъ журнала въ норму (къ 1-му числу каждаго мѣсяца), но она, при всемъ напряженіи работы, не могла удовлетворить моему требованію, ссылаясь на полную невозможность для нея во-время получать отъ П. обратно посланный ему наборъ. Набранныя полосы валялись у него по нѣскольку дней, и тѣсно разсыльные типографіи путешествовали къ нему на Пески съ угла Казанской и Нового переулъка, гдѣ помещалась типографія покойнаго В. Ф. Демакова, печатавшая журналъ. Демаковъ прѣзжалъ ко мнѣ на Троицкую съ требованіемъ, чтобы я уже лично сдѣлалъ необходимое посѣщеніе П., грозя въ противномъ случаѣ запозданіемъ книжки. Приходилось подъ давленіемъ необходимости отправляться къ вершителю судебъ журнала и выпрашивать у него нужное ускореніе.

Изъ лѣтнихъ бесѣдъ съ П. я впервые фактически убѣдился, что для подцензурныхъ журналовъ законовъ о печати, какъ таковыхъ, въ сущности не имѣется, а все зависитъ отъ усмотрѣнія цензора и тѣхъ безчисленныхъ секретныхъ циркуляровъ, распоряженій и частныхъ указаній разныхъ министровъ, въ силу которыхъ цензорамъ предлагалось не пропускать въ подцензурной печати никакихъ не только неодобрительныхъ, но и просто критическихъ отзывовъ о дѣятельности и работъ подвѣдомственныхъ имъ учрежденій. Такъ, напримѣръ, въ силу указаній И. А. Вышнеградскаго, тогдашняго министра финансовъ, не допускалась въ подцензурныхъ органахъ правдивая критика его финансовой системы и его начинаній въ области заграничныхъ займовъ и отечественнаго денежнаго обращенія. Эта сторона русской жизни исключалась изъ журнальнаго обсужденія, и цензору дозволялось пропускать лишь тѣ статьи, гдѣ или шло изложеніе только самыхъ фактовъ, или гдѣ факты подносились читателямъ въ розовомъ освѣщеніи и подъ вывѣскою полного ихъ благополучія. Отсюда невозможно трудное положеніе и редакціи общественно-политическаго журнала, и сотрудниковъ, и, пожалуй, самого цензора, если только въ немъ соображенія служебной формальной дисциплины не совсѣмъ выходили изъ чувства совѣстливости. Публика жаловалась на редакцію за скудость сообщаемыхъ ей фактовъ и недостаточную полноту ихъ разработки, сотрудники не желали мириться съ искаженіями (порой до неузнаваемости!) ихъ работъ и избѣгали отдавать редакціи подцензурнаго журнала свои произведенія, редакція изнемогала, при такой невозможной постановкѣ издательскаго дѣла, въ борьбѣ и съ цензорскимъ терроромъ, и съ непріязненнымъ отношеніемъ литературной братіи, и съ равнодушіемъ публики. Получалось въ итогъ общее неудовольствіе, порождавшее въ литературной жизни совершенно непущное озлобленіе, горечь обиды и чувство возмущенія—съ одной стороны, и съ другой—выработавшее совершенно особенный и въ сущности очень тѣтворный способъ бесѣды съ читателями такъ называемымъ «эзоповскимъ языкомъ», т. е.

систему намековъ, междусточія, извѣстной недоговоренности, которая только дразнила умъ читателей и пріучала его искать во что бы то ни стало всюду тотъ смыслъ, который имъ былъ желателенъ и который имъ лично казался для даннаго случая наиболее законнымъ и подходящимъ. Въ исторіи русскаго просвѣщенія этотъ «эзоповскій языкъ» сыгралъ безусловно недобрую роль и пагубно отозвался какъ на качествѣ нашей культуры, такъ и на ея ростѣ и развитіи. Въ жизненный обиходъ были искусственно введены самой же администраціей начала завѣдомаго обмана, лжи и растлѣнія ума и совѣсти...

П—нъ былъ еще, пожалуй, однимъ изъ лучшихъ представителей дѣйствовавшей тогда системы; для него выше всего было соображеніе о томъ, какъ отнесется къ той или иной статьѣ его главный патронъ—К. П. Побѣдоносцевъ, и этого онъ не скрывалъ отъ меня въ своихъ бесѣдахъ. Иногда, задерживая гранки, онъ прямо такъ и мотивировалъ задержку: надо, молъ, справиться, какъ думаетъ или какъ поглядитъ на вопросъ оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода. Это было альфой и омегой всего его цензурскаго критерія. Не законъ, не правительственное распоряженіе являлось предметомъ его справки и дѣйствій въ данномъ случаѣ, а экскурсія въ область хода мыслей и движенія сердца всемогущаго сановника. Вслѣдствіе такой постановки вопроса печать какъ будто оказывалась не въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ дѣлъ, а святѣйшаго синода, и на Литейномъ проспектѣ, въ квартирѣ К. П. Побѣдоносцева, давалось главнымъ образомъ направленіе (формальное, конечно) журнальному слову; тутъ надъ нимъ произносился судъ и осужденіе.

Какъ сказано выше, съ П. можно было ладить, и, благодаря этому, мнѣ довольно легко удалось ввести въ журналъ совершенно новый отдѣлъ «Замѣтки и новости», долженствовавшій замѣнять собою тотъ отдѣлъ, который въ другихъ журналахъ шель подъ наименованіемъ «Хроники внутренней жизни» или «Общественной хроники». Дѣло въ томъ, что наличность такого отдѣла должна была создать журналу его, такъ сказать, общественное, политическое положеніе въ ряду другихъ собратьевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно утвержденной для «Сѣвернаго Вѣстника» программѣ, при его разрѣшеніи на изданіе А. М. Еврешиной, этотъ отдѣлъ не былъ допущенъ. Тѣсно домогалась бывшая издательница создать такую журнальную рубрику, ей этого не удавалось. Но вотъ, воспользовавшись одною фразою въ программѣ журнала, гдѣ упоминались слова «событія и новости», я обручилъ ее, и получилъ отдѣлъ подъ такимъ именно наименованіемъ, куда и стали помещаться фактическія свѣдѣнія о событіяхъ нашей внутренней и общественной жизни съ освѣщеніемъ и легкой критикой этихъ событій. То, чего добивалась бывшая издательница, дѣйствуя прямымъ путемъ, было достигнуто обходнымъ способомъ.

Когда П—нъ, получивъ гранки для просмотра, увидалъ тутъ новую рубрику, онъ не сразу ее пропустилъ. Пришлось ѣхать лично объясняться и доказывать ему, что съ моей стороны нарушенія программы нѣтъ, и что я дѣйствую вполне законно. По справкамъ съ имѣвшейся у него программой онъ увидалъ, что тамъ гдѣ-то стоятъ слова «извѣстія и новости», нашелъ это обстоятельство для меня съ формальной стороны благопріятствующимъ и разрѣшилъ новую рубрику. Волки оказались сыты, и овцы цѣлы. Такимъ-то труднымъ и мудреннымъ путемъ приходилось подцензурной печати добиваться права жизни! Имѣющійся налицо элементъ комизма, увы, отдавалъ въ тѣ дни для участниковъ событій драматизмомъ...

Вотъ по финляндскому вопросу съ П. столкнуться было невозможно. Статьи о Финляндіи П. М. (П. М. Майкова), нынѣ вошедшія въ его вышедшую въ 1906 г. книгу «Финляндія, ея прошлое и настоящее», возвращались послѣ цензурнаго просмотра въ совершенно окровавленномъ видѣ. Никакіе мои представленія и резоны не дѣйствовали на П., и онъ старательно въ каждой строчкѣ искалъ тенденцій сепаратизма и стремленія потрясать основы. Даже высочайшіе манифесты имъ не щадились: онъ прохаживался по нимъ красными чернилами или просто ихъ выкидывалъ.

— Что вы все говорите: «манифестъ», «высочайшія слова»,—мало ли что когда писалось и говорилось? Для одного времени это было хорошо, а теперь нныя вѣянія, нныя на сей предметъ соображенія. Вотъ, руководствуясь этимъ, я и не могу пропустить данной исторической ссылки.

— Врядъ ли, однако, цензурному вѣдомству даны уполномочія входить въ обсужденіе дѣйствій высочайшей власти? Манифестъ остается всегда манифестомъ.

— Ну, да, толкуйте. Вотъ вы бы поговорили по настоящему вопросу съ Константиномъ Петровичемъ, тогда бы и поняли значеніе историческихъ документовъ въ ихъ примѣненіи къ основамъ современной внутренней политики. Впрочемъ, если вы недовольны, просите главное управленіе о переѣмѣ цензора и жалуйтесь на меня.

— Помилуйте,—наивно расшаркивался я и спѣшилъ покинуть недовольнаго моими приставаніями цензора. Слово «жалуйтесь» было мнѣ тогда не ясно, и смыслъ его я понималъ лишь изъ поученій меня по сему предмету С. И. Коссовича, вернушагося осенью изъ отпуска.

С. И. Коссовичъ былъ оригиналомъ, какого рѣдко встрѣтишь въ жизни. Человѣкъ, несомнѣнно, большого ума и большой образованности, онъ подходилъ къ каждому вопросу съ точки зрѣнія житейской повседневной практики и въ данномъ случаѣ рисовался передъ собесѣдникомъ настоящимъ циникомъ. Онъ откровенно ставилъ точки надъ і, совершенно сбрасывая съ себя обычное чиновничье фарисейство и маску лицемерія. Его цензурскій символъ вѣры (искренно или неискренно, не берусь о томъ судить—

въ личной жизни я знакомъ съ нимъ не былъ) сводился къ слѣдующимъ положеніямъ: я—чиновникъ, получающій двадцатаго числа жалованье. Оно мнѣ нужно, какъ пропитаніе себя и моей семьи. Законовъ въ Россіи нѣтъ, а имѣются усмотрѣнія начальства, отъ кого и зависитъ мое двадцатое число. Его волю я долженъ чтить и исполнять, и чѣмъ я пунктуальнѣе исполняю эту волю, тѣмъ я становлюсь выше въ его глазахъ; на меня сы-



Смарагдъ Игнатьевичъ Коссовичъ.

плюютъ награды, изъясненія довольства и милости. Вы—литературный народъ, отданы намъ на расправу, и начальство довольно, когда мы съ вами круче расправляемся. Вы—враги этого начальства, и вотъ между нами и вами идетъ вѣчная борьба. Вы стараетесь обойти насъ, мы васъ ловимъ. Чѣмъ сильнѣе ваше пораженіе, тѣмъ славнѣе наша побѣда.

Съ октябрьской книжки Коссовичъ началъ тѣснить журналъ, и я пошелъ къ нему вечеромъ для личныхъ объясненій.

Онъ меня встрѣтилъ съ обычнѣйшимъ нѣсколько суетливой, угловатой вѣжливостью и съ мѣста началъ развивать свои любимыя положенія.

— Наступила осень, а тамъ недалеко и Рождество. Я человѣкъ семей-

ный. Къ тому же вопросъ о моей пенсiи не за горами, и не сѣдуетъ объ этомъ забывать. Жалуйтесь на меня председателю цензурнаго комитета, главному управленiю по дѣламъ печати.

— Помилуйте, зачѣмъ я буду вамъ дѣлать неприятности...

— Неприятности!—Коссовичъ даже подскочилъ на мѣстѣ.—Вы простите меня, жалобы на насъ, цензоровъ,—не неприятность, а величайшая намъ услуга и удовольствiе! Помилуйте, начальство узнаетъ о моей старательности, отличить, отмѣтитъ меня, а вы тутъ—«неприятность»!

Я нѣсколько оторопѣлъ передъ такой откровенностью.

— Васъ удивляютъ мои слова? Вотъ и видно новаго человѣка въ издательскомъ дѣлѣ. Я, бывало, когда цenzировалъ «Дѣло» при Станюковичѣ, то всегда рекомендовалъ ему на осень запастись для каждой книжки двойнымъ матеріаломъ. Какъ осень, и дѣло идетъ къ рождественской наградѣ, становлюсь безпощадно строгъ и мараю статью за статьей. Ну, а тѣмъ болѣе вы, господа издатели и редакторы, даете намъ къ тому достаточный поводъ. Вы, спасая знамя либерализма, стараетесь осенью передъ подпиской показать товаръ лицомъ, а мы, цензоры, стараемся тоже для дѣла передъ начальствомъ. Каждый изъ насъ дѣлаетъ свое дѣло, рассматривая это дѣло и толкуя его подъ разными углами зрѣнія.

— Этакъ съ двойнымъ-то матеріаломъ скоро и прогоршишь!

— Скажите, чѣмъ огорчили! Да вѣдь это намъ на руку. Начальство, повѣрьте, будетъ довольно: однимъ либеральнымъ органомъ печати меньше; это прямая цѣль и задача нашей внутренней политики—спасти отечество отъ тлетворнаго вѣянiя либерализма. Кромѣ того, смѣю вамъ указать: идете на борьбу, готовьте и оружіе; на милость и пощаду нашу рассчитывать, надѣяться обойти нашу бдительность—это уже плохое служенiе дѣлу. Тогда бросайте журналъ.

Въ своей циничной откровенности Коссовичъ находилъ какое-то особенное удовольствiе. Онъ, очевидно, просто иногда глумился надъ всѣмъ и вся—и надъ своимъ амбула бюстителя основъ, и надъ начальствомъ, какъ вершителемъ политики, и надъ собесѣдникомъ, который оказывался въ невѣдомыхъ ему какихъ-то путяхъ, изъ коихъ трудно было освободиться. Комизмъ положенiя доставлялъ ему особенное удовольствiе, и онъ тѣшилъ себя находженiемъ отгадокъ для разрѣшенiя жизненныхъ ребусовъ.

Въ журналѣ печаталась повѣсть М. Н. Альбова «Тоска», вещь талантливая, выдающаяся въ нашей литературѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣющая рѣшительно никакого отношенiя къ политическимъ и общественнымъ злобамъ дня. И вдругъ однажды разсылный приноситъ мнѣ изъ типографіи окровавленный листъ: Коссовичъ, стараясь передъ праздниками, ухитрился и въ беллетристикѣ М. Н. Альбова найти примѣсаніе своимъ черниламъ. Смотрю и не понимаю, въ чемъ дѣло. Иду объясняться.

— Помилуйте,—серьезно и взволнованно говорить мнѣ цензоръ,—дѣйствующее лицо, выходя изъ ресторана, въ коридорѣ откалывается канканъ! Вѣдь вамъ должно быть прекрасно извѣстно, что канканъ—танецъ, не разрѣшенный начальствомъ въ общественномъ мѣстѣ, и рестораторъ такого плясуна долженъ при содѣйствіи полиціи вывести изъ помѣщенiя. Пропуская этотъ пассажъ, я какъ бы санкціонирую незаконныя дѣйствiя, и читатели вашего журнала могутъ подумать, что отнынѣ всѣмъ и каждому разрѣшается танцевать въ общественномъ мѣстѣ канканъ.

Я прислулъ со смѣха, а Коссовичъ совершенно серьезно продолжалъ:

— А какъ вы думаете? На это обстоятельство не обратятъ развѣ вниманiя, и мнѣ это не будетъ поставлено на видъ? Непремѣнно: обо этомъ постараются.

— Кто?

— Кто? Сослуживцы. Вы думаете, у насъ служебнаго rivalité нѣтъ? Еще какой!

— Послушайте, Смарагдъ Игнатьевичъ, жалъ портить беллетристику, тѣмъ болѣе, что, благодаря сдѣланной вами выкидкѣ, получается неопредѣленность въ изложеніи и пробѣлъ. Мнѣ кажется, что герой Альбова не такъ уже виновенъ. Онъ, вѣдь, собственно не танцевалъ канкана, а такъ себѣ, сдѣлавъ всего нѣсколько па и сейчасъ же ушелъ изъ ресторана.

— А когда такъ,—съ живостью перебилъ Коссовичъ, прекрасно понявъ, что онъ перестарался въ своемъ циничномъ рвеніи,—дѣло мѣняется. Я согласенъ на уступку.

И онъ тутъ же зачеркнулъ свою помѣтку и ограничился лишь измѣненіемъ двухъ-трехъ словъ, благодаря которымъ порядокъ въ ресторанѣ не такъ уже нарушался.

Въ другой разъ онъ совершенно вычеркнулъ какое-то стихотвореніе не то К. Льдова, не то С. Фруга. Снова пришлось вступать въ объясненіе.

— Ничего не могу сдѣлать. Явный тенденціозный намекъ на нынѣшнее положеніе Россіи въ несочувственномъ правительству духѣ.

— Да въ чемъ же вы это видите? Вѣдь это чтеніе между строкъ, и чтеніе съ предвзятой точки зрѣнія.

— А какъ же иначе читать? Коли не читать между строкъ, то расплывается такая литература, что начальство только руками разведетъ. Наконецъ, если я буду читать лишь строки, то найдутъ, что у меня мало дѣла и навязать еще работы. Вотъ у меня имѣется доказательство моей усидчивости.

— Воля ваша, тутъ никакого намека нѣтъ, и идеи автора могутъ быть приложены не только къ Россіи, но и ко всякой странѣ. Можетъ быть, онъ даже заимствовалъ свои положенiя изъ какого-нибудь источника.

— Вотъ и прекрасно. Такъ и напишите: «сюжетъ заимствованъ» или «переводъ». Скажите,—откуда, и я вамъ пропущу это стихотвореніе.

Я замаялся, но Коссовичъ уже шелъ мнѣ на помощь.

— Видите ли: заимствованія и переводы съ французскаго, нѣмецкаго и англійскаго нетрудно проконтролировать, и мы, цензора, можемъ быть тутъ легко въ отвѣтъ, а вотъ заимствованіе... ну, съ американскаго или ирландскаго,—Коссовичъ лукаво вскинулъ на меня глазами,—этого никто не разберетъ, и останется лишь удивиться образованности автора, который знаетъ такіе языки, что станешь втупикъ, имѣются ли они въ дѣйствительности на земномъ шарѣ, или это плодъ его фантазій.

Выходъ былъ найденъ, и цензурная необходимость побудила пустить еще разъ въ оборотъ сомнительный пріемъ, рассчитанный на невѣжество русскаго человѣка и вводившій въ литературу *сознательный* элементъ лжи и лингвистическую несообразность.

Съ выходомъ первыхъ зимнихъ книжечекъ Коссовичъ сталъ первѣе и однажды черезъ посыльного типографіи попросить меня лично побывать у него вечеромъ.

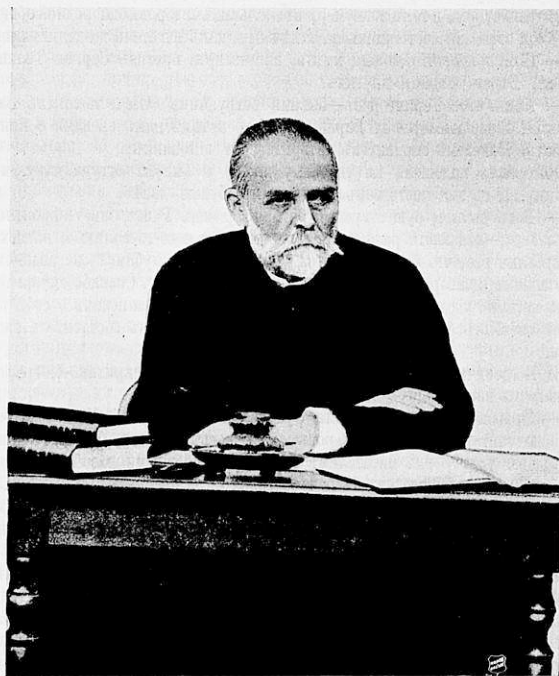
— Послушайте,—началъ онъ сразу свою бесѣду:—вы не можете сомнѣваться, что я вамъ лично желаю добра, но вмѣстѣ съ тѣмъ я долженъ предупредить, что журналу вашему грозитъ опасность. На него обращено вниманіе, и въ этомъ виноваты вы сами. Списокъ сотрудниковъ, обѣщанныхъ въ объявленіи, подборъ статей, крикливыя затѣяныя у васъ полемикѣ по необходимости заставляютъ меня быть особенно строгимъ и принять мѣры, чтобы какаѣ-нибудь случайность не причинила мнѣ, какъ цензору, по службѣ несправности. Долженъ вамъ конфиденціально сообщить, что главноуправляющимъ по дѣламъ печати получено отъ Константина Петровича Побѣдоносцева письмо, гдѣ онъ обращаетъ его вниманіе на вредное направленіе нашихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, да и вообще всей прессы. Въ письмѣ, правда, указаны пока только въ качествѣ явно неблагонамѣренныхъ журналовъ «Вѣстникъ Европы» и «Русская Мысль»; «Сѣверный Вѣстникъ» не названъ, но тотъ фактъ, что содержаніе письма намъ, цензорамъ, а въ томъ числѣ и мнѣ, сообщено, показываетъ, что главноуправляющій придаетъ этому письму серьезное значеніе и желаетъ, чтобы оно не оставалось безъ послѣдствій. Такъ вотъ-съ, имѣйте это въ виду и не удивляйтесь, если я буду очень требователенъ.

— Мнѣ кажется, что мы не даемъ особеннаго повода къ вашимъ неудовольствіямъ.

— Не о неудовольствіи идетъ рѣчь, а вотъ подборъ статей у васъ неподходящій. Что у васъ идетъ, напримѣръ, въ текущей книжкѣ?

Я перечислилъ заглавія статей и авторовъ.

— Ну-съ, вотъ видите: двѣ статьи, гдѣ въ заглавіи упоминается «народъ». Этого я допустить не могу, потому что это обратитъ на себя вниманіе. Можетъ быть, я и самыя статьи не пропущу,—тамъ видно будетъ,



Михаилъ Петровичъ Соловьевъ.

а пока что—измѣните заглавія, чтобы не бросалось въ глаза. Народъ теперь не въ авантажъ, и зра у насъ дворянская. Я съ этимъ долженъ считаться.

— Я долженъ сначала переговорить съ авторами ¹⁾.

¹⁾ Дѣйствительно, послѣдствіе этихъ переговоровъ С. Н. Терпигоревъ согласился переименовать первоначальное заглавіе своего разсказа, куда входило страш-

— Пожалуйста. Кроме того, имейте в виду, что вам не следовало бы пускаться в одном и том же номере нѣсколькихъ авторовъ однородной общественной окраски, состоящихъ на замѣчаніи, какъ писатели тенденціозные.

— Помилуйте, что можно имѣть, напримѣръ, противъ Сергѣя Терпигорева, Баранцевича и другихъ?

— Какъ что! Терпигоревъ—бывшій сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ», а что касается г. Баранцевича, то зачѣмъ намъ съ вами о немъ спорить? Наведемъ справку въ авторитетномъ источникѣ.

Коссовичъ подошелъ къ уголовому шкапу и вынулъ оттуда какую-то книжку. Я съ любопытствомъ слѣдилъ, что будетъ далѣе.

— Вотъ видите, существуетъ нѣкто, г. Семенъ Венгеровъ,—вѣроятно, его знаете,—издающій разные словари, гдѣ для чего-то валить о живыхъ писателяхъ все, что ему вздумается. Нужно ли это публикѣ, не знаю-съ, а вотъ намъ, цензорамъ, онъ оказываетъ добрую услугу. Спасибо ему за то. Такъ вотъ, не угодно ли послушать, что и самъ г. Баранцевичъ о себѣ въ своей автобіографіи повѣствуетъ, и что говорить о немъ составитель словаря.

И Коссовичъ громко прочелъ нѣсколько цитатъ изъ критико-біографическаго словаря.

— Драгоценное указаніе для руководства цензорамъ! Мы съ этимъ должны считаться, и г. Венгеровъ оказываетъ, конечно, безсознательно медвѣдью услугу г.г. писателямъ своими откровенными разоблаченіями.

Въ 1891 г. я волею судебъ распростился съ «Сѣвернымъ Вѣстникомъ», покинувъ и издательство, и редактированіе его, а съ тѣмъ вмѣстѣ прекратились и мои встрѣчи съ Смарагдомъ Игнатьевичемъ Коссовичемъ. Только черезъ восемь лѣтъ пришлось съ нимъ снова свидѣться, когда онъ уже занималъ мѣсто председателя цензурнаго комитета, т.-е. когда онъ являлъ собою въ нѣкоторомъ родѣ то самое начальство, которое въ былые годы выставлялъ такимъ пугаломъ для подцензурной печати. Это столь сравнительно недавнее время было любопытнымъ временемъ, когда во главѣ вѣдомства управленія дѣлами печати стоялъ совершенно ненормальный субъектъ, создававшій страшную путаницу въ издательскомъ дѣлѣ, проявлявшій на каждомъ шагѣ слѣды своей невѣжливости, и, тѣмъ не менѣе, вмѣсто психиатрической лечебницы на положеніи больного, былъ облеченъ властью вершить и править дѣломъ русскаго просвѣщенія. Покойный Михаилъ Петровичъ Соловьевъ, рѣчь идетъ о немъ,—получилъ мѣсто главноуправляющаго по дѣламъ печати, благодаря рекомендаціи и про-

ное слово «народъ», и окрестить разсказъ наименованіемъ «Великая загадка», причѣмъ по требованію Коссовича разсказъ пришлось отложить до апрѣльской книжки, вмѣсто мартовской, въ которую онъ предназначался. Б. Г.

тектіи К. П. Побѣдоносцева, который такимъ образомъ и поставилъ его на столь отвѣтственное мѣсто при покойномъ министрѣ внутреннихъ дѣлъ Сипягинѣ. Соловьевъ служилъ въ военномъ вѣдомствѣ по юрисконсультской части, былъ, по слухамъ, довольно плохимъ кристомъ-чиновникомъ, но зато пользовался извѣстностью въ ультра-консервативныхъ кругахъ, какъ представитель строгаго благочестія, вполне опредѣленныхъ монархическихъ взглядовъ и какъ знатокъ церковной литературы и церковной живописи. Дѣйствительно, по своей природѣ покойникъ Соловьевъ былъ человѣкъ неглупый, обладалъ несомнѣннымъ художественнымъ талантомъ¹⁾ и артистическимъ чутьемъ, любилъ русскую литературу, зналъ ее и самъ владелъ бойкимъ перомъ. Но когда судьба послала ему выдающийся постъ въ нашей администраціи, онъ былъ уже совершенно больнымъ человѣкомъ, истерическимъ, желчнымъ и озлобленнымъ. Онъ не понималъ новаго назначенія, истолковалъ свое служебное амплуа, не какъ блюстителя опредѣленныхъ законоположеній и администратора вѣдомства съ строго очерченными кругомъ дѣйствій, а пожелалъ явиться въ роли руководителя русской литературы въ прямомъ смыслѣ этого слова и вершителя ея культурныхъ и политическихъ задачъ. Отсюда получилась страшная путаница, обогатившая бюрократическую лѣтопись немалымъ числомъ страницъ характера и комическаго и драматическаго, эпизодами возмутительнаго беззаконія и правонарушеній.

Въ русской жизни можно неоднократно наблюдать удивительно курьезное явленіе: люди на какомъ-нибудь поприщѣ выставляютъ совершенно опредѣленные цѣли достиженія, и что же получается въ результатъ? Сплошь и рядомъ этотъ результатъ оказывается въ полномъ противорѣчій съ намѣченными начинаніями. Сановникъ, шумно поднимающій въ своемъ вѣдомствѣ гоненіе противъ взяточничества, противъ немыслимаго роста личнаго состава вѣдомства, противъ распущенности и рутинерства, въ концѣ концовъ плодитъ именно это взяточничество, доводитъ именно личный составъ служащихъ до невѣроятнаго размѣра и вноситъ въ жизнь именно мертвечину и безличіе. Несуразная русская дѣйствительность реагируетъ, очевидно, на бюрократическія начинанія, какъ бы благи они ни были, совершенно особенно, обратно пропорціонально заданію, и въ результатъ все выходитъ шиворотъ-навыворотъ.

То же случилось и съ Соловьевымъ. Я не пишу ни его біографіи, ни подробныхъ воспоминаній о немъ—для того у меня нѣтъ въ распоряженіи матеріаловъ, да, кромѣ того, это и не входитъ въ задачи настоящаго очерка. Замѣчу лишь, что Соловьевъ съ какою-то роковою послѣдовательностью достигалъ результатовъ, обратныхъ всѣмъ своимъ первоначальнымъ стремле-

¹⁾ Кажется, имъ были подготовлены очень интересныя и прекрасно выполненныя иллюстраціи для Библіи. Б. Г.

няймъ. Вступивъ въ управление вѣдомствомъ послѣ долголѣтняго пребыванія здѣсь недоступнаго и олимпійски-сановнаго Е. М. Θεоктистова, онъ сразу всколыхнул образовавшіяся за многіе годы стоячія воды дѣла управления печати. Появились вдругъ сразу столь долго не разбравшіеся органы прессы, но ихъ жизнь была коротка, и тотъ же Соловьевъ, ихъ разбравшій, ихъ же спѣшилъ хоронить. И совершалось это не въ силу какихъ-либо измѣнившихся общихъ условий жизни, нѣтъ, все дѣлалось по его личной инициативѣ, по его произволу и полному непониманію и незнанію и того дѣла, къ которому онъ былъ приставленъ, и той среды, съ которой пришлось встрѣтиться его самодурству. Начавъ войну съ либерализмомъ во славу охранительной печати, онъ либерализма не поборолъ, но увлекъ въ стремительный потокъ и въ пучину именно ту самую печать, которую стремился возвеличить. Разгромъ «Русскаго Вѣстника» того времени былъ дѣломъ его рукъ. Стремясь улучшить составъ ответственныхъ редакторовъ, онъ вдругъ откуда-то извлекалъ совершенно непричастныхъ литераторъ и лицъ и приказывалъ издателямъ давать этимъ лицамъ редакторскія мѣста, при чемъ самъ же фиксировалъ и ихъ содержаніе. Печальной памяти г. Головинскій, напримѣръ, былъ креатурою Соловьева и былъ извлеченъ имъ изъ нѣдръ института земскихъ начальниковъ. Тутъ оказался весь бюрократическій складъ ума начальника управленія. Живое дѣло литературы сводилось имъ къ механическому производству, а воля начальства могла, по его мнѣнію, какъ будто вливать въ человека тѣ способности и таланты, которыхъ у него не было въ наличности.

Послѣдствія были печальныя: народился фаворитизмъ, создалось замаскированное лихоимство, и надъ всѣмъ и всл воцарился ужасающій произволъ. Ставленники Соловьева залускали руки въ издательскія кассы, а издатели, вѣчно угрожаемые редакторскимъ шантажнымъ «не позволяю», начали закрывать свои изданія, лишь бы освободиться отъ чиновниковъ-редакторовъ. Соловьевъ объявилъ войну беззаконію и поправъ всяческіе законы. Онъ читалъ наставленія редакторамъ, какъ нужно руководить органами печати, издателямъ, какъ слѣдуетъ издавать, литераторамъ, что и какъ писать, и въ концѣ концовъ, гоняясь за призрачными цѣлями, созданными его болыною фантазій, совершенно дискредитировалъ то вѣдомство, во главѣ котораго былъ поставленъ, и то дѣло, которымъ долженъ былъ править. Въ его кабинетѣ происходили совершенно комическія сцены. Онъ оскорблялъ своихъ собесѣдниковъ, а тѣ его, онъ кричалъ, и на него кричали, онъ самъ падалъ въ обморокъ, просители тоже, курьеры бѣгали и носили стаканы съ водой, какъ своему начальнику, такъ и его посѣтителямъ. По городу разносились всякія слухи, анекдоты и слухи...

Все это было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно.

Грустно за русскую государственность, за русскую культуру, за русскую прессу...

И вотъ въ разгаръ самодурства Соловьева мнѣ пришлось съ нимъ познакомиться и опять-таки при посредствѣ моего былаго знакомаго, Смарда Игнатьевича Коссовича. Дѣло произошло такъ. Во второй половинѣ девяностыхъ годовъ я помѣщалъ почти въ каждой книжкѣ «Историческаго Вѣстника» по статьѣ, а иногда и по двѣ, по три. Писалъ я много и по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, за своею подписью и подъ разными инициалами, и любезный редакторъ гостепріимно давалъ мнѣ мѣсто въ журналѣ, зная, что я нуждаюсь въ работѣ и заработкѣ, а также былъ въ состояніи исполнить самыя спѣшныя его заказы въ самое короткое время. Прихожу я однажды въ редакцію для обсужденія темы текущаго очерка. С. Н. Шубинскій показываетъ мнѣ наборъ статьи г. Викторова о Вакунинѣ, не пропущенной ранѣе въ какомъ-то другомъ журналѣ цензурою и предоставленной авторомъ въ полное распоряженіе «Историческаго Вѣстника». Статья лежала въ редакціи давно, и редакторъ рѣшилъ попробовать напечатать эту рукопись, въ связи съ нѣкоторыми другими архивными матеріалами, также поступившими къ тому времени въ портфель редакціи на ту же тему. Я взялся сдѣлать эту попытку и предлагая свои услуги по обработкѣ матеріала, но осторожности ради было рѣшено, что я предварительно схожу въ цензурный комитетъ и нащупаю почву: какъ, молъ, встрѣчена будетъ тамъ статья о Вакунинѣ, и не подвергнется ли она вырѣзкѣ, что для журнала, хотя и безцензурнаго, всегда грозитъ значительнымъ убыткомъ и разстройствомъ правильности его выхода.

И вотъ я снова предсталъ передъ Коссовичемъ, бывшимъ тогда уже председателемъ цензурнаго комитета послѣ смерти Е. А. Кожухова, и снова, какъ во время оно, услышалъ его бравурныя откровенныя рѣчи на цензурныя темы. Встрѣтилъ онъ меня очень хорошо, какъ стараго знакомаго, сказалъ мнѣ нѣсколько лестныхъ словъ по поводу моей дѣятельности въ историческомъ журналѣ, за которымъ, какъ оказалось, онъ довольно внимательно слѣдилъ. Узнавъ затѣмъ о причинѣ моего прихода, заерзалъ на стулѣ и стремительно заговорилъ:

— Печатайте, а тамъ видно будетъ. Можетъ быть, пройдетъ, а можетъ быть, и нѣтъ. Я заранѣе ничего сказать не могу. Я журналовъ по долгу службы не читаю, да и цензурскія обязанности теперь не на мнѣ лежать, такъ что предвидѣть будущее не могу.

— Ну, рисковать намъ не хочется. Это и убыточно, какъ для меня, автора, такъ и для издателя. Мнѣ хотѣлось бы знать лишь ваше принципиальное мнѣніе: можно говорить теперь въ историческомъ журналѣ о Вакунинѣ, или нѣтъ, вѣдъ вопроса объ освѣщеніи вопроса.

— И на это ответить не могу. Это дело высшей политики, а она дается в главном управлении по делам печати. Сходите туда и поговорите. Вы знакомы с нынешним начальником?

— Нѣтъ, не имѣлъ случая встрѣчаться.

— Вот и кстати. Преюбопытный типъ. Слышали, небось, немало про него, а теперь воочию увидите. Онъ человекъ, между нами говоря, въ полномъ смыслѣ слова невмѣняемый, прямо-таки ненормальный. Поэтому-то я и не могу лично ничего сказать по вопросу, вами возбужденному. У Михаила Петровича семь пятниц на неделе. Это не то, что при Θεоктистовѣ. Тамъ все было, хотя и жестко, но ясно и опредѣленно, что можно, что нельзя, насколько можно, насколько не дозволено. Тутъ же ничего не разберешь! Нѣтъ, ужъ сходите и поговорите сами, и коли будетъ не трудно, зайдите обратно сообщить, что вамъ тамъ сказали. Приходите для дальнѣйшихъ соображеній.

Я поблагодарилъ за указаніе и уже выходилъ изъ кабинета, какъ Косовичъ снова вернулъ меня и пониженнымъ конфиденціальнымъ тономъ замѣтилъ:

— Только вотъ что. Вы простымъ согласіемъ не удовлетворяйтесь, а попросите его превосходительство сдѣлать на вашихъ документахъ отмѣтку, что, такъ-то и такъ-то, препятствій съ его стороны къ напечатанію не встрѣчается.

Я улыбнулся.

— Да-съ, такъ-то будетъ спокойнѣе и вѣрнѣе, а то Соловьевъ своего слова держать не умѣетъ, и можетъ легко случиться, что отречется завтра отъ того, что сказалъ вамъ сегодня. Имѣйте это въ виду.

Я отправился въ главное управление, благо день у начальника былъ пріемный. Просителей оказалось, на мое счастье, немного, и я скоро удостоился быть принятымъ въ кабинетъ его превосходительства. Это было въ своемъ родѣ новшествомъ въ учрежденіи. Покойный Θεоктистовъ величественно выходилъ въ пріемную и, не подавая никому руки, поочередно лишь обходилъ, въ сопровожденіи своего секретаря, просителей; Соловьевъ оказался болѣе доступнымъ, попросилъ сѣсть и внимательно слушалъ, по какому дѣлу я пришелъ. Пока я говорилъ, на его болѣзненномъ, нервномъ лицѣ пробѣгали какъ будто легкія судороги, и губы кривились въ желчную улыбку.

— Вы пожаловали съ вѣдома Смарагда Игнатьевича? Самъ-то онъ не рѣшился дать указанія?

— Повидимому, нѣтъ.

— Удивительно! О какомъ-то Бакунинѣ поднимается вопросъ! Да вамъ зачѣмъ понадобилось о немъ писать?

— Въ редакціи имѣется матеріалъ, его надо исчерпать. Онъ освѣ-

щаетъ любопытный вопросъ о бѣгствѣ изъ Россіи важнаго политическаго агитатора при содѣйствіи самой администраціи.

— Что же тутъ удивительнаго? У насъ всегда такъ, по-родственному, ради родни готовы всю Россію продать. Да въ сущности, пожалуй, Муравьевъ хорошо и сдѣлалъ въ данномъ случаѣ. Однимъ негодиемъ стало у насъ меньше. Вообще что такое Бакунинъ? Гнилой вередъ на здоровомъ тѣлѣ Россіи. Онъ и лопнулъ гдѣ-то тамъ, въ Швейцаріи, заливъ Европу гнилью. Вы что же собираетесь апологию писать его политическимъ идеаламъ?

— Нѣтъ, я въ разборъ и изложеніе его ученія входить не собираюсь. Я имѣю въ виду лишь біографическій и фактический матеріалъ.

— Будь я редакторомъ журнала, я бы не сталъ печатать такого матеріала, потому что не вижу въ немъ интереса. Какой интересъ можетъ быть въ Бакунинъ? Никакого рѣшительно. Другое дѣло—Герценъ. Это былъ человекъ серьезный, крупнаго таланта, вліятельный и увлекательный. Онъ можетъ быть опасенъ и о сѣ пору. А Бакунинъ... Пишите о немъ сколько угодно. Для Россіи Бакунинъ никакого значенія имѣть не можетъ. Ея здравого организма проповѣдь анархій и социальной революціи не заразитъ. Скажите, пожалуйста: вы гдѣ обыкновенно пишете?

Я назвалъ «Историческій Вѣстникъ».

— А, какъ же, встрѣчалъ вашу подпись, встрѣчалъ. Вы что-то писали недавно о провинціальной печати и издали какую-то программу собранія свѣдѣній?

— Да, ваше превосходительство, въ январской книжкѣ журнала была напечатана моя статья «Русская періодическая печать въ провинціи», а въ февралѣ я помѣстилъ «Письмо къ издателямъ, редакторамъ и сотрудникамъ провинціальныхъ изданій» съ просьбою дать свѣдѣнія о провинціальныхъ газетахъ. Мнѣ хотѣлось бы добавить свою статью свѣжими полученными свѣдѣніями изъ первоисточниковъ, съ мѣста, и составить такимъ образомъ цѣлое изслѣдованіе о печати въ провинціи. Для этого уже настала пора.

— Что жъ, въ добрый часъ! Провинціальные газеты это болѣзное мѣсто въ русской литературѣ, и мѣсто очень нездоровое. Постановку дѣла провинціального издательства надо радикально реформировать. Конечно, о всеобщей безцензурности тамъ рѣчи быть не можетъ. Это значить искусственно создавать очаги нигилизма и революціонной пропаганды, но вотъ составъ этой печати необходимо улучшить.

Я насторожился. Заявленіе начальника главнаго управленія было оригинально и, повидимому, обѣщало какіе-то откровенности.

— Да, улучшеніе состава—это очередной вопросъ,—продолжалъ онъ съ живостью.—Помилуйте, въ чьихъ рукахъ въ провинціи газеты? Чортъ знаетъ, кто является издателями газетъ, напримѣръ, въ Сибирѣ, а настоящіе писатели у нихъ въ подчиненіи. Такъ дѣло не можетъ стоять: журнали-

стика должна принадлежать журналистам, а не спекулянтам. Затѣмъ всѣ эти маскарады съ подставными редакторами и даже издателями! Что это такое? Это не можетъ быть терпимо и, если вы по вашей программѣ выложите всю картину дѣла, окажете большую услугу дѣлу русскаго просвѣщенія.

— Я боюсь, что мое «Письмо» не дастъ желанныхъ результатовъ, и я не получу всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній. Русскій человѣкъ тяжелъ на подъемъ. Другое дѣло, если бы мнѣ позволено было поработать въ архивѣ главнаго управленія по дѣламъ печати,—рѣшился я прибавить, видя, что его превосходительство обрѣтается въ добромъ настроеніи духа.

— Что жъ, съ Богомъ! Я ничего не имѣю противъ этого. Своей властью я, положимъ, разрѣшить вамъ просимаго не могу, надо доложить министру. На этой недѣлѣ я сдѣлать доклада не успѣю, а на будущей недѣлѣ общаюсь. Подайте прошеніе. Быть можетъ, не всѣ дѣла вамъ можно будетъ показать. Нѣкоторыя за послѣдніе годы, пожалуй, и нельзя, но... впрочемъ, чего таиться! Пользуйтесь и ими.

М. П. Соловьевъ, повидимому, готовъ былъ раздавить меня своимъ великодушіемъ, и я начиналъ чувствовать себя на седьмомъ небѣ. Мнѣ уже начинало казаться, что всѣ слухи о Соловьевѣ просто сплетни, и что онъ далеко не тотъ, каковымъ его рисовали.

Моя аудіенція была кончена. Соловьевъ всталъ съ кресла и милостиво протянулъ мнѣ руку.

— Позвольте еще обезпечить ваше превосходительство. Вы разрѣшили опубликовать матеріалы, касающіеся Вакунина. Во избѣжаніе недоразумѣній съ цензоромъ и цензурнымъ комитетомъ не откажитесь вотъ на этихъ гранкахъ сдѣлать помѣтку, что съ вашей стороны препятствій не встрѣчается по существу вопроса. И Смарагда Игнатьевичъ будетъ болѣе спокоенъ.

Легкая судорога пробѣжала по нервному лицу Михаила Петровича, и я чувствовалъ, что благополучному исходу моей миссіи грозитъ печальный конецъ, но, видимо, день для меня былъ счастливый: лицо начальника снова приняло спокойное выраженіе, на губахъ заигрывала саркастическая улыбка, и, взявъ со стола перо, онъ сдѣлалъ просимую отмѣтку.

— Покажите Коссовичу. Пусть успокоится: я Вакунина не боюсь! Да не задерживайте и прошенія о занятіяхъ въ архивѣ, только не забудьте приложить къ прошенію двѣ марки. Безъ этого не полагается движенія бумагъ.

Я откланялся и вышелъ отъ Соловьева сіяющимъ. Прошеніе я написалъ тутъ же въ канцеляріи, подаль его въ надлежащемъ порядкѣ съ марками и поспѣшилъ къ Коссовичу доложить о результатѣ моего свиданія съ начальникомъ главнаго управленія.

— Ну, вамъ повезло, и вы попали въ удачный моментъ,—замѣтилъ Коссовичъ, по выслушаніи моего повѣствованія.—А какъ вы самого-то нашли?

— Повидимому, интересный субъектъ, нервный очень, но все ли правда то дурное и анекдотичное, что о немъ рассказываютъ?

Коссовичъ, по всей вѣроятности, ожидавшій отъ меня какого-нибудь «крылатого слова» по адресу его «начальства», остался какъ будто недоволенъ моимъ отвѣтомъ. Онъ немного помолчалъ и затѣмъ, протягивая руку на прощаніе, замѣтилъ:

— Вакунина-то вы, конечно, напечатаете. Отмѣтка Михаила Петровича на гранкахъ имѣется, и тутъ ужъ отбой бить нельзя, а вотъ насчетъ занятій въ архивѣ—это, простите меня за откровенность, пустая фантазія.

— Почему? Вѣдь Соловьевъ такъ охотно пошелъ навстрѣчу моему ходатайству?

Коссовичъ «поглядѣлъ лукаво и головою покачалъ»:

— Поживемъ—увидимъ.

Больше мнѣ ни съ Коссовичемъ, ни съ Соловьевымъ встрѣчаться не пришлось, хотя я нѣсколько разъ и заходилъ потомъ въ главное управленіе по дѣламъ печати справиться о судьбѣ моего прошенія. Оно кануло въ воду; отвѣта ни отъ кого никакого не послѣдовало, и мои двѣ гербовыя марки пропали даромъ. Разрѣшенія на занятія въ интересномъ архивѣ я не получилъ, и мои благія намѣренія объ изображеніи исторической судьбы провинціальной печати такъ и канули въ лету. Коссовичъ оказался хорошимъ пророкомъ. Мало того. Черезъ нѣкоторое время въ главное управленіе поступилъ запросъ отъ одного вѣдомства относительно вышедшей тогда моей новой книжки для юношества «Царскія дѣти и ихъ наставники». Соловьевъ лично написалъ рецензію на эту книжку и при томъ въ неблагоприятномъ для меня направленіи, гдѣ старательно отмѣтилъ ея недостатки, авторскіе промахи и неудовлетворительный характеръ, какъ самостоятельнаго ученаго изслѣдованія, и направилъ рецензію въ официальныя сферы. Обыкновенно спеціальныя отзывы, когда въ нихъ встрѣчается официальная надобность, составляются въ «ученомъ комитетѣ», гдѣ, однако, о той же книжкѣ, когда я ее туда представилъ, былъ данъ отзывъ иного рода, благодаря чему она и допущена была въ библиотеки средне-учебныхъ заведеній. Соловьевъ оказался, однако, строже комитета и большимъ блюстителемъ «научной правды». Онъ и въ настоящемъ случаѣ понялъ свое положеніе совсѣмъ по-своему—какъ руководителя науки и литературы, и нашелъ у себя даже настолько свободнаго времени, чтобы написать рецензію на книгу второстепеннаго значенія, причемъ моментъ писанія для меня, какъ автора, подвернулся неудачный. Какъ съ легкимъ сердцемъ онъ разрѣшилъ мнѣ занятія въ архивѣ, такъ съ такимъ же легкимъ сердцемъ бросилъ мнѣ подъ ноги бревно. Очевидно, въ послѣднемъ случаѣ больная печень не давала ему покоя...

Г. И. УСПЕНСКИЙ.

Тяжкая боль, постигшая Глѣба Ивановича Успенскаго въ началѣ 90-хъ годовъ, о которой по временамъ оповѣщала читателей періодическая печать, не давала никакой надежды, чтобы онъ могъ оправиться и стать снова въ передніе ряды русскихъ литературныхъ дѣятелей. Успенскій въ извѣстномъ смыслѣ былъ заживо погребенъ уже давно, и даже близкіе къ нему люди, его товарищи въ жизни и литературѣ, какъ, напримѣръ, Н. К. Михайловскій, не считали нужнымъ въ своихъ журнальныхъ беседахъ о дорогѣ имъ больному обходить молчаніемъ его недугъ и безнадежность положенія. Такъ, въ очеркѣ «Литература и жизнь», когда горестные дни Успенскаго въ больницѣ Ново-Знаменской дачи еще не погасли, Михайловскій, обнародывая интересные матеріалы для биографіи своего друга, говоритъ: «Къ сожалѣнію, невозможно дать портретъ, передающій всѣ яркія краски этого удивительнаго лица. И не потому, что оригиналь еще живъ. «Сидѣть погасъ», какъ выразилась не помню какая газета, сообщая о психической болѣзни Успенскаго. Теперь это выяснилось окончательно и безповоротнo, и онъ не прочтеть этихъ строкъ». Это было напечатано въ мартовской книжкѣ «Русскаго Богатства», а черезъ нѣсколько дней по выходѣ ея газеты принесли въ траурной рамкѣ печальную вѣсть: 24-го марта 1902 г., въ девять часовъ сорокъ пять минутъ вечера Глѣба Ивановича Успенскаго не стало—онъ скончался, не приходя въ сознаніе, въ психиатрическомъ заведеніи Ново-Знаменской дачи.

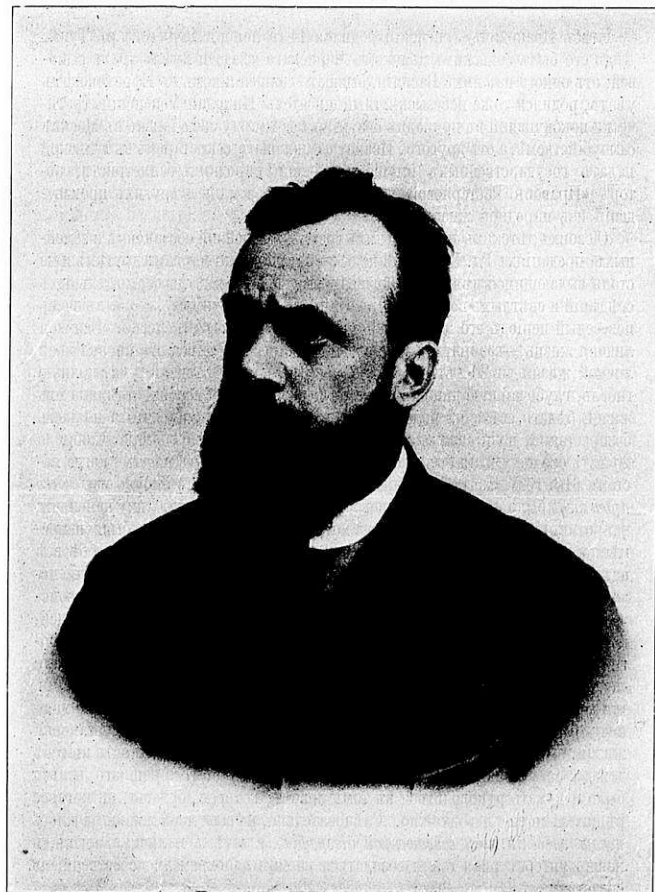
Настоящее траурное оповѣщеніе газетъ отозвалось щемящей болью въ общественномъ сознаніи, воскресивъ въ памяти очень тяжелую душевную драму въ жизни выдающагося русскаго человѣка послѣдней четверти девятнадцатаго вѣка. Отъ Успенскаго мысль переносилась къ другимъ, схожимъ съ нимъ во многихъ чертахъ дѣятелямъ отечественной литературы, и изъ-за

тумана времени вырисовывались невольно скорбные образы Гоголя, Вс. Гаршина, отчасти и Достоевскаго и тѣхъ другихъ, но особенно первыхъ двухъ, жизнь которыхъ погасла при аналогичной психиатрической наличности. Жутко становилось за литературу, выдающуюся дѣятели которой, отмѣченные печатію высокой даровитости, окапчиваютъ безвременно свой вѣкъ при столь трагической обстановкѣ, гдѣ мысль и чувство не выдерживаютъ борьбы съ суровой дѣйствительностью и болѣзненно погасаютъ, оставляя по себѣ въ обществѣ слѣды глубокой тоски и скорби. Это обстоятельство какъ бы бросаетъ густую тѣнь на всю нашу литературу, лишая ее той жизнерадостности, къ которой насъ въ свое время призывали наши повзвѣнченные пророки. Да, въ той литературѣ, гдѣ Гоголи, Гаршины, Успенскіе такъ печально кончаютъ свой вѣкъ, повидимому, нѣтъ мѣста «заздравной пѣснѣ Ваха»,—этой литературѣ не до жизнерадостнаго смѣха и веселія, и задачи ея иные, чѣмъ это кажется безшабашнымъ проповѣдникамъ чистаго и дѣланнаго искусства. *Подвигъ* во имя счастья близкихъ, во имя народа, во имя всего человѣчества—вотъ тѣ задачи, которые, несомнѣнно, проникаютъ творческую дѣятельность всѣхъ названныхъ выше корифеевъ русской литературы. Пусть этотъ подвигъ каждымъ изъ нихъ понимается и истолковывается разнo, пусть будетъ такъ, но намъ важно лишь отмѣтить самое исканіе этого подвига, безпрестанный стремленіе къ нему и указаніе его. Понятно, что чѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ напряженнѣе стремилась мысль писателей къ этому подвигу, тѣмъ болѣе встрѣчалось имъ на пути преграды и препятствія, а отсюда вполне естественно вытекаетъ и обостренность борьбы съ этими препятствіями и страстность желанія скорѣе устранить и превозмочь ихъ. Но жизнь не такъ-то легко поддается воодѣйствию единичныхъ борцовъ, единичныхъ лицъ: хаотическая, косная и громоздкая, она угловато отталкиваетъ на первое время отъ себя своихъ учителей и пророковъ, наноситъ имъ подчасъ жестокія раны, отъ коихъ они истекаютъ кровью, поливая ею путь для счастья грядущихъ поколѣній...

Отходящій отъ насъ писатель тоже изошелъ еще при жизни весь кровью, которую капля за каплею ронялъ на своемъ литературномъ пути, стражая всю свою жизнь, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, за счастье простаго народа, который былъ азѣвою и омегою всей его дѣятельности, всего напряженнаго хода его мысли и тяжкихъ думъ. И чѣмъ напряженнѣе становилась эта мысль, чѣмъ глубже уходила она въ современность народнои жизни, тѣмъ болѣе разладъ видѣлъ онъ между своими стремленіями, исканіями и хотѣніями и этой самой современностью, тѣмъ жестче становилась она къ нему, тѣмъ болѣе глубокия раны она ему наносила. Сочинившіяся раны несли съ собою страданія, ужасныя страданія, подъ тяжестью которыхъ изнемогали одновременно и плоть и духъ, наконецъ, не стало болѣе силъ страдать и... «сидѣть погасъ». Наступила страшная тьма, гдѣ больная мысль зыганами про-

жигала обезсиленный мозг и даже в этом больном, ненормальном своем движении громко и ясно твердила лишь о счастье народа и подвиг ради этого счастья. Сплошной драмой от начала до конца вѣдет на нас при обзорѣ жизни и дѣятельности покойнаго Глѣба Успенскаго, вся истинная суть которыхъ сводится не къ вышнимъ фактамъ, а къ той психологической подкладкѣ, на коей они покоились. Вотъ почему собственно истинная біографія этого писателя, біографія, гдѣ разнообразныя и интересные эпизоды жизни смѣняютъ одинъ другой, не даетъ почти матеріала въ распоряженіе того, кто ею бы занялся. Матеріаловъ этихъ очень мало сейчасъ, да врядъ ли много ихъ появится и въ будущемъ. Успенскій весь въ своихъ произведеніяхъ, въ тѣхъ мысляхъ и идеяхъ, которыми эти произведенія проникнуты; но опять-таки и тутъ встрѣчается для истиннаго пониманія и самыхъ произведеній и проникающихъ ихъ мыслей большое затрудненіе: пожалуй, многое и очень многое намъ будетъ непонятно, если мы возьмемъ ихъ изолированно отъ общихъ социальныхъ и экономическихъ условий русской жизни, коей онъ суть иллюстраціи и составныя части. Представить же совокупность этихъ условий въ правильномъ ихъ пониманіи—это задача будущаго историка семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, историка пореформеннаго періода русской жизни, когда она вся сдвинулась, послѣ долгаго стоянія на мѣстѣ, пришла въ броженіе и неурядокъ. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, что біографія Успенскаго, его всесторонняя характеристика и его истинное пониманіе сдѣлаются возможны, когда сначала будетъ написана правдивая и полная исторія этого времени, и когда изъ интимной личной и общественной жизни Успенскаго будутъ опубликованы такіе матеріалы, которые сейчасъ еще не могутъ по разнымъ интимнымъ соображеніямъ видѣть свѣта.

Поэтому пусть и читатели не посягуютъ на меня, если въ моемъ очеркѣ объ Успенскомъ окажутся большіе пробѣлы, и многое останется недосказаннымъ. Моя задача сводится лишь къ характеристикѣ покойнаго народника-беллетриста, въ связи съ нѣкоторыми главнѣйшими фактами его жизни, почерпнутыми мною, главнымъ образомъ, изъ «Исторіи новѣйшей русской литературы» А. Скабичевскаго, изъ автобіографическаго предисловія къ своимъ сочиненіямъ, сдѣланнаго самимъ покойнымъ писателемъ, и, особенно, изъ статьи объ Успенскомъ Н. К. Михайловскаго въ его полномъ собраніи сочиненій и изъ упомянутыхъ выше «матеріаловъ», опубликованныхъ тѣмъ же Михайловскимъ въ «Русскомъ Богатствѣ». Редакторъ «Русскаго Богатства» былъ близкимъ человѣкомъ къ Успенскому и по журнальной дѣятельности въ «Отечественныхъ Запискахъ», близкимъ и по личнымъ товарищескимъ отношеніямъ. Поэтому все, что имъ сказано о Глѣбѣ Ивановичѣ, содержитъ въ себѣ наиболѣе цѣнный матеріалъ для уразумѣнія и правильнаго истолкованія этого необыкновенно сложнаго писателя и интересной личности новѣйшей русской литературы.



Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.

Глеб Иванович Успенский родился 14-го ноября 1840 года в Туль. Дядь его был сельским дьячком Чернского уезда и имѣлъ трехъ сыновей; отъ одного изъ нихъ Василія, бывшаго священникомъ въ Ефремовскомъ уездѣ, родился тоже безызвѣстный писатель Николай Успенскій, трагически покончившій въ припадкѣ безумія въ 1889 году свою жизнь въ Москвѣ самоубійствомъ, а отъ другого, Ивана, служившаго секретаремъ въ тульской палатѣ государственныхъ имуществъ,—нашъ народникъ-беллетристъ, авторъ «Нравовъ Растеряевой улицы», «Власти земли» и другихъ произведеній изъ народной жизни.

О своихъ дѣтскихъ и юношескихъ годахъ, о семейной обстановкѣ и семейныхъ предаціяхъ Г. И. Успенскій не оставилъ, подобно многимъ другимъ и не столь выдающимся дѣятелямъ литературы, сколько-нибудь обстоятельныхъ свѣдѣній и свѣтлыхъ воспоминаній. Напротивъ, повидимому, это былъ очень невеселый періодъ его жизни, вспоминать который было нелегко. «Вся моя личная жизнь,—говоритъ онъ въ своей автобиографіи,—вся обстановка моей личной жизни до 20 лѣтъ обрекала меня на полное затмѣніе ума, полную гибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни благаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакала безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20 лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ. Вотъ почему, когда настала 61-й годъ, взявъ съ собою «въ дальнюю дорогу» что-нибудь изъ моего *прошлаго* было рѣшительно невозможно—равно ничего, ни капельки; напротивъ, для того, чтобы *жить* хоть какъ-нибудь, надобно было непременно до послѣдней капли забыть все это прошлое, истребить въ себѣ все видѣнныя имъ качества. Нужно было еще перетерпѣть все то разореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить мнѣ годы дѣтскіе и юношескіе, надо было потратить годы на эти непрестанныя похороны людей, среди которыхъ я выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что «не тѣ времена». Самая безропотность погибавшихъ людей, явное сознаніе, что все, что въ нихъ есть и чѣмъ они жили,—неправда и ложь, и безпомощность ихъ, уже одно это прямо убѣждало людей моего возраста и обстановки жизни, что изъ *прошлага* нельзя и не надо, и невозможно оставить въ себѣ даже самаго мѣлчайшаго воспоминанія, ничѣмъ отъ этого *прошлага* нельзя было и думать руководиться въ томъ повомъ, которое «будетъ», но которое рѣшительно еще невозможно. Слѣдовательно, начало моей жизни началось *послѣ забвенія моей собственной биографіи*, а затѣмъ и личная жизнь, и жизнь литературная стали создаваться во мнѣ одновременно собственными средствами»...

Мрачный колоритъ приведенныхъ воспоминаній дѣтства и юношества, изъ которыхъ фразы и намеки тутъ позволяютъ до извѣстной степени пред-

полагать, что многое изъ того, что читатели встрѣчаютъ въ произведеніяхъ Успенскаго перваго періода—въ «Нравахъ Растеряевой улицы», въ «Растеряевскихъ типахъ и сценахъ», въ «Разореніи» и другихъ мелкихъ разсказахъ той же категоріи, должно быть отнесено на счетъ биографическаго матеріала семейства Успенскихъ и той среды, въ коей возросъ нашъ бытописатель провинціальной Россіи. Всѣ эти безропотно погибающіе, эти безпомощные передъ лицомъ новаго времени, жившіе неправдою и ложью, всѣ эти социальные и психологическіе элементы налицо какъ въ сказанныхъ произведеніяхъ его беллетристическаго пера, такъ и краткихъ автобіографическихъ замѣткахъ. Конечно, я не думаю утверждать, чтобы самыя сюжеты повѣствованій, типы въ ихъ детальной обработкѣ были почерпнуты изъ жизни того дома, гдѣ родился и выросъ нашъ писатель; для такого утвержденія въ моемъ распоряженіи нѣтъ достаточныхъ данныхъ, но позволяю себѣ отмѣтить тождественность тона и настроенія этихъ двухъ живыхъ документовъ изъ жизни Глеба Ивановича. Поэтому, если припомнить хорошенько страница за страницею картинки изъ жизни Растеряевой улицы, вдуматься въ ихъ социальное значеніе и психологическій смыслъ, то читателю станетъ во многихъ отношеніяхъ понятно, что говоритъ Успенскій о тоскѣ и слезахъ своего дѣтства и юности, о той обстановкѣ, которая «обрекла его на полное затмѣніе ума и полную гибель». И если нашему беллетристу удалось до нѣкоторой степени свергнуть съ себя нѣкоторые отмѣченные грозные спутники жизни Растеряевой улицы, которая его воспитала, временно свергнуть и забыть ихъ, то окончательно съ ними раздѣлаться ему все-таки не удалось. Они все же по-жили свое и принесли результаты подъ конецъ его жизни, когда наступило именно это «затмѣніе ума и полная гибель». Поэтому, мнѣ кажется, въ приведенномъ автобіографическомъ отрывкѣ Успенскаго легко усматривается нѣчто пророческое, когда человекъ, со страхомъ сознавая въ себѣ наличность ужаса и гибели, какъ бы старается отогнать отъ себя эти грозные призраки, утверждая, что они отлетѣли отъ него навсегда и потонули въ морѣ забвенія. Нѣтъ, я смѣю полагать, что родная писателю «Растеряева улица» выпустила на свѣтъ Божій какъ его самого, такъ и его двоюродного брата, Николая Успенскаго, надѣливъ ихъ съ рожденія, рядомъ съ свойствами высокой даровитости и талантливости, еще и такими наслѣдственно социальными недугами, которые сыграли безповоротно въ жизни обоихъ роковую и трагическую роль.

Въ очеркѣ «Парамонъ Юродивый» Успенскій повѣствуетъ: «...Атмосфера, въ которой я жилъ, была полна страховъ, была полна впечатлѣніями непріятныхъ, непривѣтливыхъ лицъ, непріятныхъ, непривѣтливыхъ отношеній, угрозъ, безпрестанныхъ, безпрерывныхъ невѣдомъ откуда и какъ, но во множествѣ являющихся огорченій. Все, что я видѣлъ вокругъ себя, все какъ бы отказалось отъ самого себя и только заботилось о томъ, чтобы не погибнуть,

точно было ввержено въ какую-то пропасть... «Пропадешь!» носилось надо всеми мнѣ близкими: «пропадешь, если посмѣешь что-нибудь захотѣть самъ, если самъ что-нибудь позволишь себѣ...» — «Хватай невѣсту-то, покуда можно... а то пропадешь!» И человекъ хваталъ урода, отъ котораго спивался... «Хватай мѣсто... останешься безъ мѣста, пропадешь!» и художникъ, талантливый человекъ, хваталъ мѣсто попа, почтальона — и спивался... Ни одной свѣтлой точки не было на горизонтѣ».

Въ приведенномъ отрывкѣ, имѣющемъ несомнѣнное автобиографическое значеніе, я прошу читателей обратить вниманіе на выдающуюся роль кабака въ жизни растеряевскихъ обывателей, куда послѣдніе бѣгутъ по всѣмъ труднымъ и печальнымъ случаямъ своей жизни, ибо «не пить въ Растеряевой улицѣ трудно», какъ объ этомъ свидѣлствуютъ писатели въ главѣ «Идутъ дни и годы». Подобно тому, какъ растерянность, безпомощность, тоска и страхъ, панический страхъ передъ всѣмъ и вся, такъ и безпробудное питье, мрачное, буйное и болѣзненное, составляли неотъемлемый атрибутъ Растеряевской обстановки, изъ которой вышелъ какъ нашъ беллетристъ, такъ и его двоюродный братъ, Николай Васильевичъ. Намъ важно имѣть въ виду отмѣченную сейчасъ особенность этой обстановки, ибо если о ней самъ Гл. Успенскій ничего, по вполнѣ понятнымъ причинамъ, не говоритъ въ своихъ автобиографическихъ замѣткахъ, то о ней немало было говорено и въ его некрологахъ, и въ воспоминаніяхъ о немъ, и даже въ статьѣ Н. К. Михайловскаго, напечатанной въ мартовской книжкѣ «Русскаго Богатства». за 1902 годѣ.

Обращаясь къ фактической сторонѣ біографіи Глѣба Ивановича, необходимо отмѣтить, что, какъ ни печальны были общія условія ранняго періода его жизни, тѣмъ не менѣе ему удалось вынести изъ родительскаго дома довольно порядочное домашнее образованіе. Въ библиотекѣ его отца водились книги, и онѣ-то, повидимому, сослужили добрую службу въ воспитаніи любознательнаго отъ природы мальчика. Здѣсь онъ обстоятельно ознакомился съ произведеніями такихъ русскихъ классиковъ, какъ Карамзинъ, Пушкинъ, Лермонтовъ и другіе. По достиженіи извѣстнаго возраста маленькій Успенскій сначала былъ опредѣленъ въ тульскую гимназію, изъ четвертаго класса которой былъ, однако, взятъ, когда отецъ его былъ переведенъ на службу въ Черниговъ. Въ здѣшней гимназіи онъ и окончилъ курсъ, подавая нѣкоторыя литературныя надежды еще на школьной скамьѣ и принимая ближайшее участіе въ товарищескомъ рукописномъ журналѣ. По окончаніи курса гимназіи, онъ поступилъ сначала на юридическій факультетъ петербургскаго университета, откуда, впрочемъ, скоро выбылъ и перешелъ въ московскій. Повидимому, недостатокъ средствъ не позволилъ ему окончить здѣсь полный курсъ, такъ какъ вопросъ о хлѣбѣ насущномъ сталъ передъ нимъ рано

на жизненной очереди. На первыхъ порахъ мы видимъ его въ роли корректора «Московскихъ Вѣдомостей» редакціи Корша, каковая должность, благодаря его разсѣянности, не оказывается ему вполнѣ по плечу; затѣмъ онъ начинаетъ принимать непосредственное участіе въ литературѣ, работая въ «Зрителѣ», издававшемся Каложинскимъ въ 1861—1862 гг., а также помогая иногда своему двоюродному брату Николаю въ его беллетристическихъ работахъ указаніями, исправленіями, а подчасъ и вставкой отъ себя нѣкоторыхъ сценъ и діалоговъ. Изъ университета Гл. Успенскій окончательно вышелъ въ 1863 году и посвятилъ себя исключительно литературному труду. Вскорѣ умеръ его отецъ. Онъ немедленно уѣхалъ въ Черниговъ, гдѣ нашелъ полное разореніе своихъ родныхъ, оставшихся безъ гроша и безъ имущества, которое пришлось продать на уплату долговъ. Между тѣмъ, какъ родные его переѣхали на родину въ Тулу, гдѣ сестры нашли себѣ небольшой учительскій заработокъ, Глѣбъ Ивановичъ, будучи не въ силахъ на мѣстѣ помочь имъ чѣмъ-нибудь, вернулся въ столицу и началъ здѣсь свою блестящую и выдающуюся литературную карьеру, приобретшую ему скоро широкую популярность.

Литературная его работа, постоянная и болѣе или менѣе систематическая, сосредоточивалась сначала въ «Русскомъ Словѣ» (1864—1865 г.), въ «Современникѣ» (1866 г.), въ «Женскомъ Вѣстникѣ» (1866 г.), въ «Дѣлѣ» (1866—1867 г.) и, наконецъ, въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1868—1884 г.), гдѣ его талантъ окончательно расцвѣлъ и гдѣ напечатаны его главнѣйшія произведенія по зрѣлости мысли и глубинѣ тенденціи. Вспоминая въ своей автобіографіи среду, въ коей развертывалась его литературная дѣятельность, Успенскій говоритъ: «Одиночество было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи—люди старше меня лѣтъ на десять—почти всѣ безъ исключенія погибали на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ-то неизбѣжнымъ для тогдашняго талантливаго человека. Всѣ эти подверженные сивушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ, а живи они въ наше время, когда можно на полной свободѣ «плѣнять» своимъ искусствомъ свѣтъ», они бы написали много изящныхъ произведеній, но захватила ихъ полая жизнь, такая, что завтрашній день не могъ быть даже и предвидѣнъ,—и талантливые люди почувствовали, что имъ не утѣнаться за толпой, начинающей жить безъ всякихъ литературныхъ традицій, должны были чувствовать въ этой отживающей толпѣ самое полное одиночество... Сколько ни проявлялъ искусства въ поэмѣ, романѣ, —они» даже не почувствуютъ... Спившихся съ кругу талантливыхъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношеніи фигуры, какъ П. И. Якушкинъ. Въ такомъ видѣ въ пору было «похмелиться», «очухаться», очувствоваться, и какая ужъ тутъ «литературная школа!» Похвалы въ пьяномъ видѣ было много; посуловъ

еще больше, анекдоты—видимо-невидимо, а такъ, чтобы отъ всего этого повеселѣть—нѣтъ, этого не скажу. Даже малѣйшихъ опредѣленныхъ взглядовъ на общество, на народъ, на цѣли русской интеллигенции ни у кого рѣшительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

«Несомнѣнно, народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болѣзнь, похмелье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ «послѣ вчерашняго», занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надо прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разрушалось, валилось. «Современникъ» сталъ тусклъ и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полкиниги на бесплодные литературныя распри, а потомъ и былъ закрытъ. Закрыто и «Русское Слово», и вообще всѣ мало-мальски видные дѣятели разберелись, исчезли. Начали появляться какія-то темныя изданія съ темными издателями.... Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, когда пришли описывать его за долги, сталъ на глазахъ пристава вѣтъ овесъ, прикинувшись помѣшаннымъ (Артоболевскій). Когда наконецъ въ 1868 году основались новыя «Отечественныя Записки», первые годы въ нихъ тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока, наконецъ, дѣло не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить въ не установившемся и неуютномъ обществѣ болѣею частью до послѣдней степени изломанныхъ писателей (съ новыми я едва встрѣчался еще) не было никакой возможности, и я уѣхалъ за границу».

Озираясь непосредственно на свою личную литературную дѣятельность, Глѣбъ Ивановичъ даетъ слѣдующее объясненіе формъ и облику своихъ очерковъ и рассказовъ: «Времена, пережитыя русскою журналистикою за послѣдніи 20 лѣтъ,—говоритъ онъ въ предисловіи къ изданію сочиненій въ 1883 г.,—были переполнены всевозможными случайностями, безпрестанно разстраивавшими правильное ея теченіе и развитіе. Мои очерки много пострадали отъ этихъ невзгодъ журнальнаго дѣла, чисто во внѣшнемъ отношеніи. Правда, аргументъ нечего было въ нихъ искоренить: цензурныя бѣды обрушивались не на такого рода литературныя явленія. Но въ общемъ водоворотъ ничто не можетъ оставаться нетронутымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти очерки вышли бы рельефнѣе, полнѣе и осмысленнѣе, если бы журнальная жизнь была устойчивѣе, и представители печати могли чувствовать себя спокойнѣе».

«Укажу на одинъ примѣръ. «Нравы Растеряевой улицы», задуманные въ 1866 г., только что начали печататься въ «Современникѣ» (№№ 2 и 3, 1866 г.), какъ журналъ этотъ былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, приготовленное для «Современника», должно было появиться въ сборникѣ

«Лучъ», изданномъ редакціей «Русскаго Слова», которое также было прекращено, причемъ все, что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ «Современникѣ», надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть,—для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имѣ «сдѣлана» иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той же серіи рассказовъ печаталось въ журналѣ «Женскій Вѣстникъ», такъ какъ тогда (1866 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была перестрѣть *Растеряева улица* со своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу*. При всемъ моемъ глубокимъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличіи, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было дѣлать? Я ихъ умылъ и приодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше...

«Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли бы пристать начинающіе писатели,—ничего тогда нѣ было. Все удручало насъ и дѣлало одинокими. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы,—и имѣло на это право,—многосложной и внимательной работы.

«Такимъ образомъ, какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновившаяся жизнь требуетъ большихъ дарований и задала имъ огромныя задачи,—дѣлали то, что, незначительная способность написать «рассказъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, «кой-какъ», появляясь въ видѣ «отрывковъ» безъ начала и конца».

Такова любопытная автобіографическая исповѣдь писателя о началѣ его литературной дѣятельности, ея характеръ и *соціально* значеніи. Здѣсь заслуживаетъ вниманія каждая строчка, но изъ всего здѣсь сказаннаго особенно важно отмѣтить мнѣніе автора, что и онъ самъ, и его единомышленники смотрѣли на свою работу, какъ на не соответствующую задачамъ обновленной русской жизни. «Все это не то!»—твердили они, какъ бы предъявляя этимъ и самимъ себѣ и всему русскому обществу нѣкую, болѣе важную и «сложную задачу». Такое признаніе со стороны столь оригинальнаго писателя, каковымъ былъ Глѣбъ Успенскій, для насъ чрезвычайно важно и даетъ нѣкоторый ключъ къ разумѣнію всего характера дальнѣйшей его литературной дѣятельности и соціального значенія его произведеній. О значеніи этихъ задачъ здѣсь не мѣсто говорить—ихъ смыслъ и объясненіе лежатъ въ исторіи семидесятихъ годовъ, о чемъ уже упомянуто выше.

Успенскій указалъ намъ, къ какому кругу литераторовъ онъ присталъ,

при чемъ въ общихъ чертахъ отмѣтилъ положительные, а еще болѣе отрицательныя стороны ихъ личныхъ характеровъ и свойствъ. Въ числѣ этихъ литераторовъ онъ назвалъ извѣстнаго этнографа-народника Якушкина; кромѣ того, намъ извѣстно, что онъ былъ въ родствѣ и въ ближайшихъ литературныхъ отношеніяхъ съ Н. Успенскимъ, тоже даровитымъ народникомъ-повѣствователемъ. Сюда примыкали, такъ или иначе, и многіе другіе представители нашей журналистики, которыхъ принято въ исторіи новѣйшей русской литературы относить къ фракціи народниковъ-разночинцевъ, обильно наполнявшихъ своими произведеніями наши журналы въ концѣ 1850-хъ и во весь періодъ 1860 и 1870-хъ годовъ. Выступленіе ихъ на поприщѣ литературно-общественной дѣятельности относится къ реформаціонному періоду русской жизни, отмѣченному покаяннымъ отношеніемъ къ простому народу, стремленіемъ его познать и съ нимъ сблизиться. Общія задачи этого періода жизни, его характеръ и значеніе наиболее полно изъ всего существующаго въ русской литературѣ по сему предмету разработаны Н. К. Михайловскимъ въ многочисленныхъ его публицистическихъ статьяхъ, какъ равно отмѣнены и въ его извѣстныхъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», почему интересующихся этой стороною отечественной жизни отсылаю къ указанному автору, хотя, быть можетъ, со многимъ у него и нельзя согласиться, и многое представлено подъ особымъ субъективнымъ угломъ зрѣнія правоваго семидесятника-публициста ультра-передового лагеря. Рядомъ съ этимъ, тотъ же періодъ въ его историко-литературномъ развитіи, въ литературныхъ лицахъ и разборъ ихъ произведеній пера обстоятельно представленъ А. М. Скабичевскимъ, какъ въ его «Исторіи новѣйшей литературы», такъ и въ нѣкоторыхъ главахъ «Полнаго собранія сочиненій». Здѣсь народникамъ-беллетристамъ, съ большинствомъ коихъ авторъ былъ лично близокъ и знакомъ, отведено широкое мѣсто, при чемъ указана принадлежность каждаго изъ нихъ къ той или иной фракціи этой общей литературной группы. Давъ въ главахъ 13-й и 14-й своей «Исторіи литературы» обзоръ народнической беллетристики въ лицѣ Марко-Вовчка, Н. Успенскаго, Слѣпцова, Максимова, Мельникова, Якушкина, Рѣшетинова, Левитова и Наумова и др., Скабичевскій въ главѣ 14-й дѣлаетъ слѣдующую общую характеристику всей литературы, ими созданной, Онъ говоритъ: «по мѣру того, какъ образованіе распространялось въ массахъ общества, и центръ умственнаго движенія перешелъ изъ дворянской среды въ разночинскую, въ литературныхъ сферахъ къ концу пятидесятихъ годовъ произошелъ большой наплывъ новыхъ силъ изъ разночинцевъ. Эти новыя силы, подчиняясь духу времени, еще съ большою энергіею, чѣмъ писатели старшаго поколѣнія, принялись за изученіе народа, вмѣстѣ съ тѣмъ внесли совершенно новый духъ въ беллетристику изъ народнаго быта и обусловили своимъ появленіемъ новый періодъ ея развитія.

«Правда, со стороны художественныхъ формъ, техники, произведенія беллетристовъ-разночинцевъ представляють шагъ назадъ по сравненію съ произведеніями беллетристовъ сороковыхъ годовъ, значительно уступая имъ въ стройности, законченности, умѣньи заинтересовать читателя и привлекать его вниманіе и т. под. Они представляются, по большей части, не оконченными, необработанными, неуклюжими очерками, эскизами, набросками, иногда безъ всякаго сюжета и фабулы, хаотическими нагроможденіями сырыхъ матеріаловъ.

Этотъ регрессъ въ техническомъ отношеніи обуславливался многими причинами. Болѣе всего дѣйствовало то обстоятельство, что въ большинствѣ разночинцы учились на мѣдныхъ деньги и являлись на литературное поприще самоучками, не получившими правильнаго и систематическаго литературнаго образованія и едва грамотными; но и впоследствии они не имѣли возможности развивать свои таланты и вырабатывать изящныя формы. Всѣмъ имъ приходилось вѣчно бороться съ нищетою и спѣшить работою, не имѣя времени не только художественно отдѣлывать написанное, но и перечитывать его. Едва написавши двѣ-три первыя главы разсказа, авторъ несъ ихъ уже въ редакцію журнала, чтобы заручиться авансомъ, а тамъ работа прерывалась то болѣзною, то цензурными условіями, и произведеніе оставалось неоконченнымъ, забываясь для новыхъ столь же неудачныхъ попытокъ.

«Тѣмъ не менѣе отъ произведеній молодыхъ беллетристовъ-разночинцевъ повѣяло совсѣмъ инымъ духомъ, и въ нихъ мы видимъ отношеніе къ народу, до того времени небывалое. Вы не найдете уже здѣсь ни излишней идеализаціи народа, ни глумленія надъ нимъ, ни этнографо-бюрократической сухости сфіціальнаго изученія народа, ни плоскаво-фигурнаго сентиментальности; васъ поражаетъ трезвая неліцеприятная правда,—результатъ глубокаго знанія внутреннихъ основъ народной жизни семейной и общественной. Видно, что авторы близко стояли къ народу и не только наблюдали его жизнь, но отчасти и сами ее переживали».

Беллетристика этого рода представляется, въ свою очередь, два періода. Въ первомъ періодѣ, въ теченіе шестидесятихъ годовъ, жизнь народа разсматривалась преимущественно по отношенію къ я другимъ слоямъ общества, главное вниманіе обращалось на политико-экономическія и социальныя условія народнаго быта, на необезпеченность народныхъ массъ, безправность ихъ и эксплуатацію со стороны всякаго рода проходивцевъ. Во второмъ же періодѣ, въ теченіе семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ, главное вниманіе начали обращать на внутреннія основы крестьянскаго быта, на его вѣковѣчные устои въ видѣ общины и на идеалы, составлявшіе существенное отличіе деревенскаго человѣка отъ городского.

Наиболѣе видными представителями перваго періода народнической

беллетристики Скабичевской считал Рышетинова, Левитова, Наумова; во главѣ второго онъ ставитъ Л. Успенскаго и Н. Златовратскаго.

Историческое развитие народнической беллетристики, ея общій анализъ, ея существенные признаки по главнѣйшимъ періодамъ, ея внѣшніе недостатки и общественное значеніе представлены Скабичевскимъ достаточно удачно и, если сопоставить все имъ сказанное по сему предмету съ тѣмъ, что говорить самъ Успенскій въ своей автобіографіи о средѣ и условіяхъ, въ коихъ онъ обрѣтается въ первый періодъ своей литературной дѣятельности, то станетъ понятно, почему «Нравы Растеряевой улицы», «Разореніе» и другіе очерки и рассказы, относящіеся къ 1860—1870 годамъ, при всемъ выдающемся талантѣ автора, совершенно отличиваются и по технике выполненія, и по формѣ изображенія, и по внутреннему освѣщенію отъ широкаго и красиваго потока русской изыщной литературы, вышедшей въ сороковыхъ годахъ изъ нѣдръ Пушкинскихъ и Гоголевскихъ твореній.

Читатель съ первыхъ же главъ названныхъ произведеній Успенскаго видитъ въ нихъ писателя, не связаннаго ничѣмъ съ дворянскими гнѣздами и дворянскими черноземными полями, ни съ преданіями и традиціями дворянскихъ усадебъ, ни съ свѣтскими гостиними и интеллигентными кружками столичнаго общества, нѣтъ, въ нихъ сразу вырисовывается оригинальная и крупная фигура писателя-разночинца, который громко и властно требуетъ у литературы мѣста и вниманія къ грязнымъ, порочнымъ, пыльнымъ и одичалымъ, но забытымъ и несчастнымъ представителямъ четвертаго сословія русскаго народа. Его герои тѣ же въ сущности *босяки*, которыми такъ недавно еще увлекались читатели въ произведеніяхъ Максима Горькаго, но босяки, коихъ талантливый авторъ, какъ истинный художникъ, не освѣщаетъ фальшивымъ свѣтомъ романтическаго фонаря, но выставляетъ напоказъ читателямъ во всей ихъ наготѣ души и тѣла, съ указаніемъ тѣхъ причинъ и условій, социальныхъ и экономическихъ, которые породили эту наготу. Но Успенскій «Разореніа» еще далекъ отъ Успенскаго «Власти земли» и деревенскихъ очерковъ вообще, писанныхъ въ концѣ семидесятыхъ и главнымъ образомъ въ восьмидесятые годы. На первыхъ порахъ онъ еще не выделяется, какъ глава новой, отбѣженной для народнической беллетристики Скабичевскимъ школы, но до известной степени сливается по характеру и колориту своей дѣятельности съ старшими представителями этой беллетристики—съ Н. Успенскимъ, Стѣпцовымъ, Рышетиновымъ, Левитовымъ и другими. И во внѣшнихъ формахъ своихъ произведеній, и въ самой судьбѣ ихъ появленія въ печати онъ настоящій представитель этой разночинной литературы, создаваемой при тѣхъ невеселыхъ условіяхъ, о коихъ сказано выше и словами самого Успенскаго и историка тогдашняго времени—Скабичевского. Только вникая глубже въ смыслъ его писанія того періода и сопоставляя этотъ смыслъ съ далѣйшимъ имъ написаннымъ, можно ясно

усмотрѣть, что младшій представитель народническаго направленія въ изыщной литературѣ неминуемо долженъ отклониться отъ своихъ бывшихъ соотавищей и пойти по новому, имъ самимъ созданному пути.

Какъ уже сказано было выше, въ литературѣ Успенскій впервые дебютировалъ въ «Зритель» Калошина, гдѣ былъ помѣщенъ (1862 г.) его рассказъ «Старьевщикъ»—жанровая картинка изъ московской городской жизни. Въ послѣдующіе годы онъ появлялся тоже съ небольшими очерками въ «Русскомъ Словѣ», въ «Дѣлѣ» и въ «Современникѣ», гдѣ и было напечатано (1866 г.) начало «Нравовъ Растеряевой улицы», обратившихъ на него особенное вниманіе читателей и создавшихъ ему выдающееся литературное положеніе. Какъ появлялись передъ читателями эти «Нравы», уже извѣстно изъ приведенныхъ выше автобіографическихъ замѣтокъ автора, а потому на этой сторонѣ дѣла останавливаться нечего. Посмотримъ, что представляютъ собою эти очерки въ ихъ литературно-общественномъ значеніи.

Эпопея *растеряевщины* вылилась изъ-подъ пера Успенскаго не сразу, а выписывалась на довольно большомъ протяженіи времени, появляясь передъ читателями не въ формѣ цѣльнаго произведенія съ опредѣленной фабулой, гдѣ начало, продолженіе и конецъ между собою правильно соответственны, гдѣ дѣйствующія лица получили свою законченность типовъ, а событія опредѣленное теченіе. Нѣтъ, вся *растеряевщина* (въ противуположность обломовщинѣ) состоитъ сплошь изъ ряда сценъ, часто отрывочныхъ и незавершенныхъ, гдѣ только нѣкоторые части получили необходимую стройность и художественную отдѣлку. Авторъ выставилъ интересную портретную галерею, гдѣ почти каждый выведенный образъ есть крупное художественное произведеніе; кромѣ того,—и въ чемъ его особенная сила,—онъ съ удивительнымъ мастерствомъ схватилъ фیزیономію толпы, населенія провинціальнаго города, настроеніе этой толпы, смѣны въ ней вѣщательнѣй и ея основныя характерныя черты—косность, невѣжество, заботность, непродоходную нужду и безпомощность. И, когда вы внимательно всматриваетесь въ строй жизни этой толпы, вы ясно видите, откуда протекаютъ эти ея характерныя черты. Авторъ умѣло схватилъ въ данномъ случаѣ основы дореформенной жизни съ ея угнетеніемъ, съ «прижимкою» личности и страха, паническимъ и непрестаннымъ, передъ всѣмъ сильнымъ и властнымъ, изъ какаго бы источника эти власть и сила ни протекали. Такимъ образомъ, хотя «Нравы Растеряевой улицы» написаны и появились въ печати уже въ пореформенную эпоху, но содержаніе этихъ очерковъ, ихъ смыслъ, значеніе относятся къ преддверію освободительнаго періода русской жизни и представляютъ людей таковыми, какими ихъ захватила великая реформа. Тутъ, въ изображеніи Успенскаго, масса комическаго переплетена съ трагическимъ, и въ обихъ этихъ областяхъ авторъ обнаружилъ себя крупнымъ художникомъ, неподражаемымъ мастеромъ. Вотъ почему появленіе этихъ очерковъ

сразу обратило на него внимание читателей, приковало к нему внимание критики и поставило в ряд крупных и оригинальных русских дарований.

Слѣдующая серія его очерковъ подъ названіемъ «Разореніе» есть, по социальному ихъ значенію, непосредственное продолженіе растеряевщины, но, по свидѣтельству самого Успенскаго, лишь силою самостоятельной работы. Онъ говоритъ самъ въ предисловіи къ своимъ сочиненіямъ изданія 1883 г., что «по первоначальному плану «Разореніе» должно было составить *одну* большую работу, въ которую долженъ былъ войти весь матеріалъ, распавшійся потомъ на три части. Обстоятельства чисто личнаго характера заставили меня часто на долгое время прерывать работу, и, когда она потомъ начиналась послѣ значительнаго перерыва, — придавать ей форму работы самостоятельной, какъ будто бы она не имѣла никакой связи съ рядомъ предшествовавшихъ очерковъ. Сколько-нибудь внимательный читатель увидитъ, однако, что дневникъ «Тише воды, ниже травы» есть въ сущности прямое продолженіе первой части «Разоренія», печатаемой здѣсь подъ названіемъ «Наблюденія Михаила Ивановича». Въ этой второй части дѣйствуютъ тѣ же лица разоренной семьи — сынъ, дочь и мать. Но такъ какъ этотъ дневникъ, по разнымъ причинамъ, появился послѣ первой части почти черезъ годъ, когда первую часть читатель могъ и забыть, то являлось необходимымъ измѣнить кое-что въ характерахъ и обстановкѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Неудивительно поэтому, что изъ собранныхъ въ этомъ томѣ очерковъ многое могло быть понято не такъ, какъ бы слѣдовало, многому могло быть приписано вовсе не подобающее значеніе. Такъ, напримѣръ, многимъ могло показаться, что въ безсильномъ и слабомъ авторѣ дневника я желалъ видѣть героя. Нѣтъ! Этотъ типъ такъ же, какъ почти все, что вошло въ первую часть «Разоренія», отживаетъ свой вѣкъ, и авторъ дневника — типъ «отжившей» молодежи. Нарожденію новыхъ, неясныхъ стремленій въ толпѣ, то-есть въ неразвитой, забитой и необразованной средѣ, предполагалось посвятить третью часть, которая и явилась опять-таки вслѣдствіе перерыва подъ особымъ заглавіемъ «Наблюденія лѣнтя».

Итакъ, «Разореніе» есть прямое продолженіе «растеряевщины», но «растеряевщины», уже потрясенной и взбодораженной новымъ пореформеннымъ временемъ и прогрессивными вліяніями. Эти послѣднія, хотя и не успѣли видоизмѣнить строя растеряевской жизни, но успѣли внести въ нее тревогу и опасенія, и съ тѣмъ вмѣстѣ наградили ее и несбыточными мечтаніями и эфемерными иллюзіями. Мечтаніемъ и иллюзіямъ, какъ и мечтаютъ имъ всегда и вездѣ, не суждено было сбыться, а отсюда ихъ крушенія со всеми вытекающими отсюда комическими и трагическими слѣдствіями, послѣ чего, однако, провинціальная захолустная жизнь все же ничѣмъ не измѣнилась къ лучшему, а продолжалась попрежнему существовать на основѣ

безпробудной тоски, апатіи, забитости и полнѣйшей пассивности. «Несмотря на то, что новыя времена «объявились» въ нашихъ мѣстахъ еще только винтовой лѣстницей новаго суда и недостроенной желѣзной дорогой, жить всѣмъ (таковъ говорю) стало гораздо скучнѣе прежняго, ибо вмѣстѣ съ этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю весьма пріятную и пѣвучую зѣвоту, и томить, и мѣшать. Никогда не было такого обилія скачущихъ людей, какое въ настоящую пору переполняетъ рѣшительно всѣ углы общества, отъ лучшей гостиной въ «Дворянской» улицѣ до овощной и мелочной лавки Трифонова во Всесвятскомъ переулкѣ. Все это скучаетъ, томится и вообще чувствуетъ себя неловко. Среди этой скуки и томленія только и слышишь такіе разговоры, какъ: я говорю одно: иди и ложись въ гробъ! — взволнованнымъ голосомъ говоритъ общипавшій отъ современности купецъ. — Нонѣшнее время не по насъ... Потому нонѣшній порядокъ требуетъ контракта, а контрактъ тянется къ нотариусу, а нотариусъ призываетъ къ штрафу!.. Намъ этого нельзя... Мы люди простые... Мы живемъ по душѣ, по чести. — Или: желѣзная дорога! Ну, что такое желѣзная дорога? — говорить длинный и сухопарый чиновникъ Печкинъ въ непромокаемой шинели. — Ну, что такое желѣзная дорога? Дорога, дорога... А что такое? въ чемъ? почему? въ какомъ смыслѣ?»

«Прижимка», на исчезновеніе которой возлагалось столько надежды въ растеряевщинѣ, не исчезла съ новыми вліяніями, но осталась попрежнему въ полной силѣ, развѣ что съ пѣкоторымъ видоизмѣненіемъ и въ новыхъ формахъ проявленія.

«Разореніемъ» авторъ ввелъ читателей изъ растеряевщины въ новый кругъ вопросовъ, теченій, интересовъ и людей. Отъ прежняго остались лишь обломки, разрозненные части, на коихъ онъ и возводитъ слѣдующую серію своихъ очерковъ «Новыя времена, новыя заботы», которыя имѣютъ очень мало связи съ предыдущими очерками. Но и здѣсь пока мы не видимъ еще Успенскаго восьмидесятыхъ годовъ, передъ нами попрежнему рисуется бытописатель преимущественно городской захолустной жизни, пѣвецъ ея тоски и невѣжества, но манера писанія у автора уже значительно разнится отъ той, съ которой писаны «Нравы Растеряевыя улицы» и «Разореніе». Тутъ уже беллетристъ-художникъ все чаще уступаетъ мѣсто беллетристу-публицисту, и Успенскій сплошь и рядомъ, оставляя нить повѣствованія, углубляется въ разсужденія на общественныя темы и въ экскурсіи психологическаго свойства. Мы явно видимъ въ новѣйшихъ очеркахъ, что писатель уже значительно изнервничался, изболѣлся, изболѣлся и своею работою, и вопросами тревожныхъ дней семидесятыхъ годовъ, и вѣчной тоской по людскому горю и страданіямъ. Нѣкоторые странности этихъ очерковъ уже наводятъ на мысль, что думы и заботы автора сильно надломили его здоровье и могутъ въ слѣдствіи привести къ печальной катастрофѣ. Вотъ что въ очеркѣ

на «Старомъ пепелищѣ», напримѣръ, говоритъ онъ о своемъ душевномъ настроеніи: «Начинало разсвѣтать, когда я кончилъ какой-то новый романъ... и задумался объ этомъ мучительно-правдивомъ состояніи толпы, постигавшемъ вслѣдъ за пробужденіемъ я мертво спавшей совѣсти, и мгновенно передо мною пронеслась цѣлая вереница смертей,—смертей отъ испуга при видѣ подлинной сущности самого себя... Одинъ рванулъ къ свѣту и съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ безъ ногъ, что какъ бы онъ ни желалъ идти,—онъ не можетъ сдѣлать шагу... Другой вдругъ нежданно-негаданно увидѣлъ и узналъ, что вмѣсто сердца у него—деревяшка или пустое мѣсто, а жизнь какъ нарочно потребовала сердца, да еще какого большого!.. Правда и совѣсть, нежданно-негаданно, среди заматорѣлой безсовѣстности, среди прочно укрупившейся, довольной, покойной неправды, точно прикосновеніе свѣлаго воздуха въ трупамъ, произвели разложеніе этихъ труповъ, которые до сего времени почти невредимо сохранялись въ лишенномъ воздуха мѣстѣ... Толпы этихъ невинно убѣнныхъ совѣстью людей, буквально толпы, неслись въ моемъ воображеніи, не прекращая своего мрачнаго шествія ни на минутку и не общая конца... Да, подумалъ я, еще долго, безконечно долго, еще въ большомъ количествѣ поколѣній будутъ отдаваться слѣды вѣковой неправды! Долго еще состояніе души его будетъ одинъ подавленный, скрытый крикъ прежде, нежели переболитъ онъ и, очистившись въ глубокомъ страданіи, покорится тернистому пути, который ему предложить, всѣмъ сердцемъ, всею душою поймать и почувствовать, что это-то путь и есть настоящій, и есть настоящая правда и жизнь...

«А тѣни погибшихъ друзей, товарищей, знакомыхъ такъ и жались одна за другою... Что это были за лица! То измученныя, то искаженныя злобой... Благодаря разстроенымъ нервамъ, бессонной ночи, мучительнымъ воспоминаніямъ, навѣваемымъ родиной, я въ полусумракѣ начинавшагося утра сталъ довольно явственно различать то въ томъ, то въ другомъ углу комнаты мельканье и какъ бы легкій шорохъ и мельканье какихъ-то фигуръ, и даже не фигуръ, а просто мнѣ казалось, что въ комнатѣ есть что-то или кто-то, кромѣ меня... Разъ даже почудилось мнѣ, что въ головахъ моей кровати о желѣзо (кровать была желѣзная) что-то чуть-чуть стукнуло, какъ стучитъ капаль... Разъ и два (я думаю объ одномъ застрѣлившемся товарищѣ)... Уже не кровь ли это каплетъ?—мелькнуло у меня, и я проворно вскочилъ съ постели—такъ мнѣ стало жутко... Разумѣется, ничего не было, но спать я уже не могъ».

Я не думаю, чтобы приведенная страница изъ разсказа Успенскаго была сплошнымъ вымысломъ,—для того онъ слишкомъ правдивый и впечатлительный писатель, нѣтъ, скорѣе онъ передаетъ, по своей экспансивности, читателямъ дѣйствительно съ намъ бывшее, что въ данномъ случаѣ до извѣстной степени какъ бы сближаетъ его съ мрачными и неуравновѣшенными настро-

ніями героевъ Достоевскаго. Писатель уже изнервничался подъ воздѣйствіемъ разнообразныхъ причинъ, и эта нервнось съ теченіемъ времени и въ дальнѣйшихъ его произведеніяхъ проявляется все чаще и все въ большей пропорціи.

Что же представлялъ собою Успенскій въ то время, и каковыми знали его близкіе ему люди? По настоящему предмету необходимо обратиться къ воспоминаніямъ о немъ Скабичевскаго, Михайловскаго и другихъ, появившимся въ печати, какъ незадолго до кончины нашего беллетриста, такъ и по смерти его.

Вспоминая свое первое знакомство съ Успенскимъ, относящееся къ концу шестидесятихъ годовъ, Михайловскій повѣствуетъ: «Я уходилъ отъ Курочкина. На лѣстницѣ, этажомъ ниже, стоялъ у дверей молодой человѣкъ съ неправильнымъ, но чрезвычайно оригинальнымъ лицомъ, на которомъ вниманіе не могло не остановиться. Къ удивленію моему, молодой человѣкъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: «Вы Михайловскій?»—«Да».—«Я—Успенскій. Зайдемте ко мнѣ, я вотъ тутъ живу». Оказалось, что мы стоимъ какъ разъ у дверей квартиры Успенскаго. Онъ меня зналъ по наслышкѣ отъ Курочкина и отъ другихъ, я его зналъ, какъ автора «Нравовъ Растеряевой улицы» въ «Современникѣ» и разсказовъ «Вудка» и «Остановка», только что напечатанныхъ въ 1868 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ». Онъ былъ тогда холостъ и жилъ вполнѣ необщественно. Квартира его состояла изъ одной комнаты и кухни. Въ кухнѣ, которая, разумѣется, никогда не исполняла своего спеціальнаго назначенія, онъ устроилъ себѣ спальню, а комната изображала собою кабинетъ, салонъ, пріемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то въ весьма незначительномъ количествѣ. Зато была половая щетка, и когда нуженъ былъ самоваръ или что-нибудь въ этомъ родѣ, Глѣбъ Ивановичъ стучалъ этою щеткою въ потолокъ. Это былъ условный знакъ, по которому изъ квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо извѣстная многимъ писателямъ, ворчливая, но добродушная, иконописнаго вида старуха, Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а въ салонѣ было какое-то особенное отопленіе, безъ топки изнутри комнаты и требовавшее аккуратнаго открыванія и закрыванія какихъ-то душинокъ и заслонокъ. А такъ какъ хозяинъ не отличался аккуратностью, то въ салонѣ было очень сыро и скверно. Это не мѣшало хозяйину блистать заразительнымъ весельемъ и неподражаемымъ мастерствомъ разсказовъ»...

Заразительная веселость и неподражаемое мастерство разсказовъ были основными чертами характера молодого Успенскаго; къ нимъ еще слѣдуетъ присоединить удивительную задумчивость, чувствую, доходящую до нервности, отъзывчивость на все доброе и вѣчное стремленіе къ ситальчеству. Съ теченіемъ лѣтъ, и даже довольно короткихъ, отъ веселости осталось очень не-

много, а остальные черты стали еще напряженнее и болтливее. Вспоминая о покойном, Старый Петербуржец в «Виржевых Вѣдомостях» (№ 83) так рисует молодого Глѣба Ивановича: «Своею врожденною, априорною, так сказать, благожелательностью, покуда психологическая чуткость не подшпунула Глѣбу Ивановичу: это прохвостье, своею простотою, искренностью, откровенностью, сердечностью, задушевностью онъ завоевывалъ новаго знакомаго безъ малѣйшаго о томъ старанія, съ перваго часа знакомства, и чѣмъ больше вы съ нимъ сближались, тѣмъ завоевываніе было полнѣе, съ тѣмъ большимъ внутреннимъ удовольствіемъ вы вспоминали потомъ о встрѣчѣ съ нимъ... Помимо же этой стороны, знакомство съ нимъ имѣло еще другую прелесть. Наблюдательный и вдумчивый, онъ высказывался охотно обо всемъ, чѣмъ интересовался въ данный моментъ, и формулировалъ свои мысли въ очень своеобразныхъ выраженіяхъ, сопоставленіяхъ, образахъ, не укладывавшихся въ ходячій способъ опредѣленій и аргументацій. Рутинерамъ словопререній рѣчь Успенскаго могла часто казаться смутной, подчасъ доходящей почти до нечленораздѣльности даже и тогда, когда въ немъ не замѣчалось ни признаковъ болтливости, безвременно лишившей его способности сознательно и здорово думать и писать, ни возбужденія, вызваннаго лишней рюмкой вина или кружкой пива. Собесѣдниковъ же, не поработанныхъ шаблонными приемами уясненія явленій, Успенскій плѣнялъ, напротивъ, мягкостью характеристикъ, зигзаговатостью доказательствъ, отрывочностью и перескакиваньемъ».

Скабичевскій въ фельетонѣ «Новостей» (1902 г. № 98), посвященномъ памяти Успенскаго, утверждаетъ, что покойный говорилъ, какъ писалъ. «Глѣбу Ивановичъ,—говоритъ онъ,—не импровизировалъ своихъ разсказовъ, а пересказывалъ то, что онъ создавалъ, чѣмъ горѣлъ. Слушая его увлекательные разсказы, вы могли быть увѣрены, что, по прошествіи нѣкотораго времени, вы прочтете ихъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Такъ, его «Власть земли» я прослушалъ изъ его устъ по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ передъ тѣмъ, какъ разсказъ этотъ появился въ журналѣ».

Будучи художникомъ слова, Успенскій терпѣть не могъ, однако, ораторствовать на публикѣ, выставить себя напоказъ. Для этого онъ былъ слишкомъ скромнымъ и конфузливъ. «Для него было истиннымъ мученіемъ обращать на себя вниманіе, даже выходить на эстраду на литературныхъ вечерахъ,—говоритъ Михайловскій въ своихъ «Матеріалахъ для біографіи Успенскаго».—Я помню уморительную сцену на литературномъ вечерѣ въ Москвѣ, въ домѣ В. А. Морозовой. Залъ вмѣщалъ всего какихъ-нибудь 200—300 человекъ, и все это были горячіе поклонники Глѣба Ивановича (вечеръ имѣлъ частный характеръ). Его встрѣтили громомъ аплодисментовъ, а онъ, претерпѣвъ ихъ, раскрылъ книгу, постоялъ нѣсколько секундъ молча, потомъ закрылъ книгу и молча сошелъ съ эстрады».

Ту же черту скромности и конфузливости въ покойномъ отмѣчаетъ и Сильчевскій въ своихъ воспоминаніяхъ о покойномъ («Новости», 1902 г. № 84). «На учащуюся молодежь Г. И. производилъ,—какъ и на всѣхъ знавшихъ его,—неотразимое впечатлѣніе, хотя самъ онъ и не любилъ бывать на многочисленныхъ вечерахъ. Съ большими усиліями, едва-едва, разъ мнѣ удалось уговорить Г. И. отправиться на одну вечеринку, устроенную учащеюся молодежью на окраинѣ Петербургской стороны. Послѣ долгихъ отговорокъ Г. И. наконецъ собрался, и мы отправились. Приѣхали на Петербургскую сторону. Было часовъ восемь, но Г. И. утверждалъ, что еще рано, и предложилъ зайти пока въ портрную. Въ портрной Г. И. до того увлекъ меня занимательнымъ разговоромъ, что, заслушавшись его перепедаваемо-мастерскихъ и мѣтко-образныхъ разсказовъ и воспоминаній о людяхъ, которыхъ онъ встрѣчалъ,—я совершенно и не замѣтилъ, какъ прошло время, и опомнился только тогда, когда насъ попросили о выходѣ: было уже 11 часовъ, и портрная закрывалась».

«— Ну, слава Богу, на вечеринку теперь поздно, — сказала Успенскій и тутъ же сообщилъ, что онъ нарочно придумалъ такую «стратagemу» занять меня разсказами, чтобы не попасть на вечеринку.—Ей-Богу, я теряюсь на многочисленныхъ вечерахъ, и присутствовать въ толпѣ незнакомыхъ людей для меня пытка—пытка и мученье, если они знаютъ, что я литераторъ такой-то, дескать, Успенскій!»—откровенно признался онъ и просилъ не сердиться на «стратagemу».

Будучи столь скромнымъ, онъ тяготился извѣстностью, которую создала ему, особенно въ восьмидесятыхъ годахъ, его литературная дѣятельность, почему одно время даже не подписывалъ своихъ произведеній полнымъ и настоящимъ своимъ именемъ, а псевдонимомъ: Г. Ивановъ.

Успенскій отличался полнымъ отсутствіемъ практичности, и былъ въ этомъ отношеніи крайне безпомощенъ, беспорядоченъ и неумѣлъ, но «вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ большой искусникъ въ теоретическомъ построеніи плановъ,—повѣствуетъ про него Михайловскій,—всегда у него было все обдуманно до мельчайшихъ подробностей. Онъ и другимъ, въ томъ числѣ и мнѣ, случалось, давалъ истинно превосходные совѣты, какъ устроить свои дѣла въ томъ или другомъ отношеніи, но его собственные дѣла были всегда и во всѣхъ отношеніяхъ плохи, и превосходно обдуманные планы разбивались при самомъ приступѣ къ ихъ выполнению. Надо сдѣлать то-то и такъ-то, а выходить «ахи-нея» и «чулуха». Редакціи журналовъ и газетъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, всегда высоко цѣнили его сотрудничество, а между тѣмъ онъ постоянно нуждался, хотя и постоянно работалъ. Его письма къ редактору-издателю «Русскихъ Вѣдомостей» переполнены тонко и точно разработанными планами погашенія авансовъ (за эту тонкость и точность Салтыковъ называлъ его «министромъ финансовъ»), но изъ тѣхъ же писемъ видно, что едва ли хоть одинъ

из них был приведен в исполнение и не отменялся через короткое время другим столь же обстоятельным. Съ деньгами он вообще совершенно не умел обращаться. И это ставило его подчас в истинно трагическое положение, хотя в то же время его блестящие финансовые планы не могли не производить комического эффекта.

По поводу этого комизма Скабичевский в своих воспоминаниях об Успенском в «Новостях» приводит любопытную сценку из жизни редактора «Отечественных Записок».

Однажды Салтыков, встретив его, когда он пришел к нему за новым авансом, грозным словом «опять?», начал допытываться у него, куда же он дѣвалъ 800 рублей, вятые имъ всего лишь нѣсколько дней назадъ. Глѣбъ Ивановичъ, пощипывая бородку, въ замѣшательствѣ отвѣчалъ:

— Да вотъ, купилъ фунтъ сыру...—и замолчалъ.

— Ну, а еще что же?—продолжалъ допытываться Салтыковъ.

— Ну, что же еще? Право, ужъ не запомню... Ну, фунтъ сыру... и опять молчаніе.

Такъ болѣе этого фунта сыру Салтыковъ ничего и не добился.

Непрактичность и вѣчная запутанность въ денежныхъ дѣлахъ и расходахъ усугублялись у покойнаго добротою его сердца, которое вѣчно болѣло не объ однихъ своихъ родныхъ и близкихъ, а о каждомъ бѣдствующемъ, котораго только встрѣчалъ онъ въ своей жизни. Нерѣдко случалось, что, путаясь самъ въ долгахъ и не въ состояніи будучи свести концы съ концами, онъ бралъ авансъ въ какой-либо редакціи, чтобы всегдѣ вручить его нуждающемуся и выручить его изъ бѣды. А случалось и такъ, что, получивши за свою работу крупный кушъ, онъ раздавалъ деньги одному, другому, третьему, которые просили у него въ долгъ по крайней нуждѣ въ деньгахъ, и домой приносилъ одни жалкіе остатки.

Доброта и отзывчивость Успенскаго были, по признанію всѣхъ знавшихъ его, удивительныя; это былъ настоящій «душа-человѣкъ», который вмѣщалъ въ свое обширное и большое сердце всѣхъ страждущихъ и угнетенныхъ. Многія его личныя недачи жизни происекали именно оттого, что онъ не могъ оставаться равнодушнымъ къ судьбамъ близкихъ и постоянно спѣшилъ на помощь имъ, забывая и себя, и семью, и начатую работу, и тотъ заработокъ, который былъ непосредственно связанъ съ этою работою, и въ коемъ онъ постоянно нуждался. Михайловскій въ числѣ прочаго «материала» для этой стороны жизни своего покойнаго друга приводитъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ. «Въ октябрѣ 1886 г., когда я, участвуя въ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», ждалъ отъ него изъ Чудова обѣщанной рукописи, я получилъ вмѣсто нея письмо изъ Рязани: «Нежданно-негаданно пришлось бросить работу и уѣхать по одному дѣлу. Ужъ, стало быть, что-нибудь есть, больше я не знаю, что сказать, и до моего возвращенія

ни о моемъ отъѣздѣ не говорите никому и *никого* (буквально) не спрашивайте. Я глубоко огорченъ, что надулъ «Сѣверный Вѣстникъ», но я испущу въ ноябрѣ и декабрѣ. Не было возможности даже зайти къ вамъ. Пишу на вокзалъ въ Москвѣ, черезъ часъ ѣду дальше. Итакъ, знайте, пожалуйста, что если бы не серьезное дѣло, я бы не бросилъ работы и всѣхъ своихъ дѣлъ». Потомъ я узналъ секретъ этой неожиданной поѣздки: Глѣбъ Ивановичъ ѣздилъ за тысячу верстъ для улаженія недоразумѣній, возникшихъ въ семьѣ одного нынѣ уже умершаго, горячо любимаго имъ товарища».

О той же отзывчивости свидѣтельствуетъ и Сильчевскій, говоря, что Успенскаго и личное и общественное горе заставляло страдать и мучиться. «Онъ дѣлалъ все возможное, трудился, бѣгалъ и хлопоталъ даже для мало знакомыхъ ему, но «хорошихъ» людей, если ихъ постигала какая-либо бѣда. Помню, какъ онъ (1875 г.) хлопоталъ и устраивалъ нашего общаго пріятеля Н. В. Гр—ва, идеалиста-народника, котораго судьба поставила въ весьма трудныя обстоятельства... Глѣбъ Ивановичъ бросилъ всѣ свои дѣла и до тѣхъ поръ не успокоился, пока не сдѣлалъ для Гр—ва все, что могъ».

Сердце у Успенскаго было воистину золотое, и это качество проявлялось не только въ тѣхъ или иныхъ практическихъ случаяхъ жизни, но и въ его работахъ, которыя именно всѣмъ насъ проникнуты удивительною сердечностью, тою задумчивостью, что сквозила и нервно трепетала даже въ компаніи и обстановкѣ героевъ Растеряевъ улицы. Тѣ юношескіе слезы, о коихъ онъ повѣствуетъ въ своей автобіографіи, имѣли своимъ источникомъ именно это сердце и, если вполнѣ въ этомъ онъ не лился обильно изъ его глазъ, зато онъ, несомнѣнно, присутствовалъ на всѣхъ страницахъ его работъ. Этимъ обстоятельствомъ до извѣстной степени и объясняется популярность, которая была имъ приобретена среди читателей и вообще современниковъ, а особенно среди молодежи, помимо самаго содержанія этихъ работъ и вопросовъ, здѣсь разработанныхъ.

Особенность характеристики и біографіи Успенскаго, «центральныя пункты», по выраженію Михайловскаго, это его постоянные разъезды и неудержимое къ нимъ стремленіе. Для психологическаго объясненія этого пункта авторъ «материаловъ» приводитъ рядъ очень любопытныхъ писемъ Глѣба Ивановича, которыя даютъ отчасти объясненіе этой страсти и этому стремленію. Вотъ, напримѣръ, онъ пишетъ Михайловскому изъ Парижа: «Господи, что за ахинея идетъ въ моей жизни, что за чепуха! Я пять лѣтъ стремился поѣздить по Дону и пробраться въ Соловецкій, а мнѣ надо сидѣть въ Парижѣ! Нечего сказать, по моимъ вкусамъ устроилось все!». Далѣе письмо къ г. Соболевскому изъ Одессы: «Какъ бы хорошо тутъ, около Одессы,—словомъ, въ этихъ мѣстахъ, пожить мѣсяцъ! Сколько

ужасно интересного: менониты, колонисты-нѣмцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видѣлъ и говорилъ, и повѣрите ли, не растаяли бы съ дѣйшими мѣстами: такъ много въ каждомъ уголкѣ своего—вѣры, порядковъ, взглядовъ, общественныхъ отношеній, типовъ и т. д. Но надо ѣхать въ Ростовъ, потомъ во Владикавказъ, и тамъ утвердиться на мѣсяцъ, а затѣмъ домой!.. Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, и много для меня чрезвычайно новаго. Ахъ, сколько новаго на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себѣ печально,—интереснѣе думать о томъ, какъ живутъ люди. Я всегда исцѣляюсь этимъ». Въ одной запискѣ къ Михайловскому онъ говоритъ о себѣ: «Былъ на нѣсколько часовъ въ Петербургъ, и тамъ меня осыпала такая ужасная тоска, вдругъ какъ обухомъ пришибла, что я не рѣшился зайти къ вамъ, просто боялся омрачить васъ и тотчасъ опять уѣхалъ въ Чудово за работу. Страшновато что-то мнѣ по временамъ».

А вотъ рядъ отрывковъ изъ его писемъ къ г. Соболевскому, какъ ихъ сообщаетъ Михайловскій: 1) «Ѣхать мнѣ оказывается опять дѣломъ невозможнымъ—нѣтъ денегъ. Хотѣлъ я опять съѣздить за работу и написать послѣдній большой очеркъ «Концовъ», но положительно загло меня глубокое горе. Всѣ дѣла только что кончили въ Петербургѣ, только что я выбрался изъ этого кипучаго котла со свадьбами и шахами, и смрадомъ, и оказывается, что нѣтъ возможности никуда поѣхать. Писать я положительно не въ состояннн. Вѣдь нынѣшннй годъ истиранилъ меня, и истиранилъ на много лѣтъ. Уѣхать надобно... Да надо и работать. Сидѣть въ этомъ смертельно надоевшемъ Чудовѣ или въ литературныхъ петербургскихъ кружкахъ... положительно неумоготу. Мнѣ надобно вновь внимательно видѣть жизнь. Мих. на дилхъ будетъ въ Москвѣ, Кр. уѣхалъ въ Сибирь, Яр. въ Парижъ,—я только обреченъ изсыхать въ обстановкѣ, которая только меня пугаетъ, и самъ долженъ производить на всѣхъ тяжелое впечатлѣннѣ... Если бы можно было числа до 10-го (и то ужасно долго) получить триста рублей, я бы немедленно уѣхалъ въ Череповецъ, гдѣ меня ждутъ, чтобы разсказать всю исторію закрытнхъ земства... Если бы это можно было сдѣлать... я прямо изъ Петербурга, не заѣзжая въ Чудово, прямо съѣзъ бы на шлнссельбургскій пароходъ (безъ даты). 2) «Не знаю, куда мнѣ ѣхать: за границу или въ Сибирь къ переселенцамъ и съ переселенцами? А такъ «отдыхать» зря—не могу, тоска смертная. Въ Сибирь любопытно, но мрачно, чортова яма, холоды, и вообще я поустану отъ мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голоднаго и холоднаго. Больно сморѣть, и голова отказывается мучиться объ этомъ, просто утомилась. А за границу тоже не знаю, будетъ ли толкъ» (17-го мая 1888 г.). 3) «Главное, что я необыкновенно утомленъ духомъ моимъ. Видите, какъ плетусь? Только въ Казани, но это потому, что усталъ ужасно! Въ Нижнемъ два дня не

могъ встать съ постѣли. Можетъ быть, и хорошо это. Теперь въ Казани я могъ съѣздить за работу, а завтра, 9-го, ѣду въ Пермь. Меня пока беретъ раздумье—ѣхать ли туда? Событннтельннѣйшія вещи прочиталъ я сегодня въ газетахъ о Семеновскомъ уѣздѣ, и меня туда тянетъ неумолимо. Эта поездка была бы мнѣ по душѣ болѣе, чѣмъ въ чортову Сибирь»....

Изъ другихъ приводимыхъ въ «матеріалахъ» Михайловскимъ писемъ Успенскаго мы узнаемъ, что онъ вдругъ прерывалъ свое путешествіе и оказывался снова дома за работой, то вдругъ вмѣсто одного намѣченнаго мѣста попадалъ въ другое, при чемъ при этихъ передвиженіяхъ обычные эпизоды съ багажомъ, вещами и деньгами, которые забывались то тамъ, то сямъ, и которыя приходилось мѣстнымъ знакомымъ или вращать, или оставлять на произволъ судьбы.

Обращаясь къ психологической разгадкѣ этихъ вѣчныхъ разбѣздовъ, Михайловскій полагаетъ, что она объясняется до известной степени изъ изъ самихъ же писемъ: въ этихъ поездкахъ Успенскій видѣлъ свое *исцѣленіе*, а, когда отправлялся въ этихъ видахъ куда-нибудь, у него глаза разбѣгались, ибо по всему свѣту онъ видѣлъ себѣ интересъ и задачи крупнаго общественнаго и историческаго значенія, находившіе отраженіе на страницахъ его произведеній. Но отъ чего же искалъ онъ *исцѣленія*?—спрашиваетъ Михайловскій и даетъ слѣдующій отвѣтъ.

«Мнѣ не разъ случалось слышать мнѣніе, что психическая болѣзнь Глѣба Ивановича была результатомъ злоупотребленія алкоголемъ,—говоритъ онъ.—Я никогда не могъ съ этимъ согласиться. Отнюдь не говорю, что Успенскій былъ въ этомъ отношеніи безгрѣшенъ. Но, не говоря о моральной сторонѣ дѣла,—ибо не знаю, много ли найдется въ томъ кругу, въ которомъ онъ вращался, людей, имѣющихъ право суда въ этомъ отношеніи,—я думаю, во-первыхъ, что слухи о его грѣхѣ сильно преувеличены (въ покаянномъ настроеніи онъ самъ способствовалъ этому преувеличенію), а, во-вторыхъ, грѣхъ этотъ былъ во всякомъ случаѣ не столько причиною, сколько слѣдствіемъ того перваго разстройства, которое окончилось психическою болѣзью. Вотъ что писалъ однажды Успенскій г-нѣ N: «Не могу забыть, какъ я безобразно вѣлъ себя у васъ,—напился! Могло ли это быть прежде, чтобы именно у васъ, у васъ-то я бы позволилъ себѣ это?.. а теперь вотъ позволилъ, стало быть, что-то во мнѣ пропало, и, стало быть, я сталъ пропадать». Выраженія: «безобразно вѣлъ себя» и «напился», несомнѣнно, сильно преувеличены, но здѣсь интересно указать на то, что Успенскій «позволилъ себѣ» быть въ «безобразномъ» видѣ у глубоко читаемой имъ женщины, когда въ немъ уже «что-то пропало». Я склоненъ придавать этому эпизоду символическое значеніе. Мнѣ кажется, что Глѣбъ Ивановичъ былъ отъ рожденія богатою и блестящею, но неуравновѣшенною натурой, которую могли спасти отъ печальнаго конца только

исключительно благоприятны условия жизни, какие вообще рѣдки, и каких не выпало на его долю. Волѣнь подкралась къ нему съ чрезвычайною постепенностью. Можно, конечно, съ точностью сказать, когда болѣзнь началась. Быть можетъ, она вила давно уже себѣ въ немъ гнѣздо, когда мы, близкіе къ нему люди, видѣли въ немъ только очень нервнаго чудака-оригинала».

Однажды Михайловскій, столь близкій человѣкъ Успенскому, столь любившій его, затронулъ вопросъ объ алкоголизаци своего друга, то, конечно, нѣтъ основанія нынѣ, когда уже Успенскаго не стало, и когда приходится о немъ писать, какъ о дѣятелѣ, отошедшемъ въ вѣчность, обходить молчаніемъ эту деликатную сторону жизни покойнаго. Да, безусловно алкоголь сыгралъ въ жизни автора «Нравовъ Растеряевой улицы» крупную роль, и нѣтъ сомнѣнія, онъ, если не привелъ, то ускорилъ печальную развязку его жизни, обративъ послѣдній актъ этой жизни въ тяжкую и мрачную трагедію. Напрасно только Михайловскій употребляетъ слово «грѣхъ», когда говоритъ объ этомъ предметѣ. Грѣхъ тутъ никакого со стороны покойнаго писателя не было, а была лишь наличность тяжелой болѣзни, страшнаго недуга, который подтачивалъ и безъ того нервный отъ природы организмъ писателя, съ каковымъ недугомъ онъ, повидѣнію, до извѣстной степени боролся и коему искалъ страшно *исцѣленія* въ своихъ странствованіяхъ. Конечно, въ данномъ случаѣ методъ леченія былъ нигде негодный, ибо убѣжать отъ самого себя человѣку нигде невозможно, а оставаться съ своимъ недугомъ одинъ на одинъ во время скитаній значило лишь растравлять его и подвергать опасности обостренія. Я привелъ выше цитату изъ Успенскаго, гдѣ онъ повѣствуетъ о своемъ ночномъ душевномъ настроеніи, близкомъ къ галлюцинаціи, и въ этой цитатѣ я склоненъ, несомнѣнно, видѣть слѣдъ того недуга, отъ коего онъ такъ страстно стремился отдѣлаться. Если дать себѣ трудъ внимательно просмотрѣть всѣ произведенія Успенскаго, то такихъ мѣстъ найдется не одно, а суммированныя вмѣстѣ они могли бы, въ рукахъ хорошаго врача-психіатра, дать обильную пищу для психіатрической работы и анализа, какъ это, напримѣръ, уже до нѣкоторой степени сдѣлано въ отношеніи произведеній Достоевскаго. Если вспомнить нравы Растеряевой улицы, изъ нѣдръ коей собственно вышелъ Успенскій, и гдѣ, по его словамъ, «не пить трудно», если вспомнить трагическую судьбу ближайшаго его родственника, несчастнаго Ник. Успенскаго, погибшаго исключительно отъ алкоголя, если вспомнить среду народниковъ-разночинцевъ: Якушкина, Рышенникова и другихъ, между коими протекали его ранніе юношескіе годы, то не останется никакого сомнѣнія, что недугъ Глѣба Ивановича частью былъ наследственъ, частью привитъ ему въ очень раннемъ возрастѣ и привитъ настолько ужъ прочно, что отдѣлаться отъ него простыми

странствованіями не было никакой возможности. Необходимо, кромѣ того, имѣть въ виду и послѣдующую обстановку нервныхъ семидесятихъ годовъ, гдѣ чарка вина, какъ бы по наслѣдству отъ предшествовавшей эпохи, играла также немалую роль. А Успенскій былъ вѣрный сынъ этихъ годовъ и, какъ въ своей личности, такъ и въ своихъ произведеніяхъ, дѣлилъ съ ними всѣ превратности и всѣ настроенія подъема и паденія духа.

О грѣхѣ, повтому, нечего и говорить, и остается лишь удивляться и, пожалуй, быть безконечно признательнымъ Успенскому, что онъ, раздѣаемый тяжкимъ и страшнымъ недугомъ, не допустилъ себя сторгѣть раньше времени, подобно старшимъ народникамъ-беллетристамъ, и обогатилъ русскую литературу такими крупными произведеніями, какъ «Нравы», «Разореніе», «Власть земли» и другія. Въ этомъ его великій подвигъ и, почему знать, раннее наступленіе постигшей его катастрофы зависѣло ли отъ основы недуга, или интенсивности внутренней борьбы съ нимъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что вообще исторію катастрофы съ Успенскимъ трудно воспроизвести во всѣхъ подробностяхъ—здѣсь дѣйствовало слишкомъ много разнообразныхъ факторовъ и психическаго, и социальнаго, и историческаго характера, и разбираться въ нихъ сейчасъ несвоевременно, ибо тутъ пришлось бы говорить о такихъ вещахъ, для коихъ еще не поступило время исторіи и оцѣнки. Тутъ пришлось бы считаться съ *этимъ семидесятихъ годовъ* во всемъ ея объемѣ, для чего еще не накоплено достаточно историческаго матеріала.

Во всякомъ случаѣ, нервность организаціи Успенскаго не встрѣчала себѣ ни въ чемъ умѣренія, а, напротивъ, въсѣмъ складомъ обстоятельствомъ общественной жизни, близостью къ разнымъ дѣятелямъ этой жизни, задачами самой литературной дѣятельности, гдѣ вѣчно приходилось откликаться не на радости жизни, а на мрачныя и печальныя ея стороны, личнымъ недугомъ и стремленіемъ къ его исцѣленію, всѣмъ этимъ—нервность его организаціи раздражалась до послѣднихъ предѣловъ, когда уже, наконецъ, не стало силъ терпѣть и пришлось стать въ печальные ряды заживо похороненныхъ.

Я постарался представить главнѣйшія характерныя черты Успенскаго, какъ человѣка, къ коимъ остается еще прибавить краткія свѣдѣнія изъ его биографіи. Послѣднія собственно не богата фактами жизни.

Создавъ себѣ уже крупную извѣстность, какъ талантливый бытописатель захолустной провинціальной Россіи, Успенскій въ 1870 году женился, а въ слѣдующемъ году уѣхалъ за границу, гдѣ жилъ главнѣйшимъ образомъ въ Парижѣ и Лондонѣ. Заграничная эта поездка слабо отразилась на его литературной дѣятельности, если не считать оригинальныхъ и любопытныхъ наблюденій надъ Венерой Милосской въ рассказѣ «Выпрямилъ». За границу онъ ѣздилъ и въ сербскую войну, а также еще разъ

во второй половине восьмидесятых годов. Его письма из Сербии, посланные в видъ полубеллетристических произведений, полны собственной ему одному оригинальности и не потеряли интереса и для нашего времени, как характеристика русских за границею и сопоставление их съ тамошними людьми.

По возвращении на родину онъ, все попрежнему томимый тоской по правды жизни, скоро покинул городскую жизнь и осѣлъ въ деревнѣ, въ каковыхъ видахъ приобрѣлъ себѣ даже небольшую недвижимую собственность по Николаевской желѣзной дороги, въ Чудовѣ, съ коимъ въ значительной степени связаны его замѣчательные очерки изъ жизни сельского русского люда. Нельзя не отмѣтить, что Успенскій пытался поступить и на службу, но успѣха на этомъ поприщѣ никакого не имѣлъ и вскорѣ бросилъ это совсѣмъ чуждое его природѣ дѣло. По этому предмету вотъ что сообщаетъ Михайловскій. Измученный разными впечатлѣніями, Глѣбъ Ивановичъ задумывалъ иногда уѣхать на мѣсто, поступить на службу и, имѣя постоянный заработокъ, работать въ литературѣ спокойно. Но это ему удавалось не надолго. «Дольше всего, кажется, онъ служилъ завѣдующимъ сельской судо-сберегательной кассой въ Самарской губерніи,—повѣствуетъ г. Михайловскій.—Повидимому, онъ этой службой былъ доволенъ,—по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія собраннаго имъ тамъ матеріала для литературной обработки. Иначе вышло съ другой его пробой служебной дѣятельности. 11-го сентября (все равно какого года) онъ даже съ нѣкоторымъ торжествомъ извѣщалъ меня: «Сиюю *еъ должности*», а письмо отъ 1-го февраля слѣдующаго года начинается словами: «Мѣста у меня больше нѣтъ». И вотъ мотивы, изложенные въ письмѣ отъ 19-го марта: «Мѣсто... я долженъ былъ бросить, и какъ ни скверно это въ матеріальномъ отношеніи, но рѣшительно не расквашо: подлые концессионеры глотаютъ миллионы во имя разныхъ шарлатанскихъ проектов,—и во сколько же разъ подѣе интеллигенціи, которая не за миллионы, а за два-двугривенныхъ осуществляетъ эти разбойничьи проекты на дѣлѣ, тамъ, въ глубинѣ страны? Громадная челюсть концессионеровъ ничего бы не сдѣлала, ничего бы не проглотила, если бы имъ не помогали эти острые двух-двугривенные зубы, которые тамъ, въ глубинѣ Россіи, въ глуши, пережевываютъ неповиннаго ни въ чемъ обывателя. Я не могу быть въ числѣ этихъ зубовъ; если бы мнѣ было хоть мало-мальски покойно, я бы, можетъ быть, не такъ былъ чувствителенъ ко всему этому и, понимая, считалъ бы себя скотиной, но жалованье получалъ бы аккуратно. Но при томъ раздраженіи, которое временами (какъ въ послѣдній прїѣздъ въ Петербургъ) достигаетъ по истинѣ глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этихъ скверныхъ впечатлѣній съ особенною чувствительностью. Мѣсто надо было бросить: всѣ тамъ служащіе знаютъ, что они

дѣлаютъ разбойничье дѣло (будете въ этомъ увѣрены), но всѣ знаютъ, чѣмъ оправдать свое положеніе... а вотъ зачѣмъ литераторъ-то (каждый думаетъ изъ нихъ) тоже мокать свое рыло въ эти лужи награбленныхъ денегъ,—это ужъ нехорошо. «Пишете одно, а дѣлаете другое». Вотъ почему нужно было бросить ихъ въ ту самую минуту, какъ только стала понятна вся подлая механика ихъ дѣла»...

Исходя изъ такихъ взглядовъ, понятно, Успенскій, кромѣ литературы, не могъ найти себѣ никакого практическаго дѣла, да уже болѣе его и не искалъ, обратившись во всероссійскаго народника-гражданина, вѣчно находящагося въ разъѣздахъ и лишь ненадолго заѣзжавшаго то въ Петербургъ, то въ свое Чудово, къ семьѣ, состоявшей, кромѣ жены, изъ четырехъ дѣтей—двухъ мальчиковъ и двухъ дѣвочекъ.

Я отмѣтилъ, что широкая извѣстность была завоевана Успенскимъ уже его очерками изъ городской провинціальной жизни, но еще большей степени достигла она, когда вслѣдъ за тѣмъ стали появляться его очерки изъ жизни деревни, изъ жизни сѣраго крестьянскаго люда. Въ этой области, послѣ Некрасова, Успенскій рисуется истиннымъ страдальцемъ горя мужицкаго, его самымъ горячимъ адвокатомъ передъ обществомъ и литературой, его поэтомъ и пѣвцомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ никто въ нашей литературѣ ни до, ни послѣ него не подходилъ къ современной деревенской жизни и къ современному мужику съ такимъ отрицаніемъ и скенитизмомъ, какъ это сдѣлалъ Успенскій, разрушая тѣмъ всѣ накопившіяся дотолѣ въ обществѣ и литературѣ иллюзіи по сему предмету, рисуя и самую деревню, и мужика въ ней, и все мужицкое общество, и его порядки въ самыхъ мрачныхъ, ужасающихъ краскахъ. Весь длинный рядъ очерковъ, посвященныхъ этой темѣ (по изд. 1897 г.): и «Изъ деревенскаго дневника», и «Овца безъ стада», и «Малыя ребята», и «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ», и «Богъ грѣхамъ терпѣтъ», и другіе, а въ особенности «Власть земли»—есть сплошной плачъ по деревнѣ и ея обитателямъ, надрывающій душу стонъ и вмѣстѣ съ симъ самая торжествующая въ нашей литературѣ пѣсня о мужицкомъ будущемъ, которое должно рано или поздно наступить. Скабичевскій въ своей «Истории новѣйшей русской литературы» ставитъ Успенскаго вмѣстѣ съ Н. Златовратскимъ прямо во главѣ новѣйшаго теченія народнической беллетристики, главные задачи коей сводились къ постиженію основныхъ началъ народной жизни, къ выводамъ и обобщеніямъ, которые давали бы ключъ къ пониманію жизни народа въ ея массовыхъ проявленіяхъ, являющихся историческимъ дѣломъ вѣковъ. Между прочимъ почтенный историкъ даетъ очень интересную справку о дѣятельности этихъ обоихъ видныхъ представителей беллетристики «Отечественныхъ Записокъ». Онъ говоритъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ Глѣбъ Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя вниманіе, какъ двѣ крупныя силы современной литературы, между ними постоянно усматри-

вался взаимный антагонизм, как бы противоположные полюсы воззрений на народ,—отрицательный и пессимистический со стороны Глба Успенского и положительный, оптимистический со стороны Н. Златовратского. Во многих местах произведений этих писателей находили даже тайную, замаскированную полемику, которую они вели между собой на страницах одного и того же журнала. Читатели их, в свою очередь, разделились на два лагеря: поклонников Гл. Успенского и Н. Златовратского, при чем первые обвиняли Златовратского в идеализации народа и сентиментальности, а вторые заподозривали Гл. Успенского в чем-то в роде скрытого крѣпостничества. На самом же деле оба писателя, при всем антагонизме, зависящем от особенностей их талантов, различными путями пришли к одной и той же цели. В то время, как Гл. Успенский своим разлагающим, чисто прудоновским анализом, вооруженным безопашадным юмором, разрушил все накопившиеся с сороковых годов априорные иллюзии, которые мѣшали видѣть народъ въ его истинномъ свѣтѣ, Н. Златовратскій, на развалинахъ этихъ иллюзий, возвел новое здание, показавши намъ не воображаемая, а действительная, положительная начала народной жизни, о которыхъ до тѣхъ поръ никому и не снилось».

Насколько Успенскій въ его деревенскихъ очеркахъ былъ многими неправильно понимаетъ, и въ томъ числѣ даже литературной братіей, лучше всего свидѣтельствуетъ появившаяся въ свое время на страницахъ одного юмористическаго журнала (кажется, «Осколковъ») раскрашенная картинка, изображающая Успенскаго надвигающимся на расшатаваннаго мужика земной шаръ—землю, долженствующую окончательно раздавить этого мужика. Эта картинка символизировала якобы идею автора въ «Власти тѣмъ», желавшаго взвалить на народъ непосильное бремя земельного труда ради его моральнаго и экономическаго усовершенствованія, отъ каковаго труда ему суждено, однако, погибнуть, быть стертымъ съ лица этой самой земли.

Очерки Успенскаго, посвященные деревнѣ и мужику, по большей части, за исключеніемъ развѣ «Власти земли», носятъ на себѣ тотъ же характеръ, что и предыдущіе очерки, посвященные городской жизни и разночинцамъ. Они также въ большинствѣ случаевъ отрывочны, лишены художественной цѣлостности, гармоніи частей и эстетической закругленности. Авторъ здѣсь еще болѣе скупъ на краски, сказать въ своей рѣчи и постоянно часть повѣствовательную прерываетъ для экскурсій въ область практической и теоретической социологіи, политической экономіи и просто философскихъ разсужденій, которыя какъ нельзя болѣе гармонировали съ тѣми научными и публицистическими статьями, которыми изобилдовали «Отечественныя Записки» 1870—1880-хъ годовъ. Въ этомъ отношеніи онъ чрезвычайно гармонировалъ съ работами Щедрина, Елисеева и Михайловскаго, глав-

ныхъ руководителей этого журнала, и являлся истиннымъ столпомъ того передового направленія, коему служили названные дѣятели въ ту эпоху. Отсюда понятенъ, помимо даже личной талантливости автора, тотъ воистину громадный успѣхъ его очерковъ, особенно среди молодежи и провинціальныхъ читателей, соприкасавшихся такъ или иначе съ народной жизнью. Каждый его очеркъ, посвященный изображенію и анализу этой жизни, вызывалъ самые горячіе толки, комментировался въ печати, вызывалъ, съ одной стороны, пламенные диѳирамбы и похвалы, съ другой—нападки, полемику, заподозрѣваніе и незаслуженные укоры.

Въ краткомъ очеркѣ трудно резюмировать взгляды Успенскаго на народную жизнь, его идеалы въ этой области, *ria desideria* и упованія. Этой работы въ полной и законченной формѣ еще никто не сдѣлалъ изъ числа тѣхъ, кто писалъ о немъ, и для этого, пожалуй, труда одного человѣка недостаточно. У Успенскаго что ни очеркъ, то рядъ богатѣйшихъ темъ для многихъ самостоятельныхъ изслѣдованій, ибо какихъ только темъ народной жизни имъ не задѣто, какихъ страницъ отечественной жизни не освѣщено. Тутъ и длинныя разсужденія, вперемежку съ беллетристическимъ изображеніемъ, о народномъ благосостояніи, о земельной скудости, о народномъ трудѣ, объ отношеніяхъ интеллигенціи къ народу и народа къ интеллигенціи, о легкомъ и трудномъ заработкѣ, о народной школѣ и грамотности, о народномъ самоуправленіи, о народномъ самопониманіи и т. д., и т. д. И все это уже на фонѣ не дореформенной жизни, какъ, напримѣръ, въ «Нравкахъ Растеряевой улицы», а именно на фонѣ жизни реформированной и подъ угломъ зрѣнія, что добраго и что дурнаго дала эта реформа народу, чего она ему не додала, и что она еще должна ему дать. Обращался къ народу, онъ зоветь его не отрываться отъ труда и земли, какъ бы тяжель этотъ трудъ ни былъ; обращаясь къ интеллигенціи, онъ вызываетъ къ себѣ долгу, далеко еще не выполненному, передъ народомъ, къ ея совѣсти и сердцу.

Въ этомъ отношеніи Успенскій, особенно принимая во вниманіе неблагоприятныя индивидуальныя особенности его личной жизни, оставилъ намъ громадное наслѣдство къ исполненію и послужилъ родной землѣ въ такой степени, какъ немногіе изъ нашихъ писателей, давъ своими произведеніями, при всей ихъ частой неотдѣланности и небрежности, истинный примѣръ гражданскаго служенія народу и родинѣ. Этимъ и объясняется, почему его такъ высоко цѣнили Г. З. Елисеевъ, который всю свою жизнь проработалъ перомъ надъ тѣми же задачами. По свидѣтельству Михайловскаго, Елисеевъ далъ даже однажды своей рождественницѣ, уѣзжавшей изъ Петербурга, сочиненія Успенскаго, сдѣлавъ на нихъ слѣдующую интересную надпись: «Не падай духомъ въ постигшемъ тебя несчастіи, будь покойна и не переставай трудиться надъ своимъ самообразованіемъ для будущей дѣятельности, по такой дѣятельности, которая была бы приспособлена и

пригодна для русской действительности. Для этого советую тебе как можно чаще читать и даже изучать сочинения Г. И. Успенского, единственного у нас писателя, мысль которого в отношении России отличается всегда искренностью, свѣжестью, правдивостью, богатством содержания и глубиной. Да, даже и глубиной, при всей видимой легкости его писаний. Но глубина может даваться только тому, кто будет читать его не бѣгло, а пристально вдумываться въ читаемое, усердно ворочая при этомъ собственными мозгами».

Въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности Успенского, относящейся къ концу восьмидесятихъ годовъ и самому началу девяностыхъ, произведенія его, посвященные все тѣмъ же вопросамъ народной жизни, отличаются особенной грустью, и въ нихъ явно сказывается крайняя болѣзненность, нервность, усталость и даже, пожалуй, разочарованность. То же наблюдали въ его личномъ характерѣ его знакомые и друзья. Отъ прежняго смѣливого, веселаго и жизнерадостнаго Успенскаго не осталось слѣда, а былъ лишь раздраженный и большой человѣкъ, видимо, сжигавшій уже жизненную свѣчку съ обоихъ концовъ и близкій къ катастрофѣ, которая и послѣдовала въ 1891 году.

Кажется, докторъ Шершевскій первый констатировалъ тогда правильно и безапелляционно «болѣзнъ мозга» у Успенскаго, а вскорѣ почитатели Успенскаго узнали изъ газетныхъ свѣдѣній, что онъ помѣщенъ въ новгородской земской психіатрической лечебницѣ, что положеніе его тяжело и безнадежно. Вотъ что сообщать по сему предмету сотрудникъ «Новостей», г. Городецкій, въ своей замѣткѣ объ Успенскомъ на слѣдующій день послѣ его смерти:

«Докторъ Х.», хорошо извѣстный въ литературныхъ кружкахъ, обставилъ существованіе Глѣба Ивановича возможно лучше и покойнѣе. Больного часто навѣщали члены его семьи, и только «посторонніе» и «любопытствующіе» къ Глѣбу Ивановичу не допускались.

«Находили на Глѣба Ивановича свѣтлыя минуты успокоенія, и въ это время онъ съ грустью говорилъ о прошлыхъ дняхъ, о судьбѣ русскаго писателя и много говорилъ о судьбѣ русской деревни. Въ его отрывочныхъ, часто безсвязныхъ, словахъ всегда слышалась грустная нотка и всегда чувствовалось любовное отношеніе къ народу, которому покойный отдалъ всю свою жизнь и посвятилъ свое прекрасное дарованіе.

«Когда въ минуты сознанія больному говорили, что наступитъ время, когда онъ оправится и снова приметъ за работу, болѣзненно горьшіе, полные грусти глаза Глѣба Ивановича орошались слезами, и онъ говорилъ:

¹⁾ Рѣчь идетъ о д-рѣ Б. П. Сипиани.

«— Глѣба Ивановича нѣтъ, Глѣба Ивановича нѣтъ, отлетѣла душа, нѣтъ разума,—только тѣло одно... И снова онъ впадалъ въ забытѣе, забивался въ уголъ, складывалъ на груди руки,—его любимая поза,—и въ его больномъ, но все еще прекрасномъ взорѣ чувствовалась тяжелая, подавляющая тоска.

«Глѣба Ивановича всегда сокрушала тоска.

«— Мнѣ казалось,—говорилъ мнѣ врачъ, лечившій Г. И.:—что въ его ненормальномъ взорѣ и рѣзкихъ движеніяхъ сказывалось что-то возвышенное и благородное, которое онъ не въ силахъ былъ передать...» Потомъ врачъ Х. покинулъ земскую больницу.

«Я пришелъ къ Глѣбу Ивановичу проститься. Тяжела была для меня эта разлука, я привязался къ нему, такъ какъ и въ его болѣзненномъ состояніи все же чувствовалъ прекрасную и святую душу.

«— Прощайте, Глѣбъ Ивановичъ.

«— Какъ прощайте, уважаешь, зачѣмъ, куда, совсѣмъ?...—забросалъ меня вопросами Г. И.—Возьмите меня съ собою, возьмите...

«Глѣбъ Ивановичъ точно чувствовалъ, что съ отбѣдомъ прекраснаго гуманнаго врача его положеніе ухудшится, и «предчувствіе» это оправдалось.

«Уѣхалъ врачъ Х. Въ больницѣ появились новыя лица, пошли новыя порядки.

«Безъ всякаго повода и основанія стало развиваться «памяничество» въ больницу, гдѣ находился Г. И., его стали выводить напоказъ, а «любители» фотографии даже фотографировали его.

«Былъ случай, когда въ больничной конторѣ собралось нѣсколько «любопытныхъ», ради которыхъ было отдано приказаніе:

«— Привести сюда больного Глѣба Успенскаго...

«Больного, съ измученнымъ лицомъ, привели Глѣба Ивановича, а одинъ изъ досужихъ репортеровъ сталъ его интервьюировать... Потомъ въ одной изъ петербургскихъ газетъ появился странный фельетонъ о томъ, что Глѣба Ивановича стали забывать не только его прежніе друзья, но также и семья.

«Это былъ возмутительный, ни на чемъ не основанный упрекъ по адресу жены, дѣтей и друзей Глѣба Ивановича.

«Не заслуженный—потому, что жена и дѣти Глѣба Ивановича боготворили его, и вся ихъ жизнь, все ихъ существованіе были подорваны и отравлены болѣзнью ихъ знаменитаго мужа и отца.

«Положеніе Глѣба Ивановича стало совсѣмъ невыносимо, и семья рѣшила перевести его изъ новгородской больницы въ Ново-Знаменскую. Г. И. перевезли черезъ Петербургъ.

«Приѣхалъ онъ поздно вечеромъ. Тутъ впервые на вокзалѣ я увидѣлъ Глѣба Ивановича, и, вѣроятно, никогда не изгладится изъ моей памяти эта

встрѣча. Согбенный, съ печально устремленнымъ въ даль взоромъ, съ тяжело поднимающейся грудью, онъ нервно выпелъ изъ вагона въ сопровожденіи членовъ своей семьи.

«Къ нему подошелъ извѣстный русскій писатель С. Н. К.¹⁾, много лѣтъ работавшій съ Г. И. и боготворившій его.

«— Глѣбъ Ивановичъ, узнаете меня?

«Г. И. пристально сталъ смотрѣть на С. Н., и потомъ, какъ бы вспоминая его, сказалъ:

«— Какъ же, какъ же, это вы, С. Н. Пропалъ я, погибъ, совсѣмъ погибъ...

«Всѣ встрѣчавшіе Г. И. плакали. Это были тяжелыя минуты сознанія, что не стало одного изъ гуманнѣйшихъ и благороднѣйшихъ писателей, горячо любившихъ свою родину и свой народъ».

Послѣ переезда въ Петербургъ Успенскій содержался въ Ново-Знаменской психіатрической лечебницѣ, гдѣ онъ и скончался 24-го марта 1902 года, проведя такимъ образомъ почти одинадцать лѣтъ въ полубезсознательномъ состояніи, приходя въ себя лишь на короткое время и, во всякомъ случаѣ, уже никогда не будучи въ состояніи прикоснуться той литературы, которой онъ такъ беззаветно служилъ, и для которой онъ такъ много сдѣлалъ въ свой сравнительно недолгий вѣкъ.

Похоронили Успенскаго съ большими почестями на Литераторскихъ мосткахъ Волкова кладбища, и проводить его въ послѣднее мѣсто упокоенія собралась многочисленная и разнообразная толпа, засвидѣтельствовавшая своимъ присутствіемъ, что хотя любимый ею писатель уже давно исчезъ изъ дѣйствующей литературы, но духовный образъ его не изгладился изъ ея благодарной памяти признательныхъ читателей и современниковъ. Нынѣ на его могилѣ поставленъ очень характерный памятникъ, прекрасно воспроизводящій фигуру Глѣба Ивановича съ неизмѣнной папиросой въ рукѣ. Памятникъ этотъ одинъ изъ самыхъ красивыхъ на Литераторскихъ мосткахъ, въ этомъ петербургскомъ литературномъ некрополѣ, который еще въ нашей литературѣ никѣмъ не описанъ, но который со временемъ долженъ быть описанъ, какъ благодарная дань русскимъ писателямъ передъ родиною и русскимъ печатнымъ словомъ.

Е. М. ФОФАНОВЪ.

17-го мая 1912 года отошелъ въ вѣчность Константинъ Михайловичъ Фофановъ, самый талантливыи и крупный изъ современныхъ поэтовъ, прямой и непосредственный послѣдователь поэтическихъ заветовъ Пушкина, равнаго по лирическому творчеству которому не выдвигала русская жизнь за послѣдніе годы. Это былъ настоящій «Вожіей милостію поэтъ», пѣвшій свои пѣсни среди шумнаго гомона повседневной жизни, почерпая по большей части содержаніе ихъ изъ громадной книги бытія, гдѣ міръ космическій, таинственный, міръ растительный, міръ духа, грезы и настроеній, міръ Божьей благодати съ ея теплой и чистой вѣрой находилъ свое яркое и красивое отраженіе. Что-то чудное совершалось на нашихъ глазахъ: невзрачный на видъ, несуразный во всѣхъ своихъ жизненныхъ дѣяніяхъ, человекъ, вѣчно скользявшій по наклонной плоскости паденія, котораго многіе избѣгали именно за эту несуразность и паденіе, былъ одаренъ высшимъ Божественнымъ даромъ пѣснопѣнія, гдѣ чудные звуки и образы, переплетаясь и взаимно дополняясь, доставляли всѣмъ, до кого эти звуки доходили и кто обладалъ чуткостью воспріятія, большое наслажденіе, вызывая въ душѣ лучшія чувства, уносявшія изъ окружающаго міра пошлости, грязи и злобы въ чудный и свѣтлый міръ высшихъ идеаловъ, въ міръ любви, правды и приближенія къ Богу. Да, этому человѣку съ его невзрачной физической оболочкой, въ вѣчно непріглядной обстановкѣ и при кошмарныхъ условіяхъ жизни, вышедшему изъ сѣрой, простонародной среды, не получившему никакого систематическаго и мало-мальски прочнаго и разумнаго воспитанія и образованія, былъ данъ дивный даръ, который его, какъ поэта и пѣвца, поднималъ изъ бездны и возвышалъ надъ современниками, вызывая въ нихъ подчасъ удивленіе и чувство восторга. Многіе изъ стиховъ Фофанова по совершенству красокъ и формы, по силѣ слова, по глубинѣ и чистотѣ чувства

¹⁾ Нынѣ покойный Сергій Николаевичъ Кривенко.

В. Г. Звѣри

стали у нас классическими, вошли в хрестоматии, сдѣлались общезвѣстными наравнѣ съ произведениями лучшихъ представителей отечественнаго Парнаса. Вспомните только его стихотвореніе:

Звѣзды ясныя, звѣзды прекрасныя
Нашептали дѣвѣ сказки чудныя.
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листки наумрудные,
И дѣвѣ, опьяненные росами,
Разсказали вѣтрамъ сказки нѣжныя—
И расцвѣли ихъ вѣтры мятежныя
Надъ землею, надъ волною, надъ утесами,
И земля, подъ весенними ласками
Наряжая тканью зеленою,
Переполнилась звѣздными сказками
Мою душу, безумно влюбленную.
И теперь, въ эти дни многотрудные,
Въ эти темныя ночи несчастныя
Отдаю я вамъ, звѣзды прекрасныя,
Ваши сказки задумчиво чудныя.

Или:

Подъ нагнѣвъ молитвъ пасхальныхъ
И подъ звонъ колоколовъ
Къ намъ летитъ весна изъ дальнихъ,
Изъ полуденныхъ краевъ.

Въ зеленѣющемъ уборѣ
Млѣютъ темныя лѣса,
Небо блещетъ, точно море,
Море—точно небеса.

Сосны—въ бархатѣ зеленомъ,
И душистая смола
По чешуйчатымъ колоннамъ
Янтарями потекла.

И въ саду у насъ сегодня
Я замѣтилъ, какъ тайкомъ
Похристовался ландышъ
Съ бѣлокуромъ мотылькомъ.

Или:

Святая душа покидала земныя селенія,
Прощая обиды, прощая людскія гоненія,
И тихо друзьями улыбалась улыбкой пріивѣта,—
То было въ часъ утра, въ сіяніи аломъ разсвѣта.

Печальная тучка неясно, какъ дымъ изъ кадила,
По стени лазоревой неба въ то время бродила,
Душа пронеслася, полетомъ ее задѣвая,—
И туча зардѣлась пурпуровымъ отблескомъ рая...



Константинъ Михайловичъ Фофановъ.

И только что звёзды под вечер зажиглись во мраке,
И только что даль опочла в росистом тумане,
В сад у крыльца, где покоились смертные тщи
Души улетевшей, раскрылись алые маки...

И было в тот вечер замтно пыльному оку,
Как быстро катилась звёзда золотая к востоку,
Катилась, как искра, как свѣточъ мгновенный зенита—
То быстро душа проносилась изъ грозного міра,
Забывши юдоль и тоску сокрушающей жизни,
Къ своей лучезарной, къ своей незабвенной отчизнѣ...

Такихъ образцовъ поэтическаго творчества Фофанова можно было бы привести не одно, какъ напоминающіе намъ о тѣхъ часахъ, когда мы впервые съ ними знакомились и когда оригинальный образъ настоящаго поэта мерцалъ передъ нами въ вихрѣ современности съ ея чадомъ и прозой жизни. И, что всего оригинальнѣе, поэтъ, окутанный этимъ чадомъ, держалъ говорить о звѣздахъ, о ландышахъ, о молитвѣ, о любви, о Богѣ въ тѣ самые дни и годы, когда на такую тему его собратья не дерзали говорить изъ страха передъ грозными бичами тогдашней вліятельной публицистической критики, звавшей именно отъ этихъ предметовъ пѣсни поэта къ землѣ съ ея гражданскими запросами дня и требованиями протестующей политики. Но онъ не боялся этихъ бичей, дерзалъ поклоняться всенародно своимъ святымъ святымъ, коленопреклоненно стоялъ въ умиленіи передъ красотою Вожяго міра и читалъ здѣсь тѣ страницы любви, которыми преисполнена была его безхитростная, кроткая и любвеобильная душа. И на зовъ къ гражданской борьбѣ онъ, точно съ болью и съ грустью за отказъ, говорилъ:

Нѣтъ, не зови меня! Нѣтъ, другъ мой, не зови
Изъ міра свѣтлыхъ чаръ и царственной любви...
Въ немъ все знакомо мнѣ, все мило съ колыбели—
И звучныхъ соловьевъ раскатыстыя трели,
И розы бѣлыя, и бѣлые стихи...
Я въ сердцѣ ихъ вырастилъ, я напоилъ ихъ кровью;
Я ихъ люблю мучительной любовью,
Какъ любить старость юные грѣхи...
Доступны только мнѣ тѣ страны неведомыя,
Ихъ звонкіе ручьи, ихъ гроты голубые,
Ихъ звѣзды бѣдныя, какъ блескъ моихъ очей,
Ихъ темные лѣса, какъ скорбь души моей,
Ихъ волны звучныя, какъ стихъ мой перепланный,
И пышный ихъ цвѣтникъ, какъ греза, ароматный,
Гдѣ рѣку и жужжать элегій свои
На утренней зарѣ тяжелые шмели...
И даже мишустя руины и могилы
Изъ сумрачныхъ степей мнѣ дороги и милы,
Какъ лоскутки знаменъ—для дражнаго бойца,
Какъ пѣсня старая для новаго пѣвца.

Отказываясь отъ борьбы за общественность, за гражданственность, онъ, конечно, какъ сынъ своего времени, какъ физическій индивидуумъ, не могъ оставаться отъ современности совершенно въ сторонѣ, и у его ближайшихъ пріятелей имѣются тому его стихотворныя доказательства. Но проникнутыя духомъ своего времени онъ не былъ въ состояніи и смотрѣть на міръ не подъ угломъ зрѣнія борьбы, а какъ на арену любви. При такой точкѣ зрѣнія, онъ, конечно, не могъ записаться въ сонмъ борцовъ, а оставался, при всѣхъ оказываемыхъ на него давленіяхъ, оригинальнымъ и самобытнымъ проповѣдникомъ любви и прощенія. Эта его точка зрѣнія всего лучше выражена въ «стансахъ сыну», гдѣ онъ говоритъ:

Люби людей, люби природу...
Невольей ближнихъ и родныхъ
Не покушай себѣ енободу...
Учись у добрыхъ и у злыхъ:

Есть въ небѣ мѣсто яснымъ зорькамъ,
Но тамъ и темной ночи мгла,
И сладкій медъ въ растены горькомъ
Находитъ мудрая пчела.

Пусть лучше ты обманушь двазды
И проклятъ ложью не за ложь...
Чѣмъ самъ обманешь хоть одиначды
И на проклятья посягнешь!

Мы, проклиная, сердце губимъ,
И свѣтъ любви теряемъ съ нимъ...
Міръ нашъ—пока его мы любимъ,
Разлюбимъ—станетъ онъ чужимъ.

Этотъ этический взглядъ на жизнь, съ обязанности и значеніе, проникавшій многія его лирическія и элегическія произведенія, создавалъ ему въ нашей взбурдаженной дѣйствительности послѣднихъ лѣтъ совершенно особое литературное положеніе, не позволявшее *тогда* считать его «своимъ» и побуждавшее ее относиться къ нему скорѣе отрицательно, нежели любовно и сочувственно. И онъ отвѣчалъ этой толпѣ:

Я съ толпою иду—и пою я въ толпѣ
И смѣется надменно толпа мнѣ послѣдъ:
Ты поэтъ, ты безумецъ осмѣливыхъ лѣтъ,
Не пойду за тобой по невѣрной тропѣ!

Я борьбою сильна, ты тоскою томимъ,
Я, какъ бездна, шумна, ты—всегда одинокъ.
Жизнь проходить, какъ почва, сынъ исчезнуть, какъ дымъ.
Духъ—скала, а толпа—мимолетный потокъ.

Пусть бушует поток, не подломить उसे.
А подломить его—онъ, шумящей волнѣ
Преграждая пути, рухнетъ въ бышествѣ слезъ,
Чтобъ засытъ навсегда въ роковой глубинѣ.

Лишь немногие знатоки поэзии, лишь немногие литературные органы сумѣли съ перваго раза познать въ Фофановѣ настоящего Божіей милостью поэта, пригнѣть его, дать ему возможность развернуть силы и поддерживали по мѣрѣ возможности въ безконечные дни его несчастій, паденій и борьбы съ самимъ собою и съ сифдяющимъ его такъ называемымъ «русскимъ» порокомъ или, правильнѣе, болѣзнию, очевидно, доставшеюся ему въ значительной степени по наслѣдству. Здѣсь необходимо въ общихъ чертахъ набросать нѣкоторые біографическія данныя о поэтѣ, данныя, правда, не отличающіяся разнообразіемъ фактовъ и яркостью красокъ.

Предки Фофанова были крестьянами изъ Сердоболя, и въ ихъ поколѣніяхъ перемѣшивалась финская и русская кровь; отецъ его перечислился изъ крестьянъ въ купцы и торговалъ въ Петербургѣ дровами; мать его была коренная русская, и, повидимому, сынъ почерпнулъ отъ нея лучшія стороны своего характера и души. Родился нашъ поэтъ 18-го мая 1862 г., дѣтство и юность его прошли безалаберно и при неблагоприятныхъ семейныхъ обстоятельствахъ, благодаря чему онъ, хотя и учился въ какихъ-то частныхъ пансіонахъ, но правильнаго образованія нигдѣ не получилъ. Уже на восьмомъ году жизни его стало тянуть къ писательству, и онъ пробуетъ свои силы на сочиненіяхъ въ прозѣ и въ стихахъ. Его любимыми поэтами были Пушкинъ, Лермонтовъ, Грибоѣдовъ, въ особенности первый изъ нихъ, обожанію котораго и преклоненію передъ которымъ онъ остался вѣренъ до конца своихъ дней. Пушкинъ былъ его настоящею школою, слѣды вліянія которой замѣтны на всѣхъ его произведеніяхъ, какъ по формѣ стихосложенія, такъ и по настроенію и многимъ проявленіямъ чувства. Обращаясь къ его памяти на извѣстныхъ Пушкинскихъ торжествахъ въ Москвѣ въ 1899 г., онъ восклицалъ:

... Благодарю тебя! Ты скрасилъ бытіе
Своимъ волшебнымъ вдохновеніемъ.
Я рабъ твой преданный, такъ любящій тебя,
Безслепнѣ высказать, что ты творилъ, великій!

Семнадцати лѣтъ Фофановъ является къ В. П. Буренину, какъ знатоку русской литературы, вкусу, опыту и умѣло направлять молодого литературныя силы на правильную дорогу котораго онъ вполне довѣряетъ, и приносить ему первые свои стихотворные опыты. Нашъ извѣстный критикъ сразу оцѣнилъ въ пришедшемъ крупное дарованіе, одобрилъ его и въ 1881 г. ¹⁾ дать

¹⁾ Первое его стихотвореніе надъ псевдонимомъ «Комоф» было напечатано въ томъ же 1881 г. въ газетѣ «Русскій Вѣстникъ».

ему мѣсто на страницахъ «Новаго Времени», гдѣ онъ на долгое время становится присяжнымъ поэтомъ, печатаясь первоначально въ «Литературномъ журналѣ» (приложеніе къ «Новому Времени» въ восьмидесятыхъ годахъ), а засимъ почти въ каждомъ воскресномъ номерѣ газеты. Редакция органа А. С. Суворина постыѣшила приблизить къ себѣ начинающаго поэта и уже съ 1888 года опредѣляетъ ему постоянное жалованье въ пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ, не взирая на то, будетъ ли имъ печататься въ газетѣ что-нибудь, или нѣтъ, а также высую построчную плату. Этимъ жалованьемъ К. М. Фофановъ пользовался до послѣдняго своего смертнаго часа, и оно-то и составляло главный фондъ его жизни. Въмѣстѣ съ тѣмъ ему давались редакціей неоднократныя пособія, давалась мелкая помощь въ дни его безумныхъ «заболѣваній» и вообще оказывалось въ предѣлахъ возможнаго всякое содѣйствіе, моральное и матеріальное. Такъ, почти всѣ вышедшіе сборники его лучшихъ произведеній, за исключеніемъ небольшого перваго, выпущеннаго въ 1887 году Гоппе, были изданы на самыхъ льготныхъ условіяхъ для автора именпо фирмою А. С. Суворина, и такимъ образомъ, какъ бы нѣкоторыя редакціи ни хлопотали, чтобы связать свое имя съ именемъ поэта, одно остается, какъ фактъ несомнѣнный: В. П. Буренинъ и А. С. Суворинъ были въ жизни нашего поэта тѣми представителями литературы, съ именами которыхъ связана самымъ тѣснымъ образомъ вся его дѣятельность на зарѣ ея пробужденія, въ годы ея расцвѣта и даже въ послѣдніе годы ея увяданія. Вслѣдъ за «Новымъ Временемъ» двери редакцій для Фофанова раскрываются въ журналахъ «Вѣкъ» М. А. Филиппова, «Живописное Обозрѣніе», «Всемирная Иллюстрація», «Устои», «Игрушечка», «Родникъ», «Новъ», «Звѣзда», «Восходъ», «Сѣверъ», «Наблюдатель». Позднѣе стихи его стали появляться въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Нивѣ», «Недѣлѣ», «Русской Мысли», «Московской Газетѣ», «Нашемъ Времени», «Русскомъ Богатствѣ», а за послѣдніе годы почти во всѣхъ нашихъ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Какимъ лирикомъ онъ выступилъ на столбахъ «Новаго Времени» въ 1881 году, таковымъ же влюбленнымъ въ природу, въ весь міръ, вѣрующимъ въ торжество правды и добра, а также глубоко русскимъ человѣкомъ онъ остался въ своихъ стихотворныхъ произведеніяхъ и на страницахъ прочихъ журналовъ нашихъ дней. Объективная критика сразу оцѣнила его, но критика, задававшая тонъ нашей литературѣ, относилась къ нему достаточно равнодушно и, напримѣръ, устами вліятельнаго соціолога-публициста Н. К. Михайловскаго изрекала ему такой приговоръ (по поводу его прелестнаго стихотворенія «Звѣзды ласныя, звѣзды прекрасныя...»): «Сверху небо, снизу земля, и въ серединѣ г. Фофановъ глѣсни поетъ, въ качествѣ передаточной инстанціи между звѣздами и цвѣтами, а больше ничего нѣтъ». Такъ же неодобрительно относились къ нему и А. М. Скабичевскій, П. Ф. Якубовичъ, и только К. К. Арсеньевъ съ

присущим ему литературным вкусом отмѣтилъ въ его стихахъ «поистиннѣ замѣчательныя» страницы.

Иначе отнеслись къ молодому поэту его товарищи по литературной работѣ Надсонъ, Леонтьевъ-Щегловъ, В. Гаршинъ, Мережковский и др. Последній, выбирая изъ поэтического богатства Фофанова мрачныя страницы, тѣ произведенія, гдѣ сказывалось его чувство отчаянія передъ провозомъ жизни, передъ недостаткомъ хлѣба насущнаго, видѣлся мракъ, подчасъ охватывавшій его умъ, писалъ о немъ въ своей книгѣ «О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ въ современной русской литературѣ»: «За каждымъ его вдохновеніемъ вы чувствуете смутный гулъ никогда не засыпающей столицы, похожий на бредъ въ сумракѣ бѣлыхъ почей, одиночество бѣдныхъ мблированныхъ комнатъ, которое доводитъ покинутыхъ людей до отчаянія, до самоубійства, декорацию грязныхъ улицъ Петербурга, которая вдругъ, въ извѣстный часъ вечера, при извѣстномъ отблѣкѣ туманной зари, смѣшанномъ съ голубоватымъ отблескомъ электричества, дѣлаются похожими на фантастическій и мрачный сонъ. Вы начинаете вѣрить, что это вовсе не шутка, когда поэтъ говорить вамъ о странѣ безумія, о своей болѣзни и нищетѣ, о гибели, что въ самомъ дѣлѣ въ рукѣ, писавшей подобныя строки, была лихорадочная дрожь, что поэтъ, говорящій о голодѣ, знаетъ по опыту, что такое голодъ. Между рѣчками вамъ слышатся стоны живого человѣка.

«Вотъ что дороже всего въ поэзіи, вотъ за что можно все простить. За эти капли теплой человѣческой крови, прямо изъ сердца упавшія на страницы книги, можно простить и дикость образовъ, и неуклюжесть формы, и наивныя описанія тропической природы, составленныя по школьнымъ учебникамъ географіи».

Здѣсь г. Мережковский взялъ мрачную сторону поэзіи Фофанова, гдѣ дѣйствительно попадаются отмѣченные имъ дефекты его творчества, дефекты, проявившіеся съ особенной силой въ дни его болѣзненнаго безумія. Но это лишь одна, и не доминирующая, сторона его стиховъ; что, однако, безусловно вѣрно въ словахъ критика, это отмѣченное имъ родство Фофанова съ столицей и—привавимъ мы—ся пригородами, родство, проходящее красною нитью черезъ всю его дѣятельность, какъ стихотворца, и сближающее его въ этомъ отношеніи съ такими представителями нашей беллетристической прозы, какъ Достоевскій и Альбовъ. Въ описаніяхъ мрачныхъ сторонъ столичной жизни, въ слезахъ отчаянія, въ крикахъ горя и страданій у этихъ трехъ представителей нашей литературы, несомнѣнно, много общаго, но, несомнѣнно, источникъ этой общности разный и не здѣсь полная характеристика каждого изъ нихъ. Страданія Фофанова, которыми полна была его жизнь, вытекали и изъ свойствъ его личнаго характера, изъ несчастно сложившихся обстоятельствъ, которыя въ изобиліи посыпали терніи на его житейскій путь. Онъ былъ женатъ, имѣлъ многочисленную семью; для содер-

жанія ся не хватало средствъ, а отдать свои силы какой-нибудь добавочной работѣ по свойству своей непрактичной натуры, слабо приспособленной къ борьбѣ за существованіе, онъ не былъ въ силахъ. Онъ жилъ стихами и тѣмъ содержаніемъ, которое получалъ изъ «Новаго Времени», а также пособиями изъ литературныхъ учрежденій, то есть такими средствами, на которыя пропитывать семью въ девять человѣкъ дѣтей почти было невозможно. И вотъ на сцену выступаетъ то русское зло, которое съ роковымъ силою сводило и сводитъ въ бездну гибели наши отечественные таланты: Помяловскій, Курочкинъ, братья Успенскіе, Михайловъ-Мартовъ и множество другихъ, въ рядъ которыхъ не по доброй волѣ сталъ и почившій К. М. Фофановъ... Надъ свѣжей, только что засыпанной могилой поэта мы не будемъ воскрешать всѣ ужасы его страданій, обстоятельства этихъ страданій и ихъ всесторонній источникъ. Фофановъ хотя былъ несчастенъ, однако никого не проклиналъ за ниспосланныя ему страданія и болѣзни и рано, слишкомъ рано для своихъ лѣтъ непрестанно обращался къ призраку смерти, съ глубокой грустью вспоминая зарю своей жизни:

Я помню дни весеннихъ думъ,
Дни безпечальнаго разсвѣта,
Когда гордился дѣтскій умъ
Священнымъ именемъ поэта.

Восторгъ кипѣлъ въ моей груди,
Я пѣлъ въ возношеніи веселомъ...
И счастье, счастье впереди
Сіяло свѣтлымъ ореоломъ.

Увяли вѣсныя цвѣты,
Померкли розовыя зори,
Умчалась юность—и мечты
Смѣнилось будничное горе.

Печаль свила гнѣздо въ груди,
И пѣснь звучитъ моя тоскою,
И счастье, счастье позади
Мерцаетъ блѣдною звѣздой.

Мало что въ жизни послѣднихъ лѣтъ манило его къ себѣ, немного дружескаго народа оставалось возлѣ, и только любовь къ семьѣ, жившей въ пугдѣ и подчасъ впроголодь въ настоящемъ смыслѣ слова, а также любовь къ своей «музѣ» и искренняя дѣтская вѣра въ Бога удерживали его отъ самоубійства. Онъ точно предчувствовалъ близость своей кончины, когда, ощущая вѣчно, по его словамъ, сосущихъ его «вампировъ» и вспоминая свои былыя пѣсни, посвященныя цвѣтущей веснѣ, восклицалъ:

Природа та жъ; съ ея порфиры
Не смѣли годы убранство сдуть,

Созвѣдья Лирь, созвѣдья Лирь.

Разбейте лиру, разбейте грудь!

И въ предвидѣніи того, что скоро, скоро и эта лира, и эта грудь будутъ дѣйствительно разбиты ударами судьбы и смертыю, онъ просилъ друзей:

Въ дни, когда меня не будетъ,
Завѣщаю вамъ, друзья:
Пусть металлъ меня разбудитъ,
Пусть изъ мѣди буду я.
Пусть вокругъ играютъ дѣти,
И цвѣтеть спрени куствъ,
Пусть услышитъ звуки эти,
Какъ при жизни, мѣднѣй буютъ,
Хоть безъ чувства, хоть безъ словъ онъ,
Но попрежнему живой...
Это—фофанъ, бѣдный фофанъ,
Это—другъ нашъ дорогой!

Предчувствія поэта не обманули его. Въ любимомъ имъ мѣсяцѣ маѣ, въ который онъ родился, который онъ воспѣлъ на всѣ лады во многихъ своихъ стихотвореніяхъ, за нѣсколько дней до дня своего рожденія онъ тяжело заболѣлъ въ Лиговѣ, при самой тяжелой окружающей обстановкѣ. Волѣзнь его скоро стала извѣстной въ Петербургѣ, пресса точно всколыхнулась, ему оказана была денежная помощь учрежденіями и лицами, оказано медицинское содѣйствіе: онъ былъ со всѣми предосторожностями перевезенъ въ Петербургъ, помѣщенъ въ частную лечебницу, но ничто не помогло: надломленный организмъ не былъ въ состояніи осилить крупное воспаленіе легкихъ, и 17-го мая вечеромъ его не стало. По случайности въ смертный часъ по близости около него никого не оказалось изъ близкихъ—точно сбылось его пророчество:

Вѣрная спутница жизни печальной,
Ты мнѣ одна помѣнить не могла;
Первая факель зажжешь погребальный,
Потъ въ чашъ кончины омоешь съ чела.
Станешь, какъ няня, ты съ глѣбой унылой
Смолкшія струны искать въ мертвецѣ,
Будешь одна тосковать надъ могилой
Съ царственной грустью на юномъ лицѣ.
Станешь душистой весной-новидимкой
Дернъ надмогильный смиренно топтать,
Будешь въ чашъ ночи подъ мѣсячной дымокъ
Чудныя сказки о жизни шептать.
Съ теплымъ участіемъ въ задумчивомъ взглядѣ.
Въ мой опустѣвшій сайдонъ уголокъ,
Перья одуешь, раскрасишь тетради
И, прослезившись, уйдешь за порогъ.

Если первая строфа этого стихотворенія по роковой случайности оказалась дѣйствительно пророческими, то объ остальныхъ нельзя того же сказать. Смерть Фофанова оказалась горемъ для русскаго общества, и вса печаль поспѣшила окружить его бездыханное тѣло теплымъ проявленіемъ любви и неподдѣльной скорби. Точно всѣ поняли, что Россія лишилась истиннаго Божіей милостыю поэта, имя котораго перейдетъ въ память будущихъ поколѣній и не будетъ стерто забвеніемъ со страницъ исторіи русскаго литературнаго похороненъ Фофановъ, согласно своей при жизни высказанной волѣ, на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря.

А. И. ЧУПРОВЪ.

24-го февраля 1908 года скончался въ Мюнхенѣ извѣстный ученый и популярный общественный дѣятель Александръ Ивановичъ Чупровъ. Тяжелая болѣзнь грудной жабы еще съ 1899 года побуждала его покинуть кафедру въ родномъ московскомъ университетѣ и переехать за границу, гдѣ онъ съ того времени неизмѣнно и пребывалъ, переезжая изъ Франціи въ Италію и Швейцарію, но главнымъ образомъ имѣя осядлость въ Германіи—Дрезденѣ и Мюнхенѣ, гдѣ при немъ постоянно находился кто-нибудь изъ членовъ семьи, сынъ или одна изъ дочерей. Еще минувшей осенью онъ въ состояніи былъ сдѣлать поѣздку въ Римъ, по возвращеніи откуда энергично принялся за свое ученое писательство въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», конхъ состоялъ пайщикомъ-издателемъ и долготѣвшимъ постояннымъ сотрудникомъ, и посылаетъ сюда обширный трактатъ «Соціальныя послѣдствія разрушенія общины». Близкіе, друзья и почитатели радовались восстановленію силъ выдающагося русскаго ученаго экономиста и надѣялись, что еще услышатъ не разъ его столь нужный въ наше время компетентный голосъ по многимъ вопросамъ современной взбудораженной дѣятельности, но судьба угодно было другое: 24-го февраля его скоростипжно не стало во время визита къ мюнхенскому экономисту профессору Лотцу. Чудное; чуткое, любвеобильное сердце мгновенно прекратило свою работу, и Россія лишилась одного изъ своихъ лучшихъ сыновъ, который ее такъ горячо любилъ и ей отдавалъ всю полноту своихъ душевныхъ и умственныхъ силъ.

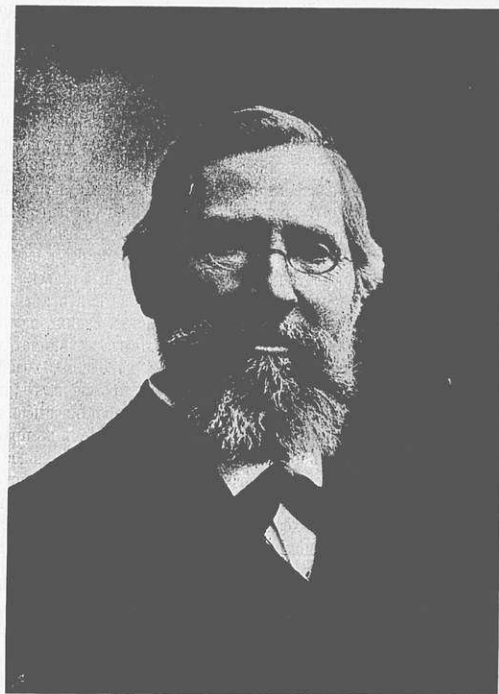
Александръ Ивановичъ Чупровъ былъ сынъ священника, родился 6-го февраля 1842 года и провелъ все свое дѣтство въ городѣ Масальскѣ Калужской губерніи. Образование получилъ въ калужской семинаріи, по окончаніи курса которой былъ посланъ за отличные усилки въ петербургскую духовную академію, но пробылъ въ ней только годъ и перешелъ за-

тѣмъ въ московскій университетъ на юридическій факультетъ. Здѣсь онъ заинтересовался особенно политическою экономіей и статистикой и по окончаніи курса въ 1866 году былъ оставленъ по предложенію профессора Бабста при университетѣ для подготовленія къ профессорскому званію. Въ 1872 г. Чупровъ былъ командированъ за границу и пробылъ тамъ около двухъ лѣтъ, слушая лекціи въ Лейпцигѣ, Мюнхенѣ, Гейдельбергѣ и Вѣнѣ (Рошера, Кнаппа, Лоренца-Штейна, Шмоллера и др.). По возвращеніи изъ-за границы въ 1874 г. онъ былъ приглашенъ читать лекціи въ московскомъ университетѣ по политической экономіи, а спустя два года и по статистикѣ. Въ 1875 г. онъ сдалъ экзаменъ на магистра и былъ удостоенъ этого званія по защитѣ диссертации «Железнодорожное хозяйство. Его экономическія особенности и его отношеніе къ интересамъ страны», послѣ чего былъ избранъ доцентомъ по кафедрѣ политической экономіи. Въ 1878 году Александръ Ивановичъ былъ удостоенъ университетомъ степени доктора политической экономіи и статистики по защитѣ диссертации, посвященной дальнѣйшей разработкѣ темы о желѣзнодорожномъ хозяйствѣ («Условія, опредѣляющія движеніе и сборы по желѣзнымъ дорогамъ; валовой доходъ и его факторы; количество товарныхъ грузовъ»), и въ томъ же году былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ по той же кафедрѣ. Эти работы выдвинули молодого ученаго въ рядъ первыхъ специалистовъ по теории желѣзнодорожнаго хозяйства, вслѣдствіе чего въ 1878 году онъ былъ приглашенъ къ работамъ въ комиссіи графа Варанова по изслѣдованію желѣзнодорожнаго хозяйства въ Россіи. Въ 1881—1882 годахъ А. И. принималъ дѣятельное участіе въ разработкѣ и выполненіи плана переписи населенія Москвы, причемъ главные результаты этой переписи изложилъ въ статьѣ «Характеристика Москвы по переписи 1882 года». Въ 1883 году онъ былъ избранъ председателемъ образованнаго при московскомъ юридическомъ обществѣ статистическаго отдѣленія, изъ котораго онъ создалъ центръ земскихъ статистиковъ, способствовавшій объединенію ихъ работъ по изученію условій сельскохозяйственнаго и экономическаго быта населенія. Еще въ шестидесятыхъ годахъ А. И. началъ принимать участіе и въ журналистикѣ, сперва въ газетахъ «День» и «Молва», издававшихся И. С. Аксаковымъ, а затѣмъ съ семидесятыхъ годовъ сосредоточился главнымъ образомъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», гдѣ онъ помѣстилъ множество статей по экономическимъ вопросамъ, а въ 1883 году вступилъ и въ товарищи по изданію газеты. Въ 1888 году онъ былъ приглашенъ къ участію въ правительственной комиссіи по изслѣдованію причинъ паденія цѣнъ на сельско-хозяйственные продукты и совместно съ г. Мусницкимъ составилъ записку объ упорядоченіи тарифовъ по перевозкѣ хлѣбныхъ грузовъ. Въ 1889 году на университетскомъ актѣ А. И. прочиталъ рѣчь «О характерѣ и причинахъ современнаго промышленнаго кризиса въ Западной Европѣ». Въ сорока девятидесятыхъ годовъ вмѣстѣ

сь А. С. Посниковым А. И. редактировал известное двухтомное издание министерства финансов «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства», обработав специальный отдел о влиянии хлебных цен и урожаев на движение земельной собственности.

Посвящая большую часть своего времени и сил университету, покойный принимал вместе с тем широкое участие и в других видах общественной деятельности. Так, он читал несколько лет лекции на высших женских курсах; был одно время секретарем московского общества сельского хозяйства, в деятельности которого принимал участие и послѣ, а в молодые годы состоял некоторое время секретарем мануфактурного совѣта. Живое участие принимал также покойный в обществѣ распространения технических знаний и его учебномъ отдѣлѣ, въ комитетѣ грамотности, въ обществѣ вспомоществования недостаточнымъ студентамъ и въ обществѣ вспомоществования учащимся женщинамъ, котораго былъ первымъ председателемъ; былъ также членомъ юридического общества, общества любителей русской словесности, общества любителей естествознания и географическаго его отдѣленія, писалъ въ «Юридическомъ Вѣстникѣ», «Русской Мысли» и другихъ журналахъ, принималъ дѣятельное участие въ международных статистическихъ сѣздахъ (въ Петербургѣ, Лондонѣ, Берлинѣ), въ торгово-промышленныхъ сѣздахъ, въ лондонскомъ гигиеническомъ конгрессѣ, многихъ коммисіяхъ, совѣщаніяхъ и т. д. Но особенно плодотворной была его дѣятельность въ университетѣ, гдѣ онъ поставилъ преподаваніе политической экономіи и статистики на должную высоту, привлекала слушателей какъ содержаніемъ и изысканіемъ своихъ лекцій, такъ и организованными имъ семинаріями для направленія и обсужденія работъ студентовъ. Его лекціи по политической экономіи, ея исторіи, статистикѣ, записанныя слушателями и имъ редактированныя, выдержали рядъ изданій и продолжаютъ печататься вновь и теперь. Многие изъ учениковъ покойнаго заявили себя цѣнными научными трудами и занимаютъ нынѣ кафедры въ университетахъ.

Заслуги покойнаго, какъ ученаго и общественнаго дѣятеля, были отмѣчены еще въ 1895 году, когда въ Москвѣ 3-го ноября праздновался юбилей его двадцатипятилѣтней учено-литературной дѣятельности. По этому поводу были собраны суммы (около 10,000 руб.), на которыя была учреждена стипендія его имени при университетѣ и устроена народная библиотека-читальня въ его родномъ Масальскѣ. Вскорѣ послѣ того, однако, А. И. почувствовалъ первые признаки той болѣзни, сердечной жабы, которая свела его теперь въ могилу. Первый припадокъ случился съ нимъ въ октябрѣ 1898 г., а лѣтомъ слѣдующаго 1899 года онъ рѣшилъ оставить университетъ и поѣхать за границу. Здѣсь-то его и постигла, какъ сказано выше, безвременная кончина. Таковъ формальный жизненный путь нашего ученаго. Обозрѣвая его даже бѣглымъ взоромъ, мы сразу приходимъ къ заключенію, что



Александръ Ивановичъ Чупровъ.

жизнь покойнаго ученаго была полна плодотворнаго труда, гдѣ каждая часть и сторона имѣли цѣлю въ виду пользу отечества, заботу о народномъ благѣ и благосостояніи въ ихъ практическихъ реальныхъ постановкахъ жизненнаго вопроса. Одаренный отъ природы широкимъ умомъ и чуткимъ сердцемъ, вооруженный обширными познаніями и отличающійся удивительною работоспособностью, Александръ Ивановичъ подходилъ къ разрабатываемымъ вопросамъ не какъ сухой доктринеръ или тенденціозный искатель дешевой

популярности, а как истинный печальник своей родины и ее обездоленных сынов, преследуя в своих изысканиях и научно-практических начинаниях цели одновременно и этико-социальные, и реально-утилитарные.

Характеризуя своего скончавшегося товарища по московскому университету, профессор М. Ковалевский говорит в «Русских Вѣдомостях» (№ 1908 г. 47): «Все, что дѣлалъ, говорилъ и писалъ А. И. Чупровъ, находитъ себѣ прямое объясненіе въ его духовномъ обликѣ. Занимая кафедру политической экономіи, онъ искалъ въ ней законовъ и эмпирическихъ обобщеній указаний насчетъ того направленія нашей хозяйственной дѣятельности, которое пошло бы на пользу русскому крестьянству. Врагъ всякаго навязыванія народу чуждыхъ ему формъ быта, онъ не только высказывался противъ искусственнаго разложенія міровой общины, но постоянно былъ озабоченъ мыслію о томъ, какъ приспособить къ ней требованія высшей сельско-хозяйственной культуры. Такъ какъ забота о русскомъ «сбытѣ и хранителѣ» была его высшей заботой, то немудрено, если во всѣхъ своихъ научныхъ трудахъ онъ постоянно имѣлъ ее передъ глазами. Отсюда его внимательное отношеніе къ тѣмъ послѣдствіямъ, къ какимъ въ народномъ хозяйствѣ ведетъ возрастаніе хлѣбныхъ цѣнъ, сказывающееся прежде всего въ недобданіи русской крестьянской семьи. Отсюда—его заботливость о томъ, чтобы желѣзнодорожные тарифы не становились препятствіемъ къ правильному обслуживанію хлѣбныхъ рынковъ. Отсюда же—сравнительное изученіе имъ способовъ поднятія сельско-хозяйственной техники и его интересъ къ земледѣльческимъ синдикатамъ, къ мелкому меліоративному кредиту и народнымъ банкамъ, къ сельско-хозяйственнымъ школамъ и чтеніямъ страствующихъ профессоровъ агрономіи. Отсюда, наконецъ, его опредѣленное, не допускающее никакихъ компромиссовъ отношеніе къ обязанности государства прийти на помощь земельной нуждѣ крестьянства, между прочимъ въ формѣ частичнаго и обязательнаго выкупа частновладѣльческихъ имѣній».

Сосредоточивая свое вниманіе на реальныхъ нуждахъ и запросахъ народной жизни, Чупровъ, и какъ ученый-профессоръ, и какъ разносторонній общественный дѣятель, обращалъ особенное вниманіе на правильную постановку и развитіе у насъ земской статистики, изъ данныхъ которой онъ и искалъ указанія средствъ врачеванія этихъ нуждъ и отвѣта на эти запросы. Поэтому въ его университетскихъ курсахъ, ученыхъ трудахъ, общественныхъ рѣчахъ и практическихъ начинаніяхъ вопросы статистическихъ методовъ изслѣдованій получали всегда выпуклое освѣщеніе, твердую постановку и цѣлесообразное развитіе. Отсюда самая тѣсная связь его имени съ дѣломъ русской земской статистики и городскихъ переписей. Отмѣчая эту сторону научно-общественной дѣятельности А. И. Чупрова, небезызвѣстный московскій статистикъ Н. А. Кабуловъ въ томъ же номерѣ «Русскихъ Вѣдомостей» говорить: «Первые шаги земской статистики въ Московской гу-

бернии связаны были съ его участіемъ, его помощью, совѣтомъ, указаніями. Затѣмъ появленіе первыхъ же трудовъ покойнаго В. И. Орлова по земской статистикѣ А. И. привѣтствовалъ, давъ между прочимъ отзывъ, на основаніи котораго было присуждена В. И. Орлову премія имени Ю. Самарина. И по мѣрѣ того, какъ земско-статистическія изслѣдованія охватывали все большее и большее количество губерній и уѣздовъ, А. И. все болѣе и болѣе проявлялъ заботы о томъ, чтобы результаты этихъ изслѣдованій были использованы наиболѣе широко въ интересахъ науки и жизни. Въ 1882 году при непосредственномъ участіи А. И. было организовано при московскомъ юридическомъ обществѣ статистическое отдѣленіе, безсмѣннымъ предсѣвателемъ котораго А. И. и оставался все время. Всѣмъ участникамъ работъ отдѣленія памятно, конечно, какъ много времени и силъ отдавалъ покойный этому учрежденію. Онъ постоянно почти предсѣдательствовалъ во всѣхъ обычныхъ засѣданіяхъ отдѣленія и нерѣдко дѣлалъ сообщенія какъ о выходящихъ статистическихъ трудахъ, такъ и по методологическимъ вопросамъ. При этомъ А. И. постоянно проводилъ мысль о важномъ значеніи объединенія программъ земско-статистическихъ изслѣдованій и объ использованіи опубликованныхъ матеріаловъ для освѣщенія условій жизни русскаго крестьянства. По его инициативѣ и подъ его руководствомъ происходили совѣщанія для осуществленія этой послѣдней цели, и результатомъ этого было затѣмъ появленіе двухъ томовъ «Итоговъ экономическаго изслѣдованія Россіи», заключающихъ въ себѣ работу В. В. «Крестьянская община» со вступительной статьей А. О. Фортунатова (т. I) и работу Н. А. Карышева «Крестьянскія вынудѣнныя аренды» (т. II). Не жалѣя, однако, времени и трудовъ на текущую работу отдѣленія, А. И. не останавливался и передъ тѣмъ, чтобы устраивать экстренныя засѣданія отдѣленія въ усиленномъ составѣ съ земскими статистиками, съѣзжавшимися со всѣхъ концовъ Россіи. Съѣзды эти, повторявшіеся нѣсколько разъ, тянулись, однако, каждый разъ не менѣе недѣли, и тутъ уже А. И. изо дня въ день посвящалъ имъ все свое время, поражая всѣхъ своей неутомимостью. Онъ принималъ въ работахъ съѣзда и его отдѣльныхъ секцій самое живое участіе, руководилъ преніями на общихъ засѣданіяхъ, вносилъ сообщенія и, можно сказать, бывалъ обыкновенно душою всего дѣла, участвуя въ засѣданіяхъ днемъ и вечеромъ. Когда въ 1894 году при IX съѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ была учреждена подсекція статистики (при секціи географіи, этнографіи и антропологіи), А. И. въ качествѣ завѣдующаго ею охотно принималъ самое живое, непосредственное участіе въ работахъ подсекціи. Все это много содѣйствовало объединенію программы земско-статистическихъ изслѣдованій, выясненію такихъ сторонъ народной жизни, которыя оставались до того въ тѣни. Этимъ, однако, далеко не исчерпывается то значеніе, которое А. И. имѣлъ для развитія и правильной постановки земской статистики въ Россіи. Его

личный примѣръ, его личное вліяніе, его оцѣнка тѣхъ или другихъ работъ, вся его личность, глубоко гуманная, широко-образованная, безѣмочно-преданная интересамъ русскаго народа и науки,—все это оставляло такой глубокой слѣдъ въ сердцахъ и умахъ соприкасавшихся съ нимъ, что надолго оживляло ихъ дѣятельность и укрѣпляло все то идейное, что заключалось въ себѣ земско-статистическія изслѣдованія. И если въ исторіи русской статистики земская статистика занимаетъ весьма видную страницу, то, конечно, имя А. И. Чупрова останется навсегда тѣсно связаннымъ съ исторіей развитія статистики въ Россіи.

Но имени А. И. Чупрова нельзя вычеркнуть изъ исторіи статистики въ Россіи не потому только, что покойный имѣлъ такое большое значеніе для постановки и развитія земской статистики и для ознакомленія русскаго общества съ результатами ея изслѣдованія. А. И. въ качествѣ профессора статистики въ университетѣ воспиталъ не одно поколѣніе статистиковъ и притомъ вполне подготовленныхъ къ своему дѣлу. Его курсъ теоріи статистики по точности и ясности изложенія представляетъ собою лучшее, что по этой части имѣется на русскомъ языкѣ. Глубоко и всесторонне освѣщено въ немъ и значеніе статистики для общественнаго дѣла. Это стоитъ въ тѣсной связи съ той цѣльностью, которую представляла собою натура покойнаго. Для А. И. наука не была сама по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Нѣтъ, для него все это связывалось въ одно органическое цѣлое, и статистика, какъ изслѣдовательница живой народной жизни, давала матеріалъ для уясненія явлений послѣдней и для болѣе правильной постановки и точнаго выясненія тѣхъ или другихъ научныхъ проблемъ, а наука, въ свою очередь, давала указанія, что и какъ нужно выяснитъ въ явленіяхъ общественной жизни. Это ясно сказало въ первомъ же болѣе крупномъ трудѣ А. И.—его магистерской диссертаци «Железнодорожное хозяйство», гдѣ на статистическомъ матеріалѣ выяснились многія экономическія явленія Россіи. Разработка же этого матеріала и внесеніе въ нее со стороны А. И. Чупрова строго-научныхъ приемовъ отразились, въ свою очередь, и на болѣе правильной постановкѣ железнодорожной статистики у насъ. Немало обязана А. И. Чупрову и постановка городской статистики въ Москвѣ. Онъ принималъ дѣятельное участіе при производствѣ переписи Москвы въ 1872 году и затѣмъ въ 1882 году, когда онъ состоялъ членомъ существовавшего въ то время городского статистическаго отдѣла и, участвуя въ переписномъ комитетѣ,—говоря безъ всякаго преувеличенія,—проводилъ дни и ночи въ совѣщаніяхъ и трудахъ по руководству этой переписью».

Въ единомыслии оцѣнки покойнаго по его значенію для статистическаго дѣла въ Россіи сходятся съ г. Кабуловымъ и другой видный русскій статистикъ Д. И. Рихтеръ, который въ № 51 «Русскихъ Вѣдомостей» того же

года, вспоминая роль Чупрова на IX съѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ, говоритъ:

«Какъ теперь помню громадную залу дворнаго собранія въ Москвѣ, биткомъ наполненную членами съезда и публикой. Когда на высокую кафедру взошелъ А. И., раздались громовыя рукоплесканія. Это Москва привѣтствовала своего любимца. Когда рукоплесканія утихли, А. И., по обыкновению своему, поправилъ очки и свойственнымъ ему задумчивымъ голосомъ началъ говорить. Воцарилась мертвая тишина, не нарушавшаяся во время всей его рѣчи, довольно-таки длинной и по содержанию своему, казалось, узко-спеціального характера. Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ подъ руками печатнаго экземпляра этой замѣчательной рѣчи-лекціи, а потому вкратцѣ изложу ее на память. А. И. указалъ, что многія естественныя науки, основанныя главнымъ образомъ на наблюденіяхъ, немислимы безъ широкаго примѣненія статистическаго метода; указалъ на роль статистики въ медицинѣ и, наконецъ, считая самое общественное дѣло однимъ изъ звеньевъ въ цѣпи наукъ, указалъ на неизбежность статистическаго метода при точномъ описаніи явленій общества, безъ котораго невозможно услѣдить за ходомъ и измѣненіями жизни общества, а, слѣдовательно, и уяснить его нужды и потребности. Статистика возможна лишь при коллективномъ трудѣ многихъ, а потому нуждается въ общеніи ея дѣателей, слѣдовательно, и съѣзды статистиковъ являются настоятельно необходимыми, такъ какъ при помощи ихъ можетъ быть достигнута болѣе правильная организація изслѣдованій, и разъ имѣется связь между статистикомъ и естествознаніемъ, то понятно и самое появленіе ея на съѣздѣ естествоиспытателей и врачей. Это у насъ пока новость и можетъ, какъ таковая, пожалуй, вызвать недоумѣніе; на Западѣ подобному факту никто не подивится: тамъ связь статистики съ естествознаніемъ—признанный фактъ. Еще въ половинѣ XVI вѣка, т. е. болѣе чѣмъ за двѣсти лѣтъ до нашего времени, когда въ Лондонѣ основалось такъ называемое королевское общество наукъ, посвященное главнымъ образомъ разработкѣ естествознанія, въ него былъ внесенъ мемуаръ, посвященный статистическому изслѣдованію Лондона; затѣмъ, въ началѣ XIX вѣка, когда въ Англіи возникла Британская ассоціація, въ ней рядомъ съ секціями математики и естественныхъ наукъ была открыта и секція статистики, продолжающая дѣйствовать и по настоящее время. Когда А. И. кончилъ, его проводили еще болѣе громкими и долго продолжавшимися рукоплесканіями; это было уже привѣтствіе не однихъ москвичей, не части присутствовавшихъ въ залѣ земскихъ статистиковъ, а всей двухтысячной аудиторіи всего съезда. И никому до Чупрова и послѣ его на съѣздѣ не было устроено такой шумной оваціи. Для всѣхъ стало ясно, что А. И. убѣдилъ въ справедливости своихъ взглядовъ, казавшихся сначала многимъ довольно-таки сомнительными.

«И время оправдало слова А. И.: на последующих съездах статистика вошла как часть, органически связанная с другими отраслями естествознания, и число самих статистиков, участников (почти исключительно земских) съездов, несмотря на все невзгоды переживаемого безвременья, все увеличивалось: на следующем киевском съезде их было 120, и на петербургском—390.

«Если окинуть взглядом последние два десятилетия только что истекшего столетия, когда русская жизнь, казалось, была совершенно пришиблена, на фоне глуши этой жизни нельзя не заметить возникновения величавого здания земской статистики. Над постройкой этого здания на ряду с нами, заурядными работниками, трудилось не мало выдающихся людей. Немало, а может быть и больше других, к этому делу приложил свой труд и покойный А. И.: он служил тем связующим цементом, который был необходим для прочности постройки; он был и тем зодчим, который придавал зданию его величавость и стройность».

Крупный ученый, энергичный и закаленный общественный деятель, Александр Иванович по своему свойству удивительно чистой духовной организации оставлял неизгладимые следы на всех тех жизненных путях, куда его судьба становила. Нравственное его влияние на всех окружающих было огромное, и перед его авторитетом, как ученой силы и как безукоризненно чистого человека, не признающего никаких компромиссов и сделок с совестью, преклонялись не только ученики, порою бурная аудитория молодых взволнованных страстей, но и товарищи по профессуре, по редакции, по литературе. Для всех имя Чупрова было чем-то очень дорогим, много говорящим сердцу, вызывающим умиление и рой чудных воспоминаний и впечатлений. И не даром К. К. Арсеньев в «Вестник Европы», приветствуя А. И. Чупрова с исполнившимся 25-летием его ученой писательской деятельности, утверждал, что Александр Иванович является в наши дни тем, чем были в свое время Грановский и Кудрявцев в Москве, Мейер—в Казани, Каченовский—в Харькове, Павлов—в Киеве, Кавелинг—в Петербурге: «учителем и наставником во всем и самым широким смысле слова, живым примбором служения наук неотделимо от жизни».

Когда в 1897 году Чупров приезжал в Петербург для участия в прениях в вольном экономическом обществе по поводу изданной им вместе с А. С. Посниковым книги «Влияние урожая и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» и когда на авторов этой работы посыпались многие недостойные нарекания, вплоть до заподозрения в своекорыстной угодливости тогдашнему всемогущему министру финансов С. Ю. Витте, почитатели московского ученого устроили в его честь банкет, на котором один из ораторов остроумно заметил, что

нападки на Александра Ивановича напоминают до некоторой степени судьбу Аристиды, за изгнание которого из отечества афиняне только потому давали свой голос, что им надобно слышать со всех сторон отзывы о его честности и безукоризненности.

Старый товарищ А. И. Чупрова по редакции «Русских Ведомостей» профессор Д. Анучин так определяет его духовный облик и его значение для окружающих («Р. В.», № 47):

«Как о человеке, об Александре Ивановиче можно говорить много, но можно сказать и кратко: это был один из лучших людей во всех отношениях, воплощавший в себя лучшие и благороднейшие черты человеческой природы и индивидуальности. Он мог сказать о себе: homo sum et nihil humanum a me alienum puto. Чего только он не знал, чем не интересовался, какая была у него широта ума и глубина чувства! К нему обращались и из официальных, и из общественных сфер, он пользовался широкой известностью и у нас, и в кругах деятелей по политической экономии, статистике, сельскому хозяйству за границей. Массы людей обращались к нему за указаниями, советом, помощью, посылали ему свои печатные труды, искали с ним беседы, и никому он не отказывал в посильном указании, совете, поддержке. Когда он жил и работал в Москве, эта его общительность, готовность на помощь и на служение ближним отзывалась неблагоприятно на нем самом в том отношении, что отнимала у него массу времени, мешала его научной работе, подрывала его силы. Его увлекали в разные общества, приглашали к литературной работе, звали во всевозможные комиссии, искали беседы с ним, обращались к нему за советом и помощью, и он, безоглядно добрый и отзывчивый, не считал себя в праве отказываться, не отталкивал никого, не имел свободной минуты, вечно трудился, действовал, хлопотал, помогал. Если бы он продолжал жить такою жизнью, оставаясь у нас и в последние 8—9 лет, он, вероятно, давно бы сошел в могилу; сердце его отказалось бы служить, разорвалось бы от избытка дум, забот, огорчений». Его нравственный облик очень характерно обрисовывается из стихотворения, написанного им в альбом дочери, где выражает его взгляд на счастье, на природу, на труд, на отношения к людям. Стихотворение это появилось после смерти автора на страницах «Русских Ведомостей» (№ 65). Вот оно:

С О В Е Т Ы.

Коль хочешь жизнь прожить разумно и счастливо,
Старайся с ранних лет искать кс тому пути.
Вь богатств, почестях, вь забавлах светских
Надежных радостей, повбры, нельзя пайти.
Не пужно забывать: лишь ть залог счастья

Способны вѣрное довольство подарить,
 Которыхъ ни людей капризное участие,
 Ни злой судьбы игра не могутъ насъ лишить.
 Намъ къ счастью прочному открыты три дороги.
 Одна изъ нихъ: любить природы красоту,
 Цѣнить и солнца блескъ и грозныхъ бурь тревоги,
 Спокойный видъ долинъ, горъ дальнихъ высоту.
 Кто съ юныхъ дней привыкъ съ любовью и вниманьемъ
 Въ былинкѣ и прѣлѣхъ, во всемъ, что видитъ глазъ,
 Подмѣтить прелесть формъ и жизни трепетанье,
 Тотъ чистыхъ радостей всегда хранитъ запасъ.
 Другой есть путь къ тому жъ, то—трудъ имѣть любимый.
 Въ искусствѣ, ремеслѣ, въ познаніи наукъ,—
 Вездѣ бродящихъ силъ заложъ неистощимый,
 Когда съ охотой имъ мы отдаемъ досугъ.
 Кузнецъ или камнетесъ возьмутъ ли молотъ въ руки,
 Или пахарь на зарѣ спѣшитъ съ своей сохой,
 Хоть тяжекъ ихъ удѣлъ, они не знаютъ скуки,
 Въ успѣхъ дѣла простыхъ ихъ счастье и покой.
 Умѣть любить людей и въ радости и въ горѣ,
 Съ участьемъ дружескимъ невзгоды ихъ дѣлить,
 Въ привѣтѣ, въ дѣйствіяхъ, или въ братскомъ разговорѣ
 Умѣть всегда себя съ другой душою слить,—
 Вотъ новый къ счастью ключъ: онъ тоже въ нашей волѣ.
 Кто ключъ тотъ къ двумъ другимъ заботливо примкнуть,
 Тотъ дней своихъ череду при великой въ жизни долѣ
 Спокойно, весело и съ пользой проведетъ.

Успенское,
 17-го августа 1893 г.

Доброта Александра Ивановича и его отзывчивость къ чужому горю и бѣдѣ были безконечны. Достаточно сказать, что около подъѣзда дома, гдѣ онъ жилъ, всегда толпились бѣдняки, ожидавшіе его выхода, зная, что въ карманѣ профессора для нихъ приготовлена мелочь, которую онъ и спѣшилъ разсовать ожидающимъ его, прося только, чтобы они не шумѣли, не ссорились изъ-за подаанія и не причиняли окружающимъ беспокойства. И пишущему эту краткую некрологическую памятку пришлось въ жизни испытать удивительную отзывчивость Александра Ивановича, воспользоваться ею и до извѣстной степени спасти тѣмъ одно общественное дѣло.

Это было въ 1896 году, когда, по службѣ въ одномъ частномъ желѣзнодорожномъ правленіи, мнѣ пришлось совершенно неожиданно для себя быть командированнымъ въ Москву для обслѣдованія ея въ торгово-промышленномъ отношеніи, въ цѣляхъ желѣзнодорожнаго строительства. Посылка въ Москву специальной экономической комиссіи, программа ея бу-

душихъ работъ держались правленіемъ почему-то въ глубокой тайнѣ, той тайнѣ, которая обыкновенно имѣть задачей всѣхъ перемудрить и создать нѣчто неожиданное, глубоко-остроумное и изъ чего никогда ничего не выходить серьезнаго. И вотъ послѣ того, какъ «программа обслѣдованія» была утверждена, составъ комиссіи опредѣленъ и председатель ея назначенъ, дѣйствующимъ лицамъ было наконецъ объявлено о выѣздѣ комиссіи на работу на слѣдующій день, причемъ указано, что съ задачами работы они ознакомятся на мѣстѣ. Въ курсѣ дѣла былъ только председатель комиссіи, человекъ очень неглупый, образованный, но не имѣвшій за собою никакого опыта въ дѣлѣ статистико-экономическихъ обслѣдованій. И вотъ въ знойный июньскій день комиссія очутилась на мѣстѣ дѣйствія, ознакомилась съ обширнѣйшей программой, которую надо было выполнить, и... замерла въ неизвѣстности, съ чего начать свою работу, какъ ее производить, къ кому обратиться за помощью, содѣйствіемъ и указаніями. Положеніе получалось въ высшей степени глупое и безнадежное. Меньше всего въ курсѣ вопроса оказался самъ чудакъ-председатель. Два дня мы протоптались на мѣстѣ, проводя время въ безконечныхъ преніяхъ, не относящихся къ дѣлу и по обычаю русскихъ людей главнымъ образомъ за дѣвствующихъ «личности». Одинъ изъ членовъ комиссіи собирался уже телеграфировать въ Петербургъ съ просьбой объ отозваніи его и съ докладомъ, что при настоящемъ положеніи дѣла изъ работы комиссіи ничего толковаго, кромѣ скандала, выйти не можетъ. Но въ этотъ самый критическій моментъ мнѣ пришла въ голову счастливая мысль: въ Москвѣ имѣется Александръ Ивановичъ Чупровъ, съ которымъ я нѣсколько знакомъ, и если онъ еще не уѣхалъ на лѣто куда-нибудь, то дѣло поправимо. Онъ поможетъ, выведетъ и поставитъ. Председатель запротестовалъ противъ моего намѣренія обратиться къ ученому профессору, но другого выхода не было, и я, несмотря на протесты, поѣхалъ отыскивать Александра Ивановича. На мое счастье, онъ еще оказался въ городѣ, но накануне отъѣзда, такъ что мнѣ удалось съ величайшимъ трудомъ перехватить его и изложить горестное и безнадежное положеніе желѣзнодорожной комиссіи. Профессоръ завоновался: что онъ можетъ существеннаго для насъ сдѣлать, когда его чемоданы уже уложены, билеты взяты, а тутъ еще въ послѣдніе часы его разрываютъ на части! Тѣмъ не менѣе онъ согласился ознакомиться съ программой, обдумать ее и дать соотвѣтствующія указанія, для чего пригласилъ заѣхать къ нему вечеромъ.

И дѣйствительно, въ то короткое время, которое было въ его распоряженіи, Александръ Ивановичъ выяснилъ все самымъ обстоятельнымъ образомъ по всѣмъ многочисленнымъ рубрикамъ вопросовъ обслѣдованія, отмѣтилъ, гдѣ можно получить по нимъ соотвѣтствующія статистическія данныя, къ кому для сего надо обратиться, далъ разрѣшеніе широко поль-

зоваться своим именем, короче—поставил совершенно чуждое ему дѣло на твердую почву, далъ ему направление, толчок и движеніе. Мы въ полномъ смыслѣ слова были спасены и, только благодаря его мягкой отзывчивости, не допускавшей возможности отказа, разъ идетъ вопросъ о помощи въ нужномъ случаѣ, получили возможность привести въ Петербургъ нужный желѣзнодорожному правленію статистическій матеріалъ.

Прошло послѣ того нѣкоторое время, и вотъ мнѣ снова пришлось обратиться къ Александру Ивановичу тоже съ ходатайствомъ, но уже по совершенно другому случаю и съ отрицательнымъ на этотъ разъ исходомъ въ моихъ исканіяхъ. Въ Петербургѣ въ одномъ литературномъ кругѣ, изъ котораго многіе нынѣ уже отошли въ вѣчность, возникла идея изданія газеты. Люди собирались, толковали, обдумали программу, установили направление, намѣтили администрацію и выбрали для соотвѣствующихъ отдѣловъ завѣдующихъ ими и сотрудниковъ. Все на бумагѣ и словахъ было готово, и остановка была за однимъ немногимъ, обо что шлохъ да рядомъ разбираются многія и многія пылкія мечты и благія пожеланія, а именно за прѣзрѣннымъ металломъ. Даже возможность получения разрѣшенія на предполагаемое изданіе казалась вполне вѣроятной, но вотъ: откуда взять необходимаго для издательскаго дѣла средства? Хотя много было говорено относительно организаціи работы съ вознагражденіемъ ея изъ «будущихъ барышей», но все же безъ основного фонда, хотя бы въ десятокъ-другой тысячъ рублей, невозможно было и думать приступить къ дѣлу. Задача присканія этого фонда между прочимъ возложена была на меня, которому въ будущемъ литературномъ предпріятіи, помимо сотрудничества, предназначалась видная административно-хозяйственная и организаторская роль. Въ числѣ мѣстъ, куда мнѣ рекомендовалось обратиться, называлась и Москва, гдѣ, по словамъ опытныхъ и свѣдущихъ людей, всегда можно найти пайщиковъ-издателей. Петербургъ городъ сотрудниковъ и литературныхъ работниковъ, а Влѣкокаменная—спеціальное средоточіе капиталистовъ-издателей, тароватыхъ на поддержаніе журнальных предпріятій. Гдѣ тамъ найти такихъ благодѣтелей, въ чьихъ карманахъ къ услугамъ писателей лишнія ассигнаціи, не указывалось, но самая реальность и правдивость таковой легенды не оставалась въ подозрѣніи. Обдумывая, къ кому изъ москвичей обратиться за указаніемъ нужнаго денежнаго центра, я случайно встрѣтился на Невскомъ съ А. И. Чупровымъ, который прѣхалъ въ Петербургъ по какому-то учено-общественнымъ дѣламъ. Узнавъ, гдѣ онъ остановился, я къ нему и направился, въ полной увѣренности, что если любимецъ и самый популярный человекъ Первопрестольной мнѣ не поможетъ, то всякія легенды о московскихъ меценатахъ пустые разговоры. Профессоръ встрѣтилъ меня по своему обыкновенію чрезвычайно пріятливо и ласково, выслушалъ внимательно дѣла моего

пробытія, задалъ нѣсколько вопросовъ по существу дѣла и его деталямъ и въ концѣ концовъ, сначала грустно задумавшись, мягкимъ, задушевнымъ голосомъ сказалъ:

— Нѣтъ, не просите меня и не настаивайте на моей помощи и содѣйствіи. Вы знаете, я отказывать не умѣю, а тутъ еще вы и товарищи можете подумать, что я, отклоняя отъ себя вашу просьбу, опасаясь конкуренціи для «Русскихъ Вѣдомостей». Могу васъ увѣрить, что личныя соображенія тутъ никакой роли не играютъ. Я просто не вѣрю въ осуществимость вашего замысла, и не потому, что не считаю васъ и лицъ, вами названныхъ, способными для организаціи и веденія большого литературнаго предпріятія, а потому, что убѣдился въ неблагопріятности для этого даннаго момента. Вы сами знаете, какое тяжелое время переживаетъ печать и какъ ея положеніе шатко, неопредѣленно и зависитъ отъ произвола лицъ, въ вѣдѣніи которыхъ она находится. Если мы, въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», работая при относительно благопріятныхъ обстоятельствахъ, и то не увѣрены въ прочности и безопасности нашего завтрашняго дня, то вы всѣ, новые люди, дѣйствуя на самыхъ глазахъ правительства, очевидно, не выдержите нужнаго курса и вынуждены будете или «перемѣнить направленіе», или подвергнуться закрытію и запрещенію. Въ обоихъ случаяхъ я буду отвѣтственъ передъ тѣмъ, кому я бы могъ васъ рекомендовать, и въ конечномъ результатѣ для всѣхъ наступитъ разочарованіе и крушеніе свѣтлыхъ надеждъ. Зачѣмъ же искусственно и напередъ зная, что случится, создавать въ жизни ненужное горе? Ваши намѣренія прекрасны, достойны сочувствія и уваженія, но они не опираются на твердыхъ основахъ, и я по необходимости—вынужденъ устраниваться. Повторяю, я отказывать не умѣю, но не насиливаю меня и освободите отъ непосильной для меня задачи; при этомъ, если вы передадите вашимъ товарищамъ о нашей бесѣдѣ, убѣдительно прошу васъ разъяснить имъ истинныя побужденія, руководящія мною въ данномъ случаѣ, и отсутствіе съ моей стороны какихъ-либо невысказанныхъ соображеній.

На этомъ кончился нашъ разговоръ; я, конечно, «не настаивалъ»—вопросъ былъ исчерпанъ—и удалился, храня съ умиленіемъ образъ человека, отклонившаго просьбу. И посейчасъ, когда я готовлю свою настоящую книжку къ отдѣльному выпуску, передо мною, какъ живое, вырисовывается лицо Александра Ивановича съ умными, задумчиво-грустными очами, одухотворенными какимъ-то особеннымъ, ласкающимъ свѣтомъ, слышится его тихая, плавная и задушевная рѣчь... Перебирая въ умѣ значительное количество разныхъ людей, съ которыми жизнь такъ или иначе меня сводила, мнѣ кажется, что я видѣлъ настоящаго праведника на землѣ, одного изъ тѣхъ людей, про которыхъ сказано въ священномъ писаніи: блаженни чистіи сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ.

До некоторой степени именно этим отличительным признаком духовного облика покойного ученого можно объяснить тот взрыв общей скорби, который проявился в нашем обществе, когда из Мюнхена пришло печальное известие о кончине А. И. Чупрова.

Стоит только просмотреть номера «Русских Ведомостей» съ 26-го февраля и в течение всей первой половины марта за 1908 год, чтобы убедиться, какое громадное количество отдельных лиц, разных групп, общественных и ученых учреждений откликнулось на грустное событие и в каких благоговейных выражениях все постыжились выразить одушевляющих их чувства по адресу почившего общественного деятеля и ученого исследователя нужд народной жизни. Во всех сочувственных письмах, телеграммах, статьях звучит один общий мотив: Россия лишилась одного из своих лучших сынов, который был ее украшением, славой и гордостью.

Поэтому необыкновенно торжественно, при громадном стечении народа протекали и похороны Александра Ивановича, по прибытии его тела в Москву в печальном вагоне из-за границы 4-го марта. Отпевание происходило в университетской церкви, куда собрались многочисленные депутации из разных городов и от разных учреждений съ вѣнками при соответствующих надписях. Отпевание закончилось около двѣнадцати часов, и въ началѣ первого часа гробъ съ останками А. И. вынесли из церкви ректоръ университета А. А. Мануиловъ, деканъ юридическаго факультета А. С. Алексѣевъ, профессора М. М. Ковалевскій, А. С. Посниковъ, К. А. Тимирязевъ, Д. Н. Анучинъ и друг. Гробъ поставили на колесницу, и похоронный corteжъ направился по Большой Никитской, чрезъ Кудринскую площадь, Прѣсеней, къ Ваганьковскому кладбищу. Процессію открывали пять слѣдовавшихъ одна за другою колесницъ съ вѣнками. Много вѣнковъ, кромѣ того, было размѣщено на колесницѣ по сторонамъ гроба. Громадный хоръ изъ студентовъ и учащихся женщинъ, идя передъ гробомъ, всю дорогу пѣлъ «Святый Воже». За гробомъ шли родственники покойнаго, большинство изъ присутствовавшихъ при отпѣваніи и громадная толпа почитателей и учащихся. Процессія, въ которой участвовало нѣсколько тысячъ человекъ, замыкаясь вереницей экипажей, растянулась на значительное протяженіе. Всю дорогу царилъ полный порядокъ, поддерживаемый самими участниками процессіи, образовавшими по сторонамъ ея двигавшуюся длинную непрерывную цѣпь. На всемъ пути слѣдованія corteжа стояли группы любопытныхъ. Движеніе экипажей и конокъ временно пришлось прекратить. Только въ два съ половиною часа для процессіи приблизилась къ вратамъ кладбища, но задолго до этого часть кладбища около мѣста могилы А. И. Чупрова была уже заполнена представителями ученаго и литературнаго міра, различными депутатами и учащимися. За полчаса

до прибытія тѣла прибыли колесницы съ вѣнками, и послѣдніе были перенесены студентами и курсистками, шедшими попарно къ склепу. Гробъ съ тѣломъ А. И. подняли съ колесницы студенты и послѣ литіи, совершенной мѣстнымъ духовенствомъ у воротъ кладбища, перенесли къ приготовленной могилѣ.

Въ два часа сорокъ пять минутъ для похоронная процессія приблизилась къ могилѣ, и въ нее былъ опущенъ гробъ. По совершеніи литіи надъ раскрытой могилой послѣдовали рѣчи. Говорили на могилѣ С. А. Муромцевъ, ректоръ университета А. А. Мануиловъ, П. Н. Милоковъ, проф. А. С. Посниковъ, проф. Д. Н. Анучинъ, проф. Н. А. Каблуковъ, бывшій депутатъ И. Ѳ. Савельевъ, М. Е. Шатерниковъ, П. А. Садыкинъ, студентъ г. Мининъ, С. И. Васюковъ и друг. Отъ лица періодической печати и литературы произнесъ слово И. М. Поповъ, сказавшій:

«Отъ лица русской печати и двухъ ея обществъ—дѣателей періодической печати и литературы и кассы взаимопомощи ученыхъ и литераторовъ—я пришелъ сюда поклониться не только высокоталантливому профессору, выдающемуся общественному дѣятелю и обаятельному человѣку, но и публицисту, тѣсно связанному съ нашей печатью. Покойный дорогъ всей Россіи, какъ это указали предыдущіе ораторы, но онъ особенно дорогъ и намъ, дѣтелямъ печати. Почти полувѣковая его дѣятельность тѣсно связана съ тѣмъ органомъ печати, который и въ моменты упадка общественнаго настроенія, и во время подъема его высоко держалъ знамя русской печати, русской общечеловѣчности. Со временъ эпохи великихъ реформъ это знамя ни разу не склонилось, ни разу не было забрызгано грязью, и среди рукъ, держащихъ это знамя, были одними изъ самыхъ сильныхъ руки А. И. Чупрова. Онъ въ области повременной печати служилъ истинѣ и правдѣ, и въ то же время во главу угла своей многосторонней дѣятельности онъ поставилъ интересы народа. Всего три недѣли тому назадъ раздался его голосъ въ защиту народныхъ интересовъ отъ тѣхъ экспериментовъ, посредствомъ которыхъ стараются привить народу чуждые ему формы. Представитель рабочиихъ ярко обрисовалъ его отношеніе къ интересамъ трудового крестьянства и рабочиихъ. Съ не меньшимъ вниманіемъ онъ относился и къ интересамъ печати. Къ печати онъ заповѣдывалъ намъ приступать съ открытымъ сердцемъ и чистыми руками. Этого завѣтъ мы свято сохранимъ, а грядущія поколѣнія сохранять память дорогаго публициста А. И. Чупрова. Тихо спи, нашъ дорогой учитель, дорогой товарищъ. Память о тебѣ не умретъ въ грядущихъ поколѣніяхъ, и они будутъ высоко держать то знамя, которое ты пропелъ чистымъ до могилы».

Добрымъ памятникомъ жизни и дѣятельности А. И. Чупрова явилось трехтомное изданіе его «Рѣчей и статей», изъ ознакомленія съ которыми читатели получаютъ обстоятельное понятіе о высокомъ нравственномъ обликѣ покойнаго московскаго профессора и общественнаго дѣателя.

М. В. ШЕВЛЯКОВЪ.

Никогда еще въ моей литературной практикѣ не приходилось мнѣ писать веселаго некролога, а вмѣстѣ съ тѣмъ это такъ. Когда я оплакивалъ своего товарища по журналу и по перу, только что скончавшагося Михаила Викторовича Шевлякова, и нынѣ вспоминаю этого милаго человека, одновременно и слезы навертываются на глаза, и улыбка скользитъ по губамъ. Трагедія смерти и юморъ жизни тутъ тѣсно переплетаются, мракъ небытія разсвѣтается подъ игривыми лучами жизни... Шевляковъ скончался въ страшныхъ страданіяхъ, посѣщавшіе его въ больницѣ воочию видѣли эти страданія, слышали его рѣчи о близкомъ наступленіи послѣдняго часа и вмѣстѣ съ тѣмъ, глотая слезы, улыбались тѣмъ шуткамъ и остроуміямъ, которыми онъ по своему обыкновенію перемѣшивалъ жалобы на свое состояніе духа и тѣла. Своимъ духовнымъ образомъ, складомъ ума и литературными симпатіями онъ всего болѣе подходитъ къ той плеядѣ писателей, въ которой числятся Д. Минаевъ, Месжининовъ, князь Кугушевъ и нѣкоторые другіе, оставившіе въ памяти современниковъ и знавшихъ ихъ слѣдъ юмористическаго отношенія къ себѣ, къ жизни, ко всему окружающему. Всякое явленіе, всякій образъ, мелькавшіе передъ ними въ пестромъ kaleidoscope жизни, непремѣнно освѣщались ими лучами юмора и отражались на фотографической пластинкѣ ихъ литературнаго творчества въ смѣхотворномъ видѣ, но безъ всякаго элемента здѣсь злобы, обиды или какого-нибудь другаго чувства. Принадлежа къ той же породѣ юмористовъ, покойный Шевляковъ съ веселой улыбкой на лицѣ вступилъ на жизненное поприще труда и съ тою же улыбкой сходилъ въ вѣчность. Хотѣлось страшно жить, его полные испуга и моленія глаза устремлялись къ окружающимъ, приковывались къ Возжественному образу, изъ груди вырывались стенанія, вырывался хлопочущій кашель, сотрясавшій все его тучное тѣло, и рядомъ

съ этимъ съ устъ срывались безобидныя шутки, губы шептали шуточный экспромтъ.

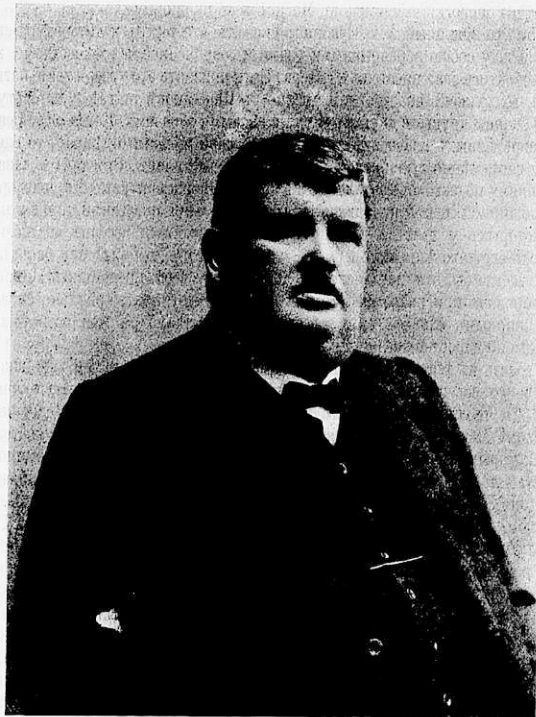
М. В. Шевляковъ родился въ Петербургѣ 18-го апрѣля 1866 года. Покойный былъ скупъ на автобіографическія свѣдѣнія, не оставилъ по этому предмету никакихъ слѣдовъ въ своихъ произведеніяхъ, и даже близкіе ему люди не въ состояніи были дать отвѣта, какъ протекло его дѣтство, подъ какими воздѣйствіями онъ развивался, что представляли собою его родители. Извѣстно только, что отецъ его былъ педагогомъ, служилъ по министерству народнаго просвѣщенія и былъ причастенъ къ литературѣ, работая въ «Чтеніи для солдатъ», въ «Духѣ Христианина» и въ знаменитой въ своемъ родѣ «Домашней Бесѣдѣ» пресловутаго В. И. Аскоченскаго, коего онъ былъ ближайшимъ помощникомъ, да, кажется, и единственнымъ сотрудникомъ. Отецъ не пожелалъ почему-то опредѣлять своего сына въ какое-либо учебное заведеніе, но зато далъ ему солидное домашнее образованіе, гдѣ серьезное вниманіе было обращено на изученіе новѣйшихъ языковъ—французскаго и нѣмецкаго, что, несомнѣнно, послѣдствіемъ сыграло въ жизни Михаила Викторовича крупную роль, давъ ему возможность легко справляться съ переводами на русскій языкъ европейскихъ оперетокъ по преимуществу. Уже шестнадцать лѣтъ отъ роду М. В. вступать на литературное поприще, и въ 1881 году мы видимъ его въ теченіе многихъ лѣтъ ревностнымъ и постояннымъ сотрудникомъ «Петербургскаго Листка», гдѣ онъ въ стихахъ и въ прозѣ помѣщаетъ длинный рядъ веселыхъ сенокъ, печатаетъ статьи по вопросамъ обывательскаго дня, развлекаетъ читателей анекдотами, шутками и пародіями.

Послѣ «Петербургскаго Листка» его имя часто встрѣчается въ газетахъ «Русская Жизнь», «Виржевыя Вѣдомости», «Свѣтъ», «Русь», также на страницахъ еженедѣльныхъ изданій: «Родина», «Живописное Обзоріе», «Звѣзда» (изд. Комарова), «Суфлеръ», «Театральный Мірокъ» или въ сжатыхъ мѣсячникахъ «Колосъ», «Кавказскій Вѣстникъ», «Новое Слово» (изд. Баталина), «Артистъ», «Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ», а съ 1889 года мы видимъ его нерѣдкимъ гостемъ и журнала «Историческій Вѣстникъ». Изъ числа работъ, напечатанныхъ здѣсь, заслуживаютъ особеннаго вниманія статьи «Среди пилигримовъ» (путевыя впечатлѣнія), рассказы о Гоголѣ, о Кукольникѣ, монографія о попечителѣ петербургскаго учебнаго округа М. Н. Мусинѣ-Пушкинѣ, «Мировой судья Трофимовъ», «Исторія насажденія трезвости» и друг. За послѣднее время онъ представилъ редакціи «Историческаго Вѣстника» очерки о русскихъ чудакахъ и оригиналахъ, къ которымъ онъ по свойству своего веселаго характера питалъ особенную любовь—о Я. И. Лихачевѣ, Н. И. Богдановскомъ и М. В. Лентовскомъ и др.

Уже из перечня статей, помещенных в «Историческом Вѣстникѣ», мы видим, по какому адресу склонялись его вниманіе и симпатіи; это — люди русскаго оригинальнаго ума и чудачества, къ каковымъ онъ всецѣло и самъ принадлежалъ. Русское чудачество, гдѣ носители его отклоняются отъ обычнаго житейскаго трафарета и выходятъ за рамки шаблона, были особенно близки его сердцу. Тутъ онъ слышалъ и тоску большой больной души, усматривалъ широту разгульнаго размаха и добродушно отмѣчалъ комизмъ положенія, въ которое попадали незаурядные люди, благодаря свойствамъ своихъ характеровъ и стеченію тѣхъ или иныхъ жизненныхъ обстоятельствъ. Онъ любилъ страстно русскій умъ, русское мѣткое слово и даже русскую безалаберность, отечественную безтолочь. И вотъ всѣ эти черты нашей дѣйствительности съ какой-то особенной любовью запечатлѣвались имъ на его литературномъ широкомъ полотнѣ, кусочки котораго онъ щедрою рукою разбрасывалъ по разнымъ мелкимъ изданіямъ. Эти кусочки, если бы кто ими заинтересовался, можно найти въ его отдѣльных изданіяхъ «Попурри» (сцены для сцены), «Не въ бровь, а въ глаза», «Нервъ веселья», «Недалекое прошлое и близкое настоящее. Явленія русской жизни въ характеристикахъ и эпизодахъ» и другихъ книжкахъ.

Отдѣльно стоять его изданія «Среди звѣрей. Русскія сказки» (изъ жизни домашнихъ и дикихъ животныхъ), гдѣ опять-таки элементъ юмора выдвигается на первый планъ. Составлено имъ также не лишнее интереса изслѣдованіе «Поцѣлуй съ точки зрѣнія фیزیологической, гигиенической, исторической, этнографической, гипнотической, филологической и проч.». Помимо произведеній оригинальныхъ имъ были проредактированы и напечатаны на страницахъ «Историческаго Вѣстника» съ его предисловіемъ воспоминанія артистовъ А. А. Алексѣева, А. А. Нильскаго, театральнаго антрепренера Н. И. Иванова. Но особенно плодотворно поработалъ М. В. Шевляковъ на пользу русскаго веселаго театра. Имъ было написано немало театральныхъ водевилей и фарсовъ, часть которыхъ была издана отдѣльными книжками, а часть можетъ быть найдена въ литографированныхъ изданіяхъ С. Ө. Разсохина. Среди этихъ пьесъ особеннаго вниманія заслуживаютъ фарсы «День изъ жизни покойника» и «Соль къ ссорѣ». Послѣднія пьесы съ успѣхомъ идутъ и до сихъ поръ на провинціальныхъ сценахъ, а также еще недавно были исполняемы на театральныхъ подмосткахъ дворцовыхъ круговъ.

Работая плодотворно на пользу оригинальнаго театра, Шевляковъ въ свое время послѣ Александрова-Крылова оставилъ въ исторіи нашего театра видный слѣдъ, какъ переводчикъ иностранныхъ оперетокъ, которыхъ имъ было переведено и даже инсценировано нѣсколько десятковъ. По свидѣтельству редакціи «Обозрѣнія Театровъ» — «всѣ лучшія оперетки переведены именно



Михаилъ Викторовичъ Шевляковъ.

имъ. Его переводы отличаются прежде всего большою литературностью и полнымъ знаніемъ условій сцены. Потому его оперетки всегда сценичны, всегда смотрятся съ неслабымъ интересомъ. До пѣнія петербургскаго опереточнаго театра Иваномъ Ярономъ Шевляковъ былъ желаннымъ гостемъ в. в. галичскій.

стем и в петербургских опереточных антрепризах. В последнее время его оперетки ставились в Москве и в провинции.

Как-то покойный А. С. Суворин сказал, что театр и литература связаны между собою неразрывными узами и современное человечество не может обойтись без писателя и актера. Если признать это утверждение истинным, то должно сказать, что именно в Шевляков театр и литература были спаяны друг с другом самым тесным образом. Когда он писал в повременных изданиях или издавал свои писания отдельно, то слово *сцена* непременно выдвигалось у него на первый план. Он так и давал писанному подзаголовку «Сцена для сцены». Вся жизнь как бы рисовалась ему обширной сценой, где люди являются веселыми личностями, при взгляде на которых у зрителя должно невольно рождаться веселое настроение. Отсюда его тяготы к оперетке и к анекдоту, который при беседе с ним всегда был у него наготове. Я не могу себя представить Михаила Викторовича при разговоре с ним без анекдота, часто обильно смазанного жирным слоем «сала», без веселого каламбура или остроумного эпитета по адресу того лица, о ком шла речь.

Страсть к театру проснулась в Шевляков очень рано, и уже вскоре после его вступления на литературное поприще мы видим нашего писателя в числе действующих лиц некоторых антреприз, главным образом Мерянского. Равным образом выступать он на подмостках и некоторых пригородных театров, преимущественно в роли комиков, протагонов. Пробовал он свое счастье и на пути личного предпринимательства, но, кажется, довольно неудачно. В 1901—1902 гг. он с В. И. Раммом издавал в Петербурге театральную газету «Эхо Сезона». Так между газетой, журналом и сценой протекала недолговечная жизнь этого веселого, добродушного и даровитого голяка. Работал он много, упорно и добросовестно и — увы! — по свойству своего характера по преимуществу по ночам, что, повидимому, и сыграло роковую роль в его печальном конце. Усиленная работа при природной склонности к ожирению сдвигала свое дело: рано образовался миокардит (перерождение сердечных мышц), который, развиваясь прогрессивно, за недосугом заняться серьезно своим лечением, в конце концов и свел его преждевременно в могилу.

Я по возможности полно для краткого очерка отметил главнейшие работы Шевлякова в области веселого творчества, но у него в жизни была еще одна область, которую он бережно лелял и разрабатывал без всякой надежды использовать ее мало-мальски плодотворно в практических целях. До мозга костей по всем свойствам своей природы русский коренной человек, М. В. Шевляков страстно любил свою родину, ее историческое прошлое, ее бытовое настоящее, ее этнографию, природу и проч. Не

мало исколесив лицо родной земли, побывав в разных наслоениях ее живого народа, в толщах народных, он с любовью и внимательно заносил в свою записную книжку услышанное, прочитанное и виденное. Отсюда получился громадный наблюдательный материал, обнимающий собою «пределы отечества». Вот это-то материал им в течение долгих годов тщательно разрабатывался, сортировался, классифицировался по разным рубрикам и разносился в картонки по систематическому словарю. Отсюда получился настоящий обширный русский энциклопедия, которой Михаил Викторович и дал своеобразное заглавие «Пределы отечества». Эта работа постоянно им пополнялась, обновлялась и велась до последнего года жизни. Она его очень озабочивала, и еще за несколько месяцев до своего тяжелого положения он обращался ко мне с просьбой поближе ознакомиться с его трудом и помочь его «пристроить», то есть найти издателя, который взял бы на себя риск напечатания этой энциклопедии. Но помочь ему этим-нибудь при жизни я не был в состоянии, и он с тоскою уже на одр болельщиков говорил окружающим:

— Ах, да, вѣдь, я знаю, — не дожить мне до издания этой книги!.. А сколько труда на нее положено!.

Даже за несколько, можно сказать, часов до своей смерти в разговоре со мной Шевляков все опять возвращался к той же теме об издании его энциклопедии, прося, чтобы этот вопрос не заглох, хотя бы «после него». Исполняя волю усопшего и обращаясь к организациям, которые кичатся тем, что стоят на страже русских интересов. Вот им блестящий случай осуществить эти интересы не только в громких словах, но и на деле для России и на пользу осиротевшей семьи, оставшейся без всяких средств к существованию. Тут идет вопрос не о простом меценатстве, но о продуктивном (с барышом) использовании богатого наследия, оставленного русским человеком, любившим свою родину, потрудившимся для нею и желавшим своим трудом принести ей благо.

Как я уже говорил, Шевляков был добродушный, незлобивый человек, вносящий и в свою работу, и во все свои жизненные пережитки элемент юмора и здорового смеха. Кстати, мне попался в руки «Альманах Уродна на 1913 год», где сказано, что это издание выпущено «для людей, желающих быть здоровыми». И действительно, тут рядом с элементом рекламы, медицинскими советами напечатан и целый ряд веселых рассказов, назначение которых поднять, так сказать, жизнерадостный дух больных. И вот в числе юмористических рассказов с таким их назначением из числа произведений русских писателей два раза встречаются небольшие рассказы именно Михаила Викторовича.

Онъ всегда шутилъ и въ своей корреспонденціи съ знакомыми, и какъ актеръ на сценѣ, какъ товарищъ на собраніяхъ, и просто какъ обыватель, любившій воочию убѣдиться, насколько люди способны попадаться на всякую глупость. Вотъ онъ пишетъ письмо своему пріятелю, эконому воспитательнаго дома, игравшему въ любительскихъ спектакляхъ подъ псевдонимомъ Новгородскаго. Запечатывая письмо, онъ адресуетъ его:

Найти адреса просто:
Мойка, у Краснаго моста,
Зданіе воспитательнаго дома,
Квартира эконома.

Играя какъ-то въ пьесѣ «Помолвка въ Галерной гавани» одного изъ чинowników, онъ сказалъ на сценѣ такой экспромтъ:

Дай Богъ, чтобъ жизнь твоя шла просто,
Чтобъ дѣтокъ было бы штукъ до ста,
Полста твоихъ, полста жены...
Мы для труда всѣ рождены.

Въ драмѣ Дьяченка «Князь Серебряный» Шевляковъ изображалъ Максимушку, сына Малюты Скуратова. Передъ спектаклемъ онъ поспорилъ съ кѣмъ-то изъ публики, что въ этой русской драмѣ изъ временъ XVI вѣка онъ вставитъ непременно французскую фразу. И дѣйствительно, въ концѣ перваго акта, послѣ милостивыхъ словъ Іоанна Грознаго

— Дать ему сорокъ соболей на шапку!

Шевляковъ-Максимушка отвѣтилъ съ низкимъ поклономъ:

— Merci!

Всѣ эти «отсебятицы», кои-хъ, вѣроятно, можно было бы собрать немало; никогда не вызывали ни протестовъ театральной администраціи, ни тѣмъ менѣе публики, которая при всякой его сценической шуткѣ награждала исполнителя знаками одобренія и сочувственнаго хохота.

Шутя на сценѣ, любя артистическій міръ, онъ и по отношенію своихъ пріятелей-артистовъ всегда держался дружеской юмористической манеры обращенія, на которую братья-артисты, конечно, никогда не претендовали. Только вотъ однажды съ покойнымъ Рутковскимъ у Михаила Викторовича вышло недоразумѣніе. Этотъ опереточный премьеръ былъ очень суеверенъ, какъ, впрочемъ, и большинство актеровъ. Умираетъ кто-то изъ персонала театра «Буффъ»; труппа собрала деньги на вѣнокъ и поручила Рутковскому всѣ хлопоты. Рутковскій жилъ въ то время въ «Сералинской гостиницѣ», гдѣ одновременно проживалъ и Шевляковъ. Вѣнокъ изъ магазина принесъ мальчишка въ комнату премьеры въ то время, когда хозяинъ спалъ крѣпко послѣ обѣда на диванѣ, закрывши лицо платкомъ отъ мухъ, а у окна си-

дѣлъ Шевляковъ за чтеніемъ какой-то книги. Видя недоумѣніе принесшаго, куда положить вѣнокъ, Михаилъ Викторовичъ, кивнувъ въ сторону Рутковскаго, спокойно сказалъ:

— Клади на покойника.

Съ крикомъ ужаса вскочилъ мнимый усопшій со своего ложа, но еще съ большимъ крикомъ бросился за дверь вонъ мальчишка, видя «возставшаго изъ гроба покойника». Рутковскій обидѣлся на своего друга и почти цѣлый годъ съ нимъ не кланялся. Впрочемъ, случались веселые эпизоды, когда и самому Шевлякову приходилось бывать страдательнымъ лицомъ и тоже какъ будто нѣсколько обижаться. Такъ, въ жаркій солнечный июльскій день идетъ нашъ писатель по Чернышеву переулку съ женою, идетъ весь потный, толстый, красный и отдувающийся; подъ мышкою у него кипа книгъ. Навстрѣчу попадаетъ какой-то прилично одѣтый господинъ. По ровнявшись съ Шевляковымъ, посмотрѣлъ на него, и вдругъ—бухъ передъ нимъ на колѣни. Остолбенѣвшій Михаилъ Викторовичъ, попятившись, спрашиваетъ:

— Вы чего?

Господинъ набожно перекрестился и воскликнулъ:

— Спаси меня, Боже, отъ глада, мора и такой рожи!...

Шевляковъ разсердился, хлопнулъ стоявшаго на колѣняхъ господина по головѣ книгами и потребовалъ составленія протокола. Протоколъ былъ составленъ, но черезъ часъ Шевляковъ угощалъ случайнаго знакомаго шампанскимъ и сталъ его большимъ пріателемъ. Господинъ оказался богатымъ петербургскимъ домовладѣльцемъ, уже давно желавшимъ познакомиться съ оригиналомъ Шевляковымъ и избравшимъ для того такой необычный способъ. Чудакъ оцѣнилъ чудака.

Шутя съ артистами, съ товарищами по литературной профессіи, онъ примѣнялъ методъ шутки, и очень удачно, и въ дѣловыхъ своихъ отношеніяхъ, особенно когда приходилось имѣть дѣло съ представителями высшей бюрократіи. Такъ, когда суровый и взбалмошный предсѣдатель главнаго управленія по дѣламъ печати М. П. Соловьевъ по представленію здѣшняго цензурнаго комитета наложилъ на какой-то водевилъ Шевлякова запрещеніе, авторъ пошелъ съ нимъ объясняться. Войти въ кабинетъ, становиться къ столу и начинать пыхтѣть. Соловьевъ поднимаетъ голову и спрашиваетъ:

— Что вамъ угодно?

— Я человекъ больной, сырой, такъ сразу говорить не могу, позвольте сначала сѣсть.

— Садитесь.

Не прошло нѣсколькихъ минутъ, какъ кабинетъ огласился веселымъ смѣхомъ Соловьева, не прекращавшимся въ теченіе получаса, послѣ чего

Шевляков вышел в общую приемную с разрешенным к представлению экземпляром ведевиля в руках. Когда потом спрашивали Соловьева, почему он так смѣлся, он отвѣчал: «Анекдотам, которые рассказывали этот чудаки». На просьбу же повторить что-нибудь из рассказанного Соловьев махал руками, заявляя, что такие анекдоты рассказываются только с глазу на глаз. Когда же спрашивали самого Шевлякова, тѣмъ онъ такъ разсмѣшил Соловьева и смягчилъ его суровой приговоръ, онъ въ обычномъ добродушно-балагурномъ тонѣ отвѣчалъ:

— Ишь, чего захотѣли, чтобъ я выдавалъ свои секреты: мнѣ еще, быть можетъ, не разъ придется и не одного такого идола оболванивать! Они это любятъ!...

Съ другимъ начальникомъ главнаго управления по дѣламъ печати онъ проводилъ такой фокусъ. Ему вдумалось въ то строгое цензурное время издавать какую-то театральную газету, а надежды на получеіе разрѣшенія на издательство у него не было никакой. Съ Шаховскимъ онъ лично не былъ знакомъ. И вотъ онъ идетъ къ нему на приемъ, входитъ въ кабинетъ; шумно и грузно опускается въ кресло, весело смотритъ на вершителя судебъ русской журналистики и начинаетъ хохотать. Удивленный такому странному поведенію просителя, Шаховской спрашиваетъ:

— Виновать. Вамъ что собственно угодно?

— А я пришелъ вамъ попенять, князь... Нехорошо, нехорошо обманывать...

— Шаховской обомлѣлъ.

— Вы забываетесь, или вы—сумасшедшій...

— Э, нѣтъ, князь, неужели забыли, что обѣщали разрѣшить газету?

— Обѣщаль?... Я? Когда?... Я васъ въ первый разъ вижу...

— Ну, я такъ и зналъ, что отречетесь. Нехорошо!...

— Да вы когда прошеніе подавали?

— Прошеніе? Э-э, я не дуракъ подавать прошеніе, когда вы всѣмъ отказываете. Вотъ теперь, заручившись вашимъ согласіемъ, подамъ.

Князь Шаховской расхохотался, и черезъ два дня Шевлякову газета была разрѣшена.

Представъ однажды по какому-то отвѣтственному дѣлу передъ мировымъ судомъ, Шевляковъ привелъ въ свое оправданіе какое-то доказательство.

— Однако противная сторона утверждаетъ другое,—сказалъ мировой судья.

— Оттого-то она и «противная» по вашему справедливому утверждению, что она говоритъ неправду,—сказалъ Шевляковъ, и выигралъ дѣло.

Немало разныхъ остротъ и шуточныхъ мистификацій сохранилось въ связи съ именемъ Шевлякова въ памяти знавшихъ его. Онъ шутилъ мистифицировалъ и отдѣльных лицъ, и даже цѣлыя массы. Кажется, порядочную

дозу такихъ шутокъ и мистификацій связалъ онъ съ именемъ В. И. Рамма, въ соиздательствѣ съ которымъ онъ состоялъ по газетѣ «Эхо Сезона». Десять лѣтъ тому назадъ произошелъ большой издательскій крахъ В. И. Рамма. Задолженность его достигала двухъ миллионовъ рублей. Объ этомъ крахѣ всѣ говорили. А Раммъ сталъ работать въ «Виржевыхъ Вѣдомостяхъ». Завсегдатаемъ театра «Вуффъ» былъ присяжный повѣренный Хейфецъ, очень желавшій познакомиться съ разорившимся издателемъ. Какъ-то послѣ спектакля возвращается изъ «Вуффа» цѣлая компанія. Впереди идетъ Раммъ. Компанію нагоняетъ Хейфецъ и проситъ Шевлякова:

— Да познакомьте меня съ Раммомъ. Что вамъ стоитъ...

— Не могу,—говоритъ Шевляковъ.—Раммъ возгордился... Вступилъ въ компанію съ Пропперомъ.

— Въ компанію съ Пропперомъ!—удивился Хейфецъ.—На какихъ условіяхъ?

— На равныхъ... Пропперъ далъ два миллиона деньгами, Раммъ столько же долгами...

Хейфецъ сразу не сообразилъ и воскликнулъ:

— Вотъ видите, я всегда говорилъ, что Раммъ припряталъ много денегъ...

Во время русско-японской войны Шевляковъ какъ-то брился въ парикмахерской Круповича на Караванной. Ни съ того, ни съ сего начинается онъ рассказывать кому-то изъ публики, что въ три часа съ Николаевского вокзала на Балтійскій поведутъ плѣнныхъ японцевъ. А въ назиданіе потомству и чтобъ японецъ пересталъ бунтовать, ихъ поведутъ попарно, подъ конвоемъ женщинъ. И что же вы думаете? Эта брошенная въ публику глупость имѣла успѣхъ и получила распространеніе: въ три часа у Николаевского вокзала собралась толпа человекъ въ пятьсотъ въ ожиданіи торжественнаго шествія японцевъ. Впереди всѣхъ стоялъ волнующійся и жестикулирующій самъ Шевляковъ, поджигая тѣмъ пылъ одуряченныхъ.

Много можно было бы еще рассказать комическихъ эпизодовъ изъ жизни покойнаго, но того не позволятъ мнѣ недостатки мѣста. Ограничусь только лишь его отношеніями къ литературной братіи. Я не могу представить себѣ нашихъ тѣсныхъ собраній и юбилейныхъ обѣдовъ безъ веселаго анекдота, юмористическаго пассажа или ловкаго экспромта Шевлякова. Вотъ юбилей Сѣверцева-Полилова, и, имѣя въ виду нѣкоторые комическія стороны въ дѣятельности и характерѣ юбиляра, Шевляковъ пиншетъ за столомъ ему слѣдующій экспромтъ:

Хочу воспѣть я юбиляра,
Но мнѣ ничто не смѣя мѣшати!
Какъ онъ, такого экземпляра
Нельзя второго отыскати!

Как практик, он не взыскан небом,
Он в жизни много претерпѣлъ;
Он торговал сначала хлѣбом,
Потом без хлѣба сам сидѣлъ.
Он скромнѣе, тихе, не забѣлка,
Всегда семью, свой домъ любилъ,
Но... какъ бѣдливая собака,
Полжизни по свѣту бродилъ.
Он, одаренный всѣмъ богато,
Чтобъ славы хоть чуть-чуть вкусить,
Попавъ въ Италию когда-то,
Всѣхъ теноровъ хотѣлъ затмить.
Но тамъ его не оцѣнили,
И дѣло кончилось тѣмъ,
Что снова въ Питеръ протурили,
Давъ для расказовъ массу тѣмъ.
Хоть на него метали громы,
Но громъ—писателя печатъ,
И вслѣдъ за томою томи... томи...
Рождался и ползли въ печатъ.
Онъ весь въ чернила окупался,
Какъ мнихъ въ святительскій елей,
Но... милый Глинскій подвернулся
И вмѣстѣ состригали юбилей.

Вотъ юбилей Аполлона Коринфскаго, и Михаилъ Викторовичъ, мѣтко характеризую его и любовно пуская въ него сатирическую стрѣлу, пишетъ за обѣдомъ на меню юбиляру слѣдующее посланіе:

I.

Согласенъ будетъ всякъ со мной,
Кто вѣрнѣе такъ, какъ я, примѣтамъ:
Завѣщено самой судьбой
Ему быть истиннымъ поэтомъ.
Парнасъ приготовилъ тронъ,
Его въ свое пріемъ лоно...
Не только самъ онъ—Аполлонъ,
Но и рожденъ отъ Аполлона¹⁾.

II.

Его наружность такова,
Что производить впечатлѣнье:
Въ небрежныхъ кудряхъ голова,
Въ глазахъ—любовь и всепрощенье,

И цѣнны въ немъ еще весьма
Черты святого благородства,
Съ иконою древняго письма
Необъяснимое въ немъ сходство.

III.

Ужъ не секретъ ни для кого:
Поэтъ вино любить обязанъ,
Полетъ фантазіи его
Тогда лишь съ рѣмой будетъ связанъ.
Поэтъ, который плохо поетъ,
Души читательской не грѣтъ...
Самъ юбиляръ на этотъ счетъ
Другого мнѣнія не имѣетъ.

IV.

По совокупности примѣтъ,
Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнья,
Что это истинный поэтъ
Съ большимъ запасомъ вдохновенья.
Такъ за его здоровье пить
Давайте всѣ мы, не иначе...
Должны мы навеселѣть быть,
А юбиляръ тѣмъ напаче.

И на моемъ литературномъ праздникѣ 21 февраля 1912 г. покойный писатель сказалъ мнѣ веселое и ласковое стихотворное привѣтствіе.

Слушая экспромты Шевлякова, нѣкоторые иронически качали головами, говоря: «Экспромтъ хорошо накануне подготовленъ». Не знаю, подготавливалъ ли ихъ Шевляковъ; можетъ быть, доля искусственности и была въ его звучной версификаціи, но вотъ экспромтъ, который онъ ужъ никоимъ образомъ не могъ заранѣе подготовить, въ чемъ я и вижу доказательство вдохновенія ad hoc нашего сатирика-поэта. На юбилейномъ обѣдѣ Стверцеву-Полилову сидѣвшая противъ Шевлякова молодая писательница Л—ва громко развивала свои излюбленные темы о «проблѣмѣ половъ». Вокругъ поднятаго вопроса закипѣлъ споръ, а Шевляковъ только молча протянулъ ей ключокъ обѣденнаго меню, гдѣ было написано:

Не по душѣ мнѣ ваша школа,
Въ ней слишкомъ много уми затѣй...
Не изучавъ «проблемъ пола»,
Нажилъ я нѣсколько дѣтей.

Вспоминается мнѣ и одинъ «юбилейный» ужинъ «Историческаго Вѣстника». Собралось народу много и за бокаломъ игристой влаги потекли рѣчи, при-

¹⁾ Имя и отчество Коринфскаго—Аполлонъ Аполлоновичъ.

чем присутствовавшие, из которых одни имѣли большое тяготѣніе къ правымъ группамъ, а другіе къ лѣвымъ, всё единогласно и наперерывъ утверждали, что редакция журнала С. Н. Шубинскаго чрезвычайно «терпима» къ мнѣніямъ сотрудниковъ, является образцомъ литературной «терпимости». Шевляковъ, по обыкновенію, отмалчивался, но при развѣдѣхъ передалъ своему сосѣду по ужину лоскутокъ бумаги съ слѣдующимъ экспромтомъ:

Шло время мило, много пили
И о терпимости твердили.
Но—извините—мнѣ знакомъ
Съ такимъ названьемъ только домъ.

Встрѣтившись на томъ же ужинѣ съ В. В. Умановымъ-Каплуновскимъ, съ которымъ судьба не сводила его двадцать лѣтъ, Шевляковъ, на просьбу послѣдняго занести свой автографъ въ его извѣстный литературный альбомъ, записалъ: «Жить въ одномъ городѣ и встрѣчаться разъ въ двадцать лѣтъ—это можно назвать добрымъ желаніемъ «не мозолить другъ другу глаза».

Уже на смертномъ одрѣ, когда дни его были сочтены, онъ посылаетъ А. Е. Зарину слѣдующую поздравительную телеграмму по случаю его литературнаго юбилея:

Тебя, мой другъ Андрей,
Я съ юбилеемъ поздравляю.
Смотри на жизнь бодрѣй,
А я, братъ, умираю...

Вудучи весельчакомъ, юристомъ въ жизни, М. В. Шевляковъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и удивительно добрымъ человѣкомъ. Зарабатывалъ онъ много, особенно своими пьесами, но денегъ у него никогда не было. Скромный по своимъ потребностямъ, онъ какъ-то ухитрился ихъ разсовывать. То найдешь гдѣ-нибудь голодающую семью и начинаешь ее содержать на свой счетъ, то приютить у себя какого-нибудь артиста, кормить, поить, одѣвать его, то отдасть кому-нибудь свой заработокъ «въ долгъ безъ отдачи». Этимъ и объясняется, что онъ не оставилъ послѣ себя никакихъ средствъ, и на содержание его въ больницѣ, леченіе и похороны пришлось сколачивать деньги изъ разныхъ источниковъ, а вдова осталась совершенно необеспеченная, «на попеченіи Бога».

Такъ прожилъ этотъ добродушный, веселый и милый человѣкъ всю свою жизнь. Въ 1912 году появились грозные признаки его сердечной болѣзни. Больной заматался, началъ ѣздить то до докторамъ, то за границу, то въ Варшаву и, наконецъ, въ январѣ текущаго года очутился въ Вознесенской лечебницѣ для приходящихъ, окруженный попеченіями жены,

сына и дочери, немногихъ друзей и мѣстнаго медицинскаго персонала. Не дай Богъ видѣть никому, а тѣмъ паче испытывать, тѣхъ страданій, которые переносилъ бѣдный Михаилъ Викторовичъ. Развившаяся водянка, непрестанный бронхитъ, періодическое ослабленіе дѣятельности сердца доставляли ему страшное мученіе. Онъ не могъ ни встать, ни сѣсть, ни лечь, постоянно задыхался, отхаркивался и жалобно просилъ у докторовъ облегченія, а у Бога скорѣйшей смерти. Человѣкъ въ высокой степени религіозный, онъ находилъ утѣшеніе только въ молитвѣ, въ бесѣдѣ со священникомъ, въ исповѣди и причастіи. Послѣ причастія онъ успокаивался на нѣсколько часовъ, а то и на день, находилъ себѣ покой и облегченіе страданіямъ.

— Я не боюсь смерти, готовъ предстать передъ Богомъ,—говорилъ онъ мнѣ съ испугомъ въ голосъ и съ тревожнымъ блескомъ въ глазахъ;—но вотъ эти страданія...

Наступали случайные часы облегченія, и бѣдный больной начиналъ снова шутить. Приходить къ нему на консилиумъ лейбъ-медики Л. В. Бертенсонъ и, видя его отхаркивающимъ мокроту на половую подстилку, говорить ему:

— Вотъ ужъ не совѣтую вамъ плевать на полъ.

— Что дѣлать, профессоръ, за всю свою жизнь не научился плевать въ потолокъ...

Профессора Нечаева онъ встрѣтилъ жалобой:

— Подумайте, профессоръ, единственное мѣсто, на которомъ можетъ сидѣть умный человѣкъ, и то болить!.. Это ли не ужасъ?

Когда профессоръ запретилъ ему употребленіе жидкостей въ больномъ количествѣ, Шевляковъ жалобно проговорилъ, комически разводя руками:

— Ахъ, профессоръ, всю ночь снѣтся селедки, ну, днемъ и хочется пить...

За день до смерти онъ еще рассказывалъ больничнымъ врачамъ, которымъ, кстати сказать, онъ порядочно-таки помучилъ разными своими требованіями, что, когда онъ поправится, онъ напишетъ миниатюру, гдѣ врачи успокаиваютъ безнадежнаго больного, которому становится все хуже, говоря, что ему «хорошо», а когда онъ умираетъ, они хоромъ восклицаютъ: «ну, ему теперь совсѣмъ хорошо!»

Дѣйствительно, 24-го апрѣля 1913 года ему стало «совсѣмъ хорошо». Утромъ этого дня онъ отошелъ послѣ краткой агоніи въ вѣчность, и духъ его понесся въ ту всѣхъ, гдѣ, по словамъ молитвы, «нѣсть болѣзни и воздыханія». 26-го апрѣля тѣснымъ кругомъ немногихъ писателей и артистовъ отпѣли мы на Волковомъ кладбищѣ нашего милаго покойника и опустили его бренное тѣло въ могилу на Литераторскихъ мосткахъ, рядомъ съ могилей Лейкина. Тяжелая, полная семейнаго драматизма были эти похороны.

зодовъ, не имѣющихъ существеннаго и характернаго значенія для жизнеописанія Сергѣя Николаевича.

С. Н. Шубинскій происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, восходящаго, по официальнымъ даннымъ, къ началу XVII вѣка и записаннаго въ VI ч. родословной книги Тверской губерніи. Одинъ изъ предковъ его, Іоакимъ Михайловичъ, произведенный въ 1716 году въ капитаны гвардіи, и былъ собственно родоначальникомъ существующихъ нынѣ Шубинскихъ. Его сыновья, внуки и правнуки всѣ почти служили на военной службѣ, но не до большихъ чиновъ. Дѣдъ Сергѣя Николаевича, Петръ Іоакимовичъ (род. 1750 г.; ум. въ 1811 г.), въ службу вступилъ въ 1766 году и уволился въ 1770 г. съ чиномъ прапорщика; отецъ, Николай Петровичъ (род. въ 1782 г.; ум. въ 1837 г.), состоялъ на службѣ въ лейбъ-гвардіи Измайловскомъ полку съ 1798 года, откуда вышелъ въ 1803 году, съ чиномъ поручика; въ 1812—1815 годахъ былъ подполковникомъ и командиромъ батальона имени великой княгини Екатерины Павловны; въ 1826—1832 годахъ—начальникомъ московскаго округа корпуса жандармовъ въ чинѣ полковника, и въ 1832—1837 гг.—директоромъ московскаго воспитательнаго дома, уже въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. У него было пять сыновей: Николай, Петръ, Александръ, Дмитрій и пятый *Сергей*, и четыре дочери, изъ которыхъ старшая, Анна Николаевна, была замужемъ за княземъ Николаемъ Ивановичемъ Оболенскимъ. Сергѣй Николаевичъ родился отъ брака отца съ Клавдіей Николаевной Новосильцовой въ Москвѣ 2-го іюня 1834 года. Нашъ будущій историкъ рано осиротѣлъ, воспитывался сначала въ родственномъ домѣ князей Оболенскихъ, засимъ учился въ московскомъ дворянскомъ институтѣ, гдѣ въ числѣ преподавателей оказалъ на него сильное вліяніе извѣстный педагогъ и составитель учебныхъ пособій Перевлѣтскій. Сергѣй Николаевичъ считался въ классѣ лучшихъ учениковъ по русскому языку и именно Перевлѣтскому считалъ себя обязаннымъ за прекрасное владѣніе русской стилистикой и за выработку литературной рѣчи. Въ 1852 году онъ зачислился на службу въ московское губернскаго правленіе, а въ 1854 г. во время крымской кампаніи опредѣлился въ военную службу подпрапорщикомъ въ лейбъ-гвардіи Гренадерскій полкъ, гдѣ въ 1855 году произведенъ въ прапорщики. Въ 1860 году, по приглашенію тогдашняго генералъ-кригсъ-комиссара графа В. Е. Канкринъ, желавшаго привлечь на службу въ комиссаріатское вѣдомство молодыхъ гвардейскихъ офицеровъ, перешелъ въ комиссаріатскій департаментъ чиновникомъ особыхъ порученій, причемъ на него было возложено, какъ постоянное вѣяніе, составленіе всеподданнѣйшихъ отчетовъ. Въ этомъ мѣстѣ служенія, посылаемъ, по соединеніи его съ бывшимъ провіантскимъ департаментомъ, названіе главнаго интендантскаго управленія, получилъ чины: въ 1861 году штабсъ-капитана, въ 1864 г.

С. Н. ШУБИНСКІЙ.

Покойному редактору «Историческаго Вѣстника», незабвенному Сергѣю Николаевичу Шубинскому, очень хотѣлось видѣть осуществленіе отдѣльнаго изданія настоящихъ моихъ очерковъ, печатавшихся въ теченіе многихъ лѣтъ на страницахъ его журнала. Онъ съ любовью перебиралъ отдѣльные оттиски этихъ очерковъ, всматривался въ портреты, здѣсь воспроизведенные, и передъ нимъ точно воскресали образы многихъ тѣхъ, съ коими онъ въ своей жизни былъ въ близкихъ отношеніяхъ, выражая тутъ же сожалѣніе, что въ настоящей галерей литературныхъ дѣятелей отсутствуютъ нѣкоторые, о которыхъ почему-либо мнѣ не удалось написать въ свое время, съ которыми, однако, я хорошо былъ знакомъ. Когда скончался Шевляковъ, онъ сказалъ мнѣ:

— Не забудьте и его включить въ вашу галерею. А то вѣдь иначе онъ забудется.

Желаніе моего стараго друга и «крестнаго литературнаго отца», такъ сказать, я выполнялъ, но, увы! не Шевляковымъ приходится заключить настоящую книгу. Послѣдній очеркъ ея отводится самому Сергѣю Николаевичу и, такимъ образомъ, имъ и заканчиваю галерею русскихъ «литераторовъ и ученыхъ», съ которыми жизнь меня сводила по разнымъ случаямъ. Изъ всѣхъ представленныхъ лицъ именно съ С. Н. Шубинскимъ я на протяжении долгихъ годовъ состоялъ въ исключительной близости, почему ему и приходится удѣлить наибольшее мѣсто въ книгѣ. Здѣсь біографическій очеркъ о немъ появляется въ нѣсколько сокращенномъ видѣ противъ того, какъ онъ былъ мною напечатанъ въ книгѣ № 5 «Историческаго Вѣстника» за текущій 1913 годъ. Я выкинулъ изъ него кое-что, относящееся къ истории журнала, изъ бібліографіи его работъ, а также изъ юбилейныхъ эпи-

капитана, в 1867 году майора, в 1870 году подполковника, в 1876 году полковника, и ордена: в 1873 году св. Анны 3-й степени, в 1879 году св. Станислава 2-й степени, в 1883 году св. Владимира 4-й степени, и в 1886 году св. Анны 2-й степени. 28-го марта 1887 года произведен в генерал-майоры с увольнением, согласно прошению, со службы.

Период службы в Гренадерском полку был довольно бурным периодом в его жизни. Здесь он отдал обильную дань увлечениям молодости, и, вспоминая иногда впоследствии об этих годах своей жизни, он всегда после шутивых рассказов предупреждал нас, младшее поколение, от излишних увлечений, губительно отражающихся на состоянии здоровья. 11-го июля 1865 года он женился на Екатерине Николаевне Боровской, дочери инженер-полковника Николая Яковлевича Боровского, дворянина Курской губернии, и вступил в тихую, спокойную полосу жизни, давшую ему возможность посвятить свои недюжинные от природы силы и запас железной энергии литературному и редакционному труду. От брака с Екатериной Николаевной у него родилась в 1875 году дочь Екатерина, состоящая в замужестве за известным общественным деятелем В. В. Никольским.

Ни прикомандирование к Капкину, ни работа при нем, ни служба по интендантству не обогатили нашего историка какими-нибудь особо яркими воспоминаниями, которыми бы он охотно делился с окружающими. Только произвол в отчетах интендантского управления, которыми его снабжали разные отделы ведомства для составления всеподданнейших отчетов, оставил в нем известный след, почему Шубинский до конца своих дней всегда относился прощически и недоверчиво ко всяческим бухгалтериям, зная по опыту, что цифры всегда можно легко жонглировать.

Иначе обстояло дело со его воспоминаниями о другой стороне жизни, которая составила ему в нашем обществе и истории русского просвещения известность и почетное положение. Я разумно в данном случае его литературную деятельность. Вспоминал он начал таковой в начале начал в ограниченном числе экземпляров очерков, он повествует:

«Литературная деятельность моя началась в 1860 году, и литератором я сделался совершенно случайно. В числе моих знакомых был некто В. П. Василько-Петров (преподаватель декламации в театральном училище), писавший воскресные фельетоны в «Русском Инвалиде». В июне 1860 года Василько-Петрову понадобилось ехать по какому-то экстренному делу в Орловскую губернию. Не имея возможности точно определить время своего возвращения и опасаясь, чтобы в его отсутствие местом фельетониста не овладел кто-либо из литераторов, которого потом представлялось уже не легким выжить, он, вероятно, за неимением под рукою другого, более подходящего человека, предложил мне напи-

сать вместо него несколько воскресных фельетонов в «Инвалиде». Такое неожиданное предложение, хотя и весьма лестное для молодого поручика, до тех пор не писавшего ничего, кроме писем и канцелярских бумаг, изумило и даже, в некотором роде, испугало меня. Но в те блаженные времена фельетонисты пользовались завидным преимуществом—владеть даровыми билетами для входа во все увеселительные места столицы. Показанные мне Василько-Петровым билеты «почетного посетителя» на излоровские Минеральные Воды, в Крестовский сад и другие приятные учреждения были слишком соблазнительны и побороли все сомнения и колебания юного офицера, любившего веселиться, но часто не ощущавшего в кармане даже рублевой бумажки. После бессонной ночи и нескольких исписанных и разорванных листов бумаги Василько-Петрову были доставлены «пробный» фельетон, к великой радости им одобренный и, после довольно существенной переделки его «учителем» и за его подписью появившийся в «Инвалиде». Затем последовали два уже самостоятельных воскресных фельетона, прерванные скорым возвращением Василько-Петрова. Однако толчок самолюбию был дан, первые тридцать рублей, заработанных «литературным трудом», еще лежали в кармане, и остановиться в дальнейших чернильных упражнениях было уже трудно...

«Тогда был задуман и написан рассказ под заглавием «Один из ростовщиков», беспощадно обличавший юрка жидка, у которого начинающий «писатель» нередко закладывал «в трудные минуты жизни» часы, шубу и другие предметы незабываемого домашнего обихода. Тщательно переписанная рукопись была отправлена, по собственному домыслу, в редакцию еженедельной газеты «Сын Отечества», а через неделю автор, не без волнения, явился «за ответом» и был направлен в кабинет редактора, А. В. Старчевского. В громадной комнате с высокими стенами и потолками (в собственном доме, на углу Мойки и Прачечной переулка)¹⁾, почти сплошь увешанной картинами и наполненной роскошной мебелью, мрамором, статуями, бронзой и т. п., за большим столом сидел пожилой, полуплывший человек. Не особенно дружелюбно взглянув на молодого офицера, не протянув ему руку, не пригласив присесть и с явным нетерпением выслушав его объяснения, редактор молча порывался к куче лежавшей около него бумаги, вытащил оттуда знакомую рукопись и, отдавая ее, сухо промолвил: «Не может быть напечатана; не годится»—и затем, кивнув головой в знак окончания

¹⁾ Дом этот со всей обстановкой был куплен Старчевским у известного строителя Исаакиевского собора, архитектора Монферана.

ауденции, уткнулся в развернутую предъ ним корректуру. Тяжелъ былъ этотъ ударъ еще не надломленному самолюбію, и растерявшійся авторъ уныло удалился изъ кабинета редактора».

На этомъ мѣстѣ Сергѣй Николаевичъ дѣлаетъ небольшое отступленіе для того, чтобы привести примѣръ, насколько бываетъ перемѣнчива судьба человѣческая. «Ровно черезъ двадцать пять лѣтъ,—говоритъ онъ,—въ кабинетъ редактора «Историческаго Вѣстника» входилъ тотъ же редакторъ «Сына Отечества», теперь уже согбенный, совсѣмъ плѣшивый и обдно одѣтый старецъ. Газета его, когда-то очень распространенная, давно была въ другихъ рукахъ, онъ потерялъ на разныхъ предпріятіяхъ все свое состояніе и нуждался въ самомъ необходимомъ. Подавая объемистую рукопись воспоминаній о своемъ минувшемъ значеніи, онъ тихимъ, заискивающимъ голосомъ предложилъ ее для напечатанія въ журналѣ, заранѣе соглашався на всякія сокращенія и передѣлки въ ней и просилъ только объ одномъ: «дать ему впередъ, въ счетъ гонорара, хоть нѣсколько десятковъ рублей».

Продолжая далѣе свою автобіографію, онъ говоритъ:

«Возвращаясь къ собственной особѣ. Испытавъ горькую тогда для меня неудачу, я обратился за совѣтомъ къ своему «учителю» Василью-Петрову. Просмотрѣвъ рассказъ, «учитель» намелъ, что онъ не совсѣмъ плохъ, посоветовалъ искать счастья въ другомъ изданіи и указалъ на начавшуюся въ этомъ году газету «Русскій Міръ».

«На другой день я уже поднимался по крутой и полутемной лѣстницѣ одного изъ домовъ на Вознесенскомъ проспектѣ и не совсѣмъ смѣло позвонить у двери съ надписью: «Александръ Степановичъ Героглифовъ». Толстая, пожилая женщина отворила дверь.

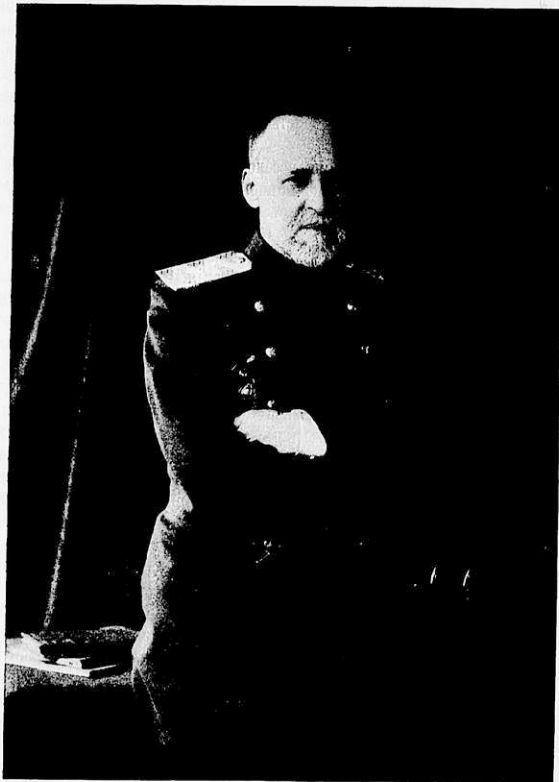
«— Можно видѣть г. редактора?

«— Вамъ кого, Александра Степановича, что ли? Онъ дома. Вонъ идите туда, прямо.

«Просторная комната въ два окна, безъ всякихъ занавѣсей и шторъ; стѣны голыя, съ признаками сырости; вся мебель заключалась въ огромномъ, простомъ, некрашеномъ столѣ, заваленномъ книгами и бумагами, и двухъ стульяхъ, на одномъ изъ которыхъ возсѣдалъ довольно еще молодой человѣкъ симпатичной наружности, въ тепломъ пальто и барашковой шапкѣ на головѣ, ибо въ комнатѣ чувствительно холодно. Поймавъ мой изумленный взглядъ, господинъ въ барашковой шапкѣ, добродушно улыбаясь, говоритъ:

«— Недавно переѣхалъ на эту квартиру; не успѣлъ еще устроиться; садитесь, пожалуйста; что вамъ угодно?

«Ободренный пріемомъ, вручаю свою рукопись. Редакторъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, начинаетъ тутъ же ее пробѣгать, благо она не велика



Сергѣй Николаевичъ Шубинскій.

и хорошо переписана. Я слѣжу за выраженіемъ его лица, стараясь уловить впечатлѣніе, получаемое имъ отъ чтенія.

— Ничего, такъ себѣ,—говоритъ онъ, окончивъ просмотръ:—я не прочь напечатать вашъ разсказъ. Только его надо сократить и кое-гдѣ переписать...

— Сдѣлайте одолженіе... очень буду благодаренъ.

— Намъ нужны небольшіе разсказы. Принесите еще... но старайтесь выбирать темы современные, забористыя, обличительныя, и, пожалуйста, не размазывайте...

«Возвращаюсь домой въ самомъ веселомъ настроеніи духа, тотчасъ сажусь за работу, и черезъ недѣлю приношу любезному редактору новый разсказъ подъ заглавіемъ «Штемпель», также принятый съ одобреніемъ «продолжать»...

«Но внутренний голосъ подсказалъ начинающему автору совершенное отсутствіе въ немъ беллетристическаго дарованія, а между тѣмъ желаніе видѣть себя въ печати не ослабѣвало, а, напротивъ, усиливало. Въ это время я сошелся съ двумя лицами, уже подвизавшимися на поприщѣ исторической литературы, М. И. Семевскимъ и М. Д. Хмыровымъ, изъ которыхъ къ послѣднему сохранилъ до самой его кончины самыя дружескія чувства. Слушая ихъ разсказы о вычитанномъ въ документахъ и книгахъ, я пристрастился къ русской исторіи и увлекся преимущественно XVIII вѣкомъ, столь обильнымъ разными трагическими, комическими и анекдотическими эпизодами. Умѣривъ себя, насколько хватало характера, во всѣхъ привычкахъ, чтобы сохранить лишнюю копейку, я почти ежедневно началъ ходить на толкучій рынокъ, гдѣ въ тѣ времена въ безпорядочно сваленныхъ грудахъ книжнаго хлама можно было всегда найти и приобрести по дешевой цѣнѣ что-нибудь рѣдкое. Мало-по-малу у меня начала составляться, по обдуманному плану, бібліотека, исключительно изъ сочиненій русскихъ и иностранныхъ, касавшихся отечественной исторіи прошлаго столѣтія, заключающая въ себѣ теперь болѣе, чѣмъ 1,500 названій. По мѣрѣ накопленія источниковъ и знакомства съ ними я писалъ и помѣщалъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ небольшіе историческіе разсказы и очерки, принимавшіеся редакціями весьма охотно, такъ какъ анекдотическая сторона нашей исторіи была тогда еще мало извѣстна и очень нравилась невзыскательной публикѣ, да и обработка подобныхъ темъ не представляла особенныхъ трудностей и болѣе всего подходила къ способностямъ и знаніямъ автора. Въ 1869 году эти очерки и разсказы были изданы книгопродавцемъ Плотниковымъ отдѣльной книжкой и имѣли такой успѣхъ, что черезъ годъ потребовалось второе изданіе.

27-го ноября 1872 года умеръ Хмыровъ, бѣдствовавшій всю свою жизнь, иногда, впрочемъ, по своей винѣ, или, вѣрнѣе, по своему необычайному

упрямству. Въ послѣднее время онъ не имѣлъ почти никакой работы и задолжалъ около 800 рублей за квартиру извѣстному заводчику, а потомъ издателю «Виржевыхъ Вѣдомостей» В. А. Полетикѣ, въ домъ котораго, на Моховой, жилъ нѣсколько лѣтъ. Полетика вытребовалъ съ должника расписку, предъявилъ ее ко взысканію, и единственному достоянію Хмырова, его бібліотекѣ, грозила продажа съ молотка. Правда, А. А. Краевскій ссудилъ ему 800 рублей для уплаты долга Полетикѣ, но матеріальное положеніе его отъ этого насколько не улучшилось: жена его съ дѣтми уѣхала въ деревню къ роднымъ, а онъ, оставшись одинъ на городской квартирѣ, питался только чаемъ и студнемъ, покупаемымъ въ мелочной лавочкѣ. Явился упадокъ силъ, развилась кака-то болѣзнь, не понятая и дурно лечимая мало-знающимъ докторомъ, посѣщавшимъ его изъ одолженія, и онъ тихо и безропотно угасъ. Пріятели похоронили его на собранный въ складчину деньги. Къ счастью, мнѣ удалось продать довольно выгодно для семьи, именно за 3.000 рублей, его книжное имущество учреждавшемуся тогда музею Цесаревича Николая въ Москвѣ.

«Хмыровъ находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ бібліографомъ П. А. Ефремовымъ, человѣкомъ до болѣзненности самолюбивымъ, раздражительнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень добрымъ. Для примѣра его доброты приведу слѣдующій фактъ. Когда Хмыровъ лежалъ на столѣ и я собиралъ деньги на его похороны, Ефремовъ первый принесъ 50 рублей и затѣмъ, отозвавъ меня въ другую комнату, сказалъ, вынимая бумажники:

— У меня теперь скопилось 400 рублей; они мнѣ не особенно нужны, поэтому, если встрѣтите надобность, берите у меня сколько потребуется, хоть всѣ.

«Воспользоваться дружескимъ предложеніемъ Ефремова не оказалось нужнымъ, и онъ вмѣсто этого купилъ у Хмыровой за дорогую цѣну очень мало стоявшія гравюры.

«Однажды вечеромъ, вскорѣ послѣ похоронъ Хмырова, я зашелъ въ Ефремову. Подъ впечатлѣніемъ свѣжей еще для насъ утраты разговоръ сосредоточивался исключительно на покойномъ. Мы особенно негодовали на Семева. Намъ обоимъ казалось возмутительнымъ то обстоятельство, что Семева, старый пріятель Хмырова, издавая «Русскую Старину», не хотѣлъ поддерживать его, давъ ему какую-нибудь постоянную работу въ своемъ изданіи, и проявлялся преимущественно даровымъ матеріаломъ. Этотъ разговоръ какъ-то неволью навелъ насъ на мысль, что было бы хорошо принять такое историческое изданіе, которое, кромѣ сырыхъ документовъ, помѣщало бы на своихъ страницахъ и обработанныя статьи, и такимъ образомъ давало бы возможность занимающимся русской исторіей зарабатывать деньги. Мы обсуждали эту мысль очень горячо, но для осуществленія ея ни у меня, ни у Ефремова не было денежныхъ средствъ, и мы не знали, гдѣ найти

издатели. Ефремов вспомнил, что один из его сослуживцев по Государственному банку, В. И. Грацианский завел недавно маленькую типографию и как-то выражал желание предпринять какое-нибудь небольшое периодическое издание. Возлагая надежды на Грацианского, Ефремов обещал при случае переговорить с ним.

«Въ это же время, имѣя въ виду зарекомендовать себя чѣмъ-нибудь болѣе серьезнымъ, нежели легкіе историческіе рассказы, я задумалъ перевести и издать съ ученой обстановкой наиболѣе интересные мемуары иностранцевъ о Россіи XVIII столѣтія. На первый разъ я остановился на «Запискахъ фельдмаршала графа Миниха» и на «Письмахъ леди Рондо, жены англійскаго резидента при русскомъ дворѣ въ царствованіе Петра II и Анны Ивановны». Предпріятіе мое было встрѣчено очень сочувственно лицами, съ которыми я о немъ совѣтовался. Профессоръ К. Н. Вестужевъ-Рюминъ согласился написать предисловіе, Е. П. Карновичъ вызвался просмотрѣть и проверить переводъ, П. А. Ефремовъ изъявилъ готовность составить указатели. Я усердно принялся за обширныя примѣчанія и скоро отыскалъ издателя, книгопродавца Я. А. Исакова. Въ 1873 году были изданы «Письма леди Рондо», а въ слѣдующемъ году «Записки графа Миниха». Но книги эти продавались такъ туго, что мой издатель скоро охладѣлъ, и я долженъ былъ покинуть мечту о продолженіи этого изданія.

«Между тѣмъ переговоры Ефремова съ Грацианскимъ, тянувшіеся почти цѣлый годъ безъ всякаго результата, неожиданно пришли къ благополучному окончанію при содѣйствіи Карновича. Грацианскій согласился издавать подъ моимъ редакторствомъ историческій журналъ съ иллюстраціями. Съ помощью Ефремова, Карновича и Вестужева-Рюмина была выработана подробная программа новаго изданія, а В. С. Курочкинъ, въ случайномъ разговорѣ, придумалъ ему названіе: «Древняя и Новая Россія». Всѣ выдающіеся дѣятели русской исторической науки: С. М. Соловьевъ, И. Е. Забѣлинъ, Н. И. Костомаровъ, Д. И. Иловайскій и др.—одобрили всѣ мои предположенія, радужно обѣщали свое сотрудничество и сдержали данныя обѣщанія. Около полугода посвятилъ я на подготовку разнообразныхъ матеріаловъ и рисунковъ для изданія, и, посвѣ немалою хлопотъ и мелочныхъ преслѣдствій, 1-го января 1875 года, можетъ быть, въ недобрый часъ, появилась первая книжка «Древней и Новой Россіи».

«И я, и Грацианскій были люди совершенно неопытные въ издательскомъ дѣлѣ и съ самаго начала сдѣлали нѣсколько крупныхъ и непоправимыхъ ошибокъ. Во-первыхъ, мы выбрали, ради рисунковъ, очень неудобный и нелюбимый публикой форматъ журнала—in 4°, представлявшій по вѣнжности, вмѣсто книги, довольно тонкую тетрадь; во-вторыхъ, опять-таки ради рисунковъ, была заказана Варгунину толстая и дорогая бумага; въ-третьихъ, мы назначили слишкомъ высокую подписную плату—13 рублей

50 копеекъ съ пересылкой; въ-четвертыхъ, гоняясь за учеными профессорскими статьями, я повелъ журналъ нѣсколько серьезно, а слѣдовательно, и скучно для обыкновенныхъ читателей, и, наконецъ, въ-пятыхъ, увѣренныя, неизвѣстно почему, въ успѣхъ изданія, мы рѣшили печатать его въ количествѣ трехъ тысячъ экземпляровъ. Дѣйствительность не замедлила показать намъ всю ошибочность нашихъ расчетовъ. Подписчиковъ собралось всего тысяча триста пятьдесятъ человѣкъ, и цѣлая груда «Древней и Новой Россіи» 1875 года залегла безнадежно въ подвалы. В. И. Грацианскій въ первый же годъ затратилъ всѣ имѣвшіеся у него наличныя деньги, около шести тысячъ рублей, и даже вошелъ въ долги, купивъ новую типографскую и литографскую машины. Хотя въ слѣдующій 1876 годъ цифра подписчиковъ повысилась до тысячи шестисотъ человѣкъ, но все же собранныя деньги не могли покрыть всѣхъ расходовъ, а издатель не хотѣлъ, или не могъ болѣе рисковать. Начались сокращенія во всемъ: въ типографіи, въ бумагѣ, въ гонорарѣ, въ рисункахъ,—и дѣло, вмѣсто расширенія, пошло книзу. Подписчики стали убывать, и въ 1879 году мы уже не насчитывали и тысячи человѣкъ.

«Видя паденіе изданія, я предложилъ коренную реформу въ его внутреннемъ составѣ, форматѣ, цѣнѣ и т. д. Но Грацианскій колебался, опасаясь новыхъ затратъ, и вообще относился недоброжелательно къ моимъ предположеніямъ. Тогда я сталъ совѣтовать ему попробовать продать журналъ, объяснивъ, что не могу оставаться редакторомъ при такомъ образѣ веденія дѣла. Онъ, хотя и съ видимою неохотой, согласился на это, но самъ не дѣлалъ ничего, а только разрѣшилъ хлопотать о продажѣ. Я не зналъ, къ кому обратиться. Пробовалъ говорить съ Вольфомъ, Гоше, Маркомъ, Глазуновымъ и даже типографщикомъ Демаковымъ, но всѣмъ этимъ господамъ изданіе историческаго журнала не представлялось средствомъ для легкой, скорой наживы, и они отъ него уклонились. Во мнѣ гасла всякая надежда поддержать дѣло, которому я отдался всей душой и въ которое не переставалъ вѣрить».

Въ дальнѣйшемъ литературно-редакціонная дѣятельность Шубинскаго сложилась такъ, согласно его автобіографіи: «Какъ-то разъ, если не ошибаюсь, въ мартъ мѣсяцъ (1879 года), я зашелъ къ А. С. Суворову, всегда любезно относившемуся ко мнѣ лично и къ «Древней и Новой Россіи», для которой онъ даже написалъ три года назадъ, по моему просьбѣ, статью о Пушкинѣ. Въ откровенной бесѣдѣ я, между прочимъ, рассказалъ ему положеніе дѣла «Древней и Новой Россіи» и безъ всякой задней мысли кстати спросилъ, не укажетъ ли онъ мнѣ на кого-нибудь, къ кому я могъ бы обратиться съ предложеніемъ купить этотъ журналъ. Къ величайшему моему изумленію, онъ, не задумываясь, выразилъ готовность купить и продолжать изданіе. Предложеніе это было такъ для меня неожиданно, что я считалъ его

не болѣе, какъ пустой фразой. Я просилъ Суворина посерьезнѣе подумать объ этомъ и сказалъ, что найду черезъ недѣлю. Въ назаченное время я явился и услышалъ то же согласіе, но выраженное уже въ положительной формѣ, причемъ онъ уполномочилъ меня войти въ соглашеніе съ Граціанскимъ. Желая разстаться съ моимъ издателемъ самымъ дружескимъ образомъ и заботясь искренно о томъ, чтобы облегчить ему, насколько возможно, понесенныя въ журналѣ потери, я предложилъ Суворину уплатить Граціанскому за право изданія пять тысячъ рублей и безъ возраженія получить согласіе и на это.

«Обрадованный, я постигши въ тотъ же день передать Граціанскому мой разговоръ съ Суворинымъ. Онъ выслушалъ мои объясненія съ нескрываемымъ неудовольствіемъ и не далъ никакого рѣшительнаго отвѣта, обѣщаясь подумать. Въ послѣдующіе дни я настаивалъ на какомъ-нибудь рѣшеніи, но, несмотря на всѣ усилія, не могъ ничего добиться. Меня это ужасно волновало и я тѣтено ломалъ себѣ голову, стараясь разгадать причину такого образа дѣйствій Граціанскаго. Онъ самъ разъяснилъ мнѣ ее въ послѣдствіи. Постоянный сотрудникъ «Древней и Новой Россіи» П. А. Гильтебрандтъ, узнавъ о переговорахъ моихъ съ Граціанскимъ, убѣждалъ его не продавать изданія, увѣряя, что оно погибаетъ единственно отъ моей неумѣлости, и вызывался подѣлать его подъ своимъ редакторствомъ. Однако я продолжалъ требовать категорическаго рѣшенія и наконецъ поставилъ вопросъ ребромъ. Граціанскому уже нельзя было болѣе уклоняться, и онъ объявилъ свое «послѣднее слово». Онъ потребовалъ, чтобы Суворинъ, кромѣ уплаты пяти тысячъ рублей за право изданія, додалъ бы на свой счетъ подписчикамъ остающіяся восемь книжекъ «Древней и Новой Россіи» за 1879 годъ, что, по меньшей мѣрѣ, равнялось еще двѣнадцати тысячамъ рублей. Условіе было невозможное, и я съ тяжелымъ чувствомъ ушелъ отъ Граціанскаго, пожелавъ ему не раскаться въ томъ, что онъ не воспользовался моимъ посредничествомъ, въ которомъ я руководился единственно сердечнымъ побужденіемъ оказать ему услугу.

«Тогда мы съ Суворинымъ рѣшили основать новый историческій журналъ. Я составилъ программу, въ которую, соображаясь съ вкусомъ публики, ввелъ историческій романъ и повѣсть и иностранную историографію, а Суворинъ придумалъ, нельзя сказать, чтобы очень удачно, названіе «Историческій Вѣстникъ». Я поѣхалъ къ тогдашнему председателю главнаго управленія по дѣламъ печати, В. В. Григорьеву, объяснилъ ему все дѣло и получилъ увѣреніе, что новое изданіе не встрѣтитъ ни малѣйшихъ препятствій. На слѣдующій же день Суворинымъ было подано официальное прошеніе о разрѣшеніи издавать «Историческій Вѣстникъ», а я, согласно условію, заключенному со мною при основаніи «Древней и Новой Россіи» съ Граціанскимъ, заявилъ послѣднему, что съ 1-го октября оставляю ре-

дактированіе этого журнала. Съ энергіей и надеждою на хорошее будущее отдался я организаціи новаго предпріятія. Все шло успѣшно и радовало меня, какъ вдругъ разразился ударъ съ той стороны, откуда я всего менѣе могъ его ожидать. Однажды вечеромъ подають мнѣ пакетъ за казенной печатью. Развернувъ заключавшуюся въ немъ бумагу, я остолбенѣлъ. Главное управленіе по дѣламъ печати увѣдомляло меня, что министръ внутреннихъ дѣлъ Маковъ не разрѣшилъ изданіе «Историческаго Вѣстника».

«Я провелъ очень скверную ночь и на другой день, рано утромъ, надѣвъ мундиръ, отправился къ Макову. Онъ принялъ меня довольно любезно и откровенно объяснилъ причину своего отказа.

«—Въ послѣднее время,—сказалъ онъ,—въ печати стали появляться неблаговидные пошлые намеки на то, что будто бы я и въ особенности В. В. Григорьевъ оказываемъ какое-то исключительное благоволеніе къ Суворину, во всемъ ему мирволимъ и предупредительно исполняемъ всѣ его желанія. Разрѣшить ему еще новое изданіе, когда только недавно разрѣшено «Еженедѣльное Новое Время», значить дать его противникамъ поводъ къ новымъ инсинуаціямъ. Господа журналисты дошли до того, что въ полемикѣ между собою не стѣсняясь обливаютъ другъ друга помоями, и я не хочу, чтобы брызги отъ этихъ помоевъ падали на меня и В. В. Григорьева, котораго я уважаю. Вамъ лично я разрѣшу изданіе, а Суворину нѣтъ.

«Отъ Макова я поѣхалъ къ Суворину и сообщилъ ему о происшедшемъ, разумеется, со всѣми мелочами. Хотя онъ старался казаться совершенно равнодушнымъ, но я замѣтилъ, что рассказъ мой о неосожданномъ для него препятствіи, встрѣченномъ на первомъ же шагѣ «Историческимъ Вѣстникомъ», охладилъ его къ задуманному изданію. Онъ старался меня успокоить и сказалъ, чтобы я просилъ о разрѣшеніи изданія на мое имя, а онъ не отказывается, какъ уже обѣщалъ, давать всѣ матеріальныя средства для его осуществленія и веденія. Это было благородно и не могло не тронуть меня. Я опять поѣхалъ къ Макову и съ трудомъ убѣдилъ его позволить мнѣ печатать въ объявленіяхъ объ изданіи «Историческаго Вѣстника», что этотъ журналъ будетъ издаваться «при содѣйствіи А. С. Суворина», и что «отвѣтственность за исправный выходъ книжекъ и аккуратность всѣхъ расчетовъ принимается на себя книжный магазинъ «Новаго Времени». Первый 1880 годъ «Историческій Вѣстникъ» выходилъ съ моей на немъ подписью, какъ «редактора-издателя», но черезъ годъ обстоятельства переѣмнились, и Суворину безъ всякихъ затрудненій разрѣшили подписываться издателемъ, которымъ онъ и былъ въ дѣйствительность».

Такова общая автобіографическая канва, по которой нарисовалась литературная жизнь С. Н. Шубинскаго до сближенія его съ А. С. Суворинымъ и выхода перваго номера «Историческаго Вѣстника». Прежде, чѣмъ перейти къ описанію послѣдующихъ годовъ, обнимающихъ періодъ его ре-

дакторства, пополнив вышеприведенный свѣдѣніи нѣкоторыми деталями, не лишними значенія для обрисовки того, какъ выработался литературный навыкъ Сергѣя Николаевича, его склонности и весь его редакторскій обликъ.

Мы видѣли изъ словъ приведенной выше автобіографіи, при какихъ обстоятельствахъ началась научно-литературная дѣятельность Сергѣя Николаевича. Натолкнулъ на нее простой случай, и онъ вступать на путь писательства далеко не подготовленный ни научнымъ образованіемъ, ни школой опыта. Легкій репортажъ, бытовая сценка съ сюжетомъ изъ дѣйствительной жизни—вотъ темы его первоначальныхъ работъ. Для нихъ не требовалось ни наличия какихъ-либо научныхъ знаній, ни полета творчества, и В. С. Курочкинъ, сопоставляя эти данныя съ стремленіемъ автора къ писательству, совершенно правильно отыскалъ ту литературную позицію, которую молодому офицеру-писателю легко занять въ журнальномъ мірѣ съ наибольшей продуктивностью для развертыванія его силъ и съ выгодой его литературному имени. Какъ хорошему стилисту и при томъ легко схватывающему детали обезуднаго вопроса, какъ человѣку наблюдательному и вдумчивому, Курочкинъ рекомендовалъ Шубинскому амплуа историка-популяратора, т. е. тотъ родъ литературы, на который въ ту эпоху общаго оживленія русской жизни родился значительный спросъ. Случайныя обстоятельства—знакомство съ М. И. Семевскимъ и М. Д. Хмыровымъ—окончательно опредѣляютъ его судьбу въ направленіи, намѣченномъ Курочкинымъ. Черезъ посредство своихъ новыхъ знакомыхъ онъ втягивается въ изученіе русскаго быта и русской исторіи XVIII вѣка, начинаетъ по нимъ предметы собирать бібліотеку, разыскивать на рынкахъ появившіяся тамъ въ изобиліи къ тому времени рѣдкія изданія и пытается отсюда находить себѣ темы для литературныхъ работъ. Послѣ тяжелаго николаевскаго режима, когда на русское слово были наложены жестокія оковы, новыя условія, сложившіяся въ эпоху великихъ реформъ, оказались благодѣтельными особенно для исторической компіляціи; здѣсь легко было перейти отъ требовавшегося прежде исключительнаго славословія по адресу русскаго двора, русскихъ сановниковъ, царскихъ сподвижниковъ и всего отечественнаго историческаго уклада къ правдивому изложенію истинныхъ событій эпохъ минувшихъ. Масса рылчанаго литературнаго матеріала, развернувагося на полкахъ книжниковъ, который можно было пріобрѣтать у нихъ почти задаромъ, давала возможность немущему молодому офицеру легко его коллекционировать и тѣмъ самымъ создавать благоприятныя условія для намѣчаемыхъ въ компаніи Хмырова и Семенова историческихъ темъ.

— Намъ легко было работать тогда,—говаривалъ въ послѣдствіи Сергѣй



С. Н. Шубинскій и А. С. Суворинъ.

Николаевичъ.—Пойдешь на рынокъ, купишь случайно какую-нибудь брошюру XVIII вѣка или журналъ того времени, перефразируешь здѣсь содержаніе, и вотъ готовъ любопытный историческій разсказъ. Читателямъ все было вновь, да и писателямъ-историкамъ сподручно.

Хмыров, Семеvский, Шубинский распредѣлили между собою по особой системѣ даже процессъ собиранія на книжномъ рынкѣ литературнаго матеріала, и на долю Сергѣя Николаевича выпало именно собираніе пособій и источниковъ для исторіи XVIII вѣка. Отсюда и специальный характеръ его библіотеки—библіотеки исключительно по эпохѣ вѣка Петра, Елизаветы, Екатерины, отъ какового характера онъ не отступалъ и до конца своихъ дней, когда къ нему поступали тѣ или иные изъ вышедшихъ книгъ. Конечно, руководя популярнымъ историческимъ журналомъ, каковымъ явился «Историческій Вѣстникъ», нельзя было миновать знакомства и съ XIX вѣкомъ, но изъ источниковъ для этого періода русской исторіи имъ удерживались въ библіотекѣ только сочиненія общаго характера, почему въ общей сложности библіотека С. Н. Шубинскаго среди нашихъ библіофиловъ, антикваріевъ и историковъ и получила въ концѣ концовъ широкую извѣстность, какъ библіотека превосходно специализированная, какъ библіотека, припоровленная къ познанію главнымъ образомъ исторіи XVIII в. Приобрѣтаемая книги и рѣдкія изданія, купленные, какъ уже сказано выше, за гроши и нынѣ котирующіяся на рынкѣ по очень высокой цѣнѣ (сто-двѣсти рублей) ихъ собиратель не скупился включать и въ хорошія оправы, почему все книжное богатство, скопленное Шубинскимъ, даже въ отношеніи переплетнаго мастерства имѣетъ большую цѣнность. Н. А. Энгельгардтъ въ своей статьѣ «Старый редакторъ» («Новое Время», № 13368), посвященной С. Н. Шубинскому, такъ рисуетъ любовь его къ собиранію книгъ:

«О, то былъ старинный коллекціонеръ-антикварій, типъ котораго воспроизведенъ еще Вальтеръ-Скоттомъ въ его романѣ «Антикварій». Это страстный искатель книжныхъ рѣдкостей, странствующій по лавочкамъ и подваламъ букинистовъ, по рынкамъ, толкучкамъ, аукционамъ, трепетно обрѣтающій порывѣлый волюмъ, рѣдкостную брошюру, гравированный листъ. Именно эта страсть и соединила его съ покойнымъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ Суворинымъ, тоже русскимъ библіофиломъ-антикваромъ. Свою библіотеку Сергѣй Николаевичъ собиралъ полстоletія, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ памяти его накопилась калейдоскопическая лѣтопись всевозможныхъ курьезныхъ обстоятельствъ, которыя сопровождали обрѣтеніе той или иной рѣдкости его книжныхъ шкаповъ. И переплеты у него были «антикварные», любительскіе, съ валиками на корешкѣ, и особый переплетчикъ, тоже много-много лѣтъ работавшій у него. Удивительный генералъ словно обрѣсъ кругомъ давностью, и каждая подробность его жизни мало-по-малу приобрѣла особый отпечатокъ милой старомодности».

Шубинскаго давно заботила судьба собраннаго имъ книгохранилища послѣ смерти, и онъ неоднократно велъ переговоры съ разными коллекционерами о покупкѣ ими библіотеки въ единыя руки, и вотъ изъ этихъ переговоровъ выяснилось, что цѣнность этого книгохранилища опредѣляется

по рыночной расцѣнкѣ, согласно составленному имъ и напечатанному каталогу, въ семь тысячъ рублей и выше. Однако всѣ его переговоры по сему предмету не дали благоприятнаго результата, и, такимъ образомъ, судьба этого цѣннаго книгохранилища и нынѣ остается не выясненною.

Свойство личнаго дарованія, предопредѣленное Курочкинымъ, укрупненное близостью къ Хмырову и Семовскому, такимъ же, какъ и онъ, историкамъ-популяризаторамъ, библіотечный подборъ источниковъ и пособій для работы создали изъ С. Н. Шубинскаго въ конечномъ результатѣ того историка, изслѣдователя русскаго быта за XVIII вѣкъ, репутація котораго съ годами стала очень твердою и привлекла къ нему вниманіе широкихъ круговъ читателей, почитателей и критики, относившейся, къ слову сказать, къ первымъ его шагамъ на поприщѣ научной популяризаціи не всегда благосклонно. Объективность изложенія, отсутствіе всякихъ политическихъ тенденцій, на каковыя во весь періодъ шестидесятихъ годовъ существовала значительный спросъ, не были благоприятными данными для радужнаго отношенія къ нему передовой критики. И только съ теченіемъ годовъ, когда страсти улеглись, эта самая критика стала относиться къ популяризатору XVIII вѣка болѣе справедливо, съ признаніемъ въ полной мѣрѣ его заслугъ передъ отечественнымъ просвѣщеніемъ.

Нельзя сказать, чтобы литературное наслѣдіе покойнаго историка было очень велико по объему. Редакціонная работа его съдала, съ другой стороны—и конкуренція по обработкѣ темъ изъ исторіи XVIII вѣка тоже ставила предѣлы его работамъ въ избранномъ направленіи. Онъ часто говорилъ:

— Когда посмотришь, что дѣлаютъ новѣйшіе популяризаторы съ XVIII вѣкомъ, то просто приходишь въ отчаяніе: до того все загаживается и переиздается! Особенно въ этомъ отношеніи поусердствовалъ Пыляевъ. Собственно говоря, многое слѣдовало бы заново переработать, но это задача неблагоприятная, да и некогда. Вотъ и миришься со всѣмъ этимъ враньемъ.

Цѣнность работъ С. Н. Шубинскаго въ томъ-то именно и заключается, что всякое свѣдѣніе, имъ преподанное читателю, строго проверено, обосновано фактическимъ матеріаломъ и не вызываетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ своей достовѣрности. Наблюдая порою, какъ создавалъ покойный свои небольшія произведенія, можно было удивляться тому кропотливому труду, который онъ сюда вкладывалъ. Поэтому-то и не удивительно, что многописание, при отсутствіи необходимости исканія заработной платы, не занимаетъ видной графы въ его литературномъ послужномъ спискѣ. Онъ предпочиталъ, чтобы мало было, но зато дѣйствительно хорошо, не жели много и сомнительно. Держась этого принципа, онъ часто и съ нами, своими сотрудниками, велъ своего рода борьбу въ этомъ направленіи. Ка-

кия именно стороны русской жизни имъ были обработаны, усматривается изъ помѣщаемого здѣсь общаго обзора его литературныхъ работъ, выходявшихъ отдѣльными изданіями:

- 1) «Собрание анекдотовъ о князѣ Г. А. Потемкинѣ-Таврическомъ, съ биогр-фическими свѣдѣніями о немъ и историческими примѣчаніями». Спб. 1867 г. 16^е. 193 стр. Изд. 2-е. Спб. 1869 г.
- 2) «Историческіе очерки и рассказы». Спб. 1869 г. Изд. 2-е, доп. Спб. 1871 г. 8^е. 266 стр. Изд. 3-е. Съ 52 портретами и иллюстраціями, дополненное и исправленное. Спб. 1892 г. 8^е. 391 стр. Изд. 4-е. Съ 80 портр. и иллюстраціями, доп. и испр. Спб. 1903 г. 8^е. 583 стр. Изд. 5-е. Съ 89 портр. и иллюстраціями, доп. и испр. Спб. 1908 г. 8^е. 712 стр., изд. 6-е безъ измѣненій, 1911 г.
- 3) «Рассказы о русской старинѣ». Спб. 1871 г. 16^е. 212 стр.
- 4) «Посѣщеніе государемъ императоромъ 5-го сентября 1871 года Житнаго рыболовнаго промысла на Каспійскомъ морѣ, принадлежащаго коммерціи совѣтникамъ Сапожниковымъ». Съ 2 рис. Спб. 1872 г. 8^е. 37 стр. (Безъ подписи; составлено по матеріаламъ, доставленнымъ А. А. Сапожниковымъ).
- 5) «Альбомъ дружескаго юбилея Петра Великаго». Текетъ П. Н. Петрова и С. Н. Шубинскаго. Спб. 1872 г. ф. 291 стр. (Ш. принадлежатъ главы V, VII, VIII, X, XII, XVII и XVIII).
- 6) «Записки иностранцевъ о Россіи въ XVIII столѣтіи». Томъ I: «Письма лэди Ролло, жены англійскаго резидента при русскомъ дворѣ въ царствованіе императрицы Анны Ивановны». Спб. 1874 г. 16^е. 298 стр.—Томъ II: «Записки фельд-маршала графа Миниха». Спб. 1874 г. 16^е. 406 стр.
- 7) «Черты и анекдоты изъ жизни императора Александра I». Спб. 1877 г. 16^е. 149 стр. (Безъ подписи).
- 8) «Мнимое завѣщаніе Петра Великаго». Спб. 1877 г. 12^е. 41 стр.
- 9) «Изъ жизни русскихъ писателей». Рассказы и анекдоты. Спб. 1882 г. 12^е. 128 стр.
- 10) «Историческіе рассказы и анекдоты изъ жизни русскихъ государей и замѣчательныхъ людей XVIII—XIX столѣтіи». Спб. 1885 г. Изд. 2-е. Спб. 1887 г. 16^е. 441+12 стр. (Безъ подписи).
- 11) «Очерки изъ жизни и быта прошлаго времени». Спб. 1888 г. Съ 30 грав. 8^е. 162+7 стр.

Кромѣ того, имъ, начиная съ 1860 года, помѣщено немало разныхъ очерковъ, статей, критическихъ замѣтокъ и отзывовъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Я уже отмѣтилъ, какъ бережно и рачительно относился покойный къ своей литературной работѣ; къ этому должень прибавить, что, слыша отовсюду одобреніе этихъ работъ, онъ никогда не преувеличивалъ ихъ значенія, не зачислялъ себя въ разрядъ первыхъ боговъ и всегда самъ лично отводилъ себѣ скромное мѣсто популяризатора и компилятора. Извѣстность не туманила ему головы, и онъ всегда охотно уступалъ мѣсто другимъ въ руководимомъ имъ журналѣ по отдѣлу критики и библиографіи, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда его личный судъ надъ тѣмъ или другимъ поступившимъ въ редакцію печатнымъ трудомъ, казалось, могъ бы имѣть большую цѣн-

ность. Онъ всего охотнѣе сохранялъ за собою лишь работы справочнаго характера, требовавшія для оцѣнки ихъ большого проверочнаго труда и имѣнія подъ рукою необходимыхъ для того пособій. Равнымъ образомъ никогда не злоупотребилъ онъ даннымъ ему А. С. Суворинымъ дискреціоннымъ издательскимъ правомъ по денежной расцѣнкѣ матеріала, назначая себѣ лишь тотъ общій средній гонораръ, какой опредѣлялся и остальнымъ сотрудникамъ той же категории писанія, т.-е. рецензентамъ, критикамъ и авторамъ научно-популярныхъ статей. Типичный реалистъ по своей природѣ и по тому міросозерцанію, которое выработалось у него подъ вліяніемъ литературной эпохи шестидесятыхъ годовъ, Шубинскій подъ реалистическимъ угломъ зрѣнія подходилъ и къ своему сотрудничеству въ редактируемыхъ имъ изданіяхъ. Средній скромный гонораръ, который могли ежемѣсячники выплачивать арміи сотрудниковъ, не можетъ представить большой матеріальной выгоды тѣмъ, на которыхъ существуетъ спросъ со стороны издателей еженедѣльниковъ и газетъ, имѣющихъ возможность контролировать по высшей расцѣнкѣ трудъ писателей. Отсюда откровенное признаніе Сергѣя Николаевича, что ему невыгодно съ денежной стороны работать въ «Историческомъ Вѣстникѣ» и выгоды отдавать свой трудъ въ «Новое Время» или «Ниву», гдѣ онъ могъ получить значительно высшій гонораръ, нежели у себя дома.

— Дамъ ли я въ «Вѣстникѣ» статью одной-другой больше или меньше, отъ этого ростъ подписки не увеличится, а у меня въ карманѣ отъ сотрудничества у Суворина и Маркса кое-что прибавится,—добавлялъ онъ, добродушно посмѣиваясь и хитро поглядывая на собесѣдника.—Вотъ поглядите для сравненія...

И онъ съ любовью вынималъ изъ бокового ящика своего письменнаго стола разграфленную тетрадь въ переплетѣ, гдѣ аккуратно были вносимы гонораръ, заработанный имъ, начиная съ первой напечатанной имъ строчки. Этотъ показъ сотрудникамъ своей заработной платы доставлялъ старику безконечное удовольствіе для рассказовъ о быломъ житьѣ-бытьѣ русскихъ журналистовъ и для воркотни на современные нравы и денежные приемы нынѣшнихъ писателей.

— Вотъ гонораръ, полученный у Старчевскаго... А вотъ у Стелловскаго... Вы думаете, легко было его получить? Да вѣдь я на нѣсколько рублей стопаля сапогъ, пока мнѣ его выдали. Сколько тутъ было разочарованій, обиды! Прихожу я разъ получить слѣдующее къ Герогилову за какой-то рассказикъ. Онъ заявляетъ, что деньги нужно получить у издателя Стелловскаго, и даетъ въ руки ордеръ на полученіе нѣсколькихъ рублей. Деньги были до зарѣзу нужны. Наступали праздники, надо было себѣ что-то купить, экипироваться. Плутесу въ магазинъ Стелловскаго. Прихожу, докладываю о себѣ и въ отвѣтъ слышу лишь крикъ, что пришелъ не во-время, чтобы при-

ходил через недёлю. «Через недёлю, мол, по вторникам производятся выдачи». Прихожу во вторник, а на двери обозначено, что гонорары выдаются не в этот, а в другой какой-то день. И так пошла канитель, съ недёли на недёлю, пока я не выручил свои злосчастные нёсколько рублей. Нынёшний писатель не успеёт трех строк написать, как сейчас подавай ему гонорар, а затём аванс. А мы-то за честь считали попасть въ какой-нибудь журнал и малясь съ гонорами. Оттого-то вы, господа нынёшние писатели, и цёны деньгам не знаете, и всегда у васъ въ карманё свиститъ...

Эта воркотня на нынёшнюю систему гонораров доставляла ему возможность возобновлять въ памяти цёлая серия живыхъ картинокъ изъ жизни бывшихъ редакционных кабинетовъ. Въ его красочно, полномъ добродушии и сатиры повёствовании, какъ живые, восталаи образы минувшаго, слышались бывшия рёчи, проносились воспоминания.

— Эхъ, Сергёй Николаевичъ, вы бы написали свои мемуары, вёдь такъ пропадетъ не зарегистрированный цённый материалъ для исторіи русской литературы.

— Что вы хотите—не умёю писать въ живой разговорной формё! Я популяризаторъ и компиляторъ по книгамъ, а для мемуаровъ, настоящихъ, живыхъ и точныхъ, у меня нётъ таланта.

— Говорите, мы будемъ записывать, пригласимъ стенографа.

Шубинскій махалъ только рукою.

— Тутъ, пожалуй, еще попадётся! Вотъ былъ такой случай у меня съ Мартыновымъ, авторомъ «Дёла и люди вёка». Повалился онъ ко мнё объёдать. Сидимъ, бесёдуемъ. Я возьми и расскажи что-то изъ бывшихъ встрёчъ и знакомствъ. Вдругъ онъ меня перебиваетъ и говоритъ: «А у меня, Сергёй Николаевичъ, этотъ рассказъ записанъ съ вашихъ словъ иначе». «Какъ записанъ?»—«Да я,—говоритъ,—какъ приду домой, такъ все и занесу въ записную книжку, что рассказали». Ну, я съ тёхъ поръ и попросилъ Мартынова меня больше не посёщать. Еще бёды, думаю, съ нимъ наживешь!

Несмотря на эту боязнь записи, Сергёй Николаевичъ до конца своихъ дней продолжалъ ублажать слушателей массой рассказовъ, причемъ, конечно, сильно повторялся или варьировалъ свои рассказы на разные лады. Онъ сознавалъ свое мастерство хорошаго повёствователя и любилъ этимъ щегольнуть, оживляя свою бесёду мимикой и удивительной игрою глазъ, въ которыхъ поминутно вспыхивали лукавые огоньки, особенно въ тёхъ мёстахъ рёчи, гдё онъ явно шаржировалъ и обдавалъ изображаемыхъ потоками своей сатиры. Покойный П. Я. Дашковъ особенно любилъ эти искорки въ глазахъ Шубинскаго и въ качествё особаго plat doux посёлъ обильнаго завтрака съ обычными «возліяніями» преподносилъ своимъ гостямъ рассказы Шубинскаго, заранёе рекомендуя всёмъ мимикку рассказчика.

Вариации покойнаго на тему о быломъ были, дёйствительно, весьма разнообразны и—нечего грёха таить—элементъ фантастичности, шаржа и добродушной проны бралъ здёсь иногда слишкомъ сильный перевёсъ. Любя бесконечно нёжно и искренно, поскольку это возможно было для его сдержанной натуры, своихъ родныхъ, А. С. Суворина и нёкоторыхъ своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, онъ тёмъ не менё и по отношенію ихъ не скупился на краски въ своихъ повёствованіяхъ. Доставалось немало въ этомъ отношеніи и пишущему эти строки, и по этому поводу между нами возникали при безоблачной въ общемъ атмосферё нашихъ отношеній нёкоторые инциденты. Случайно до меня доходили «анекдоты», созданные на мой счётъ Сергёемъ Николаевичемъ. Я считалъ пущимъ порою, особенно въ первое время, ити объясняться.

— Вы опять сочинили на мой счётъ анекдотъ?

— Вёдь я это такъ, любовно. Вы знаете: языкъ мой—врагъ мой. Уже не сердится на старика.

Острота характеристикъ, дёлаемая имъ, красное словцо, которое онъ пускалъ въ свои описанія событій, создавали ему порою опасную репутацію, и многие боялись попасть ему на язычекъ, но по опыту могу сказать, что, увлекаясь своимъ повёствовательнымъ даромъ рёчи, Сергёй Николаевичъ никогда не преслёдовалъ дурныхъ цёлей и въ душё никогда не питалъ ни къ кому недобраго чувства, а, напротивъ, всегда стремился помочь словомъ и дёломъ всякому нуждающемуся въ поддержкё. Работая съ нимъ въ журналё на протяженіи двадцати шести лётъ слишкомъ, а въ послёдніи семь лётъ состоя къ нему въ особомъ приближеніи въ качествё его помощника по журналё, я никогда не видёлъ его вышедшимъ изъ себя, всплывшимъ и обошедшимъ грубо или безтактно къ кёмъ-либо изъ своихъ посётителей даже въ тёхъ случаяхъ, когда они явно причиняли ему беспокойство или обращались съ нимъ далеко не въ должной мёрё почтительно. И тутъ при столкновёнии онъ сохранялъ свою обычную сдержанность, спокойствіе и корректность. Онъ переходилъ только на кёмъ-нибудь официальную ногу и выражалъ спорившему, почему-либо негодующему и вышедшему изъ границъ приличія, свое удивленіе, что этотъ послёдній имёть съ нимъ дёло, что онъ на его мёстё никогда бы съ нимъ не разговаривалъ и постарался бы не имёть къ нему никакого отношенія. Точно также пронически-добродушно взиралъ онъ на получаемая по его адресу, какъ это сплошь и рядомъ встрёчается во всёхъ редакціяхъ, грубые ругательныя письма со стороны лицъ анонимныхъ, но, вёроятно, какъ-нибудь задётыхъ той или другой статей журнала. Его насмёшливому уму эти необузданныя выходки доставляли пищу для сатиры, и онъ охотно знакомилъ пришедшихъ къ нему съ этой ругательною корреспонденціей.

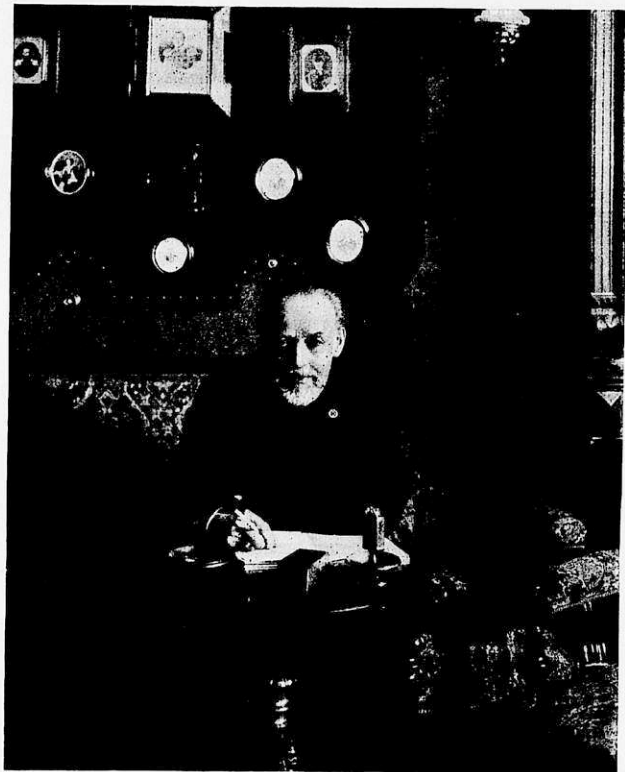
— Выжившим из ума стариком, старой песочницей величают меня в письмах из города N. А почему он знает, сколько мне лет?—И он с обычным запасом юмора начинает рисовать картину, как невѣдомый обыватель провинции, от нечего делать, пишет ругательные письма в столицу и воображает себя полученный здесь уничтожающий эффект от его письма.

— Въдъ всю ночь не спалъ. Всѣмъ домашцамъ надоѣлъ, читая свое произведение. Я когда-нибудь соберу всѣ полученные мной ругательныя письма, а вы ими воспользуетесь, какъ матеріаломъ для некролога. Самый достовѣрный источникъ!

Корректность обращенія со всѣми окружающими создала С. Н. Шубинскому репутацію, и вполне заслуженную, настоящего джентльмена, и лица, посѣщавшія его и получавшія отъ него даже неудовлетворительные отвѣты на свои обращенія и домогательства, уходили отъ него почти всегда очарованными. Онъ умѣлъ даже непріятное облекать въ такую деликатную мягкую форму, что его отказъ порою былъ пріятнѣе другого согласія, но выраженного въ неуклюжей формѣ. Джентльменство его по отношенію всѣхъ, кто съ нимъ по дѣламъ приходилъ въ соприкосновеніе, стало фактомъ, получившимъ извѣстность не только среди его знакомыхъ, но и далеко за предѣлами личнаго знакомства, благодаря аккуратности его корреспонденціи, тону и содержанию писемъ. На двадцатипятилѣтнемъ чествованіи его редакціонной дѣятельности его джентльменство въ корреспонденціи было особенно подчеркнуто А. С. Суворинымъ, залившимъ громогласно, что С. Н. Шубинскій представляетъ собою въ нашей русской перьяшлявой и небрежной жизни своего рода феноменъ, такъ какъ за всю свою жизнь не оставилъ ни одного письма безъ обстоятельнаго отвѣта. Авторъ посвященной памяти С. Н. Шубинскаго статьи («Виржевыя Вѣдомости», 1913 г., № 13573, вечерній выпускъ) по сему предмету повѣствуетъ слѣдующее:

«Одинъ изъ литераторовъ, начавшихъ свою дѣятельность у Шубинскаго юнымъ студентомъ, рассказываетъ, какъ это съ нимъ случилось:

«Пріѣхалъ я въ Петербургъ совершенно одинъ. Знакомыхъ ни души. Въ то время я занимался исторіей, и потому меня влекло къ «Историческому Вѣстнику». Статьи не выходили, и я послалъ рецензію. Попался мнѣ переводъ Гербеля сочиненій Шевченка. Вышелъ онъ, правда, лѣтъ двадцать назадъ, но переводъ меня поразилъ удивительными ошибками, прямо смѣшными. Напримѣръ, какъ сейчасъ помню, въ немъ малорусское слово «луна» (эхо) преспокойно переведено было «мѣсяцъ». Послалъ я эту рецензію Шубинскому. Черезъ день,—замѣтите, какъ быстро,—получаю простое хорошее письмо, въ которомъ Шубинскій своимъ бисеромъ поясняетъ мнѣ, что рецензія не можетъ быть напечатана, такъ какъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» не помѣщается отзывомъ о книгахъ, вышедшихъ двадцать лѣтъ тому назадъ.



С. Н. Шубинскій въ своемъ кабинетѣ въ послѣдніе годы жизни.

Многие ли редакторы такъ поступили бы! Отвѣтъ меня подбодрилъ. Я сейчасъ же взялъ новую книгу: «Скифскія древности» Толстого и Кондакова. Написалъ, послалъ. Черезъ день опять отвѣтъ: «Къ сожалѣнію, объ этой книгѣ уже пишетъ Полевой. Такія неудачи будутъ всегда, если вы не будете

В. В. ГЛИНСКІЙ.

предварительно сговариваться, о чем хотите писать. Приходите». И я пришел и затѣмъ сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ сотрудниковъ журнала».

Доброжелательство въ отношеніи всѣхъ обращавшихся къ нему не только по дѣламъ «Историческаго Вѣстника», но и по разнымъ другимъ научно-литературнымъ вопросамъ было изумительно. Въ виду его широкой известности, какъ знатока новой русской исторіи, къ нему со всѣхъ сторонъ даже люди, совершенно незнакомые, обращались съ разными запросами, желая отъ него получить надлежащія указанія по поводу источниковъ для ихъ работъ. И всѣ эти желанія старики всегда охотно выполняли, давая себѣ трудъ лазать по полкамъ своей библіотеки и рыться въ ней въ интересахъ незнакомаго корреспондента, сплошь и рядомъ задавагшагося дѣломъ въ какомъ-нибудь медвѣжьемъ уголку написать какую-нибудь историческую драму, повѣсть или романъ. Трогательно было видѣть, какъ этотъ заслуженный дѣятель нашей исторической науки, уже согбенный годами, съдѣнный всяческими хворостями, трудился, такимъ образомъ, во имя просвѣщенія и ради, по большей части, проблематическихъ научно-литературныхъ стремленій обывателя.

— Пожалейте себя, поберегите свои силы, вамъ не въ мочь лезть по шкапамъ, дѣлать розыски книгъ, дѣлать выписки,—часто говорилъ я ему, видя его истомленнымъ непосильными задачами и охающимъ отъ усталости.

— Нельзя,—отвѣчалъ онъ обыкновенно мнѣ:—надо помочь, пока я живъ; умру, и не къ кому ему будетъ обратиться.

И старикъ, добродушно ворча и комично иронизируя надъ своими незнакомыми корреспондентами и собесѣдниками, продолжалъ снабжать ихъ всѣмъ нужнымъ ради пользы отечественнаго просвѣщенія.

— Ну, что онъ тамъ въ медвѣжьемъ углу написать можетъ? И затѣмъ ему эпоха Грознаго? Пожалуй, еще статью пришлеть въ редакцію! На свою голову стараюсь...

Въ этомъ служеніи просвѣщенію онъ видѣлъ задачу и обязанность своей жизни, на стражѣ которыхъ онъ и продолжалъ стоять даже до послѣднихъ дней своей разрушительной болѣзни. Это рыцарство долга, это джентльменство по отношенію всего обширнаго міра пишущихъ и научно работающихъ были отличительными чертами его благородной натуры, которые такъ крѣпко и привязали къ нему покойнаго издателя «Новаго Времени» и «Историческаго Вѣстника» А. С. Суворина, считавшаго Сергія Николаевича ближайшимъ совѣтчикомъ и сподвижникомъ по всѣмъ своимъ издательскимъ начинаніямъ.

Письма Шубинскаго по вопросамъ редакционнымъ и вообще литературнымъ отличались большою обстоятельностью. Въ нихъ онъ давалъ не только отвѣтъ по возбужденному вопросу, но часто преподávalъ цѣлую программу литературныхъ дѣйствій, разъясняя корреспонденту, въ чемъ заключаются

его ошибки, что надо сдѣлать, чтобы избѣжать таковыхъ, какъ лучше планировать работу и что требуется для ея усовершенствованія. Такимъ образомъ, его отвѣтъ сплошь и рядомъ обращался въ своего рода редакціонный урокъ, шедшій на безусловную пользу тому, кому онъ преподавался. Такого рода учительство сыграло въ жизни многихъ писателей, пользующихся нынѣ даже известностью, видную роль. Сергій Николаевичъ, можно сказать, обучилъ ихъ, создалъ ихъ и предупредѣлялъ всю ихъ литературную будущность. Пытавшій свои силы довольно неудачно на поприщѣ беллетристики, по его совѣту и согласно его указанію, переходилъ на жанръ публицистическій, мнившій себя публицистомъ съ его же благословенія избиралъ себѣ область критики и рецензій и т. д. Я не стану здѣсь называть именъ тѣхъ, кто въ этомъ отношеніи долженъ себя считать особенно обязаннымъ Сергію Николаевичу. Быть можетъ, со временемъ, когда явятся разныя воспоминанія о покойномъ, когда обнаружится его обширный архивъ, оставленный имъ, къ слову сказать, въ блестящемъ порядкѣ, слова мои найдутъ себѣ фактическое подтвержденіе, и редакторъ-воспитатель подрастающихъ литературныхъ поколѣній обрисуетъ передъ нами во всемъ его привлекательномъ значеніи. Его слово одобренія сыграло, несомнѣнно, въ жизни насъ всѣхъ, составлявшихъ при немъ семью «Историческаго Вѣстника», крупную роль, и я лично, вспоминая свои первые шаги на литературномъ поприщѣ, съ благоговѣніемъ храню старыя, пожелтѣвшіе листочки бумажки отъ 1889 года, гдѣ онъ писалъ мнѣ:

«Многоуважаемый Борисъ Борисовичъ! Статья объ Орестѣ Миллерѣ написана хорошо, и я не измѣнилъ въ ней ни одного слова. Мнѣ очень пріятно, что вы съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе отрѣшаетесь отъ вашихъ маленькихъ недостатковъ въ изложеніи. Теперь несомнѣнно, что вы можете, а, слѣдовательно, и должны работать. Сожалѣю, что не было времени сдѣлать портретъ Миллера и статья пойдетъ безъ него.

Искренно вашъ С. Шубинскій.

Слово въ письмѣ «должны» сыграло въ моей литературной жизни, несомнѣнно, рѣшающую роль и скрѣпило меня до послѣдняго дня съ журналомъ Сергія Николаевича и его личностью. Вѣроятно, то же могутъ сказать и многие другіе мои товарищи по работѣ у Шубинскаго. Увы, однако, далеко не всѣ, воспитавшіеся въ его литературной колыбели, остались ему вѣрны и по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ жизни оказались участниками другіхъ литературныхъ приходовъ, часто даже враждебныхъ «Историческому Вѣстнику», и старики-редакторы, встрѣчая ихъ имена, порою окруженные уже нѣкоторою известностью, всегда съ любовью вспоминали, что именно изъ его редакціоннаго кабинета они и вышли на литературный свѣтъ, а при личныхъ встрѣчахъ привѣтствовали ихъ, какъ своихъ ли-

тературных питомцев, предлагая им при случае вернуться к нему обратно.

— Забвение благодарности—большой порок. Помните, что сказано: «чи отца твоего и мать твою, да благо ти будет»,—любовно-шутливо выговаривал он им.

Я упомянул выше, какова была та общественная атмосфера, под воздействием которой сложилось мировоззрение Сергея Николаевича в пору молодости и ко времени выступления его на литературное поприще. Редакция «Искры», близость к Курочкину, М. Семевскому, Шишкину, Благовостову, Костомарову и другим представителям западнического либерализма шестидесятых годов,—вот та именно общественная и политическая атмосфера, откуда он почерпнул свое идейное credo. Ему он остался вверен и до конца своих дней и, противопоставляя Шубинского себя, А. С. Суворинъ определенно именовать его «западником-либералом». Человек по своему характеру умренный и уравновешенный, С. Н., конечно, не был сторонником крайностей этого либерализма. Да и занятие историей, серьезная любовь к знанию, привязанность к России и всему ей историческому укладу не позволяли ему уходить слишком далеко. Приближая к нему современную номенклатуру, его всего более можно наименовать прогрессистом и при том самой широкой терпимости, держащегося правила, что истина в середине. Во имя этого-то правила он охотно открывал двери своего журнала людям разных направлений, лишь бы только их мнения не носили на себе слишком резкой окраски в ту или другую сторону. И революция слыва, и революция справа ему претили, и мирная политическая и общественная эволюция казались С. Н. Шубинскому лучшим путем и средством достижения желательных прогрессивных целей, ведущих к благоденствию родины.

Не получив широкого и многостороннего образования, С. Н. Шубинский по выходу из полка, занявшись изучением судеб родной земли и по преимуществу, как уж сказано выше, XVIII века, тесно замкнулся в этой области знаний и достиг в данном отношении блестящих результатов. Факты истории, даже того времени во всех его подробностях, действовавшие в свое время лица—вот тот материал, которым он свободно оперировал в своих работах и суждениях. Отечественные в широкой постановке вопроса под углом социально-политического и экономического зренья было ему чуждо, и он не был охотником до обобщений и определенных культурно-философских выводов. Он изучал факты, достоверность его деталей, его хронологию, а выводы из интересах определенного обобщения он предоставлял самим читателям. Специализировавшись на фактах, он оставался в стороне от философии предметов, и потому

впоследствии, как редактор, не любил работать, где умозрения и выводы брали перевес над фактической стороной дела. Он сам всегда признавался, что некомпетентен в философских вопросах, а потому игнорировал их, и в этом отношении его позиция редактора исторических журналов такого типа, как «Древняя и Новая Россия» и «Исторический Вестник», как нельзя более соответствовала всему строю его ума, и здесь он чувствовал себя, что называется, как рыба в воде.

Мы видели из приведенной выше его автобиографии, каким путем достиг он звания редактора «Древней и Новой России» и при каких обстоятельствах журнал был основан. Может показаться странным, почему именно на него выпал жребий быть руководителем такого органа печати, где собрались тогдашние корифеи нашего исторического знания. До известной степени это объясняется уже установившейся к тому времени его репутацией, как человека аккуратного, точного, уживчивого, с хорошими способностями администратора; с другой стороны, сонм собравшихся считал его наиболее податливым и подверженным влиянию и давлению на него со стороны каждого из них. Он рисовался им «удобным», да к тому же и сам издатель был найден именно им. Так возникает «Древняя и Новая Россия», иллюстрированный ежемѣсячный исторический сборник, имѣвший своей задачей знакомство исключительно с Россией, притом не ограничивавшийся разработкой исторических сведений, но дававший материал и из других областей отечествоведения, особенно этнографии. В противоположность существовавшим уже тогда историческим журналам «Русской Старине» и «Русскому Архиву»,—«Древняя и Новая Россия» воспроизводила на своих страницах не сырые материалы, а преимущественно обработанные исследования и притом дала немало статей таких ученых, как К. Н. Веструев-Рюминъ, С. М. Соловьевъ, Н. И. Костомаровъ, М. И. Сухомлиновъ, Я. К. Гротъ, Д. И. Иловайский, И. Е. Забелинъ, О. Э. Миллеръ, Л. Н. Майковъ, В. И. Герье, Н. Я. Аристовъ, Е. Е. Замысловский, А. Н. Веселовский и т. д. Текст иллюстрировали прекрасные гравюры и фотографии. Самая внешность издания была роскошная: «Древняя и Новая Россия» печаталась (в типографии В. И. Грацианского) на прекрасной плотной бумаге и выходила толстыми тетрадями в 4°, в обложке с вышивкой, рисованною художником Адамовым.

Как повѣдал сам С. Н. Шубинский, «Древняя и Новая Россия» при всем богатствѣ заключенного в ней материала успеха не имѣла. При существовании двух параллельных исторических журналов, как «Русский Архив» и «Русская Старина», в достаточной мѣрѣ обслуживавших потребности тогдашняго интеллигентнаго общества, новый органъ печати, перегруженный тяжеловѣсным профессорским материалом, не могъ найти себѣ

достаточного размѣщенія съ нужными въ пользу издателя барышами. Къ тому же участвовавшій въ журналѣ П. Гилтебрандтъ, работавшій по преимуществу по отдѣлу «Замѣтокъ и новостей. Областной печати и современной лѣтописи», началъ интриговать противъ Сергѣя Николаевича, наблюдая въ немъ излишнюю редакторскую самостоятельность, не соотвѣтствующую первоначальнымъ планамъ сотрудниковъ. Въ результатѣ, какъ мы знаемъ, Шубинскій остался не у дѣла, но счастье въ лицѣ окрѣпшаго къ тому времени въ газетномъ издательствѣ А. С. Суворина ему улыбнулось, и вотъ въ 1880 году мы видимъ его во главѣ новаго журнала «Историческій Вѣстникъ». Въ главныхъ чертахъ онъ самъ повѣдалъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ возникъ этотъ журналъ. Къ сказанному прибавлю сюда со словъ покойнаго нѣкоторые детали.

Съ А. С. Суворинымъ, какъ популярнымъ писателемъ широкой либеральной извѣстности, С. Н. Шубинскій былъ уже знакомъ давно, встрѣчался съ нимъ въ разныхъ модныхъ тогда литературныхъ домахъ, какъ, напримеръ, у Полетики, и даже привлекъ его къ сотрудничеству въ «Древнюю и Новую Россію», гдѣ Алексѣй Сергѣевичъ (1875 г., № 4) помѣстилъ статью «А. С. Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ (по поводу картины Н. Н. Ге)». Затѣмъ по просьбѣ Суворина, послѣ основанія имъ «Новаго Времени», велъ переговоры о сотрудничествѣ въ молодой газетѣ Н. И. Костомарова, Д. Л. Мордовцева, кажется, С. И. Смирновой и др.

Какъ рассказывалъ Сергѣй Николаевичъ въ кругу нѣкоторыхъ сотрудниковъ, дѣло изданія новаго органа печати не такъ-то легко и просто уладилось. Въ 1879 году, кажется, весной Суворинъ далъ свое окончательное согласіе на издательство, затѣмъ лѣтомъ ухѣхалъ за границу. Въ его отсутствіе Шубинскій предпринялъ рядъ подготовительныхъ организационныхъ дѣйствій: велъ переговоры съ сотрудниками, заказывалъ статьи для первыхъ номеровъ будущаго журнала, выработывалъ программу и т. д. и т. д. Каково же было его удивленіе, когда, при встрѣчѣ, на вопросъ Алексѣю Сергѣевичу о журналѣ, послѣдній, очевидно, будучи не въ духѣ или чѣмъ-то раздосадованъ, какъ это съ нимъ иногда случалось, въ рѣзкой формѣ заявилъ, что никакого журнала онъ издавать не будетъ, чтобы онъ оставилъ его въ покоѣ и не приставалъ къ нему. Сергѣй Николаевичъ опшшился, растерялся и бросился къ Алексѣю Петровичу Коломинну, зятю Алексѣя Сергѣевича, ведущему всю хозяйственную часть «Новаго Времени» и имѣвшему на Суворина большое влияние. Человѣкъ спокойный, хорошо изучившій своеарнальный и подчасъ капризный характеръ своего тестя, умѣвшій съ нимъ говорить и выбирать для того удобный моментъ, Коломиннъ успокоилъ Сергѣя Николаевича, обѣщавъ уладить все дѣло по-хорошему. И дѣйствительно, такъ и случилось. Суворинъ повернулъ гнѣвъ на милость, и судьба «Историческаго Вѣстника» была рѣшена въ положительномъ смыслѣ.

Въ автобіографіи С. Н. Шубинскаго рассказано, черезъ какое правительственное затрудненіе пришлось перешагнуть и какъ онъ оказался издателемъ поневолѣ. Осенью 1879 года на первой страницѣ «Новаго Времени» появилось объявленіе о выходѣ новаго журнала, а 1-го января 1880 года объявлено было и о выходѣ первой книжки журнала, гдѣ редакторъ получилъ уже возможность наименовать и тѣхъ писателей и ученыхъ, которые общались «Историческому Вѣстнику» свое постоянное участіе. Это были: В. Г. Авсеенко, Н. В. Альбертини, Н. Я. Аристовъ, Е. В. Барсовъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, А. Г. Брикнеръ, Е. А. Бѣловъ, И. Д. Бѣловъ, Н. А. Бѣлозерская, В. И. Герье, Г. П. Давилевскій, И. И. Дубасовъ, Г. В. Есиповъ, И. Н. Ждановъ, И. Е. Забѣлинъ, А. И. Забѣлинъ, Д. И. Завалишинъ, Е. Е. Замысловскій, В. Р. Зотовъ, Д. И. Иловайскій, Е. П. Карновичъ, Д. А. Корсаковъ, Н. И. Костомаровъ, В. В. Крестовскій, А. О. Круглый, Н. И. Куницынъ, А. М. Лазаревскій, А. С. Лебедевъ, Н. С. Лѣсковъ, Л. Н. Майковъ, В. Н. Майковъ, Л. С. Маѣевичъ, О. Θ. Миллеръ, А. П. Милоковъ, Д. Л. Мордовцевъ, Ф. К. Неслуховскій, Т. П. Пассекъ, Н. И. Петровъ, П. Н. Полевой, Н. А. Поповъ, П. А. Пономаревъ, А. П. Пятковский, П. А. Ровинскій, А. С. Сибиревъ, Н. В. Сорокинъ, В. Я. Стоюнинъ, М. И. Сухомлиновъ, Θ. М. Уманецъ, А. Θ. Хойнацкій и др.

Обозрѣвая какъ содержаніе первой книжки новаго журнала, такъ и списокъ сотрудниковъ, общавшихъ ему свое постоянное участіе, по сравнению съ книжками послѣдующихъ годовъ, можно видѣть слѣдующія отличительныя черты этой книги. Она, во-первыхъ, гораздо болѣе приближается къ типу специально-историческаго журнала, гдѣ все принаравливается къ началу историзма съ очень слабымъ приближеніемъ къ вопросамъ современности въ ихъ общественномъ освѣщеніи; во-вторыхъ, составъ сотрудниковъ въ своей преобладающей части относится къ числу первоклассныхъ русскихъ ученыхъ, съ громкими заслуженными именами, каковы: Н. И. Костомаровъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, И. Е. Забѣлинъ, Л. Н. Майковъ, В. И. Герье, О. Θ. Миллеръ, А. П. Милоковъ, М. И. Сухомлиновъ и др., въ-третьихъ, книжка скорѣе приближается къ обычному типу «сборника», гдѣ постоянные отдѣлы еще не вполне выяснились и не твердо поставлены, и, наконецъ, въ-четвертыхъ, редакція журнала не особенно выходитъ за пределы своихъ подписныхъ общацій публикѣ и придерживается болѣе или менѣе того размѣра книжки по количеству листовъ, который обозначенъ при объявленіи о подпискѣ въ 1879 году.

Участіе въ журналѣ крупныхъ авторитетовъ нашей исторической науки, правда, не прекращалось и въ послѣдующіе годы его существованія, но, въ виду вынужденной потребности придать изданію болѣе общелитературный характеръ, редакторъ рѣшилъ разнообразить печатаемый матеріалъ и предоставить сотрудничество болѣе широкому кругу лицъ. Поэтому понемногу

были расширяемы отъёлы беллетристики, воспоминаний и исторических записок, историко-литературных очерков, путешествий, критики и библиографии, отъёлы «Заграничных исторических новостей и мелочей» и «Смѣсь».

Если дѣло объ изданіи журнала уладилось благополучно, то сгладилось въ первые два года и тѣ нѣкоторыя тренія, которыя возникали въ этотъ періодъ между издателемъ и редакторомъ. Объ этихъ треніяхъ А. С. Суворинъ не сохранялъ воспоминаний, утверждая и въ имѣющихся въ моемъ распоряженіи письмахъ его къ редактору «Историческаго Вѣстника», и въ произнесенной имъ по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія его редакторской дѣятельности публичной рѣчи, что между нимъ и его старымъ другомъ никогда не возникало никакихъ конфликтовъ и недоразумѣній.

— У меня дурной характеръ,—сказалъ въ этой рѣчи Суворинъ.—Я со всѣми ссорюсь и на всѣхъ кричу, а вотъ съ вами, мой милый голубчикъ, я еще за всю свою жизнь никогда не поссорился.

Но Шубинскій въ своихъ повѣствованіяхъ намъ, сотрудникамъ, передавалъ, что въ первые два года онъ испыталъ немало огорченій отъ своего нервнаго и вспыльчиваго патрона. Вѣроятно, если припомнимъ тяжелую атмосферу, въ которой жило русское общество въ тѣ два памятные годы (1879—1881 г.г.) нашей исторіи, то многія неровности характера Алексѣя Сергѣевича легко объяснимы именно этою атмосферою и тѣмъ боевымъ положеніемъ, которое пришлось занять тогда «Новому Времени» въ журнальномъ мірѣ. Для боевого публициста, только недавно сформировавшаго крупный политическій органъ печати, быть можетъ, приходилась не по вкусу та тяжелая артиллерія, съ которой новый редакторъ по образцу бывшей «Древней и Новой Россіи» выступалъ. Подписала на молодой журналъ не оправдывала тѣхъ ожиданій, которыми было окрылено передъ тѣмъ новое дѣло. Результаты издательства давали убытокъ, и это обстоятельство не могло не энергизировать уже избалованнаго къ тому времени успѣхомъ издателя «Историческаго Вѣстника». Онъ брызжалъ, подтрунивалъ надъ Шубинскимъ, выговаривалъ ему, а тотъ, самолюбивый отъ природы, щепетильный и не любившій никакихъ рѣзкостей, обижался и принималъ всерьезъ всѣ экстравангантности Суворина. Вотъ, папримѣръ, какъ поддразнивалъ послѣдній Сергѣя Николаевича въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ писемъ, отъ которыхъ тотъ готовъ былъ лѣзть на стѣну:

«Здравствуйте, почтенный и небезполезный «Историческій Вѣстникъ» въ лицѣ Сергѣя Николаевича. Я вамъ, сударь, изъ Висбадена длинное письмо посылалъ и при немъ прошеніе въ главное правленіе печати о выдачѣ вамъ задержанныхъ книгъ, и мнѣ любопытно, получили ли вы оныя? Въ двухъ письмахъ, полученныхъ мною отъ васъ, объ этомъ не упоминается нисколько, а упоминается только о страданіяхъ праведника новоявленнаго Сергія, угоняющаго Богу тѣмъ, что онъ, Всевышній, читалъ «Историческій Вѣстникъ», хорошо засыпалъ. Заслуга немаловажная. Говоря по существу, я вашими страданіями не сочувствую, ибо, во-первыхъ, Коршъ со

своимъ «Заграничнымъ Вѣстникомъ» не можетъ у васъ отобрать подписчиковъ, вторыхъ, просмотръ изданій «Нашего Вѣка» потому особенно мучителенъ, что въ Любани у васъ никакихъ словарей нѣтъ, но то неправда, будто бы ни въ какихъ словаряхъ нельзя отыскать тѣхъ словъ, которыя истрѣчаются у Гельвета. Что касается объявленій, то оно составлено чисто, но издатель совсѣмъ не Шпемалтъ, и упоминать объ этомъ едва ли стоитъ. Скусаю здѣсь очень и огромныя деньги за скуку плачу, помышляя о томъ сложномъ времени, когда я буду сидѣть въ своемъ кабинетѣ и вѣзти по сту разъ въ день. Первые нѣсколько притихли у меня, но родня снова сдѣлается ихъ невозможными. Тогда ужь я не поѣду, а меня повесятъ въ теплые края отдавать душу Богу, который, если ее не беретъ, то потому, что я принадлежу къ числу людей неважныхъ, на жизнь которыхъ Господь можетъ вѣрять равнодушно. «Историческій Вѣстникъ» составляется неинтересно, скучно. Это ужь вамъ присущій даръ. Съ интересомъ прочелъ Кочубинскаго—талантливый, живъ и знающій. Это ужь не вашъ Булгаковъ, который все знаетъ и обо всемъ такъ пишетъ, что ясно, что онъ ничего не знаетъ...».

Въ другомъ письмѣ, полномъ всяческихъ жалобъ на настроеніе своего духа и здоровье, онъ бросаетъ слѣдующую фразу: «Сегодня читалъ «Историческій Вѣстникъ». Усова статья очень любопытна. Но статья Лебедева—ученическая дрянь, за которую можетъ быть не стыдно только вамъ. И какъ начинается? Что это за ерунда такая, что будто бы тѣмъ юридическое положеніе ниже въ странѣ, тѣмъ и страна выше. Что же Россія выше всѣхъ? Вы чловѣкъ дѣла, но фраза вами любима ужасно. Хорошо ли дѣлаете, что такъ иллюстрируете «Историческій Вѣстникъ»?...

Я привелъ пару неблагоприятныхъ Сергѣю Николаевичу фразъ изъ цѣлой груды писемъ, имѣющихся въ моемъ распоряженіи и показывающихъ, что и тогда, т.-е. въ самомъ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, Суворинъ очень высоко ставилъ Сергѣя Николаевича, питалъ въ немъ добрыя чувства и считалъ чловѣкомъ дружески-близкимъ къ себѣ. Всѣ письма дышатъ теплымъ чувствомъ, но тѣмъ не менѣе нѣкоторыя колкости, приведенныя выше, вѣроятно, пускавшіяся въ оборотъ и въ личномъ разговорѣ невоздержаннаго на языкъ издателя «Новаго Времени», настолько задѣвали самолюбіе Сергѣя Николаевича, что онъ усматривалъ въ этомъ недовѣріе къ себѣ и угрозу для прочности дѣла. Отсюда его предложеніе Суворину освободить его отъ издательства журнала и подсыпать на его мѣсто другого, который бы уплатилъ ему понесенные расходы и принялъ бы на себя дальнѣйшее веденіе дѣла. Повидимому, такое предложеніе показалось Алексѣю Сергѣевичу довольно забавнымъ, и онъ рѣшилъ дать Шубинскому свое согласіе, дабы посмотреть, что тотъ будетъ дѣлать. И вотъ Сергѣй Николаевичъ начинаетъ путешествовать по издателямъ-капиталистамъ, посѣщая то В. Комарова, то С. Худякова, и др., и какъ только получитъ опредѣленное согласіе такого капиталиста, онъ принимаетъ дѣло всерьезъ, спѣшитъ къ издателю «Новаго Времени» съ якобы пріятнымъ отвѣтомъ. Но каково же бывало его удивленіе, когда Суворинъ, выслушавъ отвѣтъ, тутъ же давалъ отрицательное рѣшеніе

и поднимать продажную стоимость своего издания до невьбротной цифры. Наконец Суворину надоѣла эта канитель, и онъ категорически заявилъ своему общему редактору:

— Неужели вы серьезно думаете, что я могу продать какой-нибудь изъ своихъ органовъ печати? Я его могу просто уничтожить, прекратить, но торговать имъ мнѣ не къ лицу. Дѣло идетъ хорошо, ну, и славу Богу.

Такъ закончилась издательская трагедія въ жизни Сергѣя Николаевича, и наступила та спокойная полоса, гдѣ онъ у А. С. Суворина до конца его и своей жизни чувствовалъ себя, какъ у Христа за пазухой.

Если въ первое время, когда издатель «Историческаго Вѣстника» еще недостаточно присмотрѣлся и изучилъ всѣ прекрасныя свойства своего новаго соратника по издательству, онъ даже до известной степени поставилъ его подъ контроль упомянутаго выше А. П. Коломнина, то съ теченіемъ времени Суворинъ вполне убѣдился въ преданности себѣ Сергѣя Николаевича, его порядочности и пришелъ къ твердому сознанию, что въ его лицѣ онъ приобрѣлъ истинный столпъ для своихъ культурно-просвѣтительныхъ начинаній, почему и сталъ къ нему въ самыя тѣсныя дружескія отношенія. Какъ я уже писалъ въ фельетонахъ «Новаго Времени» (1913 г. № 13366 и 13367), посвященныхъ памяти моего незабвеннаго редактора, человекъ увлекающійся, дѣятель широкаго размаха, А. С. Суворинъ часто нуждался въ своего рода опеке надъ нимъ, и вотъ С. Н. Шубинскій дѣйствительно игралъ подчасъ роль такого опекуна, любовно оберегающаго интересы своего издателя, часто удерживая его отъ такихъ шаговъ, которые неминуемо должны были принести значительные убытки его торговымъ интересамъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ, когда редакторъ «Историческаго Вѣстника» признавалъ, что задуманное начинаніе дѣйствительно нужно и полезно русскому просвѣщенію, цѣлесообразно и не вводитъ Суворина въ явный убытокъ, онъ энергично принимался за выполнение предначертаній своего патрона и выполнялъ ихъ въ высшей степени добросовѣстно, умѣло, не жалѣя для того ни времени, ни силъ, лишь бы только выпускаемое изданіе было дѣйствительно совершенно и по своему содержанію, и по своему наружному облику. Отсюда цѣнность всѣхъ историческихъ и литературныхъ изданій, выпущенныхъ А. С. Суворинымъ при содѣйствіи Сергѣя Николаевича, какъ, напримѣръ: «Иллюстрированная исторія Петра Великаго» и «Иллюстрированная исторія Екатерины II» профессора Брикнера, «Историческая портретная галерея», «Императоръ Павелъ I», «Императоръ Николай I» и «Императоръ Александръ I» Н. К. Шильдера, «Олеарій, описаніе путешествія въ Москвитію» и другія записки по этому вопросу иностранцевъ: Герберштейна, Флетчера, Плато Карпини, Корба, «Записки императрицы Екатерины II», «Записки княгини Дашковой», «Царевѣдство 11-го марта 1801 года», нѣкоторые труды Валишевскаго и т. д., и т. д.

Передо мной мелькаютъ изъ архива Шубинскаго сотня-другая писемъ къ нему А. С. Суворина, начиная съ 1880 года, и только удивляешься, съ одной стороны, кипучести замысловъ нашего «Наполеона книжнаго дѣла», какъ наименовалъ Суворина покойный профессоръ Кирпичниковъ, а съ другой—вроли убѣждаешься, что ни одного своего предпріятія въ области книжнаго дѣла онъ не предпринималъ безъ тщательнаго и обстоятельнаго совѣщанія по нему съ Шубинскимъ. Алексѣй Сергѣевичъ заваливалъ его порученіями, ставилъ ему безконечный рядъ вопросовъ и держалъ его всегда въ курсѣ всѣхъ своихъ плановъ. И такъ продолжалось на протяженіи слишкомъ тридцати лѣтъ и даже, можно сказать, почти что на краю могилы онъ продолжалъ тербѣть своего друга и докупать ему вопросы о новыхъ и новыхъ издательскихъ предпріятіяхъ. Самъ сраженный вѣсеческими недугами, Сергѣй Николаевичъ приходилъ порой въ отчаяніе и комически восклицалъ:

— Вотъ неугомонный-то!

Я не привожу здѣсь выдержекъ изъ этихъ писемъ; для массы читателей онъ, пожалуй, не представитъ большого интереса и не столько характерны для Шубинскаго, сколько для Суворина и для исторіи роста русскаго книжнаго дѣла. Выполненіе порученій издателя «Новаго Времени» требовало отъ Сергѣя Николаевича напряженія и большой работы, слѣды которой часто не реализовались никакимъ практическимъ дѣйствіемъ, даннымъ на судъ публики. Много труда уходило для надобностей театральнаго дѣла, когда хозяинъ Малаго театра, напримѣръ, задумывалъ ставить или приступалъ къ постановкѣ обстановочныхъ историческихъ пьесъ. Тутъ приходилось дѣлать справки для Суворина по части костюмовъ, комнатной обстановки, отвѣчать на его вопросы, напримѣръ, на какомъ языкѣ и въ какихъ случаяхъ Екатерина I бесѣдовала съ приближенными и т. д. Часто Суворинъ замышлялъ широкія предпріятія, производилъ для нихъ длинную научно-подготовительную работу, а потомъ какъ-то сразу охладѣвалъ къ начатому и обрывалъ затѣянное, и здѣсь Шубинскій даромъ терялъ трудъ и время. Но зато, можно сказать, если онъ оказывался полезенъ Суворину, то и школа работы, проходившая имъ для своего издателя, не оставалась бесполезною самому трудившемуся. Письма Суворина показываютъ, какъ, наблюдая за границею постановку тѣхъ или иныхъ отраслей книжнаго дѣла, онъ пріобрѣталъ къ знакомству съ этимъ и редактора «Историческаго Вѣстника». Быть можетъ, благодаря этой своего рода школѣ опыта, изъ Сергѣя Николаевича и выработался такой знатокъ издательскаго дѣла, который среди такихъ же знатоковъ, какъ и онъ, пользовался широкимъ авторитетомъ. Поэтому не только Суворинъ цѣнилъ въ Шубинскомъ его издательско-редакціонное искусство, но и такіе знатоки нашего книжнаго дѣла, какъ издатель «Нивы» Марксъ и извѣстный собиратель нашихъ иллюстрацій П. Я. Дашковъ. Послѣдній, считая Сергѣя Николаевича своимъ ближайшимъ другомъ, сплошь и рядомъ привлекалъ

редактора «Исторического Вѣстника» къ совѣщаніямъ по разнаго рода отвѣтственнымъ изданіямъ, по преимуществу въ области военной исторіи, признавая въ данномъ случаѣ авторитетность своего друга и вѣруя въ его познанія въ области иконографіи. Дашковъ настолько прислушивался къ голосу Шубинскаго, что во многихъ случаяхъ своихъ коллекціонныхъ пріобрѣтеній отдавалъ на его судъ опредѣленіе цѣнности пріобрѣтаемаго. Когда къ Дашкову приходили съ предложеніями пріобрѣсти тѣ или иные документы, онъ отсылалъ предлагающихъ, сомнѣвающихся въ установленной нашимъ меценатомъ стоимости покупки, или на судъ Публичной бібліотеки, или къ С. Н. Шубинскому. Другихъ авторитетовъ Дашковъ не признавалъ.

Дашковъ сыгралъ въ жизни Шубинскаго также немаловажную роль: у этого высокопросвѣщеннаго мецената-коллекціонера Сергѣй Николаевичъ имѣлъ возможность немалому поучиться и извлечь изъ сообщества съ обитателемъ своего рода музейнаго дома на Михайловской площади многія и многія свѣдѣнія по части знакомства съ иллюстраціоннымъ и гравернымъ дѣломъ. Въ домѣ Дашкова онъ имѣлъ случаи сблизиться съ многими представителями нашей науки и литературы, сталъ непреминнымъ участникомъ всѣхъ дѣловыхъ и просто дружескихъ собраній у Павла Яковлевича Дашкова и въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ по всей справедливости считался однимъ изъ самыхъ интимныхъ его знакомыхъ. Громадная коллекція Дашкова сослужила въ дѣлѣ издательства «Историческаго Вѣстника», какъ уже сказано выше, въ первые десять-пятнадцать лѣтъ его существованія рѣшающую роль. Задумываясь въ послѣднее время надъ иллюстраціонными запросами и нуждами журнала, Шубинскій часто вспоминалъ столь неожиданно и безвременно сошедшаго въ могилу своего друга.

— Да,—задумчиво говорилъ онъ:—порочу почувствуешь себя безъ Павла Яковлевича точно безъ рукъ. Что бы я дѣлалъ безъ него въ началѣ моей издательской дѣятельности? Вѣдь и «Древняя и Новая Россія», и «Историческій Вѣстникъ» въ отношеніи иллюстрацій буквально выросли на плечахъ Дашкова...

У самого Сергѣя Николаевича въ цѣлыхъ воспроизведенія на страницахъ журнала портретовъ разныхъ историческихъ дѣятелей была собрана также немалая коллекція гравюръ и вырѣзокъ изъ разныхъ старыхъ и новыхъ иллюстрированныхъ изданій. Къ нему по этой части можно было идти, какъ въ справочное бюро. Кряхтя и ворча, добродушно и съ всегданнымъ придаткомъ ироніи («и къ чему это вамъ надо?...») онъ показывалъ по своимъ полкамъ, поищетъ въ своихъ аккуратно систематизированныхъ папкахъ и найдетъ вамъ нужное, причемъ опять-таки по адресу найденнаго лица сочтетъ долгомъ отпустить какое-нибудь красное слово. Особенно любовью его пользовались персонажи XVIII вѣка; когда онъ осматривалъ ихъ изображенія, то, даже не читая подписи, онъ безъ всякаго напряженія памяти сразу называлъ ихъ

по имени и отчеству. Да, для него всѣ эти персонажи были точно близко знакомые люди, съ которыми онъ въ жизни когда-то еще недавно бесѣдовалъ и разспрашивалъ ихъ о здоровьи и новостяхъ дня.

За послѣдніе три года въ «Историческій Вѣстникъ» не поступало историческихъ романовъ, но вотъ молодой писатель Ф. Е. Заринъ-Несвицкій доставилъ редакціи романъ «Ворьбу у престола», напечатанный въ 1913 году. Произведеніе по случаю болѣзни Шубинскаго прежде всего попало мнѣ въ руки, и я отправился въ редакцію сообщить больному редактору объ интересномъ вкладѣ въ нашъ журналъ. Сергѣй Николаевичъ чувствовалъ себя въ этотъ день плохо, слабымъ и не могущимъ разговаривать, но стоило мнѣ только упомянуть объ эпохѣ Анны Иоанновны, какъ больной старикъ сразу оживился.

— И Василій Лукичъ ¹⁾ тамъ? И Михайло Михайловичъ ²⁾? И такой-то, и такая-то?

Я опшѣлся, мнѣ какъ-то даже жутко стало. Передо мной точно воскресъ выходецъ изъ XVIII вѣка, встрѣтившійся со старыми знакомыми. Но что удивительнѣе всего было, это проблѣсъ въ старомъ, почти умирающемъ чело-вѣкѣ его феноменальной памяти. Дѣйствительно, этой памяти можно было позавидовать и въ особенности касающейся событій и лицъ изъ временъ прошлыхъ. Настоящее и близкое къ нему легко у него стиралось изъ памяти, и въ этомъ отношеніи въ послѣдніе два года съ нимъ на редакціонной работѣ встрѣчались затрудненія. Но стоило коснуться минувшаго, и она отчетливо и въ яркихъ чертахъ воскресала въ его бесѣдѣ.

— Теперь память у меня притупѣла, а прежде я наизусть зналъ родословныя почти всѣхъ русскихъ главнѣйшихъ родовъ, особенно придворныхъ.

Я увлекся нѣкоторыми подробностями; возвращаясь же непосредственно къ дѣятельности Сергѣя Николаевича по журналу, отмѣчу на первыхъ порахъ, что уже въ первое десятилѣтіе существованія «Историческаго Вѣстника» его редакторъ опредѣлился въ глазахъ сотрудниковъ и читающей публики во весь свой ростъ. Его симпатичный обликъ сталъ дорогою литературной семьѣ, и она начала проявлять по его адресу самыя добрыя и порою трогательныя чувства.

Когда приближился десятилѣтній юбилей журнала, тогдашніе сотрудники во главѣ съ М. Городецкимъ и С. Трубачевымъ (отшедшими уже въ вѣчность)

¹⁾ Долгорукій.

²⁾ Голицынъ.

задумали отпразднить этот день проявлением по адресу Сергия Николаевича знаков общей признательности.

В этот день он получил множество телеграмм и писем с поздравлениями и добрыми пожеланиями не только от сотрудников, но и от подписчиков.

Постоянные сотрудники журнала поднесли С. Н. Шубинскому на память роскошный бюварь. Лицевую его сторону составляла серебряная массивная доска в большой лист писчей бумаги с воспроизведенным на ней чеканным рельефом рисунка обложки «Исторического Вестника», причем все фигуры, буквы и украшения рисунка изображены согласно с оригиналом, за исключением того, что вместо названия месяца, выставляемого на книжках журнала, помещены года «1880—1889». В верхней части серебряной доски, под рельефной копией с обложки, вычеканена рельефом же монограмма С. Н. Шубинского, а на свободном полз доска выгравированы факсимиле шестидесяти двух участников подарка. Бюварь, отфрансизированный бархатом оливкового цвета, с массивными чеканными гвоздями на нижней доске, вложен в изящный дубовый футляр с зеркальными стеклами. Дополнением к бюварю служило серебряное перо и нож для разрезки книг, вычеканенные в стиль журнальной обложки в вырезанную на нем подписью С. Н. Шубинского и годами «1880—1889».

Сотрудник журнала С. С. Трубочев составил к этому дню брошюру под заглавием: «Обзор содержания «Исторического Вестника» за первое десятилетие 1880—1889», в которой сданы общая характеристика журнала и наиболее выдающихся статей, помещенных в нем за десятилетний период. Из многочисленных телеграмм, присланных С. Н. Шубинскому, приводим одну, подписанную профессорами казанского университета Д. Я. Корсаковым и Н. В. Сорокиным, так как она в сущности резюмирует почти все остальные телеграммы: «Сердечно приветствуем глубокоуважаемого Сергия Николаевича с десятилетием «Исторического Вестника», которым вы объединили историческую науку, связав отечественную историю с всемирною и научное исследование с популярным изложением; этим вы достигли распространения исторических сведений среди образованных классов. Да растет ваша энергия и просветительная деятельность на долгие годы на благо родной земли».

В ответ на все добрые речи, приветствия и письма Шубинский в январском номере 1890 года поместил следующее письмо:

«Первого декабря прошлого 1889 года исполнилось десять лет со дня основания «Исторического Вестника». В этот день я удостоился со стороны многих лишь такого внимания, которое не часто выпадает на долю скромных литературных труженников. Мною было получено много телеграмм и писем не только от сотрудников, но и от подписчиков; мне были сданы разные подарки, и член-

ные, и незначительные, но дорогие по сопровождавшим их приветствиям. Само собою разумеется, что я не могу отнести оказанную мне честь лично к себе; она всецело принадлежит журналу и отражается на мне лишь потому, что я слишком тесно связан с ним во всех отношениях. Приношу искреннюю благодарность всем петербургским и иногородним сотрудникам и читателям «Исторического Вестника», которые сочувственно вспоминали день его десятилетия.

«Редактор «Исторического Вестника» С. Шубинский».

С тех пор среди сотрудников утвердился как бы освященный обычай чествовать Сергия Николаевича каждое пятилетие с подношением ему тех или иных подарков. Старому редактору, несомненно, эти маленькие домашние праздники доставляли удовольствие, но и тут он не обходился без свойственной ему сатирической шутки.

— Ну, что я с этими жетонами, серебряными ящиками, альбомами буду делать? Только одни хлопоты и возня с ними, чтобы их оберегать в порядке. Уже если хотите мне что-нибудь подарить в будущий раз, то подарите ентовую шубу, мою-то моль съела, а то вот у меня брюки протерлись...

И пойдешь старик балагурить. Но как бы то ни было, он с удовольствием принимал все знаки к нему почтения и накануне своих юбилейных дней немало волновался. Особенно я помню его взволнованное душевное состояние накануне празднования двадцатипятилетия его редакторства в «Историческом Вестнике», каковое по желанию А. С. Суворина намечалось и организовывалось на широких началах. В этот достопамятный для С. Н. Шубинского день был достаточно полно подведен итог его четвертьвековой редакторской деятельности и сдана полная его характеристика и оценка.

Полное описание этого литературного праздника сдало в моей статье, посвященной тому юбилейному дню (см. Исторический Вестник 1905 г. № 1). Здесь же отмечу лишь письмо, полученное им в утро того знаменательного дня от А. С. Суворина. Последний писал ему:

«Милый Сергий Николаевич!

Мне хочется поблагодарить вас от всего сердца за вашу дружбу, за ваше деликатное и всегда теплое отношение ко мне, за ваше участие словом и делом, участие прекрасного человека. Не говорю уже о вашей работе по «Историческому Вестнику» и моим изданиям. Я в вас встретил одного из тех редких людей, которым больше всего идет название джентльмена, в истинном и верном значении этого слова.

«В моем духовном завещании я отказал вам половину собственности на «Исторический Вестник». Так как я еще жив, то считаю необходи-

мымъ сдѣлать это при жизни моей немедленно ¹⁾. Формальную сторону могъ бы помочь намъ сдѣлать какой-либо юристъ, дарственной ли записью, или купчей,—не знаю. А то и сами можемъ сдѣлать на этихъ же дняхъ. Если бы я умеръ, то все равно это сдѣлаю въ завѣщаніи. Но авось нѣсколько дней еще проживу.

«Посылаю вамъ жетонъ, какъ воспоминаніе.

«Крѣпко жму вашу руку и обнимаю васъ.

«Вашъ А. Суворинъ.

1-го декабря, 7 часовъ утра, 1904».

Въ четыре часа дня въ большомъ залѣ ресторана Контана состоялся банкетъ, на которомъ присутствовало болѣе ста человѣкъ изъ числа сотрудниковъ «Историческаго Вѣстника», представителей нѣкоторыхъ другихъ столичныхъ изданій, друзей, родственниковъ и знакомыхъ редактора.

Появленіе въ ресторанѣ С. Н. Шубинскаго было встрѣчено долго не смолкавшими аплодисментами. За особымъ столомъ въ залѣ заняли мѣста: С. Н. Шубинскій, А. С. Суворинъ, члены организационнаго комитета ²⁾: В. В. Глинскій, В. М. Грибовскій, А. И. Фаресовъ—съ одной стороны стола, а съ другой—дочь редактора, Е. С. Никольская, и лейбъ-медикъ М. М. Шершевскій.

Когда присутствовавшая публика заняла мѣста, я объявилъ отъ имени комитета банкетъ открытымъ и сообщилъ программу торжества. Затѣмъ В. М. Грибовскій прочиталъ рѣчь извѣстнаго историка и постоянного сотрудника «Историческаго Вѣстника» Е. С. Шумигорскаго, не могшаго по болѣзни лично привѣтствовать юбиляра.

По прочтеніи рѣчи и врученіи ея юбиляру депутація, въ составѣ Н. А. Вѣлосерской, С. И. Смирновой (Сазоновой), Д. Л. Мордовцева, П. Я. Дашкова и М. А. Суворина, поднесла С. Н. Шубинскому на кругломъ серебряномъ блюдѣ съ инициалами юбиляра портфель-бумажникъ съ вложенными въ него тремя билетами по 1.000 рублей каждый четырехпроцентной государственной ренты на премію его имени ³⁾. На бюварѣ вытѣснена золотомъ над-

¹⁾ Владѣніе половиною частью наданія въ практическомъ отношеніи (главнымъ образомъ по соображеніямъ послѣдованія послѣ его смерти) не показалося Сергѣю Николаевичу удобнымъ, а потому Суворинъ три года тому назадъ, идя навстрѣчу желаніямъ своего друга, выкупилъ ее у него, такъ что нынѣ журналъ является пераждѣльнойю собственностью послѣдниковъ А. С. Суворина. Б. Г.

²⁾ Комитетъ былъ составленъ изъ: В. В. Глинскаго, В. М. Грибовскаго, А. И. Фаресова, Е. С. Шумигорскаго и П. Е. Щеголева.

³⁾ Таковая премія была учреждена при академіи наукъ, но вотъ прошло уже почти девять лѣтъ, по и до сихъ поръ, благодаря страннымъ порядкамъ въ нашемъ высшемъ разсудкѣ просвѣщенія, эта премія еще ни разу никому не была пріеуждена. Это обстоятельство очень огорчало Сергѣя Николаевича и онъ жалѣлъ, что деньги были переданы въ такое мертвое учрежденіе. Б. Г.

пись: «Сергѣю Николаевичу Шубинскому отъ друзей, сотрудниковъ и почитателей».

Послѣ того я прочиталъ отъ имени сотрудниковъ «Историческаго Вѣстника» слѣдующій адресъ, напечатанный на пергаментѣ и украшенный изящною виньеткою работы художника В. П. Павлова. Адресъ былъ вложенъ въ сафьяновый переплетъ кофейнаго цвѣта съ золотымъ тисненіемъ: «Сергѣю Николаевичу Шубинскому отъ сотрудниковъ «Историческаго Вѣстника» (1880—1904)».

«Дорогой Сергѣй Николаевичъ!

«Уже не одинъ разъ мы, ваши сотрудники по «Историческому Вѣстнику», пользуясь подходящими случаями, выражали вамъ одушевленія насъ чувства любви за тѣ сердечныя и дружескія отношенія, которыя мы неизмѣнно всегда встрѣчали съ вашей стороны, какъ своего редактора и руководителя журнала, гдѣ наши работы находили себѣ пристанище. И въ сегодняшний знаменательный для «Историческаго Вѣстника» день, день его двадцатипятилѣтняго юбилея, намъ хочется отъ полноты души сказать вамъ горячее спасибо за все то доброе, участливое и вѣстину дружеское, что мы всегда отъ васъ видѣли, и пожелаемъ вамъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще много лѣтъ стоять во главѣ дорогаго и близкаго намъ журнала.

«Пожли вамъ Богъ здоровья и силъ на руководство имъ еще на долгіе годы, и да процвѣтаетъ «Историческій Вѣстникъ» на пользу отечественнаго просвѣщенія и да популяризируютъ историческія знанія, въ цѣляхъ которыхъ онъ и былъ вами основанъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ!

«Пусть тотъ заслуженный успѣхъ журнала, коего онъ достигъ благодаря вашему неустанному труду и редакторской ошности, съ каждымъ годомъ все возрастаетъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ пусть и наше имя становится все ближе и дороже русскому читателю. Съ учрежденіемъ ученой преміи вашего имени по русской исторіи, въ созданіе каковой и мы, нижеподписавшіеся, внесли свою посильную лепту, имя это уже никогда не печезнетъ изъ лѣтописей русской образованности, и намъ, вашимъ сотрудникамъ, остается лишь пожелать, чтобы имя Сергѣя Николаевича Шубинскаго не только оставалось навѣки незабвеннымъ, но и свидѣтельствовало о любви и уваженіи, которыми оно всегда пользовалось, и въ ореолѣ которыхъ вы, дорогаго юбиляръ, являетесь сегодня среди насъ—вашихъ сотрудниковъ, друзей и почитателей».

Подъ адресомъ значится девяносто подписей. Отвѣчая за разъ и на пріѣздѣ Е. С. Шумигорскаго при поднесеніи преміи, и на адресъ сотрудниковъ, С. Н. Шубинскій сказалъ:

«Глубоко тронутъ и сердечно благодарю за теплыя и дружескія чувства, выраженныя въ адресѣ, а также за капиталъ, собранный на учрежденіе преміи моего имени. Но я не могу считать настоящий юбилей исключительно моимъ личнымъ юбилеемъ. Безъ А. С. Суворина не существовалъ бы «Историческій Вѣстникъ», а безъ дружной работы сотрудниковъ онъ не имѣлъ бы того успѣха, который имѣетъ. Такимъ образомъ, сегодняшний юбилей есть вмѣстѣ съ тѣмъ юбилей издателя и всѣхъ присутствующихъ и отсутствующихъ сотрудниковъ».

В. В. Глинскій.

«Приношу искреннюю благодарность всем, здесь собравшимся, за честь и дружелюбие, мне оказанные. В особенности благодарю А. С. Суворина. Давь все средства на издание «Исторического Вестника», он в течение двадцати пяти лет никогда ни в чем не стеснял меня ни нравственно, ни материально и неизменно оказывал самое дружеское расположение и доверие. Сегодня утром я получил от него приветственное письмо, в котором А. С. Суворин подарил мне половинную долю издательского права на «Исторический Вестник».

«Благодарю гг. членов комитета по организации настоящего юбилея за их хлопоты и заботы.

«Благодарю П. Я. Дашкова, который с самого основания «Исторического Вестника» предоставил в мое распоряжение свое богатое собрание портретов, гравюр и автографов; благодаря ему, я мог воспроизвести в журнале так много редких портретов, иллюстраций и автографов.

«Благодарю М. М. Шершевского; если я на семидесятом году моего возраста и при крайне болезненном состоянии присутствую здесь в этот столь приятный для меня день, то этим я много обязан его дружеским и безкорыстным заботам о моем здоровье.

«Ссылаясь на М. М. Шершевского, который может засвидетельствовать, насколько я еще слаб после недавно перенесенной мною тяжелой болезни, я прошу присутствующих великодушно извинить меня, что покину собрание ранже, нежели того желал. Прошу верить, что я сохранил о сегодняшнем дне самые отрадныя воспоминания, которые послужат мне утешением в недолгие дни, остающиеся мне для работы на пользу всем нами любимого дела.

«Еще раз благодарю и от души желаю всем благополучия».

Издатель «Исторического Вестника» А. С. Суворин, обратясь к юбиляру, произнес теплую речь, где, упомянув о своих личных дружеских и сердечных отношениях с Сергеем Николаевичем, отметил ту прекрасную его редакторскую литературную работу, благодаря которой «Исторический Вестник» достиг выдающегося успеха у публики. Между прочим он подчеркнул и то обстоятельство, что юбиляр представлял собою, быть может, феномен в русской распушенной халатной жизни: во всю свою жизнь он не оставил без ответа ни одного письма, ему адресованного. Он развил историческую беллетристику, для чего давал авторам рукописный и печатный материал и указывал на драматические положения, крупные, оригинальные характеры и бытовые стороны. Для этого надо быть не только чрезвычайно начитанным человеком, но и обладать несомненным литературным талантом и эстетическим вкусом. Сергей Николаевич сумел соединить в своем журнале несоединимое, то-есть людей разных воззрений, зная, что история не будет историей, если она представлена с одной какой-

нибудь стороны. Рядом с блестящими именами исторической науки в «Историческом Вестнике» постоянно выступали молодые исследователи, которым редактор умел выбрать работу и заинтересовать в ней. В своих редакторских и житейских отношениях Сергей Николаевич представляет собою джентльмена в самом лучшем значении этого слова.

После того, как официальная программа чествования была исчерпана, гостям предложены были у открытого буфета чай, фрукты и холодная закуска. Присутствующие разбились на группы, юбиляр обходил всех со словом признательности за участие в празднике журнала и высказанные по его адресу добрые чувства, и дружеская беседа продолжалась еще многие часы.

Третье десятилетие редакторской деятельности С. Н. Шубинского, закончившееся 1-го декабря 1909 года, было также отмечено сотрудниками журнала подношением ему на квартире красивого ларца со вложением в него богатой портретной галереи как настоящих, так и бывших его сотрудников (скончавшихся) во главе с портретами А. С. Суворина и редактора «Нового Времени» М. А. Суворина. Но уже этот день застал Сергея Николаевича сильно хворавшим, редко выходящим из дому и состоящим под непрестанным наблюдением тогдашнего его друга-врача лейб-медика М. М. Шершевского.

Несмотря, однако, на все свои хворости, начало которых должно быть отнесено к 1904 году, редактор «Исторического Вестника» продолжал быть удивительно бодрым духом, работоспособным и не потерявшим никаких свойств своей богато одаренной природы. Проработав в журнале слишком двадцать пять лет в роли единственной редакционной движущей силы, он уже десять тому назад начал чувствовать необходимость иметь под рукою помощника, на которого он мог бы возлагать черновую часть редакционных работ. Таковым первым был приглашен П. Е. Щеголев, тогдашний ревностный сотрудник «Исторического Вестника», которого С. Н. Шубинский в виду его разных несчастливо складывавшихся коллизий жизни считал нужным поддержать. П. Е. Щеголев пробыл в редакции около Сергея Николаевича не больше двух лет и при основании журнала «Вылое» перешел на амплуа редактора в этот радикальный исторический орган печати. Следующим помощником редактора явился я, его стародовный сотрудник, после того, как обстоятельства личной жизни позволили мне целиком посвятить себя литературной работе. В звание помощника Сергея Николаевича я и оставался до последнего часа его жизни, приняв от него все заветы журнала в будущей его жизни.

— Смотрите, — говорил мне Шубинский дней за пять до своей кончины, когда был в полном сознании, — смотрите, чтобы «Исторический Вестник»

продолжал издаваться моими преемниками так же хорошо и в порядке, как при мнѣ и при Алексѣ Сергѣевичѣ. Будете уклоняться, мы съ того свѣта будемъ вамъ клюками стучать, покоя ночью не дадимъ; а будете хорошо вести, приготовимъ вамъ добрую встрѣчу. Вы вотъ тутъ все при жизни юбилей разные устраивали, а я ужъ тамъ похлопочу, благо у меня будетъ много свободного времени... Больше всего опасайтесь впасть въ ошибки «Древней и Новой Россіи» и не соблазняйтес эфемернымъ успѣхомъ «Вылого»...

Старикъ очень беспокоился, чтобы журналъ послѣ него не растерялъ накопленнаго имъ богатства подписки и продолжалъ бы для издателей его быть прибыльнымъ дѣломъ. Онъ любилъ извлекать изъ бокового ящика своего письменнаго стола таблицы движенія подписки¹⁾, приходовъ и расходовъ за все время существованія журнала, внимательно разсматривалъ столь воскресающіе въ его памяти эпизоды былого, связанные съ исторіей издательства, и по сему предмету пускался во всяческія рассужденія. Вотъ пять лѣтъ убытковъ и двадцать семь лѣтъ роста прибылей, вотъ страшные годы 1904—1906, когда всѣ издательства терпѣли крахъ и шли на ущербъ, а «Историческій Вѣстникъ» твердо выдерживалъ всѣ политическія бури и непогоды.

— Что жъ, за тридцать два года я далъ Суворину сто тридцать двѣ тысячи чистаго дохода, далъ хорошій заработокъ типографіи, да и самъ покорился, другихъ поддержалъ заработкомъ. Кажется, не за что дурнымъ поминуть... Свое дѣло я сдѣлалъ, по мѣрѣ силъ и возможности послужилъ издателю вѣрой и правдой и могу спокойно ити на тотъ свѣтъ безъ всякаго укора совѣсти за журналъ.

Сергѣй Николаевичъ былъ правъ и не только не преувеличивалъ своихъ заслугъ передъ «Историческимъ Вѣстникомъ», но скорѣе былъ склоненъ преуменьшать ихъ, относя главную заслугу на долю издателя, никогда не стѣснявшаго его въ средствахъ, ни въ правахъ выбора себѣ сотрудниковъ и выбора печатаемаго матеріала, хотя порою далеко не все приходилось здѣсь по вкусу Алексѣю Сергѣевичу. Я думаю, что въ исторіи нашей журналистики не много найдется примѣровъ такого во истину меншенатскаго отношенія къ дѣлу, какое проявлялъ Суворинъ и по отношенію журнала, по отношенію его редактора и по отношенію его сотрудниковъ. Въ качествѣ характерной иллюстраціи къ высказанному положенію приведу слѣдующій фактъ.

¹⁾ Въ юбилейномъ очеркѣ о 25-лѣтніи «Историческаго Вѣстника» приведена подробная таблица какъ движенія подписки, такъ и приходо-расходныхъ суммъ журнала за четверть вѣка.

Когда Шубинскій выступилъ съ предложеніемъ объ издательствѣ Сувориннымъ историческаго журнала, онъ являлся, какъ уже сказано выше, хотя не яркимъ, но все же представителемъ западническаго либерализма, былъ однимъ изъ второстепенныхъ сотрудниковъ «Голоса» и по своимъ личнымъ связямъ, по своимъ дружескимъ отношеніямъ примыкалъ къ тому кругу людей, которые вели и съ «Новымъ Временемъ», и съ самимъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ непрерывную войну, подчасъ даже наносивъ оскорбленія Суворину, какъ человѣку. И что же мы видимъ? «Историческій Вѣстникъ» подъ руководствомъ С. Н. Шубинскаго стянулъ къ себѣ на первыхъ порахъ не тѣхъ по преимуществу, которые шли въ одну политическую ногу съ издателемъ «Новаго Времени», а именно его недруговъ изъ упомянутой выше враждебной категоріи. Имена Григ. Градовскаго, В. Модестова, а главнѣйше В. Михневича мелькали на оберткѣ «Историческаго Вѣстника» и одновременно на столбцахъ газетъ, сначала «Голоса», а потомъ «Новостей», откуда они вели яростную полемику противъ все того же издателя «Новаго Времени». И А. С. Суворинъ самымъ толерантнымъ образомъ относился къ этому, въ сущности говоря, ненормальному явленію, не считая себя въ правѣ вмѣшиваться въ распорядительство редактора, усмотрѣнію котораго онъ довѣрилъ свое литературное дѣло.

Не стѣняя С. Н. Шубинскаго въ его редакціонныхъ дѣйствіяхъ, Суворинъ, за исключеніемъ первыхъ годовъ, рѣшительно не вмѣшивался и въ его хозяйственныя распоряженія, предоставивъ ему въ данномъ случаѣ полную свободу дѣйствій. Онъ имѣлъ полное основаніе считать Сергѣя Николаевича такого рода человѣкомъ, который ни въ какомъ случаѣ не допуститъ ни малѣйшаго ущерба для его матеріальныхъ интересовъ. Скажу даже болѣе: въ этомъ отношеніи редакторъ «Историческаго Вѣстника» былъ своего рода ангеломъ-хранителемъ Суворина, опекалъ его отъ излишняго размаха дѣйствій и всегда опасался, чтобы кто-нибудь и какъ-нибудь не использовалъ недобросовѣстно довѣрія и отзывчивости его патрона. Ему больно было, когда какой-нибудь изъ рекомендованныхъ имъ людей не оправдывалъ передъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ данной имъ этому лицу рекомендаціи. Въ этомъ отношеніи онъ положительно считалъ себя несчастнымъ въ одномъ случаѣ жизни, когда ввелъ въ кабинетъ Суворина сотрудника, который, принявъ отъ Суворина заказъ на работу о Пушкинѣ, сумѣлъ выманить у него всю значительную плату за работу вперед и ничего ему не дать. Самъ издатель «Новаго Времени», привыкшій въ своей издательской практикѣ къ такого рода недобросовѣстности, когда заходилъ рѣчь въслѣдствіи объ этомъ случаѣ, только презрительно махалъ рукою, но Шубинскій не могъ до конца своихъ дней съ этимъ помириться и считалъ этого человѣка однимъ изъ злѣйшихъ своихъ враговъ, поставившихъ его въ фальшивое положеніе и отплатившихъ зломъ за добро.

У Сергея Николаевича была маленькая слабость жаловаться на сотрудников за обилие взятых ими авансов, и знаменитый лист, где наши лицевые счета были аккуратно занесены, являлся неистощимой темой для его бесед с издателем, сотрудниками и даже посторонними новыми людьми. Можно было подумать, что писатели точно набгали с грабительскими дѣлами на бѣднаго старого редактора и с угрозами для жизни выманивали у него цѣлые капиталы. Конечно, ничего подобного не было. Писатель приносил рукопись и въ случаѣ ея одобренія почтительно ходатайствовал о выдачѣ под нее той или другой суммы денег, въ зависимости отъ своей нужды и возможности получения аванса. Добрый и отзывчивый редактор, кѣмъ былъ въ дѣйствительности Шубинскій, всегда, какъ я уже говорилъ выше, сочувственно входившій въ интересы своихъ сотрудниковъ, шелъ навстрѣчу этимъ ходатайствамъ, лишь бы они не наносили ущерба редакціонному и издательскому дѣлу, но самую процедуру выдачи ордера онъ любилъ обставлять безконечными разговорами, жалобами на количество выданныхъ авансовъ, показываніемъ упомянутыхъ лицевыхъ счетовъ и т. д. и т. д. Новыхъ, неопытныхъ людей такого рода канитель порою приводила въ смущеніе, порою привлекала къ редактору, такъ какъ они усматривали и въ этихъ жалобахъ на другихъ, и въ этомъ показываніи листа авансовъ какое-то особое къ себѣ довѣріе, но старые сотрудники, какъ равно и издатель «Историческаго Вѣстника», знали эту слабость Сергея Николаевича, терпѣливо проходили эти мытарства и въ результатѣ почти всегда уходили отъ него удовлетворенные.

Волѣнненнй періодъ жизни Сергея Николаевича начался лѣтъ десять назадъ, когда онъ приблизился къ шестидесяти пяти годамъ. Онъ уже вынужденъ былъ отказаться отъ своего любимаго лѣтняго занятія — охоты съ ружьемъ и съ собакой въ окрестностяхъ своей всегдашней дачной резиденціи въ Люблинѣ, избѣгать часто вредныхъ для своего здоровья завтраковъ и ужиновъ у П. Я. Дашкова и вообще вплотную засѣлъ у себя въ квартирѣ, съ большими иногда промежутками въ пріемъ посѣтителей. Отказъ его отъ охоты доставилъ, между прочимъ, большое удовольствіе Д. И. Мордовцеву.

— Зайчиковъ-то, зайчиковъ, бѣдненькихъ, сренъкихъ, я слышалъ, уже бросили уничтожать? Ну, и слава Богу. Кое-что изъ вашихъ грѣховъ за это вамъ простится.

На свой двадцатипятилѣтній юбилейный банкетъ Шубинскій съ трудомъ выѣхалъ и присутствовалъ на немъ подъ наблюденіемъ пользовавшаго его всегда доктора Шершевскаго, такъ какъ послѣдній не былъ увѣренъ, что его пациентъ безопасно для здоровья вынесетъ волненія дня. А чѣмъ дальше шло время, тѣмъ здоровье Сергея Николаевича все больше

расшатывалось. Въ 1908 году состояніе его приняло угрожающій характеръ, и окружающіе думали, что имъ уже суждено навсегда распростиаться съ дорогимъ человѣкомъ. Но воистину жалѣнный отъ природы организмъ справлялся съ надвигавшеюся грозой, и искусныя мѣропріятія врачей (сначала, какъ уже сказано, Шершевскаго, потомъ заступившаго его мѣсто профессора Г. Ю. Явейна, его ассистента Гранстрема и подъ конецъ его жизни профессора В. Н. Сиротина), тщательный уходъ за нимъ его супруги, попеченія всѣхъ окружающихъ и полный переходъ на гигиеническій образъ жизни спасали его каждый разъ отъ неминуемой бѣды. Силы физическія явно убывали, но духъ, бодрый и сильный, не покидалъ его.

— Я знаю, что скоро помру. Понимаю, что двухъ вѣдовъ не прожить, но страшно ощущать немощъ тѣла и бодрость духа... Тянетъ на привычную работу, хочется что-нибудь подѣлать, и не можешь...

И Шубинскій сталъ понемногу, но систематически готовиться въ смыслѣ своихъ матеріальныхъ земныхъ заботъ къ переходу въ иной міръ. Всѣ его распоряженія, мѣропріятія по сему предмету отмѣчены удивительнымъ реализмомъ, поражаютъ своей детальностью, обнаруживая свойственную ему всю жизнь аккуратность и заботливость. Между прочимъ онъ написалъ трогательное прощальное письмо Алексѣю Сергѣевичу Суворину, которое уже послѣ его кончины было найдено въ его бумагахъ, въ особомъ конвертѣ, адресованное на имя его стараго друга. Здѣсь онъ писалъ между прочимъ: «Я поручилъ женѣ моей доставить вамъ, Алексѣй Сергѣевичъ, это письмо послѣ моей смерти. Прежде всего благодарю васъ отъ всего сердца за то неизмѣнное довѣріе, дружбу и множество одолженій, которыя вы мнѣ оказывали. Богъ свидѣтель, что я ихъ искренно цѣнилъ, старался ихъ оправдать и въ отношеніи къ вамъ руководился самыми чистыми побужденіями». Обратившись далѣе къ адресату съ нѣсколькими незначительными просьбами практическаго характера, имѣющими отношеніе къ оставляемой имъ послѣ себя вдовѣ, онъ заканчиваетъ письмо слѣдующей фразой: «Простите, если въ чемъ-либо, когда-либо,вольно или невольно былъ виноватъ передъ вами. Если намъ дано на томъ свѣтѣ сознаніе земной жизни, то, вѣрнѣе, я вѣчно сохранию о васъ самыя благодарныя и теплыя воспоминанія. Да хранитъ васъ Господь! Вашъ Шубинскій».

Неожиданныя кончины въ одинъ и тотъ же день, въ 1910 году, М. М. Шершевскаго и П. Я. Дашкова оказали на него удручающее впечатлѣніе.

— Вотъ и послѣдніе друзья сошли съ жизненной сцены... Пора и мнѣ за ними... Какъ посмотрѣть кругомъ, никого изъ бывшихъ пріятелей ужъ не осталось въ жизни... Одинъ я пережилъ всѣхъ...

И старикъ начинать вспоминать въ послѣдовательномъ порядкѣ тѣ дружескія сообщества, гдѣ ему приходилось вращаться. Вотъ кружокъ Хмырова, Семевского, Ефремова, вотъ компанія братьевъ Варсукowychъ,

Θеодора Верга, Всеволода Крестовского съ ихъ дружескими ужинами въ «Фьверномъ» ресторанъ на Офицерской, гдѣ Θ. Вергъ всѣхъ поражалъ своей феноменальной скупостью; вотъ компанія Н. С. Лѣскова, С. Н. Терпигорева-Атавы, П. Н. Полевого, наконецъ кружокъ П. Я. Дашкова съ его знаменательными друзьями въ столь знакомой его исторической столовой, гдѣ надъ Н. К. Шильдеромъ присутствующіе съ Дашковымъ во главѣ трунили по поводу его отождествленія старца Θеодора Кузьмича съ императоромъ Александромъ I и т. д., и т. д. Длинной вереницей вставали передъ покойнымъ образы минувшаго, и тихою грустью звучали его поминальные слова.

Видя порою критическое состояніе въ здоровьи моего большого редактора-патрона, я, по обязанности ближайшаго помощника С. Н. по журналу, докладывалъ А. С. Суворину объ опасномъ положеніи его друга, но А. С. каждый разъ сердился на меня за приносимыя грустные вѣсти, говоря: — Что вы все хороните Шубинскаго? Кто знаетъ, можетъ быть, онъ и меня переживетъ.

Слова Суворина оказались пророческими. Тяжкая болѣзнь свела въ могилу издателя «Новаго Времени» на 9 мѣсяцевъ ранѣе редактора «Историческаго Вѣстника». Но оба старика, одолѣтки, уже съ годъ назадъ сознавали свой близкій, одинъ за другимъ, конецъ. Когда А. С. Суворинъ, послѣ первой операціи, сдѣланной ему д-ромъ Шписомъ, вернулся въ Петербургъ и осенью 1911 года навѣстилъ своего тяжело большаго друга, — ихъ встрѣча походила вмѣстѣ съ тѣмъ и на близкое роковое «прости». Трогательно было видѣть, какъ съѣдаемый тяжелой болѣзью Алексѣй Сергѣевичъ съ любовью и съ беспокойствомъ навѣщалъ своего хворавшаго сподвижника жизни, какъ медлил онъ ѣхать вторично за границу, выжидая облегченія состоянія здоровья Сергѣя Николаевича, каковое замедленіе было, пожалуй, для него роковымъ, и какъ умирительно-любовно оба старика другъ съ другомъ со слезами на глазахъ прощались и крестили другъ друга.

Весною минувшаго года опредѣлилось, что дни Алексѣя Сергѣевича сочтены; нѣсколько оправившись къ тому времени, С. Н., получивши возможность на короткое время выѣхать изъ дому, посѣщилъ повидать своего стараго друга, а вернувшись домой, горько заплакалъ:

— Хотѣ бы мнѣ умереть съ нимъ одновременно. Въ одинъ годъ родились въ одинъ годъ и скончались бы.

За время своей болѣзни и болѣзни своего друга А. С. Суворинъ пишетъ ему ласковыя письма, гдѣ заботится объ его здоровьи, повѣствуетъ о себѣ, выражаетъ надежду на свиданіе. 13-го декабря 1911 года онъ пишетъ ему изъ Франкфурта:

«Здравствуйте, милый Сергѣй Николаевичъ! Слава Богу, что вы выдворились изъ тѣнѣ жизненной ямы подобно тому, какъ я ее тяну. Я справлялся

у Миши ¹⁾ о вашемъ здоровьи. Мое Богъ знаетъ какое. Все не кончили еще операціи. Горло болитъ. Говорить не могу. Очень хочется домой, хочется повидаться съ вами, поблагодарить, поскорѣй, близкаго маленько тронуть вопреки заповѣди. Ахъ жизнь, жизнь, что въ ней толку, а жить все хочется. Какъ Историческій Вѣстникъ? Надѣюсь, слава Богу. Сегодня читалъ Гиппиуса. Интересно. Крѣпко обнимаю васъ, милый товарищъ и другъ.

«Вашъ А. Суворинъ».

«Что бы вамъ собраться за границу, милый человѣкъ? Помните, мы говорили объ этомъ, и вы изъявили желаніе. А расходи съ удовольствіемъ возьмемъ на себя Историческій Вѣстникъ, который вамъ вмѣстѣ со мной такъ обяванъ. Возьмите одръ свой и ступайте на желѣзную дорогу. Ну же, Сергѣй Николаевичъ!»

1-го января 1912 года (н. с.) Суворинъ пишетъ:

«Милый Сергѣй Николаевичъ, большое вамъ спасибо за ваше письмо. Сѣли написать нѣсколько строкъ, а написали большое письмо, какъ всегда выходили большими наши бесѣды съ вами, потому что вы всегда ихъ умѣли дѣлать интересными. Я бы вамъ посоветовалъ, что совѣтовалъ Ефремову и что самъ собирался сдѣлать, пригласить стенографистку и продиктовать ей то, что вы знаете и чѣмъ интересна ваша жизнь. Ефремонъ этого не сдѣлалъ, я не сдѣлалъ, а вы сдѣлаете. Вотъ Витте тоже сдѣлалъ. Онъ былъ у меня здѣсь нѣсколько разъ, долго сидѣвалъ, много рассказывалъ и между прочимъ рассказывалъ, что онъ продиктовалъ стенографисткѣ свою жизнь и вышелъ чуть не цѣлый томъ. Конечно, мы жили не такъ высоко, какъ онъ, но мы жили въ той средѣ, которая работала и которая дѣлала высоку Россію, можетъ быть, невидимо для этихъ высокихъ мѣстъ, но дѣлала несомнѣнно и дѣлала упорно. Сколько вы внесли «Историческимъ Вѣстникомъ» здоровыхъ знаній и идей въ русское общество, какой огромный и плодотворный трудъ вы сдѣлали, вы, такой скромный, такой деликатный и такой благородный работникъ на этой литературной нивѣ. Вмѣсто того, чтобы лежать и думать, посадите около себя стенографистку и стали бы диктовать все, что въ головѣ тѣснится. А что изъ побѣда за границу? Передъ моимъ отъѣдомъ вы такъ этого хотѣли. Я въ первый разъ тогда услышалъ отъ васъ это желаніе, которое вы раньше никогда не выражали. Намъ недолго осталось жить. Я много видѣлъ. Вы ни разу не были за границей. Какъ-то странно и какъ не согласно съ вашими западническими взглядами, которымъ вы остались всегда вѣрными... Храни васъ Богъ, милый голубчикъ».

Письма Алексѣя Сергѣевича пестрятъ словами: «милый голубчикъ», «дорогой другъ и товарищъ» и т. п., и ясно, въ каждой строкѣ и на каждой страницѣ, что пишущей рукою водитъ чувство любви, нѣжности и дружбы. Шубинскому эти письма были въ настоящій праздникъ, и онъ по полученіи каждого письма съ грустью твердилъ: «Быть можетъ, это послѣдній привѣтъ стараго друга на совмѣстномъ жизненномъ пути».

Судьбѣ угодно было протянуть мучительные дни издателя «Новаго Времени» еще на восемь мѣсяцевъ послѣ послышки цитированныхъ выше

¹⁾ М. А. Суворинъ, старшій сынъ А. С., редакторъ «Новаго Времени».

писемъ, и только 11-го августа 1912 года въ Царскомъ Селѣ Алексѣя Сергѣевича не стало.

Получивши эту роковую вѣсть, находившійся въ Любани редакторъ «Историческаго Вѣстника» тяжело захворалъ, потрясенный этимъ печальнымъ событіемъ нашей общественной и его личной жизни. Съ тѣхъ поръ съ нѣкоторыми перерывами облегченія онъ влечилъ почти годъ тяжкую, мучительную жизнь. Сердце слабѣло, всѣ органы тѣла приходили въ разрушеніе, задыханія становились постоянными, и страшно было глядѣть на эти его страданія, облегчить которыхъ медицина была не въ силахъ. Наступилъ, по словамъ врачей, старческій маразмъ. И, несмотря, однако, на весь мучительный ужасъ переживаемаго, Шубинскій продолжалъ оставаться духомъ бодрымъ и дѣятельнымъ, не выпуская изъ слабѣющихъ и хладѣющихъ рукъ журнальнаго кормила. Правда, онъ по состоянію здоровья совсѣмъ лишенъ былъ возможности видѣться съ сотрудниками и посылателями, и доступъ къ нему имѣли только самые близкіе люди: во всемъ же остальномъ, что относилось до журнала, онъ неослабно имѣлъ наблюденіе, и ни одно мое распоряженіе и дѣйствіе, какъ его помощника и временнаго замѣстителя, не оставалось внѣ его контроля и наблюденія. Порою онъ даже вступалъ со мною въ пререканія по поводу моихъ рѣшеній и точно хотѣлъ снова приобщиться къ теченіямъ жизни и событій, обнаружить свою индивидуальность и жизнеспособность. Онъ, какъ часовой на своемъ посту, не считалъ себя въ правѣ отойти отъ порученнаго ему дѣла и только за десять дней передъ агоніей онъ лишился всякой возможности чѣмъ-нибудь заниматься и интересоваться. Тяжкій бронхитъ со всяческими грудными и сердечными осложнениями свалилъ его окончательно на постель, и наступилъ мучительный періодъ страшной борьбы между жизнью и смертью, борьбы, полной ужасныхъ страданій. Сталъ угасать и рассудокъ... Обнаружилась непрерывная сонливость, и 28-го мая сего года его не стало. Похороненъ Сергѣй Николаевичъ на кладбищѣ Александро-Невской лавры со всѣми подобающими ему, какъ отставному военному генералу и какъ заслуженному редактору, почестями и знаками любовнаго вниманія.

СОДЕРЖАНІЕ.

	СТРАН.
Анненскій, Н. О.	1
Барсуковъ, Н. П.	21
Булгаковъ, О. И.	42
Буренинъ, В. П.	56
Васюковъ, С. И.	102
Вейнбергъ, П. И.	110
Дашковъ, П. Я.	120
Лейкинъ, Н. А.	131
Леонтьевъ-Щегловъ, И. Л. и Альбовъ, М. Н.	145
Маминъ-Сибирякъ, Д. Н.	168
Михайловъ-Мартовъ, В. П.	189
Михневичъ, В. О.	211
Мордовцевъ, Д. Л.	234
Оболенскій, Л. Е.	268
Острогорскій, В. П.	279
Пыпинъ, А. Н.	312
Рудановъ, В. Е.	355
Сергѣевичъ, В. И.	368
Скабичевскій, А. М.	398
Скальковскій, К. А.	423
Соловьевъ, М. П. и Коссовичъ, С. И.	433
Успенскій, Г. И.	450
Фофановъ, К. М.	483
Чупровъ, А. И.	494
Шевляковъ, М. В.	510
Шубинскій, С. Н.	524

ПОРТРЕТЫ

	СТРАН.
✓ Альбовъ, М. Н.	157
Анненскій, Н. Ѳ.	5
✓ Барсуковъ, Н. П.	25
Булгаковъ, Ѳ. И.	45
Буренинъ, В. П.	59
Васюковъ, С. И.	105
✓ Вейнбергъ, П. И.	113
Дашковъ, П. Я.	123
Коссовичъ, С. И.	437
✓ Лейкинъ, Н. А.	135
Леонтьевъ-Щегловъ, И. Л.	147
Маминъ-Сибирякъ, Д. Н.	171
Михайловъ-Мартовъ, В. П.	195
✓ Михневичъ, В. О.	215
Мордовцевъ, Д. Л. въ 1885 году	241
Мордовцевъ, Д. Л. въ 1896 году	249
Оболенскій, Л. Е.	273
✓ Острогорскій, В. П.	285
Пыпинъ, А. Н., и Соловьевъ, В. С.	317
Рудаковъ, В. Е.	357
Сергѣевичъ, В. И.	373
✓ Скабичевскій, А. М.	403
Скальковский, К. А.	427
Соловьевъ, М. П.	441
✓ Успенскій, Г. И.	453
Фофановъ, К. М.	485
Чупровъ, А. И.	497
Шевляковъ, М. В.	513
Шубинскій, С. Н.	529
Шубинскій, С. Н., и Суворинъ, А. С.	537
Шубинскій, С. Н., въ своемъ кабинетѣ въ послѣдніе годы жизни.	545

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

РАБОТЫ

Б. Б. ГЛИНСКАГО:

- Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ. Біографическій очеркъ съ
портретомъ — р. 75 к.
- Николай Михайловичъ Ядринцевъ. Біографическій очеркъ
съ предисловіемъ В. Острогорскаго и приложеніемъ вос-
поминаній Г. Потанина — > 50 >
- Русское Судебное Краснорѣчіе (распродано) — > 60 >
- Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій и чествованіе его
памяти. Съ пятью иллюстраціями и приложеніемъ его
юношескаго журнала «Поѣздка въ Москву» — > 75 >
- Царскія дѣти и ихъ наставники. Историческіе очерки. Вто-
рое изданіе, съ портретами, снимками съ историческихъ
картинъ, видами и др. иллюстраціями 3 > 50 >
- Очерки русскаго прогресса. Статьи историческія, публи-
цистическія и критическія. Съ портретами и иллю-
страціями 2 > 50 >
- Борьба за конституцію 1612-1861 гг. Историческіе очерки
съ портретами и иллюстраціями 3 > 50 >
- Революціонный періодъ русской исторіи (1861—1881 гг.).
Историческіе очерки съ портретами и иллюстраціями.
2 части 5 > 50 >
- Сергій Николаевичъ Шубинскій. Біографическій очеркъ.
Съ портретами и иллюстраціями — > 60 >
-